КОНТИНЕНТ

2002

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 112

Блуждая средь участков
дачных,
невольно отвожу я взор:
повсюду видимый разор.
Разруха —
словцо не для утóнченного
слуха.





Владимир Салимон

Достоевский первым вывел на сцену публичной мысли безродного человека на голой земле, и даже не на земле, а на разверзающейся хляби. Как идеолог, он надеялся на возвращение к «почве», как художник — показал, что это невероятно.

Ольга Седакова

Петр Васильевич сдвинул каблуки, вытянулся, как мог, и отдал Генералиссимусу честь. Сталин молча смотрел на него. Петр Васильевич медленно опустил руку и торжественно, отделяя каждое слово, сказал: «С днем рождения, товарищ Сталин...»



Сергей Бабаян



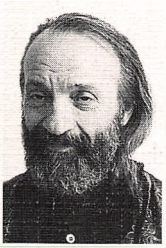
В своих поездках я узнаю поразительную истину: оказывается, только навеки влюбленные ставят любовь выше национальности... У навеки влюбленного страсть целиком обращена к предмету любви, ему не хватает душевных сил заниматься переделом земли.

Рээт Куду

И Толстой, и Пушкин, и даже русский язык принадлежат не только России. Но в России с этим почему-то не очень считаются. Россию больше заботит откопать своих покойников из Сен-Женевьев-де-Буа. Пусть все мертвецы приедут к нам обратно...



Жорж Нива



Я жизнь свою связал с русской культурой. Я влюбился в нее и служу ей как рыцарь — она стала моей Прекрасной Дамой. Русская культура не похожа на жизнь, хотя рассказывает о жизни. Я влюбился в нее потому, что она — наше волшебное небытие...

Анатолий Васильев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи Надежды Болтянской, Вячеслава Куприянова

Маленький роман Славы Сергеева

Рассказы Леонида Бежина и Александра Кузнецова

Статьи и очерки Владимира Бибихина, Александра Вяльцева, Пиамы Гайденко, Евгения Ермолина, Александра Кырлежева, Марии Ремизовой, Виктора Тополянского.

Интервью с Андреем Битовым, Виктором Журавским, Борисом Любимовым.



Редакция «Континента»
выражает сердечную признательность
за финансовую поддержку журнала
Алексису Береловичу, Жану Бонамуру,
Лидии Брон, Катерине Герасимовой,
Герберту Данзеру, Изабель Депре, Клоду Кастлеру,
Михаилу Копелиовичу, Веронике Лосской, Марине Микитянской,
Мишелю Окутюрье, Жоржу Нива, Эдуарду Саруханяну,
Валентине Синкевич, Валерию Сойферу,
Кэтрин и Славе Теймер-Непомняшим,
Татьяне Хоффер и Маргарите Якимец

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

112

2002, № 2
апрель — июнь

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатели:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(095) 924-91-51
Internet: http://magazines.russ.ru/continent/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Виктория ЛАВРЕНТЬЕВА, Александр КЫРЛЕЖЕВ, Светлана ОПАРИНА,
Мария РЕМИЗОВА, Владимир СОТНИКОВ

Представители «Континента»

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Джулия ФИЛИППЕЛЛИ
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (02) 29-00-88-87

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
Ul Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
217 4th ave.
GARWOOD, N.J. 07027 USA
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WAŞHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Рээт КУДУ
Свобода и любовь. Эстонские вариации. *Роман* 9

Владимир САЛИМОН
Что маловероятно. *Стихи* 107

Сергей БАБАЯН
Два рассказа 112

Надежда БОЛТЯНСКАЯ
Узнавай свою истину сам. *Стихи* 129

Слава СЕРГЕЕВ
История моего безделья. *Маленький роман* 133

Владимир АЛЕЙНИКОВ
Жертвенное жизни прорастанье. *Стихи* 195

Александр КУЗНЕЦОВ
Дети моря. *Дальневосточная быль* 201

Леонид БЕЖИН
Остров должников. *Притча* 213

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Беседы в редакции

Жорж НИВА
«Расхожее мнение, что у нас на Западе
царит безверье, ошибочно...» 234

Андрей БИТОВ
«Дайте времени поговорить его языком...» 250

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы русской истории и современности
в российской периодике. *Третий-четвертый кварталы 2001 г.* 260

У книжной полки

Владимир БИБИХИН
Кормя Зевесова орла 273

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ
Загадочная испанка 284

РЕЛИГИЯ

Основные события церковной жизни
в зеркале прессы (март—май 2002 г.) 316

Александр КЫРЛЕЖЕВ
Ислам и Запад после 11 сентября 321

Беседы в редакции

«Нам надо научиться воспринимать другого как другого...»
*Беседа с профессором **Алексеем Журавским**, ведущим научным сотрудником Института восточных культур РГГУ* 332

У книжной полки

Александр КЫРЛЕЖЕВ
Русская Церковь в ситуации перемен 340

ГНОЗИС

Пиама ГАЙДЕНКО
Наука и христианство: противостояние или союз? 346

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Философская, историософская, культурологическая и политологическая мысль в русской периодике третьего-четвертого квартала 2001 г. 354

ПРОЧТЕНИЕ

Ольга СЕДАКОВА
«Неудавшаяся епифания»: два христианских романа — «Идиот» и «Доктор Живаго» 376

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Евгений ЕРМОЛИН
Узы совести и зов свободы 385

Мария РЕМИЗОВА
GRANDES DAMES прошедшего сезона 396

Александр ВЯЛЬЦЕВ
Роман самосознания 406

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная проза и литературная критика в русской периодике первого квартала 2002 г. 413

ИСКУССТВО

Беседы в редакции

Борис ЛЮБИМОВ
«Будущее — в театре живого человека» 443

Анатолий ВАСИЛЬЕВ
«Я еще имею силы и энтузиазм, чтобы осваивать континенты непознанной культуры...» 457

СВОБОДА И ЛЮБОВЬ
Эстонские вариации

Роман*

*Авторизованный перевод с эстонского Бориса Туха***

Пролог

И тут я обнаруживаю себя сидящей у окна в моем отчем доме.

Я возвратилась в город, где родилась. Сидя у окна и рисуя, я знаю, что вот я вновь дома. Я это знаю, чувствую, ощущаю — и цепенею.

Я так и не создала собственного дома. Все эти годы только моталась от одного прибежища к другому. Мое бегство сопровождали стук вагонных колес, судороги, муки.

Да, десяти лет словно и не бывало. Я снова дома, за своим школьным столом. И я не способна ни на что. Только глядеть в окно и рисовать.

Но я не рисую то, что за окном. Я рисую Париж, рисую Москву. И поезд. Малюю образины, чудовищ, фантазии. Порою все на одном листе. Потом подсовываю картинки под стопку старых газет, чтобы мать сожгла или выбросила их вместе со всем прочим бумажным хламом. Сама я не в состоянии ни хранить эти картины, ни избавиться от них.

И вот однажды вечером я застаю мать над рисунком, который, я думала, давно уже сгнил на помойке. Мать не замечает, что я пришла, она вся погружена в созерцание. Одна-одинешенька с моим рисунком... Странное ощущение — мне кажется, что она рассматривает его так, как иной раз рассматриваю свои работы я сама. В одиночестве, когда можно до конца отдаться немой боли, исходящей от них. Потоку скорби, отчаяния и тоски — пока тебе не станет невыносимо и лист ватмана не выпадет из рук.

Рисунок падает из маминых пальцев и ложится на пол у моих ног. И только сейчас, глядя сверху, я понимаю, насколько он безумен —

---

* Журнальный вариант

** За содействие в переводе романа на русский язык автор выражает благодарность фирме «Лореда».

Рээт КУДУ — родилась в Тарту, окончила факультет эстонской филологии и журналистики Тартусского Государственного университета. Автор ряда книг сказок, новел и пьес, а также многих литературно-критических статей. Ее сказки изданы на болгарском, русском и литовском языках, новеллы — на русском, немецком и французском. Живет в Таллинне.

этот собственный мой рисунок под моими ногами. Сверху все видится точнее, чем тогда, когда рисуешь. Линии яснее, образы ярче, композиция понятнее...

И мне вдруг хочется завладеть этим рисунком. Будто его создал кто-то посторонний, а я только что нашла. Мне хочется схватить картинку и спрятать ее, чтобы потом понять этих монстров и эти странные притоны, разгадать их тайны. Я словно околдована своим собственным рисунком — мне просто не верится, что картина, валяющаяся сейчас у моих ног, нарисована мной. Я не могла создать такую мистическую композицию, мои картинки были всего лишь мазней! Пустопорожней мазней, засунутой под стопку старых газет...

Но нет — я должна увидеть все эти фантазии!.. Иначе они исчезнут из моей жизни, как сны рассеиваются в небытии. Я способна создавать такие картины?! И я не помню их?!

— Мама!.. Где мои картины? Мои рисунки, акварели...

— Неужели ты думала, что я могла их выбросить? — тон матери подозрительно торжественен.

— Вы же выбросили мои школьные альбомы, — огрызаюсь я лишь для того, чтобы сбросить наваждение и вернуться на более прозаическую почву — хотя бы на уровень семейного скандала, в надежное укрытие повседневности.

— Мы тогда затеяли большую уборку, — тихо отвечает мать.

Я понимаю, что фраза эта не дает повода для бодрой склоки. Мы обе произносим положенные реплики с опозданием, как две актрисы, уже не способные сыграть нечто убедительное.

— Хотя их все равно слишком мало, этих картин... — пытаюсь я как-то приглушить только что родившуюся во мне надежду.

— Сто девяносто девять, — вздыхает мать.

— Что?! — вскрикиваю я в изумлении. — Где они? Я хочу их видеть! Немедленно! Я должна их увидеть! Мама, ты должна показать мне их!

— Они проданы! А ты хотела отправить их на помойку! — голос матери звучит победно и все же чуточку смущенно. Как будто она не совсем уверена, что поступила правильно. Но для чего, в конце концов, художники пачкают бумагу линиями и мазками?..

— Да, да, да! — подтверждает отец, когда вечером я возвращаюсь к прерванному разговору. Рисунки его дочери пользуются спросом. Он тоже убежден, что для меня это благая весть. Вдруг оказалось, что чокнутая чудачка способна зарабатывать. И неплохо. Позор семьи становится ее гордостью.

— Не думаю, что стоит так уж сильно радоваться из-за каких-то грошей, — резко парирую я. — Если я вам в тягость, так и скажите, я уеду в Таллинн. А рисунки нужны мне самой!

— Но мать сказала, что... — обиженно заговаривает отец.

— Да, да, я хотела их выбросить. Видеть их не могла. Я ничего не хотела. Я ничего не знала. Я и не очень-то соображала, что рисую...

Отец достает бумажник и картинно потрясает им.

— Ну, если уж ты свихнулась, — обиженно говорит он, — можно вернуть деньги соседскому парню. Вдруг твоя мазня еще у него.

— Откуда у соседского парня столько денег? — в растерянности спрашиваю я, разглаживая на столе смятые долларовые бумажки. Их целая куча. — Он же несовершеннолетний. Или у нас новые соседи?

— Так ведь десять лет прошло, — устало вздыхает мать.

— Одиннадцать! — бурчит отец.

Ну да... этот парнишка... да, да... ему в самом деле было уже четырнадцать... Или даже пятнадцать? Или пятнадцать с половиной?... Вспоминаю, ну конечно, теперь вспоминаю. Как-то раз я даже нарисовала ему картинку. Ко дню рождения. Или к Новому году, или к Иванову дню... Ну да, четырнадцать, не больше! Или пятнадцать с половиной? Или все шестнадцать? Но он был такой застенчивый и странный... Или только странный?! Я так и не поняла, понравился ли ему мой рисунок... Да, да, да-а-а... помню, конечно помню, он схватил листок и бросился наутек. Странный такой мальчишка! Не удивляюсь, что он теперь собирает такие рисунки Все коллекционеры немного с приветом...

Наверное, последнюю фразу я произношу вслух, потому что отец вдруг отвечает мне:

— Андрус не коллекционер; по крайней мере, деньги не его, а одного его гостя. Какого-то француза, который на днях уезжает. Сегодня или завтра. Точно не знаю, меня это не интересовало. Мы же просто хотели тебя порадовать, что твои картинки не на помойке, что за них деньги платят! Профессионал — это тот, кто зарабатывает деньги, а не пачкает бумагу ради собственного удовольствия. Ты радоваться должна, а ты не хочешь, не умеешь...

— Да, да, гость, — подхватывает мать. — Сам Андрус, он спортсмен, трехкратный чемпион... А это его гость...

— Гость? И он уезжает?— наконец, доходит до меня. — Куда же он собирается?

— В Париж что ли, — неуверенно говорит мать.

Я бросаюсь к двери и замираю у порога.

Как же я выкуплю свои рисунки? Для этого надо взять деньги, которые выложил отец и на которые он, конечно, рассчитывал. Ведь нам постоянно не хватает денег! Отец сумел выбить четырехкомнатную квартиру как раз перед тем, как цены за жилье и коммунальные услуги взлетели до небес. К тому же все эти годы родители героически оплачивали и мою квартиру в Таллинне. Обе квартиры всегда были предметом их гордости, но на них уходит уйма денег!.

Правда, после денежной реформы отец уже не гордится тем, как ловко удалось ему решить жилищную проблему. Не гордится и квартирой в столице, хотя мог бы превратить ее в золотое дно. Но он слишком старомоден, чтобы сдавать свое жилье чужим людям. И жилье дочери для него так же свято, как собственное. «Свои квартиры сдают только люди без стыда и совести, — говорит он. — Я бы не мог жить в доме, по которому постоянно ходят чужие люди. Это уже не дом, это ночлежка!» Мать возражает, что многие сейчас пускают жильцов. Иначе невозможно пережить трудные времена. Это все же лучше, чем насовсем убраться из своего дома. Но отец всегда отвечает на это, что лучше бедный дом без жильцов, чем богатый дом, по которому шастают посторонние.

Я ловлю себя на том, что все это время почему-то так и не спросила себя, отчего живу в родительском доме, а не в своей таллиннской квартире. Да, я помню, что заболела. Какая-то странная простуда, которую я подхватила после дня рождения отца. Я приехала, заболела и осталась.

Но со дня рождения отца минуло уже три месяца.

В последние две-три недели отец и мать все чаще говорят о жильцах и о квартплате. Филиппики отца против нравов жильцов становятся все пламеннее, но я настолько углубилась в пробудившуюся вновь страсть к рисованию, что до сих пор не связывала эти споры с собой. Меня все время преследует какое-то странное ощущение безвременья. Словно я только что куда-то прибыла — и не могу вспомнить, куда именно. Даже не могу связать свои детские воспоминания с той, кем я стала. Что-то, видно, не то — во мне, или в детстве, или во всем сразу. Эти две половинки как-то не стыкуются, и мне остается одно — смотреть из окна своего родного дома, убегая от невнятных предчувствий и страхов в еще более невнятные и пугающие рисунки...

И вот теперь даже этих рисунков у меня нет! Словно кто-то похитил тайный ключ к моим страхам...

Боль этой новой потери отбрасывает все сомнения. Мне необходимо отослать назад доллары, отдать их обратно, отдать, отдать!...

Но в голове вдруг опять проворачиваются все разговоры отца о жильцах и деньгах. Я ведь жила за счет родителей, оставаясь им чужой! Я, которая хуже и несноснее любого жильца, слушала разговоры отца тупо и совсем безучастно. Я не предлагала сдать мою таллиннскую квартиру и не догадывалась уехать. Только торчала за своим еще с детства знакомым столом, чтобы глядеть в окно и рисовать.

И вот я впервые в жизни принесла деньги в дом...

Нет, я не имею никакого права требовать назад свои картины. Знаю, родителям постоянно недостает денег. К тому же я уверена, что часть этих долларов уже уплачена за квартиру. Значит, бессмысленно встречаться с Андрусом. Рисунки, наверно, уже перепроданы, да мне и не на что их выкупить...

Я сижу за письменным столом своего детства, уставившись в знакомый вид за окном. Затем начинаю панически набивать вещами сумку. Немедленно назад, в столицу, все, хватит, я должна куда-то уехать, прочь, про-о-о-очь... Меня корежит, словно острая боль пронзила все мое существо. Я больше не вынесу мертвую тишину за семейным столом. Из-за меня у них нет внуков; у меня никогда не будет ни серебряной, ни золотой свадьбы. А ведь когда-то мои родители были счастливы, что их дочь оказалась самой завидной невестой в нашем городке. Я сама все это истребила, изничтожила, превратила в пыль и прах. А теперь у меня нет даже и моих рисунков. Единственного, по чему я тоскую.

И тут я слышу требовательный стук в дверь и голос матери: «Тебя спрашивает Андрус».

Моя дорожная сумка почти собрана. Я принимаю боевую стойку, желая как можно скорее спровадить гостя, и кричу: «Войдите!».

Андрус появляется в проеме двери и застывает в неподвижности.

Я всегда избегала красивых мужчин. И не очень высоко их ставила. И еще я думала, что разучилась краснеть. Но тут я чувствую, как краска заливает меня до ушей.

В полумраке зимних сумерек Андрус кажется не живым человеком, а каменным изваянием, какой-то удивительной скульптурой.

Я отступаю к окну, как дошкольница, которую пытаются показать чужому дяде.

— Успокойтесь, — слышу его голос, — я помогу вам вернуть рисунки! Успокойтесь, прошу вас. Я ведь всегда любовался вашими рисунками — с раннего детства, и в школе, и всю жизнь. Когда я узнал, что ваша мама собирает эти рисунки, роется в старых газетах и в помойном ведре, я... Да это и неважно! Одним словом, я понял, сколько боли вам причинили! Я должен был догадаться, что в один прекрасный день вы захотите их вернуть... Я еду в Париж. И мог бы взять вас с собой. Я еду на машине. Визы — на моего приятеля, а он сломал ногу, так что переоформим на вас...

Париж? Снова Париж?! И я могла бы еще раз прогуляться его улицами, побродить по станциям метро?.. В каждом городе у метро совершенно особый запах, как у кожи каждого человека. Но вдыхать его можно только вблизи. Я не хочу осматривать парижские достопримечательности, но я чувствую, что хочу еще раз вдохнуть запах этого города. Как запах самого близкого человека. А там будь что будет!..

— Спасибо, — неожиданно для самой себя произношу я. — Когда выезжаем?

— Прямо сейчас, — Андрус начинает говорить быстро и деловито. — Мой друг вечером отправляется в Финляндию, завтра утром швейцарская виза будет переоформлена, друзья дадут факс в посольство...

— Почему в Финляндию? — беспомощно лепечу я.

— В Эстонии швейцарскую визу получить негде. Латыши и литовцы могут получить ее в Риге, эстонцам приходится ездить в Финляндию, — терпеливо объясняет Андрус. — Не беспокойтесь: пообещал — сделаю. Я вам не художник какой-нибудь!..

С трудом, наконец, понимаю, что выезжаем действительно прямо сейчас, но на какой-то другой машине. И направляемся пока что в Таллинн...

Торопливо прощаюсь с родителями. Они слишком поражены, чтобы радоваться или протестовать...

1. Начало

Давняя таллиннская знакомая, почти подруга, узнала, что я собираюсь в Париж. Взрыв зависти и экстаз уступают место настойчивым поучениям:

— Ты хорошо знаешь своего спутника? Помню, совсем недавно ты говорила, что ни у одного из твоих друзей нет машины.

— Две недели, — лепечу я в ответ и, видя в глазах приятельницы сочувственный испуг, торопливо добавляю, — это машина у него всего две недели, а дружим мы с детства.

Правда — а что я знаю о своем попутчике? Спортсмену положено быть бесчувственным болваном, но Андрус почему-то не таков. И это меня злит. Его деликатная улыбка бесит меня, а пронизывающий насквозь взгляд превращает в подростка. К тому же несколько раз я замечала на его лице это особенное выражение — то самое, которое давно ненавижу. Я всех мужчин презираю. Особенно спортсменов. Эстонских спортсменов — тем более. От того, как они хотят женщину, меня с души воротит. Тошнит. Не хочу, чтобы меня хотели! И не хочу ничего другого — ни любви, ни страсти, ни верности!...

Но не говорить же все это приятельнице. И я отвечаю:

— Это соседский парень. Ну да, всего-навсего сосед, так что не волнуйся!

Однако почти-подруга сверлит меня недоверчивым взглядом:

— Машина? Две недели? А водить-то ее он умеет?

Назавтра я задаю вопрос почти-подруги Андрусу:

— Вы говорили, что машина не обкатана, хотя и старая. Отчего же она не обкатана? Вы вообще умеете ездить, как положено в Европе?

Он делает круглые глаза, однако отвечает:

— Я гонщик-раллист, состязался на европейских трассах. До этого занимался мотоциклетным спортом, был чемпионом Эстонии...

— Так что же вы мне раньше не сказали?.. Вы же, выходит, сказка тысяча и одной ночи, почему я ничего не знаю о вас?

— Не знаете потому, что не хотите знать, — бурчит он в ответ, не улавливая моей издевки. — Ничего не хотите знать, кроме своих рисунков, кистей и карандашей. Пропавший горшок красок для вас важнее, чем человек, с которым вы решили поехать в Европу. Человек вас интересует только намалеванный на бумаге...

Я молча скрежещу зубами. Я уже дала себе слово, поклялась, что не стану сердиться на шофера. Тем более на спортсмена. Этот человек и в самом деле всего-навсего... шофер. Шофер — и больше ничего. И именно такой мне и нужен. Именно такой человек и именно такой рейс. Тупой и заурядный.

С Размиком я ни разу не ездила на машине. Размик, конечно же, и водить-то не умел. Он и не пытался получить права. Как и многое другое. Он избегал любой физической деятельности, которую можно было назвать спортом. Гулять было слишком спортивно. Плавать — тоже, особенно в холодной воде. Излишне спортивно распахивать в мастерской окна. И совсем уж грех — восхищаться телосложением какого-нибудь спортсмена. Восхищаться можно было только скульптурой. Разрешалось восхищаться также картинами и рисунками...

Но вот теперь этот когда-то нескладный соседский парень сидит передо мной в позе, которая получше даже поз Родена... Какое сочетание силы и гибкости! Его тело звучит красноречивей и восхищает больше, чем любая скульптура...

Время от времени он рассказывает мне о том, что зимой путешествовать на машине — сущее безумие, дороги паршивые, опасности на каждом шагу, денег в обрез. И я все больше недоумеваю — отчего он не отказывается от поездки? Неужели только оттого, что раз мужчина пообещал, он сделает? Чтобы доказать, какой он гордый, упрямый и крутой?

Нет, ни на один вопрос я не нахожу ответа. Даже на такой: согласится ли покупатель вернуть хотя бы часть моих рисунков. Как я и ожидала, четверть суммы, полученной родителями, уже ушла на оплату квартиры и возврат долгов. Отец с дрожащими губами обещал снова влезть в долги, — а там хоть в долговую тюрьму! Было странно, как прерывался голос у него, обычно такого самоуверенного. Я испуганно заверила, что покупатель, вероятно, вернет не больше половины картин. Сама я не очень-то и верила в это. Теперь придется оценивать каждый рисунок отдельно, торговаться из-за каждой работы. Это было бы мучительно...

И все же в путь я собиралась без колебаний.

... И вот одним прекрасным утром мы с соседским парнем оказываемся в одной машине.

К своему изумлению я нахожу в ней собственный рисунок еще детской поры. Карандашный портрет Андруса красуется на почетном месте — там, где обычно раскидывают ноги полуголые девицы из глянцевых журналов. Я вдруг с удивительной четкостью вспоминаю, при каких обстоятельствах я сделала этот портрет. Надоедливый парнишка доставал меня нудными разговорами о том, что ему хочется иметь какой-нибудь мой рисунок на память, что он должен будет переселиться в другой город, к тетке, поступать там в техникум и прочее, и прочее... Все это напоминало какой-то индийский фильм, оттого и запомнилось. Меня как раз опять кто-то оскорбил в тот день, пройдясь насчет моей долговязости. Или рано развившейся груди? или обидчивости? — меня оскорбляли при каждом удобном случае. Нытье соседского парнишки было последней каплей в ряду раздражителей этого дня, и, в конце концов, я истерически расхохоталась, так что у парнишки глаза расширились — ну точь-в-точь как у индийской красавицы, став неожиданно глубокими, укоризненными и странно мудрыми. Я подсознательно изобразила то, что увидела...

Я сунула тогда рисунок мальчишке, чтобы не выслушивать его нытье. Мне хотелось домой, в свою комнату. Но в этот рисунок я вложила свое отчаяние и тоску по счастью. Я не отдала бы рисунок, если бы поняла это. В фантастическом этом портрете уже было то, что сейчас заставляло меня тосковать по проданным картинам. Подросток Андрус... Что-то я вложила в него, какую-то странную тайну. Я хочу понять, я должна понять, я обязана понять...

— Отдайте мне этот рисунок! — тоскливо сказала я.

— Вот же он, у вас, — терпеливо улыбается Андрус. — Пристегните ремень.

— Он мне нужен насовсем... очень нужен... Приколите вместо него голую девку, как все нормальные шоферы, — настаиваю я, безнадежно путаясь в ремне безопасности.

— Значит я ненормальный шофер, — иронически откликается Андрус. — Скажите, у вас с ремнями всегда такие проблемы?

— Зачем он вам?! Я вам сто портретов нарисую лучше этого. Эта мазня нужна мне самой. Понимаете, она напоминает мне мои первые шаги в искусстве или как бы это вам объяснить...

— Объясняйте, как хотите; портрет вы получите только в комплекте с машиной и водителем....

Я поперхнулась, впервые отчетливо осознав вдруг, что отправляюсь в долгую поездку с мужчиной, которого толком-то и не знаю. Самое время дать задний ход.

— Если вы на что-то рассчитываете, — лепечу я, — мне жаль, что я сразу не предупредила, я очень извиняюсь... По нашему городку ходят обо мне соблазнительные сплетни? Мое скандальное прошлое?... Но я совершенно холодна, и мне это все противно...

В ответ он разражается хохотом, который пугает и изумляет меня:

— Ах, вам противно? Совершенно противно? И что же это вам противно?

— Противно то, о чем вы говорите... на что рассчитываете, — с решительной откровенностью заявляю я.

— На что я рассчитываю, не вам знать, — неожиданно серьезно возражает он. — Но о вашей великой любви к одному проживающему в Париже художнику действительно известно всему нашему городку. А может, и Таллинну. Вам же из Парижа — да, именно из Парижа, не так ли? — звонили постоянно. Вас разыскивали утром, днем и вечером по разным адресам. Неужели вы надеялись, что эта потрясающая новость не разойдется по всему городу? Такая история для наших сплетниц послаще мексиканских сериалов! Роскошная любовь, богатый любовник, которому наплевать на счета за телефон! Так ведь?

— Я могу спать только с мужчиной, которого люблю, — на одном дыхании выпаливаю я. — И какая разница, где любить — в Париже или...

— Или в автомобиле, — издевательски договаривает он.

— Немедленно остановитесь! — гневно кричу я и лихорадочно начинаю бороться с дверцей. — Сказали бы сразу, что вам необходим предмет для постельных развлечений. Я согласилась ехать только ради моих рисунков...

Андрус останавливает машину и иронически наблюдает мои усилия.

— Чтобы открыть дверцу, надо вытянуть штифтик возле вашего правого плеча. Полагаю, вы сидите в машине в третий раз в жизни, иначе, по крайней мере, знали бы как выйти. А напоследок скажу вам, что и я недавно потерпел любовное крушение и тоже могу заниматься сексом только с любимой женщиной. А теперь можете выйти и «голосовать», чтобы вернуться в город. Или отправляйтесь в аэропорт, он тут неподалеку, и прямиком покупайте билет до Парижа.

Я закрываю глаза. Меня охватывает жгучий стыд.

Зачем я все это выкрикивала в лицо Андрусу?

Но что же — выходит, как женщина я его ничуть не интересую?

Конечно, я не способна увлечь ни одного мужчину из нашего городка. Тем более такого, который учился со мной в одной школе, наслушался про меня всякого и, вполне возможно, сам злословил за моей спиной..

Ну и прекрасно — в таком случае долгий рейс действительно безопасен — мы всего-навсего приятели-попутчики. Чего еще мне желать?

Но я ловлю себя на том, что все-таки разочарована. Даже ... убита. Ежу понятно, я снова выбракована, как в детстве.

И меня охватывает безнадежная тоска, избавиться от которой не в моей власти. Отчаяние детства вновь обступает меня, и я совершенно беспомощна...

— Так вы сойдете, или мы едем? — осведомляется Андрус самым деловым тоном. — Если остаетесь в машине, будьте так добры, пристегните ремень.

— Я не умею, — лепечу я, чувствуя себя таким же посмешищем, как в школе, на уроке физики, когда меня вызывали к доске. Я не могу себя заставить еще раз неловко возиться с ремнем, словно слабоумная. Именно сейчас я больше, чем когда-либо, разделяю ненависть Размика ко всем машинам.

— Ну, это горе мы переживем, — весело и успокоительно заявляет Андрус. — Ремень, в самом деле, пристегивается туго; машина старая, у нее свои капризы...

— У вас тоже...Зачем тут мой рисунок? Ну, зачем, скажите мне, — беспомощно выдавливаю я из себя какую-то бессмыслицу, тщетно пытаясь противиться чему-то непостижимому, надвигающемуся на меня...

— Этот рисунок всегда при мне. Он — мой талисман, — тихо отвечает Андрус и смотрит мне в глаза. Его лицо очень близко, руки, деловито поправляющие ремень, почти обнимают меня, хотя на самом деле он меня не касается. Но я все равно ощущаю тепло и силу мужской руки...

Я поспешно зажмуриваюсь, чтобы хоть так спрятаться. И пытаюсь убедить себя, что это чувство равноценно случайному ощущению в автобусе или метро, когда близость соседа вдруг ненароком пронзает электричеством все твое тело. Чаще всего эти контакты просто противны, ведь обычно прижаться к женскому телу норовят пропахшие алкоголем и грязью мужики. Им все равно, кого прижать. Но есть любители случайных эротических ощущений и среди приглаженных, аккуратненьких маменькиных сынков. Женские груди и бедра в автобусной давке дарят им нечаянный оргазм. Я приучилась безошибочно различать этих любителей острых ощущений. Тех, которые в переполненном автобусе стараются внедриться в самую гущу распаренных тел и как бы невзначай придвинуться к тебе поближе...

Андрус старается держаться подальше, но он электризует меня. А я ведь давно уже научилась избегать мужчин, которые меня возбуждают, но которых я не собираюсь любить... Вот именно — не собираюсь! Не нужна мне никакая любовь с первого взгляда. Мне нужен человек, который разделял бы мои художественные пристрастия. Мне нужен человек, который ни в коем случае не будет спортсменом, ни в коем случае не будет шофером и уж конечно не будет таким, как этот недавний неловкий парнишка, мой сосед, которого я просто не замечала... Наверно, давно я не ощущала близость мужской руки, если один только намек на прикосновение выбивает меня из колеи. Беглая ласка, которую нормальная женщина даже не заметит. Унизительно, что это заставляет меня сжимать зубы и ощущать тяжесть внизу живота. Боль-

ше четырех месяцев воздержания — и вот... Только бы он не заметил! Желание без любви — и долгий рейс впереди...

Все, хватит, пора кончать. Если уж такой, как Андрус, вызывает во мне сладострастную дрожь, пришло время искать себе любовника. Никакой любви, только секс. Хотя бы стареющий Казанова, раза два в месяц — исключительно для здоровья, как говорят опытные женщины. Или нетребовательный спонсор. Где-то пылится мой блокнот с телефонными номерами... Наверно, найдется сотня, нет, тысяча мужчин, чьи руки заставят меня трепетать так же, как сейчас руки Андруса. Какие неисчерпаемые возможности эротического разнообразия! И как просто... Мужчин в мире навалом, выбирай — не хочу! Если ты ищешь только мужчину. Не любовь.

Но тут я вспоминанию непреодолимое омерзение, с которым листала порнографические журналы. Все для того, чтобы объявить любовь выдумкой — все эти журналы с девицами, высовывающими влажный язык. Я завидую тем, кто с помощью этих фото и соблазнительных воспоминаний сумел уберечься от изматывающей душу любви. Описание одной позы, другой — да ведь в любовной лирике несравненно больше возбуждающего! Все эти эротические журналы — жалкий, убогий мир, из которого ушла любовь и который пытается заточить вас в бездушную бессловесную похоть, словно в немое замкнутое пространство, в котором и в помине нет ни тоски, ни мечты, ни будущего. Есть только закрытая камера, полная принудительной власти тела над душой. Разглядывая эти телесные потуги, в которых к половым органам не требовалось добавлять даже лица, не говоря уже о личности, я всегда чувствовала себя глубоко верующей жрицей любви, которую пытаются заставить отречься от символа веры.

И вот Андрус играючи добился того, чего не могли добиться самые откровенные эротические описания! Я испытывала желание вне любви и независимо от любви. Мне хотелось голого секса — пусть потом придет отвращение, лишь бы не угрызения совести. Меня мутило от желания, которое подчиняло себе тело и мысли, словно музыка и стих...

Нет, но только не Андрус, этот соседский зануду и спортсмен!. Видеть над собой его торжествующий взгляд мне было бы невыносимо...

— Вы часто бываете в борделях? — начинаю я обороняться от самой себя, чувствуя при этом почти физическую боль.

— Налево или направо? — бросает он.

— Что значит — налево или направо? — недоумеваю я.

Он безнадежно машет рукой:

— Вы должны следить за дорожными указателями и читать карту. Мы же с вами не раз говорили об этом до отъезда. А в борделях я не бывал. Как-то в Париже сходил на стриптиз, танцовщицы были старые, тощие и унылые. Ну никакой эротики!..

— Я не умею водить машину, не умею читать карту, и шлюхи из меня не получится, — упрямо бормочу я. — Последний момент поворачивать домой.

— Последний момент упущен, — небрежно поясняет он. — Спонсорские деньги получены, я не могу подвести тех, кто мне помог, и моих друзей. Все, что я должен сделать по линии спорта, я сделаю. На это нам и денег и дали. Хотите домой, поезжайте автобусом.

Нет, — конечно, к автобусу я не пойду. Лучше замереть, окаменеть — ни слова более, ни одного провокационного вопроса...

— Налево или направо? Когда ты, наконец, начнешь следить за указателями?! — орет Андрус.

— Разве я разрешила тыкать мне?

— Люди на спасательном плоту между собой на «ты», а мы с тобой в огромной Европе — это все равно, что на спасательном плотике посередь бурного моря, — его голос, словно по волшебству, становится спокойным и обворожительным. — В авторалли экипаж состоит из двух человек. Штурман читает карту и следит за дорожными указателями, водитель рулит. Мы же договаривались. Одному мне со всем не справиться, тем более, что вы вообще не водите машину. Особо внимательным следует быть, когда проезжаешь через город.

— Тоже мне город, деревушка какая-то, — обиженно возражаю я.

— Тем не менее, мы уже сбились с дороги. А в большом городе, если я один буду работать, потеряем еще больше времени.

— Вы говорите это так, будто только что узнали, что я не вожу машину, — почти беззвучно шепчу я. — Кто умеет водить, тот умеет и читать карту. А я в этом такой же профан, как и в вождении.

— Ну конечно, вам лучше всего дремать на заднем сиденье! А негр пусть крутит баранку, — неожиданно заводится Андрус. — Что ж, будет у вас и негр, будет и заднее сидение — вот только научитесь сперва продавать свои картины, а не разбрасывать их по мусорным ящикам. Это честнее, чем сидеть на шее у родителей. Жива, здорова, слава Богу, не калека, — все больше свирепеет он. — Вы презираете спортсменов? Может, мы и хуже вас, только у нас не принято на чужом горбу въезжать в рай. У спортсменов есть мышцы, есть чем шевелить. И мы сто очков вперед дадим всем этим художникам, всем этим эстетам, которые все презирают и требуют, чтобы другие таскали для них каштаны из огня...

— Я не разбрасывала картины, я не знала, я не смотрела... Я просто рисовала, — лепечу я, чувствуя, что не могу объяснить свое странное поведение. — Я... я... тогда не знала, что захочу их вернуть...

— Выходит, куча долларов открыла вам глаза, и вы надеетесь на еще бóльшую кучу. Собираетесь торговать своими картинками самостоятельно, без посредников? — продолжает грубить Андрус.

— Почему торговать? Какая торговля? Я не знала, что они мне так нужны... это так странно... И этот рисунок, ваш портрет, здесь, в машине... в них есть что-то общее. Я не могу расстаться с ними, тогда я перестану рисовать, совсем разучусь... снова наступит пустота, как между вашим детским портретом и этими фантастическими миражами... Я не вынесу ждать столько лет, прежде чем это снова настигнет меня...

— Что «это»?! Нам направо или прямо? — злится Андрус. — Мы опять промахнулись. На автобане мы так потеряем десятки километров: там негде повернуть.

— Вы сами спросили... — я опять унижена.

— Если вы способны следить за дорогой только молча, то будьте любезны молчать, — обрывает меня Андрус. — Иначе мы и до польской границы не доберемся...

— Направо! — неожиданно для себя рявкаю я.

Андрус реагирует молниеносно. Однако через несколько метров останавливает машину, чтобы лично изучить указатель.

— В самом деле, теперь к границе надо ехать этой дорогой, — он явно доволен. — А из тебя выйдет толк; мы еще составим вполне приличный экипаж...

Вот уж в чем я не уверена. Не выношу, когда повышают голос. Меня раздражает, когда родители кричат на детей, жены на супругов, контролеры в автобусе на пассажиров. Все эти крики меня убивают. Но теперь мне некуда от этого деваться. И так будет день за днем, час за часом, минута за минутой. Похоже, Андрус считает себя вправе повышать голос и злиться, а мне, естественно, остается роль жертвы. Да с этим человеком нельзя было садиться в одну машину...

— Здесь очередь , — вдруг произносит Андрус, указывая на строй машин впереди, — до границы четыре километра. Пойду, прогуляюсь, погляжу, нет ли впереди эстонцев.

Он уходит, и я остаюсь одна. По сторонам дороги темнеет лес. Длинный и терпеливый ряд машин так напоминает советские времена, утомительные очереди за дефицитом, что сердце сжимается. Надо было захватить валидол. С Андрусом и у здорового прихватит сердечко.

А все ли в порядке с моим сердцем, я и сама не знаю.

2. Первое возвращение в прошлое. Свадьба

Андрус исчезает в направлении литовско-польской границы. А я понимаю вдруг, что с его уходом мне становится как-то неуютно. Похоже, я отношусь к этому знакомому с детства соседскому парню уже чуть ли не по-родственному — по-сестрински, по-матерински, что ли, не важно. И потом он, конечно, мужчина, с которым чувствуешь себя защищенной. Даже отправляясь в Париж...

Но, собственно, что это я так паникую? Ведь я не в гости к Тиграну еду, не собираюсь вернуть Размика...

И все-таки — куда я еду? Зачем?...Нет, пусть только Андрус появится, немедленно потребую отправить меня назад. Вернусь в свою таллиннскую квартирку.Оказывается, я снова тоскую по ней. Это в ней по возвращении из Парижа, укрывшись в одиночестве, я сумела пережить самые тяжелые первые месяцы: только что у меня было все, теперь вдруг — ничего. Париж ведь — город, где чувствуешь себя в центре Вселенной. А из моей таллиннской квартиры Париж казался невероятным, обманчивым миражом, сама же квартирка — краем света, до которого, к счастью, никому нет дела. Ни моим родителям, которые были убеждены, что я в Париже. Ни Размику, потому что путь от центра мира до края света непреодолимо долог. Ни его хлыщеватому братцу Тиграну...

В детстве столица Эстонии казалась мне солнцем, вокруг которого должны были вращаться все прочие города. Но побывав и в миллионом Париже, я обнаружила, что Таллинн — это край света, и теперь наслаждалась тем, что живу там. Наверное, такое же потрясение испытал Коперник, выяснивший подлинные отношения между планетой Земля и звездой Солнце. В родном городке я была готова молчать о своем открытии, так как муки, которыми меня методично подвергли бы за это, были бы почище пыток Святой Инквизиции. Чего мой городок не знал, того и знать не следовало. Это было дурное, лишнее знание.

...Я никого теперь не ждала. Впервые часовой механизм времени перестал тикать. Время больше не поддавалось измерению, жизнь застыла на месте. В таллиннской квартире я стала четче постигать мгновения, ситуации, перемещения — и самое себя посреди всего этого. Я больше не терзала себя надеждой и страхом, любят меня или нет. Какое значение, в конце концов, это имеет, если я сама вырезала себя из ожидания, как отрезают от торта самый соблазнительный, украшенный кремовой розой кусок! Я больше не присутствовала ни в Париже, ни в жизни Размика. Из его любовного торта, возможно, стащили самый лакомый ломтик, но ведь остались все прочие ...

А у меня отобрали все. И, следовательно, ничего. Размик не гулял со мною по Таллинну, был совершенно неизвестен моей квартире. Мои домашние вещи не помнили его и тем помогали мне защититься от отчаяния. Все будничные шевеления были словно болеутоляющие таблетки. Я постоянно торчала на кухне, а Размик там никогда не бывал. Я ставила кофейник на электроплиту без Размика. Молола кофе в ревущей кофемолке без него. Его не было, не было, не было — пока я хлопотала, двигалась, наливала, варила...

Он появлялся только в ночной темноте, когда знакомая квартира больше не спасала меня. Ночью все комнаты одинаковы. Моя кровать

так похожа на парижскую; ночной крик на улице напоминал вопли негра перед мастерской Размика. Я просыпалась и проклинала свет фонаря за окном, заставлявший меня путать Таллинн с Парижем. Точно такой же световой узор на паркете, такие же лучики... Нет, надо повесить более плотные шторы, зажмурить глаза, уткнуться в подушку, накрыться одеялом. Отчего бы мальчишкам не расколошматить этот фонарь, если уж они забросали камнями большинство уличных фонарей в Эстонии? Такие опасные дети. Ничего себе воспитание! И это в Ласнамяэ, самой интернациональной части Таллинна...

И все же втайне я надеялась, что Размик переживает потерю еще болезненнее. Надежда эта была моим единственным утешением. Я постоянно присутствовала в повседневной жизни моего армянина; его жена Гаянэ так же напоминала ему обо мне, как я — о семье. Я входила в его владения, во все его мастерские — в Москве и в Париже. Я ночевала в святая святых его творчества как наваждение, как призрак. Я была атрибутом его ателье — как его страсть к живописи, его вдохновение, все его холсты. Я очень надеялась, что принадлежу к его миру — неотъемлемой частью. Но ее, в конце концов, все же грубо удалили. Так в огне пожара свертываются и жухнут холсты, а потом уничтожаются краски. Алкая мести, я надеялась, что лишила его способности творить. Хотя бы на неделю. Хотя бы на часок. Нелепая надежда, бессмысленное желание.

Мой дом, место, где я творю, были неприкосновенны. В этом было мое преимущество.

К сожалению, единственное.

...Я лишилась Парижа. Потом — Таллинна. А вернувшись в родной городок — лишилась и работы. Лишилась знакомых... Это Размик своими звонками из Парижа разрушил мои привычные связи. Я уже не могла войти в квартиру, где совсем недавно ждала международного звонка: пришлось бы объясняться, растолковывать и — что труднее всего — вспоминать. Общаться такой ценой не хотелось ни с кем.

Оттого я была одна. Одна-одинешенька. Среди своих соотечественников, на родине, в среде родного языка. Я казалась себе заговорщицей — против спокойного семейного патриотизма эстонцев. Мой космополитический заговор провалился, как большинство попыток сокрушить существующий строй. Но не каждая такая попытка непременно проваливается, и я была опасна. По крайней мере, мне так казалось. Слишком много со мной случилось такого, что увело меня далеко от того образа жизни, который существовал в нашем городке.

У нас чтили надежность, постоянство, неизменность. А еще больше — профессию, передававшуюся из поколения в поколение. Надо было вести себя так, чтобы не посрамить свой род — сапожников, портных, зубных врачей... Что бы там ни было, место жительства и профессию

надо было сохранять, как и родной язык. Все чрезмерно подвижное казалось у нас подозрительным, неуместным и, возможно, преступным.

Мой отец был учителем — как и его отец и дед. Уже несколько поколений моих предков обучали детей. Почтения к учительскому труду не смогли сломить ни низкое жалование, ни гнусные власти. Я была из учительской семьи. В нашем городке это почти что приравнивалось к дворянскому сословию и налагало определенные обязанности. Обедневший дворянский род; обнищавший учительский род — в своем вечном стремлении сохранить достоинство независимо от обстоятельства и отсутствия денег они так схожи!

Еще в школе я помнила, что я — учительская дочь.

Мой отец работал на другом конце города, но это не имело значения. Я была дочерью учителя, мне и вести себя полагалось как дочери учителя, нести ответственность, справляться, напрягаться, лезть из кожи вон. И я уступала. Чему? Этого не передать словами. Надо было поступать так, как поступали праотцы. Это должно было впитаться в кровь — иначе тебя признают ублюдком, отступником, изгоем. Порядочный человек не меняет профессии и жилья так.

Миллионный малый народ относится с естественным недоверием к народу, только в столице которого проживает в десять раз больше людей. Этот народ непонятен своей громадностью; от него можно ожидать чего угодно. Великий народ завоевывает малые народы с такой же естественностью, с какой малый народ боится многочисленности народа великого. У таких гигантских масс не может быть настоящего чувства родного дома: их родина чересчур велика. Не может быть истинного уважения к родному языку, так как на нем говорят слишком многие

Чтобы выжить, малому народу приходится быть сдержанным, стойким, оседлым. Поездка из Тарту в Таллинн всегда считалась у нас долгим путешествием. А из Выру — и вовсе паломничеством. Чисел не называли; в беседе просто упоминалось о «долгом путешествии». Тот же самый эстонец мог проехать всю Америку и Австралию, там он называл короткими куда бóльшие расстояния. Дома, в Эстонии, он сразу переходил на местную систему мер. Дома на мир смотрели в увеличительное стекло подзорной трубы, за пределами дома — в уменьшающее. Иначе родина показалась бы устрашающе малой, невыносимо крошечной. Дома путешественник обязан был жить по другой шкале расстояний — иначе он встретил бы отчуждение, недоумение, из путешественника мигом стал бы бродягой, подобным представителям некультурных кочевых народов. Ибо для эстонских домоседов величайшая культура состояла в том, чтобы всегда хвалить свою родину и родной язык — без колебаний!

Городок исторг меня гораздо раньше, чем я сама сумела отделить себя от городка. «Ты какая-то странная, вот и мать моя говорит...», —

осуждающе заявляли мои одноклассники, разглядывая меня с головы до ног.

Меня считали приблудной, хотя пока что я ни разу не странствовала. Какая проницательность кроется в малом народе! Они нутром чуяли во мне что-то непривычное и опасное, ибо все выбивающееся из навсегда заведенного порядка — враждебно.

Я была непохожей — и оттого очень несчастной. Настолько несчастной, что устала от этого своего несчастья и стала совершенно бесчувственной, угрюмой, безликой. Меня можно было уложить в две фразы, краткие, как инструкция к скверному шампуню: «Ах, эта мазилка! Та, у которой пальцы вечно в краске!»

Много лет спустя я узнала, что цвет моих волос дьявольски обворожителен. В школе помнила совсем другое — рыжая. Это всегда посмешище. Но я не пыталась красить волосы. Я считала себя настолько безликой, что и напрягаться бессмысленно. Я напрягалась иным способом — рисуя, так как всю девичью пору была бесполым и бесцветным существом. Слишком длинная, слишком тощая, слишком рыжая и постоянно углубленная в свое рисование.

Однако насмешники охотно позволяли себя рисовать. Я была известна всей школе как рыжая дылда, которая способна мигом сварганить картинку. Простых портретов я не делала, мне это было скучно. Я глядела на стыдливо потупившегося пацана и рисовала его капитаном корабля в бушующем океане. Плакса превращалась у меня в Золушку на балу у принца. Разумеется, такая художественная манера приносила мне популярность и большие шоколадные плитки от благодарных мамаш. Но я рисовала их потомков благородными, отважными и прекрасными вовсе не из любви к шоколаду. Мое тайное желание было видеть их именно такими. Я бы отказалась от самой большой на свете коробки шоколада, если бы благодаря моей картине злая недотрога стала неземной прелестью. Но злючка оставалась злючкой, хоть мне и удавалось уловить лучшее, что было в ее облике — мимолетную улыбку, ту возможность добра, которую загубили в корне, не дав расцвести. А мои модели верили, что навек останутся такими, какими я увидела их однажды. Это не делало их добрее — скорее наоборот. Мой рисунок казался им индульгенцией, обещающей, что они и впредь будут так же прекрасны, а значит — позволял смотреть на все свысока, презрительно и недобро. Особенно на все то, что не могло похвастаться такой же красотой. Например, на меня, рыжую мазилку.

Со временем они стали предъявлять вполне определенные требования: Одна хотела видеть себя победительницей конкурса красоты, другой — чемпионом по боксу, третий — астронавтом... Я наслаждалась придуманными мною картинами и полученными в награду конфетами, печеньями, яблоками, бананами, булочками с изюмом и пирожками.

В нашей семье сласти считали излишеством и к тому же вредной для детских зубов пищей. «Держи, рыжая!» — небрежно протягивали мне заработанные лакомства, замечая лишь рисунки, не меня. Само собой разумеется, меня не приглашали к именинному столу, хотя чаще всего просили рисовать именно ко дню рождения. Меня равнодушно благодарили: «Спа-а-сибо, клево получилось!», «На, держи конфету!» Тон и слова звучали презрительно. И все же они шли ко мне — почти вся школа, и старшие, и младшие. Презрительные гримасы и снисходительный тон, словно мерный ритм шаманского бубна, спасали их от необычайного. Они нуждались в моих картинах, ибо любопытство не давало им покоя. Но они отгораживались от меня своим презрением, так как не знали иного способа спастись от того, что их страшило.

В городке с незапамятных времен привыкли избегать всего непривычного. Рисовать картинки — странное чудачество, дело несолидное и непочтенное. Самые популярные личности в школе бумагу не марали... Это же смешно — рисовать без передыху, как дошколенок, который постоянно пачкает бумагу. Вечно у нее пальцы в краске, как у маленькой — даже на выпускном балу...

Многочисленные подруги матери отпускали шпильки по поводу моего роста, пальцев, перемазанных в краске, и несомненной участи старой девы.

Мать порою пеняла мне, что своей детской манией художества я сама испортила себе жизнь. А жизнью для матери и для всего городка считалось замужество. Матери взрослых дочерей открыто о замужестве не говорили — боялись сглазить. Я была исключением: обо мне можно было говорить открыто, все равно у меня не было никаких видов на брак.

— Да, сама все испортила, — причитала мать, — заневестилась уже, а пальцы все еще в пятнах. Тоже мне Микеланджело объявился! В нашем роду художников никогда не было, ты нас только позоришь... Разве из тебя выйдет педагог?! Кто такой малолетке, помешанной на красках, доверит учить своих детей? Тебе бы только нянечкой в детский сад — да и туда не всякую примут. Все рисуешь да рисуешь, а зачем? Картинки у тебя такие странные... Чтобы стать художником, нужен большой талант. Ты бы лучше вышивала или вязала, это для женщины полезное занятие. А картинки малевать — оставь это детям.

Добрые тетушки безнадежно вздыхали. В голубеньком платье из магазина я выглядела совершенно бесформенной, оно меня ничуть не украшало.

Покинув родной городок, я вскоре научилась избегать готовых платьев голубого и любого другого блеклого цвета, которые у нас носили все барышни — это считалось признаком хорошего вкуса. Яркие же тона считались кричащими и пошлыми. Алое платье могла надеть разве что шлюха. Насыщенный лиловый цвет свидетельствовал, что жен-

щина готова пуститься во все тяжкие и у мужа вот-вот прорежутся рога. Бледно-розовый годился только младенцам. Черное надевали исключительно на похороны. Преобладали серый, коричневый, скучный темно-синий. Женщины носили юбки до колена — ни короче, ни длиннее. И вместе с тем охотнее всего в нашем городке выписывали именно журналы мод. Место, где я родилась, было неопровержимым доказательством того, как бессильны журналы против унаследованного от предков «глубокого хорошего тона». У нас читали и современную литературу, порою даже в оригинале. И тем не менее события и одежда в городке оставались такими же, как во времена наших прабабушек, которые только что перебрались с хутора в город и устроились продавщицами, горничными или швеями.

Я и в самом деле не могла в этом городке казаться привлекательной, так как поступки и тона, которые были мне к лицу, здесь никому не могли понравиться и никого украшали.

И тем не менее однажды — увы, только однажды — мне удалось добиться в родном городке искреннего уважения и внимания.

Сияя от счастья, мои родители многословно рассказывали всем знакомым — да и почти незнакомым тоже, что сватовство состоялось и даже назначен день пышной свадьбы. О том, чтобы учиться в столице на художника и прочей такой же ерунде, не было и речи. Мой жених потряс весь наш городок, и мне пришлось молчать, чтобы не подумали, будто потрясена и я.

Я в самом деле была ошеломлена той спешкой, с которой устроили мою помолвку и объявили самой счастливой невестой нашего городка.

Наконец-то я была избранной и мне завидовали.

Впервые мои бывшие одноклассницы снизошли до того, чтобы заметить меня. Стать невестой сразу же после выпускного бала — это считалось совершенно мистическим успехом даже для признанной красавицы.

Но главное — мой жених был одним из самых достойных восхищения горожан. Его и не надеялись увидеть вернувшимся в родные пенаты из долгих зарубежных поездок. Тармо Теэперв был чемпионом по борьбе среди юношей — сначала нашего города, затем республики. Позднее он исчез, отправился странствовать за границу. Родители Тармо говорили о его выдающихся успехах, хотя было не вполне ясно, каким образом он заработал такие деньги — выступая в турнирах профессионалов, в бродячем цирке, или занимаясь чем-то похуже. Во всяком случае, чуть приплюснутый нос богатыря свидетельствовал о его героическом прошлом, а кожаные куртки вызывали зависть у самых лихих сердцеедов нашего городка.

Я впервые ловила на себе любопытные и уважительные взгляды парней. Должна признаться: этими взглядами я наслаждалась больше,

чем самим статусом невесты. Меня радовало, что хоть раз в жизни меня наконец признали равной. Для меня это было самым удивительным признанием. Бывшие и нынешние старшеклассницы щебетали, что Тармо «очень красив». Мамины подруги шептались, что он «очень богат». Комплименты и знаки внимания перемежались с завистливыми взглядами.

— Вот это мужчина! — говорила мне подруга, которая красовалась обычно на школьных вечерах в самом глубоком декольте. — Где только ты его подцепила? Какие мускулы! А вкус какой! Он что, выбирает невест по принципу контраста — чтобы еще больше красоваться на их фоне? Или вы обручены с колыбели, и он не может отказаться от тебя?..

— Нигде я его не подцепила, он сам меня подцепил, — серьезно отвечала я. — Совсем недавно...

— Не знаю, — отбивалась я. — Он, правда, говорит, что после немецких манекенщиц все наши девушки кажутся ему коротконогими: мол, задница чуть ли не по земле волочится. Не знаю, это он так сказал...

— По земле, говоришь, волочится? — презрительная улыбка подружки мгновенно угасла, словно на невысохшую еще акварель плеснули водой. И осталось бесформенное пятно.

Меня настолько поразило исчезновение с ее лица этой сияющей улыбки, что в утешение ей я даже выдала секрет Тармо: «Просто я напоминаю ему одну берлинскую манекенщицу, его большую любовь... Мои волосы и фигура...»

Но продолжить я не смогла. Школьная королева красоты, не в силах перенести такой удар судьбы, возмущенно заорала:

— Это ты — манекенщица? Это у тебя волосы и фигура?!.

Завистники утешались, предсказывая быстрый и плачевный крах этого совершенно неравного брака. Меня открыто утешали: мол, многие видные мужчины берут себе совершенно невзрачных жен — чтобы сделать из них домашних куриц. Надолго ли — это уже зависит от ловкости самой курицы. Бывают чудеса: неприметных женушек не бросают, потому что те соображают, как выносить все перепады мужниного настроения. Богатырям вроде Тармо нужны жены понятливые, чтобы дома был порядок, а прихоти свои они удовлетворят где-нибудь на стороне.

Я не понимала и половины этих намеков и только согласно кивала, чтобы поскорее избавиться от доброхотов. Чтобы не спорить с ними, я в пору своего предбрачного состояния прошла бесплатные курсы парикмахерского дела и поварского искусства, прослушала наставления, как одеваться, как пользоваться косметикой, как вязать. Наш город просто в восторге был от того, как сказка о Золушке становится былью; многие искренне желали мне добра, надеясь, что я сумею навеки удержать у родного очага самого шикарного плейбоя, честь и славу нашего городка.

Городские мамаши наперебой ставили меня в пример своим дочерям. Если замуж за богатыря выходит красавица, в этом нет ничего чудесного, это никого не удивит. Теперь же вдруг затеплилась надежда, что в нашем городке замуж смогут выйти и самые невзрачные, которым пророчили участь старых дев. Воистину благословен город, коль скоро в нем свершается брак, заранее объявленный раем на земле.

Мои родители подарили нам квартиру в Таллинне. Только позднее я узнала, что ради этого они продали приморский хутор моей бабушки, куда мы летом ездили отдыхать. Продажа наследственного хутора потрясла меня куда больше, чем сам процесс выдачи замуж. Странным казалось, что ради какого-то мужика, которого в нашей семье толком никто не знал — и я меньше всех! — они готовы пожертвовать таким исконным, родным, как наш старый хутор.

Вот тогда-то я впервые расплакалась. И конечно же мать плакала вместе со мной, сквозь слезы объясняя, что плачут все невесты и их матери. Но лучше жениха, чем Тармо, мне не найти, и ради этого она готова отдать все, что скопила на долгие годы, потому что счастье дочери — это и материнское счастье...

Так вот мы и рыдали вдвоем над этим странным счастьем, всю нелепость которого я тогда еще не чувствовала.

Поначалу, правда, присутствие моего суженого меня скорей угнетало. Я из кожи вон лезла, чтобы ему со мной не было скучно. И чем больше я старалась, тем чаще он позевывал. Постепенно я стала понимать, что Тармо оживляется, только пускаясь в воспоминания. Его истории, как правило, завершались поучительным финалом, дабы наставить меня на путь супружеской истины. Тармо повидал свет, и его решения следовало принимать как единственно верные.

Так что и невестой я знала о себе не больше, чем узнала от одноклассниц.

Это сегодня в мою жизнь вошли разные города, разные страны, люди разных национальностей. И теперь я могу считать себя многоглавым драконом — настолько различно то, что я видела, описала, возлюбила и возненавидела. Разные места и разные люди помогли мне — то за пару недель, то за несколько часов — ближе узнать самое себя, чем долгие немые годы в родном городе. Однако куда спокойнее прожить всю жизнь с одним-единственным лицом, а не с колдовским множеством обличий. Боюсь, что многие не смогли бы открыть себя ни в джунглях, ни в пустыне, ни в многомиллионном городе, потому что кроме того, что они нашли и увидели в родном городке, им нечего искать в себе. В самом деле, к чему рисковать — ведь можно утратить душевный покой, веру в себя и своих ближних, в справедливость, в целый свет...

Та школьная красотка, которая так завидовала моей удаче, и сегодня обожает родной город, хотя она и не поднялась в нем выше офи-

циантки из окраинного кафе. Но она радостно ходит на все традиционные сборы одноклассников, где вспоминают о ее триумфах и поклонниках. Большинство парней видит в ней свою юношескую любовь, а с остальными и говорить не о чем. Бывших поклонников не смущают ни цвет лица красотки, свидетельствующий о пристрастии к алкоголю, ни кричащие алые губы. Для наших ребят она была богиней — и останется ею до конца дней своих, даже если круг ее обожателей сократится до двух-трех особо верных, которых не смутят сальные шутки, отпускаемые в ее адрес завсегдатаями кафешки.

Точно так же я до конца жизни останусь в родном городе «мазилкой» и «дылдой», которую не стоит принимать всерьез.

Да и я сама в ту пору не принимала себя всерьез, иначе не торчала бы молча рядом со своим нареченным, всегда испуганная и услужливая. Самое смешное, что такой же пугливо услужливой я оставалась и в постели.

Более всего в период нашей помолвки угнетали меня постельные эксперименты. Я вспоминала, как покойная бабушка говорила моей маме, что порядочная женщина должна относиться к этой мужской забаве свысока, и не плакала, не жаловалась. Да и кому жаловаться? У нас в семье такие вещи не обсуждали...

Тармо, разумеется, был прав, говоря, что ни одна современная пара не вступит в брак, прежде чем не проверит себя на сексуальную совместимость. Его могучее тело потело надо мной, он был вполне мною удовлетворен и находил, что мы подходим друг другу. Меня всегда называли неловкой, неуклюжей и безрадостной — с чего же надеяться, что я смогу быть иной в темноте, в постели? И я была поражена не меньше, чем весь наш городок, когда Тармо Теэперв одобрил и утвердил меня в качестве своей невесты. Мне и в голову не приходило, что я-то — да, именно я — ничего как раз не одобряла и не принимала — ни своего богатырски сложенного жениха, ни понятия нашего городка о счастье и супружестве. Но признаться в этом, даже себе самой, было бы неслыханной наглостью.

В своем городке я не знала никаких иных способов существования, кроме немоты и отъединенности. И хотя задним числом моя помолвка кажется мне рядом постоянных унижений, именно Тармо Теэперв своим сватовством переменил все. Никто иной из парней жениховского возраста этого бы не сумел. Ну, возможно, с годами я бы смирилась и заставила себя полюбить какого-нибудь сапожника из нашего городка. В надежде, что человек, который умеет мастерить обувь, больше поймет в моих художествах, чем иной представитель благородной педагогической профессии. Но Тармо Теэперв превратил нашу помолвку в нечто необыкновенное. И самым необыкновенным было то, что на предстоящую свадьбу прибыл в качестве шафера молодой человек армянского происхождения.

Появлению армянина предшествовала долгая речь моего суженого. Еще длиннее, чем его обычные назидания. Но в них мои родители находили столько жизненной мудрости! А тут вдруг я услышала от своего умного, красивого и богатого жениха длинные и сбивчивые извинения. Тармо Теэперв счел своим долгом — слушайте! слушайте! — извиниться за то, что на истинно эстонскую свадьбу прибудет один иностранец. Конечно, называть армянина оккупантом несколько неуместно, однако говорит-то он по-русски. Выходит, всю дорогу на свадьбе должна звучать русская речь? Тосты там и все такое. Но ведь рот армянину не заткнешь, а этим самым армянским никто из нас не владеет. Так что испытание будет нелегким...Тармо все, конечно, понимает, но он просит невесту, то есть меня... Это его первая такая просьба. Так сказать, проверка невесты на гуманность. Во всяком случае, брат этого самого Размика, Тигран, тоже из борцов, в Париже крепко выручил Тармо и даже чуть ли не спас ему жизнь. Каким образом? Мужской секрет! Нет, нет, обо всем рассказать нельзя даже будущей супруге; точнее, именно ей-то об этом знать и не следует. Женщине мужскую душу не понять. Но на свадьбу приедет не Тигран, а именно Размик, который живет в Москве, и он вовсе не борец, а наоборот, художник. У армян так принято. Брат представляет брата. Свадьба друга — праздник для всего рода...

— Не можем же мы за свадебным столом болтать между собой по-французски, если Размику известно, что мы знаем русский, — озабоченно говорил Тармо. Это — единственный язык, который поймет вся честная компания. Ах, другие гости? И ты? Да я знаю, что вы предубеждены именно против русского языка. Я ничуть не хочу, чтобы для моей невесты свадьба превратилась в пытку... Но эти армянские обычаи! Дружба для них — святое! Прислали телеграмму — выезжаю, мол — и все! Мне пришлось оформить ему приглашение, теперь виза у него в кармане... Конечно, твоя мать здорово не в духе: мол, что да почему, что за люди... Нельзя ли это переиграть? А что тут переигрывать? Он уже в поезде, на пути к нам. Завтра еду в Таллинн встречать его. Отчего раньше не сказал? Твоя мать... Наш городок... Ни один армянин в жизни не был оккупантом, но твоя мать... В общем, я в полной растерянности, и теперь все зависит от тебя, Рийна.

— От меня?! — я так ужаснулась, что даже руки задрожали.

— Твоя мать заявила, что вообще не умеет говорить по-русски. И странно, мол, ее подозревать в чем-то подобном! Можно подумать, я назвал твою матушку русской шпионкой! Школу-то она заканчивала в советское время и экзамены, между прочим, сдала на одни пятерки. И...

— Послушай, Тармо, уж я-то во всяком случае говорю по-русски хуже, чем мама. Я вообще не знаю по-русски... Ни слова! — закричала я в ужасе, чуя, что предсказания школьных красавиц начинают сбываться и от меня еще до свадьбы требуют чего-то невыполнимого и сверхъестественного.

— Милая Рийна, — неожиданно мягко сказал мой жених, впервые, кажется, за все время, что мы были знакомы, назвав меня «милой». — Ну конечно же ты говоришь по-русски; нечего, знаешь ли, пускать пыль в глаза своему будущему супругу. Я понимаю, конечно, понимаю. И тебя, и твою маму! В любом случае этот язык добрых чувств не вызовет — снова вспомнятся все эти годы чужой власти и унижений и все такое... Нет, нет, не возражай! Я все-таки кое-что повидал, так что нечего притворяться!

— Просто я боюсь, что не справлюсь! Я только мексиканцев видела, по ящику, они все такие ненормальные! А о грузинах вообще ничего не знаю...

— Никакой он не грузин, а совсем наоборот, армянин. Постарайся хоть это запомнить. Литовец — это не латыш, эстонец — не индеец, и армянин — это... это армянин. Да, конечно, в маленьких городках есть своя прелесть, и только здесь ты можешь взять в жены девственницу, однако иной раз мне хочется бежать отсюда без оглядки...

Бежать? Ну вот, началось, с ужасом подумала я. Мне этого не пережить: весь город будет злословить.

— Тармо, родненький! — храбро воскликнула я. — Я сделаю все, что ты захочешь! Ради тебя — что угодно! Но хотя бы объясни мне, что они за люди, эти армяне? И как с ними вести себя?

— Прежде всего, никоим образом не оскорблять, — пугающим шепотом ответил Тармо. — Ни взглядом, ни словом, ни жестом. Принимать, как брата... Лучше, чем брата! Это тебе не холодный эстонец.

— У меня никогда не было брата, — удрученно вставила я.

— Южанин за один только взгляд способен тебя зарезать! — продолжал, не слушая меня, Тармо. — Размик, правда, уже несколько лет живет в Москве — впрочем, его картины куда охотнее покупают в Париже, чем в России, но это, думаю, скорее, заслуга Тиграна. У Тиграна обалденное чутье на любой бизнес. Не зря же я с ним дружил. Крутой парень — в полном смысле слова! Размика, его брата, я знаю меньше: художники, сама понимаешь, люди особенные. Приехал бы Тигран, я бы вообще не волновался. Этот мужик способен очаровать самого дьявола! Но эти живописцы, у них у всех душа такая нежная... Да разве мог я предположить, что твоя мама... откуда такое упрямство? Мои родители были высланы в Сибирь и до сих пор говорят, что выжили только благодаря одной русской бабе. А твоя семья при любой власти жила благополучно и... Откуда такая озлобленность? Армяне, если хочешь знать, страдали куда больше нашего...Турки устроили им кровавую баню, теперь вот это безумие с Карабахом. Такого человека надо на руках носить, лучшие куски ему предлагать, а они морщатся...

— Я вытерплю, — самоотверженно заявила я.

— «Вытерплю»! — передразнил Тармо. — Гостеприимство должно идти от чистого сердца. Я не позволю тут ломать комедию. По крайней

мере матери моей невесты не позволю; каковы они, эти тещи, давно известно. Это только поначалу они такие ласковые, ну чистый мед, а потом то и дело воткнут шпильку... Но ты-то, Рийна, знаешь русских? Так вот — армянский темперамент — это, как три... нет, пять... нет, десять русских вместе взятых. Теперь тебе ясно?

Ничего мне не было ясно.

В нашем городке русских почти не было. В школьные годы я ездила с экскурсиями не дальше Таллинна; я вообще понятия не имела о том, что находится за пределами Эстонии. Эстония казалась мне огромной до бесконечности, я привыкла мерить все на свете здешней мерою. И коль скоро в нашем городке не было армян, то, с моей тогдашней точки зрения, им вообще не следовало быть на свете. По крайней мере, им нечего делать на моей свадьбе. Да еще в качестве шаферов!

Меня пугала, впрочем, не столько сомнительная личность пришельца, сколько невнятная предупредительная речь Тармо, не придававшая мне ни капельки уверенности. Мне, как мне самой казалось, такой неловкой и беспомощной, предстояло теперь найти подход к кровожадному шаферу. Тармо с тем же успехом мог бы потребовать, чтобы я вошла в клетку ко льву.

И какая разница, на каком языке говорит дикий гость: на армянском, на русском, да хоть на суахили! Пугало то, что Тармо требовал от меня постоянно улыбаться, быть приветливой и ласковой, так как армяне — не то, что мы, заторможенные северяне, которые безразличную мину считают особо утонченным проявлением корректности. Безразличие и безликость всегда были моим испытанным оружием. Выходит, мне придется отказаться от них? За один вечер научиться улыбаться? Я была способна улыбаться только самым близким людям, да и вообще телячьи нежности в нашей семье были не приняты. А теперь мой жених требует, чтобы я улыбалась и чуть ли не в лепешку расшибалась перед человеком, который, если с ним не так поздороваешься, вполне способен зарезать...

Я не спала всю ночь.

На следующий день Тармо отправился встречать шафера — то ли на вокзал, то ли в аэропорт, то ли еще куда; мне было все равно, куда именно прибывает этот гость издалека. Я боялась только нахмуренных бровей и угрожающего тона Тармо.

Армянину предстояло провести в Эстонии две недели до свадьбы, чтобы помочь своему названному брату подготовиться к торжеству, передать подарки от Тиграна и, в конце концов, ознакомиться с городком, где родился и вырос Тармо.

Я с ужасом думала, что в нашем городке достопримечательностей ровно столько, что осмотреть их можно за два часа, не то что за две недели. Мать решительно заявила, что общаться с каким-то там рус-

скоязычным не собирается. Не важно, из Армении он или из Сибири. Эстонский народ, в конце концов, добился права на своей свободной земле навеки забыть этот мерзкий язык. Я была в шоке оттого, что матери, оказывается, было легче продать наш хутор, чем — на радость такого достойного парня, как Тармо — перебросится с шафером парой слов на русском языке. Отец пожимал плечами и повторял, что такого он не ожидал: шафер из-за границы — это да; но не из России же!

— Папа, — терпеливо внушала я ему. — Россия теперь тоже заграница. Ты же сам все время восхищался русским гостеприимством. Ты же у нас полиглот! Ну что тебе стоит улыбнуться ему разок — он ведь не у нас будет жить, а у Тармо...

— Вот сама и улыбайся, — обрывал меня отец. — Ты их просто не знаешь, всех этих... А за меня не волнуйся. Я тоже знаю законы гостеприимства...

Наконец, шафер прибыл.

Меня не предупреждали, что невеста на выданье не вправе слишком восторгаться посторонним мужчиной, будь он хоть «братом» жениха. От меня же, напротив, требовали быть любезной, радостной, веселой...

Познакомься я с армянским художником при других обстоятельствах, я бы замкнулась в свою неловкость, как в панцирь, и ничего рокового не случилось бы. Но Тармо предупредил меня, что армянский «друг» станет первым серьезным испытанием в нашей семейной жизни. Жених требовал от меня быть гуманной. А что значит — быть гуманной? Тармо считал, что для этого надо вспомнить русский язык; и надо чтобы я улыбалась. И не просто так, а обворожительно, дружелюбно, тепло. Так что я не могла, как обычно, по прибытии гостя забиться куда-то в угол.

Мой жених резко вытолкнул меня к гостю. И я улыбалась, улыбалась, улыбалась...

Как под гипнозом.

У мужчин нашего городка мне не приходилось видеть одухотворенных лиц. Да и вообще ничего столь берущего за душу я не видела ни в кино, ни в своих снах. Нигде.

Я стояла, пялила глаза на чужого смуглого мужчину — и улыбалась.

Улыбалась, как было велено.

Я не могла стыдливо потупить глаза, меня же предупреждали: не тот взгляд — и чуть ли не нож под ребро! Армянский темперамент...

Я раньше не знала, что значит любоваться ответной мужской улыбкой. Тармо только вяло ухмылялся — в крайнем случае это могло сойти за улыбку.

Объекты всеобщего женского восхищения меня не вдохновляли. Я, конечно, знала, что, например, наш сосед считается одним из красивей-

ших мужчин в городке — так считала и моя мать. Но сосед улыбался редко, а гримасы его сына Андруса, прыщавого парнишки двумя годами моложе меня, который так больно бомбардировал меня снежками, никак не могли сойти за улыбку. Мне было искренне жаль этого унылого сыча, потому что мой отец, по крайней мере, умел открыто и заразительно смеяться. Школьные красотки тараторили про «неотразимость» нашего учителя химии, а мне его усики казались такими же нелепыми, как и привычка улыбаться, вытягивая губы трубочкой. Но моего мнения никто не спрашивал. И никому не приходило в голову, что и у меня может быть собственное мнение по поводу «неотразимчиков» нашего городка.

Тармо требовал от меня принять гостя как близкого человека. Размик и впрямь показался мне близким. Мне никто еще так не улыбался в ответ. Во всяком случае не Тармо — нет, не Тармо.

Повиснув на шее у гостя, чтобы влепить ему смачный приветственный поцелуй, я внезапно ощутила собственные груди. Обычно я скрывала их под просторной кофтой, так как узнала о их неуместно внушительных габаритах уже давно — со школьных уроков физкультуры. С тех пор я старательно прятала их от чужих взглядов и, тем более, прикосновений.

Теперь я всем телом ощущала, что и гость почувствовал мою грудь. Тем не менее, обнял он меня очень нежно. Смущенно и благоговейно, как прочла я в его огромных глазах.

Не у всех армян такие бездонные, прекрасные и печальные глаза, как у Размика. Но у армян куда больше шансов заиметь такие глаза. Глаза моих земляков по большей части слишком уж соразмерны: умеренной средней величины, умеренного серо-голубого цвета и умеренно невыразительные.

Счастливо погружаясь в неведомость этих глаз, я с некоторым смущением вдруг подумала, что о глазах Тармо толком ничего не знаю. Они и в самом деле серо-голубые? Или, напротив, зеленые, карие, черные? Какого размера, формы? Густые пушистые ресницы цвета пива скрывали его глаза чуть ли не целиком, как повелось у нас издавна. Вглядываться в глаза собеседника считалось у нас бесцеремонным и нетактичным. Не пытайся прочесть тайну в глазах партнера — и своей не выдашь. В нашем городке это правило блюли строго.

Но тут я со смущением вынуждена была признаться, что глаза моего жениха интересовали меня ничуть не больше глаз случайного встречного.

Когда я со смелостью отчаяния бросилась к Размику со своими приветственными объятьями, свойственный эстонской барышне инстинкт самосохранения подсказал мне, что со мной творится что-то необычайное и, возможно, опасное.

Я уже хотела высвободиться, вырваться, потому что руки гостя неожиданно крепко обвились вокруг меня. Но тут мне вспомнился суровый приказ Тармо. Мое отступление могли принять за инстинктивное отвращение ко всему восточному. И я, вопреки требованиям привитых мне представлений о должном и недолжном, не отступила. Я не отвела своего взгляда от его глаз, не отвесила ему пощечину...

Рядом с Размиком я впервые поняла, что такое страстная любовь к мужчине. Мне это не казалось изменой. Скорее я уклонялась от прикосновений своего жениха, чтобы не предавать Размика. До самого дня свадьбы я почти и не помнила о том, кто для меня Тармо. Он был только незначащей деталью, рекламной вывеской, придатком ожидавшего меня «нескончаемого счастья». Тармо же интересовался мною не больше, чем с начала нашей помолвки, и оттого не заметил той перемены во мне, которую немедленно заподозрил бы влюбленный.

Длинные и путаные самообвинения Размика не смущали меня. Я не думала, поженимся ли мы. Меня это не интересовало — ни предстоящая свадьба, ни мой статус невесты; меня интересовал только Размик. Нашим ласкам не было конца, мы не могли придумать никакого плана ведения кампании, так как в объятиях друг друга теряли способность мыслить...

— Я должен тебе сказать, — начинал Размик, но дальше продвинуться ему не удавалось, так как мы тут же впадали в любовное безумие. В страхе, что нас, наконец, поймают? В надежде, что нас поймают?

— Я предатель, предатель, предатель, подонок, — стонал он в перерывах между объятиями, — приехал на свадьбу друга — и с невестой, тайком! Я бы убил любого, кто посмел бы перед моей свадьбой... Тармо вправе раздавить меня, как таракана! Я должен тебе сказать...

— Дааа, дааа, дааа, — отзывалась я счастливо, будучи достаточно простодушной, чтобы верить объятиям мужчины, а не его словам, — я знаю, знаю, ты должен мне сказать!

Но эти разговоры означали бы выяснение отношений, возвращение к рассудку... И я избегала признаний Размика. Я была настолько уверена в его страсти, что верила, будто он готов немедленно жениться на мне. Я боялась этого желания, боялась ужаса матери, недоумения отца, гнева Тармо. Я хотела только любить, впервые в жизни, безоглядно.

Счастье кончилось так же внезапно, как началось.

Однажды утром Тармо, обиженно поглядывая на будущую тещу, сообщил, что его армянский друг уехал. Мол, мой жених готов на все, лишь бы моя мать успокоилась. Даже лучшего друга отослал прочь со свадьбы.

— Ну, разумеется, первый человек на свадьбе — это какой-то армянин! — заявила моя мать, пытаясь скрыть глубочайшее удовлетворение. — А невеста тут совершенно посторонняя. И ее родня — тоже...

— Вот именно, родня невесты! — с нажимом провозгласил Тармо. — Она, конечно, главнее всего. Размик это тоже сообразил. Я ему дал несколько рисунков Рийны; он так просил, словно наша Рийночка — второй Пикассо! Обещал в Москве протолкнуть их в какой-то альбом — ну это армянские дела. Он бы и мои каракули согласился раскручивать! Армянское братство — оно всюду всемогуще, хоть в Москве, хоть в Париже. Они друг друга не предают.

— Мои рисунки?

Слезы брызнули из глаз; я зарыдала отчаянно, безутешно, оскорбленно.

— Да, конечно, ты должен был спросить у Рийны разрешения, — мать стремилась воспользоваться случаем, чтобы окончательно вбить клин между моим женихом и армянином. — Не надо ей никакой поддержки армянского братства!

— Размик, Размик, — вздыхала я. — Когда он вернется? Когда?!

— Не волнуйтесь! — сурово повернулся Тармо к будущей теще, — после такого приема он в наш городок ни ногой. У них все по-другому. На его свадьбе с Гаянэ такого, как здесь, не случится. Родители невесты — старые друзья его семьи. И на свадьбу Размика я поеду, это уж точно!

— Что точно? — пролепетала я. — Кто такая Гаянэ?

— Гаянэ — невеста Размика. Они обручены с детства: семейные дела. Милое дитя! Но бедному Размику пока что приходится вести холостяцкий образ жизни: невеста слишком молода. Конечно, нам армянские традиции могут показаться странными, — с энтузиазмом объяснял мой жених. — Нельзя же заранее знать, вырастет ли из девчонки-пигалицы красивая невеста. Скажем, увидь я Рийну девчонкой, ни за что бы не выбрал ее в жены, а теперь более ласковой и послушной невесты мне и не найти!

Удар был слишком внезапным.

Свадьба — слишком близкой.

Мне приходилось терпеть до свадьбы; я всерьез верила, что свадьба спасет меня. Как будто возможно так скоро спастись от любви. Я преступила законы нашего городка, и Господь немедленно покарал меня. Человека, которого я любила, вовсе не было на свете. Моего Размика не было. Был какой-то сомнительный искатель приключений, пособник оккупантов, русскоязычный армянин, лжец, помолвленный с другой женщиной.

После внезапного исчезновения Размика я впала в странную нервную горячку, которую наш городской врач поначалу принял за обык-

новенную простуду, а позже — за странный вирус гриппа. Напугав мою мать известием, что в последнее время больные гриппом, если за ними не обеспечить надлежащий уход, частенько умирают, он запретил мне выходить на улицу, и своего жениха я увидела вновь только в день свадьбы.

— Как же можно отложить свадьбу, — отчаянно вопила я, — свадьбу никак нельзя откладывать!

Мать стыдливо шептала мне:

— Послушай, деточка, успеешь ты вдоволь отведать супружеской жизни, еще пожалеешь, что так спешила! Никуда твой Тармо не денется; выздоровей сперва...

Мой решительный протест она связывала только с Тармо. С человеком, о котором я вспомнила лишь утром в день свадьбы.

Пока я болела, Тармо редко удавалось переступить порог. Мы ни разу не оставались наедине. А издали он казался всемогущим. Мой жених, моя свадьба — только дожить до следующего дня, и предатель Размик, которого на самом деле на свете не было, рассеется сам по себе.

В день свадьбы меня признали выздоровевшей.

И, естественно, Тармо опять хотел ласкать меня, как до моей долгой болезни. Я с ужасом отшатнулась от него. В церкви я должна сказать «да», а потом мне придется остаться с женихом наедине!.. До Размика руки Тармо были не слишком приятны, но вполне терпимы, теперь же его прикосновения стали невыносимы. Армянина не было, он для меня перестал существовать, и все же из-за него мое маленькое счастье стало невозможным.

Одна только мысль о предстоящей брачной ночи навсегда отвращала меня от секса. А ведь я сама требовала этой свадьбы, я, недотепа!

Было безнадежно поздно.

Свадебное путешествие, а затем спокойная жизнь в таллиннской квартире, ставшей моим приданым. Даже уют родного городка утрачен, мне предстоит жить в чужом городе с чужим человеком. Моя жизнь распланирована до самой смерти... И только мировая война может опрокинуть эти планы!

Свадебная машина остановилась у автобусной станции; жениха мучила жажда. Не страдать же в церкви. Тармо отправился за лимонадом, я тоже вышла из машины.

Я подбрасывала носком белой туфельки камешек, когда передо мной остановился проезжающий автобус.

— Вам в Таллинн? Если нет, отойдите, пожалуйста. Я и так уже выбился из графика, тороплюсь...

— Я еду! — воскликнула я.

Как хорошо, что Тармо настоял на строгом белом костюме без фаты! Какая предусмотрительность, что именно я должна была освятить в церкви ключи от нашей новой квартиры!

Я вскочила в автобус.

3. Второе возвращение в прошлое. Москва

Андруса все нет и нет.

Литовско-польская граница там, за опушкой. Она страшит меня, словно незримые адские врата. Андрус бросил меня в машине — одну, беспомощную. Я ведь не умею водить! Впервые в жизни жалею об этом. При мне нет никаких документов. Я хочу домой! Не надо мне ни адских, ни райских врат. Я хочу вернуться, с меня довольно. Довольно уже попыток насильно осчастливить меня!

Зажмуриваюсь, пытаясь спастись от панического страха, отогнать его.

И это я, которая так охотно путешествовала в одиночку? Это я прихожу в панику от того, что соседский Андрус отлучился на несколько минут? Словно возвратился детский ужас одиночества...

Пытаюсь рассеяться воспоминаниями о чем-нибудь забавном.

Ну, конечно, о шефе нашей фирмы Карле. Я зажмуриваюсь еще крепче, чтобы забыть о приграничном лесе, и представляю себе Карлу — такого противоречивого и простого, как валенок, щедрого и прижимистого, дружелюбного и лицемерного. Карла... шеф мой и благодетель; вечно он пытался загнать всех в рай транзитом через ад.

Меня направили в фирму Карлы после моей несостоявшейся свадьбы. Вначале я надеялась прокормиться самостоятельно, рисуя на пляже портреты отдыхающих. Зарабатывала ровно столько, сколько нужно, чтобы не околеть с голоду; вечерами считала каждый сент. Я могла торговать рисунками только у моря, а зимой берег был весь в снегу. Ветер бил в лицо снежной крошкой, и мои руки леденели, когда в Старом городе я пыталась рисовать портреты туристов. Работа не кормила, учила только переносить холод. В конце концов мне было холодно всюду. Я все время должна была пить горячий кофе, чтобы избавиться от вечного чувства холода. Или сидеть в горячей ванне.

Помню первый телефонный разговор с матерью после моего постыдного бегства. На переговорном пункте я рыдала в трубку, и последние сенты грустно скользили в чрево аппарата.

Мать ничего не поняла, но на следующее утро уже была в Таллинне. Через старого отцовского знакомого я устроилась в фирму Карлы и вскоре впервые выехала в Москву: меня желал видеть редактор художественного альбома.

Вот так я познакомилась с огнями большого города. И с тех пор все ездила и ездила в этот город.

Самой трудной и изнурительной оказалась первая поездка. Вонь из туалета, грохот колес и толчки, словно поезд каждый миг готовится соскользнуть с рельсов и подняться в воздух, и четыре человека в тесном купе. Для меня, с детства привыкшей к отдельной комнате, это было самой тяжкой мукой. Храп спутников, вскрикивания во сне, бесконечные разговоры...

Я просила всех добрых духов на свете, чтобы эта поездка была первой и последней. Духи поняли мою мольбу на свой лад: таких поездок больше не будет, вскоре я полюблю поезд, и он станет моим ангелом-хранителем. В купе я встречу странных людей, которых никогда не узнала бы, сидя в своих четырех стенах. Эти встречи понемногу научат меня общению: молчунья превратится во вдохновенную рассказчицу, мрачная тихоня-себе-на-уме станет открыто улыбаться. Именно в поезде — в восторженном удивлении случайных спутников — я познаю силу и обаяние собственной улыбки. Я сохраню в душе их восхищение. У меня будет сто лиц, тысяча улыбок, одна обворожительнее другой. И когда я покраснею от смущения, соседка по купе улыбнется: румянец мне к лицу!

В нашем доме хвалить детей считалось смертным грехом. В учительской семье ценилась строгость и еще раз строгость. Никаких нежностей, поцелуйчиков, сюсюканья. Ребенка можно хвалить за конкретные поступки: пятерку, хорошо убранную комнату или примерное поведение, которое в нашем городе равнозначно полной безликости. Смешно хвалить ребенка за его улыбку. Смешно и немыслимо. Чрезмерная улыбчивость считалась признаком легкомысленной и пустой натуры. Естественно, ребенок должен быть жизнерадостным, но в соответствующее время и в соответствующем месте. А я никак не могла найти это место в нашем городке.

Я влюбилась в поезд.

Нет, Размик тут не при чем. Он рекомендовал меня московским редакторам, но я не спешила напоминать о себе, благодарить, просить о чем-то. Мне очень хотелось, чтобы первая удача в искусстве не была связана с моей любовью, которую я сама боялась назвать любовью. Размик жил анахоретом и все же присутствовал при всех моих встречах. Я говорила с другим армянином, но мои слова предназначались Размику. Что бы он подумал, увидев меня за этой беседой? Одобрил бы? Высмеял? Если другие армянские художники замечают мои «тысячи улыбок», хорошо это или плохо? Доходят ли до него слухи обо мне?

Поездки в Москву вскоре дадут мне понять, что у каждой из видных художнических семей белокаменной есть свой представитель в Париже или Нью-Йорке — у кого отец, у кого сын, у кого дядя, у кого — вовсе дальний родственник. В других частях света таких уз нет. Даже еврейские художники считают Иерусалим скорее перевалочной станцией на пути

во Францию или Америку. Слишком много евреев в одном месте — это нехорошо; еврейское государство для самих евреев далеко не всегда оказывается раем. Волей-неволей я задумываюсь о *зарубежных эстонцах*, которые, подобно евреям, не могут забыть свою национальность, но не считают нужным навечно поселяться в Эстонии. Эстонцам следовало бы походить на евреев и в других вещах — скажем, в том, как помогать братьям по крови. Но, возможно, таких благодеяний было бы поменьше, если бы евреи, как эстонцы, обрели собственное государство в начале века. Наверное, только полное исчезновение страны отцов превратило бы эстонских переселенцев в таких же благородных братьев по духу, какими за много веков стали евреи. Лишенный родины и вместе с тем тесно сплоченный народ смог сохраниться на свете, и, наконец, евреи получили свое государство. Закон сохранения энергии как-никак! Но и эстонцу свойствен космополитический патриотизм, оберегающий эстонскость хоть в самом удаленном уголке земного шара. Как и еврею.

Именно в Москве я начинаю отличать армян от русских, русских от евреев, однако делать это с полной уверенностью мне так и не удается. В маленьком эстонском городке все казалось таким ясным: эстоноязычные назывались эстонцами, русскоязычные — оккупантами. Никаких попыток вдуматься, поговорить по душам, оправдать, узнать происхождение. Моей матери все становилось ясно с первых услышанных слов: кто говорит на чистом эстонском языке — тот свой; эстонский с акцентом выдает проныру; говорящий по-русски заносчив, бесцеремонен и даже преступен — от такого всего можно ожидать. Чего именно, мать не знала и знать не хотела — не хватало еще точить лясы с инородцем! На своей земле мы, в конце концов, имеем право на чувство собственного достоинства!

Кто не знает, что открытых конфликтов с русскими у нас практически не случается; да и пресса постоянно об этом напоминает. Мы просто не общаемся с иноязычными — и точка. У них нет никакой возможности овладеть эстонским в процессе общения. Русским нет места в жизни эстонцев. Нет и быть не может, как утверждает моя мать. Да пусть они уедут, куда хотят, исчезнут, рассеются как туман — эстонцу в них нет нужды!

Не знаю, растерялась ли бы моя мать в Москве так, как растерялась я. Эстонская речь без акцента для нас всегда означала четкий водораздел между своими и чужими. Будь твоя фамилия Иванов или Куускмаа, Биржукайте или Вооремаа, Штанько или Лехтсалу, Бахманн или Мяндметс... Кто говорит на нашем родном языке, к тому мы с открытой душой. Многомиллионную столицу наводняют говорящие на чистейшем русском языке армяне, казахи, киргизы... Но здесь их не считают русскими — это у нас каждый, говорящий по-эстонски, уже эстонец. Только в Москве я постигну, что некоторым национальностям бе-

зукоризненно владеть языком недостаточно. Великий народ умеет отсортировать тех, кого следует предпочесть. Только малый народ способен купиться на такой дешевый трюк, как владение его родным языком, речь без акцента... Великий различит и тех, кто сменил имя или отметку в паспортной графе «национальность».

В Москве я таращу глаза, когда кто-нибудь начинает мне объяснять, что по паспорту он — чистокровный русский. Стоит ему уйти, как мои хозяева, обычно такие добросердечные, поясняют: «Еврей — он и в Африке еврей!» Причем все разоблачители «лжерусских» совершенно убеждены, что Эстония населена оголтелыми националистами.

Ирония судьбы, наверно, заключена в том противоречивом чувстве, которое всегда отличает великий народ от малого. Русские оскорбляются тем, что их язык выучили представители слишком многих национальностей. Эстонцы, наоборот, недовольны, что слишком мало инородцев дает себе труд овладеть языком их крошечной страны.

Чья национальная гордость лучше?

В спорах можно нажить себе новых врагов, но к компромиссу ни одна такая дискуссия не приводит.

К тому же едва моя речь и акцент выдадут уроженку Прибалтики, со мной тут же заводят долгий разговор о правах человека. Поэтому мне хочется говорить по-русски так же свободно, как говорят здешние евреи и армяне. Пока же достаточно мне произнести одну-две фразы, и тема для беседы найдена — произвол, который творят эстонцы.

Постепенно я привыкаю отвечать, что москвичи сами почем зря честят «оккупацию» черных — ненавидят и презирают киргизов, казахов, армян, особенно тех, кто торгует на рынке. Мне порою кажется странным, что те самые евреи, которых русские никогда не признáют своими, отчаянно пытаются защитить стремление русских жить в Эстонии. Эстонская земля им годится, язык — нет! Такой малоупотребляемый язык бессмысленно кому-либо навязывать, заявляют мне человеколюбивые евреи и армяне. Правильно делают таллиннские русские, что заставляют своих детей изучать скорее уж английский.

Меня донимают рассказами о том, как эстонские чиновники обижают, презирают и унижают русскоязычных. Я же с изумлением смотрю на московских армян, которые страстно защищают права русскоязычных, потому что сами забыли родной язык.

Только в Москве я по-настоящему начинаю ценить единственное в своем роде упорство моего маленького народа в сохранении удивительной культуры предков. Но, к сожалению, эстонцев спасают именно те качества, которые не слишком красят человека, — сдержанность до полной безликости, осторожность в общении до полной нелюдимости, чувство собственного достоинства, переходящее в чванство, гордость, которая легко становится гордыней.

В нашем городке немыслимо после праздничного ужина заночевать у хозяев. Так поступают только выпивохи и редкие поэты, работающие ночными сторожами. Утро полагается встречать в своей постели, бодрым и готовым к трудовому дню. Это само собой разумеется.

В белокаменной, напротив, естественным считается, что после того, как вход в метро закроется, никто домой не торопится и визит заканчивается ночлегом в гостях. Если к нам на денек-другой должны были приехать гости издалека, мать начинала нервничать за месяц. Процедура ночного сна в моем городке считается настолько интимной, что редкий пришелец может сбить весь ритм жизни, вызвать почти паническое смятение.

Москва благоволит к странникам. Их повсюду ждут люди, умеющие ввести гостя в дом и окружить его теми неповторимыми частицами домашнего очага, которые греют душу, — вроде любимой лампы в углу или камелька. Мне в Москве приходилось ночевать в гостях. И, наблюдая за тем, как вспыхивают эти согревающие душу огоньки, я поняла, что и я — из породы странников.

Как бы я смогла понять все это, оставаясь в своем крошечном городке? Мамин страх перед гостями передавался и мне. В Эстонии я полностью замыкалась в себе и постепенно училась даже наблюдать это мучительное колдовство замкнутости. Да, всегда мучительное, пугающее, вселяющее чувство вины... В белокаменной я не раз грешила против святых традиций эстонского отчуждения. Да, виновна, но поначалу меня никто не обвинял, потому что никто не знал, что в своих поездках я совершенно меняюсь. Так чувствует себя мужчина, издавна привыкший боготворить скучные семейные нормы и вдруг нежданно для себя самого насладившийся любовью вне брака. Ужасно обнаружить, что та, которую ты взял в жены по молодости и сексуальной озабоченности, никогда не внушала тебе настоящей страсти. Но еще ужаснее вдруг открыть, что твой народ никогда не ласкал, не берег, не хвалил, не потчевал и не вдохновлял тебя так, как чужой, говорящий на чужом языке, да к тому же представляющий собою коктейль из десятков национальностей. Сначала — насильственное покорение малых народов, потом великий народ вдруг обнаруживает, что влившиеся в него элементы дали чудесную смесь — блестящую, разнообразную; именно смешение генов разных национальностей и породило эту неотразимую колдовскую силу. Великий народ и духом велик — это не просто игра слов. Это завораживающее и магическое влияние на тех, кого хотят заворожить и кем хотят обладать. Хотели и мною. В очень многих домах великого города. В каждую поездку прибавлялись новые знакомства и новые ночлеги. Я впитывала дух старинных родов и семей, как наркотик. И это было для меня не менее опасно, чем самый крепкий наркотик.

Я стала заядлой наркоманкой, и название моего наркотика звучало так: «большой город». За Москвой последовал Париж, который после гигантской российской столицы казался совсем маленьким, затем все новые мегаполисы. Мне открылась моя сущность бродяги, и это открытие бросало меня из квартиры в квартиру, из города в город, из одной страны в другую.

Я постоянно была в пути, только в поездках узнавая себя до конца. Странствуя, я чувствовала, думала и жила. От слишком долгого пребывания на одном месте мое существо увядало, ссыхалось, скукоживалось. От отсутствия путешествий я задыхалась. Моим настоящим домом стал поезд. Вперед, вперед! Неважно, куда именно. Я путешествую, я перемещаюсь, я открываю себя и, следовательно, вновь существую.

Мои родители наблюдали за тем, как я изменилась, с боязливым недоумением. Почему моя таллиннская квартира так часто пустует? Куда я пропадаю? Им, для кого нерушимой основой труда и успеха была стабильность, им, привыкшим ночевать в собственной постели, эти постоянные исчезновения казались признаком того, что я ужасно опускаюсь. У них не было прямых улик против меня, прямых доказательств моей измены. Но они носом чуяли её. Вокруг меня витал чуждый дух «наркомании», я была под подозрением, на мне стояло клеймо. Наш городок узнал о моей страсти к путешествиям позже. Тут-то мне публично было предъявлено обвинение в том, что я стала «русской подстилкой». Страдавший избытком фантазии бывший партсекретарь, ныне содержавший сомнительную пивную, уверял, будто русскую армию в Эстонию привела именно я. Отставной коммунистический функционер чуял, что со своей тягой к странствиям я добровольно взяла на себя грешки и его самого, и его соратников. Когда-то такие, как он, чтобы сделать карьеру, расстилались чуть ли не перед каждым поселившимся в Эстонии русским. Теперь им нужны были придурки вроде меня — те, кого охота к перемене мест занесла в Россию. Клеймя меня и мне подобных, можно было проявить собственную лояльность. А лояльными к власти они были всегда — независимо от того, какой была власть.

В детстве, да и в девичестве, как большинство эстонцев, я подсознательно избегала инородцев. Только побывав в России, я перестала отшатываться, когда в Таллинне со мной заговаривали по-русски.

Я открывала русских Эстонии благодаря своим московским знакомым.

Открытие было довольно печальным. Все как будто то же самое — темперамент, улыбки, готовность прийти на помощь. И все же отчего-то мне становилось жалко их, как жалеешь степного волка, неожиданно встретив его в клетке. Волку не обязательно осознавать, что он пойман и заключен в неволю. В клетке ему гарантированы уход, еда в определенные часы и защита от угроз, которые таятся во внешнем мире. И вместе с тем живущий в клетке зверь кажется в чем-то ущербным, ему сочув-

ствуешь. Он ведь не отсюда, хотя здесь ему и обеспечены жизненные удобства. Не здешние и его сыновья, даже если они родились уже в клетке.

Советский строй обеспечивал русским необходимую возможность передвижения. Место жительства само по себе действительно не имело значения. Твои родственники могли жить в Новосибирске и Сочи, а ты создавал семью в Таллинне. Воздушный транспорт соединял весь род.

Внезапно все переменилось. Надо полагать, и я была бы потрясена, если бы мой родной город вдруг стал столицей Лифляндии и меня объявили бы в нем чужой. Ливы, этот вымерший народ, имели бы полное право восстать из небытия, воскресить свой язык и разорвать мои семейные связи. Если бы мне пришлось выбирать между нынешней столицей и городом моего детства, это стало бы для меня катастрофой. Для меня Эстония всегда оставалась единой и неделимой. Представив себе мятеж ливов против оккупантов-эстонцев, я научилась сострадать перепуганным русским, которые разом потеряли и дом в Эстонии и свою большую родину, русскоязычное государство, простиравшееся от Камчатки до Финского залива. Русскоязычные жители эстонской столицы, по-моему, многократно достойны сочувствия, хотя ни они сами, ни эстонцы этого ни за что не признают. Надо вместе выпить не одну бутылку, чтобы гнев, озлобленность и разочарование нашли выход.

Я боюсь всплесков этих чувств, и потому во мне кроется ужас перед инородцами в Эстонии, какими бы счастливыми и удачливыми они ни пытались казаться. Я стала свидетельницей разбитых семей, горестных расставаний, бесконечных ссор. Письма из Москвы в Таллинн и обратно, посылки, подарки, просьбы, угрозы... И в конце концов неизбежные страстные исповеди сквозь слезы вечерами за кухонным столом — и в Таллинне, и в Москве

...Таллиннка не в первом поколении с трудом объясняется по-эстонски. Работа, друзья, родственники — все это в Эстонии. Но самый близкий человек исчез — навеки, бесповоротно. Его мужская гордость не вынесла молчаливого отчуждения эстонцев, теперь он вернулся в Россию. «Выбирайте!» — требуют коренные жители страны — жестоко, самоуверенно и настойчиво. Ведь не они же разбивают семьи! Паршивенькой должна быть семейка, которая рушится от столь ничтожных разногласий! Ничтожных?.. Людям приходится выбирать между собственным домом и землей праотцев; это бывает посложнее выбора между отцом и матерью. Кого оставить? Кого убить? Вырвать собственные корни... Забыть. Однако малый народ привык сносить жестокость великого народа и не боится быть жестоким. Теперь ваш черед: страдать, мучаться, выбирать. В воздухе висит аромат злорадства.

Это злорадство делает для меня длительное пребывание в Эстонии невыносимым. Я хочу уехать. Далеко, прочь отсюда. Хочу туда, где не радуются боли и мукам другого каждым взглядом, интонацией, поворо-

том головы. Мучительно жить в столице маленького государства, в которой почти половина жителей для хозяев этой страны — нежелательны и презренны. Слишком много подсознательной ненависти, вражды, жажды мести. Мне не важно, что яд ненависти не успел еще полностью уничтожить оба народа. Вражда, тихо тлеющая исподволь, куда коварнее открытой ссоры. Она портит характер нации. Тем более, когда нация такая крошечная.

В фирму Карлы время от времени заглядывают богатые русские. И Карла, который корчит из себя такого утонченного джентльмена, считает своим долгом после их ухода позубоскалить над манерами и темпераментом этих «крутых». Я нашла новое противоядие от насмешек Карлы: я рисую. Рисую и киваю, рисую и пропускаю мимо ушей. Меня это не раздражает.

Зато начинает раздражать шефа.

— Это что за штучки, в рабочее-то время?! — оскорбленно кричит Карла мне в лицо, выдергивая из-под моей руки рисунок.

Затем вдруг раздражается хохотом:

— Чертовски забавная мазня!

Карлу не задевает, что лучший из его деловых партнеров и друзей изображен в гротескном виде. Деловая дружба, право же, самый смешной вид дружбы. Друг всегда готов подставить друга. И лучше всего делать это, посмеиваясь.

— Да, такой портрет старого дружка я бы всем показывал! — злорадствует Карла, но через две-три минуты его осеняет:

— Так значит, рабочее время ты используешь в личных целях?! Я-то держал тебя за скромную рабочую лошадку, а ты оказалась хуже тех советских профурсеток, которые только и делали, что красили губы да ногти!

— Почему хуже? — я не могу сдержать изумления. — Тебе же рисунок нравится.

— Вот именно потому и хуже, в тысячу раз опаснее. Пригрел, понимаешь, змею на груди, — Карлу буквально трясет от обиды. — В помещении моей фирмы ты занимаешься собственным бизнесом. Пользуешься моими клиентами, пытаешься загнать им эти картинки. Знаю я вас, тихих овечек!

— Никому я ничего не загоняла, — отбиваюсь я. — Думаешь, лучше мне сидеть сложа руки, пока ты не можешь обеспечить меня фронтом работ?

— Как не могу?! Выходит, тебе нечем заняться? — от моих слов Карла только пуще входит в раж. — Передовой сотрудник фирмы сам ищет себе занятие. Трудится на пользу фирме и себе самому и в конце концов получает служебное повышение и прибавку к жалованию. На что

мне человек, которому нечего делать? Уволю! Немедленно! У нас тут не советский строй. Искать себе занятие ты должна сама! Не умеешь добывать новых клиентов, делай хоть что-то... Главное, чтобы фирме была выгода. Ну что ты, Рийна, в самом деле умеешь?

— Не-е, не-е, не знаю, — уныло блею я. — Я все распоряжения выполняю от и до. А сегодня в фирме вообще не было клиентов.

— Да я не об этом, — нетерпеливо обрывает меня шеф. — Что ты в жизни еще умеешь делать? Кроме того, что сидишь здесь день ото дня с кислой физиономией и своим мрачным видом отпугиваешь мне клиентов. Что ты делаешь еще? Вечерами? Вязать умеешь?

— Не-ет, — печально вздыхаю я.

— Ну так вышивать? — настаивает Карла.

— Вязать? Вышивать? — во мне зреет тихий протест. — Зачем? В этой фирме?...

— Да что ты знаешь о фирме?! — обрывает меня Карла. — Мы торгуем всем, что только можно продать. Иностранцы с ума сходят от разных там штучек в национальном стиле. Что ты умеешь, отвечай! Ты, двадцать два несчастья! Неужели ничего?

— Рисовать умею, — чуть слышно бормочу я.

— Знаю! — театрально вздыхает шеф. — Но это умеет каждый школьник, каждый младенец. Для бизнеса подойдет в лучшем случае масло, в худшем — гравюра. А не пустяковые карандашные рисунки. Ты когда-нибудь пробовала продавать их?

— Летом на пляже я рисовала отдыхающих, — поколебавшись, признаюсь я. — Случалось, что за рисунок платили двадцать пять крон.

— Двадцать пять?! — разочарованно стонет Карла. — Да я лучше голодать буду, чем приму такую грошовую подачку!

— Я и голодала, — еле слышно говорю я.

— И поделом тебе! Не умеешь делать дела, так и не лезь! — шеф внезапно демонстрирует отеческую заботу. — Кто-то еще интересовался твоими картинками? Кроме отдыхающих на пляже?

— В Москве скоро выходит один альбом авангардного искусства, ну, такие гротескные картины, как бы это объяснить... Я и сама толком не знаю, почему, но я в нем из Эстонии — одна. Говорят, мои работы фантастичны и самобытны. Во всяком случае, напечатают.

— Сокровище ты мое! — в восторге кричит низкорослый лысый шеф. — Тебя печатают в России — а ты продаешься здесь за медный грош, за ничтожные сенты?!

Воодушевление Карлы мне непонятно.

— Мне и в России гроши заплатили. Если перевести в кроны, всего ничего.

— Это в бизнесе сенты и копейки что-то значат, а в искусстве нет! — отечески отчитывает меня шеф.

Я ушам своим не верю: Карла говорит об искусстве?

— Чего таращишься? — он слегка обижается. — Если я умею делать дела, это еще не значит, что в искусстве я — как свинья в апельсинах.

— Не-ет. Конечно, нет! — я изображаю на лице улыбку. — Но только что даже вязание и вышивки были лучше моих детских каракулей. И вдруг...

— Альбом твой — не Бог весть какой заработок; может, я тебе стану платить намного больше, — объясняет шеф. — Но это реклама, признание. Поняла? Россия дала миру Шагала и всех прочих... забыл фамилии, да это и не важно. Для коллекционера русская работа — совсем не то, что для человека, покупающего телевизор или холодильник. Русское искусство стоит высоко; оценка московских специалистов позволяет просить за твои рисунки настоящую цену! Это же знак качества, глупенькая! Тебе такой шанс дали, а ты и им не умеешь воспользоваться! Да пусть тебе издательство платит копейки, при такой рекламе я любую твою мазню продам не дешевле, чем за несколько сот марок. Запомни слова старого Карлы! Пустого рукоблудия я, конечно, не потерплю, но коли эту штуку можно продать, я за нее последние штаны спущу...

— С кого? — беспомощно лепечу я.

— Да хотя бы с этого, — Карла помахивает отобранным у меня шаржем. — Ты этого хмыря лихо изобразила: шарж это или что? Не стану же я ему рассказывать: это моя секретарша от скуки набросала. Я расскажу о московском альбоме и о том, что русские признали молодой талант. У русских глаз — алмаз, а у Карлы деловое чутье — лисье! Буду платить тебе пятьдесят процентов; нет, это много! Я бы вообще мог вычесть у тебя из зарплаты за то, что ты в рабочее время малюешь. С пятидесяти процентов ты у меня нос задерешь и начнешь кутить. Буду выдавать тебе с каждой картинки по двадцать дойчмарок, чтобы ты научилась прилично одеваться. Ну, максимум сотню — на представительский костюмчик. Считай это подарком папы Карлы своей секретарше.

Широко раскрыв глаза, я слушала, как глава фирмы за мои же деньги обещал преподнести мне подарок. Вот уж действительно крутой бизнесмен! Но в конторе у Карлы я уже привыкла к тому, что эстонские бизнесмены зачастую делают подарки именно таким вот способом. Армянская щедрость кажется им глупостью, русская привычка дарить — лицемерием. Карла всегда подчеркивал: подарок — все равно, что взятка, а пятидесятисентовая экономия — тоже прибыль. Умение считать деньги и отличает трезво мыслящего человека от транжиры. По-моему, такое мышление характеризует нацию. Армянский бизнесмен сочтет позорным не попотчевать гостей. Карла со спокойной душой не станет тратиться на угощение, чтобы не прослыть приспособленцем. Впрочем, я

замечала, что и мой шеф время от времени включал все «механизмы пройдошества» — правда, лишь в том случае, если был уверен, что расходы на угощение обернутся чистой прибылью.

Меня раздражало, что руководитель фирмы, составляя черновики, пишет на обеих сторонах листа. Белая бумага была бесплатной, подарком одного русского партнера, но Карла не мог отказаться от своей привычки. С той же скупостью, с какой он исписывал каждый листок от края до края, с лицевой стороны и с изнанки, он пытался использовать все — до последнего миллиметра, до последней нитки, до последней крошки, до последней капли крови.

Шеф позволял предметам или людям оставаться неиспользованными только если не видел, какую прибыль принесет их применение. Но едва почуяв возможность пожать плоды, Карла сжимал вещь или человека железной хваткой.

Однажды в фирме очутилась я — бесполезная доченька полезных знакомых. Но отныне я должна рисовать. Буквально штамповать картины.

Меня саму изумляло, как быстро рисование, бывшее для меня радостью, превратилось в проклятие, изнурительную и опустошающую каторгу.

Единственным спасением было уехать. Как можно дальше... К счастью, мои вояжи в Москву были теперь для Карлы рекламными поездками и он не возражал. Порой мне казалось, что он ждет выхода моего альбома еще нетерпеливее, чем я. Он считал, что я обязана протолкнуть свои рисунки еще в какое-то печатное издание. Каким образом? А это уж моя забота. Поезжай, организуй!...

И я ехала в наркотическом опьянении свободой.

Входя в вагон, я все чаще чувствовала, что моим настоящим домом становится поезд. Крошечная Эстония не вмещала в себя поездá — оттого, наверно, мои знакомые эстонцы предпочитали ездить автобусами — даже если это вдвое дороже и автобус набит под завязку. Гуманные водители, плюя на правила дорожного движения, подсаживали земляков, так что половина пассажиров ехала стоя. Но эстонцам все равно нравилось колесить по своей стране в таких привычных душных бензиновых колымагах. Поезда пронизывали родную землю насквозь и исчезали вдали, на чужой территории, на опасной почве, уносясь в места, достойные лишь отчуждения и отрицания.

Правду мои соотечественники впрямую не высказывали. Говорили, что в поездах стоит вонь — признак присущей чужакам неряшливости, невоспитанности и вульгарности. Совместные трапезы в купе отвергались как неуместные — при поездках на короткие расстояния в автобусе они были немыслимы. Говорите, и в автобусе может попасться попутчик, который всю дорогу будет жевать бутерброд с колбасой, провоняв своим завтраком весь салон? Что вы, этого не может быть,

потому что этого не может быть никогда! Скорее уж вы встретите человека, ослабевшего от усталости и голода; он в столице до полного изнеможения бился за интересы маленького городка...

Утомление от непосильной работы входит в натуру эстонца. Молчаливых пассажиров часто окружает аура загадочной и благородной усталости от дел, а иногда и тонкий сигаретный аромат, но никогда — ядреный дух дешевой колбасы, невежливая назойливость пищевых запахов. Эти запахи заставляют общаться, витая над местом соседа, разрушая естественную для эстонцев склонность замыкаться в себе и во всем привычном, что тебя окружает. Еда — это еще более вульгарная и пошлая навязчивость, чем попытка завязать разговор. Тут хоть можно отбиться холодной вежливостью. А как отобьешься от атаки ароматами? От общения через запах? В конце концов, ест он свое, колбасу никто не запрещал, как, впрочем, и хамство. Это ужасно, это мучительно...

Разумеется, мои родители тоже избегали ездить поездом, хотя он курсировал между нашим городком и столицей в очень удобные часы. Мать уверяла, что после дальней поездки в поезде она чувствует себя словно побывавшей в цыганском таборе. Поезд считался непременным признаком оккупации. Все подозреваемые в угнетении малого народа ездят поездами. Отец не жаловался, но его замечания о пассажирах поездов дальнего следования были еще более меткими и обидными.

Как же мне было признаться, что ночные скорые поезда стали моим домом? Мне, представительнице малого народа, которой полагалось брезгливо избегать таких поездов как неуместных на моей крохотной родине. Я молчала, боясь, что знакомые осудят. Богатые эстонцы-нувориши летали самолетами. В Америку, на Канары: туда, где теплые волны ласково лижут песок... Те, кто победнее, паромами отправлялись в Швецию и Финляндию. Поезда были осуждены общественным мнением как бесполезные и неэстетичные. О замызганных вокзалах пытались забыть, словно в Эстонии их и не было.

Я узнала поезда как следует, когда изворотливые эстонские карьеристы давно их позабыли. В столь недалеком советском прошлом услужливые чиновники за ночь доезжали до Москвы, этого средоточия карьерных вожделений. А за другую ночь — срочно — домой. Они, эстонцы по своей сути, уже тогда не могли ночевать в столице ненавистной империи и не умели найти там друзей. Но это не было причиной не ездить, так как только такие поездки помогали удерживаться на вершине служебной лестницы и наслаждаться привилегиями. Люди этого типа предельно искренни. Сейчас они ненавидят русских больше, чем кто-либо — со всем накалом страсти. Они сами себе никогда не признаются, что причина ненависти — не оккупация, которой они сами своими поездками в Москву усердно способствовали. Когда-нибудь они точно так же станут ненавидеть финнов и шведов, а пока что с улыб-

кой сносят от них все унижения. Богатый и властный всегда сумеет унизить корыстолюбивого выскочку. Выскочку, который ради карьеры готов проглотить все что угодно. Однако тот, кого по-дружески унижают, лелеет в душе месть — сказочную и недостижимую, в вожделенный час, когда колесо истории повернется самым невообразимым образом и поменяет местами унижающих и унижаемых. К сожалению, эти поворотные пункты превращают в хищников не только подлых и низких; в такой миг ломаются зачастую и благородные души. Даже самые лучшие внезапно заражаются коварством — во имя некоей невнятной новой цели, которая уже не раз являла себя на протяжении столетий и никакой новизны в себе не несет.

Некогда любимый поезд карьеристов теперь уступлен отверженным — тем, кто не сумел рассортировать друзей, исходя из принципа корысти и национальной чистоты. Сегодняшний ночной вагон лицемерие и фальшь ненавидит. Теперь карьеристы не населяют купе, пропитывая их своим духом. Позже, в Берлине, меня поразило, насколько образ мышления восточных немцев схож с эстонским. Не зря остзейские бароны столько веков формировали своих крепостных по собственному образу и подобию. Поляки не забыли живших в России друзей, а преуспевающие восточные немцы навещать «друзей» прекратили. Лицемерие и простодушие глубоко связаны между собой — немцы все же называли «друзьями» людей, которые им теперь ничуть не были нужны, коль скоро их нельзя использовать как орудие коммунистической карьеры.

Может, и я, останься я в родном городке, научилась бы скрывать от себя самой еще более утонченное лицемерие новой жизни, где иноязычных почти что и не попадалось. В Таллинне же меня повсюду окружали не говорящие по-нашему люди без родины. Они не ассимилируются, не уступят — их слишком много. Даже четверти населения было бы много, или трети, но их больше. И поэтому эстонцы, отторгая их, не могли заставить их выучиться эстонскому; напротив, эти люди старались всячески принизить государственный язык, утешая себя тем, что нужны-то как раз русский и английский...

В поезде Таллинн — Москва я находила не столько гигантов бизнеса, сколько товарищей по судьбе, чьи супруги или возлюбленные жили во враждующих городах. В двух столицах — нового карликового государства и бывшей гигантской империи. Каждая старалась быть как можно столичнее, несмотря на обидные щелчки по носу, получаемые от истории. Таллиннцы издевались над не утихающими претензиями москвичей и — в противовес прежним величальным песням — описывали в путевых заметках столицу России как самый омерзительный, загаженный, нищий, разоренный и преступный город на свете. Москвичи были поражены бунтом прежде любезных, покорных, услужливых,

лакействующих и угодливых поданных. Презрение карликовой нации не могло ранить гигантскую империю, ведь не ранит же мамонта укус комара. И все же русские чувствовали себя задетыми, обведенными вокруг пальца, униженными. Прежнюю покорность раба они принимали за верность. Лесть — за признания в любви.

В поезде, который раз от раза становился все грязнее, помимо молодых русскоязычных дельцов встречались лишь те, кто не в силах был на алтарь отечества возложить своих любимых. Слишком искренние, слишком подлинные — даже для себя самих. Те, кто не смог принести страшную жертву клочку земли от Чудского озера до Финского залива.

— Любовь — всегда иллюзия, — горько улыбалась мне очередная сирота любви. — Я эстонка, родом из Выру. Мой муж — московский еврей. У него было много друзей среди эстонцев. Теперь оказалось, что они никогда его другом-то и не считали. Но никто же не просил их клясться в любви, никто не уговаривал ездить в Москву! Больно разочаровываться в целом народе — это почти то же самое, что разочароваться во всем человечестве. Почему вражду к русским эстонцы считают необходимой частью своего патриотизма? Как схоже выражается патриотизм разных наций! И как часто в истории мера его определялась мерой антисемитизма! Хотя сама по себе любовь к родному дому — одно из лучших человеческих чувств. Но ведь самым лучшим прикрывают и самое дурное...

Попутчица исповедуется мне, и слезы льются по ее лицу.

Остановившимся взглядом она следит за мелькающими в окне деревьями и не догадывается утереть слезы. Мне хочется бежать, исчезнуть, попросить прощения, потому что боль моей собеседницы переливается, впитывается в меня — и мне никак от нее не избавиться. В каждом поезде — по крайней мере одна такая история, иногда больше. Я не хочу страдать вместе со случайными попутчиками! У меня своих душевных мук достаточно!

Только в поезде я узнаю, что прекрасно умею слушать. Мне расхваливают внимательность эстонцев, их умение слушать. А мое — особенно. Других эстонцев в вагоне встретишь нечасто. Бизнесмены летают в Россию самолетами, а бедные и неудачливые эстонцы чураются инородцев еще больше, чем их преуспевшие соотечественники. Богатство зарубежных эстонцев, их самодовольные улыбки и зимний загар, приобретенный во Флориде, заставляют свирепеть. Но ненависть обращается не на этих смуглых счастливцев, а на оборванных пришельцев.

Поездом ездят русские мелкие дельцы.

И навеки влюбленные, независимо от национальности.

В своих поездках я узнаю поразительную истину: оказывается, только навеки влюбленные ставят любовь выше национальности и того клочка земли, который принадлежит им по праву рождения. Нацио-

нальная гордость — одно из проявлений страсти обладания, страсти иметь. У навеки влюбленного страсть целиком обращена к предмету любви, такому человеку не хватает душевных сил заниматься переделом земли.

Навеки влюбленные путешествуют, не думая о границах и о возникновении новых государств. Они словно перелетные птицы, чей полет может прервать только смерть.

И поезд Таллинн — Москва стал на этом пути странствий поездом слез.

Родные тут и там, детство там или тут... Теперь это дорожная любовь, трагичная в любом случае.

Моя любовь — словно блуждающий огонек, — вздыхает попутчица.

Ее супруг, русский интеллигент, не захотел быть оккупантом в Эстонии, хотя родился в Таллинне... В России эта женщина жить не в силах, дочь — тем более... Они уже в разводе, в разных городах, в разных государствах — и все же совершают мучительные поездки друг к другу: блуждающий огонек манит и зовет.

— Ах, как утомительны эти поездки, — жалуется женщина. — И все же любовь — самое ценное, что мы сумели сохранить в этой всеобщей разрухе. Чтобы выжить, я должна была отречься от любви, но без любви мне жизни нет! Есть только тупое прозябание... Как я завидую тем, кто дает брачные объявления в газету или знакомится по объявлению! Любовь пора превратить в потребительский товар, доступный каждому. Чтобы я могла потребовать от комиссии по правам человека новой любви. Потому что если весь эстонский народ объявил себя обманутым оккупантами, то я, эстонка, жертва любви к оккупации...

4. Третье возвращение в прошлое. Париж

На лес опускается мгла. А я все размышляю о том, как тяжко быть на чьей-то стороне. С поразительной четкостью я вижу лица своих давнишних поездных попутчиков, сквозь полудрему слышу их похожие друг на друга жалобы.

Я больше не хочу туда. Я хочу, чтобы вернулся Андрус.

Литовско-польская граница пугает меня — она заставляет вспомнить все то, о чем нужно было бы забыть. Снова Париж?.. Нет, слишком болезненно, слишком. Не хочу вспоминать свое счастье. Здесь, вблизи границы, оно так похоже на несчастье. Я же была уверена, что мы с Размиком никогда больше не встретимся!..

И я вновь уношусь мыслями к нему — сначала в Москву, потом в Париж.

Мои поездки в Москву продолжались около года, но Размика я не встречала. Знала, что его ателье находится где-то на берегу реки. Все

армянские художники завидовали: «Прекрасное местечко, даже слишком... оно больше подошло бы дельцу!» Порой я пыталась понять, что в армянах сильнее — взаимоотталкивание или чувство принадлежности к одной нации. «Я армянин, но не советую иметь дела с армянами. Облапошат, — часто предупреждали меня. — Пируй с армянами, но не принимай их всерьез».

Одного армянина я приняла слишком всерьез.

Я приезжала в Москву, но надеялась, что больше не встречу Размика. Встреча была бы бессмысленной, странной и поставила бы нас обоих в неловкое положение. Я с ужасом представляла себе, как он пытается вспомнить, кто я такая, и мне приходится напоминать ему ту историю... Какой стыд! И какая навязчивость.

Эти фантазии начисто отбивали у меня охоту «случайно» столкнуться с Размиком на дне рождения какого-нибудь художника.

И все же я радовалась, когда неизбежная случайность забросила меня в район, в котором мой Размик, как он рассказывал мне, жил, работал, рисовал... Любил?..

Всхлипываю, прибавляю шаг, брожу — до слабости, до дрожи в коленях.

Наконец присаживаюсь на край песочницы, чтобы вытянуть гудящие от усталости ноги. Метро где-то далеко, сама я в своих мыслях уношусь еще дальше — поближе к глазам моего армянина, к его губам, в пределы досягаемости его объятий.

Поворачиваю пылающее и несчастное лицо к солнцу. Ну что еще человеку надо, если не настоящее солнце и настоящий собственный блуждающий огонек? Все остальное пусть останется тем, кто вечную влюбленность променял на заурядную надежность будней. Каждый сам совершает сделки со своей судьбой.

Когда меня трогают за руку, я испуганно вскакиваю и не сразу узнаю самого желанного для меня человека. Он крепко держит меня за локоть, словно воришку, стянувшего кошелек.

Размик оброс бородой, на нем видавшая виды куртка; выглядит он усталым и старым. Замечаю в его волосах седые пряди, хотя мужику едва за тридцать. Но одного из самых знаменитых московских художников седина только украшает, подчеркивая этот особый почти неземной облик, совсем не вписывающийся в повседневность и неуместный на загаженных улицах столицы.

Позволяю завлечь себя в ателье, потому что слишком потрясена для того, чтобы начать речь, которую готовила к нашей встрече, шлифуя каждую фразу неделями, месяцами, днями и ночами.

Он не предлагает мне чаю, не говорит слов вежливости, он вообще почти ничего не говорит. Я улавливаю лишь отдельные слова на армянском языке и гипнотизирующую интонацию...

После, лежа на пятнистом от краски диване и глядя на свои сиротские трусики, валяющиеся под мольбертом, я чувствовала себя последней дурой. И в то же время ощущала, что высшее призвание для меня быть и оставаться счастливой дурочкой в этой знакомой и неведомой мастерской. Мне было бы уютно и в пустыне, и в дремучем лесу, и в землянке и где угодно, был бы только рядом этот странно близкий армянин со своим чужим языком и холстами.

Он хочет меня? Какое счастье и какое ребячество!

Тысяча лет ожидания и миг страсти... Любая разумная женщина, чей муж занудно исполняет супружеский долг каждую ночь, посмеялась бы надо мной. Скорее уж меня поймет музыкант, знающий, что краткое звучание волшебных нот потрясает душу сильнее, чем длящееся веками тупое беззвучие, равнодушное молчание — эта бесчувственная пауза между страстями, которая, порою, тянется всю жизнь.

Наконец-то я добралась до места.

Я путешествовала, путешествовала, путешествовала — и всякий раз сходила не на той станции. Теперь мое тело чувствует — я там, где мне надо быть. И что напрасно растраченные в поездках деньги по сравнению с этой радостью узнавания!

Улыбаюсь окружающим меня холстам и замечаю, что они улыбаются мне в ответ, как старые знакомые — словно мое отражение в зеркале.

Нагая я встаю с дивана, не замечая своей наготы. Склоняюсь перед одной картиной, перед другой... Это я? Или моя двойняшка? Почти на каждом холсте, обнаженная или задрапированная в чудесные ткани, раскинувшаяся на земле или плывущая по морю, или парящая в небе — я! Неужели я так прекрасна?

Но я никогда не была такой красивой, соблазнительной, загадочной... Эти полотна превращают натурщицу в богиню, в мимолетное виденье. Содрогаясь, преклоняю колени перед похожими на меня богинями и не могу понять, от холода дрожу или от потрясения.

Затем я ощущаю прикосновение мужской руки и вновь осознаю свою наготу. Падаю на четвереньки, не чувствуя, как больно впиваются в колени неровные половицы. Приливы страсти следуют один за другим, мы не успеваем добраться до дивана... Размик превращается в дикаря, он причиняет мне боль. Но я удивленно наслаждаюсь своим телом и не пытаюсь бежать.

Только ближе к ночи мой армянин начинает суетиться; он хочет, наконец, сделать с меня набросок. До сих пор он писал меня по памяти — и все лучшие картины уже распроданы. Я приношу ему счастье!

— Счастье? В бизнесе — возможно! — обиженно отвечаю я: его слова напоминают мне все мои долгие несчастья.

Размик настораживается:

— Прости, если я чем-то тебя обидел. Но я все это время жил тобой. Я сделал тебе больно?

— Немного — да — в самом деле — сделал! — отвечаю я.

Не такие слова мне хотелось бы услышать от этого мужчины. Но какие?

— В самом деле набросился на тебя, как солдат, потерявший надежду дожить до мира и встретить женщину, — извиняется он, и вместо ожидаемых клятв я слышу в его голосе нотки обиды: — Я давно не касался женщины.

— А Гаянэ? — спрашиваю я с замиранием сердца. На миг меня охватывает безумная надежда, что Гаянэ осталась в далеком прошлом.

— Я не хотел бы говорить о моей жене, — резко отвечает Размик. — Она хороший друг и супруга, но наши отношения с самого начала были слишком уж предопределенными. Страсть так не возникает.

— Ну и когда же она возникает? — взрываюсь я, обманутая в самых сокровенных своих ожиданиях. — Когда чужая голая баба стоит раком перед твоими полотнами?!

— Рийна! — в его глазах предостережение, которому я не собираюсь внимать. — Не будем портить наше свидание. Постараемся быть умнее.

— Ограничимся только трахом? А красивые слова — исключительно для возлюбленной супруги?! — ору я.

Он подходит к окну и долго-долго смотрит на улицу. Вместо злобы все мое существо наполняется предчувствием несчастья.

— Ты меня с ума свела, — начинает он задумчиво. — Я ничего не отрицаю. Я признаю свою вину. Ужасную вину. Я предал друга, возжелал его невесту, разбил вашу жизнь. Сделал то, что всегда осуждал в других. Когда я уезжал, я надеялся, что вы все-таки будете вместе, что с твоей стороны это было мимолетной вспышкой страсти, затмением, безумием...

— Надеялся? Тогда ты не мужчина, а тряпка, — бросаю я, начиная торопливо одеваться.

— Да, надеялся! — гневно отрезает Размик. — И еще надеялся, что мне хватит сил не возвращаться в ваш городок, чтобы убить вас обоих. Я уже стоял у кассы, требовал билет до Таллинна. Но погода была нелетная. И я улетел в Ереван... В первую же ночь переспал с Гаянэ. Так я наказал себя. Ты мне и сейчас время от времени снишься в объятиях Тармо, хотя я знаю, что вы не поженились. Теперь знаю! Может, и к лучшему, что я узнал об этом слишком поздно.

— Естественно, законный брак куда здоровее безумных страстей на полу мастерской, — в отчаянии я пытаюсь язвить.

— Твоя мать никогда бы не признала меня, — яростно защищается Размик. — Весь ваш род, весь ваш народ. Твой народ!

— Причем здесь народ? — выкрикиваю я сквозь рыдания. — Меня ты хочешь или народ?! Я не такое мамочкино чадо, как ты, чтобы меня с пеленок с кем-то обвенчали.

— Еще раз прошу тебя не касаться моей жены, — от ярости Размик смертельно бледнеет. — Не говори о том, чего не знаешь! Гаянэ ждет от меня ребенка, она на пятом месяце.

— Ах вот оно что! — у меня перехватывает дух. — Так ты поэтому использовал меня, наивную провинциалку?! Бесплатное удовольствие для мужика, который слишком долго постился!

— Да, моя жена не бесплодна, — рычит он. — И моя кровь найдет продолжение в моем сыне. Но любовные радости — это совсем другое, если уж ты ничегошеньки не поняла!

— Почему? — спрашиваю я, торопясь к двери.

— Потому что твой запах — это только твой запах, — у самой двери Размик вновь обнимает меня. — Такой кожи нет ни у одной женщины на свете... твои волосы, твоя грудь... Все, что не твое, меня не волнует, не сводит с ума, не заставляет забыть о мужской чести. Это можешь только ты, ты, единственная моя...

Он целует мою шею, лицо, волосы. Невозможно вырваться из его объятий. Невозможно уйти. Ни навсегда, ни на секунду. Я принадлежу ему, только с ним — мой дом. И все же я убегаю, унося его слова: «Моя кровь найдет продолжение в моем сыне». Он сохранится в объятиях Гаянэ, сохранит свою драгоценную мужскую честь! Что ж, я переживу — дайте только добраться до дому. Вон отсюда, назад, в Эстонию! Скорее в повседневность, в эту великолепную отупляющую суету!

Словно в дурмане, я отправляюсь на вокзал. Я уверена, что больше никогда не поеду в Москву. Этот город больше не манит меня. К чему теперь тайно ждать встречи с Размиком?! К чему теперь клиенты Карлы, вся эта торговля картинами?! К чему вообще все искусство и мои рисунки?!

... Бунт мой длится всего два месяца. Конечно же, у меня есть дела в Москве. Карла прав: добытую с таким трудом служебную визу необходимо использовать. Только Карла умеет выбивать служебные визы для совершенно неподходящих людей вроде меня. Но мой хозяин всегда знает, чего он хочет. И получает то, что хочет.

В данном случае он хочет, чтобы я поехала в Москву. И я еду, такая несчастная и — безумно счастливая.

Поначалу я надеюсь, что мой армянин сам меня отыщет.

Обзваниваю всех людей, от которых хоть раз слышала упоминание о Размике. Теперь о нем упоминаю я. Намекаю, вплетаю его имя чуть ли не в каждую фразу. Завожу разговоры об армянском искусстве. И нарываюсь, в конце концов, на национальный вопрос. Армян ненави-

дят, называют дельцами, считают, что они позорят настоящее искусство. Я в растерянности внимаю.

Выясняется, что еврей-редактор художественного журнала, который, как я думала, хвалит меня только благодаря Размику, презирает моего армянского друга как «известного делягу». Я потрясена. Но еще больше потрясена признанием, что ко мне редактор благоволит из-за теплых воспоминаний о курортах Пярну. Стало быть, в Москве меня поддерживают не армяне, а моя маленькая родина, которой я выносила такие предательские приговоры. Оказывается, «черножопых» в Москве презирают еще больше, чем в Эстонии оккупантов, и в числе этих презренных — и мой Размик.

А Размик еще уверял, будто бежал из моего городка, спасаясь от недружелюбных замечаний моей матери. И при этом преспокойно живет в Москве, в которой русские пылают гневом против нашествия «черных»! Пожалуй, редактор прав и Размик, возможно, действительно «деляга» — и куда более сноровистый, чем Карла. Или, по крайней мере, деляга новой формации, которого мне трудно раскусить.

Эстонские художники живут в Эстонии. Размик и его друзья — в Москве. Наши художники говорят на родном языке, Размик безукоризненно говорит по-русски. Размик живет в Москве, его брат — в Париже. Наверно, это свойство талантливого народа. Так евреи есть повсюду. Только представительница крошечного народца, вроде меня, может быть шокирована таким положением дел. В больших городах больше возможностей для роста, для развития... Для делячества?!

Да, я все-таки чувствую себя оскорбленной, и так просто это не проходит.

Я оскорблена, но Размика не встречаю ни в этот свой приезд, ни в следующий. В третий и четвертый приезды тоже не встречаю. Моя оскорбленность переходит в отчаяние. Отчаяние — в тупое бесчувствие. Бесчувствие — в жажду развлечений. Я окунаюсь в развлечения, принимаю каждое приглашение. Мало того — сама напрашиваюсь в гости. Где-то в глубине души я надеюсь случайно встретить Размика, но сама себе в этом не признаюсь. Внушаю себе, что веселюсь, чтобы таким способом окончательно избавиться от армянина.

Но добиваюсь я только одного: избавляюсь от состояния творческого горения, сопутствовавшего мне в прошлые приезды. Поезд всегда давал мне самые лучшие идеи для рисунков, прогулки по большому городу — тоже. Теперь вдохновение исчезает, остается усталость и какое-то неуловимое ощущение неумытости.

Но ведь я бываю исключительно в избранном обществе... Все здесь знакомы друг с другом с незапамятных времен, как они сами утверждают. Откуда же это ощущение гадливости? Неужели от случайных

объятий, невинных поцелуев в щечку? Но я же не удаляюсь в соседнюю комнату, не позволяю мужским рукам утвердиться на моей груди или бедрах — не позволяю всего того, что делается весело, по-приятельски в моем поле зрения и рядом со мной!

Но позволяю же я по-дружески обнимать и целовать себя! Меня охватывает непреодолимое отвращение к чужим мужским рукам. Я проверяю себя еще и еще... Результат все тот же, я неисправима.

Затем, словно вспышка молнии, меня настигает понимание, что Размик никогда не найдет меня в этих компаниях. А если бы и нашел, для меня невыносимой душевной мукой было бы видеть, как он «по-братски» щупает тело какой-нибудь своей приятельницы из мира искусства — ведь все здесь знают друг друга с незапамятных времен ...

Я собираю свою дорожную сумку у армян, которые обычно предоставляют мне ночлег. Больше я в Москву не приеду. Дела идут паршиво: Россия катится под гору! Такой деловой разговор Карла сумеет понять.

Тут звонит телефон. Я равнодушно слушаю армянскую тарабарщину. Наверно, звонит кто-то долгожданный — недаром же мать семейства так радостно возбуждена.

Завидую, вздыхаю.

Оказывается, это меня. Я не догадываюсь спросить, кто он, наш общий знакомый, безразлично беру трубку. И в полуобмороке сползаю на пол. Слышу голос Размика, его тревожные «алло» — и растягиваюсь в полный рост.

Хозяйка приносит нашатырный спирт, трет ваткой мой кровоточащий лоб: падая, я ушиблась о край столика.

Говорю, что это метрофобия. В Москве нынче считается очень изысканным страдать от метрофобии. Многие художники вообще не пользуются подземкой, не выносят нехватки воздуха, озлобления, написанного на лицах, грубой толкотни. Я голодна, не выспалась да еще и страдаю метрофобией — причин для обморока вполне достаточно. И все же мне кажется, что хозяйка глядит на меня чересчур подозрительно. Размик — честь и слава армянской общины, а я всего-навсего странная пришелица, которую поддерживают в основном ради давнего уважения к Эстонии, преуспевшей больше других бывших союзных республик.

Моя маленькая родина и сейчас окружает меня спасительным сиянием, хотя официально Эстонию положено считать «угасшей звездой». Однако прекрасные воспоминания москвичей о давних прогулках по морскому побережью позволяют мне быть почетной гостьей. Надолго ли? Пока не угаснут последние воспоминания? И последние помнящие? Но к уважению примешиваются осторожность и подозрительность.

Разумеется, я очень скоро опровергаю все разговоры о том, какие эстонцы оголтелые националисты, как они ненавидят все русскоязычное. Мое присутствие здесь — лучшее доказательство. Мне верят, мне кивают, но какой-то смутный оттенок недоверия остается во взглядах. Каждый мой странный поступок подтверждает, что от эстонцев можно ожидать чего-то опасного, неуместного, предательского...

А обморок — явление, безусловно, необычное — объясняй его хоть метрофобией, хоть какой иной причиной. Хозяйка вновь появляется передо мной, со строгим и осуждающим видом. Или мне только кажется?

Из-за обморока я опоздала на таллиннский поезд, это воля судьбы. Я должна видеть Размика, слышать его голос. Я должна, я хочу... Лежу, прижимая к носу ватку с нашатырным спиртом, и строю планы встречи. По телефону? Нет, голоса Гаянэ я не вынесу. В мастерской? Нет, там может оказаться какая-нибудь натурщица. Обнаженная! Я этого не переживу. Ужасно, если я свалюсь в обморок к ногам какой-то голой тетки, которая, наверняка, еще и любовница Размика.

Размик перезвонил. Как мало нужно для того, чтобы почувствовать себя спокойной и счастливой!

— Почему ты бросила трубку? — сердито спрашивает он.

— Обыкновенный обрыв на линии, — энергично вру я.

Не могу же я признаться мужчине, что свалилась без чувств от звука его голоса.

— Ладно! — рубит Размик. — Я должен сегодня видеть тебя!

Как будто мы не расстались, поссорившись, несколько месяцев назад! Как будто нам не доводилось заниматься любовью только случайно, пару раз за всю жизнь! Как будто мы идеальная пара верных влюбленных!

— Дааа! — вскрикиваю я. А потом, оскорбленно: — Только у меня сегодня нет времени.

Правильнее было бы сказать, что у меня нет сил пережить еще одно потрясение. Я чувствую себя совсем слабой, как после тяжелой болезни. Каждое слово дается мне с напряжением, меня бросает то в жар, то в холод. Мне хочется успокоиться, уснуть, ни о чем не думать.

— Завтра я улетаю в Париж, перебираюсь насовсем, — частит он в трубку. — Будь человеком, я должен перед отъездом видеть тебя. Какое счастье, что ты оказалась в Москве. Я набрал этот номер, словно что-то мне подсказало... Я не надеялся... Это невероятно. Ты — здесь, именно на этом номере. Ты в состоянии, наконец, быть выше своей гордости и высокомерия?

Это у меня-то высокомерие?! У меня, которая, позабыв всякий стыд, умчалась со своей родины в столицу оккупантов, чтобы бродить здесь, как бездомная псина, — в надежде найти своего единственного «господина и повелителя»?! У меня, забывшей уроки бабушки и мамы, их слова, что любовница — всего лишь подстилка у ног мужчины?! У меня,

которая ведет себя, словно зачарованная?! И это меня-то Размик считает гордой и высокомерной?!

К счастью (или к несчастью), я слишком вялая, чтобы переложить в слова весь этот поток сознания. Возможно, тогда бы нашей встречи не случилось, как не случилось бы еще многого.

— Я, я, я... почти больна, — лепечу я в трубку.

— Почти? — восклицает он. — Если ты только еще не мертва, жду тебя в восемь вечера на той самой скамейке, где мы встретились в прошлый раз. И, умоляю тебя, не играй больше с судьбой!

Разговор окончен.

Мой господин и повелитель высказал свою волю и поставил меня на место: выходит, я еще и с судьбой играю? Сам он женат на Гаянэ, нянчит своего младенца, прославляет крепкую армянскую семью — а я играю с судьбой?!

Решаю не ходить.

Париж еще хуже Еревана — дальше, чем край света. Я никогда больше не увижу Размика. Вспоминаю бессонные ночи после ссоры с ним и не хочу пережить все это снова. Он только ввергнет меня в еще большее отчаяние. Нет, нет, все, никуда я не пойду.

И снова я колеблюсь и терзаюсь. А когда, наконец, выскакиваю из дверей, уже опаздываю. К тому же мой черепаший шаг можно назвать торопливым только с большой натяжкой. Мне кажется, будто я спешу. А я еще не добралась до метро.

С ужасом вижу: вход в метро закрыт. Авария.

Аварийные таблички меняются на станциях метро с такой частотой, что я по этой причине уже не раз попадала в беду. Подземный транспорт перегружен. Несчастные случаи на эскалаторах все же относительно редки — удивительно, если взглянуть на эти кишащие людьми движущиеся лестницы. Перенаселенность Москвы самым устрашающим образом чувствуешь именно под землей. Меня пугает грубость подземной толпы, когда все прорываются вперед, отпихивая друг друга локтями. Это человеческое стадо столь же разрушительно, как девятый вал в океане или лесной пожар. Оно сметает все на своем пути.

Московские интеллигенты стараются не ездить в метро. Как и я.

Тем не менее подземный поезд — самое быстрое средство передвижения, и табличка с написанным вкривь и вкось: «Закрыто по причине аварии» делает мое опоздание катастрофическим. Метро вообще привыкло устраивать катастрофы — для одной-единственной человекоединицы или для гигантских масс.

Торопиться бессмысленно.

Но я тороплюсь, заставляю свои ноги двигаться, заставляю себя ввинтиться в битком набитый автобус. В Москве это вообще подвиг, а для человека в полуобморочном состоянии — тем более.

Разумеется, мы попадаем в пробку. Игра с судьбой? Размик прав — я играю своей жизнью, ставлю на себе эксперименты. У солидных людей тяга к игре исчерпывается, едва они покидают песочницу; дальше они живут буднями, состоящими из добывания и поглощения пищи. А играют пусть младенцы. Жизнь — это тяжкая борьба за выживание. Чтобы выстоять, сохраниться и наконец умереть.

Кто хочет играть, на того судьба кладет глаз. Злой этот глаз или добрый? Я спешу на свидание, но Размик не узнает об этом, и я потеряю его — теперь уж бесповоротно.

В какой-то миг я соображаю выскочить из автобуса и устремиться к другой станции метро. Опаздываю уже на час. От растерянности я впервые в жизни сажусь не в тот поезд и еду в противоположном направлении. Такого со мной не случалось даже в первые дни в Москве. Возвращаюсь, делаю пересадку.

К месту встречи прибываю с двухчасовым опозданием. Хорошо еще, что лето, вечер светел. Иначе мне пришлось бы искать эту скамейку на ощупь. Московские закоулки часто бывают так скверно освещены, словно в ожидании бомбежки.

Размик сидит на скамейке.

Он ждет.

Ждет!

Миг совершенного счастья. Именно ради этого мига я толкалась и мучилась в грязных поездах. Теперь этот миг настал, и я знаю, что сохраню интенсивность этого мгновения как меру личного счастья. Неужели судьба приберегла для меня вершину этой шкалы счастья?! Неужели возможно такое полное счастье — и я способна испытать его?! Мировые запасы счастья еще не исчерпаны, хотя всюду говорят о распаде, гибели и конце света. Я родилась, чтобы испытать такие мгновения. Пусть я играю с судьбой. Я страдала — и мне воздастся сторицей.

Я стою перед съежившимся на скамье мужчиной, и он даже не замечает моего появления.

Мой счастливый миг пробил, теперь он может окончиться!

Пусть отныне единственным моим любовником будет поезд. Единственным и отверженным любовником. Мне не нужно больше купе, у меня нет цели пути. Что касается меня, то железнодорожное движение в восточном направлении можно закрывать. В этом, кстати, меня поддержит большинство эстонцев.

Завтра я потеряю возлюбленного, которого, по правде говоря, и не было, потеряю огромный город, который я присвоила, который укротила только благодаря своей любви. Наверно, мне будет трудно объяснять друзьям, что столица разом утратила весь свой шарм, если в ней больше не живет мой любимый. Человек, ради которого я оставила уютные эстонские квартирки и избрала своим домом поезд. Мое место

в купе, мое пронумерованное убежище всегда готово принять меня. Сюда у меня взят билет, здесь обеспечивают мои права и понимают мой главный интерес — кочевать из города в город, из государства в государство, с родины в безродность...

Ради этого бессильно скорчившегося мужчины я принесла в жертву свой родной город, родную страну, свой народ. Я только и делала, что стремилась к этому армянину, а теперь он меня окончательно бросает. Меня, «русскую подстилку», которая предпочла чужого русскоязычного, чужие обычаи и чужие поезда. Чужую любовь.

Гляжу на Размика. Мой счастливый миг остается со мной. Чего же мне больше?

Мне безумно жаль его и еще больше — себя. Я поворачиваюсь и медленно, как лунатичка, начинаю удаляться от него — прочь, к поезду.

Тут меня хватают за плечи, за шею. На миг возникает надежда: сейчас задушит. Это было бы куда умнее, чем очередное идиотское прощание. Я глотаю воздух и съеживаюсь под любимыми руками.

Размик целует меня на виду у всех, на глазах у совершающей вечерний моцион Москвы.

Гуляющие, скамейки перед домами, общение с чужими, невинные и очарованные взгляды, брошенные искоса, одобрительные свистки, улыбки незнакомцев — всего этого мне будет недоставать среди сдержанных и замкнутых эстонцев.

Я плачу беззвучно без слез. Я прощаюсь с большим городом так, как прощаются только с человеком. Размик подарил мне этот город, Размик его и отберет. Будь у меня здесь хоть тысяча друзей, но после отъезда этого армянина невыносимо станет вертеться в пестрой людской карусели, в которой все невольно задевают, касаются, напоминают, что мне больше нечего тосковать. Не по кому.

Я плачу — и не сразу соображаю, что старушка на соседней скамейке исходит бранью по моему адресу. В лице этой старушки Москва выражает свое неодобрение моему слишком уж раскованному поведению. Старушка визжит, что, мол, черные совсем обнаглели, устраивают порнографию прямо на улице

Вообще-то у русскоязычных принято помогать людям — протягивать упавшему платок, возвращать выскользнувший из руки кошелек. Но взамен они уверены в своем праве читать посторонним нотации.

— Вот видишь, — вздыхает Размик, — только в Париже не бранят тех, кто не похож на других.

Старушка складывает руки на животе и начинает новую лекцию о том, как москвичи любят китайцев, негров, японцев — всех, кроме черномазых спекулянтов. Я не могу сдержать смех, словно кто-то дергает мои губы за ниточки.

— Смейся, смейся! — злится бабуся — Позволяешь лапать себя у всех на виду...

— Мы же не виноваты, что летом такие светлые ночи и всем все видно, — парирует Размик.

— Я, тебе, девушка, скажу, — неожиданно по-матерински говорит бабка, — такой тип, который целуется на улице, в дом тебя вводить не станет. Дома у него, небось, своя, смуглая да чернокосая младенца нянчит. А ты ему только для развлечения.

Воистину пророческие слова! Я не раз повторяла их себе. И слезы, накопившиеся во мне, внезапно прорываются наружу. Я реву басом, словно пятилетняя.

И тут происходит нечто невероятное. Такое возможно только в России и среди русских.

Недавние враги, бабуся и Размик наперебой утешают меня. Попутно Размик успевает рассказать бабусе свою биографию и раз пять повторить, что завтра он навеки уедет в ужасный Париж, где у него нет ни друзей, ни близких.

Успеваю удивиться тому, что Размик хвалит Москву как родную. Ну да, он прожил здесь не меньше десятка лет, но при мне родным городом всегда называл Ереван. Чертовски хитер братец, восхищенно шмыгаю я носом. Вот точно так же мне он говорит одно, а жене другое. Дурачить людей он мастер! Да, видно я в самом деле дурочка, если даже поплакать рядом с ним для меня счастье.

Размик между тем втолковывает бабусе, как он любит меня. Услышав про любовь, я становлюсь тихой, как мышка: мне самой он никогда не говорил ничего подобного.

Любой эстонец от такой откровенности остолбенел бы. Шокирована и я. Но еще больше поражает меня то, что бабуля от этих слов добреет и посылает внучку домой за капустным пирогом. Пленительный финальный аккорд, который примирит меня с грязью, неряшливостью и хамством белокаменной. Вся моя московская жизнь полна таких нежданных и непривычных для эстонцев подарков.

Почему в Эстонии чужие люди никогда не привечают меня так? Почему я сама никого не приветила? Почему я раскрываюсь и сияю только навстречу улыбкам русских? Почему меня чарует все, что не свойственно моему народу? Грех ли это, предательство или стремление больше видеть, больше знать? Больше понимать...

А сама я способна к таким непосредственным всплескам чувств?

Среди моих знакомых эстонцев большинство настроены враждебно по отношению к Москве. Нет на свете более противного, гнусного, неуютного логова, чем этот город, набитый миллионами человеческих существ. И я не умею объяснить своим соотечественникам, почему только москвичи обволакивают меня своей нежностью. Я и себе-то как сле-

дует не умею это объяснить. Несомненно лишь одно: столица доказала мне, что пути любви неисповедимы, как и она сама.

Немцы, шведы или русские считают мои рисунки оригинальными, эстонцы — всего лишь странными. И если я потеряю поддержку больших городов, на своей маленькой родине я и в искусстве снова стану недотепой, презираемой, высмеиваемой, униженной. Одной из тех, кого малый народ топчет с таким же вдохновением, с каким покорители мира подминают под себя маленьких людишек.

Мне хорошо с москвичами. Но, слушая, что русские говорят об Эстонии, я догадываюсь, что они просто ничего не понимают. Высокомерное самомнение миллионного народца кажется смешным в городе, где людей вдесятеро больше. Эстонцы не умеют благодарить судьбу за то, что, несмотря на остзейских немцев, шведов, русских и прочих завоевателей, несмотря на право первой ночи, они все же сохранились. Вот ливы не сумели пережить бесконечные войны. Эстонцы живут в таком уголке всемирной прихожей, где месили грязь ногами буквально все армии Европы. Не государство, а дверь, которую принято распахивать ударом солдатского сапога.

Но именно благодаря этим солдатским сапогам у малого народа сложились такие героические черты характера. Конечно, наполеоновский комплекс без великой армии в лучшем случае смешон, в худшем — отвратителен... Я не хочу отвечать за самонадеянный эстонский миф о справедливости, по части мстительности уравнивающий карликовый народ с великими народами-террористами. К сожалению, чем меньше народ, тем сильнее он унижен. И тем сильнее, неукротимее, навязчивее его воля к мести.

Размик и старушка тем временем от «черномазых» уже успели перейти к моей национальности. Бабуля грустит, как на поминках, жалея бедную деточку. Ведь эстонцев словно заколдовали, вывернули наизнанку. Остается одно: Размик обязан увести меня с собой в Париж.

Кусок пирога застревает у меня в горле. Поперхнувшись, я исхожу кашлем.

С двух сторон меня заботливо похлопывают по спине. Когда ко мне возвращается дыхание, выясняется, что моя поездка в Париж решена. Ну конечно, конечно, такой хорошей девушке нечего делать в переродившейся Эстонии. Как это ей самой не пришло в голову? Да, да, найдется и мне в Париже крыша над головой, я ведь тоже почти художница.

Кровь ударяет мне в голову. Я вновь едва не теряю сознание. На этот раз от гнева В глубине своей натуры я все же достаточно осталась эстонкой. И потом — как это самому Размику не пришло в голову позвать меня в Париж?! Зато он мгновенно хватается за предложение совершенно незнакомой старушки и даже называет меня «почти» художницей. Это «почти» для меня еще непереносимее, чем неожиданное

приглашение, сделанное по наущению старушки. Я же знаю, что Размик признает только большие полотна, а мои рисунки считает детской блажью. Самое оскорбительное, что я от него слышала: «Лучшее в Гаянэ то, что она вообще не занимается искусством!».

...Размик позвал меня в Париж, а я не радуюсь, не висну у него на шее, как поступила бы армянка или русская, которую любимый хочет видеть рядом с собой. А ведь я люблю Размика, тоскую по нему, хочу уехать из Эстонии...

Мой армянин обиженно глядит на меня, пожимает плечами.

Я лепечу что-то беспомощное о головной боли, потом восклицаю:

— А ты-то зачем уезжаешь? Так далеко от Армении? И от Эстонии?

Как ни странно, Размик уже не сердится.

— Спасибо, ты первая догадалась об этом спросить. Сейчас, когда ты рядом, я и в самом деле не понимаю, зачем. Рийна, дорогая, ты слишком поздно появилась со своим мудрым вопросом. Париж — город художников. Мой брат в Париже. У меня билет в кармане, виза... В самом деле, зачем? Да хотя бы ради того, чтобы любить друг друга в городе любви! Твое присутствие дает мне ответ на вопрос, зачем я еду

Не мое присутствие, а мысль, осенившая старушку...

Размик в Париже может обожать Армению с тем же успехом, что и в Москве. Со слезами на глазах рассказывать, как в Ереване порубили на дрова чудесные аллеи. О том, что ереванцы живут, как будто электричество еще не изобретено. О постоянной нужде, о нехватке продуктов. Размик всюду останется армянином, как еврей всюду остается евреем. Но ведь еврей не обязан непременно стремиться в Иерусалим, как и мой художник — в свой горячо любимый Ереван. Наверно, оттого-то весь мир ненавидит этих вечных странников и завидует им, — тому, что для них восторги перед родным клочком земли — скорее героический эпос, чем скучные будни. Об исторической родине слагают поэмы, но жить могут где угодно. Я бы не возражала, если бы вместо евреев народом-странником стали эстонцы. Кто-то ведь должен жертвовать собой и бродить по свету. Эстонский народ превосходно для этого подходит. Мы тоже просто-таки чудом сохранили свою нацию, несмотря на череду чужих войск и властей. Эстонцы тоже разбросаны по всему свету. Мы тоже сохранили, невзирая на все испытания, свой язык и культуру, свою веру и мечты. У нас тоже есть свой Израиль. Разве что вместо Стены плача в Эстонии паломники могут стекаться к глинту или какому-нибудь священному валуну среди дубов. Государства гибнут, древние леса остаются...

Собираюсь сказать Размику, что не поеду в Париж — хотя бы в надежде увидеть его удивление и неподдельный интерес. Но только

отворачиваюсь: сил для протеста у меня уже не осталось. От судьбы не уйдешь. Кому суждено страдать, тот страдает — неважно, в Париже, в Москве или в Таллинне. Конечно, я поеду... Новое место — новые муки. Размик всюду один, но моя тоска по нему в каждом городе — своя. Интересно, что добавит к ней Париж?

Заявление об уходе я подаю задолго до получения визы. Я больше не в состоянии притворяться, как рада уйти из конторы Карлы. Шеф печально рассуждает о человеческой неблагодарности, оборачивается ко мне спиной, глядит в окно.

— Прощайте, — виновато бормочу я.

— С богом! — отвечает мой благодетель. — Вы только и знаете, что рваться за границу, родина для вас — звук пустой. Все путаешься с оккупантами? Не забывай, доченька, — в этот миг я с удивлением слышу в голосе Карлы слезы, но он быстро приходит в себя, — не забывай, что ты эстонского роду-племени, и тут уж ничего не поделаешь. Припомнишь еще мои слова!

— Этот человек — армянин, — пытаюсь я оправдаться.

— Армянин?! — жестко обрывает меня Карла. — Настоящие армяне живут в Армении; их родина в беде, и они стараются ей помочь. Таких армян я знаю и уважаю, а этот твой — дезертир и авантюрист.

Карла, как и все эстонцы, считает, что каждый народ должен зарыться в землю, как червь, и, сидя в окопе, оборонять свой клочок земли. Нашему национальному характеру больше всего подходит Антарктида — чистая, белая и неприступная, как великая справедливость эстонцев.

Да, я вспоминала потом слова Карлы — и не однажды. Мне-то ясно, что чисто эстонская тяга к крохотному клочку земли, который называется родиной, никогда не позволит мне стать настоящей космополиткой.

Мой уход из конторы похож на бегство...

Точно так же я покидаю те квартиры, в которые Размик звонит мне. Ругаю себя, что не позаботилась о собственном телефоне. И проклинаю невозможность позвонить домой своему армянину, так как Гаянэ, проводящую дни в счастливом неведении, от первого же звонка хватит кондрашка. А в мастерской Размика телефона нет.

«Мужчина должен звонить своей любимой, а не наоборот». Объяснять слишком долго, объяснить невозможно. Конечно, конечно, мужчина звонит, мужчина платит, мужчина делает, мужчина решает...

Я слишком утомлена ролью, разительно отличающейся от роли добродетельной замужней дамы, к которой меня с детства готовил наш городок. Что супруга не следует раздражать, я знаю чуть ли не с рождения. Жен принято холить и лелеять, и все мужья усердно объясняют своим любовницам правила игры. Они элементарно просты: делай, но

тайком. Этими же правилами с успехом можно пользоваться в межнациональных отношениях. Лицемерный блюститель этих всеобщих правил понятия не имеет, что соперник может играть совсем в другую игру. Простодушно говорить о честной игре, если правила настолько несхожи. Это смешно — вроде того, как если бы один партнер играл в хоккей, а другой — в баскетбол. Конечно, ощущение состязания осталось бы, но каждый был бы возмущен, что соперник нарушает все правила.

Поэтому я знаю наперед, что бессмысленно спорить с человеком, который верит в правила игры. Карла верит! И Размик верит! Они убеждены, что жизнь играет только в одну игру. Такие игроки сами не осознают свое надменное желание быть с Богом наравне. Солнце обязано вращаться вокруг Земли — и никак не иначе. Они спокойны до тех пор, пока могут посылать инакомыслящих на костер. Когда однажды это становится невозможным, мир рушится, и они обвиняют его в нечестной игре.

Я даю Размику возможность чувствовать себя честным человеком; я не спорю с ним. Не называю его «любовником», так как ему не по нраву этот «бесчестный» термин, как будто слово «супруг» честнее уже само по себе. Я даже не звоню в Париж, хотя знаю домашний номер Размика. Я позвоню туда лишь если произойдет катастрофа: землетрясение, извержение вулкана на Мунамяги.

Но Мунамяги, величайшая вершина Эстонии, прыщик в 318 метров над уровнем моря (плюс 27 метров смотровой вышки), не превращается в вулкан. Я не звоню в Париж, чтобы не напрягать Размика.

Вместо этого я напрягаю почти всех таллиннских знакомых, у которых есть телефон. «Да, да, извините, это действительно меня, я дала ваш номер, извините, что говорят по-русски... Это из Парижа!»

Я должна добавлять «из Парижа», потому что при звуках русской речи у моих знакомых вытягиваются лица. Я не хочу терять своих знакомых, их ничего не значащей благожелательности. И все же я их теряю. Русская речь и Париж — две крайности, нуждающиеся в разъяснении. А я не могу, не умею, не хочу... Не желаю откровенничать, не желаю просто знакомых превращать в друзей. Избегаю вопросительных, укоряющих, всепонимающих взглядов. Не нужна мне никакая обременяющая душу связь. Ни с кем, ни для чего...

И все-таки в конце концов сажусь в самолет, лечу в столь вожделенный для эстонцев Париж. И — слеза унижения катится по моей щеке... Почему я чувствую себя опозоренной и униженной? Неужели только потому, что меня не возвели в роль любимой жены, как это принято у двоеженцев — казахов и киргизов? Мне досталась характерная для Европы роль мадам Помпадур или Дамы с камелиями. Справлюсь ли я с ней — с моим-то провинциальным воспитанием?

Мои ноги и грудь — вполне на уровне мировых стандартов, не хуже, чем у профессиональных манекенщиц, как уверял мой женишок Тармо. Но моя душа, мое сердце, моя способность любить — достигнут ли они уровня куртизанок мирового класса?

Французские самолеты поразительны: в них бесплатно угощают вином и даже шампанским. Жадно глотаю этот традиционный напиток эстонских праздников, чтобы избавиться от своих душевных мук, сомнений, рефлексии.

Я явно перебрала и замечаю, что многие мужчины как-то очень настойчиво улыбаются мне. Смешно! Мужчины неисправимы: пессимисты считают каждую женщину шлюхой, а оптимисты надеются, что так оно и есть. Причем даже самые разумные мужчины в дороге вдруг начинают питать фривольные надежды. Все, что хоть как-то выходит за рамки повседневности, дает им надежду на новый анекдот из жизни. А я-то уж точно выхожу за рамки. Обожают-то они только самых близких женщин. Веря при этом всем анекдотам про женщин, которые сами и сложили в поездках.

Женщина должна быть «отрадой для взора» — для взора любого мужчины, который удостоит ее этого взора. Я предпочла бы носить паранджу как прикрытие от раздевающих взглядов. Я безошибочно ловлю спиной именно такие взгляды, ощущаю их всей кожей. Я слишком хорошо улавливаю эти излучения чувств, мыслей, самой сути человека. Мне этого вовсе не хочется, но я не умею отключить свою чувствительность, как отключают телевизор. И теперь в самолете мне остается только топить эти противные клейкие взгляды в шампанском.

Для первого посещения Парижа я перестаралась с этим напитком.

Когда Размик встречает меня в аэропорту, я уже безнадежно косая. Встреча с городом мечты, таким родным и круглым... Мои глаза словно в тумане, но округлости Парижа я замечаю мгновенно. Здесь все кажется округлым. Аэпорорт «Шарль де Голль» и здание Французского радио, мимо которого мы проезжаем. Даже задницы француженок кажутся слишком уж гладенькими — даже у седых дам коротенькие кругленькие юбчонки зачастую прикрывают лишь верхнюю часть бедра.

Я внезапно попала в круглую, совершенно круглую страну — здесь все в форме шара или окружности.

В Эстонии с незапамятных времен все круглое принято скрывать. Более мешковатые одежды я видела только в Финляндии и Швеции — гигантские кофты и просторные брюки, которые словно хоронят все округлые формы. В Эстонии это можно было приписать дурному влиянию советской власти: пиджаки и кофты делали женщину похожей на наши дома-коробки, такой же угловатой.

В первый же свой парижский день я поняла, что здесь даже старушки одеваются в манере, которую моя мать всегда считала крайне лег-

комысленной, свидетельствующей о сомнительном образе жизни. Впрочем, с точки зрения моего родного городка, все парижское выглядит легкомысленным.

Право же, забавно, как мы в своей провинции обожали Париж, который в действительности опрокидывает все наши представления о том, что достойно обожания и что недостойно. Столица Франции горда предметами и явлениями, которые мне с детства предписывали осуждать. Пальто и шубы здесь не кладут с немецкой аккуратностью на скамью, как учила меня мать. Их беспечно роняют с плеч, нимало не заботясь о том, где им случится упасть. Удивительно, что мой аккуратный жених Тармо не сумел избавиться от провинциальной мании обожествлять Париж, хотя все существо этого человека противоречило сути французской столицы. Разумеется, Тармо аккуратно складывал, разглаживал и развешивал свои пальто, пиджаки, рубахи, шарфы, шапки — все, что попадалось под руку. Мне казалось тогда, что его аккуратизм переходит в манию.

И если бы Тармо сумел оценить во мне хотя бы одну из черт, присущих Парижу, наверно, я бы по сей день оставалась счастливой и верной замужней матроной. Не зная, что именно Париж подарит моему существу право на жизнь...

И вот я во все глаза смотрю, как обычная француженка выходит на улицу, соблазнительно обтянув свои формы, — будто ей и невдомек, что женское тело табу и вызывает у мужчин скоромные мысли.

Ноги парижанок обычно обуты в черные туфельки на высоком каблучке, словно все они торопятся в театр, на концерт или на бал. Хотя сейчас всего лишь середина обычного рабочего дня. И на дворе ранняя весна — время, когда эстонки прячут свои ноги в бесформенные кроссовки, танкетки или в лучшем случае ботиночки на платформе. В Таллинне высокие каблуки встречаются редко, еще реже, чем в провинции. Говорят, они уже не в моде. Отчего же тогда они не выходят из моды в столице мира? На высоких каблуках бедра и икры парижанок кажутся, разумеется, куда соблазнительнее, чем на низких.

Я прячу ноги под сиденье. Моя обувь, которая еще в Таллиннском аэропорту казалась мне удобной и элегантной, здесь демонстрирует все свое безвкусие и провинциальность. Я вломилась в самолет, будто собиралась лететь в безлюдную тайгу. Меня гложет безумная ревность: конечно, Размик замечает, какой убогой кажусь я на фоне всех этих парижанок с их страстью к украшениям и умением обнажаться! Все, что у них напоказ, у меня скрыто, упаковано, убрано. Любая кривоногая и толстобедрая парижанка смело демонстрирует себя и проходит мимо с чувством собственной неотразимости. Этот город умеет ценить праздничных женщин, сама их одежда — уже праздник.

Невероятно, но Размик не видит, насколько я несовместима с этим городом. Он вообще ничего на свете не замечает. По удивительному

совпадению именно сегодня у моего армянина открывается первая выставка в Париже.

До сих пор он успел только мимоходом спросить, как я долетела. И после этого говорит только о том, как трудно ему было готовить выставку. Париж город требовательный, надменный, безжалостный к приезжим ...

— Ну да, эту безжалостность я замечаю, — ядовито откликаюсь я. — Ты изменился.

— Неужели? — Размик приятно удивлен тем, как быстро в нем появилось нечто парижское!

Быть может, жизнь в Париже и в самом деле праздник и, чтобы тебя не выбраковали, нельзя оставаться в стороне от него. В Париже надо уметь радоваться и быть счастливым. Нюансы несчастья и бродяжничества парижане улавливают лучше жителей других мегаполисов — слишком много сюда забрело безнадежных искателей счастья. Невозможно каждому сочувствовать, всем помогать. Париж заставляет прятаться в норы. Только совершенно опустившиеся клошары суют свою беду под нос обаятельным согражданам, не получая взамен ничего кроме равнодушной оскорбительной улыбки. Кто заставлял тебя рваться в город всесветных грез?! Париж в этом отношении беспощаден. Своей роскошной элегантностью и весельем он только подчеркивает несчастье.

... А Размик тем временем рассказывает мне, что его ребенок прихворнул. Словно в гости пожаловала одна из любезных армянских тетушек...

Я мазохистка или просто идиотка?..

Размик со своей темной шевелюрой и большими глазами в Париже кажется более своим, чем в Москве, где он выделялся в толпе как «черный». Я же кажусь слишком «белой», вернее — чересчур, приметно рыжеволосой. Еще в самолете один пожилой господин принял меня за немку и, узнав, что я впервые лечу в Париж, решил предостеречь от тщательно скрываемой французами недоброжелательности к немцам. Как долго живет, оказывается, потайная вражда оккупированного, но непокоренного народа к давнишним завоевателям! «Как будто в истории Франции не было кровавых периодов, дикости и резни», — возмущенно втолковывал мне спутник, похожий на остзейского барона. Еще в полете я прослушала и свою первую лекцию о француженках.

В Америке обожают блондинок того немецкого типа, который когда-то был общенациональным идеалом Германии. Француженки же тощие — настолько тощие, что их при всем желании невозможно назвать привлекательными.

— Грудастые женщины улыбаются только на рекламных фото, — заявил сосед, одобрительно окидывая взглядом мои формы. — Да, в

эстонских девушках в самом деле заметно влияние немецкой пышности, полезное влияние! Тела француженок не нуждаются в дополнительном изучении в сауне или в бассейне — на них и так все просвечивает, все декольтировано, большинство не надевает лифчиков.

Моя куртка достаточно мешковата, как и подобает порядочной «немецкой» женщине, но в этот момент мне захотелось, чтобы она скрывала все, на манер плащ-палатки. Избавиться от чрезмерно любезного пожилого господина было невозможно. Он и пальцем не касался меня, однако лицо его все багровело, и он шарил глазами по моему телу уже с хозяйской основательной требовательностью.

Когда я в аэропорту повисла на шее Размика, старый господин бросил на меня осуждающий взгляд. Он свое дело сделал, предостерег попутчицу насчет французских охотников за юбками, предложив взамен их легкомыслия германскую добродетель.

Я чувствую себя униженной как словесной похотью старого господина, так и тем, какими очаровательными оказались француженки. Я выбита из колеи лишним шампанским, рассеянностью Размика, болезнью его ребенка и выставкой. Этот человек, о котором я тосковала, грезила, к которому стремилась, рвалась, к которому, черт возьми, прилетела, мог стать моим единственным утешителем в Париже. Но именно в день прибытия все, волею случая, против того, чтобы мы встретились по-настоящему. Я здесь, но мы еще не встретились.

Кусаю губы.

Не хватало еще приехать в галерею зареванной.

Размик раскинулся на сиденье рядом с таксистом, гордо объясняя ему, как проехать к галерее, расположенной в узеньком переулке. Я успеваю заметить, что в окрестностях станции метро «Одеон» полно узеньких улочек и витрин, в которых красуются произведения искусства. Они ранят мне душу своим недоступным изобилием, таинственностью, притягательностью. Мне уже ясно, что Париж — действительно город художников. Единственный город, где ничто не оскорбляет взора. Взгляда художника! Уборщице здесь есть за что зацепиться, так как Париж на удивление замусорен и неряшлив. Особенно в сравнении с чистенькими немецкими городками.

В галерее присутствуют и русские эмигранты. И, естественно, происходит то, чего я и ожидала: меня тут же осуждают, как «эстонскую националистку». Старый русский аристократ, чьи предки эмигрировали еще до первой мировой войны, превращает меня в объект внимания и снисходительных усмешек всего общества. Почему, мол, мы в Эстонии так безобразно обращаемся со своими русскими?

Пары шампанского все еще обволакивают мой рассудок, и я отвечаю: «Оккупацию забыть невозможно. Что же, в конце концов, лучше

запоминается? Немцы дали миру Бетховена, Моцарта, Шиллера, Гейне... Но французы помнят скорее Гитлера, чем Бетховена. Несчастье томит сердце вечно. Так женщина не в состоянии забыть несчастную любовь...»

— Следовательно, эстонцы хотят запомниться тем, что найдут своего Гитлера? — бросает из угла некая худосочная красотка, которую явно раздражает, что я ни на шаг не отхожу от Размика. — Преследование русских в Эстонии — такая же трусливая подлость, как преследование евреев и цыган. Ведь своих эстонцев, которые находились у кормушки при Советах, вы не трогаете? На словах вы осуждаете и нацизм, и коммунизм, а на деле создаете новый коммуно-нацистский гибрид?

И дама надменно затягивается сигаретой, прекрасно понимая, что этой тирадой восстановила против меня все общество. В своих стоптанных туфлях и мешковатой одежде, хватившая через край шампанского, я в самом деле кажусь ярким образчиком коммуно-нацистского гибрида.

И тут совершенно неожиданно нервы мои не выдерживают и я разражаюсь рыданиями.

— Ах, теперь вы плачете? А когда вы заставляете плакать других, это вам нипочем? — комментирует мстительная русская красавица.

— Эстонцев, на которых не было никакой вины, ссылали в Сибирь. Наш народ вообще пытались свести к нулю... Весь Северо-восток Эстонии кишмя кишит русскоязычными, — сквозь слезы пытаюсь объясниться я...

Но одна против всех я совершенно беспомощна. А Размик молчит. Хотя хозяин здесь он. Он, пригласивший меня сюда. И они еще говорят о справедливости! Те, кто у власти, всегда притеснители. Эта девица с сигаретой — лучший тому пример. Русские здесь в большинстве — и им не до любви к ближнему, не до милосердия. Каждого заставляют отвечать за всех. Они ведут себя точно так же, как и эстонцы.

Свирепая красотка считает, что она тут сойдет за прокурора и судью в одном лице:

— Просто у вас нет своей Сибири, а то бы вы отправили туда всех русских. В душе вы готовы на все. Так чем же вы лучше? Вы не ссылаете «инородцев» на свои островки, но вы объявляете их чужаками, оккупантами... Вы многих оставили без родины. Своим нынешним поведением вы задним числом доказываете, что заслужили ссылки! С точки зрения вечности, не имеет значения, что было раньше — деяние или кара! Сначала наказание, авансом — затем преступление!

Ее голос становится все крикливее.

Только теперь я замечаю, что она вовсе не так молода, как мне поначалу показалось. Скорее ровесница моей матери, чем моя. И явно тоже успела злоупотребить крепкими напитками.

Я в шоке. Не столько от слов — похожих слов я ждала. Меня потрясает тон, остервенение и та безапелляционность, с которой выносится приговор.

Но почему я должна все это слушать? Я художница, я сблизилась с Размиком в Москве, у меня множество друзей самых разных национальностей; могли бы меня в мой первый парижский день оставить в покое!

— Я-то тут причем? — выкрикиваю я, наконец, самую ужасную глупость, которая только возможна. ...И окончательно вызываю весь огонь на себя. Даже те, кто с некоторым сочувствием разглядывал меня, выплескивают свое возмущение: эстонцам, которые были верными псами коммунистического режима, у нас все сходит с рук только потому, что они эстонцы. И мы еще смеем говорить, что «не причем»! Это бесчеловечно, несправедливо, возмутительно и ужасно.

Ужасно, в самом деле ужасно!

Я выскакиваю из галереи. Сердце колотится, как безумное. Чтобы устоять на ногах, я хватаюсь за стенку.

Размик сердито берет меня за локоть. Это грубая хватка преследователя, а не дружеское пожатие.

— Я отведу тебя спать! — гневно шипит он. Кажется, я сорвала ему вернисаж и подорвала репутацию в глазах всего Парижа. — Нечего было накачиваться шампанским. Это тебе не мороженое!

И все. И никаких слов утешения.

— Ты-ы-ы, — тяну я в отчаянии, — я здесь из-за тебя. Из-за тебя надо мной издеваются.

— Из-за меня?! — вскидывается мой армянский друг, и впервые я вижу его в такой ярости. — Не удивляюсь теперь, что эстонцы настолько тупы! Ни одной разумной фразы ты не сказала. У вас там в Эстонии все беды от русских, а у тебя — от меня. Вы только и способны, что обвинять — ты и твой народ. А в особенности твоя матушка!

— Ты до сих пор помнишь, что сказала моя мать сто лет назад! — кричу я, да так, что на нас оборачиваются прохожие. — Теперь понятно, почему армяне только и заняты войной и кровной местью! У вас слишком хорошая память — для мести, не для любви!

— Ах, любовь! — Размик произносит это слово с презрением, словно я обвинила его в карманной краже, и заталкивает меня в подворотню. — Вот мое ателье, ты, страдалица горемычная, можешь здесь ночевать. Я тебе не помешаю; я денька на два смотаюсь к жене, на море. Когда сын поправится, ты, возможно, успокоишься и образумишься...

— Я? Образумлюсь? — я совершенно раздавлена. В первый же вечер Размик покидает меня...

— Вот именно! Поймешь, наконец, чего тебе надо! Да в состоянии ли ты оценить Париж? Париж — город художников? И художника как самоценную личность?

Он закончил свой монолог — и ушел. Был таков.

Вернулся к худосочной обвинительнице?

От ревности мне хочется выть. От невозможности что-то изменить, исправить...

Но, если быть честной, я ведь предчувствовала нечто подобное. Армян нужно любить покорно, особенно в Париже. Покорный никогда не чувствует себя униженным. Он сам виноват во всех своих бедах.

Пытаюсь уснуть, но хотя я разделась догола и сплю без одеяла, мне все равно жарко. Конечно, в такую ночь намного разумнее уехать на побережье, где морская прохлада и жена.

Выплакавшись, я засыпаю.

Неожиданно проснувшись посреди ночи, вижу склоненное надо мною лицо Размика. Не очнувшись от дремы, вскрикиваю от счастья и сонно обнимаю его за шею.

Мгновение спустя понимаю, что это не Размик, хотя похож на Размика, как фантастический его двойник. Похож до неотличимости — и вместе с тем чужой! Сильные руки тискают меня куда грубее, чем это позволял себе Размик. И мое тело чует, что эти руки не только бесцеремонны, но и очень опытны.

И на миг я доверяюсь проснувшемуся во мне сексуальному безумию... Но кто он, это пришелец, бесцеремонно вторгшийся в мой сон? Даже в полумраке комнаты я замечаю взгляд — такой же безумно страстный, как у Размика, такие же глаза ...

Слабея, пытаюсь высвободиться — ведь не мог же Размик в Париже так измениться телесно! Или у меня в самом деле крыша поехала и я уже не узнаю своего желанного? Неудивительно — в конце концов, мы так редко были с ним близки! С чего это мне кажется, будто я вообще его знаю? Этот взгляд — такой чужой и в то же время такой родной... А может, мой армянин — маньяк, которому до поры удавалось скрывать свои пристрастия? От гения до идиота один шаг. Пригласить в Париж женщину, которую он почти что не знает... Вот уж в самом деле безумие!

Мои попытки высвободиться беспомощны и совершенно неуместны.

Этот человек почему-то вовсе не противен мне, как были противны все, кто пытался ко мне клеиться. Наверное, он слишком похож на Размика, чтобы быть мне неприятным.

Однако ситуация нестерпимая. Сколько мне еще находиться в странном лунатическом полузабытье?

Но чем настойчивее я пытаюсь вырваться, тем настойчивее становятся его руки. До сих пор он меня только мял и исследовал, словно лепил из глины фигурку. Теперь вдруг я замечаю, что он не владеет собой. И этот взрыв страсти окончательно убеждает: это не Размик.

Я издаю вопль ужаса.

Он прикрывает рукой мой рот. Я раздавлена и расслаблена. Голая женщина не в состоянии сопротивляться столь мускулистому телу.

... А зачем сопротивляться? Размик сейчас добросовестно пыхтит над своей Гаянэ. Усердно исполняет свой законный долг! Страсть в одной кровати священна, в другой непотребна; все зависит от акцептированного обществом клочка бумаги. В глазах людей священна не любовь, священно свидетельство о браке. Любовь всегда можно предать...

Я так решительно прекращаю вырываться и сопротивляться, что мужчина удивленно вглядывается в меня.

И тут меня осеняет:

— Тигран!

— Да! — улыбается он с несколько неуместной учтивостью. — Разве мы знакомы?

— Жаль, что вы не в шляпе. Вам бы вежливо приподнять ее! — сквозь истерический смех выдавливаю я.

Париж меня вывернул наизнанку и опустошил, словно коробку игрушек с Севера. От смеха, сотрясающего мое тело, мужчина снова приходит в возбужденное состояние, и я с пугающим меня наслаждением отмечаю, как искусно ласкают эти руки. Никакой стыдливости, никаких запретных мест, «белых пятен». Мой бывший жених так и не сумел по-настоящему раскрыть все то, что кроется в женском теле; ласки Размика приподнимали меня над собственным телом, в них было нечто иное, божественное. Руки, ноги, все земное растворялось в небесной неге — оставалось только чувство, превращавшее для меня Размика в полубога.

Но этот мужчина, столь похожий лицом на Размика, умеет найти самые сокровенные мои местечки, складочки кожи, которых никогда не касались мужские пальцы. Все мое тело охвачено томлением, и, чтобы скрыть нарастающую сладкую боль, я издаю крик протеста.

— Я подруга вашего брата, — решительно заявляю я. — Подруга вашего брата!

— Ну до чего же сладенькая подружка! — весело подтверждает Тигран, и я с ужасом чувствую, как углубляются в меня его пальцы, продолжая свою чарующую разрушительную работу.

— Я была невестой вашего друга Тармо, — выкрикиваю я свой последний козырь.

Он бормочет — и в этом бормотании я слышу скрытую угрозу:

— Так это ты наставила Тармо рога аккурат в канун свадьбы? Да, я понимаю Тармо... Что за тело у тебя! Такое тело — с ума сойти! ... Блядям всегда везет! Значит ты с твоим чертовским везением добралась до Парижа? И прямиком в мастерскую моего простодушного братца?! Надеюсь, он знает о твоем торжественном прибытии? Но отчего же ты,

бедняжка, валяешься здесь в полном одиночестве, когда весь свет собрался на открытие выставки знаменитого живописца?

— А вас отчего там нет? — я уже ничего не боюсь и не стесняюсь. Раз уж блядь — так и веду себя по-блядски!

Очевидно, вкус на женщин у братьев одинаков. Воспользуюсь хоть этим.

— Я только прилетел. И вообще это ателье скорее мое, чем Размика.

— Вы что, тоже художник? — я стараюсь вложить в свой голос как можно больше высокомерия. — Вы же спортсмен.

— Неважно, кто рисует, важно, кто платит! — Тигран чувствует себя слегка задетым и перестает меня лапать.

Было бы в Париже этой ночью попрохладнее и спи я в своей мешковатой кофте, мне бы удалось спастись от этих рук. Но Тигран возвышается между мной и кофтой. Голой перелезть через него? Простыни соскользнули на пол, поблизости нет ничего, чем прикрыться.

— Подайте мне кофту! — я пытаюсь, чтобы это прозвучало строго, но раздается какой-то мышиный писк.

— В такую жаркую ночь кофта — излишество, — иронически ворчит он.

Зря я дала ему понять, что смущаюсь своей наготы. Это его веселит. И возбуждает.

— Не надо стыдиться, Я на своем веку повидал всяких... Но такой гладенькой белой кожи еще не видал. Ты у себя в захолустье небось сливками питалась, а нашим здешним блядям доставались только снятое молоко и жидкая сметана.

— Никакая я не блядь! — смешно всхлипываю я.

— Для меня ты блядь, — он сжимает в горсти мою грудь, словно теннисный мячик. — Ты сделала несчастными двоих самых близких для меня парней — сначала Тармо, а потом Размика. Мой брат, конечно, тот еще баран, но это не снимает с тебя вины, скорее, наоборот. У него есть Гаянэ, очень достойная супруга. И я не позволю тебе разрушить семью моего брата.

Говоря все это, Тигран коварно ласкает меня, доводя до сладкой истомы. На миг я с сожалением думаю: отчего это его брат далеко не такой страстный?.. Я ловлю себя на том, что эта мысль неуместная и предательская. И тут меня настигает давняя гневная фраза Размика: «Ты из предательского роду-племени!»

Если месть бывает сладкой, то я впервые понимаю буквальное значение этого. Я уже не соображаю, кто кому мстит. Я Размику, который сбежал от меня на взморье. Или самому Тиграну, который вполне может попасть в расставленную им же западню. Да, он наслаждается моим телом, и это сладкая месть для нас обоих. Постепенно я начинаю испытывать наслаждение в полной мере. Где-то в подкорке вертится мысль, что

только наслаждаясь можно заманить Тиграна в ловушку, куда должна была попасться я. Я отдаюсь ему со всей страстью отчаяния, накопившегося во мне за время одинокого ожидания, тоски, надежды — всего того, что в конце концов выставило меня на посмешище. Я хочу запомниться Тиграну, чтобы мое наказание обернулось против него самого. Это — лучшее наказание, ибо никому не дано предвидеть, кого в действительности постигнет кара.

Моя интуиция меня не обманывает.

Тигран не покидает ателье торжествующим; утром он печален и молчалив.

— Отчего мужчина так печален? — спрашиваю я вместо прощания.

— Оттого, что ты чертовски хороша! — Тигран словно бросает мне в лицо тягчайшее обвинение. — Плохие женщины должны и в постели быть плохими, мерзкими, холодными. Это несправедливо — в отношении мужчин!

— Ты бы лучше поучил всяким штучкам благородную Гаянэ, чтобы твой братец сидел дома возле ее юбки! — бросаю я ему столь же гневно.

— Я добьюсь, чтобы тебя выслали из Парижа! — кричит он.

— Я ненавижу Париж, ненавижу всех армян... И презираю — слышишь, пре-е-зи-ираю! — всех мужланов, которые считают, что право имеет только мужчина, — кричу я. — Ты можешь утопить меня, как котенка, можешь засунуть меня в самолет. Но ты никогда не забудешь меня, как не забудет меня твой дефективный братец, который так и прилип к своей ненаглядной Гаянэ! Желаю и тебе такого же счастливого брака!

— Заткнись! И соберай свои вещички! — орет Тигран. — Когда я вернусь, чтоб ты была готова к отъезду!

Однако в этот вечер Тигран не является. Нет его и на следующее утро. За два дня я успеваю исходить весь Париж. Гуляю вдоль набережной Сены, углубляюсь в узенькие улочки, брожу по площади Бастилии.

К вечеру третьего дня я почти валюсь с ног, но заканчиваю свои странствия только поздней ночью. Я блуждаю по Парижу, словно сомнамбула, идущая за лунным лучом. Над городом стоит полная луна; в ее сиянии дома кажутся странными, призрачными. Мне кажется, что я всегда была в этом городе. Ничего подобного я не переживала нигде. Странное чувство, будто меня заставили прибраться в совершенно чужом шкафу — и я нахожу в нем свои собственные вещи, спрятанные в моей памяти. Но как я могу помнить то, что со мной никогда не случалось? Бродя по городу, в котором я впервые?

Глубокая грусть настигла меня вовремя. Это ночное путешествие оказалось последним.

Я пыталась внушить себе, что угроза была пустой шуткой, что Тигран давно уже в Америке. Ведь нелепо же вторгаться в отношения своего брата с его любовницей. Для этого должна найтись всего одна причина, на которую я возлагала надежды как на «наказание». Он должен быть влюблен. Или хотя бы увлечен. Ревность — великая движущая сила, и даже капля этой силы способна запихнуть меня в самолет.

Не хочу покидать Париж с его призрачными ночами, сеющими во мне воспоминания о несвершившемся. Но я хочу избавиться от постоянного напряжения, которое испытываю рядом с Размиком. Я успокоюсь только в Эстонии, затворившись в своей квартире. В Париже мучительная душевная боль усугубилась, став телесной. Если я не могу ни на миг освободиться от этой боли, значит, мне надо освободиться от Парижа.

И завидев в дверях ателье Тиграна, я испытываю мгновенное облегчение.

По крайней мере мне нечего больше ждать. Я гадала, кто успеет раньше: Размик — чтобы спасти меня, или...

— Собирай манатки — и в машину! — Тигран слишком лаконичен, его неуверенный взгляд избегает меня.

Этот беспокойный взгляд такого самоуверенного и опытного мужчины позволяет мне прикинуться дурочкой:

— Зачем? У меня виза на три месяца. Да и Размик в надежном месте — на взморье, под бочком своей глубокоуважаемой супружницы!

Но я недооцениваю Тиграна; там, где Размик пытается уклониться от ответа, он прям и непреклонен:

— Для моего душевного покоя полезнее, чтобы ты была в самолете и летела в свое захолустье. Я многое слыхивал о лапландских ведьмах, а эстонки того же роду-племени. Не хочу, чтобы меня околдовали. А от тебя всего можно ожидать!

— Уж будто нельзя колдовать в самолете! — почти ласково возражаю я.

Еще со школьных лет я поняла, что мало кто может объяснить причины своих поступков. А из этих немногих знающих большинство ни за что открыто в том не признается. Тигран — исключение; об этом я слышала и от Тармо, и от Размика. Он понимает, что делает, и готов открыть это. Может, оттого, что считает меня равной себе? Или наоборот: настолько презирает, что не считает нужным таиться? Для него зависимость от меня — душой, телом, чувствами — кажется унизительной. Пусть так, но ведь есть же она, эта зависимость!

— Вполне возможно, что колдовать можно и в самолете. — Тигран произносит эти слова тихо, после долгой паузы, впервые пристально глядя мне в глаза, в душу и куда-то еще глубже, в самые недра всего моего существа. — Но мне известны способы, как избавиться от кол-

довства, если ворожеи рядом нет. Послушай, детка, армяне не забывают ни старых друзей, ни старых врагов. А ты и то, и другое. Я тебя не забуду. Но мы освободимся от тебя. Попомни мои слова, золотце, и не обманывай себя напрасными надеждами.

— Надеждами — на что? — печально спрашиваю я.

— Сама прекрасно знаешь, — обрывает меня Тигран. — Ты хотела влюбить меня — и этого добилась. Армянскому мужчине негоже становиться рабом женщины. Это — конец! Моя лучшая жена — свобода. А ты, какой бы беспомощной и несчастной ни казалась, всегда победишь. И проигравших будет еще много.

— Я вовсе не несчастна, — огрызаюсь я, пытаясь сквозь застившие глаза слезы твердо смотреть в лицо Тиграну. — Я давно хочу уехать из этого мерзкого Парижа, я умру здесь, уже умираю. Этот город сплошных армян утомил меня, я больше его не вынесу...

— Ну, ну, золотце! — Тигран почти отечески гладит меня по волосам. — В самолете отдохнешь. Вот тебе деньги на дорогу, и помни, что мы тебя не забудем. Никто из любивших тебя будет не в силах забыть. Доверяй только себе самой, будь осторожна. И научись, наконец, знать себе цену — тогда и другим причинишь меньше боли.

...Я потеряла Париж.

Но я услышала о себе то, что показалось мне откровением.

Я сижу в самолете и беззвучно плачу. Даже не замечаю, что стюардесса предлагает шампанского. Теперь я знаю, что Тигран выпроводил меня вовремя. Париж я бы не вынесла.

И все же я испытываю ужасную жалость, будто схоронила кого-то из близких. Потеряла нечто такое, что было частицей меня самой и отказ от чего делает весь мир бесцветным, бессмысленным, пустым и непригодным для житья.

5. Граница

Смотрю на часы.

Прошло всего-то десять минут, а мне кажется — вечность. Андруса нет. Этот бесцеремонный спортсмен оставил женщину одну в лесу, а сам шляется неведомо где. Если бы я хоть умела водить машину! Теперь я совершенно беспомощна, а чужая машина мне словно обуза. К счастью, весь ряд автомобилей впереди и сзади меня нем и неподвижен, словно никто не собирается ехать дальше и словно этот клочок земли между Литвой и Польшей и есть конечная цель жизни.

Я долго внушала себе, что Париж — прошлое. Забыто и похоронено все, что связывало меня с этим городом. Но обворожительное чудовище вновь встает из могилы, в которой покоятся воспоминания. Я впиты-

ваю запах Парижа, такой родной и манящий. В отчаянии я на миг зажмуриваюсь: мне надо освободиться от всего этого. Но почему я должна освободиться? Париж для меня — все равно, что родной, куда ближе и Москвы, и Таллинна. Когда я думаю о Париже, мне больше не вспоминаются ни Размик, ни Тигран. Они у меня ассоциируются с болью, с тем, что причиняет боль — с бормашиной, с фильмом ужасов, где под ногти загоняют иголки, с переломом ноги, который я испытала в детстве, с рвотой горячечного больного... Это долгий ряд — и в конце неизменно боль. Теперь добавим сюда литовско-польскую границу. Париж — счастье: граница — боль. Почему?

Я словно беженка. Отверженная. Меня обступают в удушающем кольце все те события, которые каждый день показывают в телевизионных новостях. Люди без крыши над головой, выгнанные из дома, униженно чего-то ждущие. В немой автомобильной очереди есть такое же унижение и предчувствие всех ужасов на свете. Эта вереница просто не переползет через границу, потому что между темнеющей чащей и всеобъемлющим звездным небом просто не может быть границы. Однако все это зримо, ощутимо, материально; это не ночные кошмары и не игра воображения: от людей некуда деться. Ни от тех, кто униженно горбится в очереди, ни от тех, кто по-хозяйски протягивает между ними границы. Все это было у нас и везде — депортация, муки лагерей... Я еще не видела человека, стоящего на границе, но только я его увижу, как сразу же узнаю. Они все одинаковы — в кадрах старой кинохроники и в новейшей. Поза, суть, тон — все одинаково. Они командуют, так как и положение, и люди, и границы им позволяют.

И сейчас, зимой 1994 года, покорный ряд машин ожидает 16 часов или того больше, а отдельные автомобили, на минуту притормозив перед надменным человеком с ружьем, тут же пересекают границу. Темный лес и немые автомобили притягивают злых духов. Тех, что прячутся в каждом человеке. В очереди не общаются между собой, не конфликтуют. Но в воздухе висит желание выплеснуться.

Мигают фары, машины продвигаются на шажок вперед. Я одна, я не умею водить. Я беспомощна, как инвалид, которого отталкивают в сторону. Любая граница уничтожает безногих и беспомощных. Одна из машин немедленно объезжает меня, вырывая для себя крохотное преимущество. За рулем женщина? Ну, конечно, женщина, которая вызывающе разглядывает меня в зеркало заднего вида. С горечью думаю, что Андрусу в спутницы сгодилась бы именно такая бой-баба. Они бы составили идеальную пару — за рулем и в жизни. Но какое мне, в сущности, дело до жизни Андруса? Он взял меня в поездку, чтобы выпендриться — ведь соседский парень с детства обожал Францию! Как все эстонцы. Глупо тащить в поездку с собой женщину только из-за того, что она бывала в Париже — городе грез... Бедняга Андрус, кажется он

верит, что и сейчас в моей сумочке лежат ключи от парижской квартиры. Когда он произносит «Париж», его интонация становится такой ласковой и любящей. Он буквально смакует это слово, как самый страстный поцелуй.

Ах, чего это я задумалась над интонациями Андруса? Да пусть он милуется со своим Парижем! Со мною, во всяком случае, он так же груб, как та дамочка, которая только что проскочила мимо. Прошло едва ли десять минут, а Андрус вряд ли вернется с границы раньше, чем через час. Вот-вот нашу машину оттеснят в кювет.

Я вздрагиваю от неожиданности, когда кто-то склоняется над ветровым стеклом. Какой-то литовец, ободряюще улыбнувшись мне, садится на место Андруса и мы проезжаем вперед. Вмиг мне становится понятна другая крайность любой границы: сострадание здесь усиливается в той же степени, что и жестокость. И я вновь ощущаю это чудо — я нигде не остаюсь одна. Мне всегда помогают. Еще не все потеряно, если есть люди, не желающие топтать того, кто беспомощен. Доброта живет и на этой темной мрачной дороге. Странно, что доброта никогда не исчезает навсегда. Даже в таких ситуациях, когда она почти бессмысленна, ведь только хамство приносит выгоду и остается безнаказанным.

Неожиданно Андрус снова оказывается рядом. А ведь не прошло и четверти часа.

— Поехали; впереди пять эстонских машин, — говорит Андрус, слегка запыхавшись и с огромным воодушевлением.

Это воодушевление нравится мне. Можно даже сказать, что я любуюсь им, хотя меньше всего хотела бы чем-то любоваться в этом человеке. Так можно восторгаться неожиданно прекрасной старинной деталью какого-нибудь здания. Я ничуть не сомневаюсь, что в целом Андрус для меня совершенно неприемлем. Его манера командовать в машине окончательно меня в том убедила. Но вынуждена же я признавать скульптурность его тела, которую мне хотелось бы передать в рисунке! В этом человеке кроется тайное очарование, обычно свойственное лишь произведениям искусства. Ему бы быть вытесанным из камня или отлитым в бронзе, а не живым мужчиной! И я всякий раз сержусь, когда ловлю себя на очарованности им. Люди-скульптуры не должны свободно бродить, где им вздумается. На них следует любоваться в Лувре, как тиграми и львами можно любоваться только в зоопарке.

Пока Андрус мчится по узенькой обочине, обгоняя длинный ряд машин, я даю себе обещание отныне смотреть спортивные передачи. Андрус не может быть исключением. Буду рисовать на стадионе или перед экраном телевизора — и живо избавлюсь от ощущения его исключительности, потому что я же эту исключительность и выдумала.

А мой жених?

Уж он-то был признанным чемпионом! Но при этом никакого очарования!

Да где же, наконец, эта граница?!

Мы все едем и едем, а печально сгорбившемуся ряду машин нет конца.

Только сейчас я начинаю удивляться, как далеко успел сходить Андрус. Он шел пешком, или его кто-то подвез? Кто же?

— Ты шел пешком? — спрашиваю я соседского мальчишку, который теперь, став взрослым, то и дело ставит меня в тупик. И не замечаю, что по-дружески «тыкаю» ему.

— Естественно, на своих двоих. Ты же видела, что не на велосипеде, — ворчит он, но через миг его голос становится обворожительным:

— Спасибо, что наконец сказала мне «ты». А отчего ты спрашиваешь?

— Ты... Вы... черт возьми, ты так скоро вернулся, словно на ковре-самолете.

И в самом деле — к чему тут политес? Вместе выросли: в одну школу ходили; дело соседское. Небось видели друг друга и с голой задницей — бегающими под ливнем вокруг родного дома. Обращение на «ты» и добрососедская перебранка нам обоим куда больше к лицу, чем притворная вежливость. А свои фокусы лучше оставить для тех, кто не знал тебя сопливым недотепой.

— Туда-то я шел медленно, заглядывал в каждое окно, не встречу ли знакомых. Потом помог одному эстонцу подтолкнуть машину, и тут выяснилось, что они здесь целой компанией — поехали покупать машины. Обещали всунуть в очередь. Назад, естественно, бежал.

— Всю дорогу?! — невольно восхищаюсь я. — Да ты, небось, побил мировой рекорд!

— Ну, такие мировые рекорды я и раньше ставил, — смеется Андрус, и это смех очень счастливого человека. — Какие только глупости не совершаются ради женщины!

Что за дешевый флирт! Он меня ругает и подкалывает, а при этом не упускает случая отпустить слащавый комплимент — «ради женщины». Конечно, я не то чтобы старуха, но старше его — это уж точно. К тому же я ему не нравлюсь! И тем не менее он флиртует со мной. Может быть, он считает, что я еще глупее, чем есть? Но ведь я и в самом деле дура, коль скоро отправилась в эту поездку.

Будь он пособразительнее, я уже переспала бы с ним. Великой любви крышка! И если уж открывать счет любовникам, то не все ли равно, когда, где и с кем. Самовлюбленный спортсмен — в данном случае вполне подходящая кандидатура. Моя грудь всегда нравилась мужчинам, моя кожа, запах и кое-что еще — все это сводило с ума хотя бы Тиграна, он даже о своем братце не подумал, притом что родственные узы для армян священны. Но эстонский спортсмен умеет только вы-

говаривать да злорадствовать. Этого тюфяка женщина должна обольщать сама. Небось, побаивается красивых женщин. Ему бы чего попроще! Какая примитивная душонка в столь мастерски слепленном теле. Весь разум в ногах! Неудивительно, что он так быстро добежал от границы до машины. Тоже мне — колдовской темп!

И все же я чувствую, что даже мои плечи, даже кончики волос выдают невольный восторг: пограничной будки все еще не видно. Вот это был бег!

— Я-то мог ждать хоть три дня, — продолжает Андрус уже в другом тоне, словно прочел мои мысли. — Но когда в твоей машине сидит такая принцесса на горошине, приходится творить чудеса.

— Ты и в самом деле чудотворец, — язвлю я в ответ. — Все ради меня: и поездка в Европу, и визы, и...

Но мне не удается закончить: впереди уже видна граница, и Андрус выпрыгивает из машины, чтобы соотечественники прикрыли его вторжение. Я кое-что слышала о том, как на границе наказывают тех, кто втирается не на свое место: выбивают окна, переворачивают машины. У очереди свой самосуд, лишь чуть более милосердный, чем суд Линча.

В таких ситуациях спасают лишь наглость или находчивость. У Андруса и того и другого в достатке; наглость он натренировал на мне. Пять эстонских машин проезжают друг за другом, и в суматохе Андрусу удается втиснуться между ними. Перестроение произведено так умело, что никто не успевает нам помешать. Теперь куда труднее выдернуть машину из ряда. К тому же до вожделенного пограничного поста осталось только несколько автомобилей. Итак, мы потратили всего-то два часа. А те эстонские ребята прождали целые сутки.

Поздним вечером мы оказываемся в польском разбойничьем лесу. Говорят, чаще всего грабят именно здесь. Те, кому удается отделаться кошельком, могут считать себя счастливчиками. Избивать приезжих здесь стало приятным развлечением.

Андрус объясняет мне все это, а я думаю: отчего он заговорил об этом только сейчас? Сейчас, когда по обе стороны дороги, как глаза злых духов, мигают ночные огни?

— Почему мы не поехали с вашими знакомыми в одной колонне? — я не удерживаюсь от упрека.

— С какими знакомыми? — удивляется Андрус. — Да я этих господ вообще не знаю. Не хватало еще, чтобы мы сели им на шею. Я не так изыскан, как некоторые кисейные барышни, которые считают для себя унизительным умение читать карту, не говоря уже о вождении машины. Барства я не выношу. Я с любым могу поговорить — хоть со знакомым, хоть с незнакомым! Как ты с людьми, так и они с тобой, — и мне приходится выслушивать очередную порцию андрусовых нравоучений.

Мое восхищение его стремительным бегом и виртуозным пересечением границы рассеивается, как сигаретный дым. Очередная благородная проповедь вызывает и смех, и слезы. Смех — потому что я почти что спутала физическое совершенство с духовным. Словно надеялась, что божественная скульптура может говорить по-человечески. А слезы — потому что вся Европа еще впереди, а меня от этих проповедей тошнит уже сейчас. Он дарит, он распределяет, он умеет, он знает...

Если он все умеет, то должен справляться и с такими пустяками, как чтение карты и рассматривание дорожных указателей, не отрываясь от баранки.

Все же я храбро хватаю карту и пытаюсь в малопонятной паутине нитей разглядеть кратчайший путь на Познань.

Вдруг машина резко тормозит, так что я едва не прошибаю лбом ветровое стекло. Перекресток лесных дорог перегородили два автомобиля, третий освещает нас с обочины, словно из него снимают кино о том, как мы попали в ловушку. Размахивая револьверами, несколько мужчин заставляют Андруса выйти из машины.

От страха я не могу ни двигаться, ни говорить — и это поначалу спасает нас. Меня просто не замечают.

К своему величайшему удивлению, я вскоре слышу хохот — вместе со всеми смеется и Андрус. Затем слышу, как мой спутник на плохом русском языке заверяет, что свободолюбивый эстонский народ солидарен со свободолюбивым польским народом.

Впервые я счастлива и горда за Андрусов талант проповедника. Чудо из чудес — мужчины расступаются. Сохраняя на лице улыбку кинозвезды, Андрус садится в машину.

Вот тут-то оно и происходит!

Разбойники наконец-то проявляют интерес ко мне. Один из них открывает дверцу с моей стороны и начинает выковыривать меня из машины. Я воплю так громко, что Андрус зажимает мне рот грубой мужской пятерней.

Так вот оно что! Андрус недаром заманил меня в лес. Разумеется, все они одним миром мазаны! Так дружелюбно говорят только с корешами. Я чувствую на губах его ладонь и чуть не задыхаюсь.

Закрываю глаза, и до меня, наконец, доходит смысл слов Андруса. У его сестрички (это я, что ли?) диагноз — подозрение на СПИД; она от этого совсем свихнулась; триппер для нее — штука привычная, а вот СПИДа перепугалась так, что угодила в психушку; девчонка еще не совсем оправилась от лечения, вот и вопит по каждому пустячному поводу.

Чужие руки уже не касаются меня. Я чувствую только ладонь Андруса на своем лице. И несмотря на ужас и слезы, удивительно четко ощущаю запах, форму и напряженность этой ладони. Мои губы дрожат — и это почти поцелуй... Я почти целую руку мужчины.

Голова моя идет кругом, и нечаянно я выталкиваю ногой в открытую дверь свою сумочку — прямо на дорогу, под ноги грабителям. Этот «подарок» оказывается решающим. Мужчина подхватывает сумочку, захлопывает дверцу и, как пограничник, машет рукой: проезжайте! Злобно рыча моторами, три машины скрываются в лесу.

— Господи! Там же все мои деньги! — кричу я, пытаясь вновь открыть дверь.

Андрус свободной рукой вдавливает меня в сиденье, закрывает дверь и рвет с места проворнее, чем можно ожидать от нашей колымаги.

— Все-е-е мо-о-и-и де-еньги-и, — тяну я жалостливо.

— Вот ведь несчастье, — бранит меня Андрус, словно ребенка. — Ну почему ты не спрятала сумочку? Почему ты держишь ее на самом видном месте, а после сама швыряешь грабителям?

— Все мои деньги! Немедленно едем назад! Какой смысл тогда в поездке, — рыдаю я.

— По крайней мере, принцесса научится читать карту. Хоть такая польза! И каким образом барышня собирается возвращаться, если у нее нет денег? В моей машине ты, по крайней мере, прокатишься по Европе, и платить за это не придется. А автобусный билет недешев!

— А ты, — злюсь я, — кто ты такой?! Почему тебе дают место в очереди? Почему с тобой шутят грабители?! Ты либо самый большой бандит, либо самый большой трепач, о каких только я слышала. Тебе бы по радио или на эстраде выступать, а не убивать время на спорт...

— Да что ты, малышка, знаешь о спорте? Ты хотя бы раз выматывалась до конца? — тихо спрашивает Андрус. — Для вас, интеллектуалов, самая большая физическая нагрузка — утром встать с постели и вечером рухнуть в постель. И не надо про постель — я шлюх не переношу и по ним не скучаю! Мне женщины осточертели — особенно ты.

— Я? Я-а? Это я, что ли, говорила про постель?

— Ты постоянно твердишь, что спортсмены только и знают, что по бабам шастать. Начиталась желтой прессы! И не кичись своей великой парижской любовью. Вот довезу тебя до Парижа и оставлю твоему армянину, если хочешь. Я тоже любил, и знаю, что для всех любовь — лучшее, что было у них когда-либо и что они по тупости своей потеряли...

— Да, конечно, я останусь в Париже! Потому что эстонские мужчины — это ужасно, — кричу я. — Никогда в жизни не выйду за эстонца! Даже если издадут указ, что все женщины в Эстонии непременно должны быть замужем, то уж лучше чукча какой-нибудь, чем эстонский мужик, который даже ухаживать не умеет!..

И тут Андрус вновь улыбается своей заразительной улыбкой. Этой искрящейся улыбкой, которая меня делает беззащитной и бессловесной.

— Ухаживать? — издевается он. — Взять бы розги, да поохаживать тебя хорошенько за такое! Меня вот бабушка поучала, как ухаживать

за женщинами, только она никогда не говорила, что чукча или армянин лучше эстонца. — Я ведь помню твою свадьбу. Чертовски интересная история! В нашем городке еще никому не удавалось подобное! Дать деру прямо от алтаря!

Притворное веселье Андруса как-то очень быстро рассеивается. Почему? Увы, мы знаем друг о друге лишь то, что в прошлом у обоих была «великая любовь». Была — и больше нет, но душа болит, и эти проклятые фантомные боли заставляют нас мчаться сквозь заснеженную Польшу и огрызаться друг на друга, словно озлобленные звери в слишком тесной клетке.

Для двоих страдальцев от «большой любви» одна машина, несомненно, клетка, которая должна была стать избавительницей, а превратилась в коварную ловушку. Я не раз читала, что мужчина по своей природе должен презирать женщин, любить которых он не может, но на которых все же по-мужски реагирует. Именно — реагирует. Как запах пищи раздражает голодного — до тошноты. И Андрус, наверное, должен сейчас испытывать в первую очередь именно тошноту. Во всяком случае, всякий раз при упоминании Размика его выворачивает. На лице появляются боль и отвращение — и какая-то мне самой непонятная брезгливая гримаса.

Андрус сердито глядит на дорогу и прибавляет газу; стрелка дрожит на ста, потом на ста двадцати. Мы пролетаем сквозь какую-то деревеньку, словно торопимся к финишу авторалли. Где-то позади остается круглый указатель с цифрой 50.

Вдруг я слышу дикое гиканье, совсем как в американских приключенческих фильмах. Перед нами вырастает мигающее фарами чудовище.

— Снова грабители? Откуда только у них такие фары? — плаксиво осведомляюсь я.

— Спокойно, детка, это всего-навсего полиция! — отвечает Андрус плутоватым тоном опереточного героя и выпрыгивает из машины, словно бандиты и полиция — самое главное увеселение для него в этом дурацком рейсе в Европу.

Скорость, конечно, мы превысили. Это даже мне ясно, хотя вообще-то я в автомобилях не разбираюсь.

Снова в голосе Андруса появляются обворожительные нотки, которыми в разговоре со мной он не пользуется почти никогда. Оказывается, нужна банда грабителей или польская полиция, чтобы я могла наслаждаться этими звуками. Вот ведь чревовещатель... Голос совершенно изменился: рокочущий грубоватый бас превратился в сладкозвучный тенор. Это уже не речь, а настоящая ария. Наши приключения в лесу в устах Андруса похожи на средневековый рыцарский роман. Мы удираем от ужасной банды. Полицейские внимают, обменива-

ются мнениями. Я тоже заслушалась и верю всему, хотя точно знаю, что мы в дороге уже час и никто нас не преследует.

Двое полицейских, которым Андрус исполнил свою балладу, смягчившись, уточняют, где именно в лесу мы наткнулись на злодеев. Однако еще один роется в нашем багажнике и, увы, находится вне поля воздействия Андрусовой фантастической повести. Он возвращается с решительными обвинениями по трем статьям: почему бензин в пластмассовой канистре; где у нас огнетушитель; где обязательная для каждой машины аптечка?

Все налицо. В подтверждение этого Андрус демонстрирует пластырь на своем изящном запястье. Мне вспоминается, что он выудил этот пластырь из собственного кармана, а не из аптечки. Мол, бандиты его слегка оцарапали, а затем отобрали у дамы деньги и отпустили нас на все четыре стороны.

Андрус отворяет дверцу с моей стороны и предъявляет полиции меня, словно знаменитую примадонну, чье выступление должно завоевать сердца зрителей, прежде чем они догадаются освистать представление. В глазах одного из полицейских я замечаю вспыхнувшее на миг сочувствие. Шмыгая носом, я описываю свою сумочку, жалуюсь, что лишилась всех денег, а значит и поездка потеряла смысл. Я мешаю польские слова с немецкими до тех пор, пока не замечаю на лицах полицейских признаки утомления. Да, да, они обещают отыскать мою сумочку и сообщить... Только потом соображаю, что никто из них не поинтересовался, куда именно сообщить.

Андруса штрафуют всего на сто тысяч злотых за бензин в пластмассовой канистре. Поначалу речь шла о пятистах тысячах и даже миллионе, но мой несчастный вид и Андрусова риторика сделали свое дело. Андрус отдает пять немецких марок. Это последние наши деньги, уверяет он. В Германии нам должны помочь знакомые. Тот полицейский, что рылся в багажнике, слегка задумывается, чего ради мы едем в Европу без гроша.

Полиция, к счастью, забывает и об огнетушителе, и о том, что мы гнали как на пожар.

Нас отпускают.

Видя самодовольное лицо Андруса, я не могу удержаться:

— Мы легко отделались, есть чему радоваться. Но как это такой опытный водитель не знает, что по поселку нельзя гнать и в какой посудине хранить бензин... Даже этого ты не знаешь... А меня... меня ругаешь, что я не умею правильно читать указатели... Мне жаль мужчину, который не знает, что в Польше полную безопасность гарантирует только дорожная аптечка...

— Мне очень приятно, что наконец ты и меня пожалела, — весело подхватывает Андрус, останавливая машину и углубляясь в карту. — Что

поделаешь, нет у меня ни огнетушителя: ни аптечки, без которой в польских лесах — гроб...

— Так что же нам делать?

— Надо поискать другую дорогу. На всем пути от Варшавы до Германии натыкано полицейских патрулей. Уж они-то найдут, за что штрафовать. Пусть платит тот, кто богат, а мы поедем через Познань, обогнем Варшаву с севера.

— Ну да, — ехидно отвечаю я. — Вот это мастер вождения, даже огнетушитель не догадался захватить! Теперь нам остается только блуждать окраинными дорогами да искать бандитов...

— Тех, кто едет в Европу и полицейские, и бандиты прихватывают на Варшавской дороге, — поясняет Андрус, на этот раз опять занудливо и терпеливо. — А твои деньги были бы целехоньки, если бы ты нажала шпенек дверного стопора со своей стороны. Никто бы тогда не открыл твою дверцу. Они же отпускали нас, а ты им сделала такой подарок... Кстати и сейчас шпенек в верхнем положении, а ремень безопасности ты не пристегнула. Первое важно для грабителей, второе для полицейских.

— Да, конечно, это важнее, чем огнетушитель, — я все еще пытаюсь иронизировать.

— Разумеется, — кивает Андрус и обматывает меня ремнем безопасности, словно мешок картошки, грозящий вот-вот рассыпаться.

Чертов ремень безопасности стал едва ли не моим злейшим врагом. Как и все в этой машине, он слушается только Андруса. Но почему же Андрус ни капельки не пытается обольстить меня? В фильмах мужчины пристегивают своих спутниц ремнем лишь для того, чтобы... А меня пакуют, как неодушевленный предмет...

Мы вновь трогаемся с места. Сквозь свои невеселые думы слышу усталый шепот. Голос Андруса пугает меня. Он переоценил свои силы, и мы все еще не проехали Польшу. Подменить водителя я не могу, я же не умею водить машину. Нам нужно разом пролететь сквозь Польшу, но во внезапно поднявшейся непроглядной метели дорога кажется непроходимой.

Я встряхиваюсь и пытаюсь вести оживленную светскую беседу, не давая водителю заснуть за рулем:

— Видите объявления: Zimmer, Zimmer, Zimmer? — беспечно щебечу я. — Интересно, отчего это поляки сдают комнаты исключительно на немецком языке. Вот у нас, например, финнов навалом, но ведь Таллинн не переходит на финский. Английский в цене...

И тут в мою великосветскую болтовню вторгается отчаянный вопль человека за рулем:

— Циммер?.. Комната?! Где?!!

— Т-только что проехали, — испуганно отвечаю я. — Метров двести всего — и стрелка направо.

— А из тебя выйдет толк: наконец-то заметила кое-что важное! — одобряет Андрус и без лишних слов разворачивает автомобиль.

Метель почти что скрыла табличку под снегом, и просто чудо, что я ее заметила. Я заслужила от повелителя автомашины самую большую пока что похвалу. Где-то в мозгу проскакивает мыслишка, что Андрус явно переоценил свои силы. В машине должно быть два водителя, а не лишний груз в виде принцессы, которая нуждается в «негре за рулем» , как время от времени ядовито напоминает мне мой спутник.

Но я до смерти устала от собственных мыслей. Я — труп.

Интересно, от чего это ты устала? — снисходительно спросил бы Андрус, если бы я произнесла это вслух. И не упустил бы случая высмеять всех изнеженных маменькиных дочек. Разумеется, я устала от езды, от польско-литовской границы, но больше всего от постоянных поучений. Андрус вправе как водитель требовать от пассажирки, чтобы та его веселила и не давала задремать за рулем. Я болтала, пытаясь найти забавные темы, но в каждом невинном рассказе он умеет обнаружить нечто такое, что его бесит и заставляет бранить «маменькиных дочек», кисейных барышень и мое порочное мировоззрение. Не будь я заточена в одной машине с этим невыносимым типом, все это было бы забавно. И каждое поучение заканчивается заверением Андруса в том, что он терпеть не может читать мораль! Может, просто он нуждается в других рассказах, других шутках, других поводах для смеха? В другой собеседнице? Я не в силах его развеселить. Но и бежать в тишину не могу, потому что моя обязанность — говорить, веселить, вселять бодрость.

А еще я до смерти устала от утомленности жизнью и ощущения безнадежности.

Может быть поэтому польский дом, в котором сдаются комнаты, кажется мне неуютным, холодным и фальшивым. Хозяин производит впечатление человека скупого и недоверчивого, но Андрус оказывается настырнее и ему удается выторговать уступку — с двенадцати долларов за ночлег до десяти. Это — удивительное свойство моего соседа: он скорее умрет от усталости, но хоть два доллара сэкономит. У меня нет права голоса — иначе нас обчистят до нитки. Интересно, что Андрус не считает себя скупым. Да он и не скуп — просто, как любой эстонец, с молоком матери впитал убеждение, что копейка рубль бережет. Армянин, будь он по натуре последним скупердяем, скорее разорится, чем позволит себе принять гостей иначе как по высшему разряду. А эстонец, даже самый щедрый и бескорыстный, вынужден до конца жизни собирать по сенту и следовать заветам предков. Эти въевшиеся в гены заветы — для народа и проклятие, и спасение...

Чужие ванные комнаты вызывают у меня легкую брезгливость. Наскоро плеснув в лицо холодной воды, я покидаю ванную и забира-

юсь под одеяло. А вот Андрус явно намеревается провести всю ночь под душем. Все, что он ценит, он делает сверх меры — плещется в воде, возится со своей машиной, бегает по лесу... Даже его отношение к моему старому портрету выходит за рамки обычного... От нехватки бега и воды он страдает, как крестьянин страдает без работы под палящим солнцем.

Андрус продолжает беспечно насвистывать под душем. Эти звуки так нежны, что убаюкивают меня.

Просыпаюсь от того, что кто-то дергает за одеяло — и слышу ироничный голос Андруса:

— Послушайте, знаменитая живописица, может, вы избавите меня от труда стелить другую постель и сделаете это сами. Или позволите спутнику прилечь рядом с вами?

Не будь я такой сонной, я бы меньше испугалась.

Одним прыжком выскакиваю из постели и застываю у двери, как будто все польские разбойничьи шайки собрались вокруг дома.

— Отчего это барышня так волнуется? — издевается Андрус. — Вот уж не ожидал такой девичьей стыдливости от знаменитой путешественницы! Только не выбегайте в коридор полуголой, дабы не ввести хозяина в грешные мысли. Получится международный скандал...

— Надеюсь, мой вид никого не испугает — невпопад огрызаюсь я, и ко мне возвращается видимая самоуверенность, хотя ноги дрожат по-прежнему. Пусть не думает, что я его боюсь.

Беру на другой кровати лежащие сверху одеяло и простыню. Злобно начинаю засстилать постель, чтобы прекратить эту идиотскую беседу.

— Жаль, что у тебя нет спортсменской привычки спать нагишом. Для здоровья полезно и мужскому взору на радость, — весело комментирует Андрус мою бурную деятельность.

— Т-т-ты спо-ор-тсмен?! Да для спо-ортсмена человеческое тело не может быть таким непривычным, чтобы глазеть на него! — опять огрызаюсь я. И чувствую, что, несмотря на все свои усилия, все-таки краснею, причем, кажется, вплоть до затылка.

— Мне просто приятно посмотреть, — веселится он, — когда есть на что посмотреть. И еще мне нравится заставлять тебя так смущаться и краснеть. Честно говоря, мне со школьных лет нравилось, как самозабвенно и отчаянно ты краснеешь. С мужской точки зрения, это совершенно неотразимо.

Но легкомысленная речь не вяжется с глубокой страстностью, которую я вдруг обнаруживаю в его глазах.

Забывшись, я гляжу в эти глаза, и все бойкие ответы кажутся неуместными. Эти глаза вовсе не так бездонны, как у армянских братцев. И все же в них столько магии, колдовства; серо-стальные, они просверливают меня насквозь. Армяне смотрели мягче, таинственнее, они изу-

чали меня и, в то же время, желали, чтобы я не слишком раскрывалась и оставалась загадкой. Андрус смотрит сквозь меня. Наверно, поэтому соседскому парню нужны такие густые, скрывающие взор ресницы. У Гоголя есть рассказ про чудовище по имени Вий. Ведьмы и домовые должны были поднимать ему веки, чтобы чудо-монстр мог высвободить могущество своих глаз. Андрусу для этого потребовалось всего лишь воздействие польского душа...

— Спокойной ночи! — бормочет он, внезапно переменившись, и вскоре я слышу его оскорбительно спокойное сонное дыхание.

Я тоже пытаюсь спрятаться, уйти в себя. Но меня преследует этот страстный взгляд Андруса. Еще минуточку... Как будто я хочу уловить что-то давно забытое и до боли близкое — родное и утраченное.

Среди ночи я вижу склоненными над собою два белых призрака. Со слабым вздохом догадываюсь, что одно — это полная луна, а другое — Вий.

— Послушай, дружок, что ты охаешь и стонешь? — спрашивает Вий голосом Андруса. — Заболела? Я тебя этой поездкой совсем убил?

— Да, да, — страдальчески шепчу я. — Я больше не могу, я не хочу в Париж. Хочу домой...

— Но твои рисунки... И этот армянский художник? — колеблется Андрус. — Неужели повернем с полдороги? Для меня ведь это почти что наше свадебное путешествие...

В его словах вновь звучат потрясающая искренность и неожиданность. Свадебное путешествие без свадьбы? Без... всего? Без любовных клятв и сватовства?

Но под фанатически сияющей луной слова Андруса кажутся мне единственно точными. Я благодарно киваю.

Андрус не позволяет мне продолжать.

— Послушай, я вовсе не хочу тебя убивать. Давай, если хочешь, повернем обратно. Все равно эта зимняя поездка — безумие, а деньги мы пожертвовали на польских Робин Гудов. Хотя бы один ценный подарок страждущему братскому народу!

Он улыбается, и его пальцы успокаивающе касаются моих губ, словно Андрус глухонемой и способен только ласковыми касаниями руки понять мои слова.

Нежный язык его пальцев я понимаю гораздо лучше долгих речей, когда самые простые истины раздражают, провоцируют, заставляют ссориться. В этих касаниях — переживания детства, похороненные в самых потаенных недрах памяти. Так ласкала меня перед сном бабушка? Да, не кто иной, как милая моя бабушка; она умерла, когда мне шел шестой год. Я впервые тогда прощалась с человеком, прощание с которым кажется невозможным. Ласки бабушки навсегда остались на моих щеках, потому что мои родители избегали нежностей: единствен-

ная дочь в учительской семье не должна вырасти избалованной неудачницей. Так что все детство я страдала по любви и ласке.

И что — теперь судьба вернула мне бабушкину любовь?.. Верь я в домовых, подпечников, добрых духов, я бы решила, что это и вправду бабушкин дух, вселившись в руки Андруса, пришел навестить меня.

Полная луна глядит на меня внимательно и колдовски.

Может, это длинные руки луны, а не живого человека?

Андрус деловито сообщает:

— Я и не предполагал, что на бензин уйдет столько денег. Ты права, завтра же поворачиваем обратно. И вместе — домой! Вместе — и домой!... Прощай, Париж!

— Прощай, Париж! С Богом! — шепчу я в ответ. Меня обнимают неземные лунные руки, и в эту ночь я верю, что лучшая свадебная ночь — без свадьбы, а лучшее свадебное путешествие — через литовско-польскую границу.

Впервые в жизни я, эстонка, влюблена в эстонского парня. Это самый экзотический и потрясающий опыт в моей жизни. И я благодарна судьбе за урок.

На этот раз мы, счастливо смакуя вино, проводим на границе одиннадцать часов. Никто не пропускает нас вперед, да мы и не рвемся. К чему пытаться куда-то втиснуться, чтобы ухватить счастье за хвост? Мы уже счастливы. Нам не надо никуда втискиваться.

Мы головокружительно счастливы и по возвращении в Эстонию.

С начала поездки прошла едва ли неделя. Но во мне скопилось столько новых чувств, словно минуло полжизни.

И я уже пугаюсь. Это счастье — слишком нежданный дар.

6. Дома

В родном городе моя жизнь как-то незаметно, но быстро вошла в колею давних, привычных будней. Годы странствий стали казаться вымыслом. До поездки на литовско-польскую границу я жила в своих рисунках, а не в реальном доме моего детства. Рисование заменяло мне путешествия и отсутствие настоящей жизни. Я была здесь — и все же чувствовала себя беглянкой.

Присутствие Андруса исключило продолжение бегства. Он заставил меня жить буднями городка.

Я вдруг обнаружила, что моя мать живет от страха к страху: она боялась, что вот-вот вернутся прежние владельцы и потребуют назад нашу квартиру. Отец полагал, что никаких прежних владельцев нет и быть не может. Но отчаяние матери, ее убеждение, что у каждого построенного до второй мировой войны дома могут объявиться владельцы, были непоколебимы. Мать боялась любого незнакомца, особенно если

он был зарубежным эстонцем. Моя чопорная матушка никогда прежде не слушала сплетен; теперь она собирала и впитывала их — чтобы предупредить, избежать, узнать, помешать, упросить...

Я всегда по сути своей была странницей, бродягой, непоседой, гнездившейся в чужих квартирах. Мать — нет, разумеется, нет! После замужества ей ни разу не приходилось переезжать. В этом доме жили родители отца, их деды и прадеды. Дом ремонтировали, перестраивали, но он оставался домом предков. С дубами перед крыльцом было столько связано в детстве моего отца и моего деда! Теперь защитный слой семьи истончился... Я понимаю опасения матери. Оказаться выселенными еще унизительнее и нелепее, чем уехать на чужбину. Путешествовать проще — ведь в пути ты не вспоминаешь каждый миг о том, что твой дом разорен, в то время как город процветает.

Мамины начинания порою поражали своим простодушием. Мою таллиннскую квартиру сдали дочери одного видного лица. Девица хотела обеспечить свободу и себе, и родителям. Мать надеялась, что в далеком будущем ее отблагодарят, помогут переселиться в Финляндию, где у той семьи были связи... «Почему именно в Финляндию?» — вздыхал отец, заставляя себя улыбнуться. Ответа он не ждал. Главное, чтобы мать немного успокоилась.

Мать успокоилась, я — нет.

Я потеряла возможность путешествовать!

Хотя бы из нашего городка в Таллинн; ведь и это — путешествие. Я не была уверена, что смогу смириться с мыслью о «вечной» оседлости, как мать не могла перенести опасений возможного переезда. Спорить с матерью было бессмысленно, хоть она в этом и нуждалась: возражения нужны были ей в качестве успокоительного. Я не могла не идти ей навстречу. И лишала успокоительного себя.

Странно было сознавать, что в дальнейшем все мои радости зависят только от Андруса.

Самой большой радостью было рисовать его.

Закаленному мужчине нравилось ходить по своей квартире обнаженным, а мне — изображать его тело. Я никогда не была довольна тем, что получалось. Магическая гибкость его движений мне не давалась. И все же это были лучшие мои наброски! Здесь впервые после школы я была скорее романтичной, чем гротескной, скорее возвышенной, чем униженной, скорее восторженной, чем злой.

Я перебралась к Андрусу почти что ненароком.

В заботах о матери мне было трудно сосредоточиться на рисунках. Я хотела завершить их, исправить, уловить, наконец, колдовское совершенство этого человеческого тела... Я хвостом ходила за Андрусом, а когда его не было, сидела в его квартире одна и шлифовала свои работы.

Когда Андрус несколько озабоченно спросил, не собираюсь ли я остаться у него жить, я не сразу заметила глубину его озабоченности. Она открылась после, в мелочах.

Из этой квартиры, именно из нее, убежала за границу та женщина. Я никогда не называла ее по имени, да и я не знала, как ее звали, а если бы знала, охотно забыла бы его — имя женщины, причинившей боль. Но имя пряталось в самых потаенных уголках Андрусовой квартиры. Увлеченная своими рисунками, я не сразу заметила беду. Я называла опасный призрак «великой любовью» Андруса, как волка называют серым, боясь произнести имя и приманить хищника из чащи. Может быть, я ошиблась и именно в сочетании слов «великая любовь» таилась хищная и разрушающая сила?! Андрус, услышав эти два слова, всегда становился излишне бдительным и спрашивал, вспоминаю ли я своего любимого трехглавого дракона Ереван — Москва — Париж. Мы смотрели друг на друга подозрительно, хитро, неискренне.

Но мы жили в квартире Андруса, а не в моей.

Я не могла здесь ничего изменить, не могла переставить никакую мелочь. Андрус был связан какой-то странной клятвой. С рассказа об этой клятве ему бы и начать наши отношения. Но теперь было поздно: Париж далеко, мое таллиннское жилище сдано в наем, а Андрус связан обещанием, что его квартира принадлежит ему так же, как той обольстительной беглянке. Квартира была записана на его имя, не существовало никакого письменного договора, прописки, вида на жительство... Только та клятва на верность, которая для меня была хуже любой официальной бумаги, любого законного постановления. Андрусу хотелось ждать — и он ждал. Такие убийственные всплески благородства были частью его натуры: «та, что ушла, не должна лишаться родины, ее всегда ждет прибежище»... Но мне-то как пережить это благородство? Живя с любимым мужчиной в его квартире, ждать, когда в нее вернется женщина, которая отправилась на поиски легкой и лучшей жизни? Легкой и лучшей любви?

Любить упрямо великодушного, прямолинейного, жесткого, волевого и безрассудного Андруса было в самом деле нелегко. Он влюбил меня в себя, привязал к себе. И теперь выясняется, что в нашей общей квартире у меня нет своего уголка, я всего лишь караульщица. В родном доме я вместе с матерью караулила несуществующих новых хозяев. А в доме Андруса — несуществующую любовь, которая, тем не менее, губила существующую. Напрасно было объяснять ему, что искательнице счастья дом Андруса никогда не напомнит о прежнем счастье. Скорее он напомнит о крушениях и ошибках. Да и что такой даме делать в нашем городке? Она сойдет с ума или доведет до сумасшествия Андруса. Человеку, влюбленному во внешний мир, никогда уже не полю-

бить нечто земное. Хотя бы наш городок. Или Андруса... Снова влюбиться можно только в новой зарубежной поездке — все равно во что, все равно в кого...

Однажды — этот день я запомню навсегда — я решаюсь протестовать. Протест робок и невнятен. Андрус в недоумении.

— Ты хотела бы оказаться в Париже?! — спрашивает он.

— В Париже? В Париже?! — передразниваю я, пытаясь скрыть причину своего отчаяния, которое Андрус давно уже окрестил патологической ревностью. — Изъясняйся членораздельно!

— Изъясняясь членораздельно, нужно отметить, что Париж — столица Армении. Не так ли? Завтра я привожу покупателя, так что приготовь свои шедевры и не скули! — энергично завершает он и выходит, слишком громко хлопнув входной дверью, словно платежеспособность покупателя зависит от звучности хлопка.

На другой день покупатель и в самом деле является. Точнее, покупательница. Она не супруга писателя, министра или директора банка из бывших сотрудников КГБ, однако носит достаточно звучное имя, произнося которое испытываешь определенное удовольствие. Женщина очаровательна, она прекрасно сохранилась. Меня даже пугает ее шарм и обилие улыбок, ни в одной из которых не участвуют глаза.

— Да купит ли она? — размышляю я про себя. — Лучшие покупательницы — это те милые дамы, которым принесли известность и богатство не их собственные дела, а фамилии, полученные от мужей. Покупая картину, они способны предложить достойную цену, чтобы слегка сбить спесь с собственных мужей.

Я вспоминаю эту мудрость, усвоенную во время поездок, и мне приходится признать, что как личность эта дама намного превосходит своего богатого супруга. Брылястые щеки и водянистый взгляд ее благоверного я помню по телеэкрану, а женщина в самом деле красива. Которая она у него? Вторая? Третья? Давно ли они женаты? Чем новее брак, тем смелее женщина играет толстым кошельком своего государственного мужа, тем выше цену предлагает.

Мы смотрим в глаза друг другу почти как заговорщицы.

Андрус самодовольно посмеивается и, ни разу не взглянув на мои рисунки, удаляется готовить кофе.

Его безразличие меня оскорбляет.

По-моему, несправедливо ценить только мои фантастические рисунки. Но ему нравится, когда картина содержательна. Мои нынешние опыты ему непонятны. Многочасовые усилия нарисовать пальцы — ну и что с того, что это его пальцы!.. Или попытки уловить движение... Андрус уже сообщил мне, что для передачи движения есть кино и видео, а я способна на большее.

А если мне ничего другого не хочется?

Я хочу поймать, передать через изображение тела сводящую меня с ума сущность любимого мужчины — через его пальцы, ступни, шею, грудную клетку, бедра — даже через волосы на груди. Андрус в знак протеста не смотрит мои рисунки. Его не интересует анатомия собственных пальцев — если надо, свои руки и ноги он изучит и без моей помощи. В увеличительном стекле моих рисунков он не нуждается. Его не интересует изображение собственных суставов. Как спортсмена его интересует только результат.

— Но твое тело и есть результат твоих усилий, — пытаюсь я объяснять, — результат твоей воли. Когда я смотрю на тебя, я счастлива, что умею рисовать. Это единственная возможность спорить с тобой. Однажды я хочу нарисовать такую картину, которую ты повесишь вместо талисмана — взамен той, что у тебя в машине.

— Тот рисунок я не сниму никогда! — отрезает он.

И теперь гостье решать: кто из нас прав.

— Ах, какие рисунки! — восклицает она. И на ее лице появляется выражение, которое меня потрясает.

— Какая модель! Такого мужчину хочется узнать! — щебечет гостья.

Прежде чем я успеваю осмыслить эти слова, рисунок вырывают из рук женщины. Гневно и в высшей степени невежливо.

Андрус стоит за ее спиной и злобно рычит:

— Эти рисунки я не продам!

— Это рисунки, которые хочу продать я. И продам! — кричу я в ответ. — Квартира твоя, но рисунки-то по крайней мере мои.

— Твои-и-и? — тянет он. Высокомерно, осуждающе, враждебно, издевательски.

Я полна решимости протестовать, но мне неясно, с чего это Андрус так вскинулся. В какой-то миг мне кажется, что все это — дерзкая торговая хитрость. Ворвавшись в комнату, он хотел всего-навсего взвинтить цену.

Женщина берет со стола еще один рисунок и называет цену, заставляющую меня ликовать. Я еще раз радостно вздыхаю и пытаюсь понимающе улыбнуться. Но мои ахи и улыбки напрасны. Андрус не замечает меня. Они оба не замечают меня, они буравят друг друга взглядами.

Затем женщина звонко смеется:

— Никогда бы не подумала, что натура — это вы! Вы... Такой мужчина, вы можете добиться любой женщины, а вместо этого хороните себя в этом захолустье.

— Вы напрасно принимаете меня за жиголо, мадам! — огрызается Андрус.

— Что с тобой? — робко спрашиваю я.

— А ты, маленькая сводня, лучше молчи! — рявкает он в неудержимом гневе.

Возмущенная покупательница медленно поднимается со стула:

— Это неслыханно! Сами приводите меня сюда, показываете рисунки — и сами же оскорбляете. Будьте уверены, эта малярша нигде и никогда не продаст ни одной своей работы! По крайней мере, в Эстонии! Уж у меня-то хватит связей! Не надейтесь, я не прощу вам никогда!

Дама начинает усиленно дышать, и в какой-то миг мне становится боязно, что ей не хватит воздуху и она задохнется.

— Я? Я-то в чем виновата? — растерянно шепчу я. — Я же хотела продать эти листы!

— Хотели? — ядовито скалится дама. — Я никак не могу понять, чего же вы хотели. На ваших картинках даже пальцы Андруса... то есть этого мужчины... выглядят эротично, не говоря уже обо всем остальном. А эти позы?! Признаю, это искусство. Уж я-то разбираюсь. Человек на рисунках божествен, а натурщик груб, невоспитан, глуп. Вот уж точно, у спортсменов весь ум в ногах. Так истолковать мои слова! Жиголо?! Сводня?! Я бы на вашем месте и минуты не потерпела бы такого мужчину рядом с собой, немедленно бы сбежала...

— Посоветуйте лучше вашему мужу заняться спортом! — ядовито вставляет Андрус. — А эстонских жиголо вам еще предстоит воспитать! Прошу прощения, ценительница искусства!

— Ну это уж слишком, — вопит дама. — Это неслыханно! И я должна выслушивать эти оскорбления?! Да, вы со своей дурочкой подходящая пара, она рисует вас в виде Аполлона, а оценить-то не способна! Вы просто не понимаете своих возможностей. Такой необузданный мужчина нашел бы в столице достойных ценительниц. Столица отшлифовала бы вас. Деньги, поездки, успех... А здесь, в глухой провинции, вы можете только позировать. В столице могли бы всё!

На прощание дама бросает на Андруса такой долгий взгляд, что приходит мой черед глотать воздух.

От этого взгляда я словно немею и весь вечер не в силах спорить с Андрусом.

Женщина, оказывается, хотела купить не рисунки, а его самого! С ума я сошла, что ли, предлагая на продажу такие эротические работы?! Обнаженное тело моего возлюбленного! Все мои наброски, рисунки — все немедленно отдаю Андрусу. Пусть делает с ними, что хочет. Хочет — уничтожит, хочет — сохранит. Не хочу я, чтобы мои работы вели его в кровати столичных красоток!

И — стоп! Теперь я буду рисовать что угодно, но Андрусово тело — табу. Все, финиш! Какое унижение! Какой скандал!

Машинально я беру карандаш, но он не держится в руке, о кисти и говорить нечего. Впервые в жизни меня мутит от рисования, которое всегда спасало меня.

Отвращение пройдет только через несколько месяцев, но Андруса и вообще человеческое тело я уже не нарисую никогда.

Эпилог

Прошло три года.

Я жила в своем городке, вернее — существовала.

В моей жизни не осталось ничего, ради чего — как я считала — стоит жить. Ни надежд, ни мечтаний, ни воодушевления. И рисования — тоже. Правда, благодаря Андрусу я могла не заботиться о хлебе насущном — о чем он постоянно и напоминал мне. Я была одета, обута, жила в квартире с удобствами. Мне не надо было торопиться на поезд или самолет. Мне вообще больше ничего не было надо. Только подчиняться скромным распоряжениям Андруса. Он выражал их очень тактично, и я не понимала, отчего это моя жизнь именно из-за этого утекала между пальцев.

Почему я перестала рисовать?

Почему я разучилась радоваться, не ждала следующего утра? Не ждала ничего, даже смерти.

Андрус обещал помогать мне. И помог — устроил на работу. Он давно уже заводил речь о том, что я могла бы рисовать и в их конторе. Все же какой-никакой дополнительный заработок. А вдруг и покупатель найдется!

В конторе Андруса сновали взад-вперед всяческие спортсмены. Постоянно жаловались на обиды: кто-то что-то решил несправедливо, и в Испанию поехал другой. И что с того, что сам обиженный только что вернулся из Австралии? Должна же быть на свете справедливость!

В этой спортивной конторе я поняла, что речи Андруса о справедливости не были случайными. Все спортсмены только и делали, что говорили на эту тему, и в конце концов я поняла, что для каждого недовольного существовала только одна справедливость: контора и спонсоры должны были поддерживать именно его зарубежные поездки.

В первые дни своей службы я позволила себе сострить, что это не спортивный клуб, а какое-то туристическое бюро. Андрус разгневался — и с тех пор мне проще было молчать, чем выслушивать очередные оды о значении спорта для славы Эстонии и здоровья эстонского народа. По-моему, эти типы, клянчившие поездки, не имели никакого отношения к народу, а тем более — к его здоровью. Под лозунгом «Хлеба и зрелищ» олимпийцы добывали себе — вполне, впрочем, заслуженные — дома, награды и деньги. Народ хотел — и народ платил! Ни одна страна не тратила на этот цирк столько, сколько маленькая и бедная Эстония. Может, дело в том, что настоящий цирк у нас никогда не был

популярен — все эти укротители медведей и канатоходцы, огнеглотатели и воздушные гимнасты...

Наверное, я могла бы рисовать, если бы в контору приходили за деньгами для ловких мартышек, свирепых львов, забавных пуделей. Но выслушивать жалобы мускулистых мужиков на то, что им недостаточно платят за такие накачанные мускулы?.. Олимпийских чемпионов и чемпионов мира среди них не было; в лучшем случае — чемпионы Эстонии. Маленький народ в своем гордом величии соглашался давать и давал этим богатырям... Но эти парни требовали еще и еще! Они никогда не были довольны. Как, впрочем, и Андрус.

Я сидела в постылой конторе с очень сложным названием, которая считалась спортивным клубом. Я занималась всем — и ничем, потому что я не верила в «справедливость» этих спортсменов. Однообразные будни утомляли меня, от пустых разговоров и требований я готова была лезть на стенку.

Андрус добывал деньги и разъезжал, разъезжал, разъезжал — в качестве посланца, организатора, друга, почетного участника ... Бесконечная карусель и бесконечные жалобы: мало дали, а побираться противно.

Мое возмущение этим постоянным вырыванием денег было бы меньше, если бы Андрус хоть раз признал, что во всей деятельности конторы есть нечто сомнительное. Но он этого не делал, он бесконечно вещал о здоровье народа и о спорте как составной части культуры. Мое недовольство росло, превращалось в кошмар, в муку... Я не могла рисовать. Нет, нет, глядя на этих самоуверенных богатырей, я чувствовала себя лилипутом в стране великанов.

Андрус не забывал напоминать, что однажды — год тому назад? два? три? — он чуть не свозил меня в Париж. Почти в Париж...

Казалось невероятным, что такой город вообще существует. И все же эти атлеты время от времени возвращались из Парижа. И их пускали туда? Земля не провалилась под ними, прекрасные улицы не поглотили их без следа, не столкнули в ту пропасть речей о справедливости, откуда они были родом?!

Разумеется, я не хотела съездить в Париж с каким-нибудь автобусом спортсменов. Я была уверена, что город жестоко отомстил бы мне за такое предательство. Ведь я предала себя. Не рисовала, не жила, просиживала в конторе и слушала постоянные похвальбы Андруса о его достоинствах, о готовности помочь, любезности, доброте. Обо всех качествах, за которые он даже не ждет награды. Чувство вины, постоянное чувство вины... Я предала себя — и все же Андрус не был мною доволен. Чувство вины перед собою и перед мужем — двойное проклятие.

Мы не расписались, так как бумаге, как любит повторять Андрус, еще не удалось сохранить ни один брак. Красиво, не правда ли? У нас

не было детей, потому что для детей нужна прочная семья. Разумно, не так ли? У нас с Андрусом была «семья», но недостаточная, чтобы заводить детей. Вначале он шутил, что не хотел бы видеть свою невесту убегающей от алтаря. Потом о браке говорить было уже странно... Ведь мы и так вместе!

Вместе мы были, прежде всего, вечером перед телевизором, когда передавали новости. Как и весь эстонский народ, Андрус смотрел эту передачу благоговейно. Не просто так. Как спортом он занимался ради высшей справедливости, так и новости были для него вечерней молитвой. Меня подобные передачи интересовали только в дни путча, в переломные моменты, в решающие дни. Но деваться было некуда. Новости ставили жирную точку однообразному бессмысленному дню. Обычно и Андрусу приходилось признавать, что из этой передачи он не узнал ничего нового. Но такое разрешалось говорить только ему. Мой протест свидетельствовал о женской ограниченности, нездоровом интересе к сенсациям, дурном воспитании.

Я с ужасом вынуждена была признавать, что Андрус прав. Меня раздражала не столько сама передача, сколько то, что она забирала мои вечера. Ни одного тихого мечтательного вечера! А ведь только в эти минуты я могла бы захотеть рисовать, говорить, чувствовать себя человеком, другом. Андрус постоянно называл меня другом.

Днем контора, вечером информационная передача — уныло деловитая и такая приземленная.

И все. Ничего больше.

Вся жизнь.

И вдруг именно в этой вечерней передаче я однажды увидела, наконец, знакомое лицо, когда-то изменившее мою бесцветную жизнь. Было ли это последним предупреждением? Предупреждением, чтобы больше я из нашего городка ехать не пыталась? Ведь дальнейшее — конец, и адские муки под аккомпанемент осуждения со стороны всех обитателей нашего городка...

На телеэкране возник Размик.

Да, именно он. В Таллинне. Обросший, седой, старый — и все же он! На открытии своей выставки в частной галерее, принадлежащей одному армянину. Да здравствует дружба народов, речи и тосты... И затем — неожиданно искреннее обращение к какой-то даме, исчезнувшей музе художника. Кто она? Имя не произнесено, на экране только холсты, посвященные этой женщине и подаренные художником Эстонии.

Размик говорил о галерее вблизи станции метро «Одеон», о знакомых мне местах. Затем на экране возникли очень интересные карандашные рисунки — работы той самой исчезнувшей возлюбленной. Их охотно раскупают в Париже. Поразительно, как высок уровень эстонского искусства! А рисунки его знакомой напоминают

творчество Вийральта, с которым Размик столкнулся только сейчас, в Таллинне.

Нет, нет, нет — к сожалению армянскому живописцу не удалось встретить ту давнюю знакомую. Репортер назойливо допытывается, как зовут эту художницу, чтобы эстонский народ мог ею гордиться. Ах, говорил хитрый армянин, это было так давно; может, эта художница уже не живет в Эстонии. Но как интересно приехать в страну, с которой тебя связывают самые романтические воспоминания! Размик улыбается. Он благодарен эстонскому народу за свои лучшие холсты.

Я смеюсь. Истерически.

Встревоженный Андрус с бутербродом в горсти прибегает из кухни. Этот несчастный спортсмен смотрит на меня воровато и с жалостью. В последнее время он всегда уходит из комнаты, когда в его любимой передаче показывают художественные галереи и хвастливые интервью художников. Не знаю, — в том ли причина, что Андрус не состоялся в качестве «помощника» художницы, или в том, что я не состоялась как художница? Но по-прежнему как талисман в каждой новой машине он помещает потрет школьных лет. Мой набросок уже несколько раз сменил свое почетное место.

Но мы уже давно не вспоминаем о том, что работа в конторе оставляет мне достаточно времени для рисования — не говоря уже о вечерах, когда я без дела просиживаю дома в углу. Вечерами мы действительно тупо молчим: я — забившись в угол, Андрус — уставившись в экран. Андрус убежден, что конторская обстановка не может оправдать моего отвращения к рисованию. И несправедливо обвинять в этом снующих туда-сюда жизнерадостных и физически здоровых людей, от которых я, напротив, должна заряжаться энергией. Я не рисую вовсе не потому, что работаю в конторе. Все наоборот. Меня временно устроили туда потому, что я по какой-то загадочной причине лишилась способности к творчеству. Так заботливо объяснял мне Андрус. Едва я проведу на бумаге линию, имеющую хоть что-то общее с искусством, как он тут же начнет торговать моими работами — и с конторой всё! А сейчас меня в таком болезненном состоянии нельзя оставлять дома одну...

Но после того, как я сказала, что контора вдохновляет меня не больше, чем тюрьма, и скорее я начну рисовать в одиночном заключении, чем в этом проходном дворе, Андрус больше не пытается склонять меня к творчеству. А я перестала чувствовать, думать, вдохновляться. Спортсмены не зря глядят на меня с сочувствием. На фоне их неудержимой напористости мое оцепенелое равнодушие особенно бросается в глаза. И если я что-то напутаю, подпишу не тот счет, со мной говорят тихо и осторожно, как с больной.

После того разговора Андрус начал убеждать меня съездить в Таллинн к его знакомому психологу.

Этот сострадательный совет прозвучал и сегодня, как только Андрус услышал мой истерический смех:

— Послушай, Рийна, я как раз говорил с моим знакомым. Он очень хороший спортивный психолог. Да и ты чуть-чуть развеешься. Погуляешь по Таллинну, заглянешь в свою квартиру, возьмешь у жилички деньги. Нам нужно покупать новые покрышки.

Андрус замечательно умеет совмещать заботу обо мне с заботой о своей машине — или о покрышках, или о здоровье эстонского народа. Я безумно озираюсь. Я почти что сама поверила в необходимость лечения.

— Еду! — решительно восклицаю я.

Итак, я вновь еду в Париж.

Я еще не знаю об этом, когда сажусь в автобус на нашем автовокзале. Эта мысль еще не оформилась во мне, когда я стою перед девицей, снимающей мою квартиру. Хорошенькая мордашка, которая, работая в преуспевающей фирме, может позволить себе такую роскошь — уйти от своих зажиточных родителей и вести самостоятельную жизнь в двух кварталах от родительского дома.

Неожиданно для себя самой я выпаливаю, что хотела бы получить плату за два года вперед, так как заключила выгодный договор с Парижем.

От платы за квартиру зависит моя судьба.

На мгновение жиличка обиженно вспыхивает, но для эстонской девушки «Париж» всегда волшебное слово. Трудно собрать такую сумму за два дня, но ради Парижа она готова напрячься. Мне смешно: напрягается она именно ради Парижа, а не ради меня. Этот город воистину действует магически. Впервые в жизни между удачливой красоткой и мною проскакивает какая-то человеческая искра, чувство общности, возможность общаться. Мне кажется, будто я в чем-то обманула девушку. Меня ведь привлекает не Париж, меня привлекает только некая галерея и ее владелец.

Моя поездка носит исключительно деловой характер.

Бизнес во имя спасения собственной жизни.

Наконец-то я кое-чему научилась от Андруса! Каждый гражданин новой Эстонии должен уметь самостоятельно спасать свою жизнь — и только так мы сообща спасем наше крошечное государство, которое во всем мире не нужно никому, кроме самих эстонцев.

Наконец-то я нужна самой себе.

И, вероятно, тем самым нужна и Эстонии.

Что с того, что только через Париж! Только тот, кто наслаждается жизнью, может выбирать средства, способы, варианты. У того, кто спасает жизнь, часто остается единственная возможность. И хорошо, если хоть она.

Благодаря моему отъезду жиличка стала мне почти сестрой. Этим летом девушка побывала во Франции, она дарит мне план парижского метро, делится своими ощущениями, открытиями и мыслями о двух ночах во французской столице. Как мало дней и какие богатые впечатления! Волей-неволей я изумляюсь этой девушке. Эстонцы еще способны куда-то стремиться, в этом их коренное преимущество перед парижанами. Очень серьезное преимущество. Эта страсть превращает Эстонию в вечный двигатель.

Божественное слово «Париж»! Я не знаю, плакать мне или смеяться. Пишу Андрусу, что вместо эстонского психолога еду лечиться у французских художников. Я трусиха и не осмеливаюсь позвонить. Пусть ему останется от меня только письмо; со словами он всегда управлялся ловчее меня. Я не хочу слушать его оскорбительные и обвинительные речи, даже по телефону.

И все же в аэропорту я набираю номер Андруса. Номер моего дома, потому что только сейчас, когда объявлена посадка, я понимаю, что вновь бегу — из дома, от близких.

Я побывала у Андрусова знакомого психолога и ночи напролет беседовала со своей жиличкой о Париже. Чтобы отправиться туда, я больше не нуждаюсь в помощи Размика или Андруса.

Я свободна.

Или бесчестна.

Как взять...

Я уверена, что из уст Андруса услышу сочную мужскую брань, которой он пользуется лишь в крайних случаях. Но пользуется! Он не рефлектирующий художник, он человек дела. Но теперь он может быть и мною доволен. Я тоже стала «человеком дела», борцом, почти что спортсменкой!

Пусть он бранится! Пусть говорит, что угодно. Этот мужчина всегда магнетически влиял на меня. Даже сейчас, когда объявляют мой рейс. Я никак не могу не набрать номер Андруса.

Наконец, слышу в трубке громкое «алло». Нет, голос у Андруса — не как у умирающего. Пусть кричит «алло», я не отзовусь. Пусть хотя бы его жизнерадостный тон ободряет меня в Париже. Тон, которым и я когда-нибудь овладею. Без мужской помощи, сама, без сочувственного участия... Выдержать, не разрыдаться!

И все же в моих глазах стоят слезы, как будто уезжаю не я, а Андрус.

— Ну, Рийночка, беглянка ты моя ненаглядная, скажи мне что-нибудь на прощание! — Андрус удивляет меня в очередной раз.

Его голос звучит вовсе не обиженно, скорее нежно, ласково — почти что любовно.

— Хорошо, что ты догадался, — шепчу я.

— Кто еще так шмыгает носом, как ты! — поясняет Андрус.

Он не говорит: «Я люблю тебя»; он ни разу еще не сказал это по собственной инициативе. О любви мужчины следует судить по делам. Кто не поймет, тому и слова не помогут. Типично эстонский подход? Или типично Андрусов?

— Уже объявили посадку! — печально сообщаю я.

— Ну так беги! — он всегда деловит. — Летом приеду с ненавистными тебе спортсменами, привезу кое-что пожрать. Постарайся до этого не умереть с голоду!

— У ме-еня зна-акомые в Париже, и этот владелец галереи... — Я не могу продолжать, я реву, мои плечи трясутся и соленые слезы заливают мне рот, делая разговор невозможным.

— Не позволяй знакомым ободрать тебя как липку! — наставляет меня Андрус, пытаясь вновь воскресить свою речь простого парня. — Не позволяй лапать себя своему армянскому двоеженцу! Конечно, если ты думаешь, что парижская любовь шикарнее эстонской, но...

— Я думаю, что я люблю тебя, — шепчу я.

И тут даже Андрус замолкает.

— Беги, отстанешь от самолета!

Впервые за все время нашего знакомства я слышу в голосе его что-то вроде слез. Это нечто новое, удивительное. Ради одного этого стоит лететь в Париж.

— Бегу! — кричу я почти в экстазе.

— Пошли телеграмму, если до лета тебе потребуются деньги, — заканчивает мой спортсмен-благодетель. — Одной художнице наша контора кое-как сумеет помочь, только не срамись, не побирайся там...

Я уже не плачу.

В аэропорт я ехала беглянкой; в самолет сажусь полноправной представительницей своего города. От несчастья к счастью всего один шаг, один телефонный разговор, один голос, который не презирает меня. Счастливое перерождение!

И все же я чувствую себя найденышем, которого подобрали между мощных опор Эйфелевой башни, чтобы доставить на пляс де ля Конкорд и снова бросить у чьей-то двери. Place de la Concorde, au fond, la Tour Eiffel... Эйфелева башня удаляется все дальше, и, наконец, детским глазам открывается северный городок. Я никогда не чувствовала себя в родном городке так уютно, как в Париже... Рассказывают, что моряки порою сходят на берег в далекой гавани и наотрез отказываются плыть дальше, потому что именно здесь они нашли утраченное чувство родного дома.

Маршруты перелетных птиц до сих пор остаются загадкой. Странное поведение людей и вовсе не изучается. Птицы вольны преодолевать границы и расширять понятие дома. Странствующих искателей родного дома порою сторонятся, как прокаженных.

Я знаю, что никогда не скажу матери о том, что чувствую себя найденышем. Ни матери, ни родине. Почему я не могу всех их любить в Париже? С каким вдохновением показала бы я Андрусу свои любимые тропы в этом городе! И в первую очередь — Place de la Concorde, au fond, la Tour Eiffel.

Я еду из дому домой.

Лечу. Я не могу не летать. И, подобно перелетной птице, я не могу перестроить свое ощущение дома в стены, крепости, колючую проволоку, высящиеся до небес пограничные заставы.

ЧТО МАЛОВЕРОЯТНО...

1

На пустыре
в ведре
пекут картошку.

Я привыкаю понемножку
к тому, что ветер — штормовой,
к тому, что ливень — листобой,
что пруд окрестный поутру
похож на черную дыру.

День ото дня дыра все больше.
России — меньше.
Больше — Польши.

2

Иван-царевич скачет
верхом на сером волке
вкруг новогодней елки.

Луна в окне маячит.
Она видна не резко,
поскольку занавеска
могла быть чуть прозрачней.

Владимир САЛИМОН родился в Москве в 1952 г. Окончил Педагогический институт. Первая книга «Городок» вышла в 1981 г. Автор книг «Уличное братство», «Страстная неделя», «Невеселое солнце», «Красная Москва», «Брильянтовый и золотой», «Бегущие от грозы», «Возвращение на землю», «За наше счастливое детство» (книга вышла в двух изданиях, одно – совместно с художником Татьяной Назаренко). В 1995 г. удостоен премии Premio Europeo di poesia «Antonietta Drago», в 2001-м – премии журнала «Октябрь». Живет в Москве.

Грядущий год — удачней
прошедшего стократно,
что маловероятно.

3

Простое решенье — это,
как если бы тьма отделилась от света
сама по себе,
завыл неожиданно ветер в трубе.

Что может быть проще
березовой рощи,
охотно подставившей солнцу макушку.
Репьи напоследок вцепились друг в дружку.

Их мертвую хватку опять и опять
весь день я пытаюсь напрасно разъять.
Нисколько внимания не обращаю,
насколько бессовестно все упрощаю.

4

Нас манит обнаженная натура.
Деревья голые меж тем глядят понуро
и, устыдившись наготы,
стыдливо прячутся в кусты.

Подлесок
играет роль кисейных занавесок.
Полупрозрачная — столь многое подчас
скрывает кисея от любопытных глаз.

5

Прибой — отнюдь не папиросы.
Однако снежные заносы...
во тьме кромешной шелест снежный
напоминает шум прибрежный.

Раскаты грома —
напоминает бурелома
медвежья поступь — всякий раз
когда настигнет буря нас,

когда метель меня нагонит,
когда пурга меня уронит,
хвостом виляючи,
в сугроб,
играючи,
загонит в гроб.

6

Все глубже — в обморок глубокий
проваливается стоокий
и соглядатай наш
и страж.

Недавний — поднадзорный,
сегодня — подзаборный
с лохматой бородой.

Но явится городовой,
неведомый дотоле,
его с селедкой на боку
легко представить я могу,
не знающим ни жалости, ни боли.

Что Аргус перед ним?!
Он окриком одним
поставит нас на место,
замысливших бежать из-под ареста.

7

Все начинается от печки.
Сначала тополя
оплавятся, как свечки.
Потом — разверзнется земля.

Чудовищные твари,
задравши в небо хари,
в кружок усевшись, станут ждать.
А я — улягусь на кровать.

Поскольку я — ни зверь, ни птица,
попробую не суетиться,
не трепыхаться без нужды,
подольше продержаться без воды.

8

Все оживает вдруг.
Решительно. Без колебаний.
Заламываний рук
и воздыханий.

И луг и лес —
лишь отражение небес
прозрачных.

Блуждая средь участков дачных,
невольно отвожу я взор:
повсюду видимый разор.
Разруха —
словцо не для утóнченного слуха.

9

Евг. Попову

На дне карьера,
где глина расслоившись, как фанера,
торчит среди камней,
встречаются находки пострашней,
чем чертов палец — белемнит,
хотя его ужасен вид.

Нужна отвага, а не смелость,
чтоб в руки взять окаменелость.

10

Неполадки со здоровьем.
Подростковым малокровьем
принужденные страдать
по весне слегли в кровать.

С живота на спину,
а потом — наоборот —
мы ложились на живот,
носом тыкаясь в перину.

Оставалось под вопросом —
можно ли, уткнувшись носом,
обнаружить в час ночной
под подушкой мир иной.

11

Источник света это — Бог.
В чем убедиться каждый мог.

А лампочка над дверью
подобна суеверью,
русалке на ветвях
иль ведьме на метле,
болотным огонькам, мерцающим во мгле.

ДВА РАССКАЗА

21 декабря

Петр Васильевич посмотрел на часы — было девять пятьдесят шесть, — потом перевел взгляд на стол. Стол был накрыт простыней, голубоватой в сумерках комнаты. В центре квадрата, очерченного остроугольно выглаженными складками простыни, стояла бутылка водки «Нарком». С этикетки весело-грозно смотрел молодой, в кителе с «разговорами» и тремя орденами боевого Красного Знамени на груди наркомвоенмор Клим Ворошилов. Вокруг бутылки, на равном расстоянии друг от друга, стояло восемь тарелок: с вареной и копченой колбасой, сыром, грудинкой, селедкой, солеными огурцами, репчатым луком и черным хлебом. Все это было нарезано толстыми, в палец, ломтями и не совсем ровно уложено вкруговую. В центр был положен один кусок. Еще две тарелки — одна с золотистой каемкой, другая с одиноким бледным цветком — были пусты. Возле каждой лежали старательно, но неумело вычищенные — рельеф горел серебром, но углубления были черны — старомодные мельхиоровые вилка и нож. Во главе стояли массивные ложнохрустальные рюмки.

Петр Васильевич подошел к столу, чуть подрагивающей рукой поменял местами тарелки с луком и сыром, потом медленно прошелся по комнате. Комната была строга и чиста: еще вчера все лишние, случайные вещи были вынесены на кухню, со шкафа, книжных полок, кровати, буфета и громадного старого телевизора вытерта пыль. Линолеум с исчезающим паркетным рисунком лоснился от белесого зимнего света, падающего из пустого окна. Пол и окно Петр Васильевич тоже

Сергей БАБАЯН — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Писать начал в 1987 г. Автор романов «Господа офицеры» (1994), «Ротмистр Неженцев» (1995), повестей «Сто семьдесят третий», «Крымская осень», «Мамаево побоище», «Канон отца Михаила», «Кружка пива» («Континент» [11] 85, 87, 92, 101, 104), сборника прозы «Моя вина»(1996). За повесть «Без возврата (Негерой нашего времени)», напечатанную в «Континенте» ([1] 108), удостоен в 2002 г. премии имени Ивана Петровича Белкина («Повести Белкина»), которая присуждается за лучшую русскую повесть года. Живет в Москве.

протер влажными тряпками, а вкрутить лампочку в люстру позвал соседа. До недавнего времени Петр Васильевич менял перегоревшие лампочки сам, но полгода тому, когда он стоял на стуле с запрокинутой головой и поднятыми руками, у него вдруг пятнами потемнело в глазах, и он чуть не упал.

«Порядок», — привычно-отрывисто сказал про себя Петр Васильевич и прошел в ванную комнату. Глядя в поеденное звездчатой чернью зеркало, он помял гладко выбритые, морщинистые, дряблые щеки... вспомнилось вдруг: «Пусти... ой! У тебя щеки как терка!». Это была Настя, буфетчица в офицерской столовой; прошло сорок лет, но он как в жизни увидел и Настю, и полутемную, заставленную ящиками подсобку с закрашенным белым окном, и услышал, как у Насти срывается голос, и понял, что ее не надо пускать... вот только *как* потом было с Настей, он вспомнить не мог.

Петр Васильевич причесал бессильные редкие волосы, одернул китель — зазвенели медали, — чуть довернул орден Красной Звезды и инстинктивным, до сих пор энергичным офицерским движением надел фуражку с покрытой паутиной трещинок козырьком. Под фуражкой старое и слабое лицо его сразу построжело, помолодело, окрепло. Выйдя из ванной, он посмотрелся в стекло открытой кухонной двери: в тусклом его отражении он увидел угловатую подтянутую фигуру с мужественным выступом козырька — и гордо и обреченно подумал: «Старый солдат...»

В два приема повернувшись налево кругом, медленно, но твердо ступая начищенными ботинками — мерно постукивали каблуки, — Петр Васильевич вернулся в комнату.

На стене над старым буфетом висел большой портрет Сталина. Под ним за стекло верхней полки буфета был вставлен перекрещенный рубцами от сгибов темно-красный листок бумаги. На листке было напечатано:

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Петр Васильевич сдвинул каблуки, вытянулся как мог — кольнуло в спину — и отдал Генералиссимусу честь. Сталин молча смотрел на него. Петр Васильевич постоял так с минуту — крепко сжав губы, чувствуя, как в груди его поднимается дрожь — от радости, гордости, боли, потом медленно опустил руку и торжественно, отделяя каждое слово, — и в то же время едва уловимо ласково — тихо сказал:

— С днем рождения, товарищ Сталин.

Сталин смотрел и, как всегда, чуть улыбался в усы. Какое в Него было лицо! Грозное, доброе, мудрое, бесконечно спокойное, подчиняющее всех и в ответе за всех и за все, — в Нем была сила бога, знание бога, справедливость бога, беспощадность бога... *Наше дело правое. Мы — победим.*

Враг будет разбит. Победа будет за нами. На портрете Сталину было шестьдесят пять лет: это была фотография, вырезанная из большого настольного календаря тысяча девятьсот сорок пятого года.

В передней раздался звонок. Петр Васильевич пошел открывать. Он шел и уже видел Ивана Михайловича.

— Здравствуй, Петр Васильич! С праздником тебя...

— Здравствуй, Ваня! И тебя с праздником.

Петр Васильевич и Иван Михайлович обнялись и троекратно поцеловались. Иван Михайлович был невелик ростом и кругл в отличие от высокого и худого Петра Васильевича и по виду лет на десять моложе его.

— Вот, Петр Васильич, возьми. Нюра тут огурчиков, сальца положила... ну и водочки, конечно.

— Это ты зря, — строго сказал Петр Васильевич. — У меня все есть. Давай раздевайся. Ботинки не снимай.

— Да наслежу же!

— Отставить. Не на мой день рождения собрались.

Иван Михайлович снял толстокожую, подбитую пенистым мехом куртку и повесил ее на вешалку — рядом с сильно потертым, потерявшим форму пальто.

— Вот... дочка зачем-то купила, — сказал он и развел руками, хотя Петр Васильевич на куртку даже не посмотрел. — Я ей говорю: ну зачем мне такая? А она...

— Хорошая куртка. Проходи.

У Ивана Михайловича на пиджаке было четыре медали, одна из них «Ветеран труда», и орден Отечественной Войны — не боевой: из тех, что давали всем участниками войны к сорокалетию Победы. Войдя в комнату, Иван Михайлович остановился перед портретом Сталина и, дождавшись, когда вернется зашедший с Нюриным пакетом на кухню Петр Васильевич, выставил живот и громко сказал:

— С днем рождения, товарищ Сталин!

Петр Васильевич немного постоял рядом с ним — и снял фуражку.

— Ну, Ванюша, давай к столу.

Старики сели: Петр Васильевич — лицом к Сталину, Иван Михайлович — боком.

— Вот, Ваня, — сказал Петр Васильевич, берясь за бутылку; у него была сухая, бледная, усыпанная старческой гречкой рука; руки Ивана Михайловича были красны и толсты. — Видишь, какую водку выпустили? «Нарком»! Пробовал такую?

Иван Михайлович кивнул.

— Хорошая водка.

— Помнят, значит... — Петр Васильевич с усилием стронул крышку и медленно наполнил до краев обе рюмки. Иван Михайлович помаргивая смотрел, как он наливает. Петр Васильевич взял свою рюмку и

боком, опершись свободной рукой о колено, встал. Встал и Иван Михайлович. Петр Васильевич помолчал — и сказал:

— За здоровье — Верховного — Главнокомандующего.

Они осторожно, негромко чокнулись. Петр Васильевич пил медленно, припав к самому краешку рюмки бесцветными, исчезающими губами и неотрывно глядя на Сталина. Иван Михайлович выпил рюмку зажмурясь, глотком. В комнате стоял полумрак; за окном на ветру роились маленькие сухие снежинки. Петр Васильевич, а за ним и Иван Михайлович сели и потянулись к закускам.

— Бери селедку, Ваня.

— Угу...

Петр Васильевич закусывал мало и неторопливо. Иван Михайлович тоже не спешил, но видимо сдерживался. Тишину нарушало только постукиванье вилок о тарелки и хруст огурцов.

— Давай повторим, Ванюша.

Петр Васильевич тронулся рукою к бутылке, но Иван Михайлович его опередил и разлил сам. Поднялись они одновременно: Иван Михайлович вставал быстрее, но старался не перегнать — помедлил на полпути.

— Ну, Ваня...

— За победу, Петр Васильич.

— Да, за победу, — сказал Петр Васильевич и слабо тряхнул головой. — За десять сталинских ударов, Иван!

Выпили. Иван Михайлович прикрякнул и взялся за колбасу.

— Ешь, ешь, — чуть улыбнувшись, сказал Петр Васильевич. — Ты еще молодой, тебе надо есть... Надо жить, Иван, — Петр Васильевич посмотрел на Сталина — и вдруг глаза его дрогнули и голос сорвался: — Немного нас у него осталось...

Иван Михайлович расстроился и даже рассердился.

— Ну что ты такое говоришь, Петр Васильич?

— Да нет, я знаю, что ты не думаешь, я не о том. Я просто, что вот они водку выпустили, с Ворошиловым. Ты думаешь, они понимают, кто такой Ворошилов? Что такое *нарком*? Да в тридцать девятом, после Халхин-Гола, Ворошилов на Красной площади, во время парада, японского военного атташе за ухо трепал! Потрепал за ухо и погрозил пальцем! Вот так. А нынешние перед всем миром на брюхе ползают.

— Да, — сказал Иван Михайлович и вздохнул.

— Он и в старости был — ого-го! Помню, в сорок восьмом... отставить! — в сорок девятом году он к нам в полк приезжал. Инспекция была, по нашему округу, а наш полк был образцовым. Он с этой инспекцией и приехал — захотелось, наверное, тряхнуть стариной. Приезжают. Ну, собрался комсостав, стоим по ниточке в штабе... а Климент Ефремович оглядел нас и говорит: ну, говорит, товарищи офице-ры! —

в голосе Петра Васильевича пробился металл, — а кто из вас, говорит, с утра водку пьет? Все растерялись, молчат... — Петр Васильевич усмехнулся, от глаз на виски веером побежали морщины. — А был у нас такой зампотех, Марченко... хороший мужик, боевой. «Разрешите, говорит, — товарищ Маршал Советского Союза! Я пью!» Ворошилов так поворачивается к нему... все замерли... «Ну, — говорит, — молодец! Принесите-ка нам с товарищем майором по стаканчику водки». Принесли. Ворошилов с нашим Марченко чокнулся — и выпил. Вмах!

Иван Михайлович посмеялся. Петр Васильевич погрустнел.

— Ты представляешь, Ваня, если бы сейчас — Иосифа Виссарионовича? Да все эти чубайсы от одного его взгляда попадали бы... — Петр Васильевич посмотрел на Сталина и выпрямил ослабшую спину. — Да что взгляда, ему только голову повернуть. Сорок лет как ушел, только тогда по-настоящему перестали бояться. Оболгали страну, вождя, народ. Ни за что, мол, сажали. Что я, не знаю, кого сажали? После революции, после гражданской мало врагов осталось? К тому же весь мир был против нас, все хотели нас задушить. Мы были одни! — против всего мира. И выстояли! Одни! А кого ни за что посадили — Сталин был виноват? Сталин должен был каждое дело читать? Пока сажают, кто-то всегда будет ни за что сидеть. Или сейчас мало зазря сидят? Ну... ладно. Наливай, Иван.

Иван Михайлович разлил и первым взял рюмку.

— Теперь за тебя, Петр Васильич.

— Нечего за меня пить, — отрезал Петр Васильевич.

— Нет, ты как хочешь, а я за тебя выпью, — решительно сказал Иван Михайлович. Он уже был влажен и красен. — Ты мне жизнь спас.

— Ну, вспомнил...

— А я никогда и не забывал, Петр Васильич. Твое здоровье... ваше здоровье, товарищ подполковник! То есть... — Иван Михайлович погрустнел, и глаза его посмотрели куда-то вдаль, — ...товарищ лейтенант...

Петр Васильевич с не очень довольным видом взял свою рюмку.

— Твое, товарищ боец... ну вот, еще вставать! Отставить!

Они чокнулись, выпили, закусили... Теперь сидели молча, в тишине — слышно было часы. Во дворе вдруг взвыла метель. Иван Михайлович оглянулся и посмотрел на окно, за которым ничего не было видно.

— Да-а... Как вспомнишь... на снегу, тулупов нет, перчатку снимаешь — пальцы к винтовке липнут... И как это мы могли, Петр Васильич?

— Молодые были, Ваня.

— А ведь ты мне тогда старым казался, Петр Васильич. Тебе ведь уже тридцать было, а мне девятнадцать. Подумать только — девятнадцать!..

«А ведь я тебя тогда чуть не застрелил, — вдруг ясно подумал — вспомнил — Петр Васильевич. — Ты это понял тогда или нет? Навер-

ное, нет. Вас недавно прислали, и ты побежал. Я ору «назад!», а вы бежите. Я не выстрелил в тебя, потому что ты в последний момент упал. Наверное, споткнулся. Я выстрелил в кого-то другого». Вслух он — споря с кем-то, может быть, с этим кем-то другим, в которого он выстрелили пятьдесят лет назад, — сказал:

— На войне уговорами не воюют.

Иван Михайлович вздохнул.

— Какие уж тут уговоры...

— И все-таки мы сломали его! — вдруг яростным шепотом воскликнул Петр Васильевич и стукнул костяным кулаком по столу. — Сломали, Иван! А почему? — Он торопливо, расставив острые локти, полез из-за стола. — Вот подожди, я тебе сейчас прочитаю...

Петр Васильевич подошел к книжным полкам — высокий, седой, уже даже не седой, а с выцветшими до полупрозрачности волосами, в форменных брюках с колом стоящими складками и кителе, висевшем на нем как на вешалке, — и вернулся с маленькой, тоже бесцветной от старости книжкой, в изломанном переплете,.без корешка.

— Наливай, Иван.

Иван Михайлович налил. Петр Васильевич надел очки и раскрыл книжку на первой странице.

Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?
Ты должен слышать нас, мы это знаем.
Не мать, не сына в этот грозный час,
Тебя мы самым первым вспоминаем...

Петр Васильевич читал медленно, его голос был хрипл и слаб, но в его ушах он звучал как могучий, раскатистый баритон Левитана.

И если в этот день мы не рядами
По праздничным шагаем площадям,
А пробивая путь себе штыками,
Ползем вперед по снегу и камням, —

Пускай Информбюро включает в сводку,
Что нынче, лишних слов не говоря,
Свой штык врагу втыкая молча в глотку,
Мы отмечаем праздник Октября...

Петр Васильевич посмотрел на Сталина — и голос его загремел.

Мы знаем, что еще на площадь выйдем,
Добыв победу собственной рукой.
Мы знаем, что еще тебя увидим
Над праздничной народною рекой.

Как наше счастье, мы увидим снова
Твою шинель солдатской простоты...

Петр Васильевич остановился, поднял блестящие, подрагивающие глаза — и, задыхаясь, кривящимся ртом прошептал:

...Твои родные,
после битв суровых,
немного
постаревшие
черты...

Иван Михайлович сидел не шевелясь. В окно, завывая, ломилась метель — метель сорок первого года.

— Ну, Иван! — окрепшим голосом сказал Петр Васильевич, дрожащей рукой поднимая рюмку. — За Родину! За — Сталина!..

.....

Часа через полтора Иван Михайлович, огрузнув, засобирался домой. Петр Васильевич его не удерживал: он сильно устал. От этой усталости даже после выпитой водки на душе у него было не покойно, тепло, как еще несколько лет назад, а тоже как-то устало. Старики обнялись, Иван Михайлович ушел, и Петр Васильевич закрыл за ним дверь. Замок громко щелкнул — как выстрелил. И хотя Петр Васильевич давно уже был один, сейчас он остро — необычайно остро для своих притупленных старостью ощущений — почувствовал это: что он остался один — надолго, до 9 Мая, до Дня Победы, когда Иван Михайлович снова придет к нему и они поедут в Парк Горького — и будут как всегда искать свой двести четырнадцатый полк, который до сих пор еще ни разу не находили. А после 9 Мая он опять будет один, до следующего 21 декабря, — потому что на Октябрьские Иван Михайлович почему-то не приезжал. Один, совсем один... Нет, не один — со Сталиным.

.....

«А ведь ты меня тогда — помнишь? — чуть не убил, — думал Иван Михайлович, медленно спускаясь по узкой и грязной лестнице. — Я как увидел пистолет, сразу упал. А на Днепре ты меня спас... — На повороте Ивана Михайловича качнуло, и он крепче ухватился за поручень. — Нюра опять будет ругаться... А как не пойти? Ведь у него никого нет... никого, кроме этого людоеда на стене. *Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас...* А стихи и вправду хорошие».

2001

Дед и внук

Ранний вечер, конец сентября. Дед и внук гуляют по старинному парку Покровское-Стрешнево.

Они идут по безлюдной алее мимо желтеющих черемух и ярко-желтых берез. Шероховатые, белые с черными оспинами стволы чередуют-

ся с шелковистыми, красно-бурыми, цвета темного янтаря. За ними на прорезанных каменистыми тропками нежно-зеленых лужайках разбросаны голубовато-серые иглистые купы шаровидных ракит. Впереди тремя зеркальными, разделенными узким перешейком овалами поблескивают пруды, подернутые у берегов красно-желтой рябью опавших листьев. За прудами многоцветной, приглушенных, мягких тонов грядой поднимается лес. Уходящее солнце уже смотрит искоса и длинными розовыми мазками тонирует струнно вытянутые стволы корабельных сосен. Посреди еще темной, сумрачной зелени лип и дубов оранжево пламенеют одиночные клены и полупрозрачной, как будто тающей желтью светятся лиственницы. На солнце тепло, но от цепочки по-осеннему неподвижных, стеклянно застывших прудов даже без ветра тянет сырой прохладой.

— Деда, а расскажи, как ловят слонов?

Деду лет семьдесят; это высокий, белоснежно-седой старик, с мягкими глубоко-морщинистыми щеками и расплывшимся носом, несколько похожий лицом на сову: после удаления возрастных катаракт он носит сильно увеличивающие очки, в которых глаза его кажутся вдвое больше обычного. На нем серая фетровая шляпа, серый же реглановый плащ, темно-синие шерстяные спортивные брюки со штрипками и черные полуботинки с металлическими окантовками дырочек для шнурков и пристроченными носками. Шляпа и плащ не только старомодны, но и очень стары, хотя и тщательно вычищены; старые ботинки назвать старомодными нельзя, потому что сшиты они без всякой претензии на моду: лет пятнадцать назад такие стоили восемь или десять рублей. В широком плаще и узких спортивных брюках дед несколько комически тонконог, но держится он с достоинством: у него прямая спина и, можно сказать, начальственный постанов головы, — и вообще как-то чувствуется, что причина его недостаточности в одежде — не бедность, а безотносительная стариковская бережливость: в конце концов, он на прогулке... Внуку лет семь; он худенький, белобрысый, голубоглазый, с острыми оттопыренными ушами, на вид болезненный, но очень живой: то юлит, приплясывая, змейкой между деревьями, то описывает около деда круги. Одет он в темно-синий переливчатый комбинезон с ядовито-желтой нерусской надписью на спине и кажущиеся громадными на его тонких ногах толстопятые, белые с черными валиками кроссовки: эти вещи и дорого стоят, и их трудно достать...

— Деда, а расскажи, как ловят слонов.

— Слонов? — охотно откликается дед — и враз теряет свою представительную осанку и даже как будто ростом становится ниже. — Ну, слушай. Слонов, Ванечка, ловят так...

Эту историю дед рассказывал уже несколько раз — но внуку хочется слушать еще и еще, а деду — еще и еще рассказывать. Он не знает, действительно ли именно так ловят слонов; он повторяет лишь то, что

лет шестьдесят назад рассказывал ему его дед, когда они гуляли с ним в Таврическом саду в Петербурге... нет, тогда уже, наверное, Петрограде.

— Собирается много индусов и роют большую глубокую яму...

Внук идет рядом с дедом, поминутно взглядывая на него снизу вверх.

— Потом...

— А какую большую, деда?

— Ну-у-у... вот как от этой скамейки до той березы.

Внук отбегает к обочине и становится посередине между скамейкою и березой. Ему интересно: слоновая история рассказывается в разных местах, и поэтому всякий раз он роет яму на новом месте. Дед тоже останавливается.

— А сколько здесь метров?

— Здесь... метров пять.

Внук вертит головой от скамейки к березе и обратно. Немного подумав, дед говорит:

— Это, Ванечка, называется диаметр. Линия... э-э-э, прямая, которая проходит через центр круга, называется ди-а-метр.

— Ди-а... а какая глубокая? Глубже меня?

Дед помаргивает огромными в сильных очках глазами и озабоченно хмурится.

— Так не совсем правильно говорить. Не глубже, а...

— Выше?

— Нет, не выше... — Дед в раздумье жует губами. — Надо сказать так... так: глубина ямы больше моего роста.

— Твоего?

— И моего тоже, но я просто говорю, как надо говорить: глубина ямы больше... и, если ты говоришь о себе, то — моего роста.

— А как больше? — Внук ничего не понял в этих «моего», «твоего», но это не важно.

— Раза в четыре больше. Вот как это дерево. Это ива, Ванечка. Запомни — ива.

— Ладно. А это сколько метров?

— Метра четыре. Да — а ты помнишь, что такое метр?

— Помню. Давай дальше, деда.

Но дед скрепя сердце неумолим.

— Сейчас. У взрослого человека метр — это примерно от середины груди до конца вытянутой руки. А если развести обе руки, то между ними будет два метра.

Дед останавливается, прикладывает одну руку к солнечному сплетению, а другую отводит в сторону. Шедшая за ним и в этот момент начавшая обходить его женщина — дебелая тетка с прической-башней и в распираемом телесами плаще — налетает мясистым подбородком на руку деда, отшатывается и с ненавистью уставляется на него.

— Поаккуратнее можно?!!

Внук хихикает. Дед вздрагивает, недовольно смотрит на тетку — при этом он похож уже не на сову, а на ее грозного старшего брата филина, — и сухо говорит:

— Извините.

Тетка не ответив уходит, бормоча что-то себе под нос.

— Глупая тетя, — говорит внук, чувствуя, что своим поведением тетя обидела деда. — У нее нет мозгов.

Дед страшно доволен, но... Несколько секунд он борется с собою, потом говорит:

— Так не очень хорошо говорить, Ванечка. Тетя не глупая... она просто, наверное, куда-то спешит.

— Поспешишь, людей насмешишь, — говорит внук. Это дедова поговорка. Дед совершенно тает — от улыбки щеки его собираются складками, как сдвинутые гармоньи мехи. — Ну давай дальше, деда!

— Значит, индусы роют большую яму...

— А их много?

— Много.

— Сколько штук? Сто?

— Когда говорят о людях, Ванечка, то говорят не штук, а человек... или душ, — вспоминает дед старину — и тут же в этом раскаивается. Сейчас внук спросит: почему душ? Что такое душа? — дед торопливо думает и почти сразу же понимает, что не сможет ответить. Но внуку, к счастью, не до души.

— Сколько человек, деда? Двадцать?

— Да, человек двадцать, — соглашается дед. Он говорит и видит перед собою индусов: смуглолицые, маслиноглазые, в белых одеждах, они идут по золотисто-зеленой опушке джунглей и что-то поют. К нему в министерство несколько раз приезжали индусы, — но они были в костюмах и галстуках, говорили о прокатных станах и плавильных печах, их даже называли не индусами, а индийцами — и он их не запомнил; его индусы были на памятной ему с детства гравюре из «Жизни животных» Вагнера: вожаки слона, на которого прыгнул тигр, — и отчасти героями бесчисленных фильмов Раджа Капура, которые они с Берточкой каждый год смотрели в санатории в Ессентуках... Внук же никогда не видел индусов — и для него это черно-синие губастые добродушные негры, которых иногда показывают по телевизору.

— Яму роют там, где слоны часто ходят, — например, по дороге на водопой...

— А слон может много выпить?

— Много. — Дед задумывается. Лошадь может выпить ведро — а слон?.. — Я думаю, несколько ведер, но точно не знаю. Надо посмотреть в книге.

— Ладно. Давай дальше.

Внук плохо читает и не любит читать, и это огорчает деда. Недавно он в сердцах сказал дочери, что выбросит телевизор, — что он не позволит калечить ребенка, что не та мать, которая родила, а та, которая воспитала, что... и т.д. Дочь сказала, что ей уже тридцать шесть, что она без пяти минут кандидат наук («вот именно, что без пяти, — съязвил дед. — Уже десять лет без пяти минут») и что она сама разберется, как воспитывать сына. «Ты уже разобралась, когда вышла замуж за этого негодяя, — сказал дед. — На всю жизнь разобралась, и за себя, и за Ванечку». Дочь сказала... эх!..

— Яму накрывают ветками и травой, чтобы ее не было видно. Слон идет и проваливается...

— Ему больно?

— М-м-м... да нет. — Слону конечно же больно — шутка ли, с его весом упасть с такой высоты. — На дно ямы тоже кладут ветки и траву, — сочиняет дед. — Чтобы слон не ушибся.

Они идут по перешейку между прудов. Дорога редко обсажена невысокими, но кряжистыми рябинами; рябины так густо усыпаны ягодами, что каждое дерево похоже на огромную алую мелкозерную гроздь. Ближняя половина пруда отражает небо, дальняя — лес; вода там блестяще-черная, как растопленный вар, пестро крапленная опавшими листьями. Глядя на это сочетание цветов — блестящий черный, желтый, красный, оранжевый, — дед вспоминает федоскинские лаковые миниатюры... Он останавливается.

— Посмотри, Ванечка, как красиво.

Внук тоже останавливается и некоторое время, часто кивая и роя землю ногой, смотрит на пруд.

— Красиво... — Он сто раз видел этот пруд и не понимает, что в нем красивого — тем более такого красивого, что надо бросать слонов, останавливаться и смотреть. Красивы игрушечные солдатики, пистолеты, машины... а пруд? — Рассказывай дальше, деда. Слон упал в яму...

— Слон падает в яму, — говорит немного расстроенный дед. Ваня совершенно равнодушен к природе — бегает, как будто ничего не видя вокруг... ну да не беда: наверное, он еще маленький. — Слон сильно пугается и встает на дыбы...

— Как это — на дыбы?

— ...то есть на задние ноги («Разве я в прошлый раз не говорил «на дыбы»?») Слон поднимается на дыбы, хлопает ушами...

— Кричит?

— Кричит, страшно кричит. Ревет.

— Громче, чем поезд?

— Громче. Так громко, что рядом невозможно стоять.

Внук затихает. В двух шагах от него тяжело прыгает огромный, как грузовая машина, рассерженный слон: размахивает толстым, как дере-

во, хоботом, кричит, как товарный поезд (ничего более громкого Ваня не слышал и потому представить себе не может), рвется наверх... Дед тоже видит слона, но его слон то ли стар, то ли слаб: он не ревет и не встает на дыбы, а только жалобно и тихо — тише коровы — мычит, глядя на деда снизу верх испуганными глазами...

— Деда, а если он выскочит?

— Не выскочит. Яма глубокая.

— А если выскочит? — Внук подпрыгивает от сладкого волнения и умоляюще смотрит на деда. — Ну... изо всех сил выскочит?!

— Если выскочит, надо бежать, — сдается дед. — Слон очень сердит.

Хотя дедов слон не сердит, он не хочет грешить против истины.

— А он меня догонит?

— Догонит, Ванечка. Слоны очень быстро бегают.

— И что?!

Дед в некотором замешательстве: в прошлые разы вопрос о бегстве слона не вставал. Слон, конечно, раздавит человека или разорвет его хоботом, но вот об этом ни к чему говорить.

— Убьет?

— Да нет, не убьет, — поспешно говорит дед. Ужасно, что даже для семилетнего мальчика «убить» — обычное слово... А кто виноват? Вчера во дворе женщина била дочку, крича: «Убью, зараза!». Ваня спросил: «А что, она правда ее убьет?» — Слон вообще добродушное животное. Он скорее всего убежит.

— Ну, а если все-таки... набежит?

— Ну... тогда он возьмет индуса хоботом и забросит в кусты.

— И все?

— Индус может сломать себе руку или ногу и попадет в больницу, — добавляет дед. Если выставить слона совсем безобидным, Ванечке будет неинтересно. Кроме того, это опять же не соответствует истине, а истина... в большинстве случаев — превыше всего. Эту сентенцию дед произносит мысленно — еще не отрешась от воспитательных целей. — Но слон не выскочит, Ванечка. Индусы умеют ловить слонов.

«А сталь варить не умеют», — машинально думает дед. В Джамшедпуре сожгли конвертер и теперь пытаются доказать, что он не соответствовал техническим требованиям. Как говорит Гальперин, «будут дела-а...» Дед работает начальником главка в министерстве черной металлургии; это большая должность, дальше идет замминистра. Дед уже стар и чувствует свою старость; его почти полувековая самозабвенная увлеченность работой в последнее время — особенно после удаления катаракт — все больше превращается в обременительную, а иногда и просто тягостную обязанность. Он знает, что другого уже давно выпроводили бы на пенсию, а его держат потому, что таких специалистов, как он, единицы (но даже при мысли об этом он уже не испытывает прежней гор-

дости); он сам — хотя на это безумно трудно решиться: ломается, кончается жизнь — ушел бы на пенсию... но как он может уйти? Вся семья на нем; он один получает в два раза больше, чем Берточкина пенсия и Настин оклад; у Вани обнаружилось какое-то постоянное напряжение в ножке, ему нужен массаж, а сеанс массажа стоит десять рублей и никто не знает, сколько таких сеансов может понадобиться для полного выздоровления... Как он уйдет?

— ...деда! Деда!

— Да-да... Так вот: слон сидит в яме. Теперь его надо — что? Его надо, во-первых, приручить, а во-вторых — вытащить из ямы.

— Краном!

Дед идет, полязгивая подковками на каблуках.

— У индусов нет кранов, Ванечка... по крайней мере, у наших индусов нет. Если бы у них были краны, они бы не ловили слонов. Ведь слоны им нужны как раз для того, чтобы поднимать и переносить тяжести.

— А может сказать другому... домашнему слону, чтобы он вытащил дикого из ямы.

Дед счастлив. Какой семилетний мальчик додумается до этого? Он вспоминает, как Зинченко, поиграв с Ваней в конструктор, сказал: «Гениальный ребенок!» Кстати... пора заканчивать эту бодягу и ставить Зинченко на бесхозный отдел. И.о. там совершенно не тянет, а здесь и человек порядочный, и специалист хороший... И Насте он, кажется, понравился — чем черт не шутит? Жалко ее...

— Слоном вытащить можно, но ведь тот, в яме, — ты, Ванечка, правильно сказал — дикий. Он вылезет из ямы и убежит.

Внук думает; дед ему не мешает. Внук помнит, что делают индусы, — но это всегда кажется ему очень долгим, а ему хочется скорее, сейчас. Слона можно вытащить и грузовиком, и самолетом, но он все равно будет диким и убежит...

— Ну ладно, давай, как индусы.

— Индусы делают так. Сначала они целый день не кормят слона. (Дед помнит, что его дед говорил — «несколько дней», но ему не хочется, из нравственных соображений, так долго мучить животное.) Слон проголодается, и на следующий день ему дают поесть. Кормят его ветками с большими сочными листьями.

— Сочными?

— Сочными — в которых много сока. Сочный апельсин, сочный... сочная трава, сочные листья. Слон ест и испытывает чувство благодарности к тому, кто его кормит.

— А листья вкусные?

— Для человека невкусные, а для слона вкусные. Слоны травоядные. Животные, которые едят растения, называются травоядными.

Они входят в парк — и за ними как будто закрывается дверь: мир погружается в тишину. Широкая вытоптанная тропа ребрится далеко выступающими корнями. С двух сторон поднимаются на тридцатиметровую высоту необхватные сосны с черепитчатой, потемневшей от прожитых лет корой; за ними сумрачно зеленеет орешник и пронизанные ветвями раскидистые кроны лип и дубов. Изредка пофыркивают крыльями одиночные птицы. Мягко, едва уловимо пахнет смолой.

— Индусы кормят слона толстыми ветками. Слон съедает листья, а ветки бросает под ноги. С каждым днем слой веток на дне становится все толще и толще — дно как бы поднимается, и слон вместе с ним. Через неделю он уже выглядывает из ямы, через две — уже наполовину возвышается над землей... При этом он все больше и больше привязывается к людям, которые его кормят.

Навстречу идет интеллигентного вида мужчина в больших очках и с бородкой и почему-то в повязанном вокруг шеи женским платке. Рядом с ним пружинисто вышагивает огромная, рыжая с черными подпалинами овчарка. Внук видит добродушную большую собаку, дед — непредсказуемого и опасного зверя. Незадолго перед войной Берточку укусила собака, и пришлось делать сорок уколов в живот. С тех пор дед не любит и боится собак; он берет внука за руку и заслоняет его собою... Овчарка и ее хозяин в платке проходят.

— Наконец наступает день, когда слон сам выбирается из ямы. Он уже совершенно ручной. Индусы кормят его, а слон работает: вырывает с корнем деревья, таскает бревна, перевозит людей...

Внук тихо идет рядом с дедом. Как всегда, ему грустно, что ловля слонов закончена. Деду тоже немного грустно. Сейчас они идут по мягкой от слежавшихся листьев кленовой аллее; на расстоянии деревья сливаются, и она похожа на оранжево-желтый, с голубым потолком коридор. Внук приседает (для того, чтобы просто нагнуться, в нем слишком много энергии) и поднимает кленовый лист — огромный в его маленькой ручке.

— Деда, а когда папа приедет?

— Не знаю. Наверное, скоро, — говорит дед и вполне естественно хочет добавить: «Его уже давно не было», — но вовремя спохватывается. — Скоро приедет, Ванечка.

— Он мне обещал такую картинку... складывается из кусочков, знаешь?

— Знаю. Если обещал, обязательно привезет.

В прошлый раз зять обещал конструктор, но то ли потратился, как он сказал, на живописные принадлежности, то ли (что вернее) пропился, и приехал с пустыми руками. Дед сам купил в «Детском мире» конструктор и отдал зятю; тот брать не хотел (гордый — за счет ребенка), но дед настоял: ты же обещал сыну! Ничтожный человечишка,

эгоист... свободный, видите ли, художник. Он не хочет писать на заказ рабочих для заводского дома культуры — он выше этого. Директор требует, чтобы рабочий на картине был красив и здоров, а зятю хочется писать опухших уродов. Он не может работать по указке, без вдохновения, он должен быть независим, потому что поденщина убивает талант, талант — это крылья, а у него они связаны — это его слова... Герой! А я на собрании делал доклад к семидесятилетию Брежнева — из-за чего? Из-за денег, из-за карьеры? А в тридцать седьмом правотроцкисты оговорили себя — потому что были слабы? Вы бы, нынешние, были так же слабы — дядя Сэм давно бы лежал на лопатках. Из-за жен и детей, вот из-за чего... Я делал доклад, потому что на мне семья, а по возрасту мне уже давно пора быть на пенсии. Ты свободный художник? — хорошо! очень хорошо — кто же против свободы? но тогда будь свободен до конца — живи один, не трогай людей! Не морочь голову девушкам, не ломай им жизнь, не рожай детей, которых ты не можешь и не хочешь кормить и к которым ты равнодушен. Когда Ванечке резали аденоиды, ты не приехал — потому что должен был быть на какой-то подвальной выставке, иначе тебя посчитали бы трусом. Кто посчитал бы? Сорокалетние мальчики, такие же самовлюбленные ничтожества, как и ты, играющие в борцов за свободу в наши игрушечные времена. Я в тридцать лет был главным инженером завода и работал как вол — ради дела, семьи, страны... работал, зная, что меня каждую ночь могу арестовать! А ты, освободившись от всех, получаешь за свои дежурства в котельной такие гроши, что Настя даже не берет с тебя алименты — ей жалко и стыдно брать у тебя двадцать рублей. Ей стыдно, а тебе нет... да и не в этом дело! Ты к сыну приезжаешь несколько раз в год! Черт с тобой, — по мне, так ты вообще бы не приезжал, — но ведь он по тебе скучает! День рождения у него был, мальчики пришли, один спрашивает: «А твой папа где? Ванечка растерялся — так растерялся, что говорит: «Не знаю...» — а потом вышел в соседнюю комнату и заплакал...

Дед не сразу осознает, что его глаза налились слезами — одна капля срывается и убегает в морщину, — достает платок, с треском сморкается и, заведя его под очки, промокает нижние веки. Внук бросает лист и говорит, глядя в землю:

— Деда, а папа плохой?

— Что ты, что ты, — пугается дед. — Почему ты решил?

— Мама по телефону говорила.

— Папа хороший... — Дед говорит это машинально, безо всякого убеждения, — чувствует это и дальше продолжает почти горячо: — Папа не плохой, папа художник. Ни у кого из твоих приятелей нет папы-художника. Он... необыкновенный человек, у него талант.

— Талант?

— Талант — это... когда человек может сделать то, что другие не могут. Например, папа может тебя нарисовать... — Он прикусывает язык, но видит, что уже поздно. Старый дурак.

— А почему он меня не рисует?

«Потому что мерзавец», — зло и горько думает дед.

— Нарисует... — Тут к нему приходит, кажется, хорошая мысль: он быстро оглядывает ее, чтобы вновь не попасть впросак, ничего предосудительного не находит — и говорит: — А ты его сам попроси. Он давно собирается.

— Ладно.

«Если Ваня попросит, он нарисует, — думает дед. — Не знаю, как сейчас, но раньше он хорошо рисовал. Он, конечно же, не мерзавец... ну, какой он мерзавец? Просто свихнувшийся на своем якобы призвании человек. Ходит в обносках, ест неизвестно что, худой, бледный, эта дикая борода... к тому же еще и пьет...» Дед незаметно вздыхает. В конце концов, без этого человека не было бы и Ванечки. Умом дед понимает, что тогда Настя вышла бы за Алексея и родила бы другого Ванечку, которого он бы так же любил; но чувство этой любви он представить себе не может — и потому опять же умом он равнодушен к тому другому, неродившемуся... Ванечке. То был бы вовсе не Ванечка.

— Деда!!!

Внук стрелой срывается с места и расплескивая листья как воду несется в лес.

— Мышка! Мышка!..

Дед спешит за ним, радуясь и его радости, и окончанию нелегкого разговора. Внук с размаху падает на коленки у подножия старого клена и торопливо, по-собачьи, разрывает огненно-желтую, рыхлую, влажно поблескивающую листву.

— Вот ее норка, деда, она сюда убежала!

Дед, кряхтя, садится на корточки. Колени его громко хрустят, и левое пронзает знакомая боль. Дед не был на фронте — его оставили при заводе, — но во время эвакуации их эшелон разбомбили, и деду перебило осколком ногу. Тридцать лет нога не болела и заболела лишь несколько лет назад — и уже, наверное, до конца... Внук поднимает веточку и опасливо, вытянутой рукой, сует ее в мглистое отверстие норки. Деда сначала удивляет и немного огорчает его робость, но потом он понимает: для метрового внука мышь — не такое уж и маленькое животное.

— Деда, а ты можешь ее поймать? Как шмеля?

Летом дед часто ловит внуку шмелей. Один раз шмель его ужалил.

— Нет, Ванечка. Она очень быстро бегает.

— А как слона? В яму? — говорит внук и смеется — тоненько, подвизгивая и всхлипывая. Дед тоже смеется — как будто мелко покашливает.

Они возвращаются на дорогу. После сидения на корточках дед заметно хромает. Небо в створе оранжевых стен розовеет — солнце уже садится. Стволы деревьев наливаются сажевой чернотой. Дед берет внука за холодную, влажную после возни с опавшими листьями руку.

— Пора домой, Ванечка.

Они идут, держась за руки и подлаживаясь к шагу друг друга: внук ступает слишком широко, а дед семенит.

— Деда, а ты мне еще когда-нибудь расскажешь, как ловят слонов?

— Конечно, расскажу, — говорит дед. — Обязательно.

.....

Проходит пятнадцать лет. В стране *перестройка.* Рушится старая власть. Внук возвращается с демонстрации (в Вильнюсе власть применила силу, погибли люди) и с порога злобно кричит:

— Это такие, как ты!.. коммунисты проклятые, погубили Россию!

Дед поднимает голову и смотрит на внука. Деде уже очень стар. Внук высокий, красивый, чужой. Далеко позади него, на золотисто-зеленой опушке джунглей, индусы с белых одеждах ловят слонов.

УЗНАВАЙ СВОЮ ИСТИНУ САМ

1

Ненормальная зима,
Нестареющее лето.
На рябине закрома
Умирающего цвета.

Спотыкаясь, мы бредем,
О лингвистике судачим.
Вперемежку снег с дождем,
Все назло богатым дачам.

В зябких цыпках лапы лип,
Свет московского предместья.
Мокрый ком к пальто прилип,
Снег и дождь на прежнем месте.

Может, просто отдохнем,
Постоим под фонарями...
Вот подъезд соседний. В нем
Кошки рыщут дикарями.

2

Былое изваянье
Слезами потекло.
Тревожное сиянье,
Прозрачное стекло.
Застывшая без знака
Водица на бегу,
И черная собака
На мартовском снегу.

Надежда БОЛТЯНСКАЯ — родилась в 1963 г. в Москве. Окончила Московский инженерно-строительный институт. Автор книг «В осколках погибающих зеркал», «Я из породы длиннокрылых», «Пьяная ртуть», а также ряда публикаций в литературных журналах и антологиях. Живет в Москве.

Сварился воздух душный,
Не радует окно.
Бессонный, равнодушный,
Так было решено,
Сливается воскресный
Беспроигрышный день.
Рассказ неинтересный —
Какая дребедень!

Беззлобно и безлично
Прохожие молчат,
И даже безразлично,
Что воду отключат.
Пора начать сначала
Обычный скучный бег.
Собака убежала,
И грязен серый снег.

3

Панды в угольных очках,
Уголок китайской драмы.
Морды в мягких облачках,
Фон древесной панорамы.

Каждый гибок и упрям —
Перероcток и старуха.
Дела нет таким зверям
До тоскливой жажды слуха.

Благодатна Сычуань,
Беспокоен кто-то с краю.
Где проходит нежно грань
Между «нет» и «да»? Не знаю.

4

Буря на Солнце — шорох, дыханье,
Друзы сугробов, тропка крутая.
Яркого неба свет, полыханье.
Духом бензинным в ноздри влетая,

Мчатся машины с утренним жаром.
Я вас люблю, грузины с цветами,
Бабушки с легким, теплым товаром,
Тем, что связали-сшили вы сами.

Я родилась из ребрышка мужа,
Может, из недр недоброй больницы.
Хруст под ногами — льдистая лужа,
Яростный взлет растрепанной птицы.

5

Год лошадей иссиня-вороных
Рождает слабый, вымученный стих.
Замерзшие цветы кричат о свете,
Пожары, снег и войны на планете.

Горят сто ватт. Мой труженик уснул.
Как слабый фон, далекой стройки гул.
Красотка улыбается с обложки.
На суетной душе скребутся кошки.

Заплакать что ль? Гордыня без конца.
Подайте ж лошадь с красного крыльца!
Не вялую, не клячу, не больную —
Ту самую, иссиня-вороную.

6

Темнеет. В окне изваянье
Холодной, ленивой луны.
Легко оцени начертанье
Иероглифа давней страны.

Тревожны торшера свеченье
И локонов черный пасьянс.
Почти нереально влеченье —
Земли и тумана альянс.

Огня и пыльцы сочетанье,
Гвоздики пылают, как встарь.
Предчувствие, запах, желанье...
Зажги свой заветный фонарь.

Как на первом снегу
Откровенно плясали вороны,
Серых крыльев размах,
Все отделано белой каймой.
Ты поверь, я не лгу,
Облетели ветвистые кроны,
Только ива впотьмах
Обернулась сухой бахромой.

Умудренно сидят
Академики птичьего царства,
Что до них голубям,
Пестрым, белым и сизым глупцам.
Верещат и галдят,
Предваряя мороз и мытарства.
Между мусорных ям
Узнавай свою истину сам...

2000 –2002

ИСТОРИЯ МОЕГО БЕЗДЕЛЬЯ

Манифест. Анализ. Жалобная книга.

Маленький роман

Оставьте меня девственником!
Восклицание друга моего детства

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ

Начинается просто:

Однажды мне пришлось писать короткую автобиографию для одного журнала. Я долго мучился, придумывал, вертел немногочисленные скучные факты и так и эдак, стараясь, чтобы вышло поинтереснее.

Поглядев на мои страдания, редактор сказала мне: да вы не там стараетесь. Нам нужно коротко и ясно: родился там-то, учился там-то, работал там-то и там-то. Всё! А если уж вам так хочется романтики, то напишите для нас рассказ «Моя трудовая биография», например. Там и придумывайте, что хотите. Гонорар опять же получите...

Я сначала подумал: ерунда какая-то. Какая еще трудовая биография, я уже лет пять, как вообще нигде не работаю...

И забыл об этом.

Но через несколько дней в голове моей появились неопределенные мысли.

Трудовая биография... Ведь это важно... По статистике, человек треть жизни проводит на работе... Потому что сказано — в поте лица своего... Но ведь — птицы небесные... Голуби например, или орлы... Какие орлы?.. А раньше за тунеядство вообще сажали... Все деньги, деньги все... Но с другой стороны, кушать-то тоже надо...

В результате у меня стала получаться довольно странная вещь, буквально — *Трудовая книжка*, а по сути, что-то вроде *Моей борьбы*, моей *Майн кампф*, или *Чеми брадзола*, если, например, по-грузински, что согласитесь, хотя бы звучит как-то поприличнее.

Правда, в отличие от рационально-педантичных (даже в истерике и борьбе) немцев или экспансивно-печальных грузин, вечно колеблю-

---

Слава СЕРГЕЕВ — родился в Москве. Закончил МИНХ и ГП им. И.М.-Губкина, четыре курса учился в Литературном институте им. А.М. Горького. До 1994 г. работал геологом в системе Академии наук СССР и России. Печатался в журналах «Дружба народов», «Огонек», «Новое литературное обозрение», «Континент». Живет в Москве.

щихся между Российской империей и отнюдь уже не блистательной Портой, моя борьба была борьбой по Сен-Симону, Кампанелле и Фурье, а значит, была борьбой специфически российской, сугубо национальной, а учитывая якобы выяснившуюся недавно русскую антибуржуазность, я бы даже сказал, что она носила отчетливо социал-демократический характер...

Именно борьба, потому что на каждом своем рабочем месте я, как говорили раньше, не отлынивал, не увиливал по мелочам, соглашаясь в главном. Нет, оглядываясь назад, я понимаю, что я боролся — боролся в принципе, боролся с самой необходимостью *работать*! И проскочив пунктиром пару сотен или минимум несколько десятков страниц обстоятельных рассуждений на эту тему, коротко укажу.

Поскольку основоположники еще давно выяснили, что печальная необходимость трудиться присуща вовсе не тому замечательному обществу, в котором мы жили каких-нибудь 10 — 15 лет назад (не принимать же всерьез милый, домашний камуфляж типа лозунгов «Слава труду»), то моя «брадзола» была «Брадзолой» именно с большой буквы. Ведь получается, что я, несмотря на все демонстрации под трехцветными знаменами, на все перестроечные слезы над Сахаровым и Солженицыным, несмотря на все голосования и бессонные ночи в августе 91-го и октябре 93-го, я всегда был... красным. Настоящим красным, куда краснее бедных, брошенных на произвол судьбы дедушек и бабушек с флагами и транспарантами, которых иногда показывают по телевизору.

Извините за выражение, но мировоззренчески я, видимо, нахожусь где-то рядом с господами Кропоткиным и Бакуниным, а может быть, и еще левее, так как так же, как и они, страдая от социальной несправедливости, целыми днями лежу на кровати в пальто.

Кстати, вы чувствуете сколько скрытой, грозной, лесной силы в этом с виду бессильном, якобы депрессивном, псевдообломовском лежании?!.

То-то.

Да... И ведь что получается, выходит, что я боролся с поднимавшим голову Капиталом еще в те далекие, благополучные годы!.. И даже больше, развивая с сегодняшних христианских позиций, как дальний родственник мой Иаков, — я боролся с несправедливым устройством жизни...

Потому что, если подумать, то подавляющее большинство людей работает зачем? Чтобы, грубо говоря, кушать самим и кормить семью. То есть чтобы есть. И все.

— И все?! — можно воскликнуть, если быть очень наивным или очень молодым человеком.

— Ну да.

— Нет, я не согласен..

Об этом и написана моя книга.

Итак, уточним название:

История *моего,* а как хотелось бы *вообще* — начиная с древних греков, Сократ, Антисфен, софисты, потом Возрождение, Средние века, Город Солнца, Просвещение — грандиозно... Но — не потяну, недообразован, да и, главное, — лень, может быть, потом. Так что:

История *моего* Безделья
(манифест-анализ)

или

Моя трудовая биография
(жалобная книга)

Но так как и этого мало (а как же Сен-Симон?), то и:

Моя борьба с несправедливым устройством жизни

Не меньше.

А теперь слушайте.

МАНИФЕСТ

Все спрашивают: что делать? И никто не спросит: зачем?

И. Гончаров. Обломов

Порывшись в ящике стола, где у меня свалена всякая мелочь из прошлых лет, я извлекаю на свет зеленую книжечку с гербом бывшей РСФСР и лаконичной надписью:

«Трудовая Книжка». Еще совсем недавно, после паспорта и партбилета (у кого он, конечно, был) это был третий документ по степени, что ли, важности... Важности чего?

Я перелистал ее в кухне, за вечерним чаем, и задумался, грустно подперевшись рукой, глядя на занесенную снегом улицу и постукивая не зажженной сигаретой по столу.

Банально воскликну: всего несколько записей!

Целая жизнь трепетала предо мной.

Впрочем, если быть точным — часть. Часть жизни. И четыре записи.

Реформа 1991-го года прекратила это безобразие. Впрочем, лично меня уволили из последней, самой тихой, самой безобидной конторы, где я, как раньше говорили, числился (был числом, не имеющим рода и лица, так?..), аж в 94-м или 95-м году, терпели мое полное, стопроцен-

тное отсутствие еще три или четыре года — вот какова была благословенная инерция системы.

Правда, и денег, разумеется, тоже не платили, но, насколько я понимаю, суть *работы* не в этом, да?

Суть *работы* — в работе...

До сих пор жалею, что перестал туда ходить слишком рано, продержаться бы еще года полтора, когда даже высокое академическое начальство поняло, что так жить нельзя и практически официально разрешило сотрудникам «забить» на основную деятельность, — тихо сидел бы там до сих пор... Как известный в институте прохиндей — семью давно перевез в Канаду, гениально использовав московские цены на московское жилье (особенно их пик в 96-м году) или, скорее, московские цены на жилье и практически обменяв трехкомнатную квартиру у метро Кропоткинская на двухэтажный коттедж с участком в зеленом пригороде Оттавы... Разумеется, с видом на жительство — а сам *делает бабки* здесь, организовав какое-то ЧП или ООО и исправно приходя в институт за зарплатой младшего научного сотрудника... ЧП... Раньше это переводили как «чрезвычайное происшествие»...

Долго не мог понять, зачем ему какие-то 25 долларов? Потом понял:

Потому что не в деньгах дело. Потому что: *мало ли что* ...

Пишу, разумеется, завидуя, и думаю: а я почему так не сделал?.. В смысле коттедж, Оттава, пригород? Кстати, мне лично больше нравится Монреаль, хоть я и не был там, просто по названию... В этом МонРеале на московские деньги можно еще и маленький книжный магазинчик организовать... Магазин «Достоевский» — как вам название? Или лучше «Лев Толстой»? С баром. Как в Москве.

Тогда бы было действительно «как»... Почему не сделал?

Почему — почему ... Побоялся. Проклятая инерция — побоялся все так круто менять.

Но ведь увы, простите за четырежды банальность — иногда-то надо. Я имею в виду *вообще,* не обязательно всем немедленно ехать в Канаду. Можно в США. Хотя бы из соображений *безопасности*, что ли... Чтобы, если что — сесть на двуместный спортивный самолет где-нибудь в Ленинградской — Белгородской — Витебской — Камчатской области или пешком перейти по льду Финского залива.

Столько времени и сил потратил на фигню, на десяти-, на двадцатикопеечные дела! а в Оттаву — ни-ни... Даже в виде шутки не думал. Ни ногой. Патриот...

А может, всё потому, что ваш покорный слуга, как, впрочем, и все мы, просто обнаглел за годы работы в благополучной академической лавочке, годы, совпавшие с перестройкой и началом ельцинского правления, перестав, перестав прислушиваться к шорохам в кустах и забыв, как оно бывает?...

А бывает-то оно — сами знаете, ох, по-разному.

Сейчас расскажу, как было у меня. Ведь я же «писатель». А писатель о ком пишет?

О себе.

Впрочем, я, кажется, забежал вперед — начав с последней записи в трудовой книжке (Институт Исследования Кое-Чего АН СССР). Хотя в принципе можно, конечно, двигаться и так, пятясь назад, спускаясь, как кто там — Вергилий или Данте? — по ступеням родного советского ада, вглядываясь во все густеющий мрак, пока не замечу неясного света, неведомо откуда исходящего, то ли из преисподней, то ли, наоборот, из Рая, из детства, откуда же еще... А может быть, проще, где-то между — из одного тяжелого декабрьского утра, когда ваш покорный слуга, не набрав проходного балла в Институт Электроники и Автоматики и опасаясь армейского призыва, еще затемно вышел из родного дома, направляясь на свою первую работу, на другой конец города и зеленой линии метро, на окраину, на секретный военный завод за каменным забором, где сотрудникам некоторых производств давали освобождение от армии?..

Года через два-три, чуточку поумнев, я спрашивал себя, почему я, как принято говорить, *гуманитарий*, не пошел в институт попроще и не было бы этой гонки, этого бега маленького интеллигентного зайчика по родному московскому лесу: метро Варшавская (работа) — метро Университет (репетитор по математике) — метро Беляево (репетитор по физике) — домой заниматься (метро Динамо) — от сразу двух чужих и совсем не игрушечных волков — военкомата и грохочущего железного цеха (кажется, слесарного), через который мне приходилось проходить каждое утро, идя в свой относительно тихий радиотехнический (белые халаты, столы и даже фикусы у больших окон).

Вот пошел бы, например, в известный своей непрестижностью Институт инженеров транспорта или Станкостроения (с-танко-строения-б-р-р...) и ничего бы этого не было...

Не было бы знакомства с мрачноватой изнаночкой внешне благополучной жизни: ведь я учился в Центре, в школе на Маяковке, где первые хипари, вопреки всем запретам, отращивали хаэр до плеч и ходили сидеть под памятник Пушкину и в переход — «трубу» у гостиницы «Националь», где ваш покорный слуга вместе с друзьями-одноклассниками часто ходил на полуподпольные концерты рок-групп «Машина времени» и «Воскресение» во Дворцах пионеров (опять сегодняшние соображения: если полуподпольные, то как же во Дворцах пионеров? Может полуразрешенные?), где были сейшены с импортными магнитофонами SONY в дизайне «металлик» и первые девочки в джинсах...

Еще играл в футбол вместо уроков, пил портвейн «Агдам» (гадость), потихоньку курил, почитывал книжки, то есть, представляете...

О, безопасная брежневская фронда!..

Представляете, все так хорошо, и вдруг раз! — вам исполняется 17 лет (так сказать, лицейский возраст), и вместо стихов: у вашего друга папа — генерал, и в армию ему, разумеется, не идти (пусть не врут, кто говорит, что, мол, романтическое было время, цинизм был вполне на сегодняшнем уровне!..) А у вас папа — кандидат наук, и вам, разумеется, идти, и более того, в военкомате, мельком взглянув на ваш рост, но не заглядывая в нежную душу, быстренько записывают вас в десантные войска... Кстати: другой ваш друг, у которого папа тоже не генерал, в эту армию спустя некоторое время таки попадет, в танковые войска, в Казахстан, и его родители два года будут замирать от страха: а не пошлют ли сына в братский Афганистан? То есть два года будут играть с родным государством в популярную детскую игру «морской бой» на родного сына — «мимо»? или «попал»?..

Этого не было бы. А что — было бы?

А был бы обычный молодой расп..дяй — инженер «с гуманитарным уклоном», кропающий стишки а ля Бродский и попивающий болгарское красное винцо в компании живописцев из Архитектурного института и женящийся в первый раз, например, на талантливой девочке-художнице из этой же компании.

Но — не вышло... не получается, увы и ах, не получается плюнуть на всё, на что можно и нельзя, не получается *быть свободным*, ибо запомните — нет на самом деле разницы, если вы имеете счастье или несчастье — все равно — с детства быть любителем этого самого искусства ничегонеделания, нет разницы — Институт инженеров транспорта, электроники или рыбного хозяйства. Поэтому от несвободы своей, вероятно, и поперся в напичканный по крышу математикой и физикой Институт электроники, а потом на опытное военное производство, всякую дрянь изготовлять для защиты дела мира во всем мире, для друзей из Ливии или Гвинеи-Бисау. Просто так отсрочку от СА не давали же.

Впрочем, слишком много слов, я же говорю — вся моя трудовая биография, а лучше ее идеология, как и у многих борцов за народное счастье, может уместиться в два предложения:

— Что-о, *работать*?! Не хочу.

Вот в этой, как говорят философы, антиномии или, простите мне мою безграмотность, словесном магните-диалоге (можно так сказать?), или, согласно первоисточнику, диалектическом единстве и, как упомянуто выше, борьбе и проходила вся моя сознательная жизнь.

Итак, в принципе вам уже все понятно, работать я не хотел и, скажу вам, сегодня мало что изменилось в этом смысле:

— Не хочу.

Просто с годами конформизм и всевозможные обязательства стали брать верх, и сегодня на коварное предложение: «Эй, старичок, тут есть для тебя одна работенка!..» — я, конечно, уже не смогу напрямую послать предлагающего куда подальше, а прибегну к иезуитской тактике отговорок и проволочек типа:

— Да? Хм... вообще-то я сейчас очень занят... А что такое-то... и что, много заплатят?

И это вместо того, чтобы четко и ясно, с праведным гневом и даже пафосом, гордо подняв голову, бросить в лицо всем:

— Ни-ког-да!

— Ни за что!

— Ни за какие деньги!..

А вообще, по большому счету и секрету, я вам скажу: эх, меня бы туда, в этот райский сад, где прародительнице предложили яблоко (а что, — знающие люди говорят или я где-то читал, что в Библии есть косвенные намеки на существование в те далекие времена *еще каких-то племен,*— может, кроманьонцев?..)...

Так вот, если бы я был там, то выскочил бы заросший весь волосами и со скошенным лбом из-за цветущих кущ, выхватил у перепуганной Евы проклятое яблоко и умчался, оглашая прозрачный горный воздух пронзительными криками, куда-нибудь вдаль, к эдемской границе и там, на границе, среди мрачных скал, пугливо оглядевшись, закинул бы его изо всех обезьяньих сил в темнеющие далеко внизу земные долы и веси...

Или «веси» не отсюда*?* Неважно... Только бы не выгоняли...Чтобы того... В поте лица... Только бы оставили. ТАК ПРОСТО — БЫТЬ...

Но — что теперь сетовать? Историю-то, как говорится, не переделаешь.

Так что открываем зеленую книжку. «Трудовую», если кто забыл.

Сжимаются кулаки и помимо воли наворачиваются слезы, автор в линялой гимнастерке и бескозырке при всех орденах отдает честь полощущемуся на ветру несуществующему флагу:

— Рот фронт!.. Но — пасаран!..

1. ИЗ ЗАПИСИ ПЕРВОЙ: ЮНОСТЬ МАКСИМА

Об этом я уже кратко говорил чуть выше, но ввиду большой важности для понимания происхождения (или есть еще одно хорошее греческое слово — *генезиса,* даже, быть может, *гнозиса* — вот, Гнозиса Моего Безделья) обращусь к этому важному периоду еще раз.

(Уже представляете себе телестудию, стол, букет цветов, сексапильную блондинку — ведущую и меня с бородой Фиделя и в революционной бескозырке? Если да, то поехали дальше...).

Должен вам сказать, дорогие мои, биография моя началась на редкость удачно для политического деятеля.

Как у нормального премьер-министра или даже президента.

То есть очень тяжело для обыкновенного интеллигентного человека.

— Простым рабочим.

Занавес, в зрительном зале гаснет свет, слышны женские крики...

Ибо, опуская теряющиеся в счастливом тумане детство и отрочество, какие-то невыученные уроки и записи красными чернилами в дневнике (опять прогулял урок труда!) — (sic! труда!), перейдем сразу к юности, к этой удивительной поре созревания, когда многие нынешние юноши и девушки уже ведут половую жизнь с соученицами, соучениками и даже в Интернете, с какими-то виртуальными улитками, не особо задумываясь о том, как все это хорошо и замечательно. И, более того, делают это как-то походя, мельком, попутно занимаясь самообразованием, аэробикой и еще какой-нибудь интересной работой, вроде торговли недвижимостью или, например, распространения зет-кард в столичных аэропортах и ресторанах.

Зет-кард, если кто не знает (поделюсь своей осведомленностью), это такая симпатичная картонная гармошечка, которую, если сложить, то получится очень смешная лошадка или морской конек, как известно, в профиль напоминающие букву z (отсюда и название карты). А на страничках этой лошадки — цветные фото и масса всякой полезной информации типа где в Москве лучше всего обменять большую партию валюты или пообедать бизнес-ланч в пределах $ 50. Но самый смех и, можно сказать, изюминка всей этой затеи в том, что полстранички рекламы в лошадке стоят 5 тысяч долларов (а одна строчка — 600) и, если вы продаете заинтересованной организации или частному лицу (а что, может кому-нибудь надо) энное количество строчек, то получаете 10% комиссионных, что составляет...

Впрочем, вы, я думаю и сами посчитаете.

И на этом деле, как мне рассказывал один знакомый молодой человек, можно сделать хорошую карьеру и сильно продвинуться аж до генерального директора или топ-менеджера...

Или топ-директора? Забыл...

И вас еще направят на стажировку в Амстердам.

А разве мы могли, воскликну я вслед за тысячами других восклицающих, горько плача вслед за тысячами других плачущих, даже мечтать о половой жизни с соученицами?.. Не говоря уже о поездке в Амстердам...

Да вы что?!

Поцелуй и максимум, *максимум* — грудь, и то, если очень-очень попросите, после трех гуляний *просто так,* а все, что ниже, — война, война безжалостная и беспощадная, как за освобождение родной земли, в которой вы медленно, пядь за пядью продвигались к цели, к центру

Сталинграда и прочее... Если кому не лень, может заняться продолжением сего метафорически — психоаналитического бреда и ряда ...

В своих ханжеских и милых 70-х мы мечтали об учительнице физики, 29-летней тете (сегодняшняя вставка: *майн Готт! 29 лет! О моя молодость!..),* прислонявшейся, когда у нее было хорошее настроение, к вам грудью, а если очень хорошее — животом. Она делала вид, что объясняет вам задачу, ну, а у вас, у вас, естественно, стучало, нет, лучше, торжественно пело, гремело, громыхало в ушах, голове, а где-то рядом звучали трубы и все плыло перед глазами...

А вы говорите Амстердам... — эх, жаль, нельзя часто пользоваться, так сказать, заветной лексикой, цензура все равно всё вырежет — а то бы я воспользовался... Сколько раз говорили и все равно повторю:

— Какой Амстердам, когда в солнечно-вшивую Болгарию отпускали только по комсомольской рекомендации!..

Нынешним холодно-весело-независимым молодым господам в подержанных, а часто даже и новых дорогих заграничных авто и не понять, как можно годами ездить в недружелюбную Прибалтику, где вам спокойно могли в любой момент нахамить аборигены, и там, среди остатков старого города и русского архитектурного модерна начала века, сидя *в кафе* (!) *с чашечкой кофе* (!!) *и газетой* (!!!) — ничего подобного ведь не было даже в Москве, — представлять себя то ли Лениным-Солженицыным в Цюрихе, то ли Хемингуэем на Кубе, а может быть даже и болгарским разведчиком—коммунистом в тылу врага (в Париже) из знаменитого тогда шпионского сериала «Что может быть лучше плохой погоды ».

Помните?

«Мне не нужны солнце и белые облака. Оставь мне лучше дождь и туман, что может быть лучше плохой погоды»...

Эх! Да что там говорить... Помню, отлично помню, в какой простотаки экстаз впал автор, услышав в кафе в Риге, кажется, на улице Кришана Барона (о эта музыка иностранных названий!..), году, кажется, в 80—м, как вошедший мужчина в спортивном костюме сказал барменше (!) за стойкой (!!) — волшебные слова из мифологического словаря — МНЕ КАК ВСЕГДА (!!!)...

О, это была песня для нас, бедных... — «как всегда»... Что там мелькнуло, за кадром: Париж, снова Хемингуэй, Джейкоб Барнс и леди Эшли, Темные аллеи и Белые акации, Генри и Джун, кинофильм «Бег», полковник Чарнота, анонимно-вездесущее «мне рюмочку «перно», пожалуйста...»

«Мне — как всегда» Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось!..

Так о чем я говорил?..

Ах да, «простым рабочим».

Простым рабочим, но — еще раз — на секретном советском заводе, дающем освобождение от армии. Еще один сюжетный зигзаг и отвлечение.

Путь в сверкающую белизной и фикусами спецлабораторию был неисповедим и проходил, как ни странно, через знаменитое в прошлом кафе «Марс», что было на Тверской у «Националя», через его еще более знаменитый, можно сказать, прославленный, «красный» бар на 2-м этаже. Ваш покорный слуга просидел там весь свой 10-й класс, когда надо было готовиться в институт, вместе с сыном знаменитой театральной художницы, которому — старая песня — готовиться в институт было не надо, его, сына-то, и так туда брали (первый муж у художницы, как и было положено в 60-е, был суперсекретным физиком-лауреатом). Ну а мы, дети выбившихся из нищеты кандидатов наук, советских середнячков, мы сидели там на свой страх и риск, не слыша тревожных гудков приближающихся армейских призывов, сжимая в кулаке заветные 2 рубля — *на коктейли...*

О, эта музыка, если кто помнит:
«Шампань-коблер»
«Столичный»
«Коньячный-дипломат»
Рубль 98
рубль 95
два 03...

Последние цифры, впрочем, помню плохо, возможно ошибаюсь, слишком крепко... Я предпочитал легкую «Шампань». Инфантилизм, конечно, — за сиротскую венгерскую вишенку или сливку на дне. Наворачиваются слезы и сжимаются кулаки — но за что?.. Кого винить?.. И все равно — ах гады, гады, комсомольские, брежневские гады...

И тут же почему-то вспоминаются картинки из альбома китайского художника Ци Бай Ши: «Мышка в клетке с куском сыра», от которых почему-то щемило сердце и, уже совсем ни к селу ни к городу, Хокусаи, покрытые голубыми ирисами сопки с высоты птичьего полета, «Дорога к священной горе Эдо», плоды нынешних полуночных бдений. К чему я это вспомнил?.. Я так понимаю, в смысле «не надо никого винить...»

Но и слез, слез тоже не надо, и мазохистски-ностальгических вскрикиваний не надо, просто просидел в «Марсе» всю зиму и весну последнего школьного года, и даже июнь и июль, когда упоминавшиеся выше военкоматские гудки превратились в пожарные сирены, когда надо, надо было наконец спохватится и хоть что-нибудь посмотреть в учебниках — но не спохватился и не посмотрел и — не добрал двух баллов до проходного в Институт радиоэлектроники и автоматики...

Двух — и то ничего.

Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела.

Кстати, тут недавно возникал вопрос «зачем» — зачем, мол, поступал туда? Так я вспомнил еще одну тогдашнюю причину, видимо, по ассоциации с «шампань-коблер...»

Разумеется, я не хотел конструировать не видимые на радарах подводные лодки и нашпиговывать электроникой баллистические ракеты, наш ответ Чемберлену: дать сдачи по Гринич-Вилледжу, Пикадилли, Елисейским полям, ответим Чемберлену — Чингисханом... Боже упаси, я лишь намеревался собирать безобидные донные станции — исследовать дно мирового океана, его рельеф, понимаете, составлять морские карты, всего лишь, а потом (о это «потом»!), *исследовав*, заходить на отдых и для пополнения запасов пресной воды в ближайшие порты.

А ближайшие порты — это, извините (не идти же за водой обратно во Владивосток или Новороссийск), и Перт, и Сингапур, и Порт-Саид и Сан-Паулу...

А?!

Поняли теперь?! Голь на выдумки хитра...

Но, увы, не набрал баллов.

По знакомству, о это сладкое советское слово: *знакомство* и эти сладкие, а ля Достоевский, унижения...

Мама искала *знакомых*, находила не очень близких, не очень влиятельных — кандидаты, ассистенты при кафедрах, один старший преподаватель — в общем, мелочь, такая же пузатая советская мелочь, как и мы, которые, разумеется, мало чем могли, только говорить: что же вы раньше не сказали, на экзаменах, до экзаменов, до — до экзаменов; мы бы поговорили, мы бы попросили, мы бы все устроили тогда...

В результате меня взяли на заочный, но, что самое интересное, туда взяли бы и так, на это баллов хватало и без просьб.

Помню какую-то бесконечную дорогу мимо каких-то складов и заборов, институт находился в рабочем районе, на Электрозаводской, серый день, середина сентября, холодает, все уже в плащах, и с какой-то маминой знакомой, у которой свой знакомый, а у того свой кто-то работает в этом институте — кажется, тот самый *старший преподаватель,* «высокий чин», идем *поговорить.*

Наконец пришли, зачем так долго шли — непонятно, можно было две остановки проехать на трамвае от метро, знакомая не знала(?) — улыбки, ничего не значащий разговор *на лестнице,* может быть, можно *как-нибудь?..* — Нет, что вы?! Сейчас можно только на заочный, но ведь это можно и так, — пожатие плеч... — да? Ну, может быть, тогда *потом,* если хорошо сдаст первую сессию, на одни пятерки, а с дневного кто-то вылетит, тогда будет можно перевестись...

Никогда ничего не просите, никогда! Не унижайтесь, не потому, что достоинство (какое), не потому, что сами принесут (кто? или когда —

через 20 лет?), нет — просто бесполезно. Кто может дать — извините за дурной каламбур, даст и так, без просьб.

Да-да, все это хорошо, этика, мораль, эстетика, но надо было что-то делать, хоть я родился и летом, но все равно могли взять, забрить, захомутать в родную СА, в Советскую Армию, а оттуда в страшный Афганистан, на китайскую границу к хунвейбинам, в Сибирь на щи на воде — до следующего лета и следующих спасительных экзаменов в какой-нибудь институт...

И я уже узнавал, как подмешивать кровь в мочу, как косить «под дурака» в Кащенко, запоминая, слушал рассказы бывалых людей и, запомнив, понял:

— Не смогу.

У мамы был институтский знакомый, даже друг со студенческих времен, хороший мужик, он работал на секретном заводе, на опытном производстве, еврей, как когда-то говорили, — помните? — России верные жиды... Он предложил устроить, на его опытном военном производстве давали отсрочку, и я согласился.

И пошел в радиомонтажники. Есть такая профессия. Диоды паять.

Здесь надо бы сделать хороший пропуск или паузу, а лучше музыкальную паузу, чтобы вы, дорогие мои, почувствовали, что почувствовал я, попав из школы за гостиницей «Минск», что на бывшей улице Горького, *где детки начальников* фарцевали под парадной лестницей жвачкой и чуть попиленной джинсой, где на уроке родной литературы под рассказы о Николае Островском сосед по парте Матвей Л. читал под партой полузапрещенного Пастернака, а у меня, человека совершенно среднего, на видном месте, на книжной полке с родительской дефицитной серией «Всемирная литература» стояла подаренная маме коллегой из Югославии синяя Ахматова в «Библиотеке поэта» и польская перепечатка знаменитой «Смок он зе вотер» группы «Дип пепл», не говоря уже об ансамбле «Абба» и родном социалистическом «Локомотиве ГТ»...

— Чадаев, помнишь ли былое?

— Помню.

— Та-ра-ра-та, та-ра-ра, ра...

А если помнишь, то вообрази, то вообрази-те, что почувствовал ваш покорный слуга, попав из этого милого, как фирменный лейбл на советских валютных джинсах «Тверь», местечка на режимное предприятие знаменитого Минсредмаша (стыдливая штатская аббревиатура военного министерства, то есть турникет, первый отдел, колючка на заборе, подписка даже не о невыезде, *о неразглашении)* Железными буквами: если кто-либо поинтересуется у вас, какого рода продукцию выпускает ваше предприятие, вы обязаны, немедленно поставить в известность об этом ...иначе... статья № ... и № ... и №

...И, напоминаю, напоминаю, дорогие мои, все это в пяти остановках на троллейбусе от метро Варшавская и эври дэй — к 8.15 утра.

Можно было сразу заплакать, что я и сделал в 9.45, во время первого же *рабочего перерыва*, заперши фанерную дверь сортирной кабинки...

Я стоял и беззвучно! (чтобы, бл..., никто не услышал) плакал над потрескавшимся и почерневшим от времени и слез предыдущих поэтов унитазом, в этом жутком заводском клозете; было только отчаяние и страх, горько плакал... — но вскоре (еще даже не кончился перерыв), как ни странно, перестал, видно, поняв — слезами делу не поможешь.

А дальше произошло чудо.

Тот молодой расп..дяй, что какой-нибудь месяц назад сидел в баре «Марс» и тянул через пластмассовую трубочку «Шампань-коблер» под звуки оркестра Джеймса Ласта, — он исчез, испарился, стал маленьким-маленьким и спрятался в книге Голсуорси «Сага о Форсайтах», которую я читал после провала в институт Электроники перед сном для успокоения нервов — так как что может быть для успокоения нервов лучше классического романа?..

Вместо него появился другой — подтянутый, собранный, скромный, исполнительный, затаившийся до времени, похожий на молодого клерка, делающего карьеру в своем банке из самых низов, или спортсмена из далекой-далекой провинции, собравшегося побить сверкающий столичный рекорд.

Я даже перестал опаздывать... Само собой.

2. ПРОДОЛЖЕНИЕ: РОДНОЙ ЗАВОД

После работы наш герой поехал прямо домой. Чуть задержался на получасовую прогулку в ближайшей к метро аллее. Дома сел за письменный стол, столь нелюбимый прежде, и на карманном календаре тщательно подсчитал, сколько дней, не считая праздников и выходных, остается до июля месяца, когда в вузах начинаются вступительные экзамены. Подсчитал и зачеркнул первый, крест-накрест, зеленой (цвет жизни!) ручкой — минус один!..

После этого взял нелюбимый же — но прежде, прежде! — математический задачник Сканави и опять подсчитал по оглавлению, сколько там задач. Разделил второе на первое и — ау, кафе «Марс», ау, коктейль «Столичный», ау, вечерние огни Тверской — этим же вечером прорешал (и не сквозь зубы, не через «не хочу», а с освободительной радостью — вот как!..) получившуюся ежедневную норму по теме «логарифмы». Причем каждый пример, повторяю, решался любовно, не торопясь, можно сказать, осматривая со всех сторон и сдувая каждую пылинку, вникая во все мелочи, чуть ли не медитируя!.. Ведь он был

пусть маленькой, неровной, осыпающейся, но ступенькой на пути, ведущем из морозной мглы, метро, толпящихся в холодном троллейбусе злых невыспавшихся людей, турникета, глотающего пропуска и (напрашивающаяся метафора) выплевывающего их — тьфу! — обратно вместе с вами в конце длинного, бесконечно длинного рабочего дня...

Да, видимо, я был в таком экстазе, таком отчаянии и тоске, что в один из первых же моих рабочих дней Бог сжалился надо мной и послал подарок — 25 сиреневых советских рублей (честное слово, не вру!), немалая по тем временам сумма... Я нашел ее на снегу у метро, по пути с работы, странно, что никто не видел яркой бумажки, народу было много. Может быть, без шуток, это был *знак*? Что мое раскаяние принято?..

Кстати, еще одно доказательство этому, только сейчас вспомнил.

Ведь это было в день аванса, которого мне на работе не дали, поскольку я недавно пришел и бухгалтерия не успела что-то там оформить...

Странно, да? Совпадение.

Потому что, Господь, мне кажется, должен любить усердие, а я никогда, ни до той поры, ни, увы, по сей день после, не был столь усерден.

А знаете почему? Примитивный ответ...

Дело даже не в страхе перед «армией». Просто я решил всерьез побороться за свое право сидеть на высоком вертящемся стуле в маленьком баре в конце улицы Горького, у красной стойки на 2-м этаже и, покачивая ногой в такт, слушать оркестр Джеймса Ласта или даже виа «Слейд»...

Сейчас много говорят о свободе, кто сопротивлялся «Совку», кто нет... Я, я сопротивлялся! И я тоже! Сидение в баре — это была моя маленькая свобода, мой резистанс, моя борьба, мой Остров, моей Свободы ...

А может, мое Виши, это зависит, конечно, с какой стороны посмотреть.

И все же провал с путешествиями в Южные моря кое-чему меня научил. Я стал умнее и решил никогда больше не демонстрировать свое диссидентство, свою — лень или свободу? — открыто. Тем более в нашей трудолюбивой, как пчелка, стране. Тем более тогда, в ее трудолюбивом сердце, чуть ли не в Официальном Храме Труда — рабочем цеху.

Как мне показалось, игра стоила свеч. Сначала немного потрудиться, чтобы потом вволю побездельничать. Последнее сначала в институте — 5, или даже 6 лет, а потом — потом перед моим мысленным взором вставали тихие коридоры нашего научно-исследовательского корпуса, на взгляд из бездн опытного производства — просто-таки Килиманджаро безделья.

После окончания института (о, теперь я поумнел: любого... — какая разница?!) я видел себя дипломированным специалистом — *в лаборатории*... Столы, приборы (компьютеров тогда еще не было), мяг-

кие стулья, чайник или даже (в зависимости от степени либерализма начальства) — кофейная турка на подоконнике и то, чего никогда не было даже в нашем, считавшемся белой костью, радиоцехе...

Удивительная тишина.

Как будто никого нет... Слышны шаги на том конце покрытого ковровой дорожкой коридора, негромко произнесенная фраза, хлопок закрываемой двери, солнце полосами стоит на натертом полу — и все, опять тихо. В такой тишине, думалось мне по дороге в нашу грохочущую опытно-производственную преисподнюю, в такой тишине, в отсутствии начальника, можно что-нибудь даже и *почитать* украдкой, спрятавшись за осциллограф: кто там разберет издали, что ты читаешь... Например, Фолкнера, «Реквием по монахине», тогда только вышло в «Иностранке». Этакий молодой Сахаров на полигоне Новая Земля. Или лучше Оппенгеймер в Лос-Аламосе...

Сахаров...

Оппенгеймер...

А по вечерам иногда, после работы, у красной стойки — виа «Слейд»...

Забегая немного вперед, мудро-иронически усмехнусь: какое разочарование ждало меня впереди! Я был просто потрясающе, просто ох..тельно наивен. Мечтая, как тогда говорили, *поступить* и тем самым элементарно спастись от армии, я нарисовал себе Бог знает какие райские кущи... Этакий советский Йель, Башня из слоновой кости, Красный Оксфорд, ё-мое.

Ваш покорный слуга где? Например, в парке «Динамо», с книгой, на скамейке, пора убирания клумб, время — часа два-три дня, горы срезанных настурций, желтая листва... Редкое посещение лекций лучших профессоров и сладкая домашняя дрема до полудня... Короче, юный марксист на парижских набережных.

Наивный идиот!

— Позвольте спросить: а курсов молодого бойца на базе своего вуза вы не хотели бы, дорогой сэр?!

Наверху (или внизу), видимо, прекрасно понимали: студенчество, «социально активный класс», «прослойка», «пока сердца для чести живы», остановка «Сенатская площадь», следующая — «Тянь ань Мэнь».

Потому что тотчас после вожделенного «поступления» пошло— поехало...

О, это поступление — это отдельная песня... Острый маятник, качавшийся так близко, что был слышен уже его свист, уже отчетливо пахло казарменным потом, казалось бы, подняли... но тут же закрыли в новой камере, просто попросторнее.

Перечислю, так сказать, обязательные процедуры.

Комсомольские собрания через день, овощная база по субботам, обязательная «общественная работа» минимум раз в неделю, еженедель-

ное же 2-3-часовое радение в актовом зале. (Кстати, какие «акты»? Точно половые...) Чтобы не могли головы поднять!

Тематика радений могла быть самой разной — от торжественного барабана 7 ноября до безуспешных заклинаний китайских агрессоров во Вьетнаме в 80-м году. И — плюс ко всему (для меня самое страшное): жестокая борьба за стопроцентную посещаемость. Вплоть (в — плоть, чувствуете острие?) до лишения стипендии... Это «до лишения стипендии» висело над нами все 5 лет. До сих пор (сколько времени прошло!) холодеет в груди при этих словах — 40 советских рэ были внушительной по тем временам суммой...

Пидор-староста отмечал всех отсутствующих (просить было бесполезно, смотрел честными глазами: «да меня самого проверяют»...), после определенного числа пропусков шли вызовы в деканат:

— Почему не были?!

Объяснения типа — плохой преподаватель, неинтересно читает, не принимались, просто отметались со смехом: мало ли что *вам* не нравится, сидите! Или — невинный взгляд — уходите!.. Типа: вы уходите на набережную Темзы ... Но я всё равно пропускал наиболее тоскливые часы и особенно первые пары — опять к 8.30, за что боролись! — иногда читал книжки на больших собраниях (когда людей много, это не так видно) и обнаглел настолько, что не пошел на первую же, нет, каков нахал! — первую же Овощную базу...

3. Я ХОДИЛ!..

Здесь наша история приобретает черты настоящих военных мемуаров, так как после этого антиобщественного поступка в инстанциях наступило странное молчание.

Сперва староста меня спрашивал: ты почему не был?! потом вдруг отстал, я все ждал вызова в деканат, в комитет (сейчас долго не мог вспомнить, как это называлось, представляете, забыл?! а вспомнил и в очередной раз вздрогнул, слышите: КОМИТЕТ КОМСОМОЛА...), но ничего не было, все было тихо.

Теперь-то я понимаю, что со мной решили разобраться неформально (в стиле «коллектив — лучший воспитатель»), благо в нашей группе было много ребят с производства и так называемого рабфака... Но до сих пор не знаю точно, а было бы интересно узнать, было ли дальнейшее официальным решением, «спущенным сверху», или спонтанным волеизъявлением улья.

Развязка наступила недели через две.

— Ты почему не ходил?! Все ребята были!.. — спросил у меня после физкультуры некий комсомольский активист, ныне, как и положено комсомольскому активисту, проживающий в штате Мичиган, США, — ты почему не был, бля?! *Все же — были?!*

И тут я — один из немногочисленных, увы, случаев в моей жизни — вдруг заговорил *со всеми* на правильном языке (сам от себя не ожидал, честное слово):

— А пошли бы *вы все* — на х..! — отчеканил я, ужасаясь собственной смелости.

Или наглости?

Понимаю, что уморительно, невыносимо серьезен, но послушайте, пожалуйста, прошу Вас, послушайте, это очень важно для меня, маленького серого зайчика, сидящего в густой траве нашей жизни, в страхе, разочаровании и ненависти впередсмотрящего в телевизор, что все, слышите, ВСЕ — что на эту Овощебазу не пошли из группы в 25 человек только двое: я и еще одна девочка, куколка, беленькая мамина дочка с пушистыми белыми волосиками, но она «заболела», хитрюга, так что в общем она не в счет, — ЧТО ВСЕ ПОШЛИ, А Я НЕ ПОШЕЛ.

— Что-о-о?!

Позднее, курсе на 4-м, когда *всё* уже быльем поросло и все стали более или менее своими, и «коммунисты», и беспартийные как-то сильно выпили и активист вдруг признался — выдал служебную тайну: а мы хотели тебе п...ы — дать. И дали бы...

— Что же помешало? — удивился я.

— Если бы ты меня не послал.

Я снова удивился:

— Как это, — наверное, должно было быть наоборот?

— Ну, мы решили, что раз ты так хамишь, значит, за тобой кто-то есть...

Похоже, он до сих пор в это верил.

Позднее я читал нечто подобное в мемуарах диссидентов. Невероятно, но оказывается, дракона можно было взять на понт!..

А теперь, когда прошло уже пятнадцать лет, темница рухнула и частью устояла, а частью восстанавливается и даже архивы КГБ открылись, закрылись и снова закрылись, и многое тайное той поры стало явным, откроюсь и я, ибо вышли уже все сроки давности:

Я я ходил.

Я ходил на эту проклятую базу!

Но, видимо, так не хотел, так «ломало», ведь была суббота, вечер, осень — какая база!.. что опоздал к месту сбора и когда, наконец, в старой штормовке и сапогах (во видок-то был, да?.. бомж!) приехал на эту е..ную Варшавскую (опять то же место!), в центре зала, слава Богу, уже никого не было. Я походил немного по вестибюлю, а потом наверху вдоль каких-то гаражей и заборов, никого не нашел и с облегчением поехал домой...

По дороге вспомнил свое недавнее трудовое прошлое, подумал: а может, все-таки зря ушел с завода? Нас-то на базы не посылали, мы были *пролетариат, белая кость, священные животные*, нас не трогали, на базу гоняли только «интеллигенцию», совслужащих, об этом уже тысячу раз писали: способ показательной классовой порки, магическая инициация, уголовное опускание, радость и развлечение овощебазных ворюг из партии и народа...

А потом хотел взять справку, покаяться, что-то придумать — и поленился, не взял, вроде не трогали, и я плюнул — решил, что обо мне забыли.

И в результате невольно! Противопоставил себя.

Всем!

Потому что *у нас* — никто не забыт и ничто не забыто.

(Снова общий ужас в зрительном зале...)

1-е замечание по ходу

Дал тут почитать свои записи одной знакомой. Она прочла и говорит: интересно, конечно, очередная «Застойная летопись», но борьбы-то нет. Где борьба?

Я подумал: и правда. Надо борьбу. Расстроился.

А через пару недель перечитал еще и увидел: подруга — дура. Есть борьба! Но моя.

Заячья. Заячья борьба.

2-е замечание по ходу

Могут спросить: зачем я это все пишу? Что это? Терапия? Жалобы? Самоанализ? Сведение счетов, когда стало можно?

— Нет, это попытка освободится.

4. ИЗ ЗАПИСИ ВТОРОЙ: НАЧАЛО ПУТИ

На выпускном вечере в институте наш завкафедрой, неплохой в общем мужик, напутствуя нас на прощание и прокричав официальную часть, неожиданно сказал:

— Возможно, эти пять лет вы будете вспоминать как лучшие годы своей жизни.

И все последующее десятилетие, пока — три минуты на размышление — пока не кончился «Совок», работая в различных НИ-И и Кэ-Бэ, я вспоминал его слова.

Еще раз прошу, простите мне эту постоянно возникающую кондовую публицистичность, но дайте гвоздю — персонажу поэмы Маяковского «150 тысяч» (или «150 миллионов»? не помню...) выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке...

Какие слова?

— Оставьте нас в покое! — вот какие...

Закончили мы в июле или июне. После некоторых мытарств при распределении, счастливо избежав уже готовившейся принять молодого специалиста плавучей нефтяной платформы в Северном море (слышите, как шумит ветер в обледенелых снастях, как разбиваются волны о могучие сваи — колонны), я устроился в некий отраслевой НИИ, имевший один большой недостаток — он находился у московской кольцевой автодороги.

А может... Может, зря испугался? И несчастливо избежал? Как знать, было ли на 100 % романтической дурью наших родителей все эти Камчатки, новосибирские Академгородки, Хабаровски и Благовещенски, костры, байдарки, гитары, походы и прочее... От системы, конечно, не убежишь, но, ведь сказал Поэт: *лучше жить в глухой провинции у моря.* И потом слегка проветрить мозги, просто на пару лет сменить обстановку, пока молодой, было бы наверное даже полезно...

Но что теперь говорить — испугался.

Контора, где я должен был «отрабатывать» (было еще такое слово — «оттарабанить») свое распределение, занималась добычей и перепродажей — современная шутка — переработкой (помните эти заклинания? Уренгой! Помары! Ужгород!..) не то нефти, не то газа.

Эх, вот не помню, чего же я все-таки делал положенный месяц, а у меня хитреца как-то получилось целых два месяца последнего еще студенческого отпуска между дипломом и началом трудовой деятельности...

Наверное, поехал в свою любимую Прибалтику, в Ригу, на ихнее взморье и там занимался онанизмом, гуляя взад-вперед по песчаному а ля Мунк — в зеленых водорослях и валунах — берегу, читая дефицитного Бальмонта, выменянного в знаменитом рижском книгообмене на бывшей Ленина на еще более дефицитный том из московской серии «Зарубежный детектив», ругая перед консервативной (но очень сексуальной) подругой из Подмосковья советскую власть и убеждая себя, что *это все* — я имею в виду симпатичную подругу с короткой стрижкой, пляж в водорослях, аккуратненький чистый поселок, дом под островерхой крышей, в котором мы снимали комнату, магазин, в котором *всегда всё было (и даже масло!)* — уже на Западе.

Кстати, господа, поднимите руку, кто помнит, что в Москве, при Брежневе были перебои с этим продуктом? Ага, вижу, вот рука, и вот... Ну, тогда ладно...

Примечание

Недавно был в Прибалтике по делам. С неожиданным горьким консерватизмом скажу: как мы ошибались, никакой это не Запад... Или его глубокая, глухая, приграничная провинция. Типа какой нибудь Гал-

лии у римлян. Нас обманули, а точнее — мы, как всегда, обманывались сами, восторженные варвары, всегдашние закомплексованные завоеватели с Востока. Впрочем, это долгий разговор.

Вернемся лучше к нашим баранам, так как, может, и зря ругаю бедную *Балтию*, какая демократия может быть у границы с Драконом?.. У границы с Драконом надо ежедневно и аккуратно, как у Булгакова, проверять яйца в курятнике, чтобы не затесалось случайно какое-нибудь с пятнышками, *оттуда*...

А может никуда я в тот год не поехал и стриженая девочка из Подмосковья была годом позже, а просидел эти два месяца в пыльной и душной Москве, на квартире у *предыдущей*, коренной москвички, интеллигентки, художницы, своей тогдашней, не знаю, как сказать, с уважением к прошлому или цинично: любови или сожительницы?..

В общем, просидел у... *нее,* сочиняя по своему обыкновению не то рассказ, не то поэму, не то эссе — меморию, как сейчас, а скорее всего просто валяясь на диване с книжкой, которых там было предостаточно. Бабка у любови-сожительницы была видной советской писательницей и даже экс-лауреаткой Сталинской премии.

Не могу удержаться от того, чтобы не перечислить хотя бы несколько названий из библиотеки лауреатки.

Разумеется, там были не Ажаев и не «Кавалер Золотой звезды», эти книги лауреаты сочиняли для нас, а, например, дореволюционные, по-моему, издания товарищества «Марксъ» с ять — Толстой, Тургенев и Гончаров, в переплетах с золотым обрезом, с золотыми же буквами на обложках и шмуцтитулах, были многие книги дефицитной бухаринской Academia...

Был не просто дефицитный, а дефицитнейший, тогда недавно изданный Пруст, синий «Иосиф и его братья» Томаса Манна (также суперраритет...), была «Избранная проза немецких романтиков» и даже черный с зелеными звездами на корешке реакционный коллаборационист Гамсун.

Сокровища пещеры Монте-Кристо!..

Обломов, Обрыв, Накануне, Ася, Под сенью девушек в цвету, Голод, Виктория... — золотой фонд русской-мировой культуры-литературы... Эх, жаль, что за одно это перечисление названий никто не заплатит!

А ведь не каждый сейчас может так перечислять...

Так вот, читая, листая, пробуя пописывать, занимаясь три раза в день любовью с пышнотелой внучкой лауреатки, провалялся на диване до середины августа.

Лето красное пропела, оглянуться не успела. Как говорила подмосковная хозяйка, у которой мои родители в далеком отрочестве снимали дачу (она любила грибной суп и перед тем как бросить в кастрюлю

очередной очищенный от лесного мха, земли и еловых иголок подберезовик или белый грибочек, всегда приговаривала):

— Пожалте бриться.

— Ужас, да?..

— Пожалте.

В конце августа надо было идти договариваться, когда молодой специалист приступит к работе.

Ненавижу это слово — НАДО...

Каникулы кончились.

Еще два дня откладывал, пока было можно откладывать, потом позвонил — из дома сожительницы, с кухни, где так уютно кипел на электроплите модный в то время чешский стеклянный чайник и такой сундучок еще с полосатым матрасиком стоял у окна — чтобы полулежа, с книжкой, у окна, утром, этот чай пить ...

Здесь нарастание, так сказать, внутреннего визга, но это для меня, плебея, в третьем поколении привыкшего с утра, как заяц, бежать на работу, это визг (чайник энд диванчик), а для других — *нормально*, как иначе?!

Потому как, я уже сказал, бабка сожительницы знала толк в патрицианской утренней неге: за книги о колхозниках ей было высочайшим повелением даровано, даже нет, не даровано, — точнее будет все же *позволено* — с утра не вставать...

Позвонил по телефону, по-моему 531, точно не помню, но начинался с пятерки, то есть, по определению, позвонил куда-то в даль, разумеется, светлую, в Подмосковье, в ж..у какую-то полную позвонил часов в 12 дня и еще полусонный, с коричневым, с ледериновыми коронами Генри Джеймсом под мышкой, полулежа на сундучке, говорю:

— Але?..

А там бодрый, *деловой* (как я позже узнал, это было уже время обеда. *В 12!)* мужской голос:

— Да?

— Э-э-э, это вам звонит молодой специалист...

Тайный смысл ситуации: ты с книжкой, из центра, из сталинской высотки, полулежа, уютно — а все равно сюда звонишь. И скоро сможешь засунуть своего Генри Джеймса себе в задницу, дружок...

В общем, договорились, и через пару дней я поехал.

Хочу еще обратить ваше внимание, товарищи, на тот небезынтересный факт, что так называемая дорога на работу, как вам, наверное, хорошо известно, в те времена являлась началом веселого ежедневного каннибальского обряда под названием «рабочий день или, fuck yourself, дорогие товарищи...»

В моем случае это происходило следующим образом:

Сначала еще ничего, вступление, адажио и анданте — 15 минут пешком до метро, потом, воодушевляясь, центральная часть, аллегро — по-

чти 40 минут на метро, до конечной станции красной ветки, засыпая и просыпаясь, не проехать бы, потом, кантабиле, певуче — 20 минут на автобусе (сначала долго шли новые районы, потом кольцевая автодорога, потом какой-то пустырь, только потом моя (моя?!) остановка) и — фине, в конце — уже с тоской в сердце и бодрясь, твердо решая сделать вид, что с энтузиазмом молодого ученого... проблемы добычи... аспирантура... утешая себя тем что: это же не трудно... *многие так делали*... Ну, кто... Т.С. Элиот, например. Днем в банке, вечером у муз...

И из наших: Чехов, Гончаров...

Но... издали завидя серые пятиэтажные коробки *родного НИИ,* тут же сломался, решимость изображать энтузиазм улетучилась, а когда попал в жаркую стеклянную оранжерею — предбанник-вестибюль, где какая-то морда в форме (опять! Опять!), остановив меня у своего колченогого стола, строго приказала «*связаться по внутреннему телефону с лабораторией — пусть спустятся за вами!..*» (где же обещанная в институте научная вольница?!.), — тут уже готов был с плачем «дяденька отпустите!» броситься к ногам седоусого, похожего на черноморского молдаванина с рынка, завлаба.

Может быть, надо было?..

Моя беда — это слишком нежная душа. Ведь все это можно было увидеть совершенно по-другому, по-хорошему, с большей иронией, даже с юмором, наконец...

Зачем страдать?

Но — что есть, то есть...

Кабинет начальства, впрочем, не производил тягостного впечатления — а «казарму» мне в первый раз предусмотрительно не показали... Наоборот, академический стиль, что-то в стиле больших фотографий *советских ученых*, висевших у нас на кафедре.

Заваленный бумагами стол заведующего, полная окурков пепельница, над столом непременная огромная карта Союза ССР — но физическая! — горы, речки, озерки ... — невинная фронда тех лет, несколько черно-белых фотографий полевых сезонов, где завлаб и еще какие-то люди с геологическими молотками улыбались на фоне пейзажа, глубокое кожаное кресло 50-х годов, на окне цветок, корень в виде человечка и чайник (когда-то же я об этом мечтал)...

Всё, казалось, говорило мне:

— Здесь можно жить, старик, не грусти...

Но 65-минутная езда за кольцевую автодорогу, с кварталами новостроек Орехово в последних кадрах и индустриальный пейзаж за окном с Московским газоперерабатывающим заводом на переднем плане, сделали меня совершенно невменяемым.

Мы полчасика поговорили уже не помню о чем — возможно, о науке, в процессе разговора о которой я, кажется, признался в гуманитарных интересах (зачем?!), на что завлаб только усмехнулся в седые усы, и молодой, энергичный, специально вызванный для знакомства со мной заместитель заведующего в идиотском белом костюме (в честь моего прибытия?) повел меня к автобусам.

Для удобства работающих (чувствуете инквизиторскую улыбку?) в начале и конце рабочего дня институтские автобусы, по далекому таежному образцу (институт-то — нефти и газа) — назывались *вахтовки* — собирали и развозили сотрудников по городу. По-моему, было восемь маршрутов. В основном, спальные районы: Ленинский, Беляево, Ждановская и ближайший город-спутник — Туманное. В центр автобусы не ходили. Считалось, что там никто из сотрудников не живет.

— Так что хорошо... — сказал заместитель заведующего, с подозрением на меня глядя.

Я кисло согласился:

— Очень...

— Небось, когда учился-то, такого не было?.: — гордо сказал заместитель заведующего, — наверное, сам на первую пару добирался?

Я хотел сказать, что сроду не ходил на первую пару, кроме нескольких лекций знаменитого химика, однажды случайно посетившего наш институт, но промолчал и вместо этого вдруг брякнул:

— А хорошее время было!

И пояснил:

— В институте...

Зам еще раз подозрительно меня оглядел и, сухо заметив, что «в каждом времени есть своя прелесть», распрощался.

Снедаемый тоской, я забрался в автобус, идущий на Ленинский проспект, и, закрыв глаза, не открывал их до самой «Академкниги», куда решил заехать, чтобы, купив что-нибудь абсолютно бесполезное типа голландского поэта XVII века Вовенарга в серии «Литературные памятники», противопоставить хотя бы Вовенарга издевательской бессмысленности происходящего. Почувствовать, вопреки всему, свою близость, как иронически говорил кто-то из классиков, «ко всему чистому и высокому» и этим утешиться хотя бы на время.

И пошло.

Бедный мальчик...

Встает заря во мгле холодной...

Это про меня.

Следующий абзац я хочу представить в виде стихотворения. Хотя бы — в виде стихотворения. Потому что вообще это надо петь. Как романс. Утро — туманное, утро — седое...

Итак, стихи на начало трудовой деятельности молодого специалиста, записанные им самим 15 лет спустя. Опять почти Дюма-отец:

В начале сентября
Я поднялся чуть свет
в шесть (шесть!) утра
и съев
оставленные
мамой возлюбленной
(или сожительницы?)
бутерброды
(все, все! — еще спали!..)
отправился на трамвай
идущий к метро...

Как я уже говорил
мы жили в центре
и в этот час в нашем районе
было безлюдно.
Я тихо дошел
по пустынной улице
до остановки
вскоре подошел трамвай
и я спокойно сел —
в вагоне
кроме меня
было два человека!..

Трамвай тихо
тронулся
какой то работяга
с авоськой
курил на задней площадке
в открытое окно...

Кстати, однажды, много позднее, мы, с другими «молодыми специалистами» нашей *лаборатории* шутки ради посчитали, сколько тратится в среднем на так называемую дорогу на работу. Получилась чудовищная цифра.

Смотрите: в среднем два часа ежедневно. Десять за неделю. Сорок за месяц. Четыреста сорок — (минус отпуск, все учтено) за год.

Три недели. Всего-то.

Ноу комментс. А если что-то и говорить, то только очень спокойно. Без восклицаний. Без сожалений. Тихим и ровным голосом...

Четыреста сорок часов — это почти восемнадцать суток, почти три недели в году я (мы, вы — но не *они*) проводим в непрерывной *дороге на работу*, но если бы — *в дороге*. В закупоренном вагоне, в набитом троллейбусе, идущем (или бредущем) по кругу, по кольцу, по маршруту, в подземелье или наверху, привязанные за ноги и усы, глядя на пляшущих за окнами резиновых змей, на снег (яркое солнце) за стеклами и друг на друга.

— Кстати, почему эти гляделки, почему у вас в метро все друг на друга смотрят? — спросил меня однажды знакомый иностранец. — И на эскалаторе...Эти отрешенные взгляды...

Спуск/подъем в/из чистилища/?..

Где-то в институтском курсе физики остался ускоритель элементарных частиц — знаменитый синхрофазотрон, гонявший эти самые частицы по кругу. Может быть, московское метро — такой гигантский синхрофазотрон, когда-то изобретенный всемогущим КГБ или ЦК?.. Что происходило с частицами, я забыл. То ли они становятся атомами, обретая на бегу массу и плоть, то ли, наоборот, исчезают, превращаются в волны, в тени, в предполагаемое *место*, где они должны быть...

Я не ставлю восклицательных знаков. Я снова говорю тихо. Я просто перечисляю.

Тряска. Духота. Пыль. Усталые лица. Толпа. Запах немытых тел. Встречный эскалатор и смотрящие друг на друга люди. Страх... Озабоченность. Отрешенность. Отчаяние.

5. ПРОДОЛЖЕНИЕ: ПЕЧАЛЬ СВОЮ СОПРОВОЖДАЯ

Как ни странно, я почти не помню первые, золотые, осенние месяцы моей *новой работы*. Помню только, что в самый первый день так плотно сидел за столом, листая выданные мне «для ознакомления» научные книги, что молодой (впрочем, мне тогда казалось немыслимо старой — 30 лет!..) сотруднице Любе пришлось сказать мне, что, мол, начался обед — пойди проветрись...

— Я подумала: какой серьезный мальчик, — рассказывала потом она.

Бедная, и не она одна. Первые дни все были мной довольны. Даже заместитель заведующего (*сам* был в отпуске), видимо, немного успокоился на мой счет. Я часами примерно читал книгу о новых методах поисков полезных ископаемых. Волк нацепил овечью шкуру и мирно щипал травку среди овечек и одуванчиков. Уже не только Люба, но и другие женщины в лаборатории говорили мне:

— Ты что такой бледный? Пойди погуляй. Мы в хорошую погоду всегда гуляем между корпусами.

Но я не соглашался «погулять». Решимость повторить путь Т.С. Элиота была еще крепка. Я твердо решил скрыть свое истинное лицо, во всяком случае, до времени.

Кроме того, озабоченные моими гуманитарно-тунеядческими настроениями родители устроили мне встречу с одним поэтом-кандидатом наук, работавшим у них в институте, и он очень убедительно расписал мне прелести *фундамента* (имелась в виду служба) и *земли под ногами* (кажется, диссертация или кандидатский оклад), и некоторое время я был впечатлен его примером — у кандидата в активе, кроме диссертации и автомобиля «жигули», была пусть маленькая, но своя подборка стихов в «Дне поэзии» и две (две!) самостоятельных публикации в журнале «Сибирские огни»...

Впрочем, решимости моей хватило ненадолго, где-то на месяц. Я даже не помню, где я сломался, в какой именно момент. Видно подвело все то же — слишком чувствительная душа.

По-моему, все началось с приезда начальника... О, это опять было как в песне: издалека возникает голос, потом он приближается, и его подхватывает хор...

Уже накануне в лаборатории царило нервное оживление.

— А что, собственно, такое? — невинно и наивно спрашивал я у бывалых сотрудников.

— А вот увидишь, — усмехаясь, отвечали мне. — Увидишь...

Люди посолиднее и постарше шушукались: торт, надо бы торт... Собирались даже скинуться — но тут лабораторный диссидент, а точнее оппортунист и мой сосед по столу аспирант Николай заявил, что он денег не даст!

— Но почему?!

— А пусть *он* ставит. Вы что, обычая не знаете? Кто приходит из отпуска, тот и ставит.

— Но ты же понимаешь, что тут случай особый... — загудели все.

— Чем? — нагло удивился мой сосед.

— Хорошо, мы сдадим за тебя, — с упреком сказала седовласая интеллигентная тетенька, похожая на болонку (имя — *Победа, Виктория...*). — Если ты сейчас стеснен в средствах, так и скажи...

Но не сдали. То ли оппортунист всех сбил с панталыку, то ли, наоборот, выразил общее тайное мнение, а может быть нашего начальника в коллективе просто не очень любили (впрочем, где вы видели начальника, которого бы любили?), но с чаепитием как-то не вышло...

Впрочем, хорошо было и без чаепития.

Ровно в 8.20 утра (слышите?! в 8.20!..) весь коллектив лаборатории шпалерами выстроился в коридоре. Вы слышите барабанную дробь? В 8.27 — замрите — сопровождаемое замом и любимым аспирантом (не Николай, другой) в конце коридора появилось руководство. Остановилось в дверях:

— Как поживаем?

По рядам прокатилось у-р-р-а-а!..

— Хорошо!.. — кто криво, а кто радостно улыбаясь, на разные голоса отвечали невыспавшиеся сотрудники. — Очень хорошо...

Причем, что удивительно, вчерашний диссидент и ниспровергатель, выставив вперед ухоженную бороду и энергично поздоровавшись с завлабом за руку, тепло поинтересовался:

— Как отдохнули, Геннадий Николаевич?..

6. ПРОДОЛЖЕНИЕ: НАС МНОГО

Геннадий Николаевич напоминал среднеазиатского партийного начальника не очень высокого ранга — он был тучен, энергичен, сед, а в не то прищуренных, не то раскосых (Средняя Азия же...) глазах его светились хитрость и практический ум. В них не было одного — настоящей силы и настоящей жестокости. Поэтому Геннадий Николаевич в свои 55 оставался простым завлабом, хоть и в Москве, в отличие от своих однокашников по ВПШ * из Ашхабада, пробившихся *в руководство* и ставших настоящими *баями*, ибо, увы, чтобы добиться чего-то в жизни — иногда ко мне приходит эта мысль и я гоню ее, но чтобы чего-то добиться, увы, нужно быть жестоким и когда надо и, главное, не надо, бить без пощады. И даже своих...

— А своих-то зачем?

— Чтобы чужие боялись.

Лисички с чудесным рыжим мехом беспощадно едят не менее чудесных белочек и даже беззащитных цыпляток, лисичек ест миша и волчок, мишу и волчка убивают на шапку охотники, охотников ест водка и инфаркт, большие рыбы пожирают маленьких, щука — карася... Хотя это нехорошо и скрыться от этого можно лишь в монастыре на вершине горы, что виден с шоссе в ясную погоду...

Но и там может попасться козел-сосед по келье (прости меня, Господи!) или баран-настоятель (еще раз прости!) и не даст забыть так называемое положение вещей (латинский алфавит) или кузькину мать (кириллица), так что и там, выходит дело, даже там — спрятаться невозможно.

Впрочем, может быть, мне повезло, а может быть, подобное приходит к подобному — на всякий случай стучу по дереву — я отчасти смог.

Спрятаться.

Все же — как мудро все устраивает Господь. Я оказался, как поет бывший рок-музыкант Макаревич, не один. Это серьезное убежище.

Оказалось, что в лаборатории есть еще один тайный бездельник, слушатель любительского органного класса при МГУ, «композитор», любитель музыки семьи Бах, владелец настоящего электрического

клавесина производства ГДР (стоил 700 рублей! — в 1982 году!..) и старший инженер-технолог в миру. Звали Валера.

Нет, без вмешательства высших сил тут все же не обошлось. Ну почему скажите, почему слушатель органного класса МГУ оказался именно в моей, а не, например, в соседней лаборатории?..

Как я уже сказал, «композитора» звали Валера. Если полностью: Кузьмичев Валерий Михайлович. Ну а мы для солидности и пущей художественности, на европейский манер, далее будем называть его — В.

В. был старше меня лет на пять. Тогда это было ощутимо, пять лет трудового стажа, в армии бы сказали — «дед»... Я часто его вспоминаю и, как персонажи из телевизионного «Поля чудес», дорвавшись до аудитории, напряженно глядя в камеру, не премину передать ему привет и благодарность.

За что? *За то*, я уже сказал: он показал мне, что я не один.

Не один. Не один такой... чудак на букву «м»... Гарри Галлер, Адриан Леверкюн.

Какой?

Кто не работает, *как положено,* а положено-то (куда, на какие весы?) — немного, всего-то ничего, ну хоть вид сделать...

Да вообще не такой, как все! Неужели надо расшифровывать!..

Не может прийти на работу вовремя, а ведь это такой пустяк. Ну что дают эти 15 — 20 минут, ну полчаса, мы же взрослые люди!.. Не идет в аспирантуру, когда есть все возможности и голова, и хороший диплом, другие-то хотели бы, но у них нет ни головы, ни диплома, ни возможностей, а у этого есть, но он не идет... Что, так и будешь сидеть на 140, ну пусть 180 старшеинженерских рублях всю жизнь?.. Не идет.

Не ведет комсомольской работы — опять же хотя бы для виду, *как все*, что в этом такого, ведь если бы даже из безобидного институтского комитета цыкнули бы разок, то сразу бы стал вести как миленький, а если так, то чего из себя корчить принципиального?!.. При этом занимается черт-те чем, *музыкой*, да? — когда нет никакой надежды — на что надежда-то! — что вдруг откроют, случайно встретят, прочтут, сыграют, ужаснуться: а мы то не знали!.. кто это?! где ж вы были?! приведите!..

Зато, забегу немного вперед, какое удовольствие из этой якобы «жопы», как сейчас бы сказали, андеграунда, из своей отщепенской норы неожиданно сунуть жирный кукиш под нос — *всем окружающим нормальным людям* — НАТЕ!

На Западе этим «НАТЕ!» мог бы быть выход книги или пластинки — «а на следующее утро он проснулся знаменитым» — у нас же тогда такие номера были абсолютно исключены.

И, кстати, сейчас тоже — потому что *тогда* было невозможно, а сейчас всем плевать — на «книгу», на «песню», «пластинку» или «статью в газете», нужна поддержка, крыша, бабки, раскрутка, пиар, вот если бы проснуться депутатом, полковником милиции или членом совета директоров Газпрома, вот тут бы «все» ахнули: ничего себе... кто это?!

Но все равно тогда тоже оставалось кое-что, кое-какие мины на дорогах: взять и вдруг *поступить,* пройти через стену хотя бы в соседнюю комнату — во ВГИК, в ГИТИС, в Щуку, Гнесинку или Консерваторию, не говоря уже об эмиграции, отъезде на ПМЖ, к мифологическому троюродному дяде — в Израиль или США. Но это уже в виде нокдауна — всем и на худой конец.

3-е замечание по ходу

Повторю еще раз для упоминавшихся где-то выше молодых, кислотных, свободных господ: понимаете, возможно вам сейчас эти «проблемы» кажутся смешными и совершенно надуманными, но тогда в моем (признаю) 100 % советском сознании было 2 легальных вида-способа существования: пользуясь терминологией 60-х — 70-х и очень грубо: «физики» и «лирики».

А поскольку в заветные «лирики» я сразу не попал и даже не пытался попасть из-за абсолютной того невозможности (ну кто бы меня, пусть даже очень хорошего мальчика Сережу, взял в 1979 году, скажем, на журфак МГУ, не говоря уже о Литературном институте (это просто смешно) и, главное, с какой стати?!), то мне, личности внутренне очень несвободной (несмотря на все вышеприведенные вариации на темы Генри Джеймса и Джеймса Ласта), оказалось очень трудным плыть против общего течения, разрешить себе просто быть немного другим (сегодняшняя идея: рвануть на журфак какого-нибудь провинциального универа!), и я пошел в «физики»...

Честное слово, в душе я иногда чувствовал себя почти «вредителем» или «шпионом» из тридцатых годов (такова была энергетическая сила стада!), и «композитор» стал в этой связи просто находкой — практически первый раз в жизни я встретил человека, хотя бы немного похожего на себя.

Еще раз без всякой иронии: спасибо, Валера.

7. ПРОДОЛЖЕНИЕ: МУЗЫКА СЕМЬИ БАХ

Был тогда в магазине «Мелодия» на Маяковке, на втором этаже, нотный отдел. Так вот, два раза в месяц, в дни зарплаты и аванса композитор ездил туда с большим портфелем. Толстые, бледно-зеленые, салатовые, голубые нотные тетради. Он набивал ими полный портфель.

Рублей на 50 — 70 (советских!)... То есть на треть зарплаты. Справка для юношества: бутерброд тогда стоил 15 копеек.

Это он открыл для меня: Карл Филипп Эммануэль Бах, младший, любимый, самый легкий и самый радостный сын, очень близкий к итальянцам, просто даже и не немец какой-то; Вильгельм Фридеман, самый старший и самый талантливый, но с невероятно тяжелым характером, мучил и позорил семью, отца (где ты, неизвестный мне тогда Фрейд?), пил, оставив жену с детьми, скитался...

Наказание не замедлило воспоследовать: однажды, сильно напившись (вы представляете, ночь, Германия, восемнадцатый век, черные булыжные мостовые, островерхие крыши, ветер крутит снежные вихри на этом булыжнике), он замерз ночью, на чьем-то заднем дворе, на навозной куче.

В этом месте В. обычно смеялся, улыбался и я, мы давали понять, что понимаем иронию судьбы, ценим ее юмор, мы смеялись, стоя на институтской лестнице, В. было 29, мне 24, вольно нам было смеяться, кстати, только сейчас, спустя 14 лет, весенней ночью 98-го, набирая эти строки, я понял вдруг, почему именно *на навозной куче* — так сказать, физический, *феноменальный* контекст божественного смеха — вы, впрочем, наверное, тоже поняли, и без моего перевода, конечно: там было просто теплее, теплее, от навоза шло тепло, вот и всё, и сын знаменитого композитора лег туда, где было теплее, не разобрав спьяну, что это навоз, ха-ха-ха...

Кстати, «композитор» немного знал немецкий, выучил, чтобы разбирать нотные записи, иногда он переводил мне их. Некоторые я запомнил .

Например, «Из бездны я взываю к тебе» или «Только на Тебя, Боже, моя надежда», а теперь слушайте музыку.

Тогда, одно время, я, кстати, даже собирался писать что-то «музыкальное», делал какие-то наброски, я стал здорово (по отношению к абсолютному нулю) разбираться, мог даже объяснить, а иногда казалось, что и *услышать* стили исполнения — чем, например, отличались немцы от французов или маэстро органа Гродберг от маэстро органа Ройзмана. Но особенно меня заинтересовала *судьба*, а точнее — однажды рассказанная *история органного мастера* В., чеха по происхождению, ведущего межфакультетского самодеятельного органного класса МГУ, где В. на правах вольнослушателя учился...

Я всегда очень интересовался историями в лесковско-, я бы сказал, купринском духе, всеми этими левшами и гамбринусами, золотое клеймо неудачи, как говорил американец Шервуд Андерсон, меня интересовали изобретатели вечных двигателей, доморощенные и непризнанные гении, незадачливые поэты или строители никому ненужных (ключевые слова) гигантских зданий, мне всё хотелось разглядеть тот меха-

низм и, главное, ту задачу, которую решает господь Бог, все создавая и создавая этих персонажей и вознося одних на вершины мыслимого человеческого успеха, а других, как в кривом зеркале, при большем, том же или почти том же таланте, оставляя внизу в виде смешных, нелепых или озлобленных чудаков.

А поскольку В. исправно снабжал меня многочисленными подробностями и деталями, «музыкальная повесть» складывалась сама собой.

Я приведу здесь ее дайджест, коротко, и поскольку записей того времени у меня сейчас нет под рукой, то имейте в виду: это будет, так сказать, современная редакция.

ПОЕЗД ПРАГА – МОСКВА

Представьте себе, что некто все время (или нейтральнее — часто) оказывается рядом со знаменитостями. Например, если он живет в Праге, то Пражскую консерваторию он заканчивает в один год со знаменитым Н., ему прочат большое будущее, Н. даже дарит его своей дружбой, но тут в Европе начинается война, Н. успевает уехать, случайно, всего за год-полгода до ее начала он получает ангажемент в Англии, а наш герой, которому тоже где-то что-то предлагали, пусть не в Англии, а где-то в Латинской Америке, кажется, в Мексике, остается.

У него очень неплохие перспективы — какая Мексика? Он работает в оркестре Пражской оперы, у него уже семья, ребенок, вокруг чудесный родной город, зачем уезжать, ну кто же всерьез может допустить, что все — что бы там ни писали в газетах, — *все* перевернется за 1—2 месяца, и он, разумеется, остается — как оказывается, остается на всю жизнь.

Сейчас, когда я пишу эти строки, Москва в очередной раз полна слухами о возможном военном перевороте, и, сидя за столиком недавно открывшегося летнего кафе на Страстном бульваре, я очень хорошо понимаю, каким невероятным бредом в духе чапековской «Войны с саламандрами» могло в 1937 году показаться то, что произошло с Чехословакией в последующие 40-50 лет...

Не знаю, откуда это взялось, может быть случайно виденные и потом забытые открытки, а может запомнившиеся с детства рассказы моего деда о Братиславе (какая разница для русского уха и ума — Прага, Братислава), куда он часто ездил в гости к однополчанину в 70-х годах, но я до сих пор думаю, что мне очень удалась сцена первого прихода возлюбленной и будущей жены моего героя в меблированные комнаты над Влтавой, которые он, как мне показалось, обязательно должен был снимать в 1934 году...

Далее следовал Мюнхен, «Независимая Словакия», оккупация — сначала немцы, потом русские, неправильная оценка исторической и собственной ситуаций и своего места в них — в 1946 году наш герой

вступает в коммунистическую партию и одновременно, как и положено в такой истории, влюбляется в переводчицу из русской комендатуры.

Далее он расходится со своей первой женой и в 48-м году оказывается в Москве, где ему устраивают один или два концерта в Большом зале Консерватории (! — впрочем, ничего особенного, у жены оказываются влиятельные родственники), а в 49-м дорого платит за любовь и иллюзии (или конформизм): летом 49-го его арестовывают как иностранного шпиона и отправляют в Сибирь.

Впрочем, ирония, «хрустальный смех» слышится и здесь: пять лет он проводит под Иркутском, занимаясь угледобычей открытым способом в месте, которое на геологическом языке называется «Канским амфитеатром». Неплохие гастроли для Пражской консерватории... Впрочем, еще не финал: в лагере он сильно повреждает ногу, да так, что ножные регистры органа становятся для него недоступны. В 55-м его реабилитируют, он возвращается, но, разумеется, не домой, в Прагу — ну кто же его отпустит, а в Москву...

Финальная сцена «повести» до сих пор кажется мне очень удачной, хотя и несколько вялой.

Вот она:

Однажды Учитель попросил В. зачем-то прийти к нему домой. Я уже не помню, зачем — то ли это был обычный урок, то ли В. должен был что-то принести, выполнить какое-то мелкое поручение. В. все сделал, но почему-то пришел раньше назначенного срока. Или маэстро опоздал. И В. некоторое время болтался возле его дома, во дворе. Обычный московский двор начала 80-х годов, кажется, район Кунцева: детская площадка, качели, гаражи, скамейки...

И вдруг В. увидел своего учителя.

Это тоже надо петь.

Сначала я просто не узнал его
Говорит В.
Я же всегда видел его в помещении
причем, в университетской аудитории
без верхней одежды
а тут он шел в шапке и куртке
с каким-то чемоданчиком
как у слесаря...

Я и принял его сначала за слесаря
за сантехника точнее сказать.
А ведь он учился с...

То есть «смысл» если он есть в чем:

Боже помилуй...
Родиться в Праге
учиться с ...
играть в Пражской опере
гулять по набережным Влтавы
а потом раз — и всё:
всё переворачивается вверх дном:
война оккупация немцы русские
Прага, Берлин, Москау, Иркутск ...

И потом
через 40 лет
вот так идти с чемоданчиком
по московскому двору
где-нибудь в Кунцево...

Надеюсь все же, что неожиданное оптимистическое (тьфу-тьфу) завершéние века застало учителя В. в живых и он благополучно уехал в 90-х на историческую родину, догуливать и додумывать во время прогулок по-над Влтавой то, что не додумал в 30—х.

Вывод?

То есть о чем предположительно мог бы подумать органный учитель В. во время своих прогулок?

Никогда не надо отчаиваться?

Не знаю. Осторожнее надо быть.

Вот: НАДО БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМ.

Очень. История — опасная штука.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Заканчивая эту главу, дополнительно могу сообщить: я «проработал» в «институте нефти» 4 года и, несмотря на то, что это было очень далеко и приходилось очень рано вставать, уходить не хотелось. Хотя и завлаб Геннадий Николаевич, гад, периодически приставал:

— Почему вы ничего не делаете?!

— А почему я должен что-то *делать*?! Я не для этого пришел на Свет!.. Так, кажется, говаривал Камю?..

— Какой Камю?! Где отчеты за прошлый квартал?

... Кстати, если бы приставал только Геннадий Николаевич!.. Такие же парии, как и я, *сотрудники*, не могли удержаться:

— У Сережи обед длится полтора часа вместо 45 минут, хе— хе-хе...

Не мог понять: ну им-то что?! Стадо...

8. ИЗ ЗАПИСИ ТРЕТЬЕЙ: АКАДЕМИЯ НАУК

Здесь наше повествование делает плавный поворот, и мы вместе с немногочисленными зрителями видим медленно возникающий за этим поворотом старинный особняк в центре Москвы с окнами на Зоопарк и прибитую на чугунных воротах табличку:

Институт Исследований Кое-чего Академии Наук СССР.

А?! Вот она, долгожданная тихая гавань, мечта поэта. Какой там Лос-Аламос!.. Вот где можно лечь, как в песне, на дно и там, на дне, в окружении мигающих приборов, водорослей и милых, интеллигентных людей, спокойно приезжая к 10 — 11 утра, тихо создать что-нибудь замечательное, отвратительное, с правозащитным, антисемитским, садо-мазохистским, постмодернистским и любым другим, по вкусу, душком.

Но, увы, не тут-то было... Моя борьба за свою свободу (или всего лишь за свободную самоидентификацию? Это далеко не одно и то же...) продолжалась.

ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ: ЛИТЕРАТУРА

Как и всё в моей жизни, этот, в общем-то серьезный шаг, был предпринят отчасти назло кому-то, отчасти не всерьез, а отчасти просто в полубессознательном состоянии.

В то время у меня была подруга, скажем так — немного старше меня. Пользуясь случаем, замечу: хорошая была женщина, даже очень хорошая, но у наших отношений был один не то чтобы недостаток, одно «но» — двое взрослых детей.

Русская жизнь, увы, не очень балует русских женщин, и мое скромное (на первый взгляд) поведение очень нравилось моей Наталье, особенно после печального опыта первого замужества. Ее бывший супруг сильно пил. Нравилось и понравилось настолько, что она решила, несмотря на разницу в возрасте и упомянутое «но», выйти за меня замуж.

А поскольку в нашей семье уже были не очень хорошие примеры подобных браков (например, моя тетка вышла замуж за своего студента и потом бешено ревновала его), то я решил уклониться. Естественно, что мое решение не могло, в конце концов, не вызвать напряжения даже в наших, очень хороших отношениях. И в одно прекрасное весеннее утро, собираясь ехать от меня в свое Северное Бутово и в очередной раз совершая бесполезный променад до ближайшего метро, выслушав мои рассуждения о будущем триумфальном поступлении на Высшие режиссерские курсы или даже в Литературный Институт, моя подруга вдруг с раздражением заметила:

— Ах, — сказала она, — ты никогда не сделаешь этого. Я слышу о твоих намерениях не первый год!..

Разумеется, я понял, *что* она имела в виду. И поскольку по существу отвечать не мог, ответил по форме. Собираясь уже действительно

не первый год поступать в упомянутые учреждения (я смутно чувствовал необходимость как-то узаконить свое «безделье») и откладывая это решение ввиду, как мне казалось, собственной творческой некондиции, я тогда же решил:

— Ах «никогда»?! Ладно же...

И стал собирать рукописи.

И чудо: спустя каких-нибудь два — три месяца после этого разговора, сдав рукописи в приемную комиссию, как было сказано на официальной вывеске...

Литературного института имени А. М Горького Союза писателей СССР

(А?!..)

...уже пил портвейн в ближайшем кафе «Аист» *с одним поэтом* (!), поступавшим вместе со мной, а еще месяца через три, пройдя конкурс рукописей 30 человек на место и, в общем формальные, вступительные экзамены по принципу «чукча не читатель», был принят. И не куда-нибудь, а *на отделение прозы*...

Впрочем, для нашей самой читавшей (тогда) страны, конкурс 30 человек на место в единственный вуз, где *делают писателей* — это, наверное, немного. И все же подчеркиваю без всякой иронии:

Я поступил туда а) будучи евреем, б) без всякого блата.

Тогда (в 1987 — м году) это было просто удивительно.

Из монографии «Юность товарища Сергеева», хранящейся в Центральном Музее Революции:

«...Возможно в этом событии сыграли роль набиравшая силу Перестройка (вероятно, это был первый не-блатной и не-идеологизированный набор), случайное отсутствие нашего героя на первом — тет а тет — собеседовании, где будущий творческий руководитель, ярый почвенник и антисемит-теоретик с 20-летним стажем* мог бы без свидетелей оценить бакенбарды и профиль нашего героя и принять тихие и адекватные меры, и, разумеется, главное: искренняя любовь товарища Сергеева к России и русской литературе...»

Исследователь прав, до поступления в Литинститут и до знакомства с людьми, *делающими это профессионально,* я очень любил нашу страну, а также Аксакова, Пришвина, Гоголя и Есенина, о чем не преминул косвенно упомянуть в своих конкурсных сочинениях и прямо сказать высокой комиссии, куда в те годы уже входили так называемые либералы — типа, например, полумифологического Битова, и этим, как я понимаю, подыграл им и одновременно умилил своих врагов: надо же, еврейчик, а наших любит...

---

* А, может, и зря я это. Теоретик же, не практик. И ко мне неплохо вроде бы потом относился... А говорить, что у всех антисемитов были друзья— евреи — как аргумент... Зачем это здесь?

Дело в другом. Придерживаясь магистральной темы нашего сочинения и анализируя все эти события, нужно сказать:

Самое главное в моем поступлении в Литинститут, при том что это заведение безусловно можно считать почти 100 % профанацией и при том разочаровании, что ожидало меня позднее — это был, разумеется, первый литературный успех, но еще главнее, напишу даже с большой буквы, самое главное — это была первая Индульгенция, первое в моей жизни тихое обещание Разрешения Ничего Не Делать. Ведь члены творческих союзов, *писатели*, а мне мерещилось впереди уже и это, каждый дурак знал: *имели официальное право не работать*...

НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ.

А?!

Впервые в жизни я получил (правда, нетвердое) обещание официального права на это.

Вот. Это было сильно. Неважно, что шарм, точнее авто-шарм происходящего длился всего несколько недель, до первого, так сказать, «творческого семинара», на котором, сильно испугавшись от неожиданности, я стал свидетелем спонтанного (впрочем, возможно, я опоздал и не видел начала, которое все объяснило бы?..) разгрома нашим маэстро творчества Константина Паустовского (я не поклонник Паустовского, но так и не понял тогда: почему именно его?). Неважно, что первая же новая, клюнувшая, как я понимаю, на 50 % на звание литератора любовница подарила мне банальный триппер, в чем безусловно также был указующий перст судьбы, до сих пор, кстати, полностью не осмысленный...

Важно было другое: наконец-то я мог со знанием дела зайти в красный бар «Марс» на 2-м этаже (remember?), у гостиницы «Националь» и спокойно, *имея право*, залезть на высокий вертящийся стул у стойки и дуть свой «Шампань-коблер» под Джеймса Ласта хоть весь вечер...

Теперь я имел на это право.

Но, увы, общественные перемены, с одной стороны, приведшие товарища Сергеева в Литинститут, с другой привели то ли к временному закрытию вышеупомянутого заведения, то ли к тому, что в тот год оно потеряло, сколько? — две трети точно — своего очарования, так как странно, но я даже не вспомнил о нем ни в тот момент, ни позже. А может быть (первое дуновение будущей бури), у меня просто уже не было денег? Или «Шампань» подорожала?

Жаль, не помню.

Зато — пусть это мелко, но я же сказал, *заячья борьба* — заместитель директора (вслушайтесь: *заместитель директора!* института нефти — в подчинении около 300 человек), к которому я пришел подписывать, по-моему, отпуск на экзамены в Литинститут, или какую-то характеристику туда же, — неважно, важно то, что запрос был на официальном

бланке Союза писателей (!) и, увидев этот бланк, Первый Зам Директора, встал из-за своего огромного стола с тремя телефонами и, приятно поклонившись, пожал мне руку.

— Мы и не думали, что это у вас так серьезно, — сказал он.

И во мгновение ока из обыкновенного бездельника и наверняка известного администрации молодого козла, страдающего в общем, х..ней, с которым непонятно, что делать, я превратился в сакральное на святой Руси существо, благо год был еще 1987-й, я стал *Писателем*

Зря я оттуда вскоре ушел, скажу я вам по недолгом сегодняшнем размышлении, еще раз — далеко было, конечно, ехать и рано вставать, но надо было хоть немного насладиться первыми плодами своей первой маленькой Победы, долгожданной «законностью» своего безделья... Уж теперь-то, наверное, мне бы разрешили опаздывать. Хотя бы первое время...

Увы. Не подумал.

Все мечты исполняются, вот что я вам скажу, но исполняются слишком поздно, к тому же предложение о переходе в Академию Наук было слишком соблазнительным, и согласился я на него, когда еще ни о какой победе на литинститутском конкурсе речь не шла.

Сравните еще раз: метро Юго-Западная, с 8.15 утра до 17.15 вечера, и метро Краснопресненская, то есть от меня 2, а не 10 остановок на метро, нестрого с 10.30 до максимум 16.00 — есть разница?..

Плюс академический флердоранж: я же все-таки хоть немного, но был и технарем, хоть через «не хочу», но закончил технический вуз, а для естественника что может быть престижнее, чем Академия Наук?

Эх...

Самое главное: ведь только так вроде бы могла наладиться жизнь...

Как это странно совпало: Литинститут и упоминавшееся выше здание с видом на Зоопарк — видимо, где-то сдвинулись какие-то пласты или что-то в этом роде, знаете, когда в жизни происходят, может быть, не очень осознанные и не сразу замеченные, но важные и, главное, почти одновременные перемены...

ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ: ПЕРЕЧЕНЬ ОБИД

Наверное, надо отмотать пленку еще немного назад и сказать, грустно глядя на латунную академическую табличку, что моя мама, которая там работала, не зря долго опасалась устраивать меня к себе — все-таки у нее было какое-никакое доброе имя и научная репутация, а мое стремление к правде и свободе на каждом рабочем месте уж кому-кому, а ей-то было хорошо известно...

Но когда дитя было подвергнуто тяжелой и недоброжелательной процедуре *трудовой аттестации* с угрозой перевода *на производство*, тут уж матушка стала обзванивать знакомых.

Помните такое андроповское изобретение? *Аттестация*. Первые, как сейчас ясно, конвульсии заваливающегося на бок государственного дракона. А именно в это время, как известно из специальной литературы, он особенно опасен...

И случайно находившийся в ее комнате пожилой профессор вдруг откликнулся: а я как раз ищу молодого специалиста. Бедный, наверное он решил, что яблочко от яблони падает недалеко. Бедный...

Но вот что интересно, еще на минуту вас задержу: из этой *аттестации*, из этой сталинской по духу и никчемной по сути херни, слава Богу, ничего не вышло. Кроме разве что небольшой нервотрепки, ха-ха-ха...

В нашем отделе (я уже писал, 300 человек), перемазавшись с ног до головы в соплях, сократили четверых — и тех «по возрасту», и только наш завлаб, в целом безобидный человек, как я уже говорил, мелкий хищник из пустыни Кара-Кум, решил вдруг показать зубы... Даже не хищник — суслик!.. И на ком — на божьей пташке, на молодом специалисте, надежде русской словесности, бездельнике по призванию (раскусил,гад... впрочем, за три года моей *работы* — не раскусить было, конечно, невозможно) — на мне!

Решил от меня избавиться или вздрючить на худой конец.

Гад. Еще раз.

И тут позвольте не без гордости сказать:

— Не вышло!..

Не знаю, впрочем, что здесь сыграло первую скрипку: трения наверху, в нашем случае честолюбивого Геннадия Николаевича с отдельским начальством, человеколюбие последнего плюс моя молодость или небольшая военная хитрость, на которую я пошел перед лицом опасности и высокой комиссии и за которую мне до сих пор стыдно.

Правда, немного.

Сейчас расскажу.

Дело в том, что в нашей «амбулатории» среди прочих персонажей, заслуживающих внимания, работала одна занятная личность, мимо которой я просто не имею права пройти молча. Безотносительно к сюжету с «аттестацией».

В принципе, по справедливости, если таковая существует, наверное, это он, а не я, должен был бы работать в академическом институте. Причем, с рождения. Особенно, если следовать образу «советского ученого», разрабатываемого нашим кинематографом. Вид: малахольный мечтатель. Подвид: рваные штаны.

Возможно, я говорю зло, но мне мешает его истовость и отсутствие чувства малейшей самоиронии. Наверное 100 лет назад это было бы настоящим научным подвижничеством, но в советских декорациях нашей лаборатории все выглядело карикатурой и анекдотом.

А может быть, между мной и им было что-то общее и я его просто боялся? Боялся стать таким. Поэтому говорю так зло? Сделаю еще несколько набросков.

Представьте себе очень тучного высокого господина в очках, седовласого, лет 55, с ширинкой, пардон, и карманами коротких, едва достигающих верхней кромки носков брюк, зашитыми на живую нитку. Плюс с короткими рукавами, типа школьного, пиджак, заношенное советское драповое пальто и столь же заношенная кроличья ушанка.

Конечно, убожество материального положения так называемой «интеллихенции» в советское время — общее место, но подавляющее большинство пыталось сохранить минимальное достоинство и человеческий облик — хотя бы во внешнем виде. Здесь же все это было зашито на живую нитку и отброшено за ненадобностью.

Плюс элементы драмы в так называемой частной жизни. Григорий Петрович (так звали героя) жил один с очень пожилым отцом где-то в новостройках за Ждановской, в коммунальной квартире, на очень скромный оклад, научной степени у него не было, семьи не было, подруги не было (это как-то сразу становится всем известно), кажется где-то были взрослый сын или дочь, навещавшие отца примерно раз в году.

Кстати, институт (или система) расправилась с ним очень жестоко: спустя лет шесть-семь после описываемых событий, в разгар «реформ», я встретился с кем-то из наших в метро на Смоленке. Во время *настоящих сокращений* в 90-е годы его уволили одним из первых, хотя работник он был очень хороший, ведь кроме науки (не поднимается рука поставить кавычки) у него в этой жизни ничего и никого не было, может быть, разве излишняя самокритичность, но это же не порок...

Наиболее вероятной мне кажется версия, что его уволили просто за внешний вид, хотя, конечно, в глубине, я думаю, было то же самое, что у меня: раздражение от несоответствия моменту.

Возможно, кстати, что я действительно просмотрел исчезающий типаж: настоящего ученого, дервиша, саману, отшельника, человека, поднявшегося над житейской суетой, презревшего условности, очередного Николая Федорова или какого-нибудь героя Андрея Платонова, но...

Я же говорю: он меня раздражал.

Размышляя мимолетно на эту тему, замечу, что в любой системе, даже самой либеральной, видимо, лучше (безопаснее уж точно) быть диссидентом — маргиналом, чем адептом, так как, увы, общеизвестно, что беспощаднее всего Система бьет по своим. Даже по *самым своим*.

Кстати, интересно, никто не интересуется, почему по своим? Какая тут зоопсихология?

Ну это всё теория, которая, мой друг, суха, а древо жизни зеленеет. И, так сказать, «на практике» я поступил следующим образом.

Когда высокая аттестационная комиссия, ознакомившись с отвратительной характеристикой, которую мне дал Геннадий Николаевич, формально спросила:

— А кто у вас научный руководитель?..

Я наивно и (честное слово!), ничего не подозревая, назвал Григория Петровича.

(А его действительно назначили моим руководителем, когда убедились в моем трехсотпроцентном нежелании трудится. Потому что 1) каждому молодому специалисту в те времена был положен *научный руководитель* и 2) в моем случае любое «руководство» превращалось в чистой воды фикцию... И я так понимаю, что наш Геннадий Николаевич как человек не без чувства юмора решил довести дело со мной до логического конца — то есть полного абсурда...)

Но то, что было очевидно для Геннадия Николаевича, было не очевидно для аттестационной комиссии. Напоминаю, все происходило где-то за полгода до бумаги из Союза Писателей. И члены комиссии переглянулись...

— Ну знаете, — сказал моему завлабу заместитель директора, — так нельзя! И вы еще чего-то хотите от молодого специалиста! Это, извините, чучело?! Разве можно так работать с кадрами!

И он даже немного распек (при мне! при других членах комиссии!..) Геннадия Николаевича.

Наверное, по честному надо было заступиться за Гришу, как мы его называли между собой, сказать, мол, не в нем дело, все же он был отчасти свой, тоже «художник», но только «внутри церковных стен», а я «во вне», но я промолчал и тихо покинул зал аттестации.

Что интересно, но после этого случая наш заведующий стал смотреть на меня с уважением и по большому счету отстал от меня — по-моему, он решил, что вся комбинация была подготовлена мной заранее.

Повторяю, честное слово, нет. Случайно вышло.

Продолжаю свои этнографические записки.

Важное место в системе институтского быта — да, мне кажется, и в жизни всей страны, — как и положено в муравьином царстве, занимали ОПОЗДАНИЯ. О, опоздания были отдельной песней. В системе всеобщей профанации был очень важен формальный ритуал и так называемая «ответственность». Опоздания назывались — «безответственность»... Причем, как и положено в малине, воровать надо было по-крупному, самой страшной была незначительная задержка, минут на пять, максимум десять, за нее строго наказывали, потом кадровик уходил пить чай.

Приехав однажды почти вовремя (ну, минус две — три минуты) и из упрямства не став ждать (чего тогда торопился?), я стал свидетелем унизительных объяснений какой-то сотрудницы, как ее что-то (на пять минут?!) задержало в детском саду. Помню ее счастливое лицо, когда ей милостиво кивнули — идите... Самое безопасное было прийти позже на час и более, а лучше к обеду, тогда на вас вообще никто, кроме ревниво курящих на лестничной клетке товарищей по работе, не обращал внимания...

Так бы мне (и всем, и всегда, и везде) и делать, но постоянно приходить на час позже считалось некрасивым, именно из-за этих *товарищей по работе*, потому что получалось — что же они как дураки ходили к восьми, а ты как белый человек выспался и пришел к полдесятого?!

Разумеется, можно было бы договорится об очередности, но тогда надо было договариваться всем, а ужас стада и рабства состоит в том, что часть особей несет свое ярмо мало того что добровольно, но еще и с гордостью...

И мне приходилось, ежедневно приходя позже минут на двадцать пять, хотя бы для того, чтобы не идти к дверям в серой, не выспавшейся, угрюмой или нервно оживленной толпе, лазить через институтский забор. Благо это было давно и сил у меня тогда было много.

Впрочем, я был не одинок и однажды лез через забор с одной из самых принципиальных в вопросе «дисциплины» наших сотрудниц. Помню ее совершенно счастливое лицо, когда эта 47-летняя дама в туфлях на высоких каблуках при моей поддержке весьма лихо преодолела полосу препятствий и, как девочка, в без пятнадцати девять (через полчаса после начала!) вихрем промчалась на свое рабочее место. И ее никто не заметил!..

Она даже, правда не глядя в мою сторону, поблагодарила меня...

Где была ее принципиальность, ожесточившись, спрашиваю я себя сегодня? Она должна была сама явиться с докладной в отдел кадров и потребовать собственной публичной порки или, на худой конец, наказать себя сама!..

Что впрочем, она, возможно, и сделала. Дома...

А белорусские леса моего сопротивления — СЕЛЬХОЗРАБОТЫ?!. Я не противоречу сам себе — не темная и сырая овощная база, а именно сельхозработы на полях, на *открытом воздухе*. Наш институт, поскольку он был официально приписан к области (а может быть, благодаря заботе начальства), имел одно преимущество перед горожанами — нас не заставляли в колхозе *жить*, а ежедневно возили туда и обратно. Лафа эта начиналась в середине мая и продолжались с перерывами почти полгода, аж до ноябрьских праздников...

Самым неприятным видом научно-сельскохозяйственной деятельности был, конечно, осенний сбор урожая. Во-первых, холодно. Во-вторых,

поскольку всё хотя бы условно употребимое в пищу хомо сапиенс колхозники забирали сами, то научно-технической интеллигенции доставалось абсолютно ненужное — нас отправляли собирать кормовую свеклу.

Но и в этом копании в мерзлой, а иногда и обледенелой земле была своя прелесть. Рабочий день на полях начинался на час-два позже, чем в институте, а кончался на полтора-два часа раньше, засветло; кроме того, еще раз, вы все же находились на свежем воздухе (тепло одеться — и холод не страшен), а главное, подняв голову от борозды, вы видели уходящие вдаль голые поля, чреду белеющих берез на переднем плане и быстро бегущие над всем этим серые и агатовые осенние облака. Простор был необыкновенный, какой бывает только поздней осенью, лужи на дорогах покрывал первый хрустящий ледок, ваша душа очищалась, хотелось читать стихи и поскорее отразить все это на бумаге.

Что-нибудь, как у Бунина:

«Ледяная ночь, мистраль, он еще не стих, вижу в окна блеск и даль, гор, холмов нагих...»

А, красиво? Люблю его. Особенно стихи.

После трудового дня в институте, вроде ничего особенного не делая, вы приезжали в город, чувствуя себя, как выжатый лимон, а здесь вы выходили из метро пусть усталым физически, но морально, пардон, нетронутым...

Часто мы заканчивали часа в три, впереди был практически весь день, на улице было еще совсем светло, это же удивительно, освободиться, когда на улице совсем светло... Я медленно шел домой через парк от метро, дома ждали обед, книги и пик служивой, чиновничьей свободы — дневной сон...

Боже, в сегодняшнем своем прекрасном и свободном далеке я не слишком часто пью этот божественный нектар, а что может быть лучше тихого дневного лежания под одеялом под медленно падающий снег (или дождь, или нежаркое московское солнце за окном) и знания, *что все остальные в это время — на работе*

Плюс три восклицательных знака.

Но самым лучшим временем для сельскохозяйственной борьбы было, конечно, лето. Особенно если вы не валяли дурака, не задирали нос (*я не для этого институт заканчивал!..*), а записывались сразу, на весь сезон (заканчивал... — не заканчивал... — какая разница!), на самую, как говорится, *шару*. Хорошо конечно, если рядом с вами были опытные люди, которые могли посоветовать, куда лучше записаться: на косьбу, вечную стройку коммунизма — институтского пионерлагеря — или на образцовую молочную ферму, зачем-то построенную в те годы в Подмосковье по спецзаказу (заказу чьему? — ЦРУ?) не то шведами, не то голландцами.

«Композитор» посоветовал мне косьбу. Во-первых, можно немного заработать, потом эти движения рук и грудной клетки очень полезны,

т.е. общефизическое оздоровление, а также вольный ветер на полях способствуют творческому ...

— Не знаю чему, но чему-то явно способствуют, — сказал «композитор», считавшийся одним из лучших косцов в институте (говорили, что даже в министерстве), и дело было решено.

И здесь у меня перед глазами возникают пейзажи, которым позавидует любая открытка: зеленые и зелено-желтые, поросшие сурепкой и купавной поля, перелесок на заднем плане, банальный жаворонок наверху, растрескавшаяся от солнца земля, запах сухой травы, в которую вы падаете навзничь и она оказывается у самых ваших глаз, а над всем этим огромное, высокое, выцветше-голубое, без единого облачка небо Аустерлица.

Что, скажите мне, что человеку еще надо?

Почему-то вспоминается какой-то удивительный почти что сон.

Жаркий день, нас привезли на поляну у небольшой реки в дальнем Подмосковье. Почему туда, никто не понял. Автобус ушел, работы было немного, мы быстро выполнили план и разбрелись кто куда. Я и одна девушка — сгребальщица из отдела добычи не помню чего тихо двинулись по тропинке, идущей вдоль реки. Беседуя, мы незаметно зашли довольно далеко. У какого-то поворота я, наконец, оторвался от юной собеседницы и, движимый неясным волнением, огляделся.

То, что я увидел, заставило меня на время забыть обо всем.

Река медленно шевелила свисающую с берега густую траву, синие с чернильными крыльями стрекозы, вспугнутые нами, едва шевеля крыльями, неподвижно стояли в воздухе у самой воды. Вода была такой прозрачности, что на дне были видны водоросли, песок и стайка плотвы, исследующая брошенную кем-то ржавую консервную банку, маленький водоворот то появлялся, то исчезал у упавшего в воду дерева на том берегу, какие-то птицы переговаривались в ветвях наклонившейся над потоком ивы...

Сон, это был сон.

И чего я оттуда ушел? Я имею в виду — и поляну, и собеседницу Наташу, и институт в целом... Дождался бы там в статусе местной достопримечательности — *писателя* 90—х годов — и послал бы вообще все подальше...

Зачем была нужна эта «Академия Наук»?..

9. ИЗ ЗАПИСИ ЧЕТВЕРТОЙ: СРЕДИ СВОИХ

ЧЕРНОЕ

Стал писать и думаю: что же мне там все-таки так не нравилось?

Ведь лучшего места для интеллигентного бездельника, я уже говорил, просто не найти. И все-таки, батенька, не нравилось и не нравится.

Чего там не хватало? Почему именно *там* наш герой вышел из подполья и стал демонстративно манкировать так называемыми обязанностями?

Почему, поступив туда в 87-м, в 89-м я перестал появляться регулярно, а в 91-м, после победы демократической революции (?!) — исчез вообще? При этом — парадокс! — не на шутку расстроился и даже обиделся в 95-м, когда меня наконец попросили оттуда уволиться.

Через четыре года !

Нелогично. А может, наш герой, как (говорят) все русские, независимо от национальности, немного мазохист и ему нужно, чтобы его слегка, пардон, е...и? И свободу он воспринимает только как возможность анархии? Или как замшелый интеллигентный идиот-шестидесятник принимает офисную барышню за уличную бл...? Известно же: Николай Палкин и Иосиф Сталин — отцы-домостроители, а Александр II и Горбачев — непоследовательные сукины дети? И Каляева на них... Так?

Нет ответа.

Не будучи профессиональным психологом, стопроцентно точно сказать не могу, но все-таки качаю головой: наш герой не похож на мазохиста. Хотя говорят, что Достоевский говорил, что русский человек склонен к бесчестью. Я — не знаю.

Может, тогда *веление времени*? Я подсознательно чувствовал исчерпанность существующего порядка и в ногу со всей страной перешел от подпольной борьбы и партизанщины к открытому противостоянию «окупационному режиму»?

Отвечаю:

Ничего я не чувствовал. Всю Перестройку мне казалось, что «диктатура» и «тоталитаризм» вот-вот победят. Я не верил в победу российской свободы и сильно обосрался и в 91-м, и в 93-м, и в 96-м. А как только немного уверовал в победу если не демократии, то капитализма (пусть дикого, ладно!), произошел абзац 17 августа 1998 года...

Нет, видно философ из меня плохой, ничего я не могу ни понять, ни сформулировать. Даже в этом мини-мини-мини-случае под названием Институт Исследований Кое-Чего.

Единственное, что мне остается — это неуклюжие образы или неудачные сравнения.

Например.

Вообще, в чем-то, институт, «наука» в целом, были очень похожи на «писателей» и на «писательство», на похожее здание на улице Герцена, кстати, и расположенное неподалеку...

Было мало воздуха, вот что я вам скажу. Непомерные, как правило, ничем не подкрепленные честолюбия, лабораторные гении, отдельские Эйнштейны, институтские Нильсы Боры. Фермопилы ученых советов,

вражда научных кланов Петрова и Сидорова, многолетние, как древесные кольца, обиды Розенбаума на Розенблюма, широкая известность в узких кругах (например, известность В-15 определяется по индексу цитирования Американской Академией Наук, смотри специальные ежегодные сборники)...

Блины кандидатских диссертаций. Пилипенко завалили, слыхал? В глазах ужас и злорадство, именинные пироги докторских, счет членов ученого совета, как голосов в ООН: Кузькин будет за, ну а Пуськин наверняка против. И далее история, корнями уходящая в палеолит, почему Пуськин будет *принципиально против*. О, это *принципиально!*.. Как будто жизнь и смерть решается. Всерьез друг друга ненавидели, прятали под ключ научные отчеты, которые я не принял бы даже в макулатуру... а... А в сортир на этаже, извините, было страшно зайти!

Скажете, я нездоров? Не спорю, но первое, на что потратил деньги новый директор этого учреждения (уже при капитализме! Т.е. считанные денежки-то...) был ремонт институтских туалетов. То есть, что-то есть, есть в моих словах! Или, по крайней мере, на лицо еще один нездоровый...

А так называемая *личная жизнь*?.. Влюблялись и всерьез, с бросанием старых, многолетних жен и нешуточными страданиями, в аспиранток, в девочек-дипломниц, по три-четыре раза женились в пределах одного отдела или максимум института!.. Представляете, сидит такой весь седой дедуля, но еще жилистый, турист-альпинист, едрена корень, поет под гитару Городницкого, хлещет водку, как лошадь, на полном серьезе считает, что основал научную школу (десяток аспирантов, включая четырех басмачей из Средней Азии — это у него уже *школа* ...), в комнате накурено, хоть топор вешай, а рядом молодая любовница, студентка, цветочек; у него средний сын от пятой жены в полтора раза старше ее, попала к нему в аспирантуру, бедная, тут же и в койку, смотрит на него обожающе, а ему ведь и не стыдно и не жалко ее, и даже в голову не приходит, подлецу, что у нее молодость, юность, свежесть — какое там...

Он ей смачно, в лицах, рассказывает, как 20 лет назад «осадил Пилипенко» или, завывая, читает Блока-Белого, дежурное стихотворение «Случайно на ноже карманном» или «Версты», а она и не догадывается, что он ВСЕМ уже лет 40 как его читает...

Гадость. Я не считаю себя пуританином... Мог бы, ни одну не пропускал, но должно же быть хоть что-то святое... Увлечься можешь, даже *все* можешь, но не более одного раза. Ну ладно, двух. А это...

Правильно таких в Америке сажают. Но мы, слава Богу, не в Америке, и я, помня гуманистические традиции русской культуры, просто лишал бы этих старых шелудивых псов права преподавать.

Вампиры...

Впрочем, и девицы в этих научных вертепах тоже хороши. Что это я их жалею — не надо, сейчас я и им задам... Кстати, сохранился отрывок из моих записей той поры (тоже современная редакция):

«...При этом *у нее*, у, так сказать, другой стороны, смолоду какой то удивительный цинизм и похоть почти обезьянья. Любовь, моментально переходящая в похоть. И обратно. Ей 20 лет, а она *встречается* с деканом своего факультета (55 лет), но не просто, а еще и влюблена, при этом рассказывает подруге, что «безумно его хочет» и как он боится, что на факультете «узнают про них» и сообщат в партбюро. А в виде хохмы добавляет рассказ, как пошла к гинекологу в университетской поликлинике с подозрением на беременность от него и в очереди узнает, что врачиха — его жена.

— Представляешь?!.

Хохочет.

А вот еще персонаж (мы здесь для краткости даем, так сказать, собирательные образы).

Тоже лет 20, 22 максимум. Значит, считайте: гражданский муж-студент — раз, плюс еще один очень умный (по ее словам) непостоянный бой-френд, лет 30 — два, в качестве личного психоаналитика (шутит); и — влюблена в своего старшего коллегу — три. А коллега женат, двое детей, один не свой... Тоже в молодости увел чью-то жену.

Повторяю: ей — 20 лет.

Уф... Дайте дух перевести.

Провожаешь ее в... например, в Дедовск (личный опыт, чего скрывать), там у ее родителей дача, идешь между домов, закат — в полнеба, начало лета, июнь, красиво, здорово, жасмин цветет, одуванчики, целуешься у заборов, до того провалялся с ней полдня на диване...

Потом через день встречаешь в институте под ручку с «гражданским мужем». И она тебе как ни в чем ни бывало звонким таким голоском:

— Здравствуйте...

Или я чего-то не понимаю. Скорее всего.

— А... — скажете, — *вот оно что*, «личный опыт»... Ну, ясно.

И ничего не «ясно». Не ясно. Интересный «момент»: тогда я просто пожимал плечами, и меня, в общем, устраивало положение вещей...

А сейчас возмущаюсь. Почему?

И еще вот, вроде бы посторонние соображения:

Есть такая отвратительная формула: «Занял свое место в литературе».

Формула окололитературной швали — критиков, журнальных редакторов, плохих университетских преподавателей. Такая смесь вдумчиво-

го идиота в кабинетике с книжными полками и советского писательства. Гессе? К сорока годам занял свое место в литературе. Рембо? Очень рано занял свое место в литературе. Довлатов? Ох, он долго не мог занять своего места...

Эти тараканы всю жизнь ползли к своему вонючему месту и хотят, чтобы не было никакой разницы между их службой, производством шарикоподшипников и моими одинокими ночными прогулками по спящей, черной, холодной, неоновой Москве. Разницы действительно нет. С одной стороны. А с другой — это даже не разница, это просто существование в разных измерениях.

Сравнение, как я уже говорил, очень неточное, но иногда мне кажется, что над академическим учреждением у Зоопарка довлело нечто подобное. «Место в литературе». Потеря масштаба. Неба. (Физика все же, там же космос, *суть,* разбегание Галактик, десять в девятой, в десятой, в двадцатой степени... Это сколько же?..) . И вдруг эта мелочь, дрянь, истерики, показуха...

Впрочем возможно, мне все это только кажется. Причем со стороны... Ведь были, были же и там настоящие ученые, без дураков.

Перечитал сейчас и понял: не то, плохо объяснил... Но я же предупреждал — плохо с формулировками.

БЕЛОЕ

Кажется — не кажется... А вообще-то, развернусь на 180 градусов: грех, грех жаловаться...

Начинали, я уже говорил, поздно, в десять-одиннадцать утра, сидели не в основном здании, а в подвальчике на Павелецкой, начальства не было никакого, народ делал, что хотел, но года до 90-го все держалось на пресловутом чувстве «ответственности перед коллективом», в этом разницы между кондовой отраслевой конторой и белой костью, академическим институтом, принципиально не было никакой. Уйти просто домой считалось невозможным, зато соврать, что идешь в «главное здание», и отправиться по своим делам, — пожалуйста. Что все и делали...

Я кроме того каждый день ходил переулками в большой книжный на Полянке (пару раз купил что-то очень интересное типа упомянутого выше Рембо с параллельным текстом), в комнате сослуживца Гринищенко совершенно откровенно стоял старый раскладывающийся диван, впрочем Гринищенко уверял, что поставил его *для отдыха приезжающих коллег из регионов*, и несколько приехавших *коллег* были очень ничего и, вероятно, действительно хорошо там отдохнули...

Особенно мне понравилась одна жгучая брюнетка-армянка, но я побоялся вендетты возможных родственников из Еревана, а Гринищенко, — запоздало-завистливо вздыхаю я, — не побоялся и правильно сделал! Она несколько раз потом приезжала к нему, отдыхать...

Плюс первые полгода слушать рассказы моего нового начальника о его путешествиях было даже интересно, он объехал действительно всю «одну шестую», много (и многих) видел...

Например, его встреча чуть не лоб в лоб с медведем в кедровнике Восточной Сибири, красный от цветения каких-то микроводорослей залив под Владивостоком (представляете, вся вода летом красная), веревка вокруг палатки от ядовитых фаланг в горах туркменского пустынного хребта Копет-Дага, где днем температура в тени доходит до 40 градусов, кстати, там он был с бывшим геологическим начальником Бродского... — ну где еще вы такое найдете?..

Полевой сезон в институте продолжался 2 — 3 месяца в году, и я тоже успел кое-куда съездить, хотя, конечно, не так, как старшие товарищи, — в 86 году финансирование было не то, что в 75-м. Но и я побывал на Северном Кавказе, в очень красивых и, что странно, совершенно безлюдных лесных горах, что отделяют черноморское побережье Новороссийска и Джубги от Краснодарского края, был в стране детства — на Камчатке, на этот раз доехав до знаменитой Долины гейзеров и глухого Западного побережья, до тундры, где видел, как растет золотой корень — кстати, совершенно невзрачные, забыл, кажется, розовые или сиреневые цветы на пологом склоне к *Тихому океану*...

А ночная ловля красной рыбы сеткой в этом Океане! А усыпанные птицами скалы, а совершенно дикий детеныш нерпы с круглыми, черными пуговицами-глазами на прибрежных камнях, такой дикий, что даже не спрятался при нашем появлении...

Так что, еще раз повторяю, жаловаться было бы грешно.

И тем не менее, в очередной раз простите за банальность и связанную с ней серьезность, с годами, особенно зимой, в Москве, особенно после путешествий, после полевого простора, после облаков внизу, под самолетными крыльями, отчетливо нарастало ощущение какой-то бессмысленности происходящего, от которой, пардон (но я тогда просто включился в академический стиль), не спасала даже частая смена сексуальных партнеров...

Сейчас надо бы рассказать еще пару сколь забавных, столь и поучительных историй, на эту тему, но — не хочу, сейчас интересно другое.

Ведь я действительно оказался среди своих. Все это, я уже сказал, было страшно похоже и на Литинститут, и на Дом литераторов и даже на мерцающий в вышине Союз Писателей. Та же банка с пауками. Клиника неврозов, выездное заседание. Пациент на пациенте, извините, сидел и пациентом же погонял. Ибо кто же они, все эти дельтапланеристы, туристы-альпинисты и Хемингуэи с большой дороги, исследователи Земли и Планет?.. Да-да — в институте был и такой отдел! Представляете, какой коктейль булькал за вполне невинными на пер-

вый взгляд фанерными дверями, под картами, например, Луны или Марса!..

А?! *Карта Луны*?! Море Радости, Море Изобилия...

Да там должны были сидеть одни гуру в черных халдейских шапках и халатах, расшитых звездами, а сидела унылая немолодая дама в очках и с вечно поджатыми ненакрашеными губами. До сих пор помню фамилию дамы — Аптекман...

Было в этом же отделе еще два козла, два хороших человека, две молодые девушки и один немолодой начальник — лауреат Государственной премии с гордо поднятой по этому случаю головой...

Одной из девушек ваш покорный слуга, к слову, симпатизировал. (Нет — нет, это не та, которая «провожать в Дедовск». Другая...). Но и ее — тоже, — как-то раз или два — провожал домой (а что вы хотите, инерция, не по воздуху же нам было летать) и еще более, был приглашен зайти, и еще далее (откройте глаза — ничего не будет...) пил дома чай с лимоном, был познакомлен с очень милой мамой, но — дальше дело почему-то не пошло... То ли мешал отрицательный опыт с «Дедовском» — а вдруг за ангельской наружностью опять скрывается циничное чудовище, то ли испугался мамы, ставшей в моих глазах репрезентацией возможных «серьезных намерений», не знаю...

Но симпатия осталась, и иногда беседовали о высоком.

Индийская философия, греки, психопатология обыденной жизни (сотрудников), Фрейд, Юнг, опять достижения психоанализа, «Что делать?» в смысле тактики и стратегии жизненного пути (это, увы, часто в свете отрицательного опыта старших товарищей), даже наука... — но тут в основном говорила она.

Хочу опять (раз уж я до вас дозвонился...) передать привет.

— Але, Наденька, вы меня слышите?.. Вам привет и спасибо! Как вы? Я живу ничего...

Должен сказать, что от нее я узнал очень много интересного и даже, я бы сказал, пользуясь терминологией русского философа Петра Демьяновича Успенского, — *чудесного*... Например (и, может быть, это вы, мои умные, ученые и просвещенные, прекрасно знаете):

Что звезды, в принципе, должны быть разноцветными и только из-за какого-то досадного оптико-атмосферного эффекта мы видим их свет голубым и холодным...

— Знаете? А я вот не знал...

Ночное небо должно сверкать всеми цветами радуги, это должен быть цветовой калейдоскоп, фейерверк и божественный салют в нашу честь!.. — говорила она как-то,подняв к темному небу очаровательную головку...

А?! Нет, правда?! Я к чему веду: может ли у нас в принципе быть хандра или плохое настроение, можем ли мы обратить внимание на какую-нибудь жизненную мелочевку и чепуху под таким небом?!..

Кстати, эта девушка, Надя, как я позднее узнал, то ли под влиянием бесед с нашим героем, а то ли эти беседы просто послужили катализатором, спровоцировали давно тлеющий пожар, она в конце концов ушла — и не только из института, не только из Отдела планет, *но даже из академической аспирантуры* Сначала невинно — в аспирантуру философскую, потом просто в философию, а потом обвал — вообще в никуда, в какую-то индийскую группу или секту какого-то учителя, какого-то Шри, специально приехавшего в Россию просвещать и наставлять нас заблудших и растерянных, имя которого я, к сожалению, не запомнил. Там, в группе, у ног Учителя, она просветлилась и успокоилась, в чем автор и убедился лично сам, когда вдруг решил поздравить ее с 8 марта году в 96—95-м.

Мы немного поговорили, голос ее звучал как обычно, Надя и Надя. Однако на попытку автора плоско пошутить на какую-то религиозно-философскую тему она (вдруг) спокойно сказала, что *так* шутить не нужно, да и вообще не очень-то это нужно — шутить и что она помолится или помедитирует за автора, когда повесит трубку, чтобы и он достиг хотя бы мимолетного просветления и успокоения и перестал все время *вот так*... это... ерничать... ну, в общем, вы поняли...

И что самое удивительное (о великая сила внушения, что же еще?!), повесив трубку, автор действительно почувствовал на некоторое время какое-то странное успокоение и легкость и даже, мы бы сказали, покой и очень удивился этому, но вскоре куда-то позвонил, какому-то, видимо, непросветленному человеку, или ему позвонили, тоже непросветленный человек, и ощущение прошло.

КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ: ОДИН

Кончилось все это элементарно. В начале 1992 года и, разумеется, не по моей воле, я бы еще лет десять тянул. Господь так захотел. Или, если хотите, История, персонально Е.Гайдар, Б. Ельцин, Сидор Петров, Рональд Рейган, масоны, ЦРУ, Политбюро, КГБ and Co.

Впрочем, ничего особенного, не было никакого видимого грома и молнии (только невидимые), колокольного звона (а вот это зря) или хотя бы хора.

Шли мы как-то с приятелем из института, обсуждая начавшийся обвал цен, безденежье и в связи с этим планы на Новый год (дело было в начале декабря). Говорили, что становится невозможно прожить на зарплату. Что нет денег поехать на детские зимние каникулы в академический пансионат «Звенигород» покататься на лыжах. Что следующим летом «в поле», наверное, не поедем — опять же нет денег, но уже в институте... Подошли к киноафише. Помните, была такая разграфленная в линеечку афиша, висела на каждом углу? Все кинотеатры города. А названия (вы позволите немного ностальгии?): «Ударник», «Украина», «Урал», «Литва»... Где теперь это все? И тут я ни с того ни

с сего, видимо, выпендриваясь перед приятелем, занимавшим более высокую ступень в институтской иерархии, заявил:

— Нет, я так жить не буду. Я денег достану!

И чего вдруг я так сказал... Не постигаю до сих пор. Никаких намерений «достать денег» за 5 минут до того у меня не было. Как всегда, просто так брякнул. Но самое интересное, не прошло и двух месяцев, как я осуществил свое намерение. И опять, повторяю, *не всерьез.*

Потому что будучи за полгода до того, в 1991 году, в очередной раз в летнем отпуске в своем любимом Таллинне (как раз перед ГКЧП...) и по привычке зайдя в тамошний книжный магазин, я обратил внимание на почти трехкратную по сравнению с Москвой разницу цен на книги. Странно, очень странно, но я вдруг, без колебаний, спросил у продавщиц: а где у вас директор?

— А что фам надо? — спросили дружелюбные эстонки.

— У меня коммерческое предложение!

А потом зашел к директору и предложил:

— Хотите разницу в два раза?

Вышел очень гордый: как *адекватно* я реагирую на Время !.. Через час забыл об этом и вспомнил об этом только после Нового года, как раз «после афиши», шутя рассказал одному приятелю, жаловавшемуся на безденежье. А он ухватился: давай!..

Созвонились с Эстонией. *И поехали!..*

Собственно говоря, здесь можно было бы спокойно ставить точку, закончить повесть о моем безделье... Картавя: р-революция, о которой так долго говор-рили большевики, свер-ршилась!

Примечание

Осмысливая прошлое с точки зрения заявленных тем «истории безделья» или «заячьей борьбы», можно предположить, что мои «не всерьез», видимо, играли роль своеобразной анестезии, смазки, наркотика, даже стакана водки перед атакой, так как с их помощью, я... Ну и т.д., вам ясно... Захваченный общей предвыборной телеистерией (на дворе ночь 28/29.11.99*), готовясь голосовать за правое дело и внося в свой скромный труд научно-политологическую струю, как бравый солдат Швейк, осмелюсь предположить, что если бы наши реформаторы употребили бы похожую, как говорится, социальную тактику типа: да ладно, ребята, мы ж играем... Еще бы плюс тыл в виде долларовой поддержки папы Сэма (или дяди?.. ну, все равно родственник) тогда-то, в 91—92 гг., она ведь была, и если бы было украдено не 3/4, а 2/3..., то возможно все было бы по-другому... Все...

Конец примечания

* Накануне парламентских выборов в России

Были еще и личные обстоятельства: я тогда женился и решил купить молодой жене кухонный комбайн, надо было подработать, импортный комбайн фирмы «Филипс» стоил как раз мою зарплату в Институте Физики и ...

...И еще вдруг захотелось себе доказать — вокруг уже было много разговоров о деньгах, *о бизнесе*, о больших деньгах, об очень больших, в Москве появились иномарки, знакомый вдруг стал ездить на джипе, на Цветном бульваре со столиков вовсю торговали «ценными бумагами», МММ, Гермес-финанс, по телевизору шла реклама: 100, 200, 300 — процентов годовых... — доказать, *что я тоже могу*...

Очень большую роль (еще одно «спасибо») сыграл друг-грузин, однокашник по Литературному институту, всерьез занявшийся бизнесом, все время говоривший о каких-то акциях, банках, кредитах, факсах, долларах, пиастрах... Одно время у меня дома даже стояло несколько его коробок с *товаром*— сигареты,предназначенных для отправки *дилеру* в провинцию... Несколько раз он звонил от меня *по делам*. В результате мне тоже захотелось сначала попробовать, а потом доказать себе, что *и я могу* все это: факс, ксерокс, дилер, переговоры... И не мандарины или сигареты, а что нибудь *попричинее*

То есть, вы понимаете, я не просто зашел к директору книжного магазина в Таллинне и что-то предложил, а у меня *тоже были дела*...

Плюс ставший натурой «Совок». При всех понтах и телефаксах, даже при ксероксах торговля — НЕ РАБОТА, коммерция — НЕ РАБОТА. Тогда, три — максимум пять лет назад, про это говорили: фарцовка, спекуляция, гадость, антиобщественные элементы...

Ну, а мне только дай побыть антиобщественным элементом — раз, да и действительно, разве ЗА РАБОТУ *так много — платят*?

(*Так много* — не пугайтесь, в смысле несколько больше, чем нищенская зарплата институтского ме-не-эса...). Нет, конечно, за работу платят — мало. То есть это — не работа. Это такая опасная, запрещенная игра, ненадолго (так все время казалось) ставшая разрешенной.

Эх, деньги, деньги всё... Пятая стихия.

Институтский Хосе Марти с 20-летним стажем был куплен за 50-долларовый кухонный комбайн «PHILIPS». Команданте Серго тихо сдал оружие и вошел в буржуазный парламент на правах легальной левой оппозиции.

Как все оказывается просто.

А может быть... Никогда и не было бы никакого Хосе Марти, если бы... тихому инженеру побольше платили?

А еще может быть, что это была всего лишь личная часть коллективного айсберга — вместе со всем сообществом — продаться с потрохами. Кто бы купил?.. Ведь *потреблять* — это так приятно, почти сек-

суально. Пылесосы, кофемолки, электроплиты, видеомагнитофоны, телевизоры... Кофе «Карт нуар», свежие помидоры в декабре, сыр «пармезан», российский или чеддерр, какой хочешь, 20 сортов колбас, мясо по-французски или под соусом и в белом вине. (И все это после 80 лет голодухи).

Как в каком-то хорошем югославском фильме, смотрел недавно: партизаны-антифашисты не знают, что кончилась война. 30 лет сидят в лесу. Случайно выходят году в 75-м и видят, что враг давно разбит, политрук купил цветной телевизор, а комкор носит фетровую ковбойскую шляпу и курит сигареты «Мальборо»...Что у всех давно все хорошо...

Общее разочарование.

10. ИЗ ЗАПИСИ ПЯТОЙ: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Приближаясь к концу повести, спрашиваю себя: ну, и что же *в итоге*? Наш герой перестал быть «бездельником»? Неужели он бросил это священное зеленое знамя всех самозванцев и лжепророков?

Успокойтесь, друзья мои, конечно нет. Просто...

TO DO OR NOT TO DO

Позволю себе задать себе же странный вопрос: что я люблю?.. И не *вообще* — например, женщин, радугу, пепси-колу, спички, запах черемухи, лето, облака (о, как красиво), а... — *делать*

Из школьных уроков английского помню, что глагол to do играет у них чрезвычайно важную роль — без него невозможно построить предложение.

А жизнь?..

Можно ли в жизни — *ничего не делать*? Ну, хотя бы *не работать*? На минуту оставим в стороне деньги и хлеб насущный...

Я беру новый этимологический словарь профессора Черных и смотрю его на слове *делать*. Потом ищу еще одно — *работа*. Слава Богу, мы все-таки не в бездушной Европе... Хотя в некоторых славянских языках эти два понятия обозначаются одним словом (sic !).

Причем, объясняя слово «работа», словарь (или ренегат-профессор), естественно, не жалеет черной краски. То есть сначала приводятся корректные демократические современные существительные: служба, занятие. Но чем дальше в лес — тем больше дров. Тут и «барщина», и «тяжелый труд» (цивилизованная Чехия), и «подневольный труд» (разленившиеся южные славяне и даже хорваты), и «тянуть лямку» (не лишившиеся чувства юмора словаки), и унылое «средство существования» (Польша). Но больше всего меня потрясают наши предки. Среди древнерусских (с XI века! А до?) синонимов и значений слова «работа» первыми называются *рабство* и *неволя*, за сохраняющим остатки достоинства *работником* почти сразу следует просто *раб*, среди глаго-

лов — например, *работать* — значит не иначе находится в рабстве, а из мягких, женственных отглагольных прилагательных приведены *порабощенный* и *подневольный!*..

И только с XVII века, — поджав губы, замечает профессор-диверсант, — после Петра I, намечается некоторый семантический сдвиг в значении этих слов...

Я т-те дам семантический сдвиг!.. Молодцы русичи! Молодцы славяне! Ура! Работать не надо! Смерть профессору! Руки прочь от боярской бороды! Мы не рабы — рабы не мы...

Что еще?

В том же словаре: глагол *мочь* ... Один из эпитетов бога плодородия Индры — могущественный... могущий. То есть — немного демагогии — *могут* только боги.

А не-боги?

— А не боги не могут.

Не-боги могут вспомнить о разной, как говорят, ментальности, разных типах цивилизации — восточной и западной, склонности к созерцанию и склонности к деятельности, сослаться на румына Элиаде, немца Юнга, японца Судзуки и учителя радости Ошо...

Но все они мне немного надоели... Плюс я уже говорил, с обобщениями, тем более философскими, у меня плохо. Мы это не очень можем...

Зато можно другое — и самое смешное, что правда, *можно* — зайти в любое турагенство и купить авиабилет (вот только в один или в оба конца?) в Дели, Бомбей, Коломбо или Катманду, сесть на самолет — и, *там даже визы нет,* — улететь хотя бы на несколько месяцев, тысячелетий, лет, или просто до весны, пока не кончатся деньги...

К морю.

Привет, свободная стихия!..

КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ: ДВА

А что — прошлой осенью, в холодный ноябрьский вечер после кризиса 98 года в кафе при Киноцентре автор познакомился сразу с двумя очень милыми девушками, которые собирались именно так и поступить. Беседуя, мы в очередной раз со смешанным чувством радости-страха — удивления поняли, что между нашими поколениями, как ни странно, очень много (неожиданно) общего и еще, что молодое поколение давно выбрало «пепси» и в историческое «назад» возврата, возможно, уже и нет...

— А что тут сейчас делать? — сказали девочки, — сейчас кризис, много не заработаешь, надо отсидеться в теплых краях. И надо-то всего 2000 долларов, и то из них — 1000 на билет, 1000 — на жизнь. А в Москве кофе стоит два доллара.

Автор меланхолично соглашался: действительно, два, и думал: а что делал я в свои 22 и 23 года?.. (Барышням было примерно столько). И не вспомнишь (см. начало) — на работу ходил, доставал книги. Глупо...

Девочки уже бывали на Цейлоне и рассказывали чудесные истории о пустых пятизвездочных отелях на берегу океана за 5 долларов в сутки, о темнокожих сексуальных рабынях за доллар, о криках попугаев в кронах королевских пальм на берегу, о священных животных-обезьянах, ворующих еду с ресторанных столиков, а трогать их нельзя — потому что священные, о голубой прозрачной воде Индийского океана и удивительных разноцветных раковинах, которые за бесценок продают на местном рынке.

— Как на картинах этого... Врубеля, — сказала та, что постарше, и автор внимательно посмотрел на нее:

— Смотри-ка *что знает*... А ведь так молода...

— Кстати, ты писатель? Там Артур Кларк живет. Ему 80 лет, — сказала та, что помладше, и автор совсем растерялся...

А говорят, что *их* интересует одно МузТВ...

Там, под другим небом, в тени других богов, на пляже, в номере с открытым балконом, засыпая и просыпаясь под шум волны, поглаживая загорелую, нет, бронзовую ногу местной красавицы, а может быть, ножку младшей из девушек, Катюши, возможно, именно там я наконец смогу по-настоящему ничего не делать и, главное, не переживать из-за этого, ведь там весь мир предается созерцанию, НИКТО, исключая придурковатого черного клерка на ресепшене, минимум на 170 английских миль вокруг, НИЧЕМ НЕ ЗАНЯТ, всё отдано медленному течению, шевелению листвы, жаркому солнцу, неге, медитации...

И лишь изредка (и вздрагивая) вспоминать — нате вам! — о печальном береге — темной, зимней, холодной, злой, мчащейся, сверкающей, озабоченной Москве...

А можно было бы уехать даже и оттуда, из Коломбо, уехать вообще *на Острова*. На *совсем Острова*. Куда-нибудь в Папеэте, на Таити, как Гоген; на острова Фиджи, колониальный английский рай, белые невысокие дома и опять пальмы, зелень, голубое море, на Самоа, как Стивенсон...

Писать «Остров сокровищ»...

Я как-то читал об этом и даже видел фотографию в иллюстрированном журнале. Океан, закат, легкий деревянный домик — почти хижина — на пустом песчаном берегу, цветущие розовым кусты на заднем плане и загорелый человек в шортах, лицом к океану. Статья называлась: «Бегство». Оказывается, на островах Тихого океана, в самых пустынных местах, можно часто встретить европейцев. Это, наверное, как у нас, особенно раньше, в конце застоя, или в Перестройку: доктор физико-математических наук покупал себе дом в деревне и постепенно переселялся

туда. Происходит от разочарования, несчастной любви, чрезмерного увлечения книгами, философией, православием, буддизмом и прочее...

Можно, конечно, и в заброшенную деревню, мир един, и везде будешь возить себя самого, в деревню на авиабилет тратиться не нужно, да и вернуться все же легче, мало ли что, не за 10 000 километров ехать, но меня пугает климат. Погода...

Темно, холодно, снег, дождь, осень, *зима*... Зимой рассвет в 9, закат в 16. 30. Из 24-х часов что прикажете делать в остальное время? Принимать C_2H_5OH? Курить анашу? Спать? Роман писать? Так я не пишу романов. Только маленькие. У меня так сказать, другие формы...

А цветущие розовым? Говорят круглый год... Одни осыпаются, зацветают другие.

SUMMARY

Все-таки: «о чем написана эта книга»? Просто о том, что полжизни, как кузнечик по поляне, пропрыгал от государственного сачка?

Возможно, в своих поисках жизненной философии (можно было сделать в начале еще один подзаголовок) я иду по неправильному пути. Кто-то из великих говорил, что настоящая биография писателя — это его книги. Но если продолжить эту мысль, то что будет биографией сантехника или проститутки?!

Так что классик наврал и мы с негодованием отвергаем его идею. И если будет позволено высказаться нам, то скромно заметим, что настоящая биография писателя заключена во многих вещах. Среди них, конечно, и книги. Но и детский лепет в его доме, и случайная улыбка красивой женщины на улице, и одинокое сидение у ночного окна, и увиденные из окна маршрутного автобуса разноцветные крымские горы в сентябре, и упомянутые выше цветущие розовым кусты рододендрона у ворот маленькой курортной гостиницы на Кипре, и чашка кофе в полупустом городском кафе утром перед работой — я специально перечисляю то, что считается *пустяками,* то, *что неважно*

Автор возвращается назад. Перелистывает страницы. Сколько же здесь написано... Камчатка, Цейлон, студенческая картошка... И странная мысль. А сочинение слов можно назвать... *делом*? Может быть, именно это малопочтенное, но, говорят, довольно древнее занятие, и является главным делом и даже *бизнесом* автора? Солидно: ну, что же, почему нет...

А простое написание букв, не слов — это тоже *дело*?.. Из букв складываются слова, мой компьютер педантично фиксирует каждое нажатие на клавишу, даже пробел. На данный момент эта история состоит примерно из 189000 символов, из 189000 нажатий на кнопки.

Титанический труд!

Какая разница, что выливается из-под этих нажатий (как эротично), что за строки возникают на мониторе... Может быть — любая какофония... Важно другое: а что если я выдерну штепсель из розетки и не нажму клавишу «сохранить»? Все исчезнет. Вопрос: *в счет ли тогда* мой труд? Отметят ли его во Всемирной Книге Приходов и Уходов?

189000. Поэма! Слушайте, товарищи потомки... Что-то много у нас здесь отсылок к Владимир-Владимировичу...

Мне вдруг представляется странная вещь. Что все буквы этой «истории» — это маленькие человечки, лилипуты, вроде персонажей Свифта. Их очень много, большая городская площадь, заполненная народом, целое море голов, я вижу все это как будто сверху — скажем, с крыши большого дома над площадью; людей очень много, толпа выплескивается на прилегающие скверы и боковые улочки, потом редеет, вереницы машин, столики уличных кафе, люди на пешеходном переходе, велосипедисты, крыши — в придуманном городе идет обычная жизнь...

Что с этим со всем делать? Не знаю... Вдоволь насмотревшись на создание своих рук, автор по боковой лестнице спускается с крыши на верхний этаж, потом на лифте вниз и, через «черный ход» выйдя на улицу, теряется в толпе...

Остается перечислить, что осталось «за пределами этой книги.. Не так много.

По мелочи: я боюсь, а лучше — мне будет жаль, если я здесь, в основном, нес многозначительные банальности, и еще будет жаль, если какая-нибудь тупая сволочь — критик прочтет все это и скажет: так и есть. Очередные излияния очередной непонятой большой души...

И мне будет очень жаль, если я действительно не сказал, что хотел, или сказал не так и не то... Но вроде сказал.

По-крупному: боюсь (сплошные страхи) элементарно просрать свою жизнь на московском асфальте, ведь мне скоро сорок и, когда я прохожу в районе Неглинки между Рождественским и Петровским бульварами и смотрю на столь любимые мною купеческие особняки начала века по обеим сторонам бульвара — стиль модерн де ля рюс, знатоки говорят «китч», а мне очень нравится... — и присаживаюсь за столик летнего кафе, я очень хорошо помню, как и пять, и десять, и пятнадцать лет назад я так же проходил именно здесь и мне так же нравились тогда еще не отреставрированные и не отмытые старые особняки, и я так же усаживался, но не в кафе, кафе тогда не было (может быть, в этом смысл?), а на лавочку, вздыхал, смотрел по сторонам и доставал из сумки какую-нибудь хорошую книжку и — и что?

А ничего.

Также осталась пара-тройка картин, в основном, из детства (до-историческая свобода?..), которые почему-то кажутся мне здесь уместными, но я не знал, куда их поставить в течение всей «повести» и поэтому поставлю в конце.

Я ведь, товарищи, только родился в Москве, а вырос на Дальнем Востоке, за десять с лишним тысяч километров отсюда, от квартиры и стола, где сейчас сочиняю эту жалобу, от постриженных тополей за окном, от проспекта со строящимся небоскребом *делового центра*, девять или теперь восемь (скорости возросли) часов лету через полярный круг (ярко — ярко-голубое небо, слепящее глаза солнце, загибающаяся к горизонту вся в лужицах и лужах воды озер земля внизу...), совсем другая — или теперь это только так кажется — жизнь...

ХОРОШЕЕ

В центре Петропавловска, у порта, у памятника Лаперузу, на исторической главной улице сохранилось несколько японских домов со знаменитыми козырьками, одна над другой крышами. В одном из них на первом этаже был магазин «Филателия», где ваш покорный слуга изредка, экономя на школьных завтраках, покупал марки...

Как сейчас помню, моя первая серия: разноцветные роскошные «жуки» королевства (или тогда уже прозаичнее — республики?.. народной республики?..) Бурунди... За 5 лет собирания набрал, кстати, приличную коллекцию, большой венгерский кляссер: животные, космос, спорт...

Солнечный день, конец зимы или ранняя весна, на асфальте серый, скукожившийся снег и ручей, мама дает 3 рубля, и я еду в «Филателию» через весь город, водитель с кем-то заговорился, и автобус немного проезжает и останавливается почти в порту. Порт — следующая остановка, вокруг мачты, флаги — хотелось бы написать *всех стран* (но фигу — в какое время жили, не забывайте) — сигнальные флаги Морфлота СССР. Но все равно здорово, и белый красавец, пассажирский лайнер сообщения Петропавловск — Владивосток, у пристани возвышается над зданием морского вокзала, огромный, как дом...

А наверху, на валу, по дороге к скверу, магазину «Рыба» и упоминавшемуся выше памятнику — чугунные пушки времен Крымской войны, союзники пытались высадиться и на Камчатке, но, в отличие от Крыма, не вышло...

Ну что, кайф?

То-то.

Сегодняшняя ремарка: а может и жаль, что не вышло?.. Была бы такая вторая Аляска или Остров Крым, только не Крым, а Камчатка...

Чуть дальше в бухту от этого места, за огороженной колючкой и никем, разумеется, не охраняемой территорией стратегической нефтебазы Тихоокеанского флота мы с соседом ловили на мясо с брошенного ржавого пирса странную (судя по названию — японскую) рыбу сайру.

Странную потому, что максимум за день до, так сказать, личного свидания на прозрачном мелководье у пирса все видели ее в городе в совершенно другом виде — в виде всем известных желтых консервных банок «Сайра бланшированная в масле», за 1 рубль 40 копеек ... и познавали таким способом что?

Релятивизм жизни?

Ее цинизм?

Просто *as it is?*

В, кажется, 80—м году, уже в Москве, в первый, романтический год с первой (романтической) женой (впрочем, какая жена, мне было 19, а ей 18 — дети) поехали куда-то в Теплый стан, а может в Чертаново, словом, куда то далеко, почти не Москва, там была тогда филателистическая комиссионка. И — продали всю коллекцию какому-то барыге у входа за 50 рублей вместе с венгерским альбомом. В самом магазине компаньоны барыги предложили вообще 30.

Зачем продал?

Спросите что-нибудь полегче. На что-то не хватало.Сейчас уже не помню, на что.

И? К чему собственно я это все рассказываю, к чему веду? Противопоставляю здоровый провинциальный уклад растленной столице?.. Сергеев — писатель-деревенщик, типа *Распутин*?

Да вроде бы нет.

Если уж вспомнили детство и морскую рыбалку, которая, хочу вам сказать, очень сильно отличается от рыбалки, так сказать, сухопутной — на реке или озере (возьмем хотя бы психоаналитический контекст), то невозможно не упомянуть и о других (как назвать — ихтиологических?) забавах — об аквариуме на пять ведер, купленном за десятку на рынке, об уже упоминавшихся не съеденных завтраках и сэкономленных гривенниках и пятнашках (в этом месте в радиопостановке за кадром должна пойти песня «когда ласкали вы детей своих, я горевал, я голодал»), о трех последовательно купленных на эти деньги толстеньких серо-зеленых рыбках *гурами* с длиннющими лианами-усами и так же последовательно и неизвестно от чего сдохших...

Я был безутешен. И не столько оттого (нынешняя мотивация), что пропали деньги, сколько от вопиющей бессмыслицы своего «почему». Причем мне бы успокоится хотя бы на второй паре, понять, что мол, просто не судьба... нет, надо было три раза... Ибо ведь у соседа же — этого не было! У него же гурами жили! Зато оранжевые быстрые барбусы, обитатели теплых лагун Вьетнама, вот они прижились, рожденные дикой азиатской несвободой (шучу, но дело происходило в самый пик вьетконговского триумфа, 72-й год), и я наслаждался их юркими оранжевыми спинками, мелькающими среди подводных лиан, долгими зимними вечерами два или три года. А привезенная мамой из Москвы

самолетом в баночке из-под ряженки иссиня-черная быстрая молинезия и кусочек ветвистой подводной травы!..

Вопрос: что тебе привезти из Москвы? И моментальный, с замирающим сердцем ответ:

— Молинезию...

Что поразительно: ведь помню все названия..

Что еще?...

Разумеется, первый поцелуй, разумеется, первое хватание под партой девочки за коленку (произошло раньше, чем поцелуй), потом неожиданное — три огромные желтые бабочки-махаона, случайно обнаруженные в начале лета в траве, почему-то сонные — не улетели (замерзли) при моем появлении...

И, конечно, первая любовь.

Кстати, когда в 74-м году я уезжал на «материк» (так называют на Дальнем Востоке *остальную* землю), может быть потому, что московский самолет улетал рано утром, а может быть из-за перемены погоды и весны на улице стоял густейший туман, такси медленно ползло по узкому, петлявшему по сопкам шоссе, из тумана выступали свисающие на дорогу ветки каких то деревьев... Была середина мая — а только-только стала появляться первая зелень, крошечные фиолетовые и белые цветы, подснежники, мать и мачеха, еще что-то, не знаю названия, еще кое-где в тени даже лежал снег...

Почему был такой туман? Просто утро? Или... Вот что хочу спросить: Вы никогда не замечали обыденной, но совершенно отчетливой жизненной мистики, проявляющей себя не громом и молнией, а абсолютно бытовыми вещами, вот в описываемом случае туманом, у кого-то в каком-то другом случае появлением или исчезновением какого-то человека?.. Может быть, здесь туман означал окончание детства?. .

Странно, вроде бы по широте Петропавловск не севернее Москвы, а лето из-за близости ледяного Охотского моря наступало только к концу июня. Но это было настоящее субтропическое лето. Куда-то пропадала сухая прошлогодняя трава, наливались странной, не российской, густой зеленью листья, появлялись огромные желтые бабочки-махаоны (см. выше) и цветы... Например ирисы. Как вам — сопка, поросшая густым, фиолетовым ковром из ирисов? И рядом еще одна. Не вспоминаются ли вам японские гравюры?.. Хокусаи? Хирошиге? Весенний дождь над Хуанхе?

Иногда думаю, что зря я оттуда так рано уехал. Надо было доучиться до 10-го класса, поступить на факультет журналистики во Владивостоке, жениться на своей первой любви, дочери знаменитого на Камчатке капитана дальнего плавания, и так, оттуда, издалека, начать свой поход на Москву.

Не начал, уехал, не поступил, не женился. Впрочем, помнил ее еще долго, до аж 83-го или даже 84-го года (десять лет !), когда приехал после геологического института в командировку на две недели и в первый же день, переходя дорогу, чуть не столкнулся с огромным толстым мужиком в болотных, завернутых по местной моде сапогах. Мужик, весь заросший рыжим обезьянним волосом (руки, грудь из-под тельняшки) вдруг заулыбался и окликнул меня. Серега! Мы обнялись. Из-за мужика выглянул мой детский друг и сосед, тихий толстяк и собиратель фантиков из-под «жувачки» со странной гоголевской фамилией Ворона. После первой неловкости я кинулся его расспрашивать: а тот, а эта?.. И минут через пять, самое большее, он рассказал *мне* душераздирающую историю о своей любви и бурном романе с моей первой любовью...

Дело произошло уже после школы, она уже вышла в первый (?!) раз замуж и приехала с маленькой дочкой в гости из того самого Владивостока, в который не поехал я. Они встретились случайно у Людки («помнишь?») из 4-го дома...

Я слушал и не слышал. Я смотрел на огромные волосатые руки друга моего детства и не мог понять: как же так?! Эти руки... этот огромный мужик — и моя тоненькая, похожая на веточку, веточку вербы, любовь... Я помню, как она заболела, ее положили в больницу и я ходил к ней в последний год перед отъездом, и мы стояли в вестибюле, она была в халатике, и у нее почти не было еще груди, в тринадцать-то лет... не то что у той же Людки, у которой с 6-го класса были огромные сиськи, и мне это было все равно, я даже думал: и пусть,— представляете?..

— Она долго колебалась, но потом уехала во Владивосток к мужу, — сказал Сережа, — и больше я ее не видел.

Мы простились. Я обещал зайти, он жил все там же, где и раньше, с мамой и женой, он женился недавно на соседке снизу, я ее не знал, она приехала уже после моего отъезда. Я обещал зайти — познакомиться с женой, но разумеется не зашел. Кажется, у меня отразилось что-то на лице, так как он как-то странно посмотрел на меня, когда мы прощались.

Так-то. Слышишь ли ты меня, любовь моя номер один, бывают же в жизни чудеса, отзовись, я до сих пор, до **сих** пор, в сочинительском экстазе, в ночи, на другой планете и в другой стране, в другой жизни, я до сих пор помню тебя.

Занавес.

И еще одна картинка — зимняя.

Запуск воздушного змея из дефицитного китайского конструктора, который никак не хотел взлетать. И вот я бегу изо всех сил по дороге с длинной нитью в руке, а змей, петляя, зигзагами несется за мной и

никак не взлетает — точнее, он вроде бы взлетает, но стоит мне остановиться, тут же падает... И вдруг я все-таки ловлю какой-то восходящий или нисходящий поток воздуха метрах в пятнадцати-двадцати над землей, белый бумажный квадрат, наконец, поднимается, останавливается и повисает совершенно неподвижно, и эту картину я почему-то отчетливо помню:

Зима 1972 года, сугробы
мне лет двенадцать
дома дорога в бухту
внизу корабли
.....
Садящееся солнце
змей взлетев
повисает как раз «напротив него»
вокруг желтоватые тени
совершенное
даже (сегодняшняя вставка)
какое-то странное безлюдье
хвост змея украшенный
разноцветными флажками
красными желтыми синими
полощется в воздухе где-то рядом

Впрочем, про хвост я на самом деле ничего не помню, не буду врать. Возможно, он, правда, болтался где-то рядом, совсем невысоко над землей, а возможно его и не было вовсе, и я его здесь повесил для красоты...

И последнее.

Вы можете спросить: а чем автор занимается сейчас? Да так, ничем. Работает экспедитором в небольшой книжной фирме, пишет историческую повесть и собирается весной закончить курсы фотографов — он слышал, что фотографам теперь неплохо платят.

Но все это неинтересно. Я лучше процитирую вам одно место, которое я нашел у Аврелия Августина, в его «Исповеди», неплохое карманное издание которой купил недавно.

Господи, забавы взрослых, говорит Августин, называются делом, у детей они тоже дело, но взрослые за них наказывают, и никто не жалеет ни детей, ни взрослых, Господи...

Вот и всё.

ЖЕРТВЕННОЕ ЖИЗНИ ПРОРАСТАНЬЕ

* * *

Я ничего не видел, кроме
Крыльца впотьмах и света в доме,
Собак на сене и соломе,
Нагого пламени в кострах,
Ветвей, исхлестанных ветрами,
Лица неведомого в раме, —
И потому гадайте сами,
Кого охватывает страх.

Казалось зрение усталым —
Пора довольствоваться старым,
И ни к чему кичиться даром,
Тянуться к чарам и углам,
Где ветер выглядит сутулым
В обнимку с книгою и стулом —
И целит умыслом, как дулом,
В простор с водою пополам.

Промокла времени громада,
Зола рассыпана по саду,
Пропета лета серенада
Кому-то, скрытому в глуши, —
Зато́ дарована свобода
Зеркальной двойственностью года
Тому, кто в гуще небосвода
Приют отыщет для души.

Владимир АЛЕЙНИКОВ — родился в 1946 году. Окончил Московский государственный университет. Основатель литературного содружества СМОГ (1965 — 1968). Начиная с 1965 года стихи публиковались на Западе (в частности, в "Континенте"). Автор нескольких поэтических сборников. Член ПЕН-клуба. Живет в Коктебеле.

Листвы шуршащее свеченье,
Ненастных сфер коловращенье,
Молчанье и столоверченье,
Шарады, ребусы, часы
Уже не скуки, но желанья,
Негодованья, пониманья,
Томленья, самовозгоранья
Неувядаемой красы.

Кто правит бал и дружен с ленью,
Кому подвластны поколенья —
И кто на грани изумленья
Откроет невидаль вокруг?
В печи моленье и камланье,
Поленьев щелканье, пыланье,
Как бы от памяти посланье, —
И некий жар почуешь вдруг.

Играя с истиною в жмурки,
Срезая вянущие шкурки,
Гася то спички, то окурки,
Перебирая всякий хлам,
Найдешь нежданные подарки —
Свечные желтые огарки,
Проштемпелеванные марки,
Тетрадей брошенных бедлам.

Никто на свете не обяжет
Учесть твой опыт — весь, что нажит,
Никто, конечно, не подскажет,
Что в этом нечто все же есть, —
Беспечность рожицу скукожит,
Октябрь уже почти что прожит,
И жизнь пока что не тревожит,
Готовя завтрашнюю весть.

Ну что же, выглядишь неплохо —
Уже на краешке эпоха,
Уже на донышке подвоха
Шестидесятников запал,
И всё, что было, не помеха, —
И между тем нам не до смеха,
И так далеко до успеха,
Что эха чудится оскал.

Но ты подпитывай сознанье
Всем тем, что будит осязанье,
Иголки ловит ускользанье,
Синицу или журавля,
Покуда прежнее везенье
Не надоест до оборзенья,
Другим оставив угрызенья,
На всех глазея с корабля.

Очнись и выйди на дорогу
К иному празднеству и к Богу,
Ищи защиту и подмогу,
В невзгодах имя сбереги, —
Мозги захлестывает влага,
Прибой кобенится, как брага, —
И укрепляется отвага,
Чтоб слышать вечности шаги.

* * *

Какая-то млечная пыль
Вблизи появляется странно, —
Как шею желанью ни мыль,
Оно, как и прежде, нежданно
Сумеет туда увести,
Где собраны крохи простора
В широкой и веской горсти
Врожденного, видно, отбора.

И правда — какая там суть
Без этого старого жеста,
Когда, лишь успеешь вздохнуть,
Как вздоху находится место
Не там, где вначале хотел —
Поближе к теням, поскромнее, —
А там, где свободно летел,
Парил, надышавшись полнее.

А ночь подбирает ключи,
Еще находясь за горами,
К мерцанью вечерней свечи —
И выйти готова с дарами,
И страсть ощущаешь опять
В струении каждого мига
Туда — в круговерть, в благодать,
Чьей новью пропитана книга.

* * *

С поднятой головой,
Вглядываясь, вбирая
То ли остаток рая,
То ли костяк сарая
В мир обреченный свой, —
Жизнь предстоит вторая —
Встретимся за листвой.

Полно хандрить, встряхнись,
Выпрямись одичало, —
Все, что вчера прощало,
Щурилось и вещало —
Это не даль, а близь, —
Что бы там ни встречало —
Не пропадай, вернись.

Сотканы из тоски,
Собраны из печали
Дней, что права качали,
Щерились и ворчали,
Стынущие годки, —
Склеить бы, как вначале,
Скомканные куски.

Не поддавайся, встань, —
Все это, брат, зачтется,
Все это там прочтется,
Где о тебе печется
Тот, кто глядит за грань, —
Им-то ужо учтётся
Вздох твой в такую рань.

Маме

Широких крыл прикосновенье,
Высоких сил благословенье,
Проникновение туда,
Где есть участье и вниманье
К душе — и все переживанья
На берег выплеснет вода.

Невыразимое, земное,
Всегда идущее за мною,
Куда б меня ни завела
Стезя кремнистая, крутая,
Чтоб доля, некогда простая,
В движенье сложность обрела.

Полуотдушина и полу-
Печаль — и вновь, похоже, в школу
Брести, усваивая путь
К чему-то важному, где мало
Усердья, — помнится, бывало,
Поземка скрадывала суть.

Итак — в начале было слово,
К чему-то новому готово,
Оно готовилось обресть
Еще неслыханное право
На весть из космоса — и славу,
Где вздохов горестных не счесть.

* * *

В неспешных действиях, поступках и словах
Есть свет особенный — и мы к нему стремимся,
И от бессмыслицы назойливой таимся,
Зане с державою былою дело швах.

И, не бахвалясь, мы с трудом своим дружны
В тоске, в рассеянье, в забвении, в скитанье,
Поскольку жертвенное жизни прорастанье
Мы чуем пристальней на грани тишины.

Покуда вижу я негаданный просвет
Во тьме безумия, в чаду кровопролитья,
Иду на ощупь я, но все ж иду за нитью —
Тонка она — такой у вас и вовсе нет.

Покуда слышу я то гул на берегу
Прибоя позднего, то птичьи восклицанья,
Приемлю долю я, отринув отрицанья,
И перед родиной своею не в долгу.

Покуда призван я в ненастный этот мир
Для песни, славящей его преображенье,
Я, порождение его и отраженье,
Творю неслыханный свидетельства клавир —

О том, как рушилась эпоха, о таком,
Что было истинным, что век опередило
Во имя радости, — и вот земная сила
Дарует веру мне — и светлый строит дом.

* * *

Со свечой, точно встарь, — при свече,
У свечи, — в киммерийском тумане,
При тумане, в забвенье, в дурмане,
Сквозь туман — с лепестком на плече,
Сгустком крови сухим, лепестком
Поздней розы — в проем за кордоном,
В лабиринт за провалом бездонным,
В Зазеркалье с таким пустяком,
Как твое отражение там,
Где пространство уже не помеха,
Где речей твоих долгое эхо
Сквозь просвет шелестит по листам.

ДЕТИ МОРЯ

Дальневосточная быль в вольном изложении соучастника

Ветреной тихоокеанской ночью рыбак Гена Клионов сидел, свесив ноги, на верхушке высоченной скалы. Далеко внизу плескался океан, и Гена будто летел верхом на каменной глыбе сквозь безумную ночь. Дул пронзительный ветер, и у рыбака от холода и ужаса перехватило дыхание.

Гена не знал, что этот безумный полет был всего лишь сном — последним в его жизни. Незаметно для себя рыбак умер, а его кошмарный сон стал томительной реальностью испуганной души. Она покинула остывающего на кровати Гену и, немного полетав, заняла снившуюся ему вершину скалы, торчащую к северу от маленького рыбацкого поселка, почившего в послепутинном пьяном угаре на берегу неспокойного океана. Случилась смерть оттого, что блуждавшее в грудной клетке сердце устало качать изрядно разбавленную спиртом кровь и прилегло отдохнуть — всякий пьяный устремлен к отдыху, так же и сердце — прилегло на решетку из выгнутых ребер.

Облачко остывшего пара — душа Гены — просидела на высокой скале всю ночь, пока не посветлело кривое небо. Душа ждала своей участи. Небо могло пролиться на землю дождем, и тогда облачку суждено было сконденсироваться в капли и навсегда впитаться в трещины камня. Но могло засветиться и солнце, тогда душа стала бы легче воздуха и поселилась в пролетающей чайке с черной головкой и красными лапками.

Небо еще находилось в пасмурном раздумье, облака — беспорядочно вылепленные серые студенистые мозги — медленно шевелились роковой мыслью, а к берегу уже подошел мотобот со стоящей на рейде огромной плавбазы и привез доктора — крепкого краснощекого мужчину, который дышал здоровьем — в его присутствии любой больной почувствовал бы прилив сил. На докторе была удобная кепка из кожи и на плечах — широкая и тоже кожаная куртка. Если к этому добавить, что доктор щеголял в отглаженных темных брюках из дорогой ткани и модных американских башмаках на толстом протекторе, а

Александр КУЗНЕЦОВ — родился в 1963 г. в Туле. Окончил факультет журналистики МГУ. Работает в редакции газеты «Тульские известия». Автор нескольких повестей и рассказов, печатавшихся в «Октябре», «Знамени», «Континенте» и других журналах. Живет в Туле.

в расстегнутом вороте куртки был виден внушительный узел пестрого галстука, то станет понятно, что на встречающих рыбаков, упакованных в бушлаты, телогрейки и сапоги, он произвел впечатление человека солидного, требующего к себе уважительного обращения на «вы».

Из-за долгой жизни в море доктор теперь чуть пошатывался на досках пирса. Выслушав встречающих, он произнес громкое и бодрое в утреннем сыром воздухе: «Ну-ну!» — и сделал нетерпеливый жест рукой, призывая вести его скорее в поселок.

По дороге он так ни с кем и не заговорил; казалось, он так и дышал утренней свежестью. Но он сильно поморщился и посуровел, когда пришлось войти в низкое полутемное жилище покойного. Он для чего-то пощупал мертвое запястье Гены и заглянул в мутные зрачки. А потом повернулся к рыбакам, сказал:

— Допился, голубь... — прибавив к этому привычную для всех нецензурную фразу, кончавшуюся словом «мать». Произнес ее, однако, мирным тоном, и столпившиеся в прихожей люди разом почувствовали облегчение: доктор перестал смущать их своей загадочной цивилизованностью.

Из соседней комнаты донеслись приглушенные рыдания женщины, которая, заслышав приход людей, видимо, желала к себе чужого участия. Кто-то из рыбаков, толкнув табурет, поспешил ее успокоить. Табурет громко упал, и от этого звука голос в соседней комнате затих, на минуту воцарилась любопытствующая тишина. Доктор представил себе скорбящую вдову или, может быть, мать покойного, приподнявшую неутешную голову от подушки. Перед собой он видел на гвозде обвисшее всепогодное пальто, верно принадлежавшее плакавшей, и ему стало до горечи жаль женщину, он вдруг с тоской вспомнил свою старенькую седую мать и теперь куда злее процедил как бы мимо столпившихся рыбаков:

— Алики, хари немытые, жрут без меры. — И развернулся всем корпусом, не шевеля круглой головой и красной шеей. — Ему дали проход к столу. Он щелкнул замками чемоданчика, и все оцепенели, едва крепкая рука его высыпала на стол блестящие никелем страшные инструменты. В конце был извлечен завернутый в дезинфицирующую салфетку стакан и плоская стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью. Задумчиво глядя на покойного, доктор отвинтил пробку, наполнил стакан и, не меняя выражения лица, выпил спирт тремя движениями горла. Каждый из рыбаков тоже сделал три глотка, но порожних, лишь воображением помогая доктору. Доктор зажмурился и громко втянул носом жгучий воздух. Щеки его треснули багровыми капиллярами, а в глазах набухли слезинки.

— ...ххы ...мать. — Отдышавшись и отерев лицо платком, доктор требовательно спросил: — Кто может ассистировать?..

— Чё? — спросил робкий голос, и рыбаки еще плотнее сгрудились у двери.

— Ну!.. Кто помогать будет?

И тогда один из рыбаков, чей взгляд отличался наибольшей невозмутимостью, подался вперед. Это был Толик Махалкин, длинный человек, сгорбленный в низком жилище. Он скромно взял из рук доктора вновь наполненный стакан и медленно потянул спирт вкушающими губами, закидывая костяную лопоухую голову и чуть приседая, словно боясь удариться о низкий потолок.

Из потемок тесного жилища доктор велел вынести стол, застеленный старой клеенкой, на свежий воздух во двор. Когда на клеенку положили раздетое щупленькое тело, ободранные деревянные ножки стола глубоко вдавились во влажный песок. Кто-то сказал:

— А Генка как будто тяжельше стал... А был маленький такой.

Из двора виден был край еловых сопок на севере острова и одиночная скала, голым бесплодием поднимавшаяся над тучным океаном. А с вершины скалы был виден двор, на котором зажелтели обнаженные члены. Но в положении Гениной души ничто не переменилось. Облачко даже не колыхнулось при виде бывшего хозяйского тела.

Доктор надел поверх куртки белый халат, немного запачканный чем-то зеленым спереди, и решительно сделал первый скрипучий разрез. При этом звуке большинство любопытного народа стремительно подалось со двора за калитку.

...Доктор неспешно ковырялся в распоротом покойнике, кромсая и рассматривая окровавленные органы с загадочной сладострастной улыбкой, и со стороны она могла показаться чудовищным проявлением вампиризма. Скальпель для экономии движений был каждый раз втыкаем в ляжку трупа, чтобы не тянуться за ним далеко. И Толик, вначале захмелевший от спирта, теперь трезвел, он чувствовал непослушную тяжесть, помимо воли тянувшую его к земле, ему нестерпимо хотелось отойти подальше, лечь, как есть, не выбирая места, прижаться затылком к влажному холодному песку и лежать так неподвижно, взирая в синеву.

А в лице доктора на деле ничего вампирского не было. Обычное лицо дорвавшегося до практики увлеченного специалиста: распластанное тело он рассматривал не просто как вчерашнего человека, оно было для него настоящим заводом по производству экскрементов, тепла и слов, причем заводом остановившимся, каждый механизм которого можно было извлечь, измельчить, рассмотреть. Определяя про себя степень изношенности механизмов и радуясь своей медицинской эрудиции, доктор с улыбкой произносил:

— Ну да, цирроз... Эге, тромб... Сколько ж ему было?.. Тридцати не было?!. Ну, брат, поизносился... — поверх зеленых пятен на халате док-

тора появились красные, но он не замечал того. Исследованные органы он клал в оцинкованный таз, украденный как-то помершим в поселковой бане. Когда таз наполнился, Толик отнес его к сарайчику, а на табурет поставил большую белую кастрюлю, в обычное время предназначенную для варки студня. Рыбак был уже близок к тому, чтобы выблевать свои впечатления, но он все-таки жалел выпитое. Крепко сжав зубы, он медленно удалился к заборчику. За калиткой тихо курили папиросы два рыбака, они молча протянули ему по папироске, и Толик, губами беря одну, сипло пробормотал:

— Щас кончим уже.

Но доктор не дал ему отдышаться, окликнул:

— Эй! Как тебя... материал неси.

Толик поспешно зашлепал к сарайчику, взял таз. Он смутно видел содержимое страшной емкости, неся ее на вытянутых руках. Но доктор сразу обнаружил пропажу.

— Где печень? — И оба разом повернулись к сарайчику.

Там в дверях, в потемках спрятавшись от людей, тихо урча, чавкающий пес покойного, по кличке Малыш, внешне похожий на матерого волка, пожирал вывалянные в песке куски желтоватой циррозной печенки хозяина. От волка собаку отличала только рыжая шерсть. По всему было видно, что со смертью хозяина пес сразу забыл о своем назначении раба, он злобно косился на людей, и шерсть его дыбилась на загривке. Печень стала законной добычей полуволка. Едва доктор попытался приблизиться, чтобы отобрать ее, собака-людоед обнажила клыки и, рыкнув, сделала короткий выпад. Доктор отпрянул, но поздно, собака прокусила ему ногу ниже колена, разодранная штанина дорогих брюк быстро напитались алой докторской кровью.

А Толик уже не видел этой короткой борьбы. Все его существо перестало воспринимать окружающее. Рыбак отошел, уперся огромными ладонями в штакетник, сильное тело дергалось от рвоты. Он не удержался, потому что воображение родило отчетливый вкус человеческой печени на языке. Толик удивился, что она была сладкая.

Немного погодя он сидел за калиткой на поваленном столбе в окружении товарищей. В течение получаса только однажды кто-то прервал тягостное молчание:

— А ведь вчера Генка живой был... И киряли вместе...

Да, сутки назад Геннадий Клионов был в их числе, и никто не замечал на его лице признаков скорого завершения жизни. Накануне с утра остывающая осень подогрелась чахнущим солнцем. Тепло раскрошилось в лужах и листве, и Гена старался побольше впитать в себя греющих лучей. Он расстегнул телогрейку и ворот рубашки, и скоро подогретая радость выступила наружу, на щеки Гены, бодрым кровото-

ком. Рыбак ежился в чистой приятной одежде, он неспешно шагал к рыболовецкой конторе и говорил плетущемуся рядом псу:

— Ну чё, чё?.. Ну чё?.. Чё, едри твою?..

Малыш на ходу гнул голову к шагающему болотнику хозяина и проводил ухом по свернутому голенищу, наслаждаясь добротой человека. Гена еще больше добрел. Улыбка расползалась по маленькому шершавому лицу, не оставляя места глазам, и глаза прятались в щелках удовольствия.

С торца приземистой конторы у железной двери кассы бригада собралась до открытия. Был радостный день расчета, и никто не вспоминал вчерашнюю путину. Работа, в которой были километры мокрой дали, многие тонны серебристой рыбьей массы и распухший утопленник со съеденным до костей лицом, занесенный течением в сеть, — работа ушла из сознания в долгую память для снов и застольного трепа.

Бригадир Скосов пришел позже всех. Наполнив воздух папиросным дымом, он сказал веско и весело:

— Господа акционеры, а разве мы не заслужили честно выжрать? Мы дали такой план, что родной колхоз возродится из пепла. — Его взгляд прошелся по одобряющим лицам, задержался на Гене и проник в его глаза, потревожив их беззаботность. Но в Скосове была колкая доброта, и Гена с удовольствием потер ладони о полы телогрейки.

— По литре на рыло, — бодро сказал Гена.

— Ты природный жмот, Клионов. — На плечо Гены шлепнулась добродушная пятерня.

— А чё? По два пупыря и закусь. — Гена съежился и повел плечом под навязчивой рукой.

— Не-а... Плыви ты в проруби, — протянул Скосов и вынес конечный приговор кошелькам рыбацких жен: — На троих — ящик.

Бригада ответила хриплым смехом.

— Позеленеем, бугор.

— Маленьких и сопливых прашу па-теряться. — Скосов небрежно уселся на лавке. — Кто хорошо работает, тот хорошо принимает.

Строгая молодая бухгалтер появилась из-за угла неожиданно. Она аккуратно обходила голубые разводы луж, часто слегка наклоняясь вперед, чтобы взглянуть на свои белые лакированные сапожки, очень белые посреди грязи улицы.

— Здравствуйте, — устало сказала она, и на людей густо повеяло апельсиновым запахом косметики. Рыбаки поздоровались, а Гена еще прибавил за всех:

— А слыхали, что деньги вчера привезли... Ждем, ждем... вот. — Он улыбнулся, но бухгалтерша холодно посмотрела на него, и он сконфузился и занемел, словно улыбка его заледенела на морозе. Где-то мимо пролетала птица, Гена вытянул к ней кадыкастую шею. Чайка несла на

медленных крыльях неповоротливость океана, уставшего от собственной огромности и тяжести. Птица была ослепительно белая, как сапоги бухгалтерши, а небо такое же синее, как широкая лужа перед конторой. Чайка долетела до столба дыма из печной трубы, пропала за черной пылью скрытого огня, и пропала неловкость Гены.

Получив деньги, девять рыбаков шумно проследовали в магазин, где купили три ящика водки и несколько банок консервированной морской капусты. Пугливая продавщица сама вынесла из темной подсобки ящики, водружая каждый на шаровидный упругий живот и покачиваясь откормленной кряквой.

— Людям-то скажу что? Людям?.. Ящик только остался.

Бригадир перегнулся через прилавок, провел неожиданно ладонью по румяной щеке.

— Стервочка ты моя, — пропел он голосом нежности, — так и скажи: Скосов взял. А я любому пасть порву.

Женское лицо налилось смущением, и для приличия продавщица шлепнула по растопыренным пальцам бригадира. Но скоро она уже перестала интересовать рыбаков — она осталась лишь маленьким приятным фрагментом в их всеобъемлющей любви. И пока она торопливо считала деньги, рыбаки успели рассовать бутылки по карманам и в сапоги и пошли к выходу, бережно и косолапо передвигая ноги.

Обосновались они в просторном гараже, где вдоль стены тянулись стеллажи для металлического хлама и валялись пустые автомобильные покрышки на бетонном полу, два грузовика и бульдозер стояли во дворе, платя непогоде дань ржавчиной. Рыбаки расселись вкруг на покрышках, радуясь уюту и тишине помещения. Теперь между ними не было зла работы. Однако они понимали, что предстоящее действо — все еще продолжение путины, ее завершающий традиционный акт, и дружба застолья долго не могла овладеть ими. Две кружки медленно ходили по рукам, описывая в воздухе петли и восьмерки, соударяясь и останавливаясь у пьющих ртов. Но постепенно молчание первых минут перерастало в неторопливый разговор — подобно умеренному ручейку он должен был превратиться в шумный бессмысленный поток.

— Жизнь — это сон, — сказал бригадир. Этот человек давно одолел в жадном чтении местную библиотеку, и в нем странным образом соединялась грубость рыбака с начитанностью филолога, и сейчас, до наступления полного опьянения, Скосов случайно оторвался от плоскости собеседников. — Жизнь — сон. И вот ты, Гена, — не Гена, а только сонная мечта. — Он задумался. — Если разобраться, это не ты пьешь водку и портишь атмосферу — вместо тебя этим занимается единая воля земли.

Лицо Гены застыло в трудной мысли. Он хотел как-то отреагировать на слова бригадира, но его отвлекал светлый дверной проем, где

он видел уходящую вдаль женщину. Он не мог узнать, кто она, было слишком далеко, но почему-то подумал, что жизнь ее так же грустна, как его собственная жизнь. И, видимо, бригадир был прав, сказав что-то о жизненном сне.

— Моя баба тоже всегда спит, — наконец по-своему согласился Гена. — Я ее четыре раза брюхатил, а она спит и пьяная... Поэтому и пузо у нее сонное росло... Росло, росло... Да, мать ее... Дура баба.

— Да, Гена, баба дура. — Бригадир почувствовал в себе каплю уважения. — И даже самая умная баба все-таки дура. В ней навсегда остается детство... И еще бабе нужен мужик, чтобы травить его. Иначе она впадает в тоску. — Скуластое лицо его изображало уверенную улыбку мудрости, но ему возразил совсем уже пьяный рыбак Свеженцев, обросший серой бородой одиночества. Когда-то Свеженцев был на материке дорожным инженером, но на острове прямая, как автострада, линия логики утратилась им, так как он понял однажды, что она тягостна романтическому сердцу.

— А я женщин люблю, — сказал Свеженцев, и мечта его перелилась в глаза и в понежневшие губы.

Скосов ухмыльнулся, но ничего не ответил, сочувствуя некрасивому Свеженцеву, которому лишь изредка удавалось добраться в соседний поселок для кратковременного сожительства с известной на всю округу спившейся бабенкой по кличке Сайра.

В дверной проем врывался ветер моря, доносивший голос рынды. Колокол был бесполезной, но, по суеверности детей моря, обязательной принадлежностью маленького буксира, трущегося о кранцы у пирса. Ветер надувал медь, и тяжелый язык выбивал упругий звук, похожий на хрустальный звон. Желая убедиться в сходстве, Гена катнул ногой пустую бутылку, и она ударилась в горку другой опустошенной посуды. Гена на минуту сам превратился в тонкий перезвон. Кружки стояли на полу — каждый желающий время от времени наполнял их самостоятельно. Гена налил себе треть. Он чувствовал себя легким непрерывным звоном, и он думал, что рыбаки, оравшие почти все разом в каком-то споре, тоже не имеют материальной плотности, а состоят из света и звука, как люди на экране в клубе. Материальным и тяжелым было небо — его край заполнял половину дверного прямоугольника. Наливаясь гущей, небо постепенно превращалось в огромную черную медузу. Студенистая масса потела от собственной тяжести, и крупные капли холодного пота срывались на землю, так что скоро пошел секущий дождь поздней осени. Запузырилась пена у входа. И Гене почудилось, что из его груди сочится что-то невесомое, но важное, тает, растворяется в потоках ливня, в мутной сопливой атмосфере, а на земле остается только пустая грусть. Рыбаки не могли слышать внутреннюю жизнь Гены. Его понимала лишь ласточка, спасавшаяся от дождя на балке под потолком. Она улавливала удары его серд-

ца и взволнованно трепыхала крыльями. Она почему-то одна осталась на острове ждать смерти в осеннем металлическом воздухе.

Сквозь пелену угара Гена различил странно изгибавшуюся фигуру бригадира Скосова. Присмотревшись, Гена понял, что Скосов боролся на руках с Василием Левшиным, высоким кудлатым мужиком. Их перекошенные красные рожи лбами клонились друг к другу, и все вокруг примолкли, потому что азарт борьбы переходил в бешенство, и вслед за рукопожатием поединка должен был раздаться звук разбиваемого кулаком лица. Все ждали — кто с нетерпением, кто со страхом — этого звука, но поехал в сторону, повалился под локтями металлический столик, грохнулся на пол вместе с рогатыми ключами, болтами, гайками. Руки расцепились, и Вася, страшно матерясь, запрыгал на одной ноге.

— Ну что?!. — Бригадир вышел на середину гаража. От него шел горячий пар ярости. Но жертв не было на его бесцельном пути, и Скосов рванул себя за ворот. — Вася!.. Ты можешь пить?..

— Ни, — отозвался постанывающий человек.

— И я нет...Рисуй мишень... Или пить, или... Рисуй мишень!

— Чего ты?

Бригадир шагнул в угол, к еще непочатому водочному изобилию, потянулся к блестящим пробкам. Бутылка чмокнула содержимым в его бросающей руке и, пробороздив объем помещения, врезалась в противоположную стену. Бурый язык растекся по штукатурке до пола.

— Рисуй, па-ла!

Вася наконец догадался и, загоготав, проковылял в указанном направлении. Два больших неровных круга — один в другом — были нарисованы куском штукатурки на противоположной стене, и вторая бутылка, пущенная уже рукой Васи, взорвалась брызгами стекла и водки почти в центре мишени. Кто-то громко прорычал: «Банзай!» — и тоже метнул бутылку, но тут же повалился в водочную грязь, хихикая в забытьи. Сидевший на полу тихо обезумевший Толик Махалкин осоловело смотрел на блестящие фонтанчики, в которые превращались полновесные аккуратные сосуды. Когда страшная отрезвляющая мысль шевельнулась в его мозгу, челюсть Толика дрогнула:

— Су... Су-ки... — И он громко простонал: — Ша... Суки...

— Ну что, мразь? — Бригадир подступил к нему, придавил взглядом. — На! Пей!.. Не можешь? Тогда так... — Еще одна бутылка улетела к стене. Толик замычал, замахал руками. Грохот на время прекратился, был слышен ливень и бульканье водки. Скосов, опрокинув бутылку, наполнял кружку, и водка полилась через край на пальцы бригадира и прозрачными струями на пол и лилась, пока бутылка не осохла.

— На! Пей! — Бригадир сунул кружку продолжавшему неподвижно сидеть Толику. Рыбак машинально взял ее и выпил до дна, медлен-

но заваливаясь на спину, и последняя капля утратившей для него вкус жидкости вылилась в сосущий рот, когда уснувшая голова Толика уже коснулась бетонного пола.

Гена, видевший все это сквозь туман, наконец почувствовал стесненный воздух дыхания, слабо пихнул кулаком пса, жавшегося к нему, хватнул еще порцию воздуха и поднялся в рост.

— Мужики, — шепнули его губы, — не гневи Бога. Мужики...

Блестящий сосуд вновь медленно летел под потолком. В своем полете, дробя воздушные молекулы в шорох, бутылка повернулась блестящей пробкой к Гене. И ему показалось, что пробка сверкнула ослепительным огнем, он зажмурился. Бутылка продолжала лететь к своему пределу, а Генина душа на мгновение вышла из горла человека и вошла в горло бутылки. Но стекло раскрошилось на стене, а душа Гены осталась без оболочки, и она поспешила занять прежнее место в рухнувшем на колени, сникшем человеке. Никто и не заметил, как Гена вскочил, что-то выкрикнул, а затем повалился. Последним усилием забившегося в судорогах рыбака было движение руки, толкающей одну из уцелевших бутылок за пояс сползающих штанов...

Уходя из гаража, Скосов наступил на чью-то шевельнувшуюся желтую ладонь и заметил растоптанный трупик ласточки. Скосов поднял умершую птицу, подул в раскрытый клюв и горько заплакал. Но на улице, подойдя к стоявшему посреди дождя и ветра Василию, Скосов бесшабашно запел какую-то собственную импровизацию:

— Сло-овна-а ж... крокоди-ила, капита-анава лицо-о!..

Ночью Гена очнулся в своей кровати. Наверное, он сам добрел домой в потемках сознания, движимый теплым домашним инстинктом. Он очнулся с уже открытыми глазами, и они сами рассматривали потрескканный потолок.

По окну стал тарабанить косой дождь, и оно показалось Гене лазом в неизвестное помещение. Там тоже горела лампочка и белел потолок. Рыбак сел в кровати, и тут же из квадратного лаза на него уставился затаенный человек с дырками вместо глаз и рта. Гена съежился, и неизвестный за окном тоже испуганно шевельнулся. Ночь смотрела внутрь дома, как беззастенчивый надсмотрщик. Рыбак спустил на пол босые ноги, соображая, почему с него сняты штаны, а мокрая телогрейка оставлена да еще застегнута на все пуговицы. Он с омерзением снял ее, бросил на пол. На кровати у стены спала Юлия. Гена вспомнил парящую в пустоте бутылку, вспомнил, что одну спрятал у себя за поясом. Он многое забыл, но о спрятанной бутылке помнил точно. И он рассудил, что водку выпила Юлия — раздевая мужа, обнаружила случайный запас и отвлеклась для его скорого употребления, поэтому и телогрейка на Гене осталась. «Из горла, видать, хлебала», — вслух пожалел он.

Он поднялся, прошел к столу, плюхнулся на табурет и сдавил голову руками. Изнутри уже подступала знакомая боль, и он, негромко постанывая, начал раскачиваться из стороны в сторону. Но он страдал не столько от боли, сколько от неясного томительного желания, от невозможности разобраться в нем. Он не знал, что именно хочется: выпить, закурить, пожевать хлеба или лечь на жену. Доступнее всего казалась Юлия. Волосы ее скомкались на подушке, словно их перекрутило и запутало магнитное поле скомканной жизни. Она выставила из-под одеяла лишь равнодушное круглое плечо, и чтобы рассмотреть ее всю, Гена приподнял одеяло. Тело женщины было еще гладким и здоровым, только лицо шершавилось порами и угрями. Полные живот и грудь еще дышали желанием чужого тепла, от кого бы оно ни исходило, было бы оно нежным и искренним. Гена знал за ней такую слабость, но он любил ее вот такую, какая она есть, что поделаешь с чувствами.

Он вспомнил, что у него уже больше месяца не получалось отдать ей и части своего тепла. Теперь же ему нестерпимо захотелось целиком превратиться в поток жара и полностью перелиться в пьяную женщину. Он хотел сделать это при включенном свете, но побоялся черного зеркала ночи, вставленного в оконный проем, он с сожалением выключил свет и, удерживая в памяти сочные шаровидные груди Юлии, поспешил к ней под одеяло. Странно, но почему именно такое удовольствие небо подарило рыбаку напоследок. Завершающим его воспоминанием было хриплое придавленное дыхание спящей жены и упертые в его грудь слабые непонимающие руки.

Глубокой ночью сердце, утомившееся от двадцативосьмилетних скачек, решило передохнуть. Небо к тому времени израсходовало для земли свои водяные запасы, и недоумевающая душа рыбака выпорхнула на сырой холод.

Душа летела против ослабевшего ветра, но никто не видел во мгле ее странного движения, и никто не удивился этому явлению. Под утро опомнившийся домовой загудел, забубнил в печной трубе, пытаясь разбудить осиротевшую женщину. Проснулась же она не скоро — пока ее отрезвевшего сознания не коснулся ледяной ветерок смерти.

Собака укусила доктора в ногу, и тому пришлось заливать рану йодом. Позже, вернувшись на плавбазу, он заперся в каюте, допил оставшийся в бутылке спирт и сделал себе укол, сопровождая его выразительными словами.

После ухода доктора старуха Рыбкина — единственная уцелевшая от ранней смерти старуха в поселке — поплескала из ковшика водицы на тело умершего, с опаской поскребла корявой ладошкой его шею, плечи, грудь, живот вокруг огромного разреза, заштопанного толстой капроновой ниткой, и сказала:

— Во жизня, ёпт. Генка сгниет, а веревка так и будет целая. — Дойдя до паха, старуха замерла, долго впитывала внимательными глазками вид бывшего мужского достоинства покойника, вздохнула, качнула головой и проскрипела стоящей рядом скорбной пожилой помощнице:

— Що, бля, уставилась. Ведро черпни ищё...

Обмыв, женщины нарядили труп в темно-синий, похожий на школьный, костюм, который надевался покойным лишь однажды новогодней ночью для выхода в клуб. И мужики вернули стол вместе с торжественным телом в дом.

Вдову, повязанную платком, с распухшим, как у залежалого трупа, лицом, с торчащими из-под платка волосами, посадили рядом. Каждый входивший прятал глаза, чтобы не видеть это непохмеленное существо в черном платке. Она сидела безучастная к окружающему, придумывая себе значение для покойного, потом она еще немного, по инерции, поплакала. Ей становилось тягостно от долгого безделья и, всхлипнув, она спросила Скосова:

— А гроб когда ж? Да там... венки?

— Все будет. Не думай.

Гроб, обитый красным ситцем, поселковый плотник изготовил к полудню. Гену уложили в него, и теперь из гроба торчало лишь белое худое лицо с вздернутым носом — бездарный горький горельеф смерти. Вдова несколько оживилась во время препровождения покойного в гроб, но через минуту на нее вновь навалилась тяжесть, словно кто-то посторонний присутствовал в груди женщины, мешая ей свободно дышать жизнью. Когда под окнами протарахтел мотоцикл и Скосов внес в дом ящик с водкой, в женщине затеплилась радость.

— Вот, — сказал Скосов, — контора деньжат подбросила... И мы скинулись... Ты выпей.

Женщины, готовившие покойного, взяли по бутылке и ушли, осталось несколько рыбаков. Рыбаки расселись прямо на полу в уголке комнаты. Юлия, охнув, придвинулась с табуретом.

— Царство ему, значит... — сказал кто-то тихо.

Все выпили, кроме Юлии. Она терпеливо выдержала паузу, и на глаза ее каплями выступило умиление.

— Спасибо, ребят... Прям не знаю... Ну... спасибо вам. Пришли, вот... — Почувствовала водку во рту, как течет она в горло и душит того постороннего, мешавшего ей легко дышать. Протянула пустой стакан за второй порцией, ей нестерпимо захотелось сию же минуту напиться и забыть обо всем на свете. Скосов с пониманием опрокинул в стакан бутылку. И еще двести граммов полилось на голову маленькому и испуганному, обитавшему последние минуты в душе женщины. Теперь он, маленький ангел благоразумия, живущий в каждом человеке, подыхал, обожжённый и скрюченный, как чахлый листок клевера. Мужики,

боясь нарушить тишину смерти, ушли во двор. Там долго галдели, расправляясь с водкой. И Юлия уже не слышала, как потонули в сером пространстве вечера их голоса. Она спала.

Два венка Толик Махалкин принес, когда все уже разошлись. Толик долго сколачивал из реек треугольники, ладил еловые лапы и теперь сам же радовался удавшейся красоте. Он пришел в опустевший дом, где находились труп и спящая вдова. Женщина в вольном сне раскинула ноги, и Толик стыдливо перевел глаза с задранного подола на торжественное лицо покойного.

— Юль, — Толик кашлянул и вновь покосился на розовые бедра, обнаженные во время случайного сновидения. Женщина не отреагировала на оклик.

Рыбак тихо подошел к ней и потряс за плечо. Пухлые губы чмокнули неразборчивым звуком, она слабо шевельнулась, но Толик почувствовал, что сознание ее улетало еще дальше от действительности. Тогда он выпрямился, чуть не саданувшись о низкий потолок теменем, подвигал в воздухе нерешительными грубыми пальцами, а затем провел ими по мягкой ноге под подол, еще выше задирая его. Осторожно ступая, Толик двинулся мимо стола, брезгливо морщась на вчерашнего человека. Но у двери он уже забыл о существовании покойника. Не спуская жадного взора со спящей женщины, он закрыл дверь на крючок. К удовольствию своей плоти он не знал, что в женщине еще хранились остатки тепла ее мужа. И Толик не почувствовал брезгливости. Через семь минут, топая домой, Толик бессвязно думал: «А чё было? Да ничего... Помер мужик... А я-то живой пока...»

На третий день, сразу после похорон, размалеванное небрежными красками небо загустело, пошел мелкий дождь. Люди почувствовали его облегчающую силу — дождь на время словно отмывал пространство от налета смерти.

Скосов пробыл на поминках недолго, незаметно ушел. Он стоял на пороге своего дома совершенно трезвый, подслеповато щурился на одинокую увядающую в пелене скалу, и ему казалось, что клок тумана на голой вершине оседает под напором мороси. Туман перемешивался с дождевыми каплями и впитывался в трещины. Скосов думал, что так же незаметно истаивают из жизни люди, унося в забвение жуткий страх, из которого сотканы их души. Так же незаметно исчез Гена, и завтра о нем уже никто не вспомнит. Но Скосов не испытывал жалости. Он говорил сам себе в оправдание: «Такова жизнь... — Но сам же себя остерегающе спрашивал: — Жизнь или смерть?» Жизнь и смерть были замешены в густое тесто бытия — отделить одно от другого было нельзя, и Скосов делал, что мог: радовался приближению солнца — работал ветер, очищая небо от пасмурной скверны, светлела полоса у горизонта, и одинокая скала расцветала застывшим магматическим пурпуром.

ОСТРОВ ДОЛЖНИКОВ

(притча)

И Я говорю вам: сотворите себе друзей богатством неправедным...

Евангелие от ЛУКИ (16. 9)

1

В голове не укладывалось, как могло случиться это несчастье: то ли неотложка запоздала, то ли сами родители поздно спохватились, и теперь — страшно подумать! — потеряли самое дорогое. Агафоновы были потрясены, когда узнали по телефону о случившемся, и так растерялись, что и о Боге не сразу вспомнили.

Отец Валерий позвонил, чтобы спросить, не собираются ли Одинцовы на дачу и не привезут ли оттуда старый обогреватель, ватное одеяло и кое-что из одежды. Сентябрь выдался холодный, с утренними заморозками, оставлявшими на лужах сухой ледок, а в Москве еще не топили.

Он начал разговор с обычных вопросов, которые задаешь людям, с которыми встречаешься не каждый день, хотя и расстаешься ненадолго: «Как поживаете? Что слышно?» И добавил уже свое: «Какие еще новшества предложат нам господа экуменисты?» Он ожидал услышать в ответ привычное: «Спасибо, потихоньку. Ну, а чем порадуют господа ревнители устоев, приверженцы старины, суровые и грозные ортодоксы?». Но тут насмешливая, лукавая, спрятанная в бороде улыбка, не позволявшая заподозрить в нем сторонника сомнительных новшеств, вдруг сползла с его лица, глаза под стеклышками очков часто заморгали, лицо стало глуповатым от сознания неуместности взятого тона, и

Леонид БЕЖИН — родился в 1949 году в Москве, окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Работал в Музее искусства народов Востока, был главным редактором издательства «Столица». В настоящее время — ректор Института журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ). Автор книг прозы «Метро "Тургеневская"», «Гуманитарный бум», «Ангел Варенька», «Тыквенное общество», а также публикаций в журналах «Москва» (повесть «Воспоминания старых москвичей»), «Новый мир» (роман «Калоши счастья», повесть «Благословенный, или Усыпальница без праха»). Живет в Москве.

он чужим, хриплым, срывающимся от волнения голосом произнес: «Какой ужас... невероятно!»

Матушка Полина, убавив звук под светящимся экраном (ох, уж эта реклама!), развернулась к нему в кресле, отложила недовязанный чулок и, бледнея своим круглым, розовым, с молочным отливом, лицом, перекрестилась и взялась за сердце: «Что, Господи?»

Как самые близкие и давние друзья Одинцовых, помнившие их дочь запеленутой, завернутой в одеяльце и лежавшей в коляске, Агафоновы испытывали высшую степень сочувствия, и казалось, что несчастье подкосило их самих, настолько они привыкли разделять с Одинцовыми все радости, горести и заботы.

Отец Валерий и Левушка Одинцов дружили с университета, вместе слушали последних старых профессоров, которых иной раз под руки доводили до кафедры, но стоило им трубно высморкаться, крякнуть, насадить на нос пенсне, отхлебнуть из граненого стакана крепкого чая и начать: «Ну, милостивые государи...», как зал замирал в немом восторге, наступала благоговейная тишина, и до конца лекции милостивые государи сидели не шелохнувшись.

Слушали вместе, понимали же по-разному: возможно, поэтому после университета их пути разошлись. Один принял сан и получил приход в полуразрушенном храме (хоть и на окраине Москвы, но не за кольцевой дорогой), другой решил добиться успеха в коммерции. Решил то ли по примеру дедов и прадедов, заволжских купцов и промышленников, чьи пароходы разгружали трюмы на пыльных, пропахших дерюгой и мешковиной пристанях Ярославля и Астрахани, то ли по собственной прихоти и желанию доказать, что он способен заниматься делом, к которому не испытывает никакой склонности.

Решил и быстро преуспел — стал, что называется, ворочать деньгами и прокручивать дела.

Однако дружба их от этого не пострадала: Одинцовы бывали у отца Валерия на воскресных службах, прилежно кланялись, крестились, ставили свечи и даже причащались — все, кроме Левушки. Тот вечно увиливал, ускользал под разными предлогами, шарахался как черт от ладана, оправдываясь тем, что ему неловко исповедоваться другу, или ссылаясь на то, что еще не подготовился, не созрел для такого важного шага. Мол, при безбожной власти воспитывался, красный галстук носил, на пионерских линейках под звуки горна салютовал: чего вы хотите?! Отец Валерий не торопил, не настаивал, хотя ему было досадно, что Левушка глух к его призывам и не спешит *воцерковляться*, как называли они с матушкой единственно правильную и истинную, по их мнению, форму приобщения к вере. К церковным таинствам и обрядам Левушка относился с прохладцей и на литургии изучал потолки, наверняка думая об аренде склада, оптовых закупках и прочих мнимо неотложных делах (подлинно-то неотложные совсем другие!).

После литургии Агафоновы приглашали Одинцовых к себе на чай — в построенный во дворе храма бревенчатый домик с кирпичным низом, крыльцом и застекленной террасой. Тикали ходики, пыхтел закипавший самовар, мягко ступала по половикам пушистая кошка, выгибая спину, поднимая лапу, словно стряхивая с нее искорку электрического тока. На кружевной дорожке, покрывавшей комод, краснели деревянные пасхальные яйца с литерами «ХВ» в медальонах. При этом каждый из друзей говорил о своем, наболевшем: отец Валерий о происках экуменистов и обновленцев, брожении внутри церкви, враждующих группировках (и среди обновленцев, и среди ревнителей), склоках и дрязгах, а Левушка — о курсе рубля, биржевых торгах, лопнувших трестах, прогоревших банках и разоренных вкладчиках.

Дети в это время тоже шептались о своем. И, что удивительно, дочь не воцерковленного Левушки, сноба и вольтерьянца, тянулась к пасхальным яйцам, рыночным свистулькам, неваляшкам и матрешкам, украшавшим комод и буфет, а ее воспитанная в благочестии подруга крутилась у зеркала, примеряя ее колечки, амулеты на цепочках и вделанные в браслет часики. Словом, девочки вместе росли, дружили, соперничали, друг другу подражали, и родители на лето снимали для них дачу у одних хозяев.

2

И вот эта чудовищная нелепость — простуда, обернувшаяся воспалением легких... Люди церковные, лишенные интеллигентских предрассудков, Агафоновы недолго думали, рядили, гадали, в какой форме предложить Одинцовым помощь и поддержку. Избегая пустых соболезнований (Левушка с женой сами понимают, что друзья разделяют их горе), матушка Полина своим певучим, мягким и в то же время решительным голосом приказала: «Звоните в любую минуту», а отец Валерий был немедленно послан к Одинцовым, чтобы их утешить, укрепить духом и по-христиански им помочь — не только врачующим словом, но и делом.

Готовность Агафоновых именно к такой помощи сослужила хорошую службу. В чем-то находчивые, удачливые и предприимчивые, а в чем-то на удивление наивные и непрактичные, Одинцовы без них просто пропали бы. Горе совершенно подкосило, сломило, парализовало их, и, будучи не в состоянии что-либо предпринять, они либо запирались в разных комнатах, чтобы не слышать прорывавшиеся сдавленные рыдания и всхлипы друг друга, либо с сухими глазами, уставленными в одну точку, сидели рядом при потушенном свете, словно статуи.

Отец Валерий сменил Левушку в организации печальных формальностей: его ряса всегда магически действовала на вымогателей и волынщиков. Конечно же, и отпевали Любочку в его храме. Тонкому голосу отца Валерия, читавшего молитвы за упокой, вторило под куполом

слабое, невнятное эхо, под очками у него блестели слезы и изо рта вырывался пар: в нетопленой церкви было по-зимнему холодно...

После похорон матушка Полина, закатав по локоть рукава, убрав волосы под косынку и подоткнув юбку, взяла веник, тряпку, ведро и навела у Одинцовых образцовый порядок. Она сама сварила им обед, накормила, умным и трезвым внушением вывела их из забытья: «Уныние — худший грех. Надо, надо очнуться, мои дорогие!» Участие друзей настолько запало беднягам в душу, что, едва оправившись и придя в себя, они, как только могли, благодарили Агафоновых. Тем даже было неловко, совестно, и они уверяли, что это их христианский долг и они не сделали ничего необычного, для Одинцовых же экзальтированная благодарность и вера в людскую отзывчивость оставались последней ниточкой, связывавшей их с жизнью, поэтому грешно было бы оборвать ее.

Отец Валерий и матушка Полина волей-неволей мирились с тем, что Одинцовы отныне считали себя вечно им обязанными. Успокаивало лишь то, что они не собирались воспользоваться этой благодарностью. Понятно же: у людей горе, а их Господь миловал. Дочка у них — тьфу-тьфу-тьфу! — здорова, да и сами все недуги и хвори молитвами отгоняют. Кроме того, Агафоновы ни в чем не нуждались: у них и домик есть, и соленые грибки в погребе, и на хлеб хватает. Только бы храм восстановить, оштукатурить, покрасить, обнести оградкой — вот и все, что им, грешным, нужно.

3

Хотя на университетских лекциях Левушка Одинцов всегда сидел в первом ряду амфитеатра, битком заполненного слушателями, и вместе с толпой восторженных поклонников провожал очередного профессора до вешалки, подавал палку, пальто и каракулевый пирожок с наушниками, во всем остальном он был ленивцем и сибаритом. Левушке с превеликим трудом удавалось засадить себя за конспекты и худобедно подготовиться к сессии, он вечно опаздывал с курсовыми, каялся, оправдывался и клялся, что через неделю сдаст. Но зато — поданные после всех — его курсовые удостаивались таких лестных отзывов, похвал и славословий, о каких другие и мечтать не могли. И стоило этому головастому тритону запустить пятерню в шапку рыжеватых, вьющихся колечками волос, от усердия наморщить бугристый, рассеченный вмятиной лоб и, вытягивая трубочкой губы, попыхтеть над конспектами, он после двойки получал пятерку.

Получал, несмотря на негласное университетское правило не ставить высший балл при пересдаче...

Если бы в мире не существовало шашлычных, пивных бочек с кранами, из которых в кружки льется пенистая янтарная жидкость, книжной толкучки у памятника первопечатнику, широкой тахты с валика-

ми, украшенными спереди медными львами и с окантованными бархатным шнуром подушками, Левушка давно стал бы ученым зубром. Но соблазн сибаритского лежания на тахте с заветным томиком в руке, дремотно-сладостного позевывания, мечтательного прищуривания глаз, устремленных куда-то поверх книги, — этот соблазн был слишком велик. И Левушка ему не противился, охотно позволяя своим бдительным тезкам — медным львам, угрожающе ощерившим пасти, — быть стражами его блаженной неги.

Вскоре у Одинцовых родилась дочка, глазастая, большеротая, с льняными волосиками, и Левушка совершенно забросил науку. Целыми днями он возился с Любочкой: дрожал, обмирал, умилялся и только ждал, когда ее распеленают, чтобы по очереди поцеловать все согнутые пальчики на маленьких ручках. При страстной любви к дочери Левушка имел смутное представление об отцовских обязанностях, и его друг, убежденный сторонник домостроя, наставлял его по этой части. Впрочем, поскольку у Агафоновых дочь родилась раньше, они могли поделиться не только опытом, но и кое-чем из одежды: платьицами, шубками, пальтецом (дети так быстро растут!). Одинцовым даже не пришлось покупать коляску: она им тоже досталась по наследству.

Словом, отец Валерий и матушка Полина и тогда были незаменимой опорой для четы Одинцовых, привыкших — с их-то интеллектуальными запросами! — мириться со скудным, неустроенным, плохоньким бытом. Безденежье было их мировоззрением. Оно сложилось в те времена, когда должность младшего научного воспринималась как единственно доступная форма свободы, жизнь состояла из *неприсутственных* дней, и никто не мечтал о большей роскоши, чем остаться дома под предлогом посещения библиотеки или написания полагающихся по плану *листов*.

Поэтому у Одинцовых вечно не хватало до зарплаты и они занимали у Агафоновых то трешник, то целковый. Левушка свято уверовал в превосходство друга, полностью полагаясь на него в том, в чем сам был слаб и неопытен — и прежде всего в вопросах религии, семейного благочестия и практического устройства жизни. Для отца Валерия же оказываемое покровительство составляло предмет тайного тщеславия: эти целковые и трешники как бы выравнивали ценностное выражение их запросов.

Но вот времена стали меняться, дочка подрастать, и Левушка почувствовал, что безденежье — не то мировоззрение, которое позволяет выразить его умильную и суеверную любовь к дочери. Вместо того чтобы целовать ей пальчики, нужно было подумать, во что ее нарядить: не вечно же рассчитывать на Агафоновых и быть у них в должниках!

И Левушке пришлось расстаться со своей привычной формой свободы: он уволился из университета, где его держали за светлую голову,

но платили гроши и при этом пеняли за лень и медлительность. Он нашел своей светлой голове иное применение: отправился в вольное плавание по бескрайним просторам стихийного рынка, снарядив суденышко, имя которому — столь диковинное для русского слуха, почти непроизносимое, мучительное, — *бартер*.

Одним словом, скупал у работяг, получавших зарплату продукцией своих заводов, эту самую продукцию, потом изменял, перелицовывал, комбинировал и снова продавал. Первое время сам, а затем и сподручные появились — компаньоны, Петрович и Савельич, оба рукастые, хваткие, расторопные. Тоже надоело на заводе гроши получать!

И суденышко их вырулило к обетованным берегам. Дочь у Левушки одевалась как куколка, но только не отечественная, целлулоидная, с закатывающимися под веки глазными яблоками, а заморская, длинноногая, с колдовскими глазами под длинными ресницами, узкой талией и высокой грудью. Да и Левушке с женой на все хватало: оделись, обулись, принарядились. Побывали на Елисейских Полях, полюбовались вечными руинами Рима, покормили прожорливых, утробно воркующих голубей на Трафальгарской площади. Купили большую квартиру на Арбате и заимели бы также и дачу, но никак не попадалась поблизости от той, которую по привычке снимали Агафоновы, их старые и верные друзья.

Отец Валерий их не осуждал, не корил достатком и преуспеянием, полагая, что каждому свое. В то же время он с удовлетворением и тем же тайным тщеславием, которое обнаружило вдруг обратную сторону, чувствовал, что сам он не из богатеньких, не из удачливых, не из счастливцев. Значит, имеет право надеяться: Бог его, сирого, отметил Своей любовью.

И вот это несчастье с дочерью Левушки, который лишился всех надежд. Чтобы не свихнуться от горя, он снял со стен ее фотографии, спрятал в низ дивана игрушки, запер комнату, где она спала, и к двери придвинул буфет. Но все равно чувствовал себя так, словно земля под ним плыла, его пошатывало, ноги заплетались и соскальзывали по откосу в бездонную яму. Некому стало покупать наряды, и Левушка не мечтал больше ни о Трафальгарской площади, ни о Елисейских Полях.

Голова стала совсем седой, он оброс рыжей бородой, вмятина на лбу обозначилась еще резче. Возвращаясь с кладбища, напивался: водку наливал в кружку и пил большими глотками, как чай. Суденышко его увязло на мели, и напрасно Петрович и Савельич пытались достучаться до капитана: из его каюты доносилось лишь бессвязное бормотанье, стоны и вздохи.

Однако вскоре он бросил пить и, не оставляя плавания по просторам рынка, которое опять стало налаживаться, отправился в другое плавание — начал запоем читать о Боге, вере и церкви. И читал он не те

брошюрки и календарики, которые подбирал для него отец Валерий, а ученые книги, написанные университетскими профессорами, — теми, кто не только насаживал на нос пенсне и отхлебывал чай, бесстрашно проповедуя с кафедры, но и в печати высказывал весьма смелые мысли. Отца Валерия такая ученость смущала, настораживала, отпугивала. И книги, прельстившие Левушку, вызывали у него глухое неодобрение.

Впрочем, этого неодобрения он пока не высказывал, поскольку возникла у него одна задумка. Раньше, до несчастья, она не возникала, теперь же одолевала, преследовала, свербила. Задумка весьма заманчивая, вкрадчивая, соблазнительная, но в то же время отталкивающая, вызывающая сомнения и опасения, и отец Валерий знал, что не будет ему покоя, пока он ее не выскажет.

4

Под влиянием прочитанных книг и собственных размышлений Левушка не раз признавался другу, что хотя он и богат, деньги ему теперь не нужны — даже не хочется брать их в руки и пересчитывать. Отец Валерий же вконец измучился, стараясь раздобыть эти злосчастные деньги. Не для себя, конечно, а на восстановление храма, на самый неотложный ремонт, ведь в куполе зияла дыра, по стенам красовались полустертые надписи, и даже на карнизе деревце росло. Но родная патриархия отмалчивалась в ответ на все запросы и ничего не обещала (храм-то на окраине!), а в вывешенный на столбе ящик для сбора пожертвований сыпались лишь жалкие медяки.

Нужен был солидный жертвователь, меценат, благодетель, а где такого возьмешь? Сколько он обивал пороги, кланялся, унижался, и все без толку! Дошло до того, что даже коньяк пил в пост и скоромным закусывал, лишь бы подыграть, подсюсюкнуть, подольститься к тем, от кого зависело — дать или не дать. И никакого проку: ради собственной блажи, на ночные гулянки и кутежи с размалеванными красотками готовы миллион грохнуть, а на святое дело копейки жалко!

Когда дочка у Левушки была жива и здорова, отца Валерия — хоть он и отгонял навязчивую задумку — подчас даже зло брало: что же ты сам не догадаешься, а еще друг! Но Левушка слепо любил свою дочь, и нужды прихода его не заботили. Теперь он, казалось бы, понял, уразумел, в чем смысл жизни, но смерть дочери оставалась для него незаживающей, кровоточащей раной, и это мешало ему догадаться, а отцу Валерию намекнуть.

И тут ему помог случай, упустить который было нельзя. Нашелся человек (есть же такие на свете!), предложивший из благочестивых побуждений бесплатно сделать ремонт — залатать дыру, оштукатурить, покрасить стены и даже купол позолотить. Может, грех хотел искупить, может, взял на себя добровольный обет, — отец Валерий его не испо-

ведовал, он лишь горячо пожал ему руку и благословил. Работал он в паре с сыном, таким же бессребреником — тихим, молчаливым, с чахоточным румянцем на лице и редкой бородкой. Единственное, о чем они попросили, — покрыть расходы на краски, кирпич и прочие материалы, а это хоть и сумма, но доступная. Такую сумму можно и занять. Но только встал вопрос — у кого? И тут, встретившись взглядами, отец Валерий и матушка Полина прочли в глаза друг у друга одну и ту же мысль.

— Нет, только не у них, — сказал отец Валерий, чувствуя в жене решимость, достаточную, чтобы не поддаться сомнениям, успокоительным для совести, но опасную для практического исхода затеваемого дела.

— Ты прав, прав, — вздохнула она, как бы мирясь с безвыходным положением, создаваемым их щепетильностью, и в то же время оставляя для себя некоторую надежду на то, чтобы из него выбраться. — Рука не поднимается, хотя им эти деньги не нужны — они их лишь тяготят и обременяют, а жертва стала бы для них облегчением.

Матушка безучастным голосом перечисляла доводы, которые могли бы говорить и в пользу решения, обратного тому, что принято.

— Да, да, — согласился отец Валерий, избегая брать на себя инициативу и как бы намекая, что любой его довод открыт встречным доводам со стороны жены. — У людей такое горе... Нельзя!

— Что же нам предпринять? — Матушка мельком взглянула на мужа, словно бы ища у него подсказки и в то же время избегая ее, как избегают уличать себя в лукавстве, лицемерии и неискренности. — Ведь договоренность уже есть... нельзя подводить человека!

— И какого человека! Вот русская душа!

— Да, было бы кощунством... Бог нам не простил бы!

— И все же занять явно не у кого, — отец Валерий опустил печальные глаза.

— В том-то и дело... Ведь ты же спрашивал у знакомых прихожан, а я — у родственников. Все разорены — такое время... — Матушка повздыхала, сдерживаясь, чтобы не осудить тех, кто повинен во всеобщем разорении.

Повздыхала и снова мельком взглянула.

— Даже не знаю, не знаю, как быть, — отец Валерий расхаживал взад и вперед и потирал руки с видом человека, которому нужно лишь выждать определенное время для того, чтобы его положение перестало быть столь затруднительным. — Может, все-таки отказаться? — спросил он с нахмуренным и озабоченным выражением лица, адресованным жене на тот случай, если она вдруг примет его предложение.

— Неудобно, отец, неловко. Нехорошо... Нельзя гасить в человеке благие порывы, осквернять в нем святое! Если бы не безвыходное положение, мы не стали бы занимать у Одинцовых, ведь раньше мы у них не одалживались. Но ведь ты помнишь, сколько раз мы сами давали им в долг! Тем более что им сейчас не до покупок...

Аргументы приобретали активный заряд.

— Собственно... Но как спросишь?!

— По-простому... Скажем, такая, мол, ситуация, так-то и так-то, — бойко зачастила матушка. — Они поймут...

— Вообще они предлагали: «Если нужны деньги...»

— Вот видишь!

Матушка ждала от него окончательного согласия, и отец Валерий, сочтя, что церемонии мучительных сомнений соблюдены достаточно, решил поставить точку:

— Ладно... Только договоримся, что вернем им долг через полгода.

— Или через год, — поправила его жена.

5

Чтобы расплатиться с долгами, Агафоновы решили, прежде всего, отказаться от дачи, утешая себя тем, что они, считай, живут за городом, у окружной дороги, и подмосковный лес подступает к самому их крыльцу. Вот они, опушки с сосенками, камышовое болотце, угадывающиеся грядки бывших огородов и одичавшие яблони, оставшиеся от садоводов, переселившихся в новые дома. Конечно, жаль расставаться с хозяевами, у которых снимали дачу столько лет, и те ни разу не повысили плату, хотя с новых дачников наверняка возьмут вдвое больше, ведь время-то бежит и цены растут! Но зато Агафоновы могли гордиться тем, что сэкономили, поскольку экономия стала для них таким же выстраданным мировоззрением, как для Одинцовых поначалу безденежье, а потом сменившая его жажда заработать побольше.

Экономили они на всем, в том числе и на еде: сверх положенных четырех постов держали пятый, добровольный. Они грызли орехи и посасывали размоченные в воде сухарики, молясь Богу о том, чтобы Он уберег их от соблазна оскоромиться и тем самым потратить лишнюю копейку, и в запрятанной на дно комода жестянке у них множилось, тучнело, прибавлялось.

Отнесли в букинистический библиотеку, собранную в университетские годы, продали кое-что из мебели и одежды. Матушка шубкой пожертвовала, подаренной ей на свадьбу: не барыня, обойдется, им сейчас не до выездов в гости, а по двору можно и в телогрейке ходить! И забрезжила надежда — вернут! Однажды, пересчитав купюры, отец Валерий от радости задержал дыхание и зажмурился. Зажмурился, отказываясь верить своему счастью, и чуть слышно застонал от блаженной муки: еще немного, и он больше не должник.

Но когда мастера-бессребреники закончили ремонт, был вынесен весь мусор и храм засверкал на солнце золотыми маковками, стало стыдно за старую церковную утварь: позеленевшие медные кресты, прохудившуюся крестильную купель, чадившие кадильницы, вылинявшую епитрахиль. С таким убожеством душа на литургии не запоет и

праздничным светом не просияет, а тогда выходит, что и благочестивая жертва набожных людей оказалась напрасной. Мастера потрудились, храм снаружи обновили, а изнутри он никакого вида не имеет: убожество оно и есть убожество.

И Агафоновы решили повременить с возвратом долга, но зато приобрести новую церковную утварь. Достали со дна комода жестянку и поехали на Пречистенку. Долго приценивались, выбирали и наконец купили.

В новом, сверкающим золотым шитьем облачении, среди обновленных, оштукатуренных и выкрашенных стен отец Валерий служил вечерню и в первых рядах молящихся видел многих знакомых, приглашенных по такому торжественному случаю: однокашников, бывших дачных хозяев, мастеров, сиявших как именинники, с благоговением опускавшихся на колени и целовавших престольный крест.

Среди прочих гостей позвали и Одинцовых, но те неуверенно отказались, стараясь не обидеть своим отказом. Агафоновы не настаивали. После вечерни они собиралась устроить скромное угощение — накрыть столы, выставить бутыль с домашней наливкой, квашеную капусту (особенно в ней хороша виноградинка!), студень, грибки, пироги. И стоило себе представить несчастные глаза Левушки, сгорбленную фигурку его жены, как становилось ясно: Одинцовы стеснялись бы гостей, гости стеснялись бы Одинцовых, и никакого праздника не получилось бы.

К тому же отцу Валерию по-прежнему не нравились книги, которые читал Левушка, — раздражали, сидели у него как кость в горле, но если раньше он свое раздражение сдерживал, то теперь его все больше подмывало высказаться.

6

Миновало полгода, а затем и год, но никаких надежд поправить финансовое положение семьи не появлялось. Наоборот, жизнь гораздо охотнее предоставляла случаи не прикопить, а потратить деньги.

Отца Валерия давно мучила совесть при виде сиротливых кирпичных столбов, оставшихся от разрушенной ограды. Они взирали на него с немым укором, словно бы горько сетуя на то, что церковный двор у них как проходной: каждый зайдет, на лавке рассядется, да еще и ноги вытянет, чтобы другие о них спотыкались. Старушки на солнышке греются, дамочки в зеркальце глядятся, пудрятся, красятся и брови подводят. Ребятня галдит, пьяницы куражатся, бьют себя в грудь, заплетающимся языком о своих геройских похождениях рассказывают. Кумушки судачат, всем косточки перемывают да на их окна с любопытством косятся: мол, как там духовенство живет, что у них в лохани, что в бадье, что на столе? Разве хватит терпения выносить такое?! Отец Валерий с матушкой не раз обещали себе: как только отремонтируем, сразу обнесем оградкой и замок повесим.

И вот отца Валерия свели с человеком, который запросил за работу недорого, по-божески — какая удача! Матушке тоже подвезло, подфартило: у нее в хоре певчего недоставало (она, бывшая консерваторка, сама пела и дирижировала), а тут нашелся. И она теперь могла не страдать и не морщиться, словно от зубной боли, слыша, как фальшивит сторож Сидоркин, который, пропустив стаканчик, бесплатно подпевал им по будням. По воскресеньям же и двунадесятым праздникам они приглашали певца из ресторана — вальяжного, с седой прядью в волнистых волосах, слащавой складкой губ, — Романа Романовича Бубенцова-Красновидова.

Одно дело из ресторана и только по воскресеньям и праздникам, а другое — свой собственный и на всю неделю. Но такому, в отличие от сторожа, надо платить, поэтому отец Валерий сдался перед необходимостью просить Одинцовых об отсрочке. Что им эти сроки при их равнодушии к деньгам, а Агафоновых месяц-два могли бы спасти! Сбылась бы мечта об оградке, и кончились бы мытарства с певчими. С этими обнадеживающими мыслями отец Валерий подсел к застеленному вышитой салфеткой столику, где стоял телефон, и поднял трубку, держа ее на весу так, словно ему была необходима дополнительная решимость, чтобы набрать знакомый номер.

— Извини, дружище, что я об этом, — произнес он, стараясь не казаться слишком пристыженным и виноватым и в то же время и беззастенчивым в использовании чужой доброты, — но ты понимаешь, после ремонта... понадобилось кое-что купить... а главное, представился случай починить ограду. Конечно, с моей стороны бессовестно... и если бы не обстоятельства, то, поверь...

Отец Валерий выражал словами искреннюю озабоченность своим положением должника, но голосом невольно подавал пример легкого и беззаботного отношения к денежным обязательствам, которого ждал и от друга.

— Сколько тебе? — внезапно спросил Левушка.

Отец Валерий смутился, не зная, как объяснить ему, что не собирается снова занимать, а просит лишь об отсрочке старого долга.

— Тысячу, две, три?

Отец Валерий взглянул на жену, со страхом следившую за выражением его лица.

— Ну, если десять...

Положив трубку, он долго и испытующе смотрел на нее, словно не решаясь оторваться от предмета, за счет которого поддерживалось шаткое равновесие между ним и окружающим миром.

— Что?! — спросила жена, берясь за сердце от дурного предчувствия.

— Я, кажется, занял у него еще, — прошептал отец Валерий, не веря собственному голосу. Он сделал попытку встать и припал на отсиженную ногу, словно нога у него отнялась.

— Занял? На что же ты, отец, занял? — Матушка явно опасалась, что под влиянием новых замыслов, роившихся в его голове, он забудет о ее заветных нуждах.

— Там и на оградку, и на целый хор хватит, — вяло отмахнулся отец Валерий.

7

Прощаясь с Одинцовыми, отец Валерий их даже не благословил, хотя они по привычке склонили головы и сложили ладони, как он сам их учил. Но на этот раз учитель сделал вид, что не заметил их выжидающей позы, торопливо откланялся и удалился (лучше бы он удавился!).

Скверное чувство не покидало его. По дороге домой вспоминалось, как Левушка выдвинул ящик стола, отсчитал купюры и в ответ на его заверения о скором возврате долга лишь криво усмехнулся и поморщился: «Какая ерунда! Сочтемся!». У Одинцовых ничего не изменилось, жилище напоминало склеп, словно хозяевам по-прежнему внушала отвращение сама мысль за что-то браться, к чему-то прикладывать руки, наводить порядок. Все та же пыль покрывала буфет, все та же паутина висела в углах и все те же книги лежали раскрытыми на столе. Все это вспоминалось навязчиво, неотступно, висело, маячило перед глазами отца Валерия, и тогда неприязненное, скверное, гадкое чувство к себе смешивалось со жгучим желанием обличить Левушку.

Обличить — словно в отместку за то, что так долго терпел, не обличал, и вот наконец-то почувствовал: можно! Постепенно это жгучее желание овладело им настолько, что отец Валерий забыл, скольким он Левушке обязан, и собственное положение должника перестало мучить и угнетать его. Если раньше он был опутан по рукам и ногам унизительной необходимостью постоянно выражать свою благодарность, то теперь разорвал эти путы и стал свободным.

Свободным как обличитель, обличитель во имя истины — какая это опьяняющая свобода! Отец Валерий понял, осознал всем своим существом, как тяжела была эта дружба, требовавшая от него стольких уступок и компромиссов, что он попросту терял в ней самого себя. И когда Левушка из друга превратился во врага, отец Валерий, все равно любя его как друга, словно бы заново себя обрел и впервые почувствовал об-лег-че-ни-е...

Дома он обо всем поведал матушке — поведал как на духу. Матушка, крутившая швейную машинку (на ногах валенки, толстая коса поверх безрукавки), выпрямилась, вынула изо рта шпильки, задумалась, надолго погрузилась в себя, и они вместе решили, что не следует брать деньги на святое дело у человека, читающего такие книги — не просто

вредные, но крамольные! Поэтому, как ни заманчива возможность поставить оградку вокруг храма и пригласить в хор певчего, придется от нее отказаться и на следующей неделе (раньше отцу Валерию не выбраться) вернуть хозяину нечестивые деньги.

Решили и стали ждать: дни тянулись медленно, потому что каждый день они вновь и вновь убеждали себя в своей правоте. А чем больше убеждали, тем больше сомневались, и сомнения одолевали настолько, что принятое решение казалось хуже любого предлога, позволяющего от него отказаться.

И тут матушке предложили... предложили шубку, похожую на ту, проданную, и совсем недорого, вдвое дешевле первой. Получалось, что на продаже они выгадали, подзаработали...

— Может быть, купим? — предложил отец Валерий, как предлагают то, с чем надо либо молча согласиться, либо мучительно долго и подробно обосновывать свой отказ.— Ведь это не для храма, не на святое, а так, для себя... Зимой-то без шубки и за ворота не выйдешь!

— Даже и не знаю, как быть, — матушка потерянно вздохнула, сознавая, как слаба она, грешная, и в своем согласии, и в своих отказах. — Решай сам. Ты у нас голова...

— Да я тоже не знаю, — честно сознался отец Валерий (сознался с таким видом, словно в ее вопросе было что-то нечестное). — С одной стороны, оно бы и можно, а с другой...

— То-то и оно...

Возникшее затруднение ощутимо повисло в воздухе. Отец Валерий кашлянул.

— А, может, у дочки совета спросим? — он улыбнулся так, словно для него самого было загадкой, шутит ли он или говорит всерьез.

Матушка посмотрела на него с недоумением и, прежде чем ответить, с выжидательной задумчивостью помолчала.

— Ну, спроси, спроси. Посоветуйся...

Отец Валерий подозвал дочку, зардевшуюся оттого, что ее будут спрашивать о неизвестных вещах, в которых запутались сами взрослые.

— Дуняша, купим маме шубку, чтобы она не мерзла?

Отец Валерий погладил дочку по голове. Девочка задумалась, чтобы не сморозить такого, о чем пришлось бы жалеть, но никакого подвоха в отцовском вопросе не обнаружила и поэтому смело сказала:

— Купим, купим. Маме шубку, тебе полушубок, а мне — бахилы, платформы и дутики.

8

На шубку и полушубок им хватило, а вот на платформы и дутики денег не оставалось, и матушка повела осторожное наступление на мужа: «У кого бы чуть-чуть занять?» — «Нет, нет! — закричал тогда отец

Валерий, накануне звонивший бывшему другу и нынешнему врагу. — Он не только читает, но и сам теперь пишет! Целую книгу задумал — в оправдание графа Толстого! Читал мне по телефону — сплошные кощунства и крамола!»

Матушка, расчесывавшая и заплетавшая волосы, лишь недоуменно пожала плечами и забросила косу за спину: «Как хочешь, отец. Разве я настаиваю?»

Они долго крепились и ничего не покупали. Отец Валерий как мог старался заработать — лепил из глины свистульки, вытачивал на станочке пасхальные яйца, матрешек, неваляшек, а матушка их раскрашивала и продавала на рынке. Но с таким кустарным промыслом особо не развернешься, большую деньгу не зашибешь. Да и стыдно, негоже ему уподобляться Левушке: все-таки отец Валерий поп, а не торгаш, не купец, не коробейник! Уважение надо иметь к собственному сану!

Поэтому капиталы его росли медленно: в жестянке почти не прибавлялось. Дочь от обиды ходила уязвленная, гордая и торжествующая: ага, себе купили, а ей шиш! Они заставляли себя не замечать этого, не упоминать в разговорах — помалкивать, но в конце концов отец Валерий не выдержал и со стоном сорвал телефонную трубку: «Дружище, еще две тысячи...»

Сумма долга кошмарно росла, и их судорожные усилия укротить его ни к чему не приводили. Заняли на новый поставец, резной буфет с цветными стеклышками, диван с выгнутой спинкой, украшенную стеклярусом оттоманку, большой абажур цвета морской волны, скатерть с кружевной каймой и вышитые гладью дорожки. С Левушкой как раз расплатились задолжавшие ему оптовики, и у него скопилась масса ненужных денег.

— Что ж, и они нам многим обязаны! — вздохнула матушка Полина, скучающим выражением лица показывая, что у них нет никаких причин избегать ссылки на этот довод.

— Прошу тебя, прошу тебя... Хватит! — отец Валерий явно досадовал, что, высказав эту мысль вслух, жена отняла у него тайный предлог для самооправдания.

— А что?! — голос у матушки дрогнул от обиды и жалости к самой себе. — Я у них, как прислуга... сор выметала, полы драила, обед им варила!

— Это несопоставимые вещи. У людей несчастье, а мы пользуемся!

— Почему? Мы же в долг...

— Вернули мы хотя бы копейку?! Человек книги создает, а я... матрешек на станке вытачиваю!

— Еще неизвестно, какие книги, — матушка напомнила мужу о его же сомнениях и опасениях. — Не от лукавого ли?

— А!.. — отец Валерий то ли не находил новых возражений жене, то ли устал от бесплодного спора с самим собой.

9

В студенческие времена Валерий Маратович (отца назвали Макаром, но мода заставила переименовать в Мараты) относился к презренному металлу легко и беззаботно. Он забывал возвращать долги и не уподоблялся тем, у кого саднило, посасывало, ныло в душе, если долго не возвращали, а если вообще отказывались вернуть, темнело в глазах и подступало обморочное удушье.

Нет, Валерий Маратович был не из таких — он лишь старался, чтобы о его долгах не узнал отец, для которого занимать было хуже, чем пить, буянить и валяться под забором. Убежденный противник займов и ссуд, отец всегда приводил ему в пример идейного деда, чья щепетильность в денежных вопросах принимала характер навязчивой мании, и случись ему занять, он мучился, страдал и не успокаивался, пока не возвращал все до копейки.

Да и занимал-то он всегда копейки, считая, что коммунист (а он был из партийцев старого призыва) не должен занимать больше — иначе он рискует обуржуазиться, обрасти собственностью и заразиться жаждой наживы. По его искреннему мнению, государство выплачивало каждому ровно столько, сколько нужно, поэтому они жили только на зарплату и он счел бы для себя унизительным беспокоиться, суетиться и подрабатывать на стороне. Гордец он был, Агафонов-старший, — гордец особого склада, возводивший идейное нищенство в догму и превыше всего ставивший служение двум идолам, перед которыми он трепетал и простирался ниц как перед грозной, божественной всемогущей четой — матерью Партией и отцом Государством.

Идейное нищенство заключалось в том, чтобы не иметь, и Агафоновы никогда ничего и не имели, кроме железных кроватей с никелированными шариками, фанерных стульев, черной тарелки радио на стене и этажерки с томами Маркса. Когда сын о чем-либо просил, приставал к отцу, хныкал, сознавая свое бессилие в борьбе с непреодолимым соблазном, тот всегда спрашивал: «Ну, у кого ты это видел?» И, получив ответ, наставлял, воспитывал: «Вот и не завидуй!»

Сам отец таким гордецом не был — и работал, и подрабатывал, но занимать всегда боялся, робел, заискивал перед теми, у кого просил, и чувствовал себя после этого гадко, себя же презирал и ненавидел. Валерий Маратович долго доискивался до причины этого страха и в конце концов понял: окружающие боятся занимать потому, что все должны. Это смутное чувство преследует их как сознание вины, как первородный грех, не ими совершенный, но им вменяемый. Поэтому и ноет душа, когда не возвращают, поэтому и страшно самому занять, не расплатившись с прежними долгами.

Их, словно потерпевших кораблекрушение, выбросило волною на загадочный, не обозначенный на карте Остров должников — голый,

безлесный, изрытый мышиными норами, с песчаными дюнами и откосами, покрытыми слизистыми водорослями и чахлыми, иссушенными солнцем колючками. И вот они, увязая в песке, собирают в короба эти колючки, взваливают на спину и несут, несут, несут — отрабатывают, искупают долги...

И едва он это понял, как для него стало самым важным испытанием — преодолеть, вытравить из себя этот страх, и Валерий Маратович еще в школе попробовал тайком занять. Стало страшно, и он тотчас вернул. Затем попробовал снова — страх уменьшился, и он слегка запоздал с возвратом. И наконец осмелел настолько, что и вовсе перестал возвращать, столь же беспечно прощая тем, кто не возвращал ему.

Перестал и почувствовал себя так, словно из прибитых к берегу бревен ему удалось связать плот и бежать с проклятого острова.

Вот тогда-то он и сбросил с себя короб, разогнул спину, и ему открылись новые горизонты. Они с Левушкой задавали друг другу упоительно праздные вопросы о смысле жизни, о вечности, о бессмертии, оба увлекались Державиным, и Валерий Маратович был преисполнен натурфилософских, возвышенных («Я царь — я раб — я червь — я Бог») размышлений. А потом и Державин отпал за ненадобностью.

Валерий Маратович, допытавшись, что второй дед, священник, сгинул на Соловках (куда затем угодил и первый), полностью рассчитался с семейными долгами — сам был рукоположен в дьяконы и вскоре принял таинство священства. Это стало для него окончательным освобождением и спасением: плотик причалил к берегу.

Вместе с матушкой они переселились в бревенчатый домик, устроились, заимели свою мебель, посуду, хозяйственную утварь, стали солить грибы и квасить капусту в погребке, и все у них пошло чинно, ладно, степенно, по домострою. Вечерами отец Валерий, разгладив бороду и надев очки, читал жития, ругал господ экуменистов, сетовал по поводу раздоров в собственном стане, и ничего его не тревожило (тревожить-то тревожило, но ведь это ничего!).

И вот этот ужасный долг...

О чем бы ни говорил отец Валерий, внутри сосало и сосало. Стал спрашивать у знакомых прихожан — иногда даже на исповеди, — должны ли они и тяготит ли их это. Многие были должны, но никого не тяготило. Тогда он строго внушал, что не возвращать долги — грех (похвально прощать должникам), и старики от смущения кашляли, мяли шапки, а старушки боязливо охали и крестились.

Временами мысли о долгах отступали и отец Валерий чувствовал облегчение, но затем начиналось снова: маялся так, что стонал. Стонал, охал (по-стариковски), мычал сквозь зубы, словно у него болело. И при этом знал, мог указать пальцем, где болит, стоит лишь вспомнить о деньгах: здесь, под сердцем!

И тогда ему казалось, что он должен не только Левушке — это-то как раз пустяки! — он самому себе должен, не нынешнему, в рясе (с нынешнего взятки гладки!), а тому, из университетских лет, с томиком Державина в кармане. «Как это там?! — пробовал он прочитать наизусть знакомую строчку. — «...Я червь — я...»? — и не мог, не вспоминалось, выветрилось из памяти.

10

И тут у отца Валерию возникла смутная догадка, и внутри затомило, затомило, как бывает от предчувствия мысли, еще не родившейся, но уже кажущейся на редкость верной и точной. Верной, несмотря на то, что другие люди, быть может, сочтут ее странной, сомнительной. Но отец Валерий уже за нее ухватился и держался так цепко, что в конце концов ему стало ясно: он всю жизнь у себя занимал. Да, занимал, уверенный, что щепетильность и честность если и уместны, то лишь по отношению к тем, кому обязан и от кого зависишь, с самим собой же — свои люди, сочтемся — позволительна толика легкомысленной беспечности и снисходительности.

Но получалось, что быть должником самого себя и есть самое страшное. С другими можно расплатиться — пусть даже с опозданием, через годы, с собой же — не расплатишься, упущенное не воротишь. Долги просрочены, и вернуть их — обольщение, сон, иллюзия. Караванам в пустыне грезятся тенистые кущи, пальмы, шатры и арыки с прохладной водой, но стоит вожделенно простереть к ним руки — и они встречают пустоту миража...

В детстве ему хотелось дружить с братьями Майофисами, жившими в соседнем дворе, носившими клетчатые кепки козырьком назад, умевшими свистеть в два пальца и через запасной ход бесплатно проникать в кино. Но родители считали этих мальчиков уличными (к тому же они, сами жившие впроголодь, угощали весь двор мацой на *свою* пасху) и познакомили сына с тихим мальчиком Олегом, послушным, улыбчивым, боязливым и скучным.

Олег любил кормить рыбок в аквариуме и подолгу разглядывать, как они, разевая рты, глотают маленьких красных червячков, и вот будущий отец Валерий как бы занял у своего желания дружить с Майофисами чуть-чуть интереса к кормлению рыбок, чтобы дружба с Олегом не выглядела слишком безотрадной и унылой. Этот долг представлялся совершенно безобидным, и он надеялся вскоре вернуть его себе, выбирая друзей по своим склонностям и увлечениям. Но это так и не удалось. Майофисы вскоре переехали, и в их квартире сначала поселился татарин с детьми, точивший ножи и лудивший кастрюли, а затем пьяница боцман, который топил углем печи в котельной их дома и кричал по ночам: «Полундра!»

Точно так же и в школе... Он был влюблен в Таню Дубинину, высокую, с пышными золотистыми волосами, схваченными алой лентой, плавным шагом и каким-то дивным запахом, распространявшимся от ее запорошенной снегом шубки, которую она вешала стеганой подкладкой наружу на крючок в раздевалке, от пушистого шарфика и торчавших из кармана кожаных перчаток. Да, влюблен затаенно, страстно, до сумасшествия, но при этом она казалась ему такой необыкновенно красивой и недоступной, что он из страха быть отвергнутым выбрал ее подругу — Аню Колдунову, черненькую, с острым носиком и худыми лопатками.

А чтобы было не скучно приглашать ее на свидания, воображал, что это Таня, и расспрашивал только о Тане. Расспрашивал с такой настойчивостью, что Аня в конце концов не выдержала и однажды, расплакавшись, убежала от него в расстегнутом нараспашку пальто и шапкой в руке.

В университете ему хотелось писать диплом о Державине, любимом поэте, но его настойчиво отговаривали, ссылаясь на то, что Державиным занимался один из старых профессоров, перед своим уходом повздоривший с начальством (обозвал всех лицедеями и хлопнул дверью), поэтому тема для деканата не слишком желательна — не лучше ли написать о Хераскове?! Время поторапливало, нужно было подавать на кафедру диплом, и он как бы взял — совсем чуточку — от своего увлечения Державиным, чтобы сдвинуться с мертвой точки и написать что-нибудь о Хераскове. Благодаря этой ловкой подмене новая тема стала ему даже нравиться, многое из Хераскова он до сих пор помнит наизусть — намертво въелось в память, а вот «Я червь — я Бог» забыл и к Державину больше не возвращался.

Когда случилось несчастье с дочерью Левушки, отец Валерий сопереживал, сочувствовал и сострадал ему всей душой, и это как бы давало ему право чуть-чуть занять у своей искренности, позаимствовать у нее корысти ради, чтобы затем (выплатив долг) снова доказать свою преданность, честность и бескорыстие. Отец Валерий убеждал себя, что это произойдет скоро, очень скоро, но срок оттягивался, и проклятые купюры жгли сквозь кожу бумажника.

Последний раз заняли у Одинцовых перед летней поездкой. Раз уж Агафоновы отказались от дачи и больше не снимали свою половину, чтобы разговоры о лете не наводили Левушку с женой на печальные воспоминания, отец Валерий с матушкой Полиной решили провести отпуск на пароходе и взяли билеты до Астрахани, дорогие, первого класса. Пришлось, естественно, занимать. Матушка Полина убеждала мужа, что нет ничего зазорного и предосудительного в том, если они попросят Одинцовых о лишней тысяче, но отец Валерий снова впал в сомнения, помрачнел, насупился. И тогда жена придумала выход.

Последнее время Левушка Одинцов, охладевший к чтению и сочинительству (книги это тебе не курсовые!), привязался к их дочери, водил ее в цирк, угощал в буфете ломкими, крошащимися пирожными, дорогими конфетами, шоколадом в хрустящей обертке и сладкой шипучей водой, сам показывал фокусы и подражал клоунам, забрасывал подарками — украшениями и нарядами. Поэтому перед очередным его посещением матушка Полина позвала дочь, поставила перед собой и взяла за руку, глядя в глаза с пристальным вниманием человека, собирающегося внушить важную мысль.

— Дуняша, когда дядя Лева спросит, куда ты поедешь летом, что ты ему ответишь?

— Что мы поплывем на пароходе.

— Куда? — уточнила матушка, добиваясь от дочери повторения даже того, что она знала без запинки.

— До Астрахани.

— Умница, но при этом ты должна добавить, что тебе этого очень-очень хочется. На пароходе, поняла?

— Поняла... — Девочка перевела взгляд с матери на отца, словно спрашивая, не собирается ли и он по примеру матери убедиться в ее понимании.

— Тогда у твоей матери будет повод тяжело вздохнуть, взывая о снисхождении, и дядя Лева снова выложит деньги, — вмешался отец Валерий, протирая очки, чтобы скрыть свое неудовольствие и раздражение. — Ах, какая деликатность!

— Помолчи, отец. Не сбивай дочь с толку, — нахмурилась жена и снова обратилась к дочери: — Дуняша, повтори, что ты скажешь.

— Скажу, что я очень-очень хочу на пароходе, — словно отвечая скучный урок, старательно выговорила девочка.

— До Астрахани, — вновь уточнила матушка.

11

Солнце пекло, на пристани было жарко, по трапу наседала толпа с чемоданами, и распорядитель что-то кричал в мегафон, перегнувшись через борт. Царившие всюду хаос и неразбериха сначала озадачили, затем обескуражили, а затем вовсе вывели из себя: отец Валерий не выдержал (нечистый попутал!) и сорвался. К тому же он был без рясы и креста на груди, а они обычно и заставляли его держаться соответственно тому почтению, которое он вызывал у других.

Поэтому нервы его и сдали: на пароходе устраивались со скандалом. Да и как было не сорваться, если их каюта оказалась занята неизвестно кем, какими-то знакомыми капитана. Сначала им предложили другую каюту, дверь в дверь с туалетом, затем — словно в насмешку! — не нашлось места в столовой первого класса, их сунули на нижнюю палубу,

во второй. И отцу Валерию пришлось снова объясняться с распорядителем, чья повязка доводила его до дрожи, до холодного бешенства.

Когда утряслось и с каютой, и со столовой, он почувствовал себя опустошенным, обессиленным, выпотрошенным. Он даже отказался от ужина и сказал жене, что просто посидит на палубе. И вот вынес полосатый шезлонг, поставил упор на нижнюю зарубку, то ли сел, то ли лег и... забылся. На реке вечерело, заволакивало туманом берега, вдалеке мигали огоньки шлюза, пахло дымком от костра, разведенного на острове, и отец Валерий благодарил судьбу, что хотя бы сейчас никого нет рядом.

Он снял очки, откинулся на спинку шезлонга, расправил плечи и потянулся, испытывая наслаждение человека, осознавшего, что после долгих трудов и волнений он наконец может успокоиться и отдохнуть: «Ох, суета, суета!»

Сзади тихонько подкралась дочь, осторожно — чтобы не расплескать — поставила перед ним стакан чая и убежала к матери. «Спасибо!» — крикнул ей вдогонку отец Валерий и, размешивая чай с кружившими в нем чаинками, вдруг поймал себя на странной мысли, заставившей его вздрогнуть и встревожиться, словно тень надвигающегося сачка уснувшую бабочку...

Жена и дочь задержались на ужине, поэтому все шезлонги были уже заняты. «Что же ты, отец, не побеспокоился, о нас не подумал?! Или ты у нас не голова?!» — спросила его матушка тонким, напряг-шимся голосом, стараясь спрятать упрек за безразличной улыбкой. Отец Валерий вновь засуетился, забеспокоился и побежал за шезлонгами.

На верхней палубе их не оказалось, и он принес шезлонг с нижней, не такой новый, чистый и удобный. Жена сразу заметила разницу, и это напомнило ей об утреннем скандале, снова испортило и омрачило настроение. Отец Валерий стал доказывать, что и на этом шезлонге можно удобно устроиться, и, ставя упор на зарубку, снова поймал себя на странной — будто тень от сачка — тревоге.

— Что-то мне нехорошо... Я, пожалуй, пойду. Прости.

— Сердце? — спросила она озабоченно и в то же время с оттенком неприязни, не позволяя себе поддаться опасению за мужа, еще не искупившего вину перед ней.

— Долги, долги! — зашептал отец Валерий со страшными глазами, увеличившимися в размерах из-за того, что он надел очки. — Пора расплачиваться!

— Доченька, погуляй, — привычно сказала жена Дуняше и, когда дочь послушно отошла, с усталым вздохом обратилась к мужу: — Но ведь вернем, вернем мы эти проклятые деньги!

На первой же остановке — в Угличе — отец Валерий сошел на берег, сказав жене, что ему срочно надо в Москву. «Какая срочность?!

Что с тобой?! Не понимаю!» — со слезами спрашивала матушка, но он не слышал ее, смотрел куда-то в сторону — так, словно повернуть к ней голову означало для него ее возненавидеть.

Пароход дал гудок и отчалил, а отец Валерий долго бродил по городу, по жарким и пыльным улицам. Затем стоял в церкви, склонив голову и не поднимая отяжелевшей руки, чтобы перекреститься, и снова бродил. Возле самого вокзала обнаружилось, что на билет в Москву у него нет денег. И он послал телеграмму Левушке: «Дружище зпт две сотни последний раз тчк».

Беседы в редакции

Готовя этот номер, мы пригласили принять участие в рубрике «Беседы в редакции» /по разделу «Россия и мир на рубеже веков»/ широко известного не только на Западе, но и в России французского слависта, члена редколлегии «Континента» Жоржа Нива и не менее известного не только в России, но и на Западе видного русского прозаика, Президента Русского ПЕН-Центра Андрея Битова. Оба литератора охотно согласились ответить на наши вопросы, первым, главным и общим из которых был, как всегда для наших собеседников в этом разделе, вопрос о том, как и в чем видят они главные, исторически определяющие изменения, которые произошли в мире в целом и в России в частности к началу нового тысячелетия, каким видится им будущее и что думают они в связи с этим о судьбах русской и мировой культуры. Но, естественно, обращаясь к этой общей и главной теме, каждый из наших гостей интерпретировал ее под каким-то своим углом зрения, почему-либо более для него органичным и важным.

С Жоржем Нива беседовали Игорь Виноградов, Александр Кырлежев и Владимир Сотников; с Андреем Битовым — Владимир Сотников.

Жорж НИВА

«РАСХОЖЕЕ МНЕНИЕ, ЧТО У НАС НА ЗАПАДЕ ЦАРИТ БЕЗВЕРЬЕ, ОШИБОЧНО...»

И.В.: *Г-н Нива, мы с тем большим интересом и нетерпением ожидаем от Вас ответа на наш общий и главный вопрос о мировой ситуации на нынешнем рубеже веков и тысячелетий, что Вы — Президент знаменитых Международных Женевских Встреч, имеющих давнюю и славную традицию, начатую после Второй мировой войны, а последняя сессия Встреч, состоявшаяся в ноябре прошлого года, называлась «Великие метаморфозы. Сегодня и завтра», — то есть как раз и была посвящена сегодняшней нашей теме...*

— Да, я тоже надеюсь, что мое президентство как-то поможет мне сегодня в нашей беседе. Но, знаете, вот что любопытно: на рубеже между XIX и XX веками о будущем говорили больше, чем сегодня. В России, например, будущее вырисовывалось тогда очень ярко, потому что ожидалась революция, о которой Россия мечтала уже более полувека. В прошлом же году, когда мы отмечали переход в новое тысячелетие, о грядущем веке было очень мало сказано. Потому что о будущем стало всем очень трудно говорить. Есть впечатление, что великие изменения, великие метаморфозы происходят помимо воли абсолютно всех. И даже метаморфозы науки происходят помимо воли самих ученых...

Но эти метаморфозы огромны. Они открывают абсолютно новые двери. Мелькает даже образ, о котором мечтали со времен Средневековья — нового человека, нового гомункулуса: расшифровка генома человека открывает такую возможность. И тут начинаются размышления о моральных границах подобного акта, но нет авторитета, который может указать эту границу. Повсюду есть комитеты по этике, которые пытаются определить, какие рамки для научной деятельности на будущее должна устанавливать власть. Но эти рамки признаются, если возможно, для одного государства; научная деятельность же выходит далеко за рубежи отдельной страны. Один американский ученый объявил, что он сделает клон человека на пароходе-больнице, который будет стоять в международных водах, так что никто не сможет помешать ему. Есть много страхов, связанных с этим, поскольку сегодня никто точно не знает рамок научных возможностей.

Упомянутое Вами последнее заседание Международных Женевских встреч мы начали с доклада польского философа и историка Лешека Колаковского «Прогресс науки и бунт невежд». Особенность современной ситуации, считает Колаковски, в том, что в мире невероятно выросла и все растет армия невежд. Раньше можно было охватить более или менее значение науки и быть человеком, просвещенным во многих областях. Теперь даже в области генетики у каждого есть своя специальность.

Доклад Колаковского меня, впрочем, не очень убедил, поскольку это была точка зрения скептика. Я предложил автору все-таки попытаться как-то определить степень изменений в науке по общей шкале. Ведь, скажем, открытие огня или изобретение колеса — это были изменения, которые так же потрясли человечество, как нас потрясают ошеломительные открытия современности. Но мы получили классический ответ классического скептика, стоящего на том, что, в конце концов, ничего не меняется. И прежде всего — человеческая природа. Просто все те же пружины этой природы работают внутри другого контекста. Напомню в связи с этим, что и наш французский моралист Ларошфуко говорил в свое время: мы пришли поздно, вот уже шесть тысяч лет есть люди мыслящие, и нам нового сказать нечего.

Потом был доклад биолога, профессора Жильбера Дюбуля из Женевы, специалиста по генам животных. Это было очень интересное выступление. Ведь мы, как правило, составляем себе представление о новых открытиях по газетным публикациям, авторы которых только делают вид, что что-то понимают — и вот и мы вслед за ними делаем вид, что что-то понимаем. А между тем Дюбуль объяснил нам, например, что дубликат при клонировании не может быть полным. Твой клон будет тобой и не тобой. Нельзя забывать, что это будешь ты не в том же возрасте. Мы все имеем индивидуальную манеру старения, человек принадлежит в том числе истории, времени. Так что даже если какой-нибудь очень богатый человек и решится заказать собственный клон, он неизбежно испытает разочарование. Поскольку это будет и не дитя, не ребенок в обычном смысле слова, но и не полный дубликат заказчика.

Дюбуль особо остановился на том, что зато мы сможем, по крайней мере, использовать расшифровку генома каждого человека для предотвращения болезней. Хорошо все взвесив, мы сможем не развивать некоторые клетки организма, а держать их в эмбриональном состоянии и изучать их. Однако и здесь

сразу же возникает вопрос: а не последует ли этический запрет на это? И как совместить в такой ситуации этический запрет и практическую пользу для здоровья человека? Во всяком случае, возникающая проблема толкает, на мой взгляд, к каким-то новым понятиям о справедливости, о добре. Раньше добро определялось иерархически — сверху, и для верующего, скажем, православного человека, это все еще так. Но таких людей в мире все меньше. Для массы людей определение добра не исходит сверху. Для них добро определяется сложным взвешиванием пользы для каждого (таково, к примеру, определение социальной справедливости по американскому теоретику справедливости Роулсу). Это процесс приблизительно такой же сложный, как и процесс определения того, что позволено науке. Комитеты изучают, пишут отчеты, это передается другим комитетам, потом идет в парламент страны. Парламент может принимать соответствующие запретительные законы и т. д., но если что-то запрещено во Франции, но разрешено в Бельгии, то такие запреты не имеют почти никакого смысла: можно сесть в поезд, за час добраться до территории соседней страны, сделать там любую операцию и к вечеру вернуться обратно. Так что, создавая запреты, надо думать по крайней мере в масштабе Западной Европы.

Другими словами, специфика современной ситуации в том, как мне кажется, что во многих отношениях начинает преобладать горизонтальный принцип определения понятий добра и справедливости. И это, по-видимому, неостановимо, ибо соответствует ходу тех изменений, которые происходят в мире. Все согласны с тем, что ушедший век был веком больших войн и тоталитаризма. Но в то же время он был и веком, утвердившим принцип социального равенства. В XX веке окончательно восторжествовала идея социализма: государство на то и существует, чтобы исправить состояние диких джунглей; оно должно справедливо перераспределять блага духовные и физические. И современная Западная Европа — это, безусловно, огромная система перераспределения благ: мы все платим половину своих доходов в казну, и какая-то часть идет государству, какая-то в систему социальной страховки (не знаю статистики по другим странам, но во Франции бюджет социальной страховки превышает бюджет правительства). И, конечно, это и в самом деле способствует такому, например, очень важному равенству французских граждан, как равенство перед болезнью. Может быть, богатый выбирает более богатую клинику, но в нужный момент все получают необходимый диагноз, нужную операцию. Президент Ширак как-то сказал, что как конституционный президент Франции он должен быть гарантом конституции, целостности территории и демократических свобод. А потом добавил: «и социальной страховки». То есть эта система перераспределения медицинских благ стала преобладающей, и никто не думает отнять это у граждан. Единственная проблема — как это финансировать. Как сделать так, чтобы государственно гарантировать финансирование расходов, связанных с большим медицинским риском (например, операции на сердце и т.п.), но в то же время сформировать вторичную систему медицинских услуг, о получении которых человек должен заботиться уже сам. Тут могут быть разные системы, и переходя, например, в англосаксонскую систему, в американскую систему, мы обнаруживаем, что у них там minimum minimorum охватывает гораздо меньше, чем в Европе. Но он есть. Даже бомжа на улице,

если у него сердечный приступ, возьмут в больницу. Есть система, чтобы он бесплатно мог лечиться, хотя это действительно минимум. В Европе этот минимум больше — и это осталось от идей социализма. Но зато от Соединенных Штатов пришла к нам идея, что каждый сам должен о себе заботиться, быть ответственным и поэтому платить взносы какой-нибудь страховой компании. Так что сейчас в Европе спорят, конечно, об этой системе, но никто не предлагает отменить ее центральную составляющую — бесплатную медицину.

Как мне кажется, это еще один пример того, как трудно определить сегодня в нашем обществе, что справедливо, а что несправедливо. Есть конкуренция этих двух принципов: с одной стороны, надо быть ответственным, но, с другой стороны, невозможность допустить, чтобы человек умирал на улице, как это бывает на улицах Калькутты. На улицах Калькутты об этом заботятся, правда, мать Тереза и ее монахини — но, конечно, не справляются, потому что проблема огромная. На наших же улицах этого нет и не может быть, а если такое случается, то, конечно, сопровождается громким скандалом.

Или возьмем область воспитания, — ситуация та же самая. Мы и здесь вступаем в полосу неизвестного. Если взять, например, такую страну, как Франция, то у нас раньше была идея (эта идея осуществилась при Третьей республике): школа для всех. Мы даем больше, чем минимум, каждому ребенку, все равны. Но ведь что касается таланта — здесь отнюдь не все на одном уровне. И вот специалисты по социальному праву начинают обсуждать вопрос: что значит неравенство талантов и как его компенсировать? Два ученика: один не талантлив и потому неизбежно останется на низком уровне социальной шкалы, другой очень одарен, сделает блестящую карьеру и станет человеком состоятельным. И вот новые наши моралисты говорят: часть того добавочного дохода, который получает талантливый, должна перераспределяться его неталантливому товарищу — и не потому, что есть *социальная* солидарность и мы уже не допускаем, чтобы нищенствовал, голодал и умирал на улице человек, а потому, что в нашей системе он должен получать компенсацию, так сказать, и за *природную* по отношению к нему несправедливость.

И.В.: *Ну понятно, — поправить недоработки Господа Бога*

— Господь Бог уже не входит в эту систему, потому что его для большинства наших современников уже нет. И его абсолютно нет в законодательствах — даже в Америке, где Бог тоже входит скорее не в законодательство, а в концепцию коммутативной (а не распределительной) справедливости. Коммутативная справедливость предполагает, что любая ошибка в поведении человека и ее последствия обязательно должны сопровождаться компенсацией для тех, кто от этого пострадал. Если человек крупно ошибается, надо с него спросить. Если судья крупно ошибается, с него нужно спросить. И т. д.

Но пока в Европе отвечает не судья, а государство. Жертва судебной ошибки обращается к государству и получает компенсацию. И по этому поводу тоже идут сложные философские дискуссии. Скажем, человек несправедливо осужден, потерял два года жизни. Если это, скажем, успешный хирург, он должен получить компенсацию — и компенсацию бóльшую, чем, например, бомж, так как хирург за эти два года мог бы заработать два миллиона, а бомж ничего не

заработает. Вот, следовательно, и новая проблема: сколько же стоит тот или иной человек? Как рассчитать компенсацию гипотетических доходов жертвы той или иной юридической ошибки?..

Что же касается, например, медицины, то американская система с индивидуальной ответственностью каждого врача все быстрее в последнее время переходит и в Европу. И во Франции уже был казус, вызвавший много полемики: решение кассационного суда относительно некоего мальчика, который родился парализованным. Когда мать была беременна, она попросила сделать тест. Этот тест был сделан плохо, была допущена ошибка — и женщина родила, хотя знай она о неполноценности будущего ребенка, могла бы решиться на аборт. Примечательно однако, что иск против медицинской лаборатории подала не женщина, а сам мальчик (то есть его адвокаты). Мать тоже могла быть, конечно, в претензии, потому что она получила ущерб от ошибочной информации. Но в данном случае получилось иначе: сам мальчик решил, что ему причинен ущерб самим фактом его рождения.

И вот все наши религиозные власти — католические, протестантские, иудейские, мусульманские — немедленно выразили в связи с этим иском протест, потому что он шел вразрез с основным религиозным принципом святости жизни. Но дело в том, что в современном мире существует и другая идея: что не всякая жизнь священна и что мальчик имел право подать в суд. И кассационный суд подтвердил правомерность этого иска дважды, так что теперь мальчик до смерти будет получать компенсацию за то, что он родился. Но ведь это значит, что едва ли не всем людям, рождающимся с тем или иным изъяном, наше общество тоже должно платить за природную «несправедливость», чтобы обеспечить им оптимальную жизнь. Так что против этого решения суда люди были и не только по религиозным, но и по чисто социальным мотивам: вы даете деньги этому мальчику, а остальным? Если они не подали иска, значит пусть торжествует несправедливость?.. И вот французское правительство предложило сейчас новый закон парламенту — чтобы запретить такие судебные решения, но чтобы можно было в подобных случаях определить ренту такому ребенку по иску матери. Такое решение философски меньше оскорбляет религиозные чувства и вместе с тем удовлетворяет тех, кто считает, что надо больше обеспечить жизнь такого инвалида от рождения. Ведь трудно же сказать: «он не хотел родиться»... Но на таком примере мы можем видеть, насколько в нынешнем развитом западном обществе (надо всегда определять, о чем мы говорим, — это не относится ни к Саудовской Аравии, ни к Нигерии, впрочем, как и к России) сложна система страховок...

В.С.: *А кто платит? Одно дело если государство, а другое — медики, которые были виноваты в ошибке.*

— Дело в том, что сейчас врач тоже платит взносы страховой компании — и уже не просто как все, в качестве обычного гражданина, но и как профессионал, то есть именно как врач. В Америке — все, а во Франции теперь большинство врачей страхуют свои собственные ошибки, потому что уже было много случаев, когда врач должен был как-то защититься. А другой защиты нет, кроме этой системы страховки-перестраховки...

А.К.: *Здесь, кажется, мы уже вплотную подходим и к теме глобализации, которая тоже представляет собою явление такого же универсального, постепенно захватывающего весь мир характера, как и внедрение новых — «горизонтальных», как Вы говорите, — принципов определения добра и справедливости применительно, скажем, к системе страховок. Проблема глобализации тоже ведь связана с этими новыми принципами?*

— Да, в Европе много говорится сейчас о глобализации в этом плане — гораздо больше, чем в России, потому что мы больше сталкиваемся с этой идеей, больше зависим от нее. А Россия более замкнута и вообще еще пока как бы «окраина».

А.К.: *Россия боится*

— Ну, бояться какими-то архаическими страхами, как будто это какой-то монстр идет на Россию и хочет ее задушить, не стоит... Глобализация — это, может быть, и монстр, но у этого монстра очень много самых разных голов, включая и нашу, потребителей, голову, так что надо еще смотреть, как бы, противясь глобализации, не отрубить и ее. Смотрите: вот мы идем в супермаркет и покупаем самый дешевый товар, несмотря на то, что он сделан в Китае (потому что там рабочая сила намного дешевле), а с другой стороны — подписываем протест против того, что Тибет подчинен китайской диктатуре... Мы не связываем один свой шаг с другим, хотя некоторые ассоциации потребителей на Западе и пытаются возбудить сознание общества в этом отношении. И иногда это удается, так что в результате объявляется, например, довольно удачный бойкот какому-нибудь одному товару... Но это редкие громкие случаи. И это не пугает китайские фирмы, зато пугает западные фирмы, так что они все более ощущают таящуюся в этих казусах опасность и все больше идут навстречу неоромантическим мечтаниям нашей потребительской массы о том, что наш товар должен быть чистым во всех отношениях — не должен загрязнять ни воздух, ни воду, ни психику людей. В Швейцарии это доходит иногда до каких-то грандиозных размеров. Покупаешь какую-то безумно дорогую бумагу: она переработана из старой, а раз переработана, то становится дороже, плюс она дороже, потому что на ней стоит сертификат... Но зато дерево не срубили. А срубить дерево в районе Женевы — это криминал, даже в своем саду или парке... Надо получить разрешение. И покупатель этим доволен: ведь покупая дорогую бумагу, он борется с загрязнением нашей планеты. Естественно, это бунт невежд, как говорит Колаковски. Бунт микроскопический, вполне удовлетворяющий разве лишь невежд, но с этим тоже ничего не поделаешь. Так же, как и с бунтом людей, которые считают, что мы и вообще должны защищать всегда именно местное производство. Потому что этот локализм — это тоже какая-то, как мне кажется, лирическая часть нашего «я», от нас неотъемлемая.

И это, кстати, опять показывает горизонтальность нашей системы «управления» добром и злом на нашей планете. Никто не может решить: давайте остановим глобализацию или давайте побольше глобализации. Глобализация идет, поскольку это вечное движение — найти места, где лучше производить тот или иной товар. И не обязательно там, где дешевле, в противном случае не было бы уже никакого производства в Швейцарии или Западной Европе, а

оно есть. Все мы как потребители находим свою выгоду в этой глобализации, а как граждане планеты склонны бунтовать против нее. Взять хотя бы нашего президента Ширака. С одной стороны, он участвует в собрании группы семи крупнейших промышленных и финансовых держав, но своих помощников посылает на собрание тех, кто протестует против глобализации в Порто-Аллегре. То есть он поддерживает и тех и других — с одной стороны, самых крупных глобализаторов, а с другой, самых яростных врагов глобализации. Это хороший пример. То есть Ширак не может принять решение, и, в сущности, даже и само слово «решение» здесь — это не то слово. Мы привыкли, конечно — мы в чем-то до сих пор дети скорее девятнадцатого, чем двадцатого века — что власть идет от национального государства. Но это уже не так. Главные решения в экономике той же России сегодня — это все-таки цена нефти. А это зависит не от президента Путина. И то же самое в Европе. Европа больше участвует в определении этих ценообразующих мер, но кто их определяет? Нет ни какого-то одного человека, ни какой-то одной страны, ни корпорации или фирмы. Опять сложная система «взвешивания» «пользы», «добра», «справедливости» и т.п. по отношению к каждому участнику процесса. «Рука рынка» по Адаму Смиту, плюс решения анонимных международных трестов, плюс мы все — потребители богатого Запада...

С проблемой тоже как бы своего рода «глобализации» мы сталкиваемся и обращаясь к области международной юстиции. Женева, как вы знаете, славится своим генеральным прокурором господином Бертоса, который возмечтал привлечь к суду всю российскую мафию. А сейчас Бельгия в этом отношении отличается. Она сегодня самая боевая страна на этом фронте, потому что там парламент издал закон, согласно которому любой бельгийский судья может судить любого преступника на этой планете, совершившего преступление против человечества — то есть осуществлять функции, которые принадлежат международной юстиции, невзирая на территориальность, невзирая на подданство... Вот самый яркий пример: если премьер-министр Израиля, господин Шарон прилетит сейчас в Бельгию поучаствовать в европейском совещании, есть риск, что по приказу судьи, считающего, что он совершил преступления против человечности в Ливане, его будут ждать два жандарма, которые проведут его к этому судье, и тот отправит его в тюрьму. Само собой, господин Шарон скажет: «Что вы, с ума сошли! Я не подлежу никакому суду здесь!» Но судья ответит: «Вы ошибаетесь. По такому-то закону, есть иск против Вас от такой-то группы». Уже, кстати, есть такой иск против Арафата и, кажется, против египетского президента... Всегда ведь найдешь в этих конфликтующих странах жертвы. А если есть жертвы, можно начать процесс против того, кто считается ответственным за них...

Вообще проблема международной юстиции занимает сегодня очень много умов. Вот, например, сегодня в Гааге заседает особый суд — для бывшей Югославии. Можно ли считать, что это международная юстиция? Если бы, например, внутри России были специальные законы для преступлений, совершенных в Перми, а не в Калуге, это была бы юстиция или нет? На самом деле в случае Югославии мы поступаем так, что это дает возможность бывшему президенту Милошевичу идти в контратаку. И тот факт, что США абсолютно категорически отказываются подписать конвенцию о международном суде,

показывает, что проблема совсем не так проста, как кажется многим. Пока конвенцию подписали сорок государств, а вступить в действие она может лишь тогда, когда будет не менее шестидесяти подписей. Ну, мало-помалу, может быть, наберется и шестьдесят. Но ведь пока Америка твердо стоит на том, что она ни в коем случае такой договор не подпишет, — изъян у этого документа будет такой большой, что он вряд ли окажется действенным.

Словом, мы еще далеки, как мне кажется, от международной юстиции. И меня очень заинтересовала последняя книга нашего французского философа болгарского происхождения Цветана Тодорова, где он очень осторожно высказывается по поводу глобального правительства и глобальной юстиции. Конечно, если продолжать линию просветительства, революционного движения (вплоть до большевиков), то юстиция должна все время расти — от села и города до нации, от нации до конфедерации, от конфедерации до объединенных наций... Да и этого недостаточно: пусть будет объединенное планетарное правительство, которое будет заниматься если и не всеми делами, то уж самыми крупными!.. Но вот Тодоров довольно убедительно доказывает, что это вредно: всегда должна оставаться альтернатива, иначе, если будет такое всемирное правительство и не будет альтернативы, это грозит новой диктатурой. Диктатурой на уровне планеты...

И.В.: *В общем получается так, что современным миром все больше и больше управляют сплошные горизонтали? Ну, а как все-таки обстоит дело с вертикальным измерением? С той же исторической памятью, например? Неужели она утратила уже всякую роль в сложении сегодняшних судеб стран и народов?*

— Проблемы исторической памяти сегодня тоже невозможно рассматривать вне параметров этой общей горизонтальности современного мира. И здесь я сошлюсь на своих соотечественников французских философов Феликса Гаттари и Жиля Делёза, которые выдвинули идею о том, что есть два типа современных культур — культуры-корни и культуры-корневища. Эта идея была подхвачена креольскими поэтами с Антильских островов — например Эдуардом Глиссаном. Культура-корень уходит в прошлое (или ей кажется, что она уходит в прошлое, — что одно и то же), она составляет себе историю и опирается на нее. К таким типам культуры безусловно принадлежат французская, английская, русская. Эта тенденция обозначила себя уже в Средние века, когда династии хотели думать, что они происходят от первых апостолов Христа. То есть им надо было обязательно найти корни в самом фундаменте возглавляемого ими мира, и поскольку этим фундаментом было христианство, им непременно хотелось получить кусочек тернового венца. И, естественно, эти кусочки искали и находили. Так, например, существуют апокрифы на тему о том, что апостол Андрей побывал на берегах Южной России. Это отвечает тем же самым запросам, которые хотя и видоизменились, но очень сильны в России и сейчас, особенно в православной церкви, которая стоит на том, что между Христом и православными существует беспрерывная цепь — апостолы, отцы церкви, православие... Уходят лишь еретики, а истина остается за нами, потому что мы сохраняем преемственность. Вот это принцип вертикальных культур. Они основаны на прошлом, нередко мифическом, ибо легко доказать, что все

было иначе — были и срывы, и смешения культур. Но все это неважно, потому что поправлять миф не имеет никакого смысла, он живет своей жизнью.

Корневищные же культуры — это культуры с горизонтальными корнями, может быть, более хрупкие. Это метисские цивилизации, которые возникают на очень большой гетерогенности, они заимствуют у всех. Тут не скажешь — «мои предки». Кто тут предки? Тут и рабовладельцы, и рабы, и эмигранты всех мастей. И, судя по всему, это будущее нашей планеты. Уходят медленно вертикальные культуры, сами этого не замечая. Вот возьмем Россию. Валентин Распутин против распространения западной музыки — это музыка безродная, которая не уходит вглубь нашей психеи, не соответствует нашему корню. Но бороться с этим бессмысленно. Если даже советская власть не могла остановить рост влияния американских ритмов, джаза и т.д., то теперь это и вовсе невозможно. Так что если взять уровень музыки, то корневищный тип современной музыкальной культуры очевиден, и Россия тут не исключение. И Эдуард Глиссан говорит: не стоит смотреть на это как на бедствие, это ваше будущее. Чем, кстати говоря, грешит против собственной логики: если он говорит «будущее», то это опять вертикаль, а придерживаясь логики корневищных культур, он не должен говорить ни одного слова о будущем. Так же как и ни одного слова о прошлом.

Итак, наши страны все еще имеют, конечно, корень, но в каком-то смысле его лишаются и все больше становятся корневищными. В Европе есть неевропейское население, во Франции есть огромное алжирское население, и это уже третье поколение. Нефранцузского населения во Франции где-то 5%, в Швейцарии — 6%, но в Швейцарии больше не неевропейских иммигрантов, а все-таки португальских, итальянских. Тут все-таки проблемы другие. Есть алжирские кварталы Парижа, жители которых уже не считают себя ни алжирцами, ни французами. Для обозначения себя они придумали слово beur (бёр), которое вошло теперь во французский язык. Это типично корневищное слово без этимологического корня. Эти бёр (beur) — дети алжирской эмиграции, говорящие со своим акцентом (но не арабским) — довольно нервно, немножко отрывисто. И вот эту интонацию мы слышим теперь нередко и по радио, у некоторых ведущих игр. Мало того, эта интонация стала модной, и люди уже не понимают, что она не совсем французская. И когда Франция выиграла чемпионат по футболу, это тоже было большое событие для всей Франции, для массового сознания населения. А ведь большая часть команды была алжирского происхождения. И вот это событие объединило всех — все сидели за общими столами, и это был момент, когда восторжествовало новое корневищное единство Франции. Момент, который серьезно изучается сейчас социологами. Потом, естественно, старые стереотипы вернулись.

В области исторической памяти тоже происходит нечто потрясающее. С одной стороны, мы как будто живем без нее, хотя в России, например, историческую память как раз очень, на мой взгляд, культивируют. Пожалуй, слишком. Так, в России можно встретить человека, который говорит о польском вторжении XVII века так, как будто он страдал и еще страдает от этого. Перенося эту схему на Францию, в России мне пытались, например, высказать сочувствие в связи с Варфоломеевской ночью. Но я не ощущаю с ней никакой связи — и это вовсе не только моя особенность. С другой стороны, торжествует анахронизм судеб-

ный — то есть все те судебные казусы, когда судят прошлое постфактум, через полвека. Папа Римский встал на колени в Сенегале, чтобы просить прощения у негров за то, что с санкции церкви их перевозили в Америку. 130 таких требований попросить прощения еще за что-то насчитал один из моих друзей. Одно из таких требований — чтобы папа Римский попросил прощения у бывших певцов Сикстинской капеллы за то, что они были кастратами. То есть берется кусочек прошлого и применяется к идеям сегодняшнего дня... Можно ли сказать, что это история? Нет, это не история. Это какой-то морализм, примененный к прошлому. Или еще один пример — такого же уровня нелепости: вспоминаю, как однажды Карпов, тогдашний крупный босс из Союза Писателей СССР, хотел меня обрадовать сообщением, что Бориса Пастернака посмертно восстановили в Союзе Писателей... Вот эти анахронизмы полностью путают понятия об истории. А для России проблема осмысления истории — одна из до сих пор острых, больных проблем, и всякая нетрезвость здесь, неумение отказаться от отживших стереотипов очень опасны.

И.В.: *Модель, которую Вы нарисовали, чтобы объяснить то, что, с Вашей точки зрения, происходит в мире, в подтексте подразумевает, как я понимаю, две главных тенденции, характерных для современного мира. Во-первых, это процесс все большей секуляризации общества, в результате чего и развивается прежде всего корневищная, горизонтальная система культурно-общественных ценностей, а вертикаль исчезает и все меньше и меньше значит для формирования, скажем так, массового сознания.*

— Нет, это необязательно а-религиозное сознание, потому что вторжение других религий — восточных, например, — тоже входит в эту систему...

И В.: *И все же: можно ли считать, что даже и при вхождении разного рода религий в современную «горизонтальную» цивилизацию ее формирование определяется тем не менее и в первую очередь именно тем, что человечество все больше секуляризируется? И во-вторых, не кажется ли Вам, что немалую роль в формировании именно такого типа современной цивилизации играет и тот процесс, который был в свое время зафиксирован в работах Ортеги-и-Гассета под названием «Восстание масс»? Не стал ли все больше определять в нашем мире именно «человек массы», «человек большинства»?*

— Да, но только не восстающий, а смотрящий телевизор...

И.В.: *Но тем не менее — пусть хоть через телевизор, но не он ли определяет сегодня все более упрочающуюся в мире систему «горизонтальных» ценностей? Да, это не восстание, но это вторжение, заполнение собой всего того, что раньше определялось и формировалось вовсе не этим слоем. Не массами. Не большинством. А сейчас все большую и большую роль начинает играть именно это давление масс. И вот в результате мы имеем тот менталитет, ту массовую культуру, то массовое сознание, которые образуются из всего чего угодно, и непонятно как,— из смешения религий, из глобализации, из суеверий и прагматизма, из исторических мифов и голого принципа сиюминутной пользы. И тем не менее именно это хаотически-эклектическое массовое сознание более всего и структурирует сегодня*

человеческое общество в его, как сказали бы марксисты, господствующих идеях, нормах и ценностях. Потому что, пожалуй, именно массовый человек сегодняшних так называемых развитых обществ и образует во многих отношения тот господствующий класс, идеи которого являются, согласно Марксу, господствующими. И вот в этой связи я задал бы Вам такой вопрос. Что происходит сейчас, по Вашему мнению, в религиях и с религиями? Взаимоотношения религий между собой и взаимоотношение религиозного сознания вообще с реальным бытием мира, с сознанием обычного человека, обывателя, представителя массы, который видит себя в телевизоре и является главным потребителем, а следовательно — заказчиком ТВ-продукции? Какая картина типологична здесь для конца XX — начала XIX вв.?

— Прошлой осенью во Франции вышла нашумевшая книга Режиса Дебрэ, бывшего товарища Че Гевары. Он социолог, считающий себя основателем новой отрасли социологии, которая называется «медиологией». Это наука, изучающая, какими медиа-средствами пользуется та или иная идеология, власть, религия, чтобы существовать. И он выпустил книгу, которая называется «Бог. История одного маршрута». Маршрут этот прослежен в рамках христианства — от явления Бога Моисею на Синае до сего дня. Но исключительно с точки зрения масс-медиа. Это немножко сумбурно, но очень увлекает, потому что он многое знает и к тому же относится к христианству хотя и извне, но без вражды. Главный тезис — что сейчас христианство, которое было основано на Троице — на Отце (а Отец, религия Отца — это иудаизм), на Святом Духе и на Христе, — стало почти исключительно религией Сына. Я думаю, что к этой идее приближался и Константин Леонтьев, когда говорил о Достоевском и Толстом как о «розовых», романтических христианах. Достоевский действительно следует ведь прежде всего за Христом, а Бог-Отец не очень фигурирует в его философской системе, насколько можно ее реконструировать. Насчет Толстого — вопрос более спорный. У Толстого есть почти иудейское отношение к Отцу, отрицание Церкви и какая-то романтическая надежда на то, что можно собственными силами вновь построить церковь. Ну, а потом пошли Мережковский, богостроители, богоискатели... Действительно, в жизни наших Церквей на Западе образ Христа стал преобладающим.

Словом, я думаю, что в точке зрения Режиса Дебрэ есть доля правды, поскольку и вообще принцип отцовства нашими культурами практически отвергается. Власти отца над детьми — того, что pater familias определяет образ жизни в своей familia, — этого уже нет, дети выходят из-под власти отцов. Во Франции сейчас даже отменили закон о фамилиях, то есть человек может выбирать себе фамилию матери, отца или обоих. В Испании давно берут фамилию и отца и матери, в следующем поколении можно добавить имена предков родителей, так что иногда получаются безумно длинные фамилии. Но все же в Испании преобладают, в основном, отцовские фамилии. Во Франции принят новый закон о гражданском «договоре» гомосексуалистов. Пока это не изменило нашу цивилизацию — в том смысле, что никто не стал гомосексуалистом только из-за того, что закон дает такую возможность. Сейчас таких «браков» приблизительно 16 тысяч (то есть меньше одного процента) — хотя, с точки зрения закона, это не браки. Это запись в местном суде. Большинство наших парламентариев — за идею, что это можно допустить, потому что если этого не допустишь, — ты

уже защитник патриархальной цивилизации, которая сейчас не оправдана в нашей системе. Естественно, они не говорят этого, но они так думают. Религии исповедуются меньшинствами. Но мой тезис состоит в том, что они всегда исповедовались меньшинствами. В том числе и во Франции, хотя она именуется «Старшей дочерью Церкви» — согласно традиционному определению, которое недавно повторил и Иоанн-Павел II, когда он обратился к французской нации со словами: «Старшая дочь, что ты сделала со своим крещением?». Это звучало очень эффектно и вызвало бурную полемику: какое право он имеет обращаться так к Франции? Так вот, — у этой «старшей дочери» христианство, конечно, вовсе не занимает большинство умов, хотя все же и больший, чем в России (согласно социологическим опросам, количество людей, регулярно посещающих храм, во Франции 6 %, а в России — не доходит до 4 %). Эта статистика подтверждается многими опросами и совершенно опровергает (а как западный посетитель России я все время с этим сталкиваюсь) расхожее мнение о том, что у нас, на Западе, царит безверие. Это не так, это мнение ошибочное. Те, кто утверждают подобные вещи, просто не видят собраний верующих на Западе, не видят жизни монастырей. В конце концов, определить, верующий или неверующий народ, очень трудно. Один из способов это определить — статистика посещающих церковь; хотя, например, протестанты не обязаны каждое воскресенье посещать храм. Католики обязаны, но это вовсе не означает, что они посещают. Тем не менее католичество далеко не умерло, оно, по-моему, очень живо — даже намного более, чем в начале XX века. И по-другому живет, и это, несомненно, связано с его отлучением от светской власти, хотя во Франции это было, конечно, сделано насильственным образом, ибо церковь не особенно хотела уступить свою власть. Но к власти пришли новые активные большинства, которые захотели исключить церковь из процесса законодательства и управления страной, и это было сделано в атмосфере резкой враждебности по отношению к ней. А вот в нынешней Франции никакой вражды к католической церкви нет и быть не может. Социально она, может быть, занимает меньше объема, зато место ее более аутентично. Во всяком случае, она жива.

Трудно, конечно, определить значение церкви в секуляризированном нашем обществе, которое живет в таком убыстренном темпе и когда все так меняется. Но мне кажется, что место для церкви в этом обществе есть. Я очень люблю один документ из патристики. Это анонимное «Письмо к Диогнету» (VI век), автор которого пишет, что каждый христианин должен принадлежать двум республикам — небесной республике и земной республике. Земная республика — это значит, что христианин должен быть отдан и светским делам, применить себя, свою психею к двум областям. Это очень резко отличается от, скажем, (как я это вижу) православного идеала, ориентированного на «оцерковление всего мира». Но оцерковление всего мира невозможно — или это оцерковление насильственное, то есть не только плохое, но и очень вредное. Так вот, верующие во Франции, по-моему, довольно хорошо выполняют этот двойной призыв анонимного автора. Не без трудностей, конечно, потому что не очень ясно, как повлиять на светскую жизнь, на молодежь, например. Насильственные уроки Закона Божьего — наихудшее решение, это доказано всем XIX веком. В России это породило целое воинственно-безбожное поколение, и продолжать сейчас в том же духе —

значит, получить тот же абсурд, те же самые результаты. Ведь даже внутри одной семьи результаты вовсе не гарантированы, когда отец и мать хотят дать слишком строгое религиозное воспитание своим детям. Так что и на Западе вопросы религии, я бы сказал, вышли из-под ига социального давления. Они уже более свободны, то есть обсуждение их может в большей степени оказывать воздействие на сознание этого общества.

А.К.: *Есть ли надежда, что «вертикальная» система ценностей, связанная с христианством, будет играть какую-то роль и в социальной сфере?*

— Мне кажется, что в очень большой мере вся система социальной справедливости, которая есть на Западе — во всяком случае в Западной Европе — исходит именно из христианства. Но иначе, чем раньше. Сегодня никакой Папа, Патриарх, Митрополит не может навязать всему миру вертикальные религиозные законы. Он может попытаться что-то сделать, может что-то сказать, но принудить не может. А нас интересует, как повлиять на сложный процесс становления современного демократического мира, правила которого задаются его секулярным большинством. Это большинство может исходить по существу, в нравственно-содержательном плане, из каких-то традиционных норм, выработанных христианством, но обосновывать и вводить их как нормы общества хочет уже по-другому.

И.В.: *Ну да, по принципу «общественного договора», чисто конвенциональной морали: условимся, что такие-то и такие-то действия будут считаться злом и будут запрещены, потому что они угрожают устойчивости общественного организма Но ведь на это всегда найдется свой Раскольников, который скажет: а плевал я на все ваши общественные договоры и запреты! Если Бога нет, то все позволено*

— Западное большинство отвечает, что так дешево не обойдешься. Отсутствие Бога еще не позволяет тебе безобразничать...

И.В.: *Но ведь совесть-то, которую без Бога я сам делаю, может позволить! Даже убийство, не говоря уж о прочих «табу» меньших рангов. Поймают — так поймают, а не поймают — значит моя взяла, и главное — «по совести», без каких-либо ее угрызений*

— Это уж прямо какой-то террорист! А есть и «кантианцы»...

И.В.: *Может быть, и террорист — во всяком случае типа террористов из так называемых Красных бригад, где, насколько я знаю, с инстанцией Бога дела иметь не любят. Но разве тот же Раскольников — в той своей потенции, которая вытекает из его теории «крови по совести»,— не террорист? И разве всякий нынешний обыватель, который в массе своей тоже является, подобно Раскольникову, как бы всего лишь «человеком без вертикали», именно по этой самой причине не таит в себе нравственной возможности стать даже и террористом? Если только не побоится вступить в борьбу с обществом и додумается до каких-нибудь «идей», подобных раскольниковской Правда, в наше время мир содрогается уже и от террористов «вертикального» измерения — религиозных фанатиков-исламистов. Но это уже другая проблема, поэтому не будем сейчас*

спорить о том, какой терроризм хуже — религиозный или атеистический. Очевидно, что оба хуже. Давайте лучше поговорим немного и о сегодняшней России, которую Вы так давно и хорошо знаете и так часто посещаете — причем отнюдь не только Москву. Что Вы думаете о сегодняшних ее взаимоотношениях с западным миром? Открыта ли она к настоящему с ним диалогу — не только прагматически-политическому, но и более глубокому — духовному, культурному? Что может способствовать такому диалогу и что мешает ему?

— Вы знаете, я начну вот с чего. Когда я посещаю, например, ваши музеи, как московские, так и провинциальные, и слушаю ваших милых гидов, я никак не могу отделаться от ощущения, что вы все время стремитесь как бы подтвердить себе самим, что принадлежите к большой культуре.... Я мысленно сравниваю это с тем, что слышу и вижу во Франции, Швейцарии, Англии. И каждый раз констатирую, что здесь, в России, хотя бы словесно, но все время есть потребность какого-то утверждения, значимости своей культуры, ее величия и т.д. Это происходит, конечно, из-за какого-то внутреннего комплекса хрупкости и неуверенности, которому на самом деле нет оправдания, потому что оттого, что еще и еще раз скажешь: «наш великий Толстой», — ничего изменится. И потому что надо просто знать, насколько Толстой близок повсюду. Он, скажем так, принадлежит не только России. Как, собственно, и Пушкин, и даже русский язык. Иначе говоря, у вас действительно великая культура, и поэтому она принадлежит всем. Но это идеи, которые почему-то не очень подходят России, с этим в России почему-то не очень считаются. А подходит больше репатриация всего русского из русской эмиграции. Откопать наших покойников из Сен-Женевьев-де-Буа. Пусть все мертвецы к нам приедут обратно. Вместо того чтобы подумать: наша история смешана с историей Франции, и тот же Бунин там жил и умер. И незачем требовать обратно тело...

Но нет — все-таки существует вот эта тяга к какой-то замкнутой системе типа монастыря — ну вот как Гоголь считал, что Россия должна стать монастырем. Достоевский тем и хорош, что в «Братьях Карамазовых» показывает, насколько это сложно и даже, в сущности, невозможно. Зосима и Алеша — это ведь как раз диалог между монастырем и миром, идея которого радикально отличается от идеи оцерковления России, Европы и вообще всего мира...

Мне кажется, что все еще очень слабо разработана идея диалога между Россией и Западом. В том числе — религиозного диалога. Вот, скажем, человек по религиозным убеждениям считает, что смертная казнь необходима. Хорошо, пусть высказывается и такое мнение, хотя мне, например, кажется, христианину трудно придерживаться этого тезиса. Но ведь где-то и у Достоевского, помоему, есть идея, что смертная казнь — это акт большего уважения к человеку, чем пожизненное заключение. И вот если обо всем этом философствовать, во всем этом разбираться, то тут совершенно необходимо вести разговор с другими христианами, а между тем я в России все время сталкиваюсь с идеей, что другие христиане не в счет, потому что они «неправильно крещены». Настоятель монастыря, в котором я недавно побывал, знает, что я протестант, но говорит мне: «Вы некрещеный, надо вас крестить». Я отвечаю: «Простите, я крещеный». «Нет, это не крещенье...». Дело приняло странный оборот, потому что я был даже немного возмущен этим. Владыка в Твери тоже начал со мной

разговор с предложения обратиться в православие. Но я хочу пока остаться протестантом!..

Вот эта система замкнутости чувствуется и в культуре. Генеральный консул Российской Федерации говорит мне: «Мы взяли триста статей из швейцарской франкоязычной печати, чтобы посмотреть, сколько положительных отзывов о России, сколько — отрицательных. Мы нашли, что две статьи положительные. Остальные все отрицательные. Дайте нам совет, как нам изменить наш имидж». Я ему сказал, что его метод выяснения того, как относятся к России, неверен, потому что система массовой информации построена на Западе скорее на критических принципах, чем на хвалебных. И если президент Ширак попросит своих подчиненных подсчитать, какой процент журнальных статей за него, а какой против, ответ его опечалит: большинство будет против. Вы не должны грустить, сказал я ему, но не должны и скрывать от себя, что Россия сейчас не очень привлекает молодых людей, не очень их интересует. Это, наверное, временное явление, но ведь нельзя забывать, что было несколько русских миражей, разочарование в которых не прошло бесследно. Был например мираж России, который создавался придворными французскими философами: Россия — страна, где торжествует Просвещение, где правит просвещенная дама-деспот, великая Екатерина. Но ведь на деле оказалось не совсем так — где-то так, а где-то очень не так. Потом был момент большой русофобии — это польская проблема, проблема исчезновения Польши с карты мира. Вся французская интеллигенции была за Польшу. И это очень мешало пониманию России. Но мало-помалу народилось новое поколение людей, которые снова стали с большой симпатией изучать, что происходит в России. А потом новый мираж: большевистская заря, осуществляется замечательная мечта человечества! Чем это обернулось, вы знаете. Вплоть до того, что, скажем, во время Брежнева образ России был уже однозначно негативным...

В.С.: *Можно ли определить какую-то динамику отношений западного человека к России за последние годы? Изменилось ли отношение Запада к России в десятилетие после Горбачева? Можно ли с точки зрения западного человека разглядеть в сегодняшнем развитии России какие-то закономерности и тенденции или этот процесс развития хаотичен и в нем только постфактум можно что-то определять? Как мне кажется, это тоже важно для дальнейшего взаимопонимания.*

— Конечно, есть какое-то хаотическое представление о России. То есть если бы у России был определенный курс, скажем, на присоединение к Европе, это было бы понятно. Это не значило бы, что Европа хотела бы того же, но было бы понятно. Мне кажется однако, что здешняя политическая элита не очень ориентирована на Европу. Да и масса тоже. Поэтому власть в этом отношении действует осторожно. К тому же есть Европа, есть Запад, а есть Америка. Россия все время колеблется между Европой и Америкой. А это все-таки различные континенты — различные и по мощи экономической и политической, и особенно в культурном отношении. К тому же ощущается и некий возврат России к великодержавному восприятию мировой политики: мы потеряли гегемонию, но мы все-таки остаемся великой державой, без нас не обойтись. Вот эта точка зрения, которая звучит в русской политике, конечно, в Европе очень непопулярна. Нынешняя Европа построена на других основаниях.

Да и литература нынешняя — нельзя сказать, что хотя бы она служит посредником между нами. Правда, если говорить, например, о Франции, то у нас активно переводится Пелевин, отчасти Сорокин, Улицкая (на немецкий переводится больше). Но из этого диалог с Россией не получается. Пелевин и Сорокин нравятся некоторым читателям, потому что у них такой же постмодернизм, как на Западе. Но — лишь некоторым. Или вот я, например, отвечаю за появление на Западе Марка Харитонова, и он просто покорил французскую критику. Но — не дошел до читателя... А я думаю, что без плодотворного посредничества культуры необходимый диалог между Россией и Западом состояться просто не может. Вот тут в Москве я посмотрел замечательную выставку «Бубнового Валета». Так почему бы не показать эту же выставку, как она есть, например, и в Париже? Она произвела бы, несомненно, большое впечатление, потому что там все картины первосортные. И было бы хорошо получить это прямо из России, а не из запасников западных музеев. Музеи Костромы, Ярославля, Пензы, Иванова тоже имеют довольно много русского авангарда. И показать все это было бы очень хорошо для имиджа России. Но пока что нет таких выдающихся жестов, которые помогли бы лучше понять Россию; зато есть масса статей, от которых остается, конечно, тяжелый осадок — беспризорные дети, убийства, чудовищная коррупция, выходки националистов, Чечня и т.д. Все это создает образ отрицательный, неверный. Но для того чтобы показать, что это образ действительно неверный — в том смысле, что он далеко не полный, — нужна ведь и какая-то активная деятельность. А сколько-нибудь определенного курса на это пока, мне кажется, не видно..

Будем надеяться, что он появится.

«ДАЙТЕ ВРЕМЕНИ ПОГОВОРИТЬ ЕГО ЯЗЫКОМ...»

— Андрей Георгиевич, вы много размышляли и писали о времени.. И смена исторических эпох, выраженная в том числе и цифрами, по-моему, никогда не казалась вам условностью

— Конечно, смена века — не условность. Меня очень занимал этот переход, и я к нему готовился. Не рассчитывал, как бы дожить, — по молодости лет не можешь же себе представить, что тебе будет за шестьдесят. Но, в общем, я ждал этого перехода через нули и по этому поводу что-то делал. Поставил себе задачи, как стахановец, и, как ни странно, выполнил эти задачи. Одна — это памятник зайцу, который перебежал дорогу Пушкину в Михайловском. Я этим памятником всем надоел: хотел, чтобы он появился ровно в канун перехода. А вторая: отметить пятого января 2001 года — пятидесятилетие смерти Платонова, который, при некотором воображении, может представиться писателем будущего.

— А когда появился памятник зайцу?

— Единственная дата, которую по сей день не пересчитали по новому стилю, — 14 декабря. Я пересчитал, получается 26 декабря, как раз на Рождество. И вот я на Сочельник 2000 года назначил памятник зайцу — к 175-летию декабристов и юбилейной дате Пушкина. Конечно, возмущения это вызвало много, в том числе и в отношении к декабристам. Либерального возмущения, и пушкиноведческого возмущения, и православного — от РПЦ, значит... Вот как уха-то нет у людей! Да что ж такое, у них только что КГБ было, а они РПЦ называются! Господь наказывает бесчувствием к языку. О таком же случае мне рассказывала вторая жена. Она училась в школе уже после смерти Сталина, учительница пришла в класс и говорит: «Поздравляю вас, дети, введено новое сокращение — ВОСР, то есть Великая Октябрьская социалистическая революция»...

Так вот, противников этого зайца было много, и спасибо директору Михайловского заповедника Георгию Василевичу: открытие памятника — это была его заслуга. На него было большое давление, но он оказался человеком слова. Для меня это было вопросом принципа, идеи — для него это был вопрос жизни. Во всяком случае, памятник в Михайловском стоит. А смысл этого памятника, как я со своими амбициями считаю, может доходить еще достаточно долго. Как такое маленькое дао. Ну, и потом, традиция парковой архитектуры не нарушена: копия верстового столба, ничего лишнего.

— А почему церковь была против?

— А они где захотят, там беса и увидят. К тому же я жидомасон. По спискам. А РПЦ почему-то верит этим спискам. В общем, Бог с ними, грех во время поста даже жалкому гневу предаваться. Зайчик стоит — пусть думают, зачем. Это вам не кот ученый, это серьезная вещь! Над ней надо очень долго думать.

Я полвека думал, с детских лет. И сейчас с амбицией говорю, цитируя Тома Сойера: не всякому мальчику доверят красить забор в воскресенье. Другие не сделали — я сделал. Конечно, с помощью других людей: один это не осилишь.

— *Вы объясняли его как памятник выбору?*

— Конечно, выбору: Пушкин собрался, его что-то толкает, у него же интуиция. Ну, и соскучился в Михайловском, истосковался, да написал кучу, мало ли чего хочется... Что-то его толкало к Петербургу. Да еще царь помер. Потом... зайчик остановил. Не поехал. А так бы, как царю откровенно признался, конечно, был бы на Сенатской площади. Куда ж деваться? А тогда был бы и в Сибири — и история была бы другая. Странное дело: какой-то титулярный советник, ерунда собачья, а история России могла бы поменяться оттого, что Пушкин стал бы декабристом... Он все предвидел! Он же написал «Воображаемый разговор» — о том, что наговорил бы царю дерзостей, а тот сослал бы его в Сибирь, где он написал бы поэму «Ермак» или «Кочум» разнообразными размерами с рифмами. Совершенно другая история! Декабристы все вернулись такие здоровые, крепкие... На них еще любовался Лев Николаевич Толстой и говорил: в какие развалины превратились светские судьбы и какие крепкие — борода лопатой — вернулись мужики из Сибири! Без них Сибирь была бы другая, потому что они ведь там пустили какие-то ростки просвещения, интеллигентности. До сих пор трогательно посещать деревенские музейчики, в которых какой-нибудь мужик шукшинского характера откопает оловянную ложку и верит, что она декабристская...

Ну, это я ушел в сторону — но много в том зайчике мысли. Вот, одну историю вспомнил... Я ее недолюбливаю — может быть, из-за некоторых вещей, которые до сих пор не время рассказывать. Так вот, в «Метрополь» некоторые из приглашенных не пошли.

— *Заяц?*

— А был замечательный совершенно ответ Трифонова. Трифонов был в золотой поре и как-то умудрялся качественные свои, безусловно живущие до сих пор тексты публиковать, и даже выезжать за кордон, не ведя никаких дурных дел. И он сказал очень четко: «Когда у человека своя игра, он в чужую не играет». У меня тоже была своя игра, я же накануне выпустил «Пушкинский дом» за границей, мне бы хватило. Но я не был достаточно тверд.

Так что с зайцем не такая простая вещь — правильно Трифонов ответил... И сейчас очень важное время, и сейчас зайчики важны. Не дай Бог никакого радикализма! Пусть это болото, это гниение продолжается как можно дольше. Распад должен произойти и просохнуть естественным путем. Надо наконец не торопить историю. Начинаешь отдавать должное проклинаемым советским политикам за то, что они продержались без гражданской войны; гниение при них продолжалось мирным путем. И поколение наросло. Это же поколение было послано в Афганистан — третье, то, которое дедушку Ленина уже не в гробу видало, а просто не помнило. Три поколения потрачено — три должно быть, чтобы вернуться хотя бы в прежнюю точку. Так что заяц будет пониматься все глубже и глубже... Нельзя рвать историю на куски — ее надо иметь. А у

нас все время какие-то ошибки и списывание предыдущего периода — ну никуда из этого не вырваться! Списать предыдущий период как ошибку, как будто поменять предыдущий состав кабинета министров. Укрепление вертикали напоминает мне засорение моего бачка — когда я ищу эту штуку с резинкой, чтобы протолкнуть... В общем, дайте времени поговорить его языком. Ведь столько усилий ушло на последовательность! Важно не повредить поколению наших поздних детей — не ранних, а тех, которые сейчас тинэйджеры. У меня в «Оглашенных» есть разговор с ребенком. Этот ребенок утверждал, что самостоятельные люди начали рождаться с 1985 года. Мой младший сын — 1988 года. Тот мальчик не верил, что такой старый человек может иметь самостоятельного сына, и очень меня похвалил за это. Я его спрашиваю: «А ты с какого? — А я с 1985». И старец какой-то сказал, что очень новые люди родились, но очень страшная судьба им предстоит. Такое у него страшное было пророчество.

И вот 2002 год. Мир разменял его отвратительным способом — одиннадцатым сентября. Меня тоже напугала Америка — то, что с ней случилось, — потому что я вижу за этим, не дай Бог, более страшные вещи, чем любая политика, любая идеология или, тем более, сопротивление светлых сил темным. Я вижу биологическую сторону того, что произошло. Для нас самое неизвестное — это аппараты регуляции поведения. Сколько бы у нас ни было мозгов, пятью процентами мы варим, а девяноста пятью — осуществляем программу. Если вид идет на самоуничтожение — а вид же состоит из отдельных представителей, и из этих камикадзе тоже — так вот, если он идет на такую выработку регуляции, то это более страшно, чем любая политика; это космическое что-то.

Когда в свое время советская власть, вполне приготовленная к гибели и поэтому стремившаяся выжить, спустилась на Афганистан, я, например, перекрестился, потому что, по идее, готова была Югославия. И этого бы нам никогда никто не простил. Вдруг какое-то бестолковое движение — и бедный Афганистан отдувается за все.

— Может быть, такая страшная и неожиданная биологическая регуляция является сигналом, который человечество должно правильно понять?

— У нас до сих пор ни при каких обстоятельствах не произносят имя Мальтуса, боятся не знаю чего — расизма, фашизма или просто самих себя. А биологический фактор может оказаться важнее всех других — этологического и экологического. Но это, в то же время, может быть сигналом того, что миру нужна не глобализация, а объединение. Ведь технические средства, которые нарабатываются человечеством, могут быть и во спасение, и во гибель, да? Мир был двухсистемным — с двух сторон подвесили, как елочные игрушки, по бомбе, и мир спокойно за наш счет существовал: мы были империей зла, очень легко было на нас все навешивать, третий мир потихоньку подрастал... Вся планета была в балансе, и такого долгого мира, в общем, не знала. Стоило распасться этому противостоянию — и весь мир пошел мелкими вспышками. Пока что он такой искрящий, но идеей борьбы с терроризмом затеяна глобальная история. Потому что если, не дай Бог, тайный антиамериканизм, который всюду

распространен, будет перевешен в антимусульманство, — многие пойдут трещины, и все замечательно сгорит. Впервые я начинаю понимать, что имел в виду Иисус, когда говорил: «Подставь правую щеку». Всегда мне было непонятно, зачем ее подставлять, я был советского розлива человек... Правым быть нельзя. Две правоты — это две агрессии. Вот и все. Нельзя быть правым, надо иметь чувство жизни во спасение.

— Соотносится ли это с теми идеями экологического единства, которые вы высказывали — и в эссе, и в трилогии «Оглашенные»?

— Я имел наивность проповедовать будущее экологическое единство, такую утопию имел, что человечество переменит, переадресует свою агрессию и тогда весь экономический потенциал будет не даром накоплен, а во спасение, потому что надо будет спасать общий воздух и общую воду. Была перспектива неокончательной экологической катастрофы, то есть такой, которая не погубит жизнь, а обозначит необходимость иначе адресовывать весь человеческий гений, весь потенциал. Вот такие у меня были десять лет назад разглядения XXI века. Но это были того времени чувства, а сейчас они совершенно другие...

— Связанные с новым веком?

— Мы действительно уже в XXI веке. Я даже придумал другую периодизацию для XX века. Я подумал, что XIX был несколько длиннее — скажем, до Первой мировой войны. Недаром же со сталинских времен, преувеличивая достижения социалистического хозяйства, все мерили по 1913 году. В 1900 году не произошло перемены века, хотя я уверен, что если покопаться в газетах, то тоже найдется много всякой ерунды, но она была на фестивальном уровне, на уровне шутих и хлопушек. А XX век начался в 1914 году, и правильно было бы считать, что он закончился в 1989, то есть с падением Берлинской стены. И начался XXI век — уже другой мир.

— У вас нет ощущения, что сейчас идет какая-то волна потрясений?

— В последний год все так или иначе потрясены. В одной литературе смертей зашло за двадцать! Умерли люди, которых я знал на протяжении жизни, — одних ближе, других дальше. Некоторых очень близко... И каждую семью затронуло то или другое потрясение. Я думаю, что это явление космическое вполне. Не надо путать человеческую волю, которая всегда сильно преувеличена, с тем, что происходит в других сферах.

— А какой же выход?

— Человек должен смиряться, а не искать агрессивный выход. Если я вам дам по морде за то, что у меня в семье горе, от этого лучше никому не станет, да? А ведь что-то близкое к этому все время происходит в мировом масштабе. И все считают себя на вершине развития человечества, и до сих пор не пересмотрен масштаб человека, место человека — то, что связано и с верой в Бога, и с вполне научным сознанием. Вообще, я считаю, что вера в Бога не мешает быть материалистом в реальных вопросах. Надо осознавать себя на биологическом уровне, не зарываясь, понимая, что это, может быть, и есть задача чело-

века: разрешить проблему жизни как долга, а не как животного права. Лет десять назад я придумал даже термин: эсхатологическая цивилизация. Это люди, осознающие себя перед концом света и испытывающие обязанность перед жизнью. Зачем-то ведь нам нужны и Интернет, и ракеты, и все такое прочее — кроме власти, наживы и подавления.

— А Россия относится к этой цивилизации в полной мере, или мы снова выбираем особый путь?

— В свое время — это было время, пригодное для циничных шуток, — на каком-то интервью мне задали провокационный вопрос про мою программу для президентства, и я сказал: нет, я вряд ли пригодился бы, но вообще-то легко выиграл бы выборы. Сказал бы: не обещаю вам, что вы будете жить лучше, — обещаю, что сосед будет жить хуже. Выиграл бы на сто процентов! Вот это, конечно, отрицательная часть российского менталитета. Ведь мы же такие сердечные, что и замочить можем запросто. Всемирная отзывчивость переключается легко, как напряжение сто двадцать семь на двести двадцать. Всемирная отзывчивость, переходящая в погром, — это хорошая перспектива! Стоит только кому-то куда-то нас поманить, мы и попремся. Так что я молю Бога о том, чтобы такой мерзавец со светлой головой не объявился впереди. Чтобы не было зовущих — вперед, назад... Надо перетерпеть это время, надо дать ему поговорить своим языком. Но не терпят! Не терпят сильные и не терпят слабые. Мы как страна с поражением в холодной войне представляем собой опасность, американцы — как страна с победой представляют собой опасность. А между тем каждые пять секунд умирает в этом мире ребенок. Каждые пять секунд — такая цифра. Может быть, все это рисуют толкатели пропаганды, но... Значит, дети расплачиваются, дети нам делают наш экологический баланс. Киты выбрасываются на берег — у человека есть и другой выход: когда он жить не хочет, он пускается в агрессию, в истерику.

Много, много проблем, только их нельзя решать в целом — надо решить их для себя. Пока не решишь их для себя, в мире ничего решено не будет. Я считаю, что очень важно смиряться — перед тем злом, которого мы еще не осознаем, которое выше очевидного зла. Ведь очевидное зло — это, в общем, комфортабельная вещь, на очевидное зло можно помолиться. Дайте мне настоящего злодея, настоящий отрицательный характер, дайте мне Тартюфа — нет, никого такого нет. Сволочь на сволочи сидит, сволочью погоняет, а отрицательных нет, понимаете? Такая история презабавная. Презабавная потому, что и без насилия нельзя, и с насилием невозможно.

— Тупик?

— Но для того и существуют цивилизации, чтобы насилие принимало грамотную форму. Оно регламентируется обществом, которому в России не дают подрасти, законом — законотворчеством, которое тоже в России имеет опасный временщицкий характер: никто не верит, что сел надолго и отвечает надолго. Ведь понимание власти, когда она даже от Бога, может быть только одно: что это высшая форма зависимости. Чем выше власть, тем от большего ты зависишь. А у нас власть материальна, мы власть все время делим и рвем,

кусочки урываем. И что мы сейчас говорим о XXI или XX веке? Нам сейчас XVIII век гораздо ближе — по духу непройденности. Надо что-то пройти, вот как плод развивается. Кстати, по непроверенным данным, первые материалисты от науки XIX века, первые Базаровы, с криком и ужасом допустившие для себя существование Бога обратно, были эмбриологи, которые поняли, что плод как-то не получается одними законами, без подключения высших сфер. Так что стадию рыбки-птички пройти придется. А вот если мы из рыбки, минуя птичку, и станем сразу человеками — это путь... не очень. Надо вытерпеть какое-то время. Даже получается теперь, обратным ходом, что и советскую власть, раз уж она была, раз уж три поколения на нее было потрачено, — то и ее надо было перетерпеть четвертым, пятым или шестым поколением. Она бы переродилась, может, другим путем. Зайчик правильно перебегает дорогу! Не надо торопиться на Сенатскую, на Красную — дайте людям подрасти, времени побыть. Я на это надеялся десять лет назад, но этого не произошло. Не только у нас — не произошло и там.

— А как вообще отношение к существенным проблемам мира отличается у нас и в Европе?

— У нас наши проблемы, и нам надо мировыми заниматься постольку, поскольку это нам выгодно. Надо иметь национальный интерес: почем купить, почем продать. Я давно ношусь с такой бредовой идеей — что надо выпустить карту исторических возрастов. Есть политическая карта мира, есть географическая... Все живут или сегодня, или у себя. Я к этому пришел, анализируя, что такое ностальгия. Когда меня выпустили из страны — я стал кататься, видеть что-то, пользоваться чужими благами, сравнивать и не приходить ни к какому выводу: почему же русским так трудно живется там, где лучше, почему эмиграция проходит какие-то ломки и переживания? Чего же начинает не хватать? Видишь, что все русские эмигранты забиваются в свою языковую среду, а мир давно раскрашен в разные цвета и перемешивается, и это мирное перемешение — много турок, много афроамериканцев, много кого угодно, и все держится на цивилизованных началах — с большим трудом, но все-таки, и каждый приносит другому пользу. И вдруг — такое русское отчаяние и разбирательство, кто прав, кто неправ... А почему я возвращаюсь домой — и мне проще? С каким бы отрывом я ни жил по судьбе, но все равно мне проще на родине. Я здесь на улицу выхожу — и все понятно, ничего не пугает... Страшно — там, когда смотришь по телевизору какую-нибудь информацию отсюда и начинаешь нервничать за семью, за детей. А здесь не страшно. В чем дело, почему легко? Да потому что мой исторический возраст такой же, как у окружающей среды. Ничем другим — ни расовым, ни кровным, ни языковым — я не могу это объяснить. Ни тем более какими-нибудь березками, кочками, небесами. Исторический возраст у всех развит относительно. Китаец умнее русского, русский умнее еврея, немец умнее японца, и каждый из них умнее друг друга. Потому что у всех есть свой поворот ума, он заключен и в языке, и где-то еще. Сейчас, когда все это будут разнимать на уровне генной цепочки, может опять черт знает во что вылиться. Но при этом ясно одно: если люди могут производить потомство — любые друг с другом — значит, это одни и те же люди. В аэро-

портах, где набито цветными детьми, а я уже ностальгирую по своим, — я вижу, что играют они одинаково, тянутся к игрушкам одинаково, плачут и смеются одинаково. И тут доказывать нечего — это абсолютно одна порода. Но вот этнически она распихана по разным эпохам. Вообще, все с Интернетами, все с часами, все с зубами, кому хватает средств, — кроме тех детей, секундно погибающих детей... Мир должен поделиться, и он производит эту работу. На него не надо слишком клепать — он с большим скрипом и трудом производит эту работу. И в то же время есть обязательные экстремистские полюса. Это люди, которые в полном порядке и которых мало, и люди, которые действительно в полном непорядке и которых совсем немало. Значит, энтропия, которую все заклинают, поскольку конец света неизбежен, энтропия нужна на уровне духовном — нужна! На уровне самой настоящей веры и самой настоящей молитвы. И самых настоящих поступков, то есть тех поступков, которых не совершать человек не может — по совести, по принадлежности своей к образу и подобию, да? В общем, безнадежная ситуация. А чем безнадежней ее осознавать, тем меньше надо и рыпаться.

— Однако люди в основном все-таки «рыпаются», и так, что их принадлежность к образу и подобию начинает вызывать сомнение

— Но человек-то хочет жить, правда? Молодой хочет жить в особенности, и у молодого же нет возможностей. Бедные тинэйджеры, которым природа, переобеспечившая их по линии размножения, посылает каждые полчаса сигнал, что им надо совокупляться! А они еще не имеют ни средств, ни положения, и эти старые идиоты им что-то внушают: что надо учиться, что они должны слушаться... И при этом мир все-таки устроен еще кое-как! Господь сотворил нас на доводку — такая система, которая должна была сама себя довести до ума... Вот и доводим. В общем, объявлять себя людьми рано, так я бы сказал.

— Вы говорили о том, что менялось ваше понимание главных проблем, стоящих перед человечеством. А самоощущение писателя — как индивидуальности, как части общества — меняется ли в зависимости от изменения времени? Или это как в кратных дробях — числитель и знаменатель разные, а значение дроби одинаковое?

— Конечно, очень меняется. Девятнадцатый век прошел, двадцатый прошел. Мальтус... Без биологии сейчас ничего не понять. И то, что раньше было лучше, а сейчас стало хуже и пали нравы, — это все маразматические старческие утверждения. Мне уже помирать каждый час надо быть готовым, мне уже шестьдесят пять лет, так долго не живут — и я буду говорить, что испортился мир? Ерунда! У мира все время меняется задача, и ее способны решить, как ни странно, только следующие люди. Ну, в то же время с умилением в хорошем настроении говорят, что вот, ребенок сразу правильно нажимает кнопку компьютера. А мой компьютер — мой, мне природой выданный и достаточно развитый — не справляется с этой примитивной машиной, мне уже трудно усвоить последовательность кнопок. Они живут в другом времени, эти люди, и им не надо мешать. То есть им надо помогать. А играть желваками по линии сохранения традиций и делать особенный вид, что мир погиб, — знаете, это

объявлять отсутствие собственных яиц. Это несерьезно, это даже опасно. Иногда просто глупо, а иногда опасно. Но в то же время бежать, задрав штаны, за комсомолом тоже всегда было глупо, и тоже опасно. Значит, остается та мера внутренней свободы, которую ты нажил и которую ты должен не утратить до самого конца дней. Я очень позитивно отношусь к старости, потому что старость — это эпоха приватизации, это твое частное дело. Это никого не интересует, и дай Бог тебе мужества продержаться в этом частном виде.

Вот сейчас вы меня вынуждаете говорить суждения, а на самом деле это, может быть, стыдно, может быть, этого не надо делать. Или надо как-то так уметь сказать, чтобы что-то обозначить, ничего не утвердив. Ну что же, я ничего ведь не предлагаю. Но те картины, те видения, которые мне открываются, — они не самого благополучного свойства. Хотя может быть, это просто клиника и патология. Меня год уже преследуют всякие сны и кошмары, но может быть, это просто, что называется, психосоматика, которая обретается с возрастом. Вот последний сон я расскажу. К сожалению, очень трудно описать: надо либо его начать сочинять, то есть придумывать так, чтобы он выглядел логично, потому что он весь безóбразный — не безобрáзный, а безóбразный... Мне снятся такие безóбразные сны с невыявленной символикой, какие-то недолепленные. Как недолепленный бегемот, скажем: Господь слепил его, как из теста, но не оживил. Такие, пространственные довольно, сны. И вот мне снилось, что я делаю автомобиль. Почему вдруг? Я на автомобиле тридцать лет проездил и бросил по разным обстоятельствам, не езжу. И вдруг я делал во сне автомобиль из всякого какого-то дерьма, как будто я это умею делать. И, в общем, у меня уже получился автомобиль. Там был материал, который уходит в подкрылки — знаете, какая-то пластмассовая дрянь. Я прилаживаю крыло и даже, не совсем ровно, ножницами его обстригаю... Это автомобиль, а я ножницами его обстригаю! И тут от этого просыпаюсь, и какой-то странный умственный ужас: я понимаю, что делаю какую-то ерунду, а он уже почти едет, он уже почти настоящий автомобиль, и я уже почти горжусь результатом своих дел и усилий... Но просыпаюсь от того, что все-таки это не автомобиль, все-таки это просто какая-то ерунда собачья! На целый день меня подавило в депрессию, потому что я подумал: а не вся ли такая жизнь моя была? Мне ведь снился не тот автомобиль, который рожден автомобилем и с первой коляски пароходной обретал этот род, а что-то такое, как наша «Волга» или, еще лучше, «ИЖ»... И корпус моих собственных сочинений вдруг предстáл мне точно таким же. Может, были отдельные страницы, а в принципе... Вот от этого становится тошно и невыносимо. А с другой стороны, дал кому-то жизнь, кого-то накормил, и почему у тебя функции должны быть выше, чем у твоей бабушки, которая была безусловно лучше тебя? Но вот этот автомобиль меня очень переехал... Вот этот пластмассовый ужасный автомобиль, который я во сне конструировал. С чего бы — никаких поводов! Снилось это мне в Германии...

Но вообще, все будет, как будет. Больше смирения, больше благодарности — такой простой тезис. Жаловаться успеваем — благодарить не успеваем. И из-за этого происходит экологический дисбаланс тоже — этологический точно. Кстати, очень любопытно, что наш многострадальный народ, который перенес такое, что никому не снилось, то есть способен вынести все, — вдруг оказался

таким изнеженным, жалующимся. Патология какая-то ментальная! Значит, что же, опять нужна узда? То есть неспособны вынести самостоятельную ответственность? Какой-то отвратительный западный человек — он жалуется меньше, он знает, почем что. Никогда не получается такой арифметики, чтобы взять лучшее и не забыть лучшее! Наоборот, забывается лучшее и берется худшее. При любой халяве так происходит — халявы не происходит.

— Очень многие явления жизни, и в России особенно, создают ощущение безнадежности. А, с другой стороны, двадцать лет назад для такого ощущения действительно было гораздо больше поводов. Но прожили ведь эти годы, и не просто по инерции, значит, есть что-то живое

— Язык только работает, он нас и спас. Так сейчас зачем-то реформа языка понадобилась. Что за бред! Других забот нет! Вместо того чтобы растить очередную бригаду паразитов и воров, уже на почве словарей, — лучше словари выпускайте. То есть дайте деньги на словари, дайте деньги на филфаки — на то, что кажется ненужным. Потому что единственная вещь, которая выдержала все с помощью мата и фени, вытянула нас — это живая русская речь. Она осталась. Что бы там ни говорили, что литература была, а потом ее не стало — ерунда, она есть и будет, и на ней много чего стоит. А уж на языке все стоит. Нет, давайте укреплять, давайте реформировать! Елки какие-то неровные, давайте мы их обстрогаем, прежде чем спилить... Не делается так ничего на свете! Давайте мы сначала будем ухаживать за лесом, а потом выбирать, что мы пилим и в какой пропорции.

— Для многих сейчас самый естественный выход — оживить старые рецепты. Православие, самодержавие, народность

— Конечно, эта триада вся хромает — корчится, как расчлененный червь. Самодержавие — положим, можно было бы признать, что оно никогда не исчезало, поскольку генсек приобрел черты самодержца безусловно. Оно форму меняло, да? Православие тоже вроде как бы поднято на щит. А с народностью получается сложно. Я так и вижу картину «Три богатыря» — вот они смотрят вдаль, и только надо распределить, кто есть кто: кто православие, кто самодержавие, кто народность. Когда Александр Исаевич — вот кого я бесконечно чту, и вот великий человек, сделавший самое крупное дело в свое время! — когда он написал эти два тома, которых я еще не читал, про историю взаимоотношений с евреями, то все сразу вспухли. Но не может умный человек быть антисемитом. Просто раньше было КГБ, а теперь остался еврейский вопрос, под козырьком богатыря-то... И я подумал, что, может быть, функция народности, богатырская функция, — это Солженицын. Много лет человеку, и больше никто не справился.

Но народом-то не надо злоупотреблять тоже, потому что народ — понятие ускользающее. Его чувствовать сердцем можно, любить можно, даже, может быть, где-нибудь поплакать можно, но превращать в профессию нельзя, потому что это будет хуже древнейшей профессии. Чувство родины — так же, как язык, как нация, как время — это... Есть такая категория, которую я очень люблю: необсуждаемость. Не знаю, как это будет где-нибудь у Канта или у просвети-

телей. Необсуждаемость любви к родине — это очень важное качество. Сейчас дошел до масс очень уж красивый термин — я его, в темноте, очень поздно узнал, но вдруг стал встречать слишком часто: бритва Оккама. Был в одиннадцатом, по-моему, веке схоласт замечательный, у него наиболее прославлен этот принцип — бритва Оккама: не надо помножать количество сущностей. Схоластика, обруганная советской идеологией, на самом деле очень важную делала работу в эпоху перед Просвещением: она обрабатывала связи между реальной жизнью и более возвышенной, метафизической. Это была работа — все перелопачивать до понимания. И вот — гениальная мысль очень великого схоласта, находящегося на грани науки и богословия: не надо помножать количества сущностей...

ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИКЕ

Третий-четвертый кварталы 2001 г.

Автор статьи **«К проблеме восстановления баланса сил на мировой арене» Г. Трофименко** («Вестник Московского университета», сер.18, социология и политология, № 4) считает, что ***баланса сил не мировой арене*** нет — есть американский гегемон, гипердержава, стремящаяся покорить все основные государства мира. России ради собственного выживания следует понять, что краеугольным камнем стратегической стабильности ныне является отнюдь не советско-американский договор по ПРО 1972-1974 гг. Проблема ядерного баланса — отныне в первую очередь американо-китайская проблема. Для стратегической стабильности необходимо восстановление общего баланса сил на мировой арене. Для этого не нужно вступать в конфронтацию с США или начинать новую гонку стратегических вооружений. Нужно лишь последовательно и твердо отстаивать такую позицию, которая отвечает интересам ряда ведущих государств: Китая, России, Индии, Японии, Англии, Франции, Германии и т.д. Широта позиции — уму непостижимая. Однако для осуществления сего требуется «шевелить мозгами и иметь четкую внешнеполитическую ориентацию, активную деловую дипломатию, использовать инструментарий ООН».

О мировом господстве вспоминает **С. Кургинян** в статье **«Теракты в США. Системный анализ событий и последствий»** («Россия — XXI век», № 5). Автор пытается понять суть случившегося 11 сентября 2001 года. Для анализа столь масштабной террористической операции нужны новые подходы и инструменты. Схема взаимоотношений Запад — Восток, Север — Юг слишком поверхностна и примитивна. По мнению автора, существует «третья сила». Для обозначения ее Кургинян вводит понятие «параллельной террористической цивилизации», некоей террористической мегаструктуры с определенными целями, укладом, культурой и религией. Это особая, выведенная из зоны проницаемости территория и инфраструктура. Построить такую параллельную террористическую цивилизацию можно только с целью мирового господства. Пока не закончено строительство, она не осуществляет операций во внешнем мире, она занята собой. Лишь закончив этап самосозидания она начинает действовать . 11 сентября было началом. Мировое господство для параллельной террористической цивилизации — всего лишь средство. А цель — построение совсем другого человечества, особым образом контролируемого, с другой шкалой норм и ценностей и, конечно, «освобожденного» от свободы.

А. Миллер, автор статьи **«Центральная Европа, Восточная Европа: понятия, дефиниции, «ментальные карты»»** («Россия и современный мир», № 4) утверждает, что ***понятие «Центральная Европа»*** бытует нынче для обозначения исключительно культурного явления и место его определяется не на географических, а на «ментальных картах. Особый энтузиазм относить себя к центральным европейцам проявляют те, кого в недавнем прошлом считали восточноевропейцами.

Они числят себя жертвами коммунизма. Причем главная деструктивная роль в их судьбе отводится не СССР, а именно России — как стране наиболее органично вписавшейся в свою социалистическую историю. На русских возлагается вся полнота ответственности за несчастья Центральной Европы. Сейчас в этой региональной идентификации возникает конкуренция: кого считать большим европейцем и кто пострадал больше других. В соревнование вступили бывшие советские республики. Азарт участников этого действа подогревается небескорыстным стремлением попасть в привилегированное положение близости к Западу и получить щедрую поддержку для спасения от варварской России.

Ю. Олейников, автор статьи **«Природный фактор исторического бытия России»** («Философия и общество», № 3) не удовлетворен большинством интерпретаций ***«русской идеи»***. Они, по его мнению, основываются на довольно субъективных представлениях о некоей неповторимой духовности русского народа. Автор ориентируется на наследие географической школы (в частности, на ее русского приверженца Л. Мечникова, брата известного биолога) и поэтому специфику исторического бытия России выводит из природной компоненты.

Наукой доказано, что территория исконного расселения восточнославянских племен неблагоприятна для проживания. Жизнь здесь возможна только за счет привлечения дополнительных энергоресурсов. К концу XIV века, когда в центральной России были в значительной мере вырублены леса, естественной для выживания народа стала колонизация восточной ойкумены. Эмпирически найденный способ выживания получил отражение в державной идеологии — теоретическом обосновании необходимости могучего государства. Государство в лице самодержца было призвано заботиться обо всех. Социальная функция государства выразилась в идеологеме «Батюшки царя», «Заступника», перед которым все граждане равны: аристократ ли, холоп ли — все рабы. По этой причине в России никогда не было настоящих собственников. Имущество всякого подданного в любой момент могло быть отписано на государя, взято в казну, или распределено между фаворитами.

Суровые климатические условия России обуславливали внутреннюю политику государства, соотношение личных и общественных интересов. Отдельный человек был ничто по сравнению с целым. Всякое посягательство на государство рассматривалось как тяжкое преступление. Права личности отсутствовали за ненадобностью. Одни обязанности. Вертикаль государственной власти опиралась на фундамент общинной организации. Демократический принцип общины был подчинен коллективным, соборным целям. Соборность (ее религиозная версия — церковь) была способом коллективного выживания, выражением общей судьбы народа. В специфике социоприродного бытия России коренится и поразительная противоречивость менталитета: необходимость централизованной регламентации жизни каждого , но вековая ностальгия по воле; национальная терпимость и бескорыстность, но покорение соседних народов; идедократичность государства, но легкая перемена идеологий (православия и самодержавия — на коммунизм, коммунизма — на капитализм).

Итак, внешняя и внутренняя политика России на протяжении всей ее истории — это суровая необходимость выживания. Пока страна не достигнет уровня энергозатрат на душу населения, компенсирующих потребности пре-

одоления природно-климатических трудностей, она обречена на сохранение коллективных форм хозяйствования и бытия.

С. Рыбаков, автор статьи **«Анатомия этнической деструктивности. Этнический радикализм»** («Вестник Московского университета». Сер 18. Социология и политология, № 4) пробует выявить сущность агрессивного этнического радикализма (с которым практически отождествляет политические и этнические границы государств). Рыбаков применяет философско-антропологический подход, а в качестве объяснительной модели предлагает феномен «этнической деструктивности», который сводит к конфликту идентичностей, т.е. к противоборству гражданственности и этничности, порождающему разрушительный потенциал.

Теоретическая фундированность позволяет автору ясно рассмотреть этнический радикализм и в России, и на постсоветском пространстве. Не обойден и ***«русский вопрос»***. Автор прежде всего подчеркивает то, что в условиях построенной по этническому принципу федерации русские остались без собственного государства или административно-территориального образования, в то время как остальные народы бывшего СССР их имеют. Автор обращает внимание на этноцид русского народа 1920-1930-х гг., когда русские официально были объявлены «бывшим эксплуатирующим народом» и русофобия стала частью государственной политики. По убеждению автора, целенаправленный этноцид возобновился в постсоветский период (на произвол этнократии брошено 25 млн. русских). Сложившуюся ситуацию автор называет деэтнизацией русских, считает ее следствием этнорадикализма и ищет пути разрешения проблемы. Такие варианты, как этническая интеграция, пропорциональное представительство в органах власти, нетерриториальные национально-культурные автономии («виртуальная автономия») кажутся ему неудачными. Зато вполне перспективен национально-консервативный подход, включающий различные версии «русской идеи», «евразийской идеи» и «панславянской идеи». По мнению автора проблема решается не путем конструктивистского нацстроительства в целях легитимизации постсоветских государств, но путем учета объективно сложившихся реалий. Ему представляется осуществимым проект «выведения этноса из политики», то есть разнесение полномочий с уровня субъекта федерации одновременно и на более высокий (образование надрегиональных административных единиц), и на более низкий (населенный пункт) уровни.

Является ли Россия цивилизацией? И если да, то какой? Внести ясность в этот вопрос в статье **«Ответ России на экспансию Запада»** пытается **Г. Померанц** («Россия и современный мир», №4). Прежде всего много путаницы в самом понятии «цивилизация». Современная мировая цивилизация напоминает автору мир Калигулы и Нерона. Тогда племена и народы смешались в больших городах. Расшаталась вера в старых богов и пошатнулся нравственный порядок. Но к людям пришло новое откровение, им открылось вселенское небо. Однако новое чувство тождества не было подлинно вселенским. Оставшееся различие символов заслонило единый дух. И в современном тесном мире так называемые мировые религии столкнулись, как некогда эллины и иудеи. Над современным земным шаром нет общего неба. Глубины монотеистических религий и буддизма слишком велики. И новое единство мыслимо только как диалог пророческих монологов, в котором дух выше и подлиннее буквы. Автор

верит в развитие способности читать святые писания между строк, парить над различием текстов и чувствовать единый дух в разных буквах. Этот дух может стать основой единого планетарного этоса и глобальной солидарности.

Какова возможность России в эпоху вселенского диалога? Автору кажется, что она складывается в глубине русской противоречивости, русского хаоса, русской тоски по единству. Россия не создала особого вселенского проекта, особой Книги, особого языка и шрифта. Русская цивилизация всегда творится и никогда не была сотворена. Но вселенский дух Россия подхватила и наполняет им заимствованные формы, созданные не ей. Чтобы осуществить великие возможности русской культуры, России снова надо к чему-то примкнуть, к какому-то вселенскому проекту, к какому-то сложившемуся миру форм.

Духовное и умственное обновление России есть труд общий, и в русле его ведется поиск новых подходов и нетривиальных толкований отечественной истории. ***Теоретическую модель русской истории*** последних пятисот лет — точнее, рабочую гипотезу такой модели — предлагают авторы статьи **«Русская система» как попытка понимания русской истории» Ю. Пивоваров** и **А. Фурсов** («Полис», № 4). Авторы исходят из посылки, что в России в XVI-XVII вв. произошла великая самодержавная революция, в результате которой, в отличие от Европы, не возникло ни гражданского общества, ни государственной власти, ни капитализма. Здесь появилась Самодержавная Власть, единая и неделимая, качественно однородная и по сути единственная. Причём единственная не только как власть, но и как субъект. В это время складывающаяся Русская Власть лишила значительной субъективной энергии все то, что с киевских времен выступало в роли исторических субъектов: церковь, боярство, удельные княжества и т.д. Это похищение, экспроприация субъективности, а в известном смысле — «европейскости» и «христианскости» — в пользу одного сегмента социума и есть тайна русской власти и русской истории.

Итак, возникший новый русский мир являет собой властноцентричный феномен. Власть становится условием существования всех и всего. Оформляется социальный порядок, который авторы и назвали Русской Системой. Его элементы: Власть — первый элемент и системообразующая категория, в ней изначально заложен конфликт метафизического и физического, субстанционально-властного и субстанционально-личностного (звание помазанника божьего принадлежало физическому лицу). Другое характерное качество Русской Власти — дистанционность. Власть не есть порождение и политическое выражение общества. Она субстанциональна и трансцендентна (внеположена) порожденному ею политическому миру. Эти ее метафизические и даже мистические черты вросли в русское сознание.

Второй элемент Русской Системы — бессубъективная популяция, т.е. население, исторически имевшее, но утратившее субъективные характеристики. И третий элемент — Лишний Человек, который может быть как индивидуальным (часть дворян и интеллигенция), так и коллективным (казачество). Речь идет о тех индивидах и группах, которые не «перемолоты « Властью и потому не стали ни ее органом, ни частью Популяции

Русская Система предполагает такой тип взаимодействия перечисленных элементов (Власть, Популяция, Лишний Человек), при котором единственно

социально значимым субъектом оказывается Власть. Если Русская Система — это способ контроля Русской Власти над русской жизнью, то Лишний Человек — мера незавершенности Системы, индикатор степени «перемолотости» русской жизни Системой и Властью. Процесс взаимодействия с одной стороны Русской Системы и Русской Власти, а с другой стороны — Русской Системы и русской жизни и есть русская история

Представленная выше гипотеза касается, так сказать, тектонических изменений фундаментальных слоев истории. **Б. Капустин («Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия»** — «Полис», № 4) сделал предметом обозрения ближайший отрезок российской истории. Он рассматривает, как удалось политической теории (западная советология) осмыслить важнейшие события последних десяти лет. Крах коммунизма обнаружил неудачи политической науки. Она не смогла ни предвидеть его, ни объяснить. Истоки неудачи автор находит на уровне парадигмы, которую обозначает термином «транзитология». Это не научное направление наряду с «политической экономией», «политической культурой», и т.п., а научная установка на рассмотрение общества как переходного, исключающая анализ качеств самого перехода. Так крах советского строя предполагал, в соответствии с «транзитологией», переход к известным моделям общественного устройства (рынок, демократия, правовое государство и т.д.). Но становящееся не походило на предполагаемое и либо неадекватно втискивалось в эту матрицу, либо выводилось за пределы внимания как второстепенное и случайное.

Уничижительная критика транзитологии обязала **Б. Капустина** найти альтернативу ей. Альтернативой стал постмодернизм, представленный в другой статье (**«Посткоммунизм как постсовременность. Российский вариант»** — «Полис», № 5) как определенный тип мысли, описывающий постсовременность, т.е. актуальную социальную реальность. При этом следует помнить, что постмодернизм, в понимании автора, ничего не объясняет и не является даже понятием. Вот пример постмодернистской интерпретации факта «русского чуда», или того, как населению России вообще удается выжить. Согласно официальным данным, минимальная зарплата в стране составляет 14% от прожиточного минимума. Чтобы довести ее хотя бы до 60%, в 2002 г. понадобится 500 млрд. рублей. Взять их негде. Значит, государство ничего не гарантирует. И это свидетельствует не только о разрыве этических связей государства с населением, но и о потере всяких надежд населения на государство. Спрашивается: почему население продолжает жить? Как сказался на его существовании новообразованный российский капитализм? Капустин отвечает на заданные себе вопросы, прибегая к методам постмодернизма, к его »теоретическим и квазитеоретическим продуктам» (по выражению самого автора).

За годы рыночных реформ произошла заметная демонетаризация (обезденежье) источников существования россиян, возросла доля доходов от натурального хозяйства и т.п., которые называют «экстраполярной экономикой». Здесь действует логика, не похожая на капиталистическую рациональность.

Итак, люди выживают вопреки логике официальной экономики и вопреки логике развития капитализма. А капитализм в России, по-видимому, развивается благодаря некапиталистическому производству. Ненужность капитализму значи-

тельной (и даже основной) части населения отнюдь не обрекает последнюю на автоматическое вымирание, а лишь обучает базовым элементам жизни «не по-капиталистически». Если по меркам модернизации и прогресса это означает «примитивизацию» экономики, «демодернизацию» и «децивилизацию» населения, то деконструкция этих мерок (по-постмодернистски) позволяет увидеть не «грядущую катастрофу», а переход России на другой «режим движения», в другое социально-историческое измерение, которое автор называет «постсовременностью». В таком же ключе посткоммунизм рассматривается как культура и реальность. В заключении строится рабочая модель «незападного» постмодернизма.

Давний и нелицеприятный друг Советской России **В. Страда («Тоталитаризм/ тоталитаризмы»** — «Россия и современный мир», № 4), терминологически и исторически анализируя существовавшие в былом версии тоталитаризма, неожиданно обнаруживает, что до появления своего названия и своего осуществления тоталитаризм был описан именно там, где и возник впервые, т.е. в России. Описал его Ф.М. Достоевский в романе «Бесы». В плане научном Страду поражает, что весь комплекс предостережений против нависшей марксистской революции (в особенности ее ленинского варианта) в России был оглашен и обсужден задолго до события.

Легально разочаровавшиеся русские марксисты подвергли глубокой критике российский феномен, который Страда называет «тоталитарной ментальностью революционно-радикальной интеллигенции». Сама же эта ментальность не только предшествовала реальному тоталитаризму и готовила его, но и пережила его в самых разных частях света как догматическая, утопическая, конформистская идеология, проповедующая насилие и судебную расправу с политическими противниками. Этой ментальности суждено было воплотиться в ленинской идеологии, которая будучи синтезом сциентизма и утопизма (что-то типа научной фантастики) давала ощущение высшего знания законов исторического развития и иллюзию единственно верной социально-политической практики. Длительный и травматический тоталитарный опыт России ныне породил патологическую форму модернизации, которую Страда определяет как «регрессивную модернизацию», в которой промышленно-технологическое развитие (главным образом военное) сопровождается социально-институционной архаизацией на базе систематического насилия, хотя и не лишенного пассивного «консенсуса».

Автор считает, что все это отнюдь не способствует развитию подлинной демократии

С точки зрения обывателя, не прибегая к многосложным концепциям, оценивает ***десятилетие реформ*** в России **Л. Гомберг («Десять лет реформ и наркотического дурмана»** — «Время и мы», М.-Нью-Йорк, № 152). Итоги неутешительные: при отсутствии общественного консенсуса единственным способом реформирования экономики остается жесткая воля центральной власти. При Ельцине вся политическая воля президента уходила на борьбу за эту самую власть, потом на удержание власти, потом на передачу власти некоей приемлемой фигуре. Приемлемая — по разным соображениям (общеполитическим и личным) — фигура Путин демонстрирует политическую волю к реформированию, но при этом создается впечатление, что он не может решить, в какую

сторону грести. Хотя плацдарм для экономических реформ расчищен; т.е. губернаторы отлучены от Совета Федерации, Государственная Дума объединяет фракции в едином послушном порыве, плюс наличествуют карманная прокуратура и исполнительные спецслужбы. Пора, казалось бы, начинать. Но, увы, за десятилетие наркотического дурмана от не заработанных финансовых вливаний произошли необратимые изменения в общественном сознании. Психология маргинального меньшинства (попрошаек) распространяется на все общество и даже на значительную часть политической и экономической элиты. После крушения надежд перестроечного и ельцинского периодов началось активное становление и развитие психологии сырьевого придатка. Россия попала в зависимость от конъюнктуры внешнеторговых цен, но опирается на идеологические химеры вчерашнего дня, обнаруживая претензии, не соответствующие ни политическим, ни экономическим ее возможностям. Последние же вызывают особую озабоченность ее граждан.

Для прояснения здравого смысла интересующимся политикой и современной историей России небесполезно бывает напомнить основные принципы права. Это и делает **В.Нерсесянц** в статье **«Типология правопонимания»** («Право и политика», №10). Все многообразие прошлых и современных теоретических учений о праве и государстве он укладывает в три типа правопонимания: легистский (позитивистский), естественноправовой и либертарно-юридический. Подробно характеризуя все три, автор подробно останавливается на последнем, в котором видит наиболее последовательную и совершенную манифестацию юридической теории.

Сущностью права считается единство трех его свойств — равенства (всеобщая равная мера регуляции), свободы и справедливости. Равенство это — равная мера свободы и справедливости, а свобода и справедливость невозможны вне равенства. Право определяет людям свободу в меру их равенства, а равенство в меру их свободы. Справедливость входит в понятие права. Право по определению справедливо, а справедливость — внутреннее свойство и качество права. Действовать по справедливости значит действовать правомерно.

К этим исходным характеристикам сущности права примыкает еще одна — государственно-властная общеобязательность того, что официально устанавливается как закон. Общеобязательность закона обусловлена его правовой природой. Не право — следствие официальной общеобязательности, а наоборот, эта обязательность — следствие права.

Правовой закон — это адекватное и полное выражение права, которое, в свою очередь, являет собою систему норм, установленных или санкционированных государством и обеспеченных возможностью применения мер государственного принуждения.

Государство — это правовая организация публичной власти свободных индивидов. Современное правовое государство с конституционным закреплением неотчуждаемых прав и свобод человека — это исторически наиболее развитая форма существования государства.

Н.Косолапов в статье **«Международно-политическая организация глобализирующегося мира: модели на среднесрочную перспективу»** («Общественные науки и современность», №6) рассматривает глобализацию как новый мировой порядок.

Это не заговор злонамеренных сил, но в основе своей объективный, реальный, а не искусственный процесс. Мир глобализируется, а не его глобализируют.

В международных отношениях происходит переход от системы суверенных государств к более сложной организации человечества. Социальной целостностью мир еще не обладает, но движение в эту сторону уже началось. «Стягивание» мира в единую, хотя и противоречивую, социальную целостность в дополнение к давно существующим внутристрановым и международным отношениям предполагает возникновение отношений принципиально нового типа — внутриглобальных. В системе внутриглобальных отношений межгосударственные сохраняются, но перестают быть международными, становясь частью внутренних. Однако это приводит не к унификации мира, а, как показали последние исследования, к увеличению внутреннего разнообразия. Социальная опора глобализации имеет отчетливое западноцентричное происхождение и форму. Но по роли в ней экономики, национальной валюты и военной силы США, глобализация американоцентрична. США являются и реальным центром фактической глобальной власти.

Для России суть глобализационного вызова заключается в том, что она рискует превратиться в одну из «мировых деревень», ибо не готова к конкуренции в экономической и политической сфере, которые определяют положение государств мировой иерархии.

Общеизвестно, напоминает **В. Бочкарева,** автор статьи **«Интегральный показатель качества жизни»** («Народонаселение», № 3), что целью и основной функцией каждого государства является рост благосостояния его населения. Усилия же российского государства — вопреки политической логике и здравому смыслу — последние десять лет направлены на все что угодно (снижение инфляции, рост ВВП, увеличение доходов бюджета и снижение его дефицита), но только не на рост благосостояния населения. Правительство неизменно преследует макроэкономические цели в маниакальной уверенности, что качество жизни населения улучшится само собой. Однако расчеты показывают обратное. Автор предлагает несколько вариантов расчета интегрального показателя качества жизни в 1990-е годы по следующим характеристикам: здоровье, трудовая активность, образование, уровень жизни, уровень культуры. Оценки по всем показателям из года в год ухудшаются. При этом за пределами расчета остались многие показатели, учет которых затруднителен (падение рождаемости, рост числа беспризорных детей, бездомных людей и т.п.),— иначе, полагает автор, результат был бы еще более удручающим.

В. Доброхлеб в статье **«Как преодолеть бедность в России?»** («Народонаселение», № 3) рассказывает о ***методическом семинаре «Программа борьбы с бедностью в России»***. Открыл его А. Аганбегян. Считая лучшим средством преодоления бедности выполнение указаний высшего (земного) начальства, он перечислил ряд мер необходимых для решения задач, поставленных в Послании Президента России к Федеральному собранию. Н. Римашевская говорила о стратегии национального развития, констатируя состояние кризиса в российском обществе. Катастрофическое положение с народонаселением: 1) поколение детей не воспроизводит поколения родителей не только в количественном, но и в качественном отношении; 2) российский генофонд характе-

ризуется комплексом негативных показателей (2 млн. психически больных, 2,2 млн. алкоголиков, 2.млн., больных туберкулезом, 1,5 млн. ВИЧ инфицированных); 3) происходит маргинализация и пауперизация (обнищание) населения — 10 млн. Главная задача государства видится докладчице в формировании минимальных социальных нормативов и обеспечении гарантии их реализации, т.е. законодательном утверждение прожиточного минимума и минимальной оплаты труда. Прожиточный минимум должен включать не только расходы на питание, одежду, предметы длительного пользования и услуги, но и платежи по обязательному страхованию, а также полную оплату жилья и коммунальных услуг. Все это должна обеспечивать соответственная оплата труда. Низший и высший заработок не должны отличаться больше, чем в 4 — 5 раз (а не в 30, как сейчас). Кроме того необходимы полноценно финансируемые реформы в сфере пенсионного обеспечения и здравоохранения. Л. Овчарова говорила о содействии сокращению бедности как о политической программе. В. Зинин — о мерах по снижению дифференциации доходов.

Обсуждались проблемы адресной поддержки и социальной адаптации населения в новых экономических условиях, занятости на рынке труда, самозащиты населения (социальные и межсемейные сети). Говорили о развитии экономических функций домашних хозяйств, развитии предпринимательства и самозанятости — словом, о спасении утопающих руками самих утопающих, что, видимо, остается пока самым верным средством в деле преодоления бедности в России.

Унижение экономической нищетой население России стремится компенсировать, обретя достоинство хотя бы на правовом поле. Для этого **А. Хованская («Достоинство человека: к либеральной стратегии права для России»** — «Полис», № 4) призывает либерализм, а главной задачей его стратегии ставит снижение метафизического статуса государства (отождествление государства и общества) и ограничение его статусом правительства. Гражданское достоинство определяется как способность и возможность человека пользоваться своими правами. Перечисление в Конституции прав человека еще не обеспечивает возможности ими пользоваться. Либерализм обеспечивает идеологическую, экономическую и политическую нейтральность государства (правительства). Такая нейтральность обязывает государство давать всем гражданам равные возможности для претворения в жизнь любых представлений о благе, которые они вольны отстаивать. Кроме того государство (правительство) воздерживается от каких-либо действий, направленных на поддержку той или иной конкретной и всеобъемлющей доктрины. Оно не предпринимает ничего, что увеличило бы вероятность выбора гражданами определенного представления о благе, если при этом не осуществляются меры, компенсирующие последствия подобной политики. Правовой либерализм утверждает обязанности государства (правительства) и прочих властных институтов обеспечивать человеку возможность осуществления его прав, заявленных на декларативном уровне, любым не запрещенным способом, даже если соответствующие процедуры не определены законодательством. Правовой либерализм не применяет авторитарные приемы и не допускает социального уравнительства, характерные для радикальных социалистических идеологий, делая упор на защиту прав меньшинств (политических, расовых, этнических).

Либеральная стратегия для России нацелена на достижение самого широкого консенсуса по основным ценностям и целям. Все субъекты общества становятся равноценными. Патернализм замещается гражданским достоинством.

Усовершенствования требует и ***государственная служба*** России. В конце 1999 года впервые за 70 лет были опубликованы подробные материалы о составе российского чиновничества. **В.Слатинов («Российская бюрократия в зеркале статистики»** — «Полития», № 3) взял на себя труд проанализировать их и определить ряд важных перемен, происходящих в кадровой сфере государственного и муниципального управления. Процесс существенного обновления чиновничества, казалось бы, естественная вещь при радикальных социально-политических переменах. Однако автор обнаруживает его случайность, вызванную больше конъюнктурными обстоятельствами, а не целенаправленной кадровой государственной стратегией. Обновление кадров осуществлялось не на правовых нормах внепартийности и профессионализма, а на основе патронажных отношений. Утвердившаяся патронажная система имеет устойчивую тенденцию к воспроизводству. Например, каждый вновь избранный губернатор получает право на ротацию кадров, ибо то же самое делал его предшественник, расставляя «своих» на все ключевые должности. Самовоспроизводство патронажной системы превращается в непрерывный процесс, препятствующий созданию профессиональной и политически нейтральной госслужбы. Для устранения этой практики требуется глубокая перестройка действующего законодательства. Прежде всего — принятие Кодекса государственной службы. Необходимо создание квазисудебных органов для апелляций и разрешения административных споров и образование полноценного федерального органа по делам государственной службы с региональным представительством в каждом субъекте федерации.

В сфере партийного строительства **О.Малинова («Партийные идеологии в России: атрибут или антураж?»** — «Полис», № 5) констатирует очевидную «деидеологизацию» российской политики и явную тенденцию к партикуляризации массового сознания, т.е. сдвиг приоритетных ценностей в пользу индивидуальных прагматических начал (семейного благополучия, покоя и порядка), которые вытеснили общенациональные и общечеловеческие ценности. Однако включение частных интересов в некий нравственный и правовой строй и есть само по себе идеология. Субъектом идеологического творчества и выразителем идеологических позиций в России являются партии. В настоящее время сложилась привычная для западных стран практика употребления понятий «правый» — «левый». Для того, чтобы точнее определить идеологическую позицию партий и движений, автор вводит дополнительный критерий: отношение к результатам прежних политических курсов (советской действительности и практике постсоветских реформ). Это измерение не вписывается в право-левую шкалу, а имеет самостоятельное смыслообразующее значение. Например, одни либералы считают «приватизацию по Чубайсу» необходимым злом, другие — ошибочным и преступным актом. Именно из-за этого СПС и «Яблоку» трудно объединиться. По той же причине невозможен союз «Яблока» и «Отечества», хотя их идеологии похожи. Или, например, интерес «Единства» к консерватизму и стремление «Отечества» учиться у социал-демократов не сближают их позиции по отношению к недавнему политическому прошлому.

Такая многомерность усложняет задачу позиционирования в единой системе координат (явить свой голос в общем шуме) и указывает на незавершенность процесса формирования идеологий. А они, по мнению автора, как и раньше, служат средством интеграции субъектов политического действа, формой отчетливой артикуляции альтернатив общественного развития и публичного обсуждения его целей и ценностей. Это важно для закрепления демократических способов взаимодействия граждан и власти, для рационализации общественных конфликтов и, наконец, в целях социальной терапии (снятия социально-психологических стрессов модернизаций)

Тема русской интеллигенции — неисчерпаемый источник для критических умов. **С. Барзилов** и **А.Чернышов**, авторы статьи **«Самоидентификация российской интеллигенции»** («Свободная мысль — XXI», № 12.) обсуждают проблемы самосознания современной интеллигенции, место ее в изменившейся социальной структуре новой России. Раньше интеллигенция как социальная группа была интегрирована во власть и в производство и находилась в бюджетной сфере. Это определяло многоуровневый и многопрофильный механизм ее самоидентификации. В настоящее время ситуация усложнилась. Во власти уже не управленческая интеллигенция, а элита, точнее, перелицованная посткоммунистическая номенклатура, в производстве — новые «средние» слои («новые русские»). Собственно интеллигенция попала под их полный патронаж. Таким образом, экономически она осталась в бюжетной сфере, политически — раскололась на радикалов и конформистов, а идеологически — обслуживает интересы власти. Из этого вытекает современный вариант неоднозначности социальных характеристик интеллигенции, двойственность ее политического поведения. Участие в идеологическом процессе — отнюдь не базовая функция, а сервисная роль (оказание услуг за вознаграждение).

Самоидентификация интеллигенции осуществляется на трех уровнях: прошлого, настоящего и будущего. В основном интеллигентское сознание находится в ностальгическом прошлом или в утопическом будущем. В то время как власть и общество живут настоящим. Прошлое и будущее для них существенной социальной ценности не имеет. Погруженность власти в настоящее снижает спрос на интеллигенцию. Беспочвенность и невостребованность интеллигенции в современных условия обусловили миф о ее исчезновении. Это беда не столько самой интеллигенции, сколько власти и общества, ибо разумная политика есть проекция будущего, основанная на опыте прошлого. Без некоего социального транзита между тем, что было, и тем, что неминуемо произойдет, то есть без интеллигенции обществу не обойтись.

Геополитические реалии нового века, претензии на особое место на карте глобализации требуют инноваций в сознательном формировании нового имиджа мировых столиц. Москва с ее стремительно меняющейся жизнью и противоречивым идеологическим климатом представляет собой идеальную иллюстрацию этого процесса. **О.Вендина** в статье **«Москва — образ города, не похожий на портрет»** («Полития», № 3) прослеживает, как различные политические приоритеты воплощаются в городском пространстве столицы и отражаются в ее иконографии (визуальном образе). Рассматриваются три отрезка времени: 1930 — 1985 гг.,1985 — 1991гг. и последний, начавшийся с 1992 года.

Первый период — город «коммунистического завтра», где Москва предстает величественной, но холодной. Серый цвет, пустынные площади и проспекты, номенклатурная сегрегация микрорайонов («царских сел», »генеральских» и «цековских» домов), массивная архитектура военно-репрессивных структур (КГБ, МВД), замкнутые стенами и заборами пространства с символическим предупреждением «посторонним вход воспрещен», однообразие жилых коробок на окраинах.

Второй период — Горбачевская эпоха. Горечь утраты положения столицы «великой державы». Городская среда теряет свою «стерильность», величие и упорядоченность. Монументы советской эпохи снесены или поблекли, их сакральное значение кануло в Лету, «коммунистический город» превратился в «город-базар».

Третий период. Активная реконструкция исторической части. Прежние образы российского »византийства» и «азиатства» архитектурно переосмысливаются на западный манер. Новый образ столицы перегружается символами европейства. Это — гигантский памятник Петру I, указующий выход из «исторического тупика», и, главное, множественное овеществление цивилизующей приставки «евро-»: евро-двери, евро-вагонка, евро-сантехника и т.п. Азарт предпринимательской деятельности приводит к строительному буму. Городская среда центра дробится, уплотняется; меняется функциональная начинка старых зданий, возникают циклопические постройки офисов, «сундуки» и «ледяные кристаллы» банков и т.д.

Однако возникла и острая ностальгия по досоветскому прошлому. Москва захотела выглядеть и как русский город. Но как совместить национальное возрождение и модернизацию западного типа? К сожалению, новые требования к окружающему городскому пространству оказались несовместимыми с попытками консервации древностей. Происходит не реставрация, а реконструкция — а точнее имитация образов прошлого. Подлинность утрачивает ценность. Москва восстанавливает историческую память, а не исторические памятники.

Мешанина стилистических интенций оказалась в удивительном соответствии с принципами постмодернизма, определившими, по мнению автора, архитектурное творчество в сегодняшней Москве. Его основные принципы: стирание грани между массовым и элитарным, сказочным и реальным; учет местных культурных и пространственных особенностей; многовариантность прочтения архитектурных метафор; вовлечение посетителей и жителей в процесс проектирования; «радикальный эклектизм».

Новый образ города выводит столицу за пределы реальной России, превращая ее в некий космополитический анклав, форпост модернизации, ушедший в отрыв от остальной нации.

Перемены российской жизни, особенно переход от социализма к капитализму, многим видится трагической фантасмагорией. **М. Романенко («Криминализация общественных отношений социума России»** — «Философия и общество», № 3) называет этот процесс «турбулентной хаос-эволюцией». Именно она, по мнению автора, подвигла общество к формированию особой системы законов естественного выживания по формуле «человек человеку — волк». Такая система ведет к разрастанию социальных патологий типа олигархизации и коррупции власти, пауперизации, алкоголизации и маргинализации населения.

Социум продуцирует «глобальную мафиезацию общества», т.е. ***криминализацию всех общественных отношений***.

Организованная преступность превратилась в самостоятельную социально-политическую и экономическую силу. В ее рядах 25-30 млн. человек (эксперты считают, что значительно больше). Главную причину криминализации всех классов, слоев и групп населения автор видит в абсолютном обнищании народа, усилении безработицы, чудовищной эксплуатации и социально-психологической депрессии людей. Криминальному «заражению» активно и целеустремленно способствуют масс-медиа. Криминализация общественного сознания усугубляется тем, что власть перестает считаться со своим народом, и в нем не остается никакого доверия к власти. Правоохранительные органы превратились в источник повышенной опасности. Сложившаяся в стране ситуация свидетельствует о реализации криминального сценария общественного развития. Опираясь на данные конкретных социологических исследований, автор рисует такую картину ближайшего будущего: увеличение общего числа преступлений; усиление криминализации всех без исключения слоев населения; увеличение роста преступности и т.д. вплоть до продолжения криминального территориального передела страны.

Такая мрачная картина будущего могла бы потушить свет всякой надежды, когда б не вера в чудо, поддерживаемая в нас церковью. Приветствуя появление недавно принятых Архиерейским Собором «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви», **К. Костюк**, автор статьи **«Возникновение социальной доктрины Русской Православной Церкви»** («Общественные науки и современность», № 6), считает появление этого документа выходом из долговременного «социального молчания», знамением ***новой эпохи церковной*** и общественной ***жизни***.

Трансформации современного общества, полагает автор, вынуждают перестраиваться и саму Церковь. Но при всех изменениях она сохраняет свою сущность и задачу — спасительная миссия и несение в мир Слова Божьего. Социальное учение простирает дар богопознания за пределы церковной ограды. Его суть — проекция библейского и святоотеческого взгляда на современный мир. Однако, анализируя положения документа, автор приходит к выводу, что настоящая доктрина еще не является в полном смысле социальным учением, учением о социальном мире и о христианине-гражданине. Это скорее учение о Церкви в мире, о том, как христианин должен действовать в обществе, будучи членом Церкви. Автору кажется, что содержание документа по большей части составляют вопросы пастырского богословия, канонического права (бракоразводная регламентация, отношение с государством). Граница между собственно социальным учением и нравственным и пастырским богословием не проведена. Обойдены вниманием многие реалии социальной жизни (правовое государство, рыночная экономика, социальная справедливость и т.п.), но в общем документ — как «декларация о намерениях» — автором одобряется.

Обзор подготовил Александр Денискин

Владимир БИБИХИН

КОРМЯ ЗЕВЕСОВА ОРЛА

Большинство книг в личной библиотеке Пушкина были исторические. Летопись и поэзия — вот твердая духовная пища зрелой библейской страны России.

Новая книга о нашей истории, рассмотренной со стороны участия в ней литературы и публицистики[1], задевает важностью взятых тем, остротой возникающих вопросов и — воздержанием автора от решений. Он прослеживает всегдашнюю нужду власти в идеологии, в мировоззрении и глобальной теории, историософии, геополитике. Поздние годы Екатерины II, первая половина царствования Александра I (с пропуском Павла Петровича) и начало эпохи Николая I рассмотрены в свете этой нужды отчасти с параллелями из недавнего марксистского прошлого и с оглядкой на современные идеологические поиски.

История становится литературоведческой темой в той мере, в какой государственные деятели ощущали идеологическую потребность и находили отклик в литературе, публицистике, в интеллектуальной моде на пышную классику при Екатерине, на оккультную мистику при Александре, на национальное своеобразие при Николае. Не касаясь военной доктрины, где надобность в идеологии всегда ощущалась меньше (например, ее практически нет во всех «Записках» генерала Ермолова о наполеоновских войнах), экономики, права и науки, автор книги ограничивает себя областью, широко открытой общим идеям и особенно беззащитной против них.

Ни один военный поход, ни один дипломатический шаг не обходились в публицистике эпохи без подтягивания к великим примерам. Росс, штурмующий стены Измаила, изумляет Марса своим бесстрашием; бушующая стихия, он затмевает звезды, словно утренняя заря изгоняет с небосвода обреченный полумесяц. Когда, вытеснив Наполеона, русские входят в Париж, они спасают человечество от кровожадного тирана и утверждают в Европе вечный мир по

[1] *Андрей Зорин.* Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М.: НЛО 2001. — 416 с.

Владимир БИБИХИН — родился в 1938 г. в Бежецке. Окончил переводческое отделение Московского государственного педагогического института иностранных языков. Кандидат филологических наук. Ведущий научный сотрудник Института философии РАН. Автор книг «Мир» (1994), «Новый Ренессанс» (1998), «Узнай себя» (1998), «Слово и событие» (2000), «Язык философии» (2002) и многих статей по истории мысли. Живет в Москве.

божественному внушению, услышанному благочестивым императором Александром Павловичем.

Оглядываться в своих действиях на образцы — общечеловеческая слабость. Не только государственная и корпоративная, но и всякая частная жизнь старается выстроить себя в ориентации на тот или другой идеальный тип. Западая из классики, высокой поэзии, философии, религии в устроительное сознание, идеи своей мощью, разумом, волей возбуждают, захватывают, мобилизуют его и, переходя в практику, производят бурю в вещественном мире. Так брызги бессмертного питья богов, шутя пролитые ветреной Гебой на землю, гремят и кипят в майской грозе. В конечном итоге всем, что передвигается ползком, по слову Гераклита, правит удар божественной молнии[2].

Как бы ни было темно происхождение практического замысла, он старается оформить себя идеальными образами. Замысел, предприятие, осуществление, возможное, конечно, только при непобедимости начинателя, т.е. пока поставленная цель для него дороже жизни, и конец дела со смертью начинателя или, чаще, от усталости, скуки и нового увлечения прочерчивают траекторию блеснувших идей. Расследование, проведенное Андреем Зориным, показывает, как легко — другой вопрос, надолго ли; «заблуждения великих умов недолговремянны», сказал Сперанский о законодательных начинаниях Екатерины II, — загораются идеями важные государственные деятели, как жадно, скрытно и рискованно они, не имея досуга для собственной мысли, рыщут в поисках совета. Практики и реалисты, они больше доверяют патентованным схемам. Так Потемкина-Таврического манили в его южных замыслах надежная греческая звезда и роль покровителя-реаниматора блестящей древности; в том же духе двоюродный брат и помощник начинателя, литератор Павел Потемкин, в своей пьесе «Россы в архипелаге» о спартанской экспедиции графа Алексея Орлова внушал новому, не очень похожему на Александра Македонского греку обещать, что русские вернули ему прежнее свойство, геройство.

Что чему на самом деле предшествовало, продолжающая свою работу матрица древней цивилизации диктовала жесты усилившейся северной державе или растущая мощь последней искала объяснения своей экспансии?

Такой вопрос, требуя задуматься, выбил бы идеологическую мысль из колеи. Попав в сетку принятых представлений — а в общем мнении цветущая древность вполне легитимировала себя, — деловитое сознание чувствует себя увереннее. Когда то, что гладко развертывалось на словах, срывается на практике, оно ищет оправдания неудаче в давлении темных сил. Под неглубокой поверхностью схем, естественно, всегда обнаружится много чужого или враждебного. Тогда начинают полагаться на смелость и силу начинания, что оставляет еще меньше места для осмысления концов и начал.

Само по себе обязательное идеологическое сопровождение государственных предприятий, если не входить в их настоящий смысл, легко предсказуемо и не очень интересно. Оно всегда будет иметь эффектную форму (блеск торжеств, скандальность обличений) и привязчивое содержание, как отмеченный нашим

[2] О правящей молнии применительно к нашей истории см. также *Бибихин В.В.* Язык философии. М. 2002, с. 136 слл.

автором неизбежный еврейский элемент во всемирном масонском заговоре. Важнее, конечно, думать о смысле государственного образования и о сути его силы. У того, что до сих пор служит всеобщей парадигмой — Рим, Афины, Иерусалим, — был замысел, пока еще не осмысленный до конца. Эти образцы, как и легенды национальной истории, кажутся понятными только до первого приближения к ним. Но они всегда нависают великой тенью. Всякое упоминание о них звучит.

Идеологический уровень мешает вести речь о государстве на должной глубине. Увлекаясь политической схемой, литературовед называет позицию Жан-Жака Руссо или, позднее, александровского министра иностранных дел Адама Чарторижского антирусской — к сожалению, не совсем условно, судя по определенности, с какой нелестное мнение Чарторижского о предрассудках в светской среде переадресуется без больших на то оснований, кроме упомянутой прилипчивой схемы, к русским вообще (с. 166). Мрачные предсказания Руссо о России уже тем, что они лишний раз заставляли продумывать ее туманное существо, служили ей лучше чем провокативно прорусская антитурецкая пропаганда Вольтера. Все, в чем есть сила и глубина, служит стране независимо от конъюнктурных политических оценок и часто вразрез с ними. Антирусскость и русофильство — одномерные отражения естественной симметричной парности и полярности живого государственного тела. Наклейка «радикально антирусской позиции» (с. 90) негодна для природного противостояния великих держав, особенно когда речь идет о таких симбиозах, как Франции и особенно Германии с противостоящей им Россией. Не будь в отношениях между такими мирами бездонной интриги, ее следовало бы изобрести. Осмысление исторических противостояний в терминах чьей-то правоты ведет в тупик; тут прав только сам спор. Так же и внутри страны самообличительный жанр — непременная составляющая всякой национальной культуры. У нас он идет до «Архипелага Гулаг» начиная не от Курбского, а из гораздо более седого прошлого, от самообвинения в органическом непорядке нашей земли, заставившем, по летописи, призвать варягов. В Византии, от которой мы много унаследовали, официальный историк и идеолог империи Прокопий Кесарийский писал в 6 в. одним пером восторженные восхваления императору Юстиниану и тем же самым — проклятия ему.

Завораживает описанный и проиллюстрированный в книге Андрея Зорина размах театрализации в политике начиная от Петра I до, условно говоря, эпохи фотографии и железных дорог. Потемкинские деревни в этом аспекте были не обманом, а необходимой частью гигантской мизансцены. Внутри постановки посещения российской императрицей своих новых владений Ифигения-Екатерина II возвращалась наконец в родную античную Тавриду, и приднепровские пейзажи тут никак не имели права оставаться в своем неклассическом облике.

В этом свете на екатерининский период можно было, как представляется, не проецировать позднейший термин идеология. С Григорием Потемкиным были похоронены, пожалуй, не сами по себе южные проекты, как нам предлагается считать (с. 117) — даже теперь отказ от них ощущается болезненно, — а широкое умение театрально разыграть перемену политического курса, географическое передвижение императрицы, военный поход. Не мешает ли слово из более механизированной эпохи вдуматься в происходившее до подрыва мо-

нархической идеи Великой французской революцией? Дела, похоже, уверенно делались без теоретического обоснования с органической непосредственностью. Екатерина, например, едва ли сумела бы, хотя бы из эстетических соображений, идеологически корректно сформулировать правило шоковой терапии. Зато в пьесах она открыто и весело, без скуки, легко выдавая свои жизненные правила, повторяет один и тот же эффективный прием отрезвления неблагоразумных: путем ловкого изъятия ларчика с деньгами и бумагами («Обольщенный»), просто денег («Шаман сибирский»), складня с алмазами («Обманщик»), перстня, с которым должен расстаться робкий Молокососов, чтобы наконец решиться на поступок («О время!»). Екатерина исправляет приемом внезапной экспроприации ненавистные ей пороки вялости, невегласия, заодно и лишнего умствования, так что когда она смеется над заумью Радотова (от франц. radoter, плести вздор), то походя расправляется в нем со своими чудаками, западными учителями философами. Ближе к игре, чем к идеологии в принятом теперь смысле, и опять же средством разделаться с излишне серьезной философией был и культивируемый образ божественной мудрости на троне. Несравненная Фелица, богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкия орды, имела право шутя отодвинуть слишком сложные вопросы, пользуясь выгодами театрального одушевления вокруг своего образа.

Западные философы или шли навстречу венценосной корреспондентке, как Вольтер, или в России их можно было не расслышать. На собственных вольнодумцев, Новикова или Радищева, достаточно было надавить, хотя бы вышеназванным отрезвляющим приемом. Военным, как отважному молодому подполковнику Ермолову, умели в России дать навсегда урок лояльности. Систематическая мысль не могла развернуть в таких условиях силу, сколько-нибудь сравнимую с величием самодержавия. Но поэзия... в опоре на мощь языка она замахивалась говорить на равных с правителями. Обнявшись крепче двух друзей, высокая поэзия и власть общаются в петербургской России между собой на языке силы далеко за пределами расхожей идеологии и на уровне, мало доступном для рационального понимания. К сожалению, в книге Зорина страшный диалог двух гигантов не выделен на среднелитературном фоне и не рассмотрен сам по себе, при том что голос Державина, например, сливается с этим фоном только для слуха, настроенного исключительно на идеологические шумы.

Идеологический инструментарий принадлежит всем. У Андрея Зорина с увлечением читаешь, что осуждение иностранца, чужого нам французского учителя, архаистом адмиралом Шишковым было калькой недоброй оценки, какую Жан-Жак Руссо дает в «Эмиле» типичному наставнику французу. Знаменитая формула умного николаевского министра народного просвещения Уварова «православие, самодержавие, народность» могла показаться кому-то доморощенной, но Зорин цитирует по мемуарам и архивным документам, с каким надрывом молодой Сергей Семенович Уваров, не ожидая в начале своей карьеры ничего доброго от безнадежного, унизительного, неблагодарного дела — работать в России, расставался с любимой Германией, где от братьев Шлегелей принял понятие народности. Центральное в его тройственной формуле, оно стало работать на медленное воспитание, через школьную систему, народного самосознания и постепенное переосмысление в конце концов как православия, так и самодержавия.

Поражает быстрота смены идейных сценариев, происходившей легче и чаще чем дворцовые перевороты. Когда силы крепнущей империи протягиваются на юг в Крым и до Черного моря, то учреждается орден покорителя Корсуни Св. Владимира, на воду спускается одноименный корабль, стихотворцы воспевают земной рай Тавриду. Когда просыпаются надежды на приобретение территорий древних Византии и Македонии, потенциальные наследники престола получают имена соответственно Константин и Александр. Никого особенно не смущает возможный отказ от северной столицы, которой не исполнилось еще и века, перемена климата и, кто знает, даже языка; в издательской практике появляются двуязычные русско-новогреческие поэтико-политические трактаты, «Я, как Алкивиад, уживусь и в Спарте, и в Афинах», хвалится энергичная мать будущих правителей южных империй. Полнощная держава среди раздающегося грома южных побед славится уже полуденными владениями. Скоро она однако снова станет северной цивилизацией.

Идеология должна резко меняться, чтобы не потерять стимулирующую остроту. Для власти удобно, чтобы образы смысла и цели государственного существования обновлялись быстрее, чем в них успеют разобраться. Ведет не столько сам образ, сколько его свежая новизна, позволяющая думать о счастливой находке правителей и удачной перемене галса. Уверенность перестройки, какою бы она ни была, призвана кроме того прикрыть неопытность или растерянность ее организаторов. Хотя идеологические средства должны быть надежными, например светлыми образами прошлого, их введение всегда должно поражать внезапностью. Скорая идеологическая модернизация по существу имеет ту же функцию обновления государства, что технический прогресс. Поэтому, возможно, самым богатым источником для изучения идеологий оказался бы как раз обойденный вниманием Павел I, о котором в прочитанной нами книге сказано лишь, что он стремительно менял свои идеологические ориентиры и литература, даже текущая публицистика, за ним не поспевали (с. 30).

Мировоззренческие обновления обслуживают потребность государства в единстве целенаправленной воли. Сперанский называет «силы народного уважения» одним из трех составляющих государственной мощи рядом с физической силой (армией) и промышленностью. Державин не знает, «чего не может род сей славный, любя царей своих, свершить» («На взятие Измаила»). История идеологических исканий показывает, как притягательно единодушие. Но согласие, как любовь, трудно устроить. Как любви, его все хотят, и как в ней, все готовы обманываться. Как в семье, внешнее благополучие кажется условием счастья. Успех нужен как воздух; если его нет, он все равно есть. Кутузов рапортует императору в конце августа 1812 года о победе под Бородиным. Французская военная администрация Вильны в конце ноября того же года перед проездом через город бегущего Наполеона устраивает торжества с иллюминацией и музыкой по случаю побед под Ригой и Киевом.

Мечты о единодушии неизбежны, настолько богата эта цель. Причин для надежд на ее достижение представляется много. Почему не быть единым славянству, христианству, миру. Как не объединиться вокруг мудрого правителя. Как всей Европе не стать заодно в Священном союзе против узурпатора. Как, веком позднее, не соединиться пролетариям всех стран. Мировоззрение всегда

спешит увидеть в великих исторических силах доступные возможности. Оно ставит целью всегда явное добро. В свою очередь, бесспорность нашего добра делает очевидной наглость, хищность, зверонравность врага (стихотворец Василий Петров о польских республиканцах).

К духовному согласию редко идут путем выработки усредненного менталитета. Обычно новые идеи диктует перспективная группа. Единственно важно уловить тайный ход истории, учил Гегель. Александр I в годы Священного союза пытался прислушаться непосредственно к божественной воле, избирающей человека, через которого она будет править миром. Пока интуиция ведет, словесные формулы имеют право оставаться невразумительными и непоследовательными.

По мере ухода светлого символа в прошлое он становится собственностью настоящего. Так имена Минина и Пожарского в 1812 году сделались почти нарицательными. Детальная фактография символических событий утрачивает смысл и ведется уже только в русле более спокойных тем. Историческая правда становится достоянием поэзии. Андрей Зорин хочет держаться исторической корректности и ввиду отсутствия исторических документов называет отказ Дмитрия Пожарского от предложенной ему после изгнания поляков царской короны изобретением Державина. Но мысль поэта об уклонении бескорыстного князя, природного вождя России, от власти оказывается сильнее и бесспорнее всего, что можно найти в архивах. Романовская династия объявляется этим державинским поэтическим движением условно правящей в замещение подлинной власти России, какою она могла бы быть. Пожарский, для Державина «муж великий мой», остался покорным «в низкой доле», рабом, и в то же время творцом царя: смиренным хозяином земли. У Державина здесь намечено понимание устройства власти в России, по своему размаху приближающееся к видению, сообщенному Львом Толстым в одной своей дневниковой записи 1865 года:

Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей. — (Всё это видел во сне 13 Авгу.)

Андрей Зорин называет непонятными (с. 182) «обстоятельства», убедившие Державина считать, что Пожарский отрекся от предложенного престола. Похоже, однако, что поэт указал тут на черту центральной важности в стране, начавшей список своих святых с Бориса и Глеба, тоже жертвенно отказавшихся от технически возможной борьбы за власть, которая принадлежала им по праву. Недоумение Андрея Зорина тем более странно, что по его же словам (с. 185) не в национальных традициях этой страны, чтобы верховную власть брал, даже когда его просят, первый из достойных. Добровольный уход лучших мужей от власти в начале обеих русских самодержавных династий можно назвать легендой только если не замечать, что аналогичный акт в той или иной форме повторяется в стране до сих пор.

Громкий и независимый от власти голос у нас звучит в поэзии и литературе. Так сорокалетний восходящий Державин неожиданно и властно занял

место рядом с Екатериной в «Фелице», шедевре поэтической выходки. Державинский Я подступил тут вплотную к властительнице в облике ее же ближайшего окружения, с которым, увидев его в подставленном зеркале, она вынуждена была теперь расподобиться и тем самым принять условия очеловечения, поставленные ей поэтом.

Императрица конечно им не могла удовлетворить.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

Игривым привычным для Екатерины выходом из затруднения, из необходимости соответствовать своему вынужденному у нее образу, было, богато одарив и приблизив поэта к себе в должности статс-секретаря, заставить его согласиться, что он слегка играючи, льстя государыне, говорит о премудрой душе на троне, где совесть с правдой обитают и добродетели сияют. Но, обращаясь к Фелице, поэт рассчитал свои силы. Он мог положиться на упрямство своего нрава.

Чтоб Державин продолжал писать в честь ее более вроде Фелицы, хотя дал он ей в том слово, но не мог оного сдержать [...] не мог он воспламенить так своего духа, чтоб поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями [...] ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен: всё выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства.

Вместо игры по правилам двора Державин в «Видении мурзы» предписал Екатерине велеть своему поэту не льстить. Там же, продолжая диктовать царице нормы, которые та неосторожно санкционировала, он заявил свое право поставить ее образ перед будущими веками, как сочтет нужным.

Не лесть я пел и не мечты,
А то, чему весь мир свидетель:
Твои дела суть красоты.
Я пел, пою и петь их буду,
И в шутках правду возвещу;
Татарски песни из-под спуду,
Как луч, потомству сообщу;
Как солнце, как луну поставлю
Твой образ будущим векам;
Превознесу тебя, прославлю;
Тобой бессмертен буду сам.

Приближаться к своенравной вдове, сорвавшей в свои 23 года себе корону вместе с головой мужа, было опасно. Вскоре она согласилась с отдачей своего тамбовского губернатора под суд. В ответ Державин в «Праведном судии» подтвердил свою решимость.

И мысленным очам моим
Не предложу я дел преступных;
Ничем не приобщуся к злым,
Возненавижу и распутных
И отвращуся от льстецов.

Державин распорядился как знал сердцем государыни, не вовсе расположенным к истине.

Если он и писал в похвалу торжеств ее стихи, всегда, однако, обращался аллегориею или каким другим тонким образом к истине, а потому и не мог быть в сердце ее вовсе приятным.

Через голову императрицы, не успевавшей осмыслить происходящее, поэт подарил не ей, а России счастливый образ верности, веры, мужества, удали, подъема. Пушкин подхватил тот же тон в еще детских написанных для Державина «Воспоминаниях в Царском селе», а потом придал ему небывалый размах в прологе на небесах к «Медному всаднику». В том, что оба поэта делали, не было ни идеологии, ни ошибки. Через их руки с их ведома прошла правящая молния.

Какой контраст этой прямой поэтической воли с лавированием Екатерины, напуганной в конце жизни французскими событиями, с фантастическими прожектами ее неудачливого сына Павла и с подробно прослеженными у Андрея Зорина робкими мечтами Александра I о божественном избранничестве. Мистические знамения указывали, что он тот самый, через кого имеет совершиться мировая судьба, а царь томился от недостаточного ощущения своего исключительного призвания. События захлестывали его. Когда Европа уже жила наукой, проектами позитивистской социологии, философией трансцендентального субъекта, он воображал, правда опять же временно, что нащупает волшебную защелку и заворожит мир в тихом благочестии. В самом начале своего правления, двадцатичетырехлетний, и потом, заражаясь после Тильзитского мира жестами Наполеона, надеясь править, как тот, независимо и рискованно, он разрешил молодому Михаилу Сперанскому выговорить то, что сам боялся думать. Сперанский написал ему прожект преобразования обширнейшей в свете империи, населенной разными языками, славящейся своею силою, рабством, разнообразием нравов и непостоянством законов.

Александр не объяснил своему подчиненному, что просьба высказаться была тактическим приемом, пробой среды, провокацией. Царь попробовал идти наощупь в неизбежной темноте с робкой надеждой, что случайный верный шаг даст вдруг ему вырваться вперед в соревновании держав, но чутье и приемы наследного самодержца оказались сильнее. Сперанский, карманный декабрист, пока его не отрезвила внезапная ссылка, воображал себя первым в России, кому дано безопасно выложить диссидентский набор обличений и стандартный прожектерский пакет.

Я не знаю, какие предположения имели российские государи от времян Петра Первого на счастье России, но их всегдашнее старание было [...] удержать в своих руках все неограниченное самовластие. Думали ли они в самом деле, что права и грамоты, на бумаге данные, составляют истинный образ правления; или находили нужным ознакомить сперва людей с имянами, чтоб впос-

ледствии дозволить самое действие; или признавали в душе своей то справедливым, чего не решились на деле исполнить; или, наконец, не имея постоянного плана, действовали они по минутным вдохновениям; как бы то ни было, но ни в каком государстве политические слова не противоречат столько вещам, как в России [...] У нас есть все по наружности и ничто, однако же, не имеет существенного основания [...] Каким образом коренные законы государства соделать столько неподвижными и непременяемыми, чтоб никакая власть преступить их не могла и чтоб сила, в монархии вседействующая, над ними единственно никакого действия не имела?

Самозабвенный соловей распелся в золоченой клетке. Он постарался не заметить, что рассказывает о народных правах и свободах тому, кто жадно заинтересован знать о них, как разведчик всей душой хочет объективно знать, что происходит по ту сторону фронта.

Свержение Сперанского едва ли было вызвано нуждой охваченного патриотизмом общества во враге, как предлагает думать автор прочитанной нами книги. Сведение всего к идеологическому ритуалу без надобности упрощает ситуацию. Александр был задет своей вывернутой Сперанским изнанкой. Монарх в зеркале, которое сам к себе придвинул, оказался непригоден для своей роли. Так его брат Николай на четырнадцатом году своего правления признавался маркизу де Кюстину в симпатии к республиканскому строю. Династия двоилась изнутри, грозила себе страшнее врага. Этим надо объяснять учащающиеся заклинания единства. «Мы все в одну сольемся душу», чеканилось на памятных медалях. Александр поспешил отделаться от Сперанского как от сомнений в себе.

Можно ли было настолько забыться, чтобы ожидать, что, собрав всю свою волю, самодержец осуществит конституционные планы7 Надежды Сперанского едва ли были искренни. «Все почти государи занимались сим с порывостию и некоторым воспалением», так начинает он свои рассуждения. Смотрел он при этом, конечно, не на всех государей, а на двадцатипятилетнего Александра. Выкладки Сперанского похожи на доклад потомству. Он словно оправдывается перед историей, предчувствуя неудачу.

Он планирует составление в первую очередь свода законов, который исходил бы из духа «общего государственного постановления» (конституции). Такого постановления не существует? Не беда.

Уложение [] должно быть составлено так, как будто бы сие постановление уже существовало, ибо, быв частию его, оно должно быть сообразно духу целого [] Под имянем общего государственного постановления не то, конечно, должно разуметь, что ныне существует, но то, к которому идет Россия, ибо ныне существующее постановление, состоя в одной неограниченной воле [государя], само собою прейти долженствует [] Естьли Бог благословит все сии начинания, то к 1811-му году, к концу десятилетия настоящего царствования, Россия воспримет новое бытие и совершенно во всех частях преобразится [зачеркнуто: *станет, наконец, на череду государств*].

Сперанский хочет дарить. Он обещает план учреждения через конституцию прав народа, которые в России «в самом деле еще не существуют», но «должно предполагать их существующими».

Державин тоже требует от государей «льготу» и права для народа. Все дело в разнице между худосочными комбинациями философа и поэтическим диктатом.

О росс! О род великодушный!
О твердокаменная грудь!
О исполин, царю послушный! [...]
Твои труды — тебе забав [...]

Идут в молчании глубоком,
Во мрачной, страшной тишине,
Собой пренебрегают, роком]...[
Не бард ли древний, исступленный,
Волшебным их ведет жезлом? [...]

Умреть иль победить [...]

Державин не дает забыть о грозной и роскошной полноте бытия. Сперанский, когда не лукавит и не лавирует, говорит унылые истины :

Вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч. я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов.

Театральное воодушевление екатерининского тридцатичетырехлетия неудобно сводить только к идеологии. Даже робкие мистические искания Александра и неуместное философствование Сперанского были больше чем служением деспотии. Уваровское ощущение хрупкости государственного бытия России («колосс развалится в две недели») тоже не идеологический пессимизм (с. 373), а результат серьезной умственной работы. Тем более русская поэзия уже у Державина позволила себе, страшно рискуя, весь размах свободной мысли. Собственно то, что можно без колебаний назвать идеологией, процветало только среди литераторов, которых Державин называет цеховыми стихотворцами, на уровне афиш Ростопчина и литературного стиля воспетой Пушкиным поэтической троицы:

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов.
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской.

На поэму одного из них, не раз цитируемую в книге Зорина, есть пушкинская рецензия:

Пожарский, Минин, Гермоген,
или Спасенная Россия.
Слог дурен, темен, напыщен —
И тяжки словеса пустые.

Историософию Державина, лирику Жуковского, философскую поэзию Пушкина читать в идеологическом ключе, пожалуй, можно, но интересно ли. Есть разница между ведущей в России поэтической мыслью, метаниями растерянных умов и корыстной проповедью посредственностей. Все это вещи совсем разного рода.

Конечно, из этих трех уровней прежде всего заслуживало бы разбора пророчество поэтов. Можно было бы разглядеть настающее в прозрениях поэтической мысли, которая у Державина и Пушкина напоминает, что подданные покорны не только двуглавому орлу —

Царей они подвластны воле,
Но Богу правосудну боле, —

что ни народ ни царь не выше закона и что самовластие в России надломится.

У Пушкина свобода неизбежна («Наполеон»). У Державина

Премудрость царствы управляет;
Крепит их — вера, правый суд;
Их труд и мир обогащает,
Любовию они цветут.

Слезы благодарности, которые Державин льет Фелице и Создателю, текут у него от счастья дарить государству и миру, urbi et orbi, их истину.

Лишь истина дает венцы
Заслугам, кои не увянут;
Лишь истину поют певцы,
Которых вечно не престанут
Греметь перуны сладких лир;
Лишь праведника свят кумир.

В благодарность Создателю и Фелице за эту возможность дарить он поет утро, понт, эфир, журавлей, ветр.

Так же умиляется и благодарит царя лицеист Пушкин. Храня честное желание быть со всеми, делать общее дело, поэт всегда будет любить восторг восстановленного человечества, мягкой, послушной, верной природы.

Тот же голос мы слышим в поэзии и теперь; то же дарение продолжается.

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ

ЗАГАДОЧНАЯ ИСПАНКА

Неудержимый зуд воспоминаний склоняет порой людей солидных и уравновешенных на поступки странные и для высокого начальства невразумительные. Зимой 1922 года известный московский врач Гетье, человек умный и осмотрительный, вдруг взялся за перо и накатал несколько страниц своих личных впечатлений о почившем три года назад председателе ВЦИК Я.М.Свердлове. И ведь должен был понимать, что пишет не в собственный стол даже, а в секретный партийный сейф, но какое-то внутреннее побуждение подталкивало его руку, пока он не выговорился до конца. Так один античный цирюльник сумел успокоиться, лишь когда выкопал в речном песке ямку, чтобы прошептать в нее: *«У царя Мидаса ослиные уши»*.

Человек, потерявший лицо

Жизненный путь Федора Александровича Гетье был выверен и размечен верстовыми столбами благонадежности и преуспеяния, наверное, еще до его рождения в 1863 году. Младший сын штатного врача высшего оклада Московской полиции, статского советника, награжденного за отлично усердную службу и особые труды по должности многими орденами и завидной пенсией, он унаследовал способность тянуть врачебную лямку исправно и добропорядочно, а вместе с тем незаметно, ничем не выделяясь среди коллег. Он и жил по трафарету, исстари заведенному среди имперских чиновников, и несложные обязанности верноподданного исполнял точно и в положенный срок, словно по графику движения пассажирских поездов.

В 17 лет он вышел из 4-й Московской гимназии с серебряной медалью и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. За отличные успехи по завершении курса наук в 21 год был утвержден в степени кандидата, что давало право без дополнительных экзаменов получить свидетельство на звание учителя гимназии. Не чувствуя влечения к преподаванию, он избрал другое поприще и был вновь зачислен студентом, только уже медицинского факультета того же университета.

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ — родился в 1938 году в Москве. Окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И.Пирогова. Доцент Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова. Автор нескольких монографий и ряда статей в области медицины, книги «Вожди в законе» (1996); выступает как публицист в периодических изданиях. Живет в Москве.

Через четыре года прилежных занятий он удостоился диплома лекаря, а после надлежащих испытаний в феврале 1889 года — звания уездного врача.[1]

Почти два года способный выпускник Московского университета протрубил в качестве экстерна при Староекатерининской больнице для чернорабочих, не имея никакого вознаграждения за беспокойные дни и бессонные ночи.[2] Когда его надежды на оплачиваемую работу слегка пожухли, растревоженный родитель дважды дипломированного лекаря разворошил накопленные за три десятка лет знакомства и добрался-таки до самого сенатора В.К. Плеве — бывшего директора Департамента полиции, вознесенного на пост товарища (то есть заместителя) министра внутренних дел.[3] Своим отношением от 3 октября 1890 года благодетель Плеве уведомил московского губернатора, что заведующий нервным отделением Староекатерининской больницы (он же соучредитель общества невропатологов и психиатров Москвы) В.К. Рот от службы отстранен, а вместо означенного доктора на должность сверхштатного ординатора терапевтического отделения с окладом 450 рублей в год определен лекарь Ф.А. Гетье.[4]

Столь бесцеремонное вмешательство влиятельной петербургской особы в кадровые вопросы обыкновенной московской больницы возбудило, конечно, всякие толки и пересуды, огорчительные для неопытного протеже сенатора Плеве. Нельзя не отметить, однако, и позитивное значение случившегося, ибо это оказался тот удивительный казус, когда привычная беспардонность важного правительственного чиновника пошла на пользу медицине. Ведь если бы векторы приложения сил старшего Гетье и могущественного Плеве не совпали по направлению, доктор Рот мог бы навсегда остаться в Староекатерининской больнице, тогда как после увольнения он целиком сосредоточился на преподавательской деятельности в Московском университете, через пять лет возглавил кафедру нервных болезней, воспитал немало достойных учеников и прославился клиническими исследованиями, либеральными взглядами и причастностью к кадетской партии.

Не в пример неуемному доктору Роту, лекарь Гетье освободительным движением не интересовался и политическими проблемами гнушался, пожалуй, чуть нарочито, но протекцией власть имущих отнюдь не пренебрегал. Почитая его ставленником самого Плеве — государственного секретаря Российской империи (1894-1899), а затем шефа отдельного корпуса жандармов и министра внутренних дел (1902-1904), — егозливое московское начальство обихаживало заурядного городского врача несколько неумеренно, быстро продвигая его по службе и повышая в чинах.

Весной 1904 года надворный советник Гетье (давно уже награжденный серебряной медалью в память коронации императора Николая II для ношения в петлице на Андреевской ленте и орденом Святого Станислава 3-й степени) заступил на должность главного врача Басманной больницы с годовым жалованьем три тысячи рублей.[5] Через три месяца Плеве погиб, разорванный в клочья бомбой эсера Е.С. Созонова, и карьера Гетье сразу застыла на одном месте, точно в нее добавили желатина. Ни последующих чинов, ни внушительной прибавки к жалованью ему с тех пор не полагалось, но заниматься частной практикой не возбранялось.

Хоть диагнозы и лечебные рекомендации Гетье неизменно оставались в рамках сугубо шаблонных и в основном гигиенических, московские обыватели ценили его приветливость, отзывчивость и степенность. Особенно симпатизировали ему люди среднего достатка: среди них этот лекарь слыл знатоком российских и, особенно, европейских курортов, чему способствовали его неоднократные командировки за казенный счет для ознакомления с устройством санаторных заведений.[6]

Многих пленяло и придуманное главным врачом Басманной больницы своеобразное деление коллег на три категории: подобных ему истинных любителей своей профессии; просто добросовестных, но забывающих своих пациентов за стенами стационара, и ученых, высевающих в медицине семена крамолы. Критику досточтимых традиций и заповедных инструкций лекарь Гетье не одобрял и в звездные дали науки не всматривался. Не гнался он и за общественной карьерой, опасаясь, быть может, душевного оскудения, почти неизбежного при быстром социальном возвышении. Тем не менее, Московская городская управа привлекла к осуществлению крупного медицинского проекта именно его.

Согласно духовному завещанию коммерции советника Козьмы Терентьевича Солдатёнкова, следовало возвести новую бесплатную больницу для всех бедных жителей Москвы без различия званий, сословий и религий. В мае 1903 года душеприказчики покойного, исполняя его завещательные распоряжения, предложили городскому управлению 1 миллион 200 тысяч рублей, а 23 декабря 1910 года московское градоначальство с помпой отмечало открытие Солдатёнковской больницы, построенной без лишний суеты и встречных обязательств на пустыре Ходынского поля.[7] На торжественном приеме после осмотра корпусов для заразных больных городской голова Н.И. Гучков провозгласил вечную память незабвенному Солдатёнкову и поднял бокал шампанского за процветание нового стационара, а Гетье, назначенный главным врачом этого образцового по тем временам лечебного заведения еще 15 апреля того же 1910 года, — за преуспеяние московского общественного управления.[8] Подающий надежды лекарь так и не достиг уровня доктора московской клинической школы, зато приобрел лицо искусного администратора, обладающего довольно редким дарованием — умением не мешать работать своим подчиненным.

Престиж главного врача (и, соответственно, его стационара) особенно возрос в самом начале Первой мировой войны, когда 7 августа 1914 года в 4 часа пополудни Солдатёнковскую больницу посетил Николай II в сопровождении императрицы и четырех дочерей. Государь удостоил раненых милостивыми расспросами. Государыня раздала пострадавшим воинам серебряные образки. Августейшая семья осмотрела перевязочную, операционную и рентгеновский кабинет, после чего соизволила сфотографироваться с больничным персоналом, который Гетье и его помощник В.Н. Розанов выстроили перед хирургическим корпусом, как на плацу, за два часа до прибытия монарха.[9]

В агрессивном безумии 1918 года относительно мирный, несмотря на военное положение, уклад Солдатёнковской больницы разбился вдребезги. Часть сотрудников поддержала призыв Пироговского общества (самого авторитетного врачебного объединения) к бойкоту советских учреждений и стачке меди-

цинского персонала, другая часть продолжала трудиться по-прежнему, а кое-кто поспешил «просигнализировать» компетентным органам о сложившейся ситуации.[10] Главный врач остудил расколотый коллектив сухим заявлением о безусловной недопустимости медицинской забастовки, тем самым продемонстрировав новой власти свою лояльность, хотя ни малейшего расположения к большевикам он не испытывал и Ленина рассматривал как человека совершенно беспринципного. Ведущий хирург больницы Розанов, пользовавший Ленина в конце августа — сентябре 1918 года, пытался переломить мнение Гетье о вожде, но его уговоры главный врач встречал с едва заметной иронией.[11]

Отношение Гетье к большевикам резко поменялось глубокой осенью того же 1918 года. О том, как это произошло, он ни разу не обмолвился в своих скупых воспоминаниях, хотя именно тогда арестовали (то ли по доносу, то ли просто «в порядке красного террора» как заложника) его старшего брата — преподавателя Московского Высшего технического училища. Не исключено, что в архивах карательной службы сохранились те или иные бумаги, способные прояснить этот инцидент, но за неимением таких документов приходится довольствоваться запиской наркома просвещения А.В. Луначарского, адресованной заместителю председателя ВЧК Я.Х. Петерсу 10 декабря 1918 года. Ходатайствуя об «окончательном и благоприятном разрешении» сразу нескольких дел, нарком просвещения акцентировал внимание чекиста «на категорическом обещании товарища Дзержинского освободить профессора Гетье».[12]

Поскольку Ф.Э. Дзержинский имел обыкновение лично допрашивать тех заключенных, на освобождении которых настаивал кто-нибудь из ответственных товарищей, надо полагать, что председатель ВЧК и старший брат Гетье свели знакомство в одном из лубянских кабинетов. Как протекала их беседа не столь существенно, — важнее ее результат, ибо в тот день шеф карательного ведомства приобрел в свое распоряжение и преподавателя Высшего технического училища и его младшего брата, главного врача Солдатёнковской больницы.

Вскоре Гетье, никогда не помышлявший ни о защите диссертации, ни о научной работе, ни о преподавательской деятельности и тем не менее произведенный в ранг профессора (так же, впрочем, как и его старший брат), поступил на службу в специальное подразделение, охраняющее здоровье партийного руководства и получившее название Лечебно-санитарного управления Кремля. С того времени он неоднократно бывал на Лубянке, выступая в роли лечащего врача Дзержинского и его присных.[13] Благонамеренность главного врача никто и никогда не подвергал сомнению; благосклонность вождей распространялась и на его больницу: ей предоставили фактически статус приближенной к кремлевскому двору, зачем-то переименовав только в Боткинскую, хотя С.П. Боткин был основателем не Московской, а Петербургской клинической школы.

Популярность новоявленного профессора среди большевиков росла с необъяснимой стремительностью. Пусть его рекомендации сводились, как правило, к предложению сократить рабочий день или отдохнуть один-два месяца на даче, в санатории или на германском курорте, круг жаждущих его консультаций расширялся непрерывно, пока не захватил Ленина и Троцкого с их домочадцами. После этого осторожные советы Гетье приобрели, по сути, характер

самобытных директив, утверждаемых на заседаниях Политбюро под условным названием «О необходимости правильного лечения» того или иного вождя.

Много лет спустя старые большевики с особым негодованием приписывали Сталину полную изоляцию Ленина в последние месяцы его существования, когда повторные инсульты довели вождя мирового пролетариата до состояния, определяемого емким французским понятием ramolli. Однако в основе душераздирающего предания о мучительном одиночестве Ленина, всеми заброшенного и пребывающего чуть ли не под домашним арестом в подмосковной резиденции, лежала вовсе не сталинская интрига, а всего лишь письменная рекомендация Гетье, первоначально исполненная летом 1921 года.

Согласно устной инструкции своего лечащего врача, 8 июля 1921 года Ленин попросил у Оргбюро ЦК РКП(б) внеочередной отпуск на месяц, оговорив для себя возможность посещать заседания Политбюро, Совнаркома и Совета труда и обороны два-три раза в неделю.[14] Соратники всполошились и накатали собственные резолюции на заявлении повелителя. Нисколько не возражая против его отпуска, В.М. Молотов предложил ограничить активность вождя присутствием только на заседаниях Политбюро. Трепетная забота Н.И. Бухарина о ленинском здравии выглядела более радикальной: *«Необходимо во что бы то ни стало сократить его работу в течение месяца до минимума, привлекая т[оварища] Ленина только в случае исключительной важности и только обязательно с формального согласия секретариата ЦК»*.

Через месяц, когда выяснилось, что физические и умственные способности вождя еще не восстановились в желаемой степени, Молотов посчитал целесообразным «обязать товарища Ленина продолжить отпуск» на тот срок и на тех условиях, какие назначит профессор Гетье. Не тратя времени попусту, 10 августа Гетье уведомил ЦК РКП(б), что обнаружил у Ленина сильное переутомление наряду с расширением сердца, а посему признал необходимым:

«1) освободить его от всякой обязательной работы в течение не менее 1 месяца, причем срок этот может быть продлен в зависимости от результатов лечения,

2) прекратить телефонные переговоры, за исключением случаев самых неотложных,

3) прекратить посещение всякого рода заседаний».[15]

Уже к 1920 году беспартийный советский профессор заслужил настолько прочное доверие вождей, что его назначили главой закрытого санатория в Химках. Здесь он принимал вельможных пациентов «с истрепанной нервной системой», лечил Троцкого от загадочной лихорадки и вспоминал прошлое.

Хозяйственные трудности номенклатурного санатория и бытовые неурядицы его начальника очень скоро получили статус государственных проблем, обсуждаемых то в частной переписке Ленина и Троцкого, то непосредственно на заседаниях Политбюро.[16] Уникальным даже для того шалого времени оказалось решение Политбюро от 15 июня 1922 года, обязывающее секретаря Президиума ВЦИК А.С. Енукидзе письменно изложить, *«что сделано во исполнение постановления Политбюро по улучшению положения Гетье»*. Поговорив с женой профессора, секретарь Президиума ВЦИК выяснил, что Гетье нуждается в одежде и обуви, нижнем и постельном белье, летнем пальто и енотовой шубе и множе-

стве других вещей. Поскольку древний обычай жаловать шубу с барского плеча или кальсоны с чресел вождя из моды вышел, Гетье отломили четыре миллиарда рублей (с учетом инфляции и рыночных цен), о чем дисциплинированный Енукидзе без промедления известил руководство страны.[17]

В 1926 году профессору, снискавшему титул «друга дома» Троцкого, разрешили вернуться в свою больницу на Ходынском поле; там он еще восемь лет заведовал терапевтическим отделением в корпусе, который назвали позднее его именем. После высылки Троцкого из Москвы в 1928 году Гетье вручили довольно редкую по тем временам награду — орден Трудового Красного Знамени и присвоили полуофициальное звание «крупнейшего специалиста по внутренним болезням».[18] Теперь, когда его прежний облик главного врача все больше расплывался и угасал в памяти бывших коллег и пациентов, а его новое обличье «профессора-орденоносца» непрестанно ретушировали по прихоти высоких инстанций, о его натуральном лице оставалось лишь строить догадки.

Разноликий большевик

Природная сдержанность всегда предохраняла Гетье от опрометчивых поступков, и медицинское обслуживание вождей не пробудило в нем влечения к неоправданному риску. Но что-то все-таки принудило его набросать вчерне и аккуратно перебелить свой очерк о Свердлове. Может быть, он просто исполнял негласный заказ некой влиятельной персоны (например, того же Ленина), а может быть, счел своей обязанностью оставить для потомков воспоминания о странном пациенте, известном народу лишь по декретам ВЦИК и единичным газетным фотографиям. Так или иначе, но однажды он чуть расслабился и взамен стандартный записи в скорбном листе принялся составлять корреспонденцию в будущее.

«Мое знакомство с большевиками началось с Я.М. Свердлова. В феврале 1919 года ко мне обратился по телефону брат Я.М. — Вениамин Михайлович Свердлов с просьбой не отказать навестить его брата, присовокупив, что ему рекомендовал обратиться ко мне В.А. Обух.

[Тут Гетье немного подвела память. Встревоженные родственники вызвали к заболевшему Свердлову врача вовсе не в феврале, а 10 марта.[19] Рекомендация Обуха — старого большевика, вхожего в кремлевские покои, и начальника всей московской медицины — свидетельствовала о полном доверии вождей к главному врачу Солдатёнковской больницы.]

Не могу не сознаться, что это приглашение было мне приятно: меня очень интересовало посмотреть поближе такого крупного большевика, как Я.М. Свердлов, о котором я раньше кое-что слышал. В назначенный час автомобиль подвез меня к кавалерскому корпусу в Кремле, где жил Я.М. Меня встретила довольно сухо жена Я.М., немолодая и некрасивая женщина, и привела к мужу.

[В 18 лет Свердлов женился на 24-летней курсистке Е.Ф. Шмидт, высланной в Нижний Новгород за участие в студенческих волнениях. После рождения дочери она отошла от революционного движения и всю жизнь проработала учительницей.[20]

В 1905 году Свердлов сблизился с купеческой дочерью К.Т. Новгородцевой; она была старше него на девять лет. Поскольку предыдущий брак не был

расторгнут, их отношения оставались официально не оформленными; из-за этого, вероятно, в советские годы Новгородцеву величали другом, соратником и лишь в последнюю очередь женой Свердлова. Его новая спутница состояла в партии с 1904 года, дважды побывала в заключении, с 1913 года обитала в Тобольской губернии под надзором полиции, а с 1915 — вместе с мужем в Туруханском крае.[21] В марте 1918 года Свердлов, ставший секретарем ЦК РКП(б), назначил Новгородцеву своим первым заместителем, внедрив, таким образом, в деятельность партийного руководства методы семейного подряда. Объединенные общим делом, супруги уважали друг друга, согласно прописи Н.Г. Чернышевского, но в качестве образцово-показательной четы среди персонажей советской мифологии не фигурировали.]

Он был в постели. Среднего роста, худощавый брюнет с матово-бледным лицом, короткими, слегка вьющимися волосами, маленькой бородкой и усами, выпуклыми близорукими глазами и крупными губами он произвел на меня в первую минуту впечатление самого обыкновенного человека. Но чем больше я всматривался в его лицо и особенно в глаза, тем больше убеждался, что имею дело с необыкновенной личностью.

Серьезное, вернее строгое выражение лица и холодный, как бы застывший взгляд производили тяжелое впечатление; думалось, что этот человек должен был много пережить, перестрадать, что этими страданиями он закалил свой характер, но в то же время и ожесточил свое сердце.

До моего первого визита к Свердлову я слышал о нем, что он стоит во главе ВЧК и отличается жестокостью и неумолимостью. И когда я вглядывался в него, я поверил этим слухам. Такой человек, каким представлялся мне Свердлов, не стал бы искать жалости или сострадания у других, но и сам не тронулся бы чужими страданиями. И если бы ему пришлось идти на расстрел или на виселицу, он, я убежден в этом, пошел бы на смерть, высоко подняв голову, ни одной чертой лица не обнаруживая ни страха перед смертью, ни жажды жизни. Но так же твердо, не моргнув глазом, он мог бы подписать смертный приговор и, если бы понадобилось, сам бы привел его в исполнение.

[Леденящая выдержка Свердлова, достигающая степени каменной невозмутимости в экстремальных ситуациях, летом 1917 года способствовала его перемещению из разряда провинциальных функционеров в категорию главных вождей.[22] Через две недели после октябрьского переворота ЦК партии и большевистская фракция ВЦИК по настоянию Ленина выбрали его председателем ВЦИК, сняв с этого поста Л.Б. Каменева, который забылся настолько, что подписал соглашение о включении в правящую коалицию представителей ряда других социалистических партий.

Вождю мирового пролетариата импонировало прежде всего отсутствие у Свердлова собственных идей или, точнее, сугубо утилитарный характер его мышления. Человек без лица, он педантично впитывал речения других вождей, а затем авторитетно транслировал усвоенные догмы своим густым басом, перекрывающим гул множества голосов. Как говорил Луначарский, «у него были ортодоксальные идеи на все; он был только отражением общей воли и общих директив; лично он их никогда не давал, он только их передавал». Его публичные выступления представляли собой поэтому «настоящую передовицу офи-

циальной газеты», где не было ничего лишнего — «никакой сентиментальности и никакой игры ума».[23]

Новый председатель ВЦИК, с августа 1917 года возглавлявший еще и Секретариат ЦК партии, оказался оптимальным начальником отдела кадров военно-полицейского государства. Ошеломленные его невероятной памятью, соратники всерьез полагали, будто он держал в голове всю партийную картотеку, отражавшую заслуги и промахи, достоинства и недостатки каждого большевика.

Уже в начале 1918 года выяснилось, что Свердлов не просто владел «биографическим словарем коммунистов», но и весьма активно его использовал, рекомендуя или назначая нужных людей на конкретные должности. Особое внимание уделял он личному составу ВЧК, направляя туда лучших, по его мнению, большевиков. Не случайно его черное облачение, «блестящее, как полированный лабрадор» (кожаные сапоги, штаны, куртка и фуражка), немедленно заимствовали чекисты и комиссары.[24] Чтобы произвести начальника ВЦИК в шефа ВЧК, населению достаточно было хоть раз увидеть его на митинге в униформе цвета могильного камня. Единство его униформы и внутреннего содержания советские подданные уловили, еще не зная азов марксистской диалектики.]

Больные, как дети, очень отзывчивы на ласку, они ищут участие в своих страданиях у окружающих и, если врач проявляет сердечное отношение к больному, последний быстро привязывается к врачу. Обычно я быстро схожусь со своими пациентами и, чем тяжелее больной, тем скорее это происходит: невольно хочется не только облегчить его физические страдания, но и подбодрить, обласкать его, чтобы он чувствовал, что к нему не относятся безучастно, а сочувствуют ему и стремятся его вылечить.

Свердлов был очень тяжело болен испанкой. В течение 10 (?) дней я навещал его ежедневно, иногда по 2 раза в день, и все же наши отношения остались, как в первый визит: ни одного слова участия или ободрения не слетело с моих губ, я как-то невольно съеживался под его строгим, тяжелым взором, дальше стереотипных вопросов о состоянии здоровья и таких же стереотипных ответов у нас не шло; он относится ко мне очень корректно, подчинялся всевозможным распоряжениям и исполнял все назначения, но я чувствовал вполне определенно, что для него я остаюсь все время чуждым, посторонним человеком, специалистом, ремесленником; я был уверен, что если бы он выздоровел, у него не осталось бы ко мне того вполне понятного чувства признательности, которое испытывает обычно к врачу всякий тяжелый больной.

Такое отношение ко мне больного я встретил впервые за всю мою многолетнюю практику, оно было и непонятно, и неприятно мне, и мне захотелось выяснить его причину, ознакомиться ближе с биографией Я.М. Вот что узнал я при разговоре с близкими ему людьми, частью из литературных данных. Я.М. Свердлов учился в нижегородской гимназии и, еще будучи гимназистом, печатал тайком в типографии отца прокламации. Вышел из гимназии из 5-го класса и поступил фармацевтом в аптеку, 17-летним юношей он впервые подвергается аресту за участие в политической демонстрации, и затем вплоть до октябрьского переворота, т.е. в течение 17-и лет идут тюрьмы, ссылки, побеги и опять тюрьмы, причем на свободе Я.М. бывал лишь очень непродолжительное время.

Таким образом, за все время своей короткой сознательной жизни с 15-летнего возраста он провел на воле всего лишь 3-4 года, а 16-17 лучших лет томился по тюрьмам и в ссылках. Вот, по-видимому, разгадка той сухости, пожалуй, даже более — жесткости характера Свердлова, его недоверия к людям и озлобленности.

[Окончив кое-как 4 класса нижегородской гимназии, будущий председатель ВЦИК напрочь утратил интерес к учебе и взялся за «настоящее» самообразование, включавшее в себя чтение романа «Овод», газеты «Искра» и нелегальных брошюр. Исключенный из гимназии, он обзавелся револьвером и преисполнился отвращением к существующим порядкам и чужой собственности. Когда же он, украв у соседа голубей, не продал их, как поступили бы другие, а посадил на своем чердаке, чтобы «позлить ротозея», сверстники признали в этом низкорослом, но крепком и ловком подростке бесспорного вожака.[25] Окончательно упрочила его авторитет нестандартная манера публичного «воспитания воли»: однажды после случайной травмы ноги, чтобы не стонать от боли в месте ушиба, он начал прижигать себе папиросой руку.[26]

Бурная подпольная деятельность, 14 арестов и тюремное воспитание превратили своевольного недоросля в профессионального врага общества. Пристрастие к авантюрам и зычный бас (при полном отсутствии слуха) способствовали его выдвижению на первые роли в провинциальных революционных группировках. Неизбежное при таком жизненном пути ожесточение отнюдь не лишало его гибкости и способности приноровиться к любым обстоятельствам; часть ссыльных в Туруханском крае питала к нему нескрываемую ненависть и даже обвиняла его в провокаторстве, поскольку «он умел подладиться к начальству и пользовался особыми привилегиями».[27] Определенные признаки эмоционального оскудения проявились у него еще в молодости; поэтому, в частности, проверять явочные квартиры он посылал по вечерам беременную жену, отработавшую весь день на книжном складе.[28]

Рано вступив в конфликт с законом, он привык менять маски, скрывающие его подлинные намерения, и задолго до революции стал фактически личностью асоциальной и примечательной, главным образом, своей нравственной тупостью — качеством, абсолютно исключающим как чувства сострадания или жалости, так и потребность в регулярном созидательном труде. Но среди большевиков Свердлов котировался довольно высоко как «классический тип среднего партийного работника», обладающего и минимальными теоретическими знаниями, и всеми необходимыми практическими навыками и способностями.[29]]

Это был партийный человек до мозга костей: всех людей он делил только на 2 группы — своих, т.е. большевиков, и чужих — небольшевиков. В партии его любили и высоко ценили. Что любили, я заключаю по большому числу лиц, постоянно находившихся в его квартире, а частью даже дневавших и ночевавших там, чтобы знать, как идет болезнь.

Ценили его за его непреклонную волю и строгое исполнение партийных принципов. Одно лицо, очень близко стоявшее к нему, передало мне факт, характеризующий его решительный характер. В 1918 году, когда коммунистическое правительство находилось еще в Петербурге и немцы угрожали занять его, у правительства было мало войск для защиты города; среди высших чинов

правительства произошло замешательство и многие, в том числе Ленин и Троцкий, высказались за переезд правительства в Москву. Свердлов доказывал недопустимость такого шага, говорил, что это равносильно сдаче Петербурга, но его голос был в меньшинстве.

На одном ночном заседании вопрос был почти решен и утром должны были обсуждаться уже детали переезда. По окончании ночного заседания Свердлов отправился на наиболее крупные фабрики, велел дать тревожный свисток, собрал рабочих, воодушевил их речью и заручился их готовностью защищать город. На утреннем заседании неожиданно для всех он заявил, что не допустит выезда правительства из Петербурга и что, если не будет немедленно издан манифест о решении правительства оставаться в Петербурге и защищать его, то через час Ленин, Троцкий и другие наиболее видные коммунисты будут арестованы рабочими как изменники. Угроза Свердлова и решение рабочих защищать Петербург повлияли на правительство — оно решило остаться.

[Странная легенда о сопротивлении председателя ВЦИК чуть ли не всему советскому правительству поднялась, как обычно, на дрожжах причудливой трактовки подлинных событий. Тревожные заводские гудки действительно разбудили жителей Петрограда в ночь с 24 на 25 февраля 1918 года, но распоряжение о неурочном подъеме отдал не Свердлов, а управляющий делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевич.

Незаодлго до полуночи 24 февраля в Совнаркоме узнали, что небольшой немецкий отряд без боя захватил Псков, а основные силы германской армии готовятся будто бы к наступлению на Петроград. Взволнованный Бонч-Бруевич поспешил на ночное заседание Петроградского Совета, где предложил устроить общегородскую побудку, чтобы незамедлительно начать запись добровольцев в Красную Армию.[30] Впоследствии какой-то мифоман трансформировал ночное смятение Бонч-Бруевича в утреннюю непреклонность Свердлова.

Вечером 26 февраля, несмотря на возражения Зиновьева и Луначарского (а вовсе не Свердлова), Совнарком признал целесообразным срочное перемещение столицы в Москву.[31] Для пресечения вредных слухов о бегстве вождей центральная пресса 1 марта напечатала сообщение ВЦИК о твердом намерении советского правительства остаться в Петрограде и организовать «самую энергичную оборону» города.[32] С понедельника 4 марта (на следующей день после заключения Брестского мира) большевики приступили к эвакуации в Москву правительственных учреждений и казначейства.[33]

В первой декаде марта Свердлов выделялся лишь своей активностью: 3 марта он примчался в Москву, чтобы погромить «левых коммунистов», протестовавших против Брестских соглашений; 6 марта вернулся в Петроград, чтобы поддержать Ленина в словопрениях на VII съезде партии; 10 марта специальным поездом ВЦИК прибыл в Москву, чтобы обосноваться в ней навсегда. Вечером 11 марта специальный эшелон Совнаркома доставил в новую столицу Ленина. И только Троцкий задержался в Петрограде до 13 марта, «чтобы смягчить впечатление от разжалованья столицы».[34]]

В семейной жизни Я.М., по-видимому, был счастлив: жена, старше его лет на 5, на 7, очень любила его, сам же он боготворил своих маленьких детей, купал их сам, укладывал спать и возился с ними в свободные минуты. Отец, брат

и две сестры относились к нему с любовью и очень большим уважением. Это заслуживает внимания, потому что все они не принадлежали к партии коммунистов и так или иначе потерпели от революции. Так, например, отец, мелкий типограф, лишился типографии, составлявшей все его имущество; сестра, бывшая замужем за богатым коммерсантом в Харькове или Екатеринославе, потеряла в зависимости от революций все состояние; брат, бывший директором вагоностроительного завода в Америке, тоже не имел здесь, в Москве, ничего за душой. Казалось, что у семьи должно было существовать по отношению к нему, как видному члену партии, виновной в их разорении, известное чувство обиды, если не неприязни, но я этого абсолютно не мог подметить и видел их искреннее горе, когда он умер.

Для меня Я.М. представлял бы совершенно цельный тип, если бы не некоторые мелочи его обстановки жизни, которые меня сильно смущали. Я не говорю о хорошей квартире, которую он занимал, и об обстановке — это была обычная казенная обстановка кавалерского корпуса в Кремле; меня смущали питание его и его семьи и прислуга, услугами которой они пользовались. В настоящее время, когда многое из коммунистической программы уж не имеет места в жизни, когда мы видим целый ряд компромиссов, я, конечно, не обратил бы внимание на эти мелочи, но мое знакомство с Свердловым относится к началу 1919 года, когда, во-первых, население Москвы сильно голодало и на улице часто встречались опухшие от голода лица, а во-вторых, в декретах проводились еще чрезвычайно строгие коммунистические принципы и шла борьба с буржуазными привычками.

[Романтическая вуаль суровой героики исправно скрывала от последующих поколений окаменевшее лицо голода и разрухи в период военного коммунизма, но правящий слой знал, как расплачивались их подданные за светлое будущее вождей. Особенно тяжелая ситуация сложилась в «колыбели трех революций»: в разгаре лета 1918 года петроградский комиссариат продовольствия выдавал по карточкам ответственным работникам (лица I категории) до 1/2 фунта хлеба в день, а интеллигенции (лица IV категории) — не более 1/8 фунта хлеба, порой заменяя его селедкой. В городские больницы все чаще поступали «больные от голода» — преимущественно люди, падающие от истощения на улицах.[35]

На заседании ЦК РКП(б) 13 апреля 1919 года петроградский диктатор Зиновьев проинформировал самых ответственных товарищей о катастрофическом положении рабочих в бывшей столице: их реальная заработная плата упала на 30 %, а смертность от голода в больницах составила 33 %.[36] Надо сказать, что констатация бедствий петроградского пролетариата на здоровье самого Зиновьева не отразилась. Получив на кормление всю Северную Коммуну, он, худой и почти стройный в эмиграции, за несколько месяцев своего воеводства после Брестского мира разъелся так, что городские обыватели наградили его прозвищем «ромовая баба».]

Бывая у Свердлова в разное время дня, я мог констатировать, что семья его питалась не только хорошо, но лучше, чем в мирное время питался обыватель среднего достатка: к утреннему чаю подавался белый хлеб, масло, икра, сыр или ветчина, а вечером я видел на столе яблоки, груши и виноград. Обед был сытный с обильным количеством редкого в то время мяса.

Для личных услуг у Свердловых было три лица: бывший дворцовый лакей, кстати сказать, производивший курьезное впечатление своей серой курткой и светлыми пуговицами с орлами среди коммунистических косовороток и кожаных курток, затем какая-то женщина — горничная или кухарка — и бонна при детях.

Этот обильный стол и прислуга как-то не вязались со всей остальной фигурой Свердлова, и это меня сбивало с толку, я никак не мог себе объяснить, как мог Свердлов допускать то и другое в своей жизни, с чем он боролся в отношении других.

С тех пор прошло три года. За это время мне пришлось перевидать много коммунистов в их домашней обстановке и могу утверждать, что за исключением, может быть, 4-5 человек все они жили приблизительно так же, как и Свердлов, а между тем это все были идейные люди, много перенесшие раньше за свои убеждения.

Как же примирить это противоречие между теми идеями, которые они проповедовали, и их образом жизни? Я могу дать только одно объяснение. Из бесед с коммунистами я пришел к заключению, что у них существуют две совершенно различные мерки для людей: одна для ответственных советских работников, другая для всех прочих смертных. Первые не должны терпеть ни в чем нужды и должны быть так обставлены, чтобы могли посвящать все свои силы работе в партии, вторые должны воспитываться в духе строгого коммунизма со всеми его лишениями.

Я не разделяю такого взгляда, но если он действительно распространен среди коммунистов, а подтверждение этого мы видели в целом ряде декретов последних годов, дающих те или иные льготы и преимущества нужным государству людям, то ставить в вину Я.М. Свердлову его условия жизни не приходится и Свердлов мне рисуется одним из самых ярких, цельных типов большевиков».[37]

Маски фатальной болезни

Известие о внезапной смерти Свердлова, наступившей 16 марта 1919 года в 16 часов 55 минут, ошеломило соратников, ибо до этого рокового дня председатель ВЦИК отличался несокрушимым, казалось бы, здоровьем. В начале октября 1918 года он перенес, как будто, легкое простудное заболевание, но с тех пор спал не больше пяти часов в сутки, зимой щеголял в легком пальто и от предложения отдохнуть отмахивался со словами: *«Пустое Вы же знаете, что я не устаю и не болею».*[38] В необычайной крепости его духа и тела никто не сомневался с тех пор, как в 1911 году он собрался бежать из Нарымского края в сентябре, когда сибирские реки уже покрывались салом. Вертлявая лодка перевернулась, и Свердлова, успевшего ухватиться за ее борт, пронесло в ледяной воде Оби около трех верст, но стоило местным рыбакам вытащить его на берег и отогреть у костра, как к нему вернулись привычная бодрость и отменное самочувствие.[39]

Вечером 16 марта тело покойного забальзамировали и перевезли в Колонный зал Дома Союзов, а члены ЦК РКП(б) обсудили неожиданно возникшие проблемы государственного управления и пришли к соглашению о необходимости радикально изменить («переорганизовать») деятельность ВЦИК.[40]

Утром 17 марта ЦК РКП(б) собрался вновь, дабы «вырешить способ увековечения» Свердлова и утвердить церемониалы намеченных на завтрашний день и похорон, и очередного партийного съезда. Без особых дебатов сподвижники постановили: назвать Театральную площадь именем Свердлова и украсить ее памятником почившему, ассигновав для этого один миллион рублей; отменить завтра все концерты, театральные и цирковые представления и даже митинги в честь Парижской коммуны; поручить Зиновьеву прочитать на съезде доклад по организационным вопросам, а Новгородцевой, вдове усопшего, подготовить и передать ему и Ленину соответствующие материалы.[41]

Пасмурным днем 18 марта председателя ВЦИК похоронили на Кремлевском погосте. Вожди разного ранга произнесли по этому поводу ритуальные бессодержательные речи. Ленин констатировал «практическую трезвость и практическую умелость» покойного, не высказав ни сожаления о его кончине, ни сочувствия вдове.[42] Зато редактор газеты «Беднота» Л.С. Сосновский не забыл похвалить Новгородцеву: *«Ей было некогда, она работала над подготовкой восьмого съезда партии, и только минутами, урывками, между делом она могла отдаться естественной скорби о том, кто был ей дорог как учитель, товарищ, друг и муж»*.[43]

Неубедительной получилась и демонстрация печали в прессе. Центральные газеты старались по обязанности горевать, но, отвлекаясь на врагов и контрреволюционеров, сбивались по привычке на брань. Военная же печать изыскала возможность для лаконичного сухого сообщения о «безвременной кончине» главы государства лишь на второй день после его захоронения.[44]

Через сутки после поминальных хлопот в Кремле прослышали о бедственном положении семьи покойного. Так, в частности, у его отца реквизировали почему-то мастерскую по изготовлению печатей, на устройство которой он израсходовал 60 тысяч рублей (откуда он взял эти деньги, вождей не заинтересовало). На специальном заседании ЦК РКП(б) 20 марта было решено в коллизии с отцом Свердлова разобраться в рабочем порядке, а семье помочь материально: из фондов ЦК и ВЦИК выделить единовременно пять тысяч рублей, а затем выдавать ежемесячно по две тысячи рублей на каждого ребенка до его совершеннолетия.[45]

Тем времени с мест стали поступать в правительство единичные однотипные отклики на смерть председателя ВЦИК: *«Он умер, но его идеи живы»; «хоть старая гвардия редеет, мы их дело докончим»; «в ответ на преждевременную кончину лучшего сотрудника всемирной революции сомкнем свои ряды железными кольцами»*.[46] Отдельные корреспонденты украшали свои напыщенные послания выражением сочувствия Ленину и Троцкому. Диссонансом звучало лишь донесение одного большевика, уведомлявшего редакцию газеты «Правда» о возмутительных пересудах московских обывателей. Не понимая, почему тело председателя ВЦИК предано земле без вскрытия, они подозревали, что его отравили. Тягостные сомнения одолевали и самого автора этого письма, из-за чего он обращался к редакции с вопросом: *«А кто может поручиться за то, что врагами трудового народа не распространяются злоумышленно тифозные и другие микробы среди рабочего класса?»*.[47]

Скоропостижная смерть Свердлова в возрасте 33 лет не могла не возбудить множество недостоверных слухов и толкований. Их разноречивость усу-

гублялась прежде всего в связи с погребением умершего без проведения патологоанатомического исследования.

Эмигранты считали, что он скончался не то от тифа, не то «от руки рабочего».[48] Если для первой версии имелись хотя бы основания в виде небывалой эпидемии сыпного и возвратного тифов, опустошавших Москву в марте 1919 года, но не проникших за Кремлевские стены, то вторая гипотеза представляла собой лишь слегка просветленный временем домысел, бессильное стремление выдать желаемое за действительное. Впрочем, у легенды об убийстве Свердлова то ли на городском митинге, то ли на одном из московских заводов была все-таки своеобразная корневая система. Ровно год назад революционные моряки, возглавляемые наркомом по морским делам П.Е. Дыбенко, безуспешно покушались на жизнь председателя ВЦИК, что послужило причиной специального заседания коллегии ВЧК 21 марта 1918 года.[49] Обиженный на чекистов Дыбенко обращался затем в инстанции, требуя привлечь Свердлова к суду «за превышение власти», но наркомат юстиции оставил это заявление без удовлетворения.[50]

Большевики с долголетним тюремным стажем предпочитали апокрифическую фабулу легочного туберкулеза, полагая, очевидно, неприличным для покойного, к тому же курившего давно, много и с удовольствием, не приобрести грудную болезнь после всех его арестов и ссылок. Отсутствие медицинского образования отнюдь не помешало бывшим сокамерникам председателя ВЦИК обнаружить у него «все признаки туберкулеза» аж в 1907 году, а через 12 лет восклицать: *«Его стальную грудь давно подтачивал скрытый недуг»*.[51]

Несовершенство этой аргументации не смогло исправить и обращение к медицинской документации прошлого. В первой половине 1911 года некий полицейский врач отметил у арестованного Свердлова деформацию грудной клетки вследствие перенесенного в детстве рахита (так называемую куриную грудь). Сопоставив этот изъян с жалобами заключенного на кашель, кровохарканье и потливость по ночам, он высказался в пользу легочного туберкулеза (спустя много лет советские фтизиатры предложили для подобных ситуаций достаточно точную формулировку: *«Маленькая чахотка— полезная находка»*).По завершении врачебного осмотра Свердлов написал прошение о замене ссылки в Сибирь разрешением выехать за границу для лечения.[52] Получив отказ, пламенный революционер напрочь забыл о кашле и кровохарканье, в том же году проплавал в замерзающей Оби около двух часов, даже не простудившись, и с тех пор не видел необходимости обращаться за медицинской помощью (как говорил незабвенный Чичиков, *«зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай»*).

Помимо традиционного для настоящего большевика туберкулеза, среди сподвижников покойного неплохо котировался еще один рутинный в те годы, хоть и совсем косноязычный, диагноз: застудился, дескать, Свердлов 7 марта в Орле и вскоре «сломался» из-за истощения и переутомления. Не сломался, а «сгорел на работе по строительству партии и государства», внес поправку И.В. Сталин. Да, сгорел, но от воспаления легких, уточнил бывший «левый коммунист», а затем несгибаемый сталинский клеврет Е.М. Ярославский.[53]

В пятницу 7 марта поезд председателя ВЦИК прибыл в Орел из Харькова к обеду. Чтобы потрафить начальнику державы, местные власти объявили в

тот день праздник по случаю основания Коминтерна и собрали митинг в железнодорожных мастерских. Свердлов отрядил туда агитаторов, потом, не утерпев, забежал сам, пробасил короткую зажигательную речь и вернулся в свой вагон охрипшим.[54] К вечеру 8 марта он приехал в Москву и, несмотря на недомогание, провел совещание Президиума ВЦИК и подписал «Положение об особых отрядах при ВЧК».[55] С этого дня его уже не отпускала лихорадка с повышением температуры тела до 39-40°С. И все-таки утром 9 марта он, как всегда, занимался делами в своем служебном кабинете, а вечером заседал то в Совнаркоме, то в Президиуме ВЦИК.[56]

В ночь на 10 марта Новгородцева проинформировала Ленина о болезни мужа, заодно переслав вождю, как припоминала она впоследствии, несколько документов, с которыми председатель ВЦИК хотел срочно ознакомить председателя Совнаркома. В действительности, как следовало из ее сопроводительной записки, речь шла лишь об одной важной бумаге, составленной Г.Д. Заксом — заведующим отделом ВЧК по борьбе с должностными преступлениями, то есть, по сути, начальником службы внутренней безопасности. Поскольку копии у Свердлова не осталось, она просила вождя возвратить письмо (скорее всего рапорт) Закса председателю ВЦИК.[57] Неизвестно, какие сведения содержались в этом документе, не сохранившемся в личном фонде Свердлова, и как отреагировал на них вождь. Не исключено, что его внимание временно переключилось на другие проблемы, так как 10 марта в Петрограде умер от сыпного тифа муж его старшей сестры М.Т. Елизаров; 11 марта вождь отправился на похороны зятя и только утром 14 марта вновь очутился в Москве.[58]

Между тем к Свердлову пригласили Гетье, и больной начал выполнять какие-то врачебные рекомендации, не выпуская из рук тяжелый штурвал государственной власти. Он просматривал поступающие телеграммы, подписывал постановления ВЦИК, а 12 марта провел заседание Оргбюро, на котором решил мимоходом вопросы «перераспределения» сотрудников ВЧК.[59] Самочувствие его, однако, не улучшалось, и 14 марта Пленум ЦК РКП(б) постановил: на период предстоящего съезда и болезни Свердлова «усилить» Бюро ЦК партии Г.Я. Сокольниковым и Е.Д. Стасовой.[60]

В субботу 15 марта Свердлов разговаривал по телефону с Лениным и даже обещал вождю скоро поправиться, потом присутствовал на заседании Президиума ВЦИК, а ночью, по словам секретаря ВЦИК В.А. Аванесова, участвовал в работе Совнаркома.[61] Его по-прежнему трепала лихорадка, но уложить его в постель удалось лишь после того, как температура тела повысилась до 40°С. Тем не менее воспалительный процесс в легких 15 марта как будто не определялся. Родственники и соратники, толпившиеся в квартире, надеялись на скорое выздоровление Свердлова, но утром 16 марта их поразило необычное возбуждение больного. Он непрестанно твердил что-то о наступающем съезде партии, укорял «левых коммунистов», якобы укравших у него какие-то резолюции, и просил поискать эти бумаги под его кроватью. Аванесов и жена больного расценили его поведение как проявление бреда и галлюцинаций.[62]

За полчаса до смерти Свердлова посетил Ленин. О чем они говорили, окружающие то ли не услышали, то ли не хотели вспоминать. Аванесову показалось, что больной скончался через четверть часа после того, как вождь покинул квар-

тиру председателя ВЦИК; по словам Бонч-Бруевича, Свердлов сначала что-то объяснял Ленину, потом затих, сжал его руку и умер.[63] Хоть мемуары Бонч-Бруевича никогда не заслуживали доверия, на этот раз он, похоже, лишнего не примыслил, так как Ленин, расставшись с председателем ВЦИК и зайдя в свой кабинет, сразу же уведомил по телефону Троцкого о кончине соправителя.[64]

На следующий день лишь одна московская газета, выходившая небольшим тиражом, опубликовала официальное медицинское сообщение о смерти Свердлова. Во вторник 18 марта только одна «Петроградская правда» перепечатала это заключение:

«Яков Михайлович Свердлов заболел 7 марта, простудившись на митинге в Орле. Первые дни, хотя температура доходила временами до 40°, кроме катара верхних дыхательных путей — насморка, кашля и легкой ангины, — ничего не отмечалось, и общее состояние было вполне удовлетворительно, так что все внушало надежду на то, что дело ограничится простой инфлюэнцей. Но в ночь с 10 на 11 марта температура, начавшая уже опускаться, вновь поднялась до 40,3°, и на следующее утро появился воспалительный фокус в правом легком. Начиная с этого дня, болезнь приняла очень тяжелое течение: воспаление, быстро распространяясь, заняло всю нижнюю и часть верхней доли правого легкого, а затем перешло на левое легкое, постепенно занимая все большую и большую поверхность. Одновременно с развитием воспаления стали быстро падать силы больного, появились бред, сопровождающийся галлюцинациями, беспокойное состояние, бессонница, и болезнь приняла форму тяжелого геморрагического воспаления легких, или так называемой испанской болезни. 14 марта сердце, все время работавшее вполне удовлетворительно, начало слабеть: пульс стал слабее и чаще, дыхание участилось, появилась синюха губ и ногтей. Пущенный в ход весь арсенал сердечных средств мало достигал цели, улучшая лишь на короткое время сердечную деятельность, и 16 марта в 4 часа 55 минут дня Яков Михайлович скончался при явлениях паралича дыхательных центров и слабости сердца.

Главный доктор Солдатёнковской больницы Ф.А.Гетье».[65]

Испанской болезнью, или просто испанкой, именовали в те годы гриппозную эпидемию. Вспыхнув в Испании весной 1918 года, пандемия гриппа с клинической картиной, напоминающей легочную чуму или поражение боевыми отравляющими веществами типа фосгена, переместилась к лету в Центральную Европу, а осенью достигла Украины и России. Невзгоды и лишения военного коммунизма превратили испанку в подлинное стихийное бедствие. Зимой 1919 года эпидемия испанки в Москве пошла на убыль, словно вытесняемая другими инфекциями. С марта 1919 года в столице бушевали натуральная оспа и сыпной тиф; испанкой же болели единицы преимущественно в Лефортове, на Пречистенке и в селе Богородском.[66]

Свой грипп Свердлов подхватил, вероятно, в Орле, но это — чуть ли не единственное положение официального медицинского сообщения, не вызывающее особых сомнений. В остальном же информация Гетье, напечатанная так, чтобы она стала известной минимальному кругу читателей, порождала множество вопросов.

Согласно мемуарам Новгородцевой, к заболевшему Свердлову пригласили двух «крупнейших специалистов»; их фамилии она не назвала. Гетье, в свою

очередь, ни словом не обмолвился о втором враче ни в своих записках, ни в официальном заключении о смерти председателя ВЦИК. По воспоминаниям одного из сподвижников покойного, его лечением занимался только Гетье.[67] Второй «крупнейший специалист» существовал, должно быть, лишь в воображении Новгородцевой. Почему же тогда неизменно осторожный Гетье нарушил врачебные традиции и ни разу не сóбрал консилиум у постели умирающего председателя ВЦИК? Или ему по высшим конспиративным соображениям запретили советоваться с коллегами?

Еще в сентябре 1918 года по указанию Ленина в Кремле «организовали» некое подобие стационара с амбулаторией для руководящих партийных кадров. В феврале 1919 года Свердлов и Ленин распорядились о создании санитарного управления Кремля, а 11 марта того же года на заседании Малого Совнаркома обсуждался вопрос о передаче Кремлевской амбулатории и приемного покоя при ней в ведение управления делами Совнаркома.[68] Почему же крайне осмотрительный Гетье пошел на ничем не аргументированный риск лечения своего пациента на дому и не настоял на его переводе если не к себе в Солдатёнковскую больницу, то хотя бы приемный покой при Кремлевской амбулатории? Или высокие инстанции сочли нецелесообразной госпитализацию погибающего председателя ВЦИК?

Соответственно официальному медицинскому заключению, массивная гриппозная пневмония с вовлечением в патологический процесс почти всего правого, а затем и левого легкого выявилась у больного не то 11, не то 12 марта. Столь обширное воспаление легких не могло не сопровождаться очень тяжелой одышкой, а в связи с гриппозным характером поражения — еще и кровохарканьем. Как же удалось больному с такой одышкой и кровохарканьем вести заседания то Оргбюро, то Президиума ВЦИК, да к тому же участвовать в работе Совнаркома поздним вечером 15 марта? Как он вообще сумел выбраться из постели? И на каком основании у окружающих, по рассказу Аванесова, сложилось впечатление, будто 15 марта воспалительный процесс в легких не определялся? Не имея медицинского образования, они могли ориентироваться только на мнение лечащего врача. Неужели Гетье не распознал пневмонию за сутки до смерти больного? Или он поставил диагноз своевременно, но продолжал обнадеживать близких и соратников умирающего до последнего дня?

Из того же официального врачебного заключения, составленного Гетье, следовало, что бред и галлюцинации возникли у больного одновременно с развитием легочной патологии, а 14 марта наступило фактически преагональное состояние. Но агонизирующий больной с грубыми психическими расстройствами не мог заниматься государственными делами, готовить резолюции к партийному съезду, подписывать новые декреты и беседовать с вождем мирового пролетариата. В таком случае напрашивается вывод: Свердлов, вполне возможно, действительно болел испанкой, но причину его смерти Гетье утаил.

Двуликий вождь

Последнее свидание председателя Совнаркома и председателя ВЦИК соратников скорее удивило, чем растрогало, ибо эта встреча плохо вязалась с характером вождя мирового пролетариата. Древняя заповедь любви к ближне-

му всегда оставалась для Ленина такой же тарабарщиной, как, например, пиктография ацтеков или шумерская клинопись, и даже единоверцев он рассматривал по сути лишь как средство достижения своих целей. Его харизме, составленной из неукротимой воли, всесокрушающей энергии и фанатичной веры в социальную утопию и собственное предназначение, соответствовали высокомерное презрение, рациональная злоба и леденящая ненависть ко всем инакомыслящим и, тем более, противодействующим его установкам, но никак не жалость, сострадание и терпимость к людям.

Мысль о своей исторической миссии запала ему в голову в бесконечно далекой юности и тогда же кристаллизовалась в пожизненную фиксированную идею. *«Поражает то,* — писал в 1933 году Зиновьев, — *что уже 25-летний Ленин чувствует себя вождем (в лучшем смысле слова) рабочего класса и партии».*[69] Какое содержание вкладывал Зиновьев в свое определение вождей в лучшем и худшем смысле слова, не выяснить, видимо, никогда, что, впрочем, особого значения не имеет, — гораздо важнее его констатация ленинских притязаний, слегка напоминающих стойкие идеи величия.

Социал-демократов первого призыва шокировали, однако, свойственные еще и не Ленину вовсе, а Владимиру Ульянову резкость, грубость, аскетическая потребность в бичевании окружающих, «невыносимо плебейские» издевки над оппонентами, пренебрежение к различным проявлениям человеческого духа и творчества и постоянная готовность охаивать «мещанское» искусство и «буржуазную» философию. Особенно неприятное впечатление производили его монологи. Его мысли, облицованные гранитными плитами марксистских догм, текли ручьями холодной политической жестокости и отвлеченной социальной ненависти, одновременно интеллектуальной и брутальной.[70]

Он и сам не заметил, как украл у себя молодость и в свои 23-25 лет стал выглядеть на все 40: серое поблекшее лицо, желтенькая бородка, хитроватые кабаньи глазки, исподлобья буравящие собеседника, плешивый череп со скудной растительностью на висках. Однажды в эмиграции совсем еще несмышленая дочь старого большевика П.Н.Лепешинского ошеломила Ленина вопросом: *«Почему это, дядя Ильич, у всех человеков одно лицо, а у тебя два: одно спереди, другое сзади?».* Вождь принужденно рассмеялся, смущенные соратники после некоторого раздумья постановили: считать неуместную реплику ребенка, принявшего лысину вождя за его второе лицо, проявлением младенческой непосредственности.[71]

Образ вождя нередко ассоциировался у современников с наружностью не то заурядного торговца из какой-нибудь северной губернии, не то просто приказчика мучного лабаза.[72] Да только товар его был, как выражались позднее, судьбоносный, а товарищи отличались авантюризмом окраинных подростков. В предреволюционном пространстве он сосуществовал с ними не душа в душу, а «голова в голову», так как обнаружить у него душу никому не удавалось. Кардинальную особенность его натуры четко определил А.А. Богданов — человек, слишком хорошо знакомый с Лениным, — еще в 1914 году: *«Кроме беспринципности в выборе средств, у него есть более глубокая черта расхождения с новой культурой. Это его авторитаризм. Я говорю не просто о грубой властности характера— недостатке,который может быть уравновешен и исправ-*

лен влиянием товарищеской среды. Я имею в виду самый способ мышления».[73] Не случайно, наверное, В.И. Засулич, стрелявшая в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова в 1878 году, когда банальный детский вздор будущего вождя еще не выходил за пределы семейного круга, испытывала к Ленину антипатию, граничащую с физическим отвращением.[74]

Неприязнь выдающейся революционерки его, должно быть, задевала. Однако вождь постепенно приучился контролировать свои реакции и прятать от окружающих свои чувства. Такая выдержка объяснялась, по мнению его младшей сестры, интересами дела, доминирующими в сознании вождя: *«Он очень хорошо умел скрывать, не выявлять отношения к людям, когда считал это почему-то более целесообразным. Я помню, как он скрывался в своей комнате, закрывал за собой дверь, когда в нашей квартире появлялся один служащий ВЦИКа, которого он не переваривал. Он точно боялся встретиться с ним, боялся, что ему не удастся сдержать себя и его действительное отношение к этому человеку проявится в резкой форме. <> Дело было для него на первом плане, личное он умел подчинять интересам дела, и никогда это личное не выпирало и не превалировало у него».*[75]

Ленин никогда не забывал, что он — вождь, поэтому все человеческое было ему чуждо. Любой индивид имел для него лишь утилитарную ценность, так что погибающий сподвижник представлял собою всего лишь ветхое казенное имущество, подлежащее списанию и замене. Любая, пусть даже паршивая, но еще подвижная собака всегда была для вождя полезнее мертвого льва. К тому же председатель ВЦИК походил не столько на царя зверей, сколько на камышового кота в засаде. Оснований же для такого рода ассоциаций за последние полгода вождь мирового пролетариата накопил предостаточно.

Облик соперника

В разночастотном шуме экстремальных событий, захлестнувших страну весной 1918 года, неслышно и неприметно, как бы сама собой произошла неожиданная мутация партийно-государственной карьеры Свердлова, фактически разделившего с Лениным бразды правления. Большевики по-прежнему поклонялись председателю Совнаркома как мастеру политических схем, но с чисто деловыми вопросами предпочитали обращаться к председателю ВЦИК — «знатоку организационной арифметики».[76] Да и сам Ленин при практических затруднениях нередко предлагал соратникам «столковаться» со Свердловым. После внезапной кончины председателя ВЦИК эти непривычные для недавних подпольщиков взаимоотношения двух вождей нашли отражение в траурных откровениях Луначарского: *«Товарищ Ленин настолько ценил покойного Свердлова, что не предпринимал ни одной решительной меры, не посоветовавшись с ним. Даже в экстренных случаях».*[77]

Уже в середине апреля 1918 года московские большевики уведомили Петроградское бюро ЦК РКП(б), что «существование ЦК тяготит Ленина», а ВЦИК «стал фикцией, не собирается и его мнений никто не запрашивает».[78] В марте 1919 года это положение подтвердили делегаты VIII съезда партии.[79]

Действительно, к лету 1918 года вся верховная власть в стране сосредоточилась в руках Ленина и Свердлова, а так называемое коллективное руковод-

ство государством и партией свелось фактически к единоличным указаниям того или другого повелителя. Однако Ленин облекал, как правило, собственные решения в форму постановлений Совнаркома, тогда как Свердлов, повсюду таскавший с собою портфель с бланками и печатями ВЦИК и ЦК РКП(б), сам писал свои распоряжения на том или ином бланке и сам же скреплял их соответствующей печатью.[80] Какие-либо признаки соперничества между соправителями не бросались в глаза сподвижникам, и только Троцкий отметил впоследствии определенные «трения» между Лениным и Свердловым, пытавшимся придать Президиуму ВЦИК «политическое значение».[81]

Первую искру для разжигания ленинской подозрительности председатель ВЦИК высек 30 августа 1918 года, когда вождя мирового пролетариата доставили в Кремль с двумя огнестрельными ранениями и большевики не знали, дотянет ли он до утра. В тот вечер Свердлов не примчался к раненому со словами соболезнования, а поторопился занять ленинский кабинет. Там он провел всю ночь, за исключением краткой инспекционной поездки на Лубянку к Петерсу; там он принимал сводки врачей, дежуривших около раненого; оттуда же периодически сообщал Зиновьеву в Смольный, что роковой конец пока откладывается.[82] Присущая Свердлову невозмутимость ночью его покинула, и с каждым телефонным звонком в Петроград его бас вибрировал все более взволнованно.[83]

К утру 31 августа он подавил ночное возбуждение, поручил самому себе временно исполнять обязанности председателя Совнаркома и предстал перед соратниками в своей стандартной форме — бодрым, собранным и непреклонным. Таким и хотели видеть хозяина растерзанной страны ее наркомы, обученные совещаться подолгу, но самостоятельных решений не принимать. Под новым руководством заседания Совнаркома покатились по привычному графику, о чем Свердлов не преминул уведомить Бонч-Бруевича: *«Вот, и без Владимира Ильича мы все-таки справляемся»*.[84]

Ежедневно с 31 августа по 5 сентября председатель ВЦИК несколько часов проводил в ленинском кабинете: разбирал бумаги вождя, вникал в его корреспонденцию, готовил необходимые указания.[85] По утверждению коменданта Кремля П.Д. Малькова, *«никогда до этого, никогда после этого, ни при жизни Ленина, ни после его смерти, ни один человек, кроме Свердлова, в кабинете Ленина не работал»*.[86] Только 6 сентября вождь мирового пролетариата сумел заново водвориться в собственном кабинете. Столь беззастенчивое вмешательство в тайны своей переписки и, вполне вероятно, в какие-то иные секреты Ленин не мог ни забыть, ни простить.

Вождь всегда отличался поразительной скрытностью. Теперь же, во всяком случае пока продолжалось расследование всех обстоятельств покушения на его жизнь, он стал еще более сдержанным по отношению к сподвижникам и, прежде всего, к соправителю, бесцеремонно содравшему ставни с наглухо закрытых окон его внутреннего распорядка. В первой половине сентября к раненому вождю, по словам Малькова, никого не пускали, в том числе Свердлова; приступив к делам, Ленин пригласил к себе, в первую очередь, не председателя ВЦИК, а коменданта Кремля.[87] Можно не сомневаться, что тот выложил Ленину все подробности о роли Петерса и Свердлова в судьбе Фанни Каплан,

необъяснимый расстрел которой, обрывающий чуть ли не самую важную нить только что начатого следствия, должен был еще более насторожить вождя.

Той же осенью 1918 года вождь мирового пролетариата получил новый набор негативных впечатлений. Только успел он обосноваться в своей подмосковной резиденции Горки, куда прибыл 25 сентября для непродолжительного отдыха, как 27 сентября Свердлов прислал фельдъегеря за ключами от ленинской квартиры в связи с возникшей вдруг необходимостью исправить в ней электропроводку.[88] Заодно председатель ВЦИК растолковал Малькову, настолько полезен свежий осенний воздух для полноценной поправки вождя. Когда комендант Кремля уловил лечебную важность дачной атмосферы, Свердлов поручил ему максимально затянуть мелкий ремонт в ленинской квартире, а самого вождя укрыть за городом так тщательно, чтобы даже члены ЦК партии не догадались, где он находится. Такую секретность (в сущности неполную изоляцию вождя) Мальков комментировал впоследствии просто: *«Эсеры продолжали, так сказать, охотиться за Владимиром Ильичом, по этому поводу имелись документы в ЧК»*.[89]

Практически здоровому вождю не довелось даже, несмотря на его просьбы, 3 октября выступить перед единомышленниками с небольшой речью о революционном брожении в Германии, — под предлогом его болезни Свердлов отказался выслать за ним автомобиль.[90] Вечером 3 октября, когда столь значимое для вождя собрание окончилось, Свердлов продиктовал своей жене несколько слов для Ленина: *«Не могу сам писать, потому что испанка опять уложила в постель»*.[91] Неизвестно, заболел ли он на самом деле или предпринял всего лишь своеобразную попытку самооправдания, разыгрывая тяжкий недуг. Через три дня Свердлов уже сам написал Ленину: *«Хворает у нас публика основательно. При таких условиях необходимо Вам возможно дольше задержаться на даче»*.[92]

В целях оптимальной конспирации ленинской резиденции охранявшим ее латышским стрелкам строго наказали не подпускать вождя к телефону. Судя по бесхитростным воспоминаниям одного из бывших телохранителей, стража исполняла это изустное распоряжение спустя рукава: *«Однажды поздно вечером, когда я дежурил у телефона, в комнатку вошел Ленин и попросил разрешения поговорить по телефону. Хотя это ему и было запрещено, я не возражал. Ленин, насколько я понял, говорил с председателем Московского губернского Совета. Он корректировал проект постановления Совета по крестьянскому вопросу, рекомендовал кое-где дополнить его, изменить некоторые выражения. Окончив разговор, Ленин поблагодарил меня за разрешение и, улыбаясь, добавил: «Не так уж много я нагрешил, ничего плохого не сказал!». Пожелав спокойной ночи, он вышел»*.[93]

Жесткому контролю подверглись и редкие, обычно короткие, визиты к Ленину наиболее ответственных товарищей. Когда Свердлов привозил того или иного соратника в Горки, слегка осунувшийся вождь охотно беседовал о политике и демонстративно пропускал мимо ушей все вопросы о недавнем покушении и своем нынешнем самочувствии.[94] Подчеркнутое нежелание Ленина обсуждать эти темы, особенно в присутствии Свердлова, выходило за рамки присущей ему скрытности, но лишь однажды раздражение вождя проявилось открыто. В последний день опостылевшего трехнедельного отпуска он излил свою

досаду на голову коменданта Кремля: *«Дипломат вы, товарищ Мальков, никудышный! Ремонт в Кремле уже два дня как закончен, я это выяснил Завтра же я возвращаюсь в Москву и приступаю к работе. Да, да. Завтра. Передайте, между прочим, об этом Якову Михайловичу. Я ведь знаю, кто вас инструктирует».*[95]

В последующие пять месяцев Свердлов все более настойчиво тянул на себя тогу диктатора. Сухость и немногословие председателя ВЦИК лишь оттеняли его властные претензии и способствовали повышению его авторитета среди соратников. В нем видели бесспорного лидера, человека точного политического расчета, «организатора, передвигающего шахматные фигуры на доске партии».[96] Он пользовался безоговорочной поддержкой мощного клана уральских большевиков; легкий холодок в их отношении к нему после Брестского мира бесследно растаял после расстрела царской семьи.[97] В ноябре 1918 года боевые товарищи обсуждали с ним не совсем уместный в то время, но очень волновавший их вопрос: кто заменит Ленина? Свердлов отвечал осторожно: *«Дело это весьма трудное. Ильича сможет заменить только коллектив нашей партии, а лиц, ему равных, мы не найдем. Вся штука теперь в том, чтобы партия была едина. Твердое ядро имеется, значит, оно и будет руководить».*[98]

Консолидацией этого твердого партийного ядра Свердлов занимался непрестанно, отчетливо сознавая, что его кадры способны решить все, а он — в качестве высшего начальника всех советских и партийных кадров — уполномочен решать за всех. Суровая партийная дисциплина с ее по существу военной субординацией служила ему тем рычагом, которого не хватало Архимеду, чтобы перевернуть мир. Обладая реально огромной властью, он старался, однако, не ущемлять самолюбие руководителей силовых структур.

Он заигрывал с Троцким, повелительно вмешиваясь в конфликты между вождем Красной Армии и удельными воеводами, еще не усвоившими, что приказы из центра обсуждению не подлежат и «все решения Реввоенсовета обязательны для военных советов фронтов»; нарком же по военным делам с признательностью принимал рекомендации секретаря ЦК РКП(б) по назначению тех или иных «дельных работников» на командные должности.[99] Особой заботой окружал председатель ВЦИК Дзержинского, даже «устроил» ему в октябре 1918 года месячный отпуск в Швейцарии, где пребывала семья председателя ВЧК.[100] Прочные деловые контакты установились у Свердлова и с заместителем председателя ВЧК Петерсом. Один только нарком по внутренним делам Г.И. Петровский держался с председателем ВЦИК строго официально, а Петерса публично обвинял в стремлении учредить гегемонию ВЧК над советской властью.[101]

Еще летом 1918 года шаткое положение советской власти побудило большевиков задуматься о возможности перехода в подполье. Освежив в памяти весь свой предшествующий опыт заговорщика и экстремиста, Свердлов открыл специальные курсы для повышения квалификации бывших боевиков и обучения новообращенных коммунистов всем видам нелегальной деятельности. О своей безопасности он тоже не забыл и 27 августа, за три дня до покушения на Ленина, выписал самому себе официальное удостоверение на право ношения и хранения огнестрельного и холодного оружия «всякого рода», скрепив этот мандат собственной подписью и печатью Президиума ВЦИК.[102]

Тем же летом большевики принялись за фабрикацию различных документов (в первую очередь, паспортов) для будущих подпольщиков и экстренное производство бумажных купюр дореволюционного образца. Миллионы (если не миллиарды) этих де-факто фальшивых рублей они собирались, по-видимому, всучить германскому правительству в счет контрибуции; часть же срочно напечатанных денег зарыли в оцинкованных ящиках под Петроградом.[103]

С той поры в сейфе Свердлова, обнаруженном на инвентарном складе коменданта Кремля и вскрытом только в 1935 году, хранились 750 тысяч рублей в кредитных билетах царского времени, семь чистых паспортных бланков и семь паспортов, заполненных на разные имена. Кроме того, председатель ВЦИК держал в своем несгораемом шкафу золотые монеты дореволюционной чеканки на сумму 108525 некогда полновесных рублей и 705 золотых изделий, многие из которых были с драгоценными камнями.[104] Кому принадлежало это золото раньше и сколько промежуточных хозяев сменило оно до того, как попало в руки председателя ВЦИК, позаимствовал ли его Свердлов из партийной кассы или заполнял свой сейф совместно с Петерсом из неучтенных фондов ВЧК, вряд ли удастся когда-нибудь выяснить. Можно лишь констатировать, что председатель ВЦИК тщательно готовился к любому варианту развития событий вплоть до ухода в подполье или бегства за границу.[105]

Надо полагать, что в кабинете Свердлова стоял еще один сейф, где лежали рабочие документы и деньги на текущие расходы. Известно, например, как, провожая боевых товарищей в Германию, он спокойно вынул из кармана кожаных штанов пакет с валютой и вручил сподвижникам на дорогу 200 тысяч немецких марок, не попросив взамен ни расписки, ни отчета о тратах. Происхождение этих денег у большевиков, отбывающих в зарубежную командировку, интереса не вызвало.[106] Не задавали лишних вопросов и служащие кассы ВЦИК, выписывая 7 декабря 1918 года приходный ордер: *«Получено от тов[арища] Свердлова на хранение 47000 (сорок семь тысяч) немецких марок»*.[107]

Но удовлетвориться даже двумя сейфами Свердлов не мог органически. Состояние покоя его коробило и угнетало, а погоня за призраком верховной власти принуждала соблюдать извечный принцип авантюристов: кто замешкался, тот упустил добычу. В январе 1919 года он, замыслив оригинальный внутрипартийный маневр, сформировал и возглавил трехглавое Организационное бюро (Оргбюро) ЦК РКП(б).

Своим заместителем в Оргбюро Свердлов назначил преданного ему наркома финансов Н.Н. Крестинского — большевика правоверного, чрезвычайно злопамятного и поэтому влиятельного.[108] Второго члена Оргбюро, бывшего санитарного врача М.Ф. Владимирского — человека совершенно никчемного, но неизменно послушного любому начальству — председатель ВЦИК присмотрел себе на скамейке запасных Московского комитета партии.[109] Техническим секретарем (и постоянным участником заседаний Оргбюро) стала, по семейной традиции, жена Свердлова. Основной задачей нового учреждения считалась подготовка мартовского съезда партии; на деле «тройка» выносила постановления по конкретным оперативным вопросам. Наибольшую известность получил циркуляр Оргбюро от 24 января 1919 года о «расказачивании» — массовом расстреле казаков с конфискацией у них всего хлеба.[110]

Когда Оргбюро присвоило себе право вещать и распоряжаться от имени всей партии, не придавая особого значения мнению того или иного члена ЦК РКП(б), председатель ВЦИК задумал многоходовую аппаратную комбинацию. Утром 1 марта он отправился в Харьков на Всеукраинский съезд партии, плавно перешедший в съезд Советов, с четко поставленной целью: задвинуть строптивого наркома по внутренним делам Петровского на пост председателя Всеукраинского ЦИК, чтобы в освободившееся кресло шефа НКВД пересадить Дзержинского якобы «для усиления контроля над ВЧК со стороны НКВД».[111] Этой последней в своей жизни поездке Свердлов придавал настолько важное значение, что перенес открытие VIII съезда РКП(б) с 10 на 17 марта и не присутствовал при рождении в Москве Коминтерна — «могильщика мирового империализма».[112]

Малопонятная, на первый взгляд, интрига, затеянная председателем ВЦИК, сводилась в сущности к элементарному подвоху. Ведь стоило лишь Дзержинскому возглавить НКВД, как Петерс превращался в полновластного хозяина ВЧК, карательное ведомство под его руководством передавалось фактически в подчинение Свердлову, а центр тяжести пролетарской диктатуры смещался из Совнаркома в кабинеты ВЦИК. Такой сценарий выглядел достаточно реальным. Центральная пресса еще в феврале 1919 года сообщила о предстоящей реформе ВЧК и назвала Петерса ее председателем.[113] Углубляя эту псевдореформу, Свердлов занимался «перераспределением сотрудников» под вывеской Оргбюро вплоть до 12 марта.[114] За четыре дня до смерти он командировал в Харьков (может быть, для надзора за своевольным Петровским) небезызвестного чекиста Я.М. Юровского, доказавшего свою преданность коммунистической идее убийством царской семьи.

Не следует предполагать, будто Ленин благодушно взирал на выходки молодого и сметливого напарника по управлению государством. Еще задолго до октябрьского переворота вождь мирового пролетариата выделялся среди единомышленников отнюдь не кротостью и толерантностью, а «инстинктом спортсмена» с неутолимой потребностью первенствовать всюду и всегда — на охоте, за шахматной доской, в дискуссиях и, разумеется, в партии.[115] Когда же он стал «диктатором в лучшем смысле этого слова», по умиленному замечанию Н.И. Бухарина, присущая ему авторитарность достигла поистине чудовищной выразительности. Никому и никогда не собирался он уступать ни крупицу узурпированных полномочий.

Между тем вереница экстраординарных происшествий, начиная с покушения на вождя 30 августа 1918 года и кончая скоропалительной кадровой перетасовкой в марте 1919 года, неумолимо подводила Ленина к мысли о комплоте, созревшем в его окружении. Инициативный и самостоятельный председатель ВЦИК уже отхватил себе изрядную часть ленинской власти и деловито примерялся к оставшейся, что не могло не подталкивать вождя к соответствующим ответным действиям. Неписаные правила непросвещенного деспотизма побуждали его не только сговариваться при необходимости с врагами, но и своевременно избавляться от чересчур активных и честолюбивых соратников. Вот тут-то и подоспела испанка.

Нет смысла ожидать в будущем определенного ответа хоть на какой-нибудь из неизбежных в этой ситуации вопросов: понял ли председатель ВЦИК,

что его планы раскрыты; в чем хотел он убедить вождя, посылая ему в ночь на 10 марта таинственное донесение начальника службы внутренней безопасности ВЧК Закса; какие бумаги пропали у Свердлова за последние дни его жизни; только ли болезнью объяснялось охватившее его 15 марта возбуждение, которое соратники связывали с «расшатанной нервной системой», и что все-таки рассказал он вождю непосредственно перед смертью? Ясно лишь одно: вождь навестил умирающего не из милосердия, а просто потому, что нуждался в информации о каких-то деталях потенциального дворцового переворота.

Надо заметить, что посещение человека, страдающего тяжелым инфекционным заболеванием, шло вразрез с естественным поведением вождя. Жизнеутверждающая способность пожертвовать миллионами сограждан гармонично сочеталась у Ленина с трепетным отношением к собственному здоровью. Одно дело поставить на кон свою страну, а другое — рисковать собой и, очертя голову, встречаться лицом к лицу с грозной испанкой. Ведь только он, избранник судьбы, провидел, как совместить сказку о граде Китеже с доисторическим вариантом вавилонского плена, только его благополучие обеспечивало торжество мировой революции. Родные, сподвижники и, в особенности, Дзержинский постоянно играли на этой струне, запугивая вождя контрреволюцией.[116]

Визит к погибающему от испанки соратнику создавал, казалось бы, угрозу заражения вождя. Но раз это свидание все-таки состоялось, несмотря на дружные заклинания обеспокоенных сановников поберечь себя, значит, вождь либо пренебрег личной безопасностью ради предсмертных откровений председателя ВЦИК, либо знал, что Свердлов умирает не от испанки.

Нелицеприятная польза испанки

Как только недавний соперник угас, побледневший вождь надвинул на лоб кепку и безмолвно направился в свой кабинет.[117] Там он связался по телефону с Троцким и взволнованным глухим голосом произнес всего одно слово: *«Скончался». «Мы подержали еще некоторое время трубки,* — вспоминал впоследствии Троцкий, — *и каждый чувствовал молчание на другом конце телефона».*[118] Вождю Красной Армии незачем было спрашивать: *«Где брат ваш?»*, а вождю мирового пролетариата не было надобности отвечать: *«Не сторож я брату моему»*. Настоящие большевики понимали друг друга без лишних вопросов.

Какими сведениями поделился перед смертью председатель ВЦИК с председателем Совнаркома, так и осталось неизвестным. Каждый свой секрет Ленин возводил на уровень перворазрядной государственной тайны и прятал, как истый скаред. Но сколько бы он ни скряжничал, реакцию вождя на все неприятности, постигшие его за последние полгода, выдавали отдельные его выступления и образ действий.

Над гробом почившего соратника Ленин произнес пространную бесчувственную речь о победах пролетариата и необходимости замены одного полновластного Свердлова многочисленным коллективом сотрудников. Должность председателя ВЦИК стала отныне чисто декоративной. С легким сердцем передал Ленин этот пост бесцветному М.И. Калинину, от которого никаких каверз ждать не приходилось. Послушный ВЦИК единогласно признал Калинина своим председателем. Напутствуя номинального главу государства и по

привычке паясничая, Троцкий выпалил одну из своих эпохальных фраз: *«Ты был у себя в деревне сельским старостой, а теперь будь у нас всероссийским старостой!»*.[119]

Одновременно Ленин раскидал давешние функции Свердлова в ЦК РКП(б) между тремя субструктурами: Политбюро, предназначенным для политического руководства, Оргбюро, курирующим управленческий аппарат, и номенклатурным отделом кадров в виде Секретариата ЦК партии. Диктатура вождя оказалась, таким образом, временно застрахованной от внутрипартийного заговора и возможных претензий на единоличную власть очередного секретаря ЦК РКП(б). Заимствованные Свердловым властные полномочия целиком достались единственному хозяину страны — председателю Совнаркома.

На Пленуме ЦК партии 25 марта 1919 года большевики утвердили состав Политбюро и Оргбюро и выбрали своим ответственным секретарем Стасову. Затеянную Свердловым кадровую перетряску соратники, немного поменяв акценты, восприняли в общем позитивно. Петровского отправили в бессрочную ссылку на Украину, а НКВД и ВЧК сплотили под руководством Дзержинского, отдав ему на помощь Владимирского в качестве заместителя наркома по внутренним делам. Аванесова и Петерса — испытанных пособников Свердлова — от всех прежних должностей и обязанностей отлучили, хотя из коллеги ВЧК не вывели.[120] Ленин попытался всучить Аванесова наркомату путей сообщения, но, наткнувшись на непредвиденное сопротивление Красина, пошел на попятный и засунул бывшего секретаря ВЦИК в коллегию Государственного контроля.[121]

Утепленного места для Петерса в Москве не нашлось. Бывшего заместителя председателя ВЧК свыше двух месяцев промариновали в подвешенном состоянии, а потом спровадили в Петроград «для оздоровления прифронтовой полосы». Во главе семитысячного отряда специально мобилизованных рабочих Петерс увлеченно занимался любимым делом — классовыми чистками, обысками, реквизициями и «парализацией промышленности» на случай захвата города белыми. Летом 1919 года в его сознании свершился странный сдвиг: вместо повальных расстрелов он приступил к массовой отправке сограждан на принудительные работы. Так как вернуться в столицу до окончания Гражданской войны Ленин ему не дозволил, то по выполнении задания партии и правительства Петерса перебросили из Петрограда в Киев, оттуда в Тулу, а затем в Туркестан.[122]

В квартиру Свердлова после его смерти Ленин не заглянул ни разу. Вождь был слишком занят. Он даже перестал замечать маленькую дочь умершего соправителя, с которой охотно гулял когда-то по территории Кремля. Вдову покойного председателя ВЦИК от номенклатурных забот отстранили; какое-то время она руководила библиотечным отделом ЦК партии, а потом занималась детским образованием то в качестве директора школы, то в роли заведующей отделом детской литературы в издательстве «Молодая гвардия», то просто на боевом посту цензора.[123]

Примечания

[1] Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ), ф. 418, оп. 298, д. 164, л.л. 39-40.

[2] *Васильев В.М., Розанов В.Н.* К юбилею Ф.А. Гетье. Московский медицинский журнал, 1928, № 10-11, с. 286-288.

[3] Любопытное описание личности Плеве содержится в мемуарах последнего государственного секретаря Российской империи С.Е.Крыжановского: *«Все нити его души были глубоко недоброкачественны. Плеве был величайший циник, для которого не существовало ничего святого. Он всегда и везде усматривал лишь мелкое, смешное и пошлое. Он был весь подозрение и весь недоверие. Он презирал всех вокруг себя, и это презрение проистекало из глубокого убеждения, что прочие люди — такие же циники, как и он, но менее умные. Владея внешней формой, умея быть приветлив и полезен, очаровывая дам, Плеве на всех, входивших с ним в близкие деловые отношения, производил отталкивающее впечатление и рано или поздно отвращал от себя.* <>

Своих мыслей у него не было, а к чужим он относился с неизменным недоверием. <> *Вообще единственным положительным результатом деятельности Плеве как министра внутренних дел было всеобщее против него раздражение. Казалось, Плеве совершенно не понимал той простой истины, что правительство не может висеть в воздухе, а должно на что-то опереться. Действия его как будто умышленно были направлены к тому, чтобы поднять на дыбы и восстановить против себя все те слои общества, которые по природе вещей заинтересованы в поддержании и порядка, и правительства».* (*Крыжановский С.Е.* Заметки русского консерватора. Вопросы истории, 1997, № 3, с. 129-135).

[4] ЦИАМ, ф. 179, оп. 50, д. 2012, л.л. 8-15; д. 4114, л.л. 7-8.

[5] ЦИАМ, ф. 1, оп. 4, д. 118, л.л. 22-28; ф. 179, оп. 50, д. 2013, л.л. 14-15.

[6] ЦИАМ, ф. 179, оп. 50, д. 2013, л.л. 2-3. *Сабашников М.В.* Записки. М., 1995, с. 374, 382. *Гетье Ф.А.* Отчет о командировке за границу для ознакомления с устройством загородных санаторий. М., 1899. *Он же.* Современное состояние вопроса о народных санаториях для чахоточных. М., 1900. *Он же.* Отчет о командировке в Сухум для изучения вопроса о принятии двух санаторий, жертвуемых Н.Н. Смецким Московскому городскому управлению. М., 1900.

[7] ЦИАМ, ф. 179, оп. 43, д. 136, л. 10; ф. 179, оп. 59, д. 16, л.л. 4,74. Голос Москвы, 23.XII.1910. *Джунковский В.Ф.* Воспоминания. М., 1997, т. 1, с. 527-528.

[8] Московский листок, 24.XII.1910. Русские ведомости, 24.XII.1910.

[9] Московский листок, 8.XII.1914. Голос Москвы, 8.VIII.1914.

[10] ЦИАМ, ф. 1939, оп. 1, д. 118, л.л. 7-29.

[11] Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф. 16, оп. 3, д. 24, л.л. 19-20.

[12] РГАСПИ, ф. 142, оп. 1, д. 491, л. 3.

[13] РГАСПИ, ф. 5, оп. 2, д. 66, л. 42; ф. 76, оп. 3, д. 96, л. 6об.; ф. 76, оп. 4, д. 9, л.л. 9, 12.

[14] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 53, с. 17.

[15] РГАСПИ, ф. 2, оп. 1, д. 19664, л.л. 1-6.

[16] РГАСПИ, ф. 2, оп. 1, д. 22637; ф. 2, оп. 1, д. 26425; ф. 5, оп. 1, д. 1416, л. 1. *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 54, с. 69, 116.

[17] *В Политбюро ЦК РКП*

(Копия т. Троцкому)

Уважаемые товарищи,

Согласно Вашего постановления от 15-го июня с/г за № 12, сообщаю следующее.

По обследованию положения д[окто]ра Гетье оказалось, что ему и его семье необходимы следующие вещи (по списку составленному со слов жены доктора Гетье).

1 Брюки (темно-серые) демисезон[ные].
2 Штиблеты.
3 Пиджачная пара (черная).
4 Рубашки — 6 штук.
5 Кальсоны — 6 штук.
6 Носок — 6 пар.
7 Простынь — 4 штуки.
8 Носовых платков — 1 дюжина.
9 Скатертей — 2 штуки.
10 Клеенка — 1 штука (размер 4,5 аршин).
11 Летнее пальто.
12 Барашковая шапка.
13 Ватное пальто мужское (черное).
14 Енотовая шуба (для дальних зимних поездок).
15 Фуфайка теплая (нательная).
16 Свитер шерст[яной] мужской и дамский — по 1 паре.
17 Шерстяные носки (или шерсть для них) — 2 пары.
18 Валенки или бурки мужские и дамские — по 1 паре.
19 Теплое одеяло или плед.
20 Кожаная куртка меховая.
21 Меховые варежки.
22 Черного дамского сукна — 7 аршин.
23 Подкладки для дамского пальто — 12 аршин.
24 Дамск[их] сорочек сред[него] разм[ера] — 6 шт[ук].
25 Дамск[их] кальсон — 6 шт[ук].
26 Чулок — 6 пар.
27 Ночн[ых] кофт — 3 шт[уки].
28 Комбинаций — 3 шт[уки].
29 Теплое пальто или шуба (темные) — 1 шт[ука].
30 Теплый платок
31 Ботинки черн[ые] разм[ер] 37.
32 Темной бумазеи на платье — 10 аршин.
33 Полотна для наволочек — 15 аршин.
34 Примус.
35 Глубокие тарелки.
36 Кастрюлю или чугун (большой) — 2 шт[уки].
37 Кофейник на 6 ст[аканов].
38 Чашек с блюдцами.
39 Суповая миска.
40 Ножей, вилок, ложек.
41 Столов[ую] керосин[овую] лампу.

На приобретение этих вещей и на пошивку мною выдано для д[окто]ра Гетье четыре миллиарда рублей.

Сумма эта была определена по рыночным ценам и путем опроса в магазинах на эти вещи.

Кроме того жена Гетье заявила, что у них ощущается недостаток в следующих продуктах: сахаре, крупе, масле, кофе, чае, свечах и мыле. Эти продукты время от времени будут отпускаться доктору из Продотдела ВЦИК.

Вопрос об отводе земли для санатории мною будет внесен в Президиум ВЦИК или же в Президиум Московского Совета.

С товарищеским приветом, А. Енукидзе.

(РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, д. 268, л. 17).

[18] Здоровье трудящимся, 7.XI.1934. Известия, 12.IV.1938. Советская медицина, 1938, № 9, с. 63. В кн.: XX лет работы Лечебно-санитарного управления Кремля. М.-Л., 1939, с. 397-399.

[19] *Свердлова К.Т.* Яков Михайлович Свердлов. М., 1976, с. 393.

[20] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 137, л.л. 1-6.

[21] РГАСПИ, ф. 124, оп. 1, д. 1394, л.л. 5-11.

[22] *Троцкий Л.* Сталин. М., 1990, т. 1, с. 292-293.

[23] *Луначарский А.* Революционные силуэты. Харьков, 1924, с. 50-55.

[24] РГАСПИ, ф. 76, оп. 3, д. 7, л.л. 1-2; ф. 565, оп. 1, д. 53, л.л. 163-164. *Луначарский А., Радек К., Троцкий Л.* Силуэты: политические портреты. М., 1991, с. 329-335.

[25] РГАСПИ, ф. 357, оп. 1, д. 194, л.л. 2-14. Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989, с. 651-657.

[26] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 110, л. 25.

[27] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. Р-9596, оп. 1, д. 64, л. 11. *Бурцев В.Л.* Мой приезд в Россию в 1914 году. Былое, Париж, 1933, сб. 1, с. 52.

[28] *Свердлова К.Т.* Указ. соч., с. 115.

[29] В кн.: Яков Михайлович Свердлов. Сборник воспоминаний и статей. Л., 1926, с. 83-86.

[30] Красноармеец, 1919, № 10-15, с. 48-50.

[31] РГАСПИ, ф. 19, оп. 1, д. 70, л. 1. *Троцкий Л.* Моя жизнь. Опыт автобиографии. М., 1990, т. 2, с. 74.

[32] Правда, 1.III.1918. Известия, 1.III.1918.

[33] Красная газета, 5.III, 9.III.1918.

[34] *Бонч-Бруевич В.* Избранные сочинения. М., 1963, т. III, с. 145-155. *Свердлова К.Т.* Указ, соч., с. 305-320. *Троцкий Л.* Моя жизнь. Опыт автобиографии. М., 1990, т. 2, с. 74.

[35] Петроградский голос, 28.VII, 2.VIII.1918. Новая жизнь, 1.VI.1918.

[36] РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, д. 16, л. 4.

[37] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 120, л.л. 1-4.

[38] РГАСПИ, ф. 5, оп. 1, д. 1335, л. 10; ф. 86, оп. 1, д. 105, л. 15. ГАРФ, ф. Р-9596, оп. 1, д. 33, л. 140.

[39] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 111, л.л. 12-13. Известия Моссовета, 17.III.1919.

[40] РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, д. 12, л. 1.

[41] РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, д. 13, л. 1. Северная коммуна, 18.III.1919. Протоколы восьмого съезда РКП(б). М., 1959, с. 181, 278.

[42] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 38, с. 74-79.

[43] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 103, л. 230. Правда, 18.III.1919.

[44] Известия Народного комиссариата по военным делам, 20.III.1919.

[45] Известия ЦК КПСС, 1989, № 8, с. 173-174.

[46] ГАРФ, ф. Р-130, оп. 3, д. 470, л.л. 1-6.

[47] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 103, л.л. 199-200.

[48] *Спиридович А.И.* История большевизма в России. Париж, 1922, с. 56. *Ясиницкий Г.И.* За кулисами великой катастрофы. Сан-Франциско, 1987, с. 209. *Валентинов Н.В.* Наследники Ленина. М., 1991, с. 177.

[49] В кн.: Левые эсеры и ВЧК. Сборник документов. Казань, 1996, с. 54-55.

[50] Петроградский голос, 28.III.1918. Новые ведомости, 23.III., 27.III.1918.

[51] Известия, 18.III.1919. Петроградская правда, 18.III.1919. В кн.: Яков Михайлович Свердлов, с. 11-50, 168-183.

[52] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 94, л. 14. Красная летопись, 1925, № 1, с. 171-181.

[53] Известия, 25.III.1919. *Луначарский А.В.* Указ. соч., с. 50-55. Новый мир, 1963, № 8, с. 208-219. В кн.: О Якове Свердлове. Воспоминания, очерки, статьи современников. М., 1985, с. 171-176, 276-277.

[54] Известия, 25.III.1919.

[55] Известия, 18.III.1919. Известия Народного комиссариата по военным делам, 16.III.1919.

[56] *Свердлова К.Т.* Указ. соч., с. 392-393.

[57] РГАСПИ, ф. 5, оп. 1, д. 1233, л. 1.

[58] Правда, 11.III.1919. Красная газета, вечерний выпуск, 13.III.1919. Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т.6, с. 598.

[59] Известия, 15.III.1919. Власть Советов, 1919, № 5, с. 4. Известия ЦК КПСС, 1989, № 7, с. 159-160.

[60] РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, д. 10, л. 1об.

[61] Свердлов не зарегистрирован среди присутствовавших на заседании Совнаркома 15 марта, но Аванесов там был. (РГАСПИ, ф. 19, оп. 1, д. 267, л. 1). Может быть, председатель ВЦИК участвовал в работе Совнаркома по телефону?

[62] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 105, л. 34; ф. 86, оп. 1, д. 109, л.л. 13, 34, 87; ф. 86, оп. 1, д. 110, л. 24. ГАРФ, ф. Р-9596, оп. 1, д. 33, л.л. 290-292. Известия, 18.III.1919.

[63] Коммунар, 18.III.1919. Известия, 18.III.1919. *Бонч-Бруевич В.Д.* Указ. соч., с. 396-398.

[64] *Луначарский А., Радек К., Троцкий Л.* Указ. соч., с. 335.

[65] Известия Моссовета, 17.III.1919. Петроградская правда, 18.III.1919.

[66] Испанская болезнь. Доклады и сообщения на совещании врачей Москвы, организованном Народным Комиссариатом Здравоохранения 20 октября 1918 года. М., 1919. Врачебно-санитарная хроника Москвы, 1919, № 3-4, с. 40-41.

[67] РГАСПИ, ф. 86, оп.1, д. 110, л. 24.

[68] Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ), ф. 5, оп. 75, д. 392, л. 21. РГАСПИ, ф. 19, оп. 2, д. 220, л. 1. *Зарубин Г.П.* Санитарный надзор Кремля в первые годы советской власти. М., 1967, с. 34-38.

[69] Известия ЦК КПСС, 1989, № 7, с. 171.

[70] *Струве П.Б.* Мои встречи и столкновения с Лениным. Возрождение, 1950, т. 10, с. 109-118. *Оболенский В.А.* Моя жизнь. Мои современники. Париж 1988, с. 177-179. *Соломон Г.А.* Вблизи вождя: свет и тени. М., 1991, с. 16-27.

[71] РГАСПИ, ф. 4, оп. 2, д. 1215, л. 56.

[72] РГАСПИ, ф. 4, оп. 2, д. 1842, л.л. 4-24; ф. 16, оп. 1, д. 370, л. 2. *Потресов А.И.* Посмертный сборник произведений. Париж, 1937, с. 293-304. *Валентинов Н.* Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1953, с. 72-75. *Оболенский В.А.* Указ. соч.

[73] Исторический архив, 1994, № 4, с. 18.

[74] *Струве П.Б.* Указ. соч. *Оболенский В.А.* Указ. соч.

[75] Известия ЦК КПСС, 1989, № 12, с. 197.

[76] Известия, 18.III.1919. Неизвестная Россия. XX век. М., 1992, кн. 1, с. 17-20.

[77] Красная газета, вечерний выпуск, 19.III.1919.

[78] РГАСПИ, ф. 466, оп. 1, д. 1, л. 10.

[79] Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 года. Протоколы. М., 1959, с. 28, 164, 165.

[80] РГАСПИ, ф. 565, оп. 1, д. 53, л.л. 160-164.

[81] *Троцкий Л.Д.* Портреты революционеров. Chalidze Publications, 1988, с. 240.

[82] Стоит отметить, что Троцкий, находившийся в прифронтовой полосе, получил шифрограмму Свердлова о покушении на вождя только 1 сентября, когда вся официальная пресса уже содрогалась в конвульсиях гнева, требуя возмездия. Безупречное алиби вождя Красной Армии оказалось весьма дорогим подарком для вождя мирового пролетариата.

[83] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 103, л. 57; ф. 324, оп. 1, д. 266, л. 1.

[84] *Бонч-Бруевич В.Д.* Указ. соч., с. 293.

[85] В кн.: Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927. Сборник документов. М., 1996, с. 46.

[86] РГАСПИ, ф. 4, оп. 2, д. 1249, л. 31.

[87] РГАСПИ, ф. 4, оп. 2, д. 1249, л. 12. Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 6, с. 127.

[88] РГАСПИ, ф. 5, оп. 1, д. 1335, л. 4.

[89] РГАСПИ, ф. 4, оп. 2, д. 1249, л.л. 13-14.

[90] Ленинский сборник, XXI, с. 252-253.

[91] РГАСПИ, ф. 5, оп. 1, д. 1335, л. 10.

[92] РГАСПИ, ф. 5, оп. 1, д. 1335, л. 15.

[93] В кн.: О Ленине. Воспоминания революционеров Латвии. Рига, 1959, с. 151.

[94] РГАСПИ, ф. 324, оп. 1, д. 266, л. 3; ф. 86, оп. 1, д. 103, л.л. 186-188. *Балабанова А.* Из личных воспоминаний циммервальдца. Л.-М., 1925, с. 178.

[95] *Мальков П.Д.* Записки коменданта Московского Кремля. М., 1959, с. 164-165.

[96] *Луначарский А., Радек К., Троцкий Л.* Указ. соч, с. 324-329.

[97] В кн.: Яков Михайлович Свердлов, с. 168-183.

[98] В кн.: Яков Михайлович Свердлов, с. 79-82.

[99] РГАСПИ, ф. 17, оп. 109, д. 14, л.л. 13-29. Известия ЦК КПСС, 1989, № 6, с. 158-161.

[100] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 51, л. 1. *Дзержинская С.С.* В годы великих боев. М., 1964, с. 266-274, 280.

[101] Известия, 22.X.1918.

[102] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 90, л. 16.

[103] *Стасова Е.Д.* Воспоминания. М., 1969, с. 173.

[104] Источник, 1994, № 1, с. 3-4.

[105] В свете этой находки не такой уж неправдоподобной выглядит гипотеза бывшего сталинского секретаря, согласно которой Свердлов хранил у себя алмазный фонд партии, а после смерти председателя ВЦИК его вдова переложила часть драгоценных камней в ящик своего письменного стола. Во всяком случае юный сын Свердлова, роясь в письменном столе матери, наткнулся однажды на целую россыпь камней, похожих на крупные бриллианты. (*Бажанов Б.* Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М., 1990, с. 96-97).

[106] *Луначарский А., Радек К., Троцкий Л.* Указ. соч, с. 328.

[107] *РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 70, л. 10.*

[108] Сочную характеристику Крестинского оставил знаменитый охотник за провокаторами В.Л. Бурцев: *«Официально политической роли [он] не играл, но пользовался огромным влиянием, так как обладал великолепной памятью на всякого рода мелочи, хорошо запоминал лица, особенно всякого рода скандальную хронику. В высшей степени обладал даром интриги,— и Ленин больше всего опасался именно его, когда в конце 1920 года началась первая серьезная вспышка фракционной борьбы. Ленин считал, что Крестинский, а не Троцкий может собрать и сорганизовать вокруг себя фракцию, а потому после своей победы в первую очередь сменил Крестинского и выслал его за границу в качестве посла в Берлин».* (Былое. Париж, 1933, т. 2, с. 69-70).

[109] Прежде чем поступить на медицинский факультет, сын провинциального священника Владимирский окончил Нижегородскую духовную семинарию. (РГАСПИ, ф. 357, оп. 1, д. 3, л.л. 14, 14об). При такой испорченной анкете в смиренной покорности и полной управляемости этого старейшего большевика можно было не сомневаться.

[110] Известия ЦК КПСС, 1989, № 6, с. 172-178.

[111] Известия, 2.III.1918. *Свердлова К.Т.* Указ. соч., с. 353-354.

[112] Правда, 28.II, 5.III, 6.III.1919. Известия, 6.III, 7.III.1919.

[113] Правда, 8.II, 15.II.1919.

[114] Известия ЦК КПСС, 1989, № 7, с. 159-160.

[115] *Лепешинский П.Н.* На повороте (от конца 80-х годов к 1905 году). Л., 1925, с. 86-102. *Бухарин Н.* Товарищ. В кн.: Сборник о Ленине. Под ред. Н.Л. Мещерякова. М., 1925, кн. II, с. 13.

[116] Чрезмерная опасливость вождя произвела как-то неизгладимое впечатление на Гетье. Когда Ленин предложил ему однажды сопровождать его в автомобильной поездке, Гетье долго не мог уразуметь, какое место в лимузине ему следует занять. Слегка раздраженный его непонятливостью вождь усадил, наконец, лечащего врача за собой. Лишь в дороге Гетье догадался, что Ленин расположился в машине так, чтоб справа и спереди его прикрывали телохранители, а сзади — лечащий врач. (РГАСПИ, ф. 16, оп. 3, д. 24, л. 7)

[117] РГАСПИ, ф. 4, оп. 2, д. 1952, л. 13. *Стасова Е.Д.* Указ. соч., с. 168-169.

[118] РГАСПИ, ф. 86, оп. 1, д. 103, л.л. 186-188. *Луначарский А., Радек К., Троцкий Л.* Указ. соч, с. 335.

[119] Правда, 1.IV.1919.

[120] Известия ЦК КПСС, 1989, № 12, с. 133-139.

[121] РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, д. 15, л.л. 7-9. Ленинский сборник, XXXVII, с. 134.

[122] РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 20, л.л. 1, 3; ф. 17, оп. 3, д. 21, л. 1; ф. 17, оп. 3, д. 93, л. 2; ф. 5, оп. 1, д. 1272, л.л. 1-4; ф. 124, оп. 1, д. 1474, л.л. 5-8. В кн.: В.И. Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917-1922). М., 1987, с. 204.

[123] РГАСПИ, ф. 5, оп. 2, д. 242, л.л. 1-3; ф. 4, оп. 2, д. 1789, л.л. 7-11, 14-15; ф. 4, оп. 2, д. 2057, л.л. 2-8; ф. 124, оп. 1, д. 1394, л.л. 5-11.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ в зеркале прессы (март – май 2002 г.)

(Краткий обзор)

1. К вопросу о создании католической митрополии в России

11 февраля 2002 года Папа Иоанн Павел II принял решение об учреждении в России четырех епархий католической церкви (вместо ныне действующих временных структур в форме апостольских администратур). По официальной версии, решение было продиктовано необходимостью приведения структур, действующих в Российской Федерации, в соответствие с единым стандартом канонического права Римской церкви. Реакция со стороны власти последовала 12 февраля, когда МИД РФ выразил сожаление о том, «что такое важное решение было принято без должного учета мнения российской стороны». А в Заявлении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви было подчеркнуто, что повышение статуса уже существующих католических церковных структур «фактически означает вызов, брошенный Православию, укорененному на территории страны в течение многих столетий».

Проблемы православно-католических отношений оказались в центре внимания как печатных, так и электронных СМИ. Еженедельник **«Аргументы и факты»** (№ 8, 20 февраля. **В. Костиков**. «Папа погорячился») отметил, что консервативное крыло подталкивало Патриарха к полному разрыву отношений с Ватиканом. По мнению автора публикации, Папа «погорячился». Теперь и в Москве, и в Ватикане придется «зализывать раны».

Евгений Комаров в статье «Католики хотят договориться по-мужски» (**«Новые известия»**, 13 февраля 2002) обратил внимание на то, «что символический шаг Ватикана знаменует собой отказ от политики реверансов в адрес РПЦ». Со ссылкой на близкий к курии источник, автор утверждает, что надежды российских католиков на наступательную позицию Папы сбылись лишь отчасти. «Существовали планы организации в России еще трех дополнительных епархий: в Санкт-Петербурге, Кенигсберге/Калининграде (где они исторически были) и в Краснодаре. Но Папу убедили пока ограничиться четырьмя и так существующими».

Комаров говорит также о политическом аспекте проблемы: «Перед визитом Путина в Польшу структуры, приближенные к администрации президента, выдавали контролируемые утечки информации о всё растущем недовольстве Путина жесткой позицией патриарха Алексия II по поводу визита римского Папы в Россию. В то же время такой визит крайне удачно ложился бы во внешнеполитическую мозаику Путина».

Эту тему продолжил в **«Общей газете» Я. Кротов** (№ 7, 14 февраля, «Никто не заставит Патриарха встречаться с Папой»). По его мнению, визит все-

таки состоится, и реорганизация доказывает уверенность в этом Ватикана. Однако если Папа приедет в Россию, то Патриарх с визитером встречаться не будет. «Видимо, это и есть то условие, которое позволяет Московской Патриархии сохранить сознание своего величия: в Грузии и Греции светские власти заставили церковных лидеров встречаться с Папой, а в России — не выйдет».

«Независимая газета» откликнулась на конфликт статьей **Игоря Лавриненко** «В заботах о пастве. О вновь созданной католической митрополии в России» (4 марта 2002 г.) и пространным интервью с **митрополитом Тадеушем Кондрусевичем** (25 марта 2002 г.). «В венской декларации 1989 года говорится, что каждое государство обязуется предоставлять религиозным организациям право организовывать свои структуры согласно церковным нормам», — утверждает лидер российских католиков. И добавляет: «В России понятие о Католической Церкви обычно ассоциируется с латинским обрядом. Да, это 98 % всех верующих. Но 2 % — это еще 21 восточный обряд Католической Церкви. На Украине около 5-6 млн. греко-католиков. Есть армянский обряд и так далее. Здесь может быть хороший мост к единству христиан. Утверждение о том, что Папа будет всеми командовать, совершенно неверно. Эти обряды — отдельные Церкви, которые руководствуются своим уставом, имеют своих глав. Но все они — в единении с Римом, в единении с Папой. Если мы хотим быть едины, то центр всегда будет один. Не бывает двух центров. Такой же вариант мог бы существовать и в отношении Православных Церквей».

Религиовед **Борис Фаликов** в газете **«Время новостей»** («Скандал в благородном семействе», 20 февраля 2002) обратил внимание на то, что большинство россиян негативно отнеслись к намерениям католиков. «38 % слушателей «Эха Москвы» заподозрили в действиях Ватикана недоброе. Учитывая либерализм «эховской» аудитории, можно предположить, что в целом по стране реакция на «католическую экспансию» была более негативной».

Фаликов связывает действия Ватикана с усилением консервативного крыла в среде католиков. И делает вывод: «Наследники дела инквизиции порадели православным патриотам».

«Патриотическая» пресса отнеслась к действиям Рима однозначно отрицательно. Досталось при этом и самим православным. **Георгий Судовцев** (газета **«Завтра»**, «Серые кардиналы», 19 февраля 2002 г.) утверждает: «Без серьезного ослабления позиций Московского Патриархата Римская курия просто не могла решиться на подобный шаг». Впрочем, по мысли обозревателя, все к лучшему: «Может быть, теперь, в условиях фактически объявленной войны между двумя церквами, до иерархов Московского Патриархата дойдет идея необходимости единения с народом, с верующими мирянами».

Аналитик интернет-издания **«Русская линия» Сергей Григорьев** в обзоре от 26 февраля подчеркнул: «Действия Ватикана делают религиозную жизнь в России более напряженной, она становится источником непрекращающихся конфликтов».

С ним полностью солидарен **Константин Душенов**, выступивший с развернутой статьей «Крах церковных либералов» в мартовском номере газеты **«Русь Православная»** (№ 57). Автор, не стесняясь в выражениях, обвиняет церковное

руководство и прежде всего главу ОВЦС митрополита Кирилла в стратегии духовной капитуляции. По мнению автора, иерархи «заискивают перед нынешней антирусской государственной властью, ищут в ней опору, опасаясь в случае внутрицерковных перемен потерять свое материальное благополучие и высокое иерархическое положение».

Напряжение в отношениях РПЦ и католической церкви продолжали нарастать. 22 февраля у здания представительства Ватикана в Москве состоялась первая в объявленной «гражданской кампании сопротивления» акция протеста, организованная Союзом православных граждан при поддержке Народной партии. **«Общая газета»** (**Б. Колымагин** «На борьбу с католиками поднята авиация», 28 февраля) отметила, что среди участников «молитвенного стояния» преобладали воинствующе-агрессивные лица. «Русская православная церковь оказалась не готовой к обновлению, к активной миссионерской работе. И теперь, в условиях реальной конкуренции с католиками, ей приходится уповать на митинговых крикунов да просить защиты у государственных чиновников».

Подобные акции в марте-апреле состоялись более чем в двадцати регионах России. В свою очередь католики организовали телемост Ватикан — Москва, о котором подробно рассказал **«Коммерсантъ»** (4 марта 2002 г.). В конфликт вмешалась Государственная Дума. Газета **«Известия»** (18 апреля 2002 г., **С. Попова** «Депутаты просят президента запретить католические епархии») сообщила своим читателям о том, что парламентарии выступили с проектом обращения к президенту о запрете деятельности вновь созданных административных структур.

Не остался в стороне от конфликта и МИД РФ. За короткое время несколько священников-иностранцев были лишены въездной визы. Визовой проблеме посвящены публикации в газете **«Время новостей»** (**К. Василенко** «Чтобы не дать восторжествовать Римскому Папе», 10 апреля) и **«Общей газете»** (**Джованни Бенси** «Святые недоразумения», 2 апреля 2002 г.). Автор последнего материала утверждает: «Недоразумением является сама оценка ватиканского решения о создании епархий как враждебного акта по отношению к России и Православной церкви. А ведь оно имеет совсем другой смысл — это не что иное, как признание того факта, что Россия стала правовым государством и что в ней Католическая церковь может жить нормально».

В заключение стоит отметить, что сегодняшние политические интересы власти как в направлении Ватикана, так и в отношениях с РПЦ не определены. В зависимости от этих интересов Московская Патриархия получит или не получит поддержку в ее сложных отношениях с Католической церковью.

2. Выборы в органы представительской власти на Украине

31 марта 2002 года на Украине состоялись парламентские выборы. Практически все партии и политические блоки включили в свои программы религиозную составляющую. Однако роль религии в предвыборном марафоне была малозаметна, что и отразилось в материалах СМИ.

В подавляющем большинстве публикаций о выборах на Украине религиозный фактор всерьез не рассматривался, более того, религиозная проблематика просто осталась за кадром.

Некоторым исключением явились публикации в **интернет-журнале «Религия в России»** — в специальном проекте **«Русского журнала». Екатерина Щеткина** в статье «Церковный треугольник» прописала «векторы влияния» в украинском православии: «Украинская Православная Церковь, находящаяся в юрисдикции Московского Патриархата и возглавляемая митрополитом Владимиром (Сабоданом), представляет в обыденном сознании украинца «московский вектор», связывается с пророссийскими тенденциями. Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата декларирует свою «национентрическую» ориентацию. Ее предстоятель — Патриарх Филарет (Денисенко) — фигура столь же одиозная, сколь влиятельная, имеющая вес и в кругах близких к власти, и в широких массах «проукраински» настроенных граждан. Украинская Автокефальная Православная Церковь, о которой «посвященные» судят как о «прозападнической», малочисленна, но пользуется уважением и «своих» и «чужих», поскольку старается выглядеть наиболее последовательной в разрешении своих канонических проблем. Она также национально ориентирована, но в отличие от УПЦ КП эксплуатирует «интеллигентский» имидж, что отдаляет ее от народа».

Ольга Брилева («Выборы-2002 на Украине: Церковь отдыхает», 1 марта) взглянула на религию как на лакмусовую бумажку политических пристрастий: «Выборы отмечены повальной мимикрией. Все маскируются под левоцентристов. Они и за рыночную экономику, и за социальную защиту населения. И за нэзалэжность — и за расширение контактов с Россией. И за поддержку национального производителя — и за ТНК. Но вот в церковной ситуации, увы, такое «и вашим и нашим» невозможно. Если кто-то вякнет про «объединение всех верующих», верующие тут же вставят: простите, а под кем будем объединяться?». «Поэтому, — делает вывод автор, — громко любить Церковь может позволить себе не каждый. И слава Богу, а то ее, бедную, от такой любви корежит».

Александр Люсый («Многоконфессиональный Крым и крест над ним», 15 марта) остановился на неофициальном союзе председателя Верховной Рады Крыма Леонида Грача и стоящего за ним избирательного блока, ведущую роль в котором играет крымская организация Коммунистической партии Украины, с московской ветвью православия. В разгар избирательной кампании председатель ОВЦС митрополит Кирилл приезжал в Крым с целью передачи частицы мощей св. адмирала Федора Ушакова. «Буквально через несколько дней после отъезда гостей последовало решение народного суда Центрального района Симферополя о снятии Грача с регистрации», — сообщает автор.

Не секрет, что в Крыму среди мусульман усилились экстремистские настроения. Однако напряжение между мусульманами и христианами, по мнению Люсого, не внесли заметных обертонов в политическую борьбу.

Кроме «Религии в России», украинскому православию в контексте избирательной гонки было посвящено несколько публикаций на **сайте** московского Сретенского монастыря **«Православие. ру»**. В статье «Не дадим себя обма-

нуть» (март 2002 г.) подробно описывалось «кто из украинских политиков больше всего не любит Православие». И звучал призыв не голосовать за ряд избирательных блоков — «Наша Украина» Виктора Ющенко, блок Юлии Тимошенко, «Народный Рух Украины» и т.д.

На этом же сайте было приведено перепечатанное с официального сервера Украинской Православной Церкви интервью с митрополитом Владимиром (Сабоданом). В нем предстоятель УПЦ МП говорил о различении добра и зла, о социальном служении Церкви, о воспитании подрастающего поколения.

Буквально перед самым голосованием ряд иерархов обратились к верующим с призывом прийти на избирательные участки и «с вниманием и осмотрительностью» (как выразился митрополит Одесский и Измаильский Агафангел) сделать свой выбор.

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

Александр КЫРЛЕЖЕВ

ИСЛАМ И ЗАПАД ПОСЛЕ 11 СЕНТЯБРЯ

Религиозно-политические заметки

1.

Многие склонны считать, что «11 сентября» — это не просто еще одна трагедия, но событие знаковое, переломное, так что теперь о других событиях или процессах, происходящих в современном мире, можно говорить: *до* или *после* 11 сентября.

В чем заключается эта «знаковость»?

На этот вопрос отвечают по-разному, в зависимости от того, на какой аспект изменения мировой ситуации хотят обратить внимание.

Один из этих аспектов касается религии. А именно — можно утверждать, что сегодня в политике (а таковой в настоящее время является мировая политика) снова стал значимым религиозный фактор. Это действительно серьезное изменение, если вспомнить, что в северо-западной части мира, которая определяет направление мирового развития, в последние столетия происходил и благополучно завершился процесс вытеснения религии из политического пространства,

Под «религиозным фактором» имеется в виду, конечно, прежде всего ислам. «11 сентября» так или иначе связано с мусульманской религиозностью. И не так важно, были ли сами террористы-камикадзе мусульманами; важнее, что в общественном сознании и на Западе, и на Востоке осуществленные ими акты террора ассоциируются с религиозными радикалами-исламистами, то есть с политическими силами, действия которых легитимирует религия. А эти действия привели к мировому политическому кризису и соответствующей реакции членов мирового сообщества.

В ответ на теракты 11 сентября секулярный Запад в лице своих политиков занял странную на первый взгляд позицию: с одной стороны, он объявил, что террористы не имеют ни национальности, ни религии, а с другой — начал широкомасштабную кампанию по борьбе с исламистами (в том числе с подчеркнуто религиозным режимом талибов в Афганистане).

Позиция эта, впрочем, столь же противоречива, сколь и последовательна: секулярный мир таким образом продемонстрировал верность своим цивилизационным основам. Можно сказать, что эта позиция безупречна с точки зре-

---

Александр КЫРЛЕЖЕВ — родился в 1957 г. в Москве. Закончил Московский институт культуры и Московскую духовную семинарию. Работал в «Журнале Московской Патриархии», в газете «Русская мысль», в Центре по изучению религий. Автор многих богословских и религиозно-публицистических статей. Член редколлегии «Континента». Живет в Москве.

ния прав человека вообще и свободы совести в частности. Это отказ от регресса, от возвращения в прошлое — к эпохе религиозных войн. Борьба ведется не с религией, а с террористическими организациями. Тем более что в последнее время подняли голову террористы, никак с исламом не связанные, — члены «красных бригад», баскские сепаратисты. А в так называемую «ось зла» попали не только мусульманские страны, предположительно поддерживающие терроризм — например, Северная Корея.

И все же противоречие в подобной установке на «реальную политику» налицо. Основанная на принципиальном разведении политики и религии, она тем не менее учитывает религиозную составляющую конфликта. Правда, — лишь как некий специфический фактор, один среди многих. Само же содержание этого специфического фактора, а именно религиозность, как бы выносится за скобки.

Но дело ведь в том, что «исламские экстремисты» — действительно не пустое понятие. Их политические и военные акции являются в то же время и религиозными. И они не просто кучка законспирированных террористов: их поддерживают «некоторые силы», среди которых множество простых верующих мусульман, а также религиозные авторитеты. А если это так, тогда совершенно естественным является вопрос: какие религиозные представления теснятся в головах террористов-мусульман, тем более — самоубийц? Как и почему религия может вдохновлять своих приверженцев на столь чудовищные, с точки зрения гуманности, действия, как теракт 11 сентября?

Один из возможных ответов на этот вопрос можно найти в статье известного отечественного исламоведа Александра Игнатенко, озаглавленной: «Ваххабитский след в «битве при Манхэттене»» (НГ-Религии, №2, 15 мая 2002). В статье приводятся пространные цитаты из *фетвы* (богословского заключения) саудовского *улема* (мусульманского богослова) Хаммуда бен Укла аш-Шуайби под названием «Разъяснение событий, произошедших в Америке», которая была издана 16 сентября 2001 года. Имя именно этого улема назвал (среди других духовных руководителей «Аль-Каиды») один из будущих террористов-смертников, выступая перед телекамерой еще 6 марта 2001 года (эти кадры были показаны катарским спутниковым каналом «Аль-Джазира» 15 и 18 апреля 2002 года). В фетве аш-Шуайби дается подробное религиозное обоснование действий террористов. Здесь говорится о том, что определенные места Корана представляют собой «ясный текст, вменяющий враждебность к неверным, ненависть к ним и непричастность им», неверными же являются все немусульмане, а также мусульмане, которые не считают «неверных» неверными. «Неверными» могут быть также и государства, среди которых, помимо Америки, называется и Россия. Далее объясняется возможность во время борьбы с неверными убивать невинных — женщин, стариков и детей, особенно если средства борьбы не позволяют различать «воинов» и невинных (в качестве примера приводится, в частности, битва мусульман с язычниками при Таифе в 630 году, когда пророк Мухаммад применил катапульту). Наконец, у того же улема есть другие фетвы, в которых разъяснено, что смерть во время акций геройского самопожертвования, как именуются террористические акты, не является самоубийством (запрещенным в исламе) и что существует «законный террор (*ирхаб*), который в шариате нам Аллах установил и который нам наказал».

«Вот с этими идеями в головах 11 сентября и загрузились в «Боинги» девятнадцать ваххабитских *шахидов*...», — заключает автор статьи. Заметим, что цитируемые в статье А.Игнатенко тексты не являются засекреченными инструкциями террористических организаций, а находятся в открытом доступе в Интернете.

2.

Ознакомление с подобными материалами невольно вынуждает к тому, чтобы занять двойственную позицию.

С одной стороны, действительно, террористы — это прежде всего террористы, независимо от того, каким образом они обосновывают свою деятельность — с помощью религии или без.

Но, с другой стороны, поскольку, как мы видели, уже существует определенное и притом достаточно авторитетное религиозное обоснование подобной деятельности, постольку она все-таки, конечно, в той или иной степени «лежит на совести» именно религии. То есть, в данном случае — ислама.

Отсюда некоторые западные люди делают вполне логичный как будто бы вывод: ислам плох. Но какова та действительная логика, которая скрыта в таком приговоре? Они ведь вовсе не против религии как таковой. Но — поскольку она является частным делом индивидуума и не посягает на общество в целом. Иначе говоря, общество исходно мыслится ими как безрелигиозное, секулярное по самой своей природе. И тут правомерно спросить: почему?

Только потому, что таково современное постхристианское общество.

Такое общество возникло в результате длительной эволюции и, как привыкли считать на Западе, является «историческим завоеванием», смысл которого в том, что религии запрещено заниматься политикой. Религиозно обоснованную политику уже давно заменила в нем политика «реальная», прагматическая; иная — просто немыслима для Запада. Нынешние христиане или потомки христиан прошлого «практически» забыли те времена, когда христианство легитимировало войны, которые становились, таким образом, религиозными войнами, когда по благословению Церкви убивали и жгли «неверных» или «язычников», «боролись с басурманами» и т.п. Другими словами, и европейское христианство когда-то было очень похоже на нынешний радикальный ислам. Но подобный радикализм был преодолен — за счет «нейтрализации» религии.

Здесь, однако, нужно отметить одно важное обстоятельство, которое часто выпадает из поля зрения. Дело в том, что разведение религии и культуры, включая политику, стало возможно в христианском мире только потому, что само христианство изначально различало две сферы — Царства и Церкви, иначе — «кесарева» и «Божия». Для самой Церкви это различение фундаментально, потому что «мир во зле лежит» и в историческом времени он, этот мир, не может быть преображен по идеальному или телеологическому образу Царства Бога. Царство Божие откроется только в метаистории, будущем веке, в этом же веке оно проявляется только спорадически: «Царство Божие внутри вас есть»...

Совсем иное дело — ислам, в котором нет и не может быть никакого разделения религии и культуры, веры и разума, общины верующих и политического

сообщества. А поэтому, говоря строго, в исламе не может быть и никакой секуляризации — по крайней мере такой, какая имела место в христианском обществе. Поэтому в мусульманских странах возможность и эффективность так называемой модернизации, которая предполагает секуляризацию политической, экономической и общественной жизни по западному образцу, в значительной, если не в определяющей степени зависит от того, как будет решена проблема ее решительного неприятия господствующей религией. Ибо модернизация воспринимается в мире ислама как вестернизация и наталкивается на сопротивление гораздо более серьезное, чем просто вековой обычай и уклад, поскольку это не просто вековой обычай и уклад, а обычай и уклад, сформированные мировой религией, которой более четырнадцати столетий, и практически неотделимы от нее.

Причем дело здесь не только в древности этой религии. Ислам претендует на универсальность, на историческую окончательность своего, как сказали бы христиане, провозвестия. И он имеет исторический опыт осуществления такой «универсальности», ничем не уступающей по масштабам опыту христианства, завоевавшего в свое время всю западную ойкумену. У ислама была своя ойкумена — исламская, и, подобно христианству с его всемирной миссией, ислам сегодня имеет приверженцев по всему миру. Если не с помощью проповеди и колонизации, как это делали христиане, то посредством эмиграции самих мусульман.

Исламский мир, или, точнее, мир ислама, — это «другая вселенная», и мы, христиане-европейцы, еще очень плохо это осознаем. Несмотря на растущее в христианском мире понимание того, что необходимо отказаться от культурно-религиозного европоцентризма, характерного еще для недавнего прошлого, политико-экономический «европоцентризм» пока еще преобладает. И объясняется он, конечно, не религиозными, а вполне секулярными мотивами. А потому, кажется, не будет преувеличением сказать, что «11 сентября», помимо прочего, показало, к чему может приводить этот глухой натиск безрелигиозных прагматиков, давно отказавших всякой религии в праве участвовать в эволюции человеческой цивилизации. Появилась еще одна причина говорить о новой эпохе постмодерна. Судя по всему, теперь действительно настал конец идеологии Просвещения, понимаемой как панацея, как универсальный способ избавиться от всех бед, в том числе и от «бед», которые исторически связывались с религией. Если в известном смысле покончено с политическим христианством, то это не значит, что покончено с политическим измерением других религий, и прежде всего ислама.

В последнее время европейцы очень хорошо почувствовали это измерение, а именно опасности, порождаемые политической солидарностью по крайней мере части мусульман, живущих на Западе. Там после 11 сентября в некоторых мечетях откровенно приветствовалась акция террористов как своего рода «победа над американским шайтаном». Следствием этого в свою очередь стал резкий рост право-националистических настроений, что выразилось в успехе на выборах партий, выступающих за закрытие границ для беженцев с Востока, ограничение в правах иммигрантов и т.п. Стоит ли сомневаться в том, что возможные в будущем военные удары по «террористическим режимам» известных мусульманских стран вызовут не одобрение, а протест со стороны мусульман Европы и Америки?

3.

Постмодерн как культурная эпоха в истории «христианского» западного мира, пришедшая на смену эпохи модерна, то есть Нового времени, в политико-экономической сфере оказывается параллельным глобализации. Это вполне логично, поскольку культурный плюрализм утверждается на уровне идей и форм, то есть является в определенном смысле элитарным, тогда как на уровне «товаров и услуг», то есть в сфере массового спроса и предложения, действуют прагматические законы рынка, приобретающего глобальный масштаб. Таким образом, глобализация как явление прежде всего экономическое и политическое в качестве своего следствия распространяет на весь мир культурный и ценностный релятивизм западного постмодерна. Глобализация наталкивается на многообразие локальных культур и готова включить их в свой прагматический универсум, но оказывается, что среди этих культур есть и такие, которые религиозно организованы — но *религиозно* не в современном западном смысле. Западная по своему происхождению, глобализация исходит из секулярной парадигмы социального устроения, когда религия вытеснена в сферу частных интересов. Но в мире есть культуры и конгломераты культур, которые не допускают «выделения» прагматики в отдельную, не зависящую от религии сферу. А ведь религия говорит о *последней истине* мира и человека...

Таким образом, за пределами западной «ойкумены» глобализация становится новой формой колониализма со всеми его обязательными элементами — колониальными войнами, экономической эксплуатацией, культурной экспансией и т.д. Но колонизируемые всегда сопротивляются колонизаторам. И сегодня важнейшим ресурсом этого сопротивления является религия.

Теперь, после 11 сентября, много говорят о том, что миру необходим образ позитивного, жизнеутверждающего ислама, то есть, по существу, такого ислама, который «вписался» бы в глобализацию и не сопротивлялся ее прагматическим истинам — истинам «объективного экономического развития» в масштабе всего мира. Вряд ли стоит говорить о том, что в собственно духовно-религиозном смысле ислам может быть позитивным. Но как быть с его политико-цивилизационной составляющей?

То, о чем писал Александр Игнатенко в упомянутой выше статье, касается только одного из направлений современного ислама. Ваххабизм — это религиозно-политическое движение, возникшее в Аравии в середине XVIII века и связанное с именем и учением Мухаммада бен Абд ал-Ваххаба. Отечественный исследователь назвал ваххабитов «пуританами ислама» (Васильев А.М. Пуритане ислама. М., 1967). В авторитетном издании читаем: «По мнению ваххабитов, необходимо очищение ислама, возврат к его изначальным установлениям... В общественно-политической сфере ваххабиты проповедовали социальную гармонию, братство и единство всех мусульман, выступали с призывами строгого соблюдения морально-этических принципов ислама, осуждая роскошь, стяжательство и т.п. ... важное место отводилось идее о джихаде против многобожников и мусульман, «отступивших» от принципов раннего ислама... Для раннего ваххабизма характерны крайний фанатизм в вопросах веры и экстремизм в практике борьбы со своими политическими противниками» (Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. С.51).

Иначе говоря, ваххабизм, о котором так много говорят в последнее время, — это локальное проявление современного ислама, являющееся его радикальным выражением. Вместе с тем, будучи формой мусульманского интегризма, ваххабизм остается интегральной частью ислама. Кроме того, представляется очевидным, что в любой религиозной или квазирелигиозной идеологии стратегия защиты «чистоты веры» обладает особой энергией, так что, если вспомнить марксистское выражение, в данном случае «сила превышает долю». Крайние ревнители редко привлекают на свою сторону абсолютное большинство, но сочувствуют им многие.

Однако в этой теме есть особый поворот. Дело в том, что сегодня ваххабизм — основа официальной идеологии Саудовской Аравии, которая является стратегическим союзником США. (Говорят, что в свое время «союзником» Америки был и пресловутый бен Ладен.)

Православный западный автор, вполне сочувственно относящийся к исламу как авраамической религии, пишет: «Мы видим нечистоту, которая идет от жажды власти, чисто политической власти. Ваххабитская «реформа» ислама, начавшаяся в 1750-е годы в Саудовской Аравии, создала поле для военного и политического возрождения в исламе. Саудовское племя (*banu*) одержало трудную и прочную победу над другими мусульманами Аравийского полуострова. «Этика» такой борьбы (*джихад*) за власть достигла Мекки и во имя религиозной реформы подвергла сомнению чистоту сердца молящихся. Из Мекки это учение распространилось в Индии, Индонезии и вообще по всему мусульманскому миру. В течение XIX века в странах, находящихся под колониальным контролем, учение ваххабитов соединилось с антиколониализмом. Если некоторые мусульмане и осознавали опасность этого соединения, то многие другие восприняли его как руководство к действию. Понятый таким образом *шариат* устанавливал легальные пределы для сопротивления экономической эксплуатации и политическому доминированию Запада» (Свящ. Стивен Хедли. Современное состояние ислама: противоречия и надежды. — *Sourozh*, №86, ноябрь 2001).

Как видим, в этой интерпретации действия сторонников *чистоты* религии квалифицируются как проявление *нечистой* жажды власти. Но эта схема представляется слишком простой. Конечно, всегда находятся те, кто играет на религиозных чувствах людей в политических целях, но собственно религиозный — и соответственно религиозно-культурный, религиозно-цивилизационный — энтузиазм питается мотивами, не сводимыми к «чисто» политической прагматике. Не понимают этого только те, кто сознательно или бессознательно отделяют религиозный опыт и религиозное вдохновение от по необходимости сложной и противоречивой социально-политической жизни.

Колонизаторы — всегда прагматики, иногда циничные. Нет, конечно, европейцы в свое время еще и «несли цивилизацию в отсталые регионы», в том числе и ее неотъемлемую часть — христианство как истинную религию. Но в секулярном мире «истинных религий» уже нет, и остается одна прагматика. То есть принцип «разделяй и властвуй», игра на локальных конфликтах, на экономической заинтересованности, на военном покровительстве, угрозах и т.п.

Однако разумно ли ожидать, что колонизация в форме глобализации не вызовет жесткую ответную реакцию? В том числе и в форме террора, осуще-

ствляемого смертниками-шахидами с использованием всех средств современной западной техники?

4.

Наша (так сказать — «христианско-западная») реакция на события 11 сентября и им подобные — однозначна: всякий террор, в том числе и религиозно оправданный, является преступлением против человечности и против человечества. И, конечно, вне зависимости от господствующих здесь и теперь идей эта позиция не может быть изменена.

Однако этой позиции мы можем тем не менее сказать и некое «но». Да, оно не касается существа дела. Но оно касается как раз той самой «реальной политики» мирового сообщества, консолидированно противоставшего любому террору, которая не хочет учитывать собственно религиозного фактора нынешнего глобального конфликта.

Исламисты апеллируют к религии, то есть к тому, что считают последней истиной. Западные политики-глобалисты — к «исторической необходимости», которая пока еще тоже является для них последней истиной, а значит — «религией». Иначе говоря, конфликт секулярного Запада с исламистами — это конфликт колонизаторов, утративших религию, с теми, кто сопротивляется колонизации, кто религиозен и апеллирует к религии, сохраняющей свою безусловную значимость для миллионов. В конечном счете, это конфликт ценностей, несогласие относительно последней истины.

Как в этой ситуации можно победить исламистов-террористов?

Несомненно, только добившись того, чтобы они были признаны преступниками в самом мусульманском сообществе. И прежде всего — преступниками против своей религии.

Но вот этого-то как раз и не происходит, потому что один улем их осуждает с богословских позиций (примеры тому были), а другой — не только оправдывает, но и поощряет (примеры приведены). Причем западным «секулярным христианам» приходится помнить, что в исламе нет ни «папы римского», ни «вселенского собора». В исламском мире давно нет халифата и нет никакого централизованного духовного авторитета. В исламе существует внутриисламская религиозная свобода — в рамках традиции.

Что же делать в такой ситуации «христианскому Западу» с «мусульманским Востоком»?

Можно предположить, что если бы Запад пришел на Восток со своей *религиозной истиной*, то мусульмане могли бы ее и принять. У них есть ведь даже и определенная традиция ее принятия (хотя и с оговорками), потому что христиане и иудеи — это для мусульман «люди писания», то есть как бы религиозные предшественники ислама. И тогда в нынешнем «глобальном мире» можно было бы установить некий «религиозный паритет», реализовать некую схему «религиозного сдерживания». Можно было бы организовать постоянный межрелигиозный диалог. Это трудный диалог, но в принципе он возможен.

Однако Запад в целом — безрелигиозен, по существу — антирелигиозен. И поэтому он часто не понимает ни природы, ни силы «слабого» Востока. Эта сила — в религиозной мотивации жизни (в том числе и мотивации террористов-камикадзе).

Ничего не поделаешь: случилось так, что на пути секулярной глобализации «легла бревном» именно религия. Точнее, с одной стороны — религия, с другой — ее отсутствие или ее слабость. Христианство породило секуляризацию и одновременно утратило религиозный энтузиазм и наступательную силу, которая сегодня могла бы быть «лучшей обороной» против религиозного вдохновения мусульманского Востока. А претензии западной секулярной парадигмы развития на универсальность обнаружили свою беспочвенность.

Но такую же беспочвенность обнаружили и претензии исламской религиозно-политической парадигмы. «11 сентября» — это, в каком-то смысле, жест отчаяния. И жест мести. Только жест, ибо число погибших в Нью-Йорке ничтожно мало по сравнению с совокупным числом погибших в старых и новых колониальных войнах на мусульманском Востоке.

Таким образом, проигравшими оказались обе стороны: Запад, который оказался уязвим и который вынужден даже «свертывать демократию» ради своей защиты от недемократического Востока; и Восток, который, как оказалось, не смог предложить Западу ничего лучшего, кроме мести.

Поэтому «11 сентября» — этой двойной вызов. С одной стороны, это указание Западу на то, что вторая колонизация не пройдет, а если пройдет, то тем хуже Западу. А с другой стороны, это указание Востоку на то, что если он будет мириться со своими радикалами-исламистами, помогать им или просто втайне радоваться их успехам на террористическом поприще, то он в конце концов уничтожит сам себя, во всяком случае, сделает ничтожными все претензии на особую ценность и значимость своей цивилизации, опирающейся на религиозную истину. Потому что терроризм — это расписка в слабости, в неспособности позитивного участия в реальной истории, как она происходит в этом — сегодня уже по необходимости «глобальном» — мире. Ведь помимо идеологии «исторической необходимости развития», есть еще и неотвратимость исторических фактов. Идеологию можно опровергать, но с фактами приходится считаться.

Если исламский Восток хочет, чтобы с ним считались как с культурно-религиозным фактом, он должен отказаться от позиции непримиримой оппозиции факту западной истории и культуры. Он действительно должен предложить позитивную программу взаимодействия с так называемым мировым сообществом, то есть с «Западом». И эта программа, в соответствии со спецификой «восточной позиции», должна включать в себя религиозное обоснование.

В отличие от колониализма прошлого современная глобализация сама лишает Третий мир его локальности. Она выводит его на всемирный простор и вынуждает изнутри выявлять потенции если не конвергенции, то мирного сосуществования и взаимодействия с «другой ойкуменой». Восток окажется безответен, если будет только сопротивляться прочему миру и сваливать все беды на новых колониалистов. Равным образом и Запад будет благополучно сваливать все беды на террористов-исламистов, пока авторитетные представители исламского мира не протянут ему руки — от цивилизации к цивилизации, от религии к религии (даже к «отсутствующей», скрытой в тайниках «западных» душ). И только тогда подлинные грехи Запада выйдут наружу во всей своей неприглядности...

5.

Если действительно всерьез принимать религиозный фактор современного цивилизационного конфликта (который, конечно же, не решается посредством акций военных и спецслужб), не обойтись без межрелигиозного диалога — христианства и ислама. Смысл и сила такого диалога в том, что он добровольно ставит под вопрос позиции его участников — как извне, со стороны оппонентов, так и изнутри. Потому что осуществившийся диалог — это уже прекращение противостояния и обращение к глубинным смыслам и мотивациям друг друга и себя самих. В таком диалоге, развернутом до тематики религиозно обоснованных цивилизаций и культур, христиане должны объяснить не только христианство, но и то, как христианство породило современный Запад, а мусульмане — как и почему религия до сего дня определяет их образ мысли и жизни, способ существования их обществ и государств. Иначе говоря, как ни банально это звучит, стороны должны сделать усилие понять друг друга. И, достигая нового понимания друг друга, по-новому понимать самих себя, то есть обнаруживать возможность какого-то переосмысления своей собственной традиции в контексте и перед лицом вызовов реальностей современного «глобального» мира.

Возможно, что в ситуации господствующего ныне на Западе секуляризма только *религиозные* представители Запада, то есть христиане прежде всего, смогут понять религию и религиозность мусульманского Востока. То есть сделать то, чего совсем не могут или не могут в полной мере сделать секулярные политики-прагматики вкупе с их идеологическими советниками и экспертами. И, может быть, именно христиане смогут в нынешней ситуации помочь мусульманам разобраться с императивами и опасностями так называемой модернизации, которая может быть понята не как «вестернизация», а как призыв к исторической трезвости (если иметь в виду историю всего мира), как ответственная реакция локального, или, лучше сказать, регионального, мира («мира ислама») на вызовы современной, то есть общемировой, социокультурной и политической реальности.

А западным — как, впрочем, и восточным — политикам стоит напомнить, что *диалог* тоже имеет прагматическое измерение. Если они не хотят возобновления религиозных войн, и в то же время по существу такая война уже ведется, надо напомнить им, что многие войны кончались переговорами. И нынешняя «война цивилизаций» — с участием религиозного фактора — все равно рано или поздно должна перейти в фазу диалога.

Так не лучше ли начать его уже сейчас, пока военные действия не зашли слишком далеко и не привели к такой степени взаимной непримиримости, которая уже почти не поддается «излечению» посредством добровольного диалога?

Все вышесказанное приводит к выводу, что, по-видимому, созрела необходимость создания некоего *всемирного центра христианско-мусульманского диалога*. И инициатива создания подобного центра, какие бы конкретные формы она ни приняла, должна исходить *не от религиозных общин, но от государств и международных организаций*. Соответственно, они и должны финансировать этот проект. А это действительно должен быть *проект*, то есть акция, ориентированная на будущее. Диалог между исламом и христианством должен вестись на

самом глубоком уровне и вместе с тем охватывать разные аспекты встречи и взаимодействия соответствующих религий и культур.

Иначе говоря, он должен быть включен в политическую стратегию развития глобального мира в XXI столетии христианского летосчисления и в XV столетии летосчисления мусульманского.

6.

Итак, альтернативы диалогу нет — просто потому, что это форма и одновременно условие *сосуществования*. То есть того, что противоположно взаимоуничтожению.

Однако, это теоретическое утверждение. На практике же симметрии нет, поскольку, с одной стороны, в военном и экономическом отношении «мир ислама» несопоставим с совокупными силами так называемого мирового сообщества (во главе с Западом), иначе говоря, *взаимного* уничтожения в любом случае не будет. А с другой стороны, если Запад откажется от чисто силового решения мирового противостояния и пойдет на серьезный межцивилизационный и, соответственно, межрелигиозный диалог, это будет проявлением своего рода смирения Запада, то есть отказом от претензии на обладание последней, всеопределяющей истиной (и в цивилизационном, и в религиозном отношении). И это будет поистине христианской позицией.

Почему же христианской, возразят мне, ведь христианство, как всякая универсальная религия, по существу не может отказаться от притязаний на Истину (с большой буквы), которая «автоматически» исключает все иные «последние истины»?

А потому, возражу я в свою очередь, что особенность христианства, в сравнении с исламом, как раз в том и состоит, что оно всегда принципиально различало Религию и Политику. Религия может быть «политической», политика может быть «религиозной», но это — разные вещи. К тому же здесь нужно заметить — и это очень важно в данном контексте, — что и мусульмане, хотя и по-своему, приняли в свое время такое различение, когда в своем исламском государстве позволили христианам быть неполитической религиозной общностью: так, в Османской империи Константинопольский патриарх был энтархом, то есть легитимным главой религиозной христианской общины. А поэтому нынешний западный «секулярный мир», который стал и является таковым именно потому, что он был и в определенном смысле остается «христианским миром», является и *религиозным* партнером «мира ислама». Он является диалогичным, он открыт для диалога именно потому, что он — христианский. Не надо забывать, что в нем самом межхристианские противостояния в конце концов были преодолены и установилось мирное сосуществование конфессий — не за счет релятивизации соответствующих «конфессиональных Истин» («война» которых была подобна войне религий), а благодаря секулярному принципу, то есть признанию необходимости и «законности» уважения универсальных прав и свобод.

Таким образом, как Западу в его диалоге с исламом, так и исламскому миру в его диалоге с Западом надо смириться — то есть признать право другого быть другим. Для ислама это значит религиозно обосновать свободу совести.

Сделать явным свое убеждение в том, что Истина не может быть навязана силой. В конце концов, дать Богу свободу Самому побеждать — не в военных схватках между «верными» и «неверными», а в борьбе за сердце и ум человека.

В этом смысле можно сказать, что диалог двух миров должен вестись одновременно и на «религиозном», и на «секулярном» (общечеловеческом) поле. Потому что разделить их по существу невозможно. И в мусульманском мире политическое рядится в религиозные одежды, и в западном мире по видимости светское сохраняет глубинную связь с историческим христианством. А поэтому стратегическая задача заключается даже не столько в том, чтобы примирить ислам с христианством, или мусульманский Восток с постхристианским Западом, а в том, чтобы нейтрализовать радикалов, то есть религиозных фундаменталистов — с обеих сторон. Ведь не секрет, что во всех христианских конфессиях есть свои борцы за «чистоту веры», которые соединяют в нерасчленимый блок веру и идеологию, человека и общину, Религию и Политику. Разница лишь в том, что в христианском мире эти зелоты все-таки остаются маргиналами, а в исламском — порой задают общий тон, во всяком случае заставляют с собой считаться. И здесь — еще одна серьезная проблема, которая прежде всего является внутриисламской: исламисты должны стать маргиналами ислама. А это, в свою очередь, означает, что исламский мир — перед лицом «глобальной» реальности — должен *политически* решить вопрос о *религиозном* авторите́те. Внутрирелигиозная свобода хороша *внутри* религиозного сообщества. Когда же это сообщество выходит за свои границы, тогда, ради сохранения своего единства в том числе, оно вынуждается к тому, чтобы структурироваться в соответствии с глобальными задачами. И это тоже вызов и одновременно призыв — «справиться» со своей Истиной, найти такой путь сохранения своей идентичности, который не исключал бы идентичности другого.

Подводя итоги, нужно сказать, что религиозно-цивилизационное противостояние Запада и исламского Востока является действительным и очень острым противостоянием. По существу, речь идет о жизни и смерти. Позиция взаимоисключения, которая ведет к акциям «цивилизационной мести», — слишком реальна и слишком опасна для обеих сторон. Достаточно вспомнить палестино-израильское противостояние и соответствующие реакции в Европе, когда люди (и политики в том числе) просто встают на ту или иную сторону (решая при этом свои частные политические задачи). Оборотной стороной глобализации оказывается нечувствие некоторыми деятелями и их сторонниками глобального характера современных проблем. Как и всегда, мир воюет, но он должен подумать и о способах выхода из состояния нынешней войны. В деле прекращения войны цивилизаций должны принять участие обе стороны. И если «религиозный фактор» является значимым в этой войне, значит, без его прояснения и привлечения невозможно достичь мира, которого, несмотря на интересы некоторых политиков, взыскуют люди разных вер и жизненных укладов.

«НАМ НАДО НАУЧИТЬСЯ ВОСПРИНИМАТЬ ДРУГОГО КАК ДРУГОГО...»

Беседа члена редколлегии «Континента» Александра Кырлежева с профессором **Алексеем Журавским**, ведущим научным сотрудником Института восточных культур Российского Государственного Гуманитарного Университета, проректором по научной работе Библейско-Богословского Института имени Апостола Андрея Первозванного, автором книги «Христианство и ислам: социокультурные проблемы диалога» (1991), составителем хрестоматии «Христиане и мусульмане: проблемы диалога» (2000).]

— После 11 сентября внимание многих людей приковано к исламскому миру. Мир оказался в ситуации глобального конфликта. С одной стороны, очевидна религиозная составляющая этого конфликта, а с другой также очевидно, что мы имеем дело с политической проблемой. Для христиан в этой ситуации особенно важна проблема межрелигиозного диалога. Но надо сознаться, что мы, христиане, мало знаем ислам. Мы знаем, например, что в России живет около 15 миллионов этнических мусульман, что их религия возрождается, как и все религии после десятилетий государственного атеизма. Но первый вопрос, который нужно задать, касается самой этой религии. Как можно кратко ответить на вопрос: что такое ислам?

— Хотя я читаю об этом семестровый курс, пытаясь объяснить, что такое ислам, и не вдаваясь при этом в детали, на этот вопрос можно ответить и в нескольких словах. Но в этом случае лучше, наверное, корректно сравнить ислам с христианством.

В отличие от христианства, которое является религией ортодоксальной, нацеленной прежде всего на определение, что такое правоверие, ислам — это религия по преимуществу ортопраксическая, сосредоточенная прежде всего на культе. Хотя, конечно, и в христианстве ортодоксия ни в коем случае не исключает ортопраксию. В исламе, в отличие от христианства, в принципе нет понятия правоверия, потому что нет института, который бы мог определить, что такое правильная вера, а что — неправильная, нет в строгом смысле духовенства и нет института, соответствующего христианской церкви.

Ортопраксия — это поведение, «правильное делание» и сам культ. А культ в исламе — это его пять столпов. Первый: исповедание единства Бога — «нет Божества, кроме Бога», и исповедание пророческого статуса Мухаммеда — «и Мухаммед, пророк Его». Второй столп — ежедневная пятикратная молитва: каждый день мусульманин должен пять раз молиться, причем в довольно строго определенное время. Третий столп — добровольная милостыня. Четвертый — пост в месяц рамадан. Последний, пятый столп — хадж, паломничество, которое мусульманин должен совершить хотя бы раз в жизни. У нас в СМИ часто говорят о паломничестве в Мекку, но реально это паломничество не в Мекку,

а к Каабе, главному священному месту мусульман, которое действительно находится в Мекке, в мекканской, или заповедной, мечети.

Вот эти пять столпов, которые в принципе уже были сформулированы в VIII веке, до сих пор остаются неизменными.

— А какое место занимает интеллектуальная составляющая исламской культуры? Она существует параллельно с собственно религией?

— Нет. Просто были другие формы освоения интеллектуального потенциала других народов, древности. Например, такая форма, как хадисы — предания, которые формировались первые три века существования ислама. Хадис — это, как говорят сами мусульмане, рассказ о том, что сказал, что сделал или о чем умолчал пророк Мухаммед. Такое троякое определение. Через хадисы, короткие рассказы, постепенно осваивалась инокультурная среда. Но она не извне принималась, а осваивалась именно исходя из себя: составители хадисов переживали это изнутри, воспринимали, во многом искренне, как свое.

— Ислам — это библейская, авраамическая религия. Насколько радикален его разрыв с Библией? Или существует преемственность?

— Конечно, преемственность с Библией существует, но своеобразная. Здесь дихотомия близости и отдаленности. В 60-е годы один французский журнал написал, по аналогии с «железным занавесом», что между исламской культурой и христианской европейской культурой существует «стеклянный занавес»: мы видим друг друга, через какие-то жесты понимаем друг друга, но мы плохо слышим друг друга.

Действительно, ислам возводит себя к Аврааму — правда, через Измаила и Агарь. Причем эта традиция возведения к Измаилу и Агари, а не к Исааку и Сарре существовала еще в доисламский период у тех племен, которые приняли ислам, — у аравийских кочевников, бедуинов. Мухаммед просто ее активизировал, усилил этот момент. Ислам признает пророками и посланниками Божьими не только Авраама, но и Давида — признает Псалтирь, зуббар Давида, как отдельное писание, ниспосланное Давиду непосредственно Богом. Признает инжиль — Евангелие как тоже непосредственно ниспосланное Богом.

Но в то же время есть и то, что разделяет. Что это такое? Дело в том, что мусульмане воспринимают Книгу как непосредственно ниспосланную Богом людям, и не только Коран, но и Евангелие. Однако в исламе существует понятие *тахриф* — искажение, повреждение. С точки зрения мусульман, изначально и Тора, и Евангелие были ниспосланы в таком же чистом виде, как Коран, но потом иудеи и христиане частично их исказили. Об этом говорится уже в Коране. Позднее *тахриф* превращается, можно сказать, в целую дисциплину. Главная же претензия мусульман к христианам заключается в том, что они якобы изъяли из первоначально чистого текста Евангелия пророчество о Мухаммеде как последнем пророке, который придет после Христа. Это один конкретный пример.

Если для христиан Библия — это книга богодухновенная, то есть она писалась и Богом, и людьми, а люди все-таки ограничены временем, социальными отношениями и т.д., то для мусульман Коран, а раньше и другие писания были ниспосланы свыше. Бог — это прямая речь, а пророк — только медиатор,

посредник. Он не участвует в создании Книги, а только передает текст своей общине.

— Недавно я слышал о том, как один мусульманин, настроенный очень миролюбиво, размышлял о соотношении трех авраамических религий. Он выразил такую мысль: истина — едина, Бог — един, и поэтому можно сказать, что есть как бы три тома Писания: ветхозаветный еврейский Закон; Евангелие и Коран. Однако это очень двусмысленный образ: ведь «второй том» по существу отменяет первый, а «третий том» отменяет второй

— Дело в том, что «третий том» не совсем отменяет второй и первый. По крайней мере, первоначально так было, хотя позднее в исламе появились разные теории на этот счет. Но сначала было понимание того, что «третий том» как бы уточняет два других. Мне кажется, что по крайней мере в первый, мекканский, период своей проповеднической деятельности Мухаммед явно пытался объединить христианские и иудейские общины Аравии, которых в то время было очень много, за счет упрощения веры: есть только единый Бог, и в Него надо верить.

— Это был как бы шаг назад — к иудейскому исповеданию «Шема, Исраэль!», к короткой формуле единобожия?

— Это был более длинный шаг назад. Как писал Владимир Соловьев, Мухаммеду был присущ особый религиозный гений. Это великолепное определение, можно сказать, пророческое прозрение — тем более для христианина второй половины XIX века. На мой взгляд, этот гений заключался в том, что Мухаммед, отступая назад, миновал христианство и иудаизм и вернулся к Аврааму. В Коране есть слова: Авраам был первый мусульманин, то есть верующий. Ислам — это предание себя единому Богу, муслим — это просто действительное причастие: тот, кто верит, кто предал себя Единому Богу.

— И мы тоже говорим, что Авраам — отец всех верующих. В конце концов, все возводится к тому опыту веры и встречи с Богом, который описан в истории призвания Авраама — может быть, самом мощном фрагменте Ветхого Завета.

— Если обратиться к мусульмано-христианскому диалогу и говорить о том, насколько он возможен и чем он опасен, то, на мой взгляд, авраамическая тема наиболее перспективна. Не случайно об этом писал великий французский исламовед Луи Массиньон; об этом пишет и современный мусульманский автор Мохамед Талби (их работы опубликованы в подготовленной мною хрестоматии).

Другая тема мне представляется не то что опасной, а бесперспективной. Мусульманские полемисты и апологеты и в Средние века, и сегодня на исламо-христианских встречах предъявляют претензии христианам. Они говорят, что признают Библию как Книгу Божию, а христиане не признают божественного происхождения Корана. Говорят, что признают Иисуса великим пророком и посланником Божиим. Надо пояснить, что мусульмане отрицают божественную природу Христа, но признают Его девственное зачатие и рождение, правда, с уточнением, что это было сделано вечным повелением Бога: Ему достаточно сказать: «Будь!» — и будет по слову Его.

— А иудеям легче понять мусульман, чем христианам?

— Отстраненному исследователю, не принадлежащему ни к иудаизму, ни к исламу, кажется, что между Кораном и Торой довольно много общего. Обе книги в принципе законнические; в обеих говорит все-таки больше Бог (а в Коране только один Бог); в обеих много сходных установлений и так далее. Но в Коране есть один очень существенный упрек, адресованный иудеям: Бог накажет иудеев за то, что они возвели хулу на Марию. Это, пожалуй, единственное догматическое расхождение.

У Мухаммеда, видимо, были очень неплохие отношения с христианскими общинами. Может быть, христиане пошли не на вероисповедный, а на социально-политический компромисс, но иудейские общины этого не пожелали. И исторически складывается это вечное противоборство — сначала Мухаммеда и иудейских общин. Но надо уточнить, что в эпоху классического ислама, то есть примерно в IX-XIV веках, иудеи в мусульманском мире жили даже лучше, чем христиане, потому что нашли свою нишу. И христиан, и иудеев убивали во время народного гнева, но это происходило спорадически. Иудеи, так же как и христиане, занимали очень важные посты — как Иоанн Дамаскин до того, как уйти в монастырь. Иудеи занимались, например, ростовщичеством, поскольку Коран запрещает взимание процентов (сейчас, правда, это уточнилось за счет фетв — указов). Христиане занимались виноделием и врачебным делом — это идет от сирийских христиан.

Религиозного диалога между мусульманами и иудеями сейчас практически нет. Если говорить о попытках диалога между христианами, иудеями и мусульманами, то этот классический треугольник создать невозможно.

— Сейчас мы часто слышим от наших российских мусульман, что в исламе очень серьезный акцент делается на справедливости.

— Тема справедливости — действительно одна из самых важных, даже ведущая тема. Я не люблю глобальные обобщения, но можно сказать, что в идеале христианство сконцентрировано прежде всего на идее любви — любви Бога к человеку, человека — к Богу и любви между людьми. С точки зрения ислама, понятие «любовь к Богу» сомнительно (об этом писали такие великие мусульманские мыслители, как Ибн Ханбал, Ибн Таймия — это ханбалитская ветвь), а некоторые даже утверждали, что оно святотатственно (в суфизме — по-другому). Невозможна любовь между совершенно разными величинами — абсолютной и относительной. Поэтому любить нужно не Бога, а закон, то есть Книгу, а Бога — как законодателя. Второй момент, мы говорили о пяти столпах. Как они возникают в VIII веке, так они и существуют поныне — неизменяемые. Во всем мусульманском мире, начиная с африканского и американского ислама и заканчивая юго-восточной Азией, индонезийскими мусульманами.

— Пять столпов, молитвы — это больше, чем ритуал в нашем понимании?

— Пять столпов — это больше, чем ритуалы. Это приобщение себя к единой мусульманской умме — общине. Хотя в исламе нет священства в строгом смысле слова. Суннитский ислам (это 90% мусульман) не признает никакого посредника между человеком и Богом. В исламе нет понятия таинства; не может

быть человека, который через таинства наделен полномочиями, превосходящими его человеческие возможности. В этом мусульмане пошли к Аврааму...

— Мусульмане пошли дальше иудеев — к тому состоянию, когда нет жрецов, но каждый приносит жертву и себя в жертву, как Авраам. Это почти протестантский радикализм

— Да. И не случайно ваххабитов в первой половине XX века называли пуританами ислама. Так вот, каждый из этих столпов ислама, которые кажутся нам просто ритуалами, обрядами, для мусульманина в чем-то является таинством, точнее — тайнодействием.

— Можно провести параллель между христианским представлением о единой мистической Церкви и мусульманским понятием уммы, единой мусульманской общины?

— Довольно многие исламоведы условно сравнивают мусульманскую умму с христианской мистической Церковью. Кстати, некоторые западные исламоведы в первой половине XX века так и писали: «умма-церковь».

— В связи с темой ортопраксии вспоминается позиция Вл. Соловьева, который одним из первых поднял серьезно в христианской богословско-философской мысли тему ислама. Обращаясь к христианам, он говорил приблизительно следующее: «Мусульмане следуют своей религии, а вот у нас, христиан, ортодоксия и ортопраксия расходятся. Поэтому пока христиане не будут следовать своей религии, как мусульмане следуют своей, они не смогут перед ними свидетельствовать о своей вере».

— Владимир Соловьев всегда интересовался исламом — я насчитал 18 его работ, где он так или иначе касается темы ислама. Он начинает со свойственного для европейского XIX века крайне негативного отношения к исламу: это религия Востока, негативная, примитивная. Потом наступает период, о котором вы совершенно верно сказали: ислам — это укор иудеям и христианам (у Массиньона тоже звучит эта тема). Потом наступает теократический период, когда Соловьев понимает ислам через Авраама: в истории теократии он пишет, что всякая теократия начинается с Авраама, что Авраам — это ствол, но есть у него и побочная ветвь — ислам. И заключительный этап — это очерк «Магомет, его жизнь и учение» (надо заметить, что написание Магомет — только в заголовке, как своего рода дань читателям, а в самом тексте он корректно пишет Мухаммед). Здесь Соловьев признает особый религиозный гений Мухаммеда, говорит о том, что Мухаммед — это обращение к вере Авраама в единого Бога, что Мухаммед приобщает к вере в единого Бога очень многие восточные народы, пребывавшие тогда в язычестве (тогда такими терминами пользовались). И он называет ислам великой подготовительной религий к принятию истинного Бога.

— Может быть, говоря о диалоге, нужно думать о том, что все три великие авраамические религии, сохраняя свою идентичность, свою традицию, свои ритуалы и таинства, свою мистическую общину и т.д., должны идти именно в глуби-

ну — к вере Авраама как к основному ядру и вскрывать в себе этот опыт? Вообще, как идет этот диалог?

— О диалоге можно писать толстую книгу. Я сейчас считаю, после многолетних размышлений, что пока возможны два пути. Один — тот, о котором вы сказали. Но на этом пути мы должны уходить в себя и в коем случае не учить, как ты, мусульманин или иудей, должен верить, что у тебя неправильно, что правильно. Так было в течение почти четырнадцати веков, когда христиане говорили, что ислам — это ересь; надо его немножко подкорректировать, и все будет нормально.

Каждая религия может найти какой-то дополнительный положительный потенциал через собственные ресурсы, чтобы сблизиться, но сблизиться — не догматически. В 70-е годы в католичестве существовала эйфория: вот, сейчас мы быстро договоримся обо всем и будем друг друга прекрасно понимать. Сейчас Католическая Церковь более осторожно относится к этой теме — умудрил накопленный опыт диалога. К сожалению, у нас, православных, нет этого опыта диалога.

Второй путь касается очень важного, на мой взгляд, момента — не чисто религиозного, общечеловеческого: нам надо научиться тому, чтобы другого воспринимать как другого. И не просто воспринимать и принимать его как другого, но через свою культурную традицию понять, что он — другой, объяснить его через свою традицию как другого, освоить его как другого, сохраняя верность своей традиции.

— Это самая плодотворная позиция. Она как-то реализуется в диалоге между христианами и мусульманами?

— Да, реализуется. Можно назвать кружок из 18 человек во Франции. Это ученые — мусульмане и христиане, — которые действительно достигли огромных успехов. У них есть даже совместные книги. В принципе так и должно начинаться — с маленьких «очагов». Если их будет все больше и больше, — это и будут первым шагом. Второй важный момент — это, конечно, издательское дело. Должно выходить много не профанирующей, а грамотной литературы на тему диалога.

— Существование такой постоянно работающей группы обнадеживает. Если мы посмотрим, что сейчас происходит в СМИ, то увидим: с одной стороны — мусульманин почти всегда изображается с автоматом Калашникова в руках; но, с другой стороны, и мусульмане воспринимают христиан — во всяком случае представителей «христианского мира» — как людей с оружием, направленным против них. И самая удобная позиция заключается в том, чтобы утверждать, что взаимопонимание и мирное сосуществование возможно только на светском уровне. Все мы — граждане мира или граждане одной страны, и у каждого — своя религия. Я — другой, но — как гражданин, и давайте не будем трогать религию. Отказ вторгаться в религиозную область воспринимается как идеальный способ прийти к взаимному уважению. А тут мы видим, что есть, оказывается, какие-то христиане и мусульмане, ученые и богословы, которые могут вести диалог

друг с другом и находить пути взаимопонимания и на религиозном, богословском уровне

— Диалог, ограниченный светской сферой, — это тоже, конечно, хорошо. Можно сказать, что за счет светского потенциала мусульмане и христиане в рамках России могут понимать друг друга. Однако это недолговечно. Более того, если настаивать на возможности только светского характера взаимоотношений и сосуществования, то это может привести к большей конфронтации. Потому что если секуляризированная Европа это примет, то мусульмане не примут — для них не существует разделения между «церковью» и «не-церковью».

— Мы привыкли, что можем понять другие идеологии, мировоззрения, философии, религии как набор ценностей, представлений, идеалов, а здесь оказывается, что нельзя аутентично выразить ислам через привычные для нас схемы. Как быть христианам, если ислам — это по преимуществу ортопраксия?

— Не нужно думать, что только мы, христиане, принадлежащие к европейской культуре, можем понять другого — через научный язык, который мы создали, который нам представляется единственно верным для понимания других. Другие тоже по-своему понимают; важно понять, *как* они понимают.

Самое важное, что нужно сегодня, — это говорить разными способами: учитесь понимать другого таким, каков он есть, и таким, каким он видит себя. Луи Гарде, ученик Луи Массиньона, писал, что диалог, помимо всего, — это великая аскеза, что нужно смирять себя в диалоге, тогда и другие тоже будут понимать тебя. Я знаю многие подобные примеры. Так, принципиально изменилось понятие миссионерства (к сожалению, этим занимаются в основном только католики; мы это еще не осваиваем). Теперь это маленькие христианские общины, живущие во многих мусульманских странах, которые учат всех подряд, без деления на христиан и мусульман и так далее. Они принимают к себе любую мусульманскую девочку, любого мусульманского мальчика, соглашаясь на все требования их родителей, и учат их. И постепенно меняют к себе отношение.

— А случай в Афганистане при талибах, когда арестовали христианских миссионеров-благотворителей?

— Афганистан — это Афганистан, но давайте вспомним массу примеров и в Соединенных Штатах, и тем более в Северной Ирландии, когда католики похищали протестантов, протестанты — католиков... Не нужно думать, что такие эксцессы, такие проявления радикализма, экстремизма бывают только в исламе. Мы можем найти массу подобных примеров в любом религиозном сообществе.

— Значит, первенство в христианско-мусульманском диалоге принадлежит католикам?

— У католиков больше всего опыта. Протестантский опыт такого рода я знаю меньше. В протестантизме, насколько я могу судить, иная ориентация: это скорее дело какой-то частной инициативы или небольшой группы, не церковное. Для католиков же очень важными были решения Второго Ватиканского собора, который задал определенные догматические установки, которые затем были реализованы в диалоге.

— А как обстоят дела у православных, которые во многих странах живут бок о бок с мусульманами?

— Сейчас, слава Богу, ситуация в этом отношении улучшается. Например, митрополит Минский и Слуцкий Филарет в Белоруссии все больше пытается привлечь внимание к этой проблеме. Я уже три года читаю там лекции на богословском факультете в Европейском университете. Мусульман пока не приглашают, но об этом тоже идет речь. Но тот факт, что в богословское образование вводится такой предмет, как история ислама, как богословие диалога, — это уже очень много. Отец Виктор Савик из Смоленской семинарии тоже очень этим заинтересовался. Более того, он расширил круг предметов: помимо истории ислама в семинарии читается курс истории иудаизма, индуизма и буддизма. Это очень важно.

— В настоящее время, думаю, очевидно, что нашему духовенству необходимы хотя бы общие сведения об исламе и других религиях. Были примеры общеправославного диалога с иудеями. А с мусульманами?

— Были, я сейчас не припомню названия... Однако, на мой взгляд, они носят пока очень формальный характер. В советское время был определенный подход к межрелигиозным контактам: Что объединяет все религии? — Борьба за мир... Это, к сожалению, все еще остается. Существует и то, что я называю для себя демонами диалога: неверное понимание диалога. Очень часто можно слышать мнение, которое можно свести к определению: против кого дружим? Давайте, например, протестанты и православные, «дружить» против или мусульман, или католиков, или иудеев... К сожалению, такое тоже существует.

— А какой смысл имеют встречи, которые проходят последнее время между представителями Московской Патриархии и религиозными деятелями Ирана? Ведь шиитский ислам — это не основное направление в мусульманстве?

— Несомненно, встречи с иранскими религиозными деятелями имеют и религиозный смысл, хотя, конечно, они носят больше политический характер. В принципе шиитская традиция — не только иранская, наполовину она иракская, в Ираке 50% шиитов. Хотя шиитов всего около 10% в современном мире, но это очень мощная, очень своеобразная духовная традиция. Мы привыкли отождествлять шиизм с аятоллой Хомейни и совершенно не знаем его духовного содержания. Он хоть и был всегда подавляемым движением в силу своей малочисленности, но в историю внес огромный вклад.

— Последний вопрос: можно ли сказать, что по существу ислам — это мирная религия? Или все-таки там присутствует какое-то агрессивное начало?

— Агрессивный ислам в сегодняшнем мире — это максимум процентов 15. Поезжайте даже в Среднюю Азию, посмотрите на простых мусульман, и вы убедитесь, что, как писал Владимир Соловьев, христианам можно поучиться у них благочестию.

Александр КЫРЛЕЖЕВ

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В СИТУАЦИИ ПЕРЕМЕН

О церковно-историческом исследовании Сергея Фирсова*

Со времен «перестройки» и особенно после окончательного падения коммунистической Советской власти общественное сознание оказалось перед необходимостью искать ответы на многие важные вопросы, связанные с начавшимися крупными историческими сдвигами в судьбе страны. В том числе и на два таких: «Откуда мы?» и «Куда идем?». Причем ответ на второй, стратегический, вопрос оказался невозможен без ответа на первый — то есть без нового, теперь уже свободного от советской идеологии, осмысления недавней отечественной истории.

Сложность этой задачи связана, однако, не просто с необходимостью освободиться от старых стереотипов и избежать опасности впадения в новые идеологические миражи. Оказавшись в ситуации перестроечного и постперестроечного социально-психологического слома, пришлось очень быстро понять, что разобраться в его природе и перспективах невозможно, не осмыслив другой, предшествующий слом — революции 1917 года. А это обращение к истории минувшего столетия невозможно, в свою очередь, без одновременного обращения и к эпохе «до пришествия большевиков», и к эпохе «большевистского царства». Другими словами, понять эти исторические этапы можно только в их взаимной соотнесенности, а между тем здесь перед нами две не только взаимосвязанные, но и контрастные темы: «Россия, которую мы потеряли» и «Советская власть, которую мы, слава Богу, пережили». К тому же если советские времена еще на памяти ныне живущих поколений, то старую Россию приходится воссоздавать, а потому и оценки во многом зависят здесь не столько от предпочтений, сколько от знания исторического материала и кропотливого его изучения.

Впрочем, в области социальной и политической истории основная проблематика и логика перемен, происшедших на сломе исторических эпох в начале XX века, более или менее ясна. Предреволюционный период изучен достаточно хорошо, а переосмысление эволюции большевистского режима идет в последние годы полным ходом, хотя, к сожалению, его результаты далеко не всегда усваиваются широким общественным сознанием.

Иначе обстоят дела в особом секторе отечественной истории, а именно — истории Русской Православной Церкви. В этой области основные усилия как

* Сергей Фирсов. «Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.)». М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии. 2002. Серия: Церковные реформы. Дискуссии в православной российской церкви начала XX века. Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период.

церковных, так и светских исследователей направлены на изучение именно советского периода. Это и понятно, поскольку существует необходимость максимально полно и объективно описать чудовищные репрессии, направленные на подавление религиозной и церковной жизни в Советской России, а это стало возможно только с падением господства антирелигиозной идеологии и открытием архивов.

Но гонения на Церковь — уже перевернутая страница истории. Она важна сегодня прежде всего как память о подвиге, стойкости и страданиях тех, кого Церковь прославила под именем новомучеников и исповедников Российских XX века. Сознательно разрушительная политика большевистского государства по отношению к православию имела своей целью и следствием не только подавление и часто гибель людей, но и изменение церковного сознания, поскольку легальное существование Церкви в условиях идеократии не могло быть полноценным, требовало уступок и компромиссов. Власть «ломала» и «подминала под себя» Церковь, навязывая ей такие формы организации и жизнедеятельности, которые серьезно мешали ей выражать ее собственную природу, ее веру и миссию. Отсюда проблема так называемого «сергианства» — то есть способа легализации РПЦ при митрополите Сергии. А также — в позднесоветскую эпоху — оценки сотрудничества церковных иерархов с властью и спецслужбами, с одной стороны, и деятельности религиозных диссидентов, с другой.

Последствия опыта жизни в «подсоветских» условиях не могли не сказаться в новейший период восстановления и возрождения Русской Православной Церкви, когда внешние ограничения и стеснения прекратились. В условиях свободы Церковь приобрела субъектность в качестве крупнейшей религиозной конфессии, исторически теснейшим образом связанной с Российским государством, а в настоящее время поставленной перед задачей самоопределиться перед лицом светского государства и секулярного и в то же время многоконфессионального общества. Процесс такого самоопределения шел все последнее десятилетие и обнаружил сложность и противоречивость как церковного сознания в целом, так и позиции священноначалия, находящегося у церковного кормила. Это связано не только с особенностями социально-политической эволюции постсоветской России, но и с тем, что сама Церковь в конце XX века оказалась в совершенно новой, непривычной для себя ситуации — ситуации, которая не имеет исторических прецедентов.

Отсюда все споры о том, как Церковь должна относиться к государству и к власти вообще, к принципу свободы совести и к иным демократическим свободам, к другим российским религиозным конфессиям, наконец, к доминированию в обществе секулярных ценностей, а следовательно, и к возможности церковных реформ, которые сделали бы миссию Церкви в современном мире более эффективной. Разумеется, ее опыт пребывания на «Голгофе XX века» не дает ответ на все эти вопросы. Поэтому единственная эпоха, с которой можно вести диалог, — это начало века, время «до пришествия большевиков». И многие именно в том, теперь уже весьма далеком предреволюционном времени и пытаются найти образцы, примеры, идеи, которые могли бы стать ориентирами для прояснения сегодняшних проблем.

Насколько это оправданно? Был ли дореволюционный период «золотым веком» Русской Церкви, насильственно прерванным коварными врагами православной веры и России? Или же наоборот, Русская Церковь должна нести львиную долю ответственности за катастрофу 1917 года, поскольку, будучи государственной Церковью, она вместе с Империей не смогла предотвратить крушения старого мира под натиском агрессивного безбожия и революционной идеологии?

Для современной Церкви все эти вопросы отнюдь не являются «историческими». В отличие от общества в целом Церковь остро ощущает преемственность своего духовного опыта, которая сохраняется и воспроизводится в самых разных, до противоположности, внешних условиях. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке», — говорит апостол Павел (Флп 4:12). С точки зрения собственно религиозного содержания церковная жизнь при кесаре-язычнике и при кесаре-христианине, при православном императоре и при коммунистах-атеистах, при «либеральном» или «патриотическом» президенте — это та же самая жизнь, которая питается из премирного источника Божественной Благодати.

Но вместе с тем Церковь не может обойтись и без своего рода «идеологии», которая определяет ее отношение к мирским, прежде всего политическим, процессам. И не только отношение, но и участие в них. Именно здесь — главная трудность, с которой сталкивается церковное сознание.

Трудность эта связана прежде всего с тем, что политические реалии, с которыми имела дело Церковь в разные периоды своего существования, настолько различны, что очень трудно проводить какие-либо параллели, например, между такими двумя ситуациями, как «до большевиков» и «после большевиков». Для того чтобы сопоставление этих ситуаций оказалось плодотворным, необходима очень серьезная работа историков, — причем таких, которые, с одной стороны, учитывали бы специфику и, так сказать, внутреннюю логику самой церковной жизни, но вместе с тем рассматривали бы ее на фоне и в связи с жизнью социально-политической.

Именно с этой точки зрения, выход книги петербургского исследователя Сергея Фирсова — значительное событие в нашей церковно-исторической науке.

Автор так сформулировал свою задачу: «Рассказать о том, что представляла собой Церковь в эпоху императора Николая II, насколько она была готова к проведению реформ и чем встретила наступление воинствующего богоборчества после того, как самодержавие пало». В объемном (почти 600 страниц текста) труде Сергей Фирсов подробно останавливается на различных аспектах взаимоотношений Церкви с государством и обществом, которые в течение двух предреволюционных десятилетий, в условиях революционного брожения, претерпевали существенную трансформацию.

Основная «интрига» этих взаимоотношений заключалась в том, что государство мыслило себя «православным государством» и Церковь — своей интегральной частью; сама же Церковь не могла не ощущать свою собственную субъектность и, соответственно, свою собственную ответственность перед меняющимся на глазах обществом, которое обретало все большую самостоятель-

ность, особенно с момента введения «конституции» и веротерпимости в 1907 году. Но в то же время Церковь не мыслила себя и вне государства, а тем более в какой-либо оппозиции к нему, поскольку уже давно приняла синодальную парадигму церковно-государственных отношений, осмыслив ее как новую форму симфонии властей. Она смирилась с тем, что рядом с православным императором не было церковного предстоятеля-патриарха и что роль последнего, по существу, исполнял государственный же чиновник — обер-прокурор Синода. Этому способствовал тот факт, что последний Российский император действительно был человеком глубоко религиозным, осознававшим свою особую миссию как «верховного ктитора» и защитника Православной Церкви. Поэтому высшая церковная иерархия даже не могла помыслить что-либо требовать у самодержца *от лица* Церкви и *для Церкви*, — то есть занять позицию, предполагающую хотя бы формальное различение и разделение Церкви и Царства.

Это состояние церковного сознания и определило все сложности и противоречия процесса проведения церковных реформ и по существу привело к тому, что Церковь стала добровольным заложником государства в то время, когда оно само, под натиском исторических обстоятельств, было вынуждено реформироваться, отказываясь от монополии на власть и вводя элементы демократии. Православное государство отступало, освобождая место для политической борьбы, парламентской деятельности, свободного выражения мнений, самоорганизации неправославных религиозных конфессий (получивших право юридического лица), а Церковь оказывалась в двусмысленном положении, оставаясь, с одной стороны, частью, а с другой, своего рода сообщником государства. Именно в период первой русской революции и политических реформ Церкви было разрешено заняться вопросами собственного реформирования, однако как только наступил период так называемой «реакции», работа по подготовке церковного собора была заморожена. Иначе говоря, самодержавное государство попускало некоторую церковную самодеятельность лишь в силу своей слабости; набирая же силу, стремилось лишь сохранить статус кво.

Эта ситуация сохранялась вплоть до падения самодержавия в феврале 1917 года. Она усугублялась тем обстоятельством, что сама Церковь обнаружила способность к осознанию и осмыслению всего спектра проблем, касающихся ее внутренней организации и деятельности, что нашло свое выражение в отзывах епархиальных архиереев по вопросам церковной реформы (1905) и в работе Предсоборного Присутствия (1906-1907). «Материалы Присутствия стали доказательством богословской зрелости и правильного понимания социальных вопросов Русской Церковью, опровергая миф о пресловутой «реакционности» и исторической «отсталости» православных архипастырей, пастырей и активных мирян», — пишет С.Фирсов и показывает это в своей книге. Насильственно приостановленная властью подготовка к собору была возобновлена при Временном правительстве, и тот факт, что уже в августе 1917 г. Всероссийский Поместный собор открылся, свидетельствует о том, сколь много было сделано в предшествующие годы.

Собор покончил с синодальной формой церковного управления и избрал патриарха, но, увы, уже после «отмены» императора. Самодержавие так и не дало Церкви самоорганизоваться, держа ее при себе в качестве одного из «оп-

лотов старого порядка» в период, когда у него самого постепенно почва уходила из-под ног. Очевидно, что в таком положении Церковь не могла выступить как сколько-нибудь авторитетный для общества духовно-нравственный и идейный противовес революционным силам, стремившимся «переделать мир» по-своему. Лишь в краткий и весьма бурный период между февралем и октябрем 1917-го она обрела возможность свободно решать свои проблемы и искать свое собственное место в новой исторической реальности. Но эта реальность слишком быстро менялась и в конце концов обернулась страшными испытаниями как для Церкви, так и для России в целом.

Снова обращаясь к нынешней ситуации, приходится признать, что исторический опыт Церкви последних предреволюционных десятилетий является весьма противоречивым и не годится для прямых заимствований. На наш взгляд, одним из его уроков является осознание неполезности для Церкви ее слияния с государством (даже если это государство «православное») в эпоху, когда само общество мыслит себя как нечто самостоятельное, то есть не отождествляет себя с государством. (Надо отметить, что именно такая позиция выражена в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви, принятых Архиерейским собором 2000 года). Церковь должна быть самостоятельным субъектом, а именно одним из субъектов гражданского общества. Это нисколько не унижает ее статуса, поскольку, согласно евангельской максиме, истина познается по плодам, а принести плоды, значимые для общества, можно только в прямом взаимодействии с ним. Иначе говоря, в условиях свободы Церковь должна быть свободна — это условие, позволяющее ей завоевывать авторитет в обществе и таким образом осуществлять свою духовную миссию.

Однако, с другой стороны, свобода юридическая, свобода как чистая возможность сама по себе еще не гарантирует ее позитивной и эффективной реализации — на благо как Церкви, так и общества. Чтобы действительно быть субъектом социальной и культурной жизни, Церковь должна быть приспособлена к миссии в реальных исторических условиях, то есть хорошо организована. Эта «хорошая организация» означает, что устроение Церкви, во-первых, должно соответствовать ее богословскому самопониманию (сохраняемому в Предании), а, во-вторых, учитывать структуру современного общества и государства, с которыми она находится во взаимодействии. Опыт подготовки церковных реформ и их осуществления в добольшевистский период является примером того, как Церковь может реагировать на изменение исторической ситуации, сохраняя при этом верность своему Преданию.

К сожалению, то, что было сделано в этом отношении до начала широкомасштабных гонений на Церковь, не было закреплено на практике и не получило необходимого развития. Наступила эпоха, когда пришлось думать лишь о выживании и о сохранении хотя бы необходимого «минимума» церковной жизни. Сегодня же многие проблемы начала века снова — хотя и по-новому — стали актуальными. Они не исчерпываются вопросами, касающимися церковно-государственных отношений и структуры церковного управления. Не менее важными являются проблемы соотношения «консервативного» и «либерального» начал в церковной жизни и их влияния на по необходимости «центристскую» позицию священноначалия, призванного сохранять целостность церковного

организма. Об этом также пишет С.Фирсов в своей книге, равно как и о церковных и политических деятелях, которые находились в центре всех перипетий предреволюционной церковной истории. Среди последних — первоприсутствующие члены Св.Синода, его обер-прокуроры и, конечно, сам император, а также и «друг» царственной семьи Григорий Распутин, сыгравший особую роль в духовной истории России последних лет империи.

Подчеркну в заключение исследовательскую добросовестность и историческую беспристрастность автора этой содержательной работы. Оперируя историческим материалом, он не руководствуется собственными предпочтениями и субъективными оценками (хотя внимательный читатель может создать о них представление), но следует логике фактов и методу их сопоставления, что позволяет нарисовать объемную картину, из которой не исключаются — в угоду «концепции» или «идеологии» — элементы, на первый взгляд, исключающие друг друга.

Завершающая глава книги озаглавлена «Революционный слом». И она, естественно, вступает в особую перекличку с нашим временем. Ведь все последнее десятилетие мы тоже живем в условиях очередного «слома» — в политике, психологии, обыденной жизни. И этот «слом» напрямую затронул и Церковь, хотя именно она более всего призвана способствовать восстановлению разрушенного, прежде всего — в самих людях. Но ведь и саму Церковь составляют люди, переживающие исторические катаклизмы как события своей личной судьбы...

Вот почему и для церковного сознания этих людей, как и для сознания всего нашего общества, тоже чрезвычайно важно заново и очень серьезно осмыслить тот «слом», который произошел в России в первой половине XX века. Осмыслить так, чтобы суметь найти правильные, конструктивные решения в эпоху преодоления последствий «слома» конца века. Ведь именно для Церкви важна и характерна духовная преемственность жизни — вопреки разрывам и утратам, характерным для социальной истории.

Чтобы вполне осознать и пережить эту преемственность, с одной стороны, и разрывы, с другой, как раз и нужно изучать историю — и Церкви, и околоцерковного мира. Книга Сергея Фирсова — ощутимый вклад в такое изучение, и потому она способно ощутимо помочь такому осознанию и переживанию, столь необходимому в наше переломное время.

Пиама ГАЙДЕНКО

НАУКА И ХРИСТИАНСТВО: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЛИ СОЮЗ?

25 января с. г. газета «Известия» опубликовала под моим именем текст, составленный журналистом С. Л. Лесковым на основании телефонного разговора, в котором даже не упоминалась возможность какой-либо публикации. Ни о подготовке текста, ни о появлении его в печати под довольно-таки нелепым заголовком «Наука и религия должны избегать друг друга» я ничего не знала. Более того, во многом было искажено и мое понимание вопроса. 1 февраля «Известия» напечатали статью В. Л. Гинзбурга «Наука и религия в современном мире», где были критические замечания также и о «моей» статье. Чтобы разъяснить свою точку зрения, я и написала настоящий текст, сокращенный вариант которого (так что выпали многие из аргументов) был напечатан в «Известиях» от 22 февраля с. г. В полемике вокруг поднятых проблем с критическими замечаниями — во многом справедливыми — по поводу «моего» текста принял участие и академик Е. Л. Фейнберг («В защиту науки» — «Новые Известия» от 22 февраля с. г.), которому я глубоко признательна за то, что, узнав от меня о происхождении первой статьи, он сообщил об этом читателям.

Вряд ли у кого-нибудь есть сомнение в том, что наука и религия представляют собой разные способы осмысления и постижения мира и человека. Но можно ли на основании их различия делать вывод о том, что эти сферы человеческого духа извечно противостоят друг другу и друг друга начисто исключают, как это обычно делает атеистическая пропаганда? Правда ли, что наука как рациональное познание противостоит религии как иррациональной вере? Именно такую позицию защищает академик В. Гинзбург в статье «Наука и религия в современном мире», опубликованной в газете «Известия» от 1 февраля с.г. Поскольку автор статьи полемизирует в том числе и со мной, мне хотелось бы рассмотреть этот вопрос более обстоятельно. В какой степени

Пиама ГАЙДЕНКО — родилась в 1934 году в селе Николаевка Донецкой области. В 1957 году окончила философский факультет МГУ. Автор книг: «Экзистенциализм и проблемы культуры» (1963 г.), «Трагедия эстетизма» (1970), «Эволюция понятия науки», тт. 1-2 (1980–1987), «Прорыв к трансцендентному» (1997), «Вл. Соловьев и философия серебряного века» (2001). Доктор философских наук, член-корреспондент РАН, зав сектором «Философские проблемы истории и науки» ИФ РАН. Живет в Москве.

правомерно говорить об «абсолютной рациональности» науки и «абсолютной иррациональности» религии, особенно имея в виду христианство?

Сначала несколько слов о науке.

Если взять естественнонаучное знание в самой общей форме, то в нем можно выделить, во-первых, эмпирический базис, или предметную область теории (наблюдаемые факты); во-вторых, саму теорию, представляющую собой ряд взаимосвязанных положений (законов), между которыми не должно быть противоречия; в-третьих, математический аппарат теории и, наконец, экспериментально-измерительную деятельность. Все эти моменты тесно между собой связаны. Так, необходимо, чтобы следствия, с помощью специальных методов и правил полученные из законов теории, объясняли и предсказывали те факты, которые составляют ее предметную область. Теория же определяет, что и как надо наблюдать, какие величины измерять и как осуществлять эксперимент. Таким образом, именно теории в науке принадлежит ключевая роль. А поскольку теория есть строгое образование, имеющее свою внутреннюю логику развития, то легко прийти к выводу о чисто имманентном характере развития науки. К такому выводу и пришла позитивистски ориентированная философия науки XIX — первой трети XX вв. Однако в XX в., особенно начиная с 50-х годов, философы и историки науки обнаружили, что во всякой научной теории есть не до конца рационализируемое содержание, а именно такие допущения, которые в рамках теории не доказываются, а принимаются в качестве само собой разумеющихся предпосылок. К их числу относятся идеалы объяснения, доказательности и организации знания, которые из самой теории не выводятся, а определяют ее собою. Конкретный пример принимаемой как самоочевидная предпосылки — известное утверждение Галилея: «Книга природы написана на языке математики». Оно восходит к пифагорейской формуле «все есть число», родившейся в лоне философии, причем философии, возникшей в религиозном ордене, и только в XVII в., в механике это утверждение стало фундаментальным принципом изучения природы. Наука, таким образом, оказывается не замкнутым в себе имманентным процессом развития знания, а органически связана с культурой своей эпохи, с другими формами духовного опыта, прежде всего с философией, но — опосредованно — также и с религией, как я это постараюсь показать ниже.

Теперь немного о религии. Начнем с известного предрассудка об иррациональности религиозного сознания. Конечно, в истории существовало и ныне существует множество религиозных общин и сект, в которых находят выражение несхожие типы религиозного опыта, среди них и такие, которые резко противопоставляют веру разуму. Однако в христианстве религиозный опыт и рациональное мышление не противостоят друг другу как противники. Христианское богословие, опирающееся не только на Откровение, но и на разум, тоже, кстати, рассматривает себя как науку. Всякое религиозное учение, чтобы говорить о Боге, пользуется словом, т.е. логосом (разумом). С первых веков христианства, в эпоху патристики разум рассматривался как высшая из человеческих способностей. Вот что пишет тот самый Тертуллиан (II — III в.), чье имя обычно ассоциируется с известным афоризмом: «Верую, ибо абсурдно»: «...Разум есть дело Божье, так как Бог — Творец всего сущего — все предвидел, расположил и устроил согласно разуму и не желал, чтобы что-нибудь рассматривали и понимали без помощи

разума»[1]. Более того — именно в разуме христианские писатели видели образ Божий в человеке. У византийского богослова Иоанна Дамаскина (VIII в.) читаем: «Бог ... творит человека и из видимой, и невидимой природы как по Своему образу, так и по подобию..., ибо выражение: *по образу* означает разумное и одаренное свободною волею; выражение же: *по подобию* обозначает подобие чрез добродетель, насколько это возможно [для человека]»[2]. Что образ Божий заключается в разумности человека, учат Климент Александрийский, Василий Великий, Григорий Нисский и другие представители патристики. Не могу не привести в этой связи и слова Августина Блаженного: «Нет ничего могущественнее разума, ибо нет ничего неизменнее»[3]. И еще: «Образ Божий, по которому сотворен человек, заключается в том, чем человек превосходит неразумных животных. А это называется умом, или разумом, или сознанием...Образ Божий не в телесных чертах, а в ...форме просвещенного разума»[4]. Поэтому очень наивно звучит пассаж из статьи В.Гинзбурга: «Для того чтобы как-то сохранить свое влияние не только в темных массах, верящих в чудеса, церковь перестроилась и, можно сказать, признала науку, разум в качестве чего-то равноправного с верой. Упомянутая энциклика папы начинается словами: «Вера и разум подобны двум крылам, на которых дух человеческий возносится к созерцанию истины...» Надо изучать историю христианской религии по сочинениям французских материалистов XVIII в., чтобы прийти к выводу, что в папской энциклике конца XX в. церковь впервые признает значение разума наряду с верой!

В действительности именно рационализация христианской апологетики, происходившая в ходе отстаивания истинного содержания веры от намеренных и ненамеренных ее искажений, содействовала углублению общего исторического процесса рационализации сознания. В частности, в патристический период христианская теология формировалась в полемике с гностиками, арианами и другими духовными течениями; в этой полемике, а затем в тринитарных спорах отцы церкви опирались, помимо Священного Писания, на наиболее близкие христианству философские учения, такие как неоплатонизм, иногда — стоицизм, черпая свою аргументацию там, где философская мысль достигла высокой интеллектуальной культуры. Философское богатство эллинской мысли, перенесенное на христианскую почву, дает высочайшую и, подчеркну, именно интеллектуальную культуру. Поэтому относить религию, и притом безоговорочно, к сфере иррационального — недопустимое упрощение.

Специально хочется отметить, что в религиях с этически рациональными требованиями к образу жизни — таковы, в частности, иудаизм, христианство, ислам — человеческое поведение опосредуется знанием, объясняющим сущность разумно-нравственного божественного миропорядка и соответственно человеческих отношений. Религиозная этика побуждает к установлению смысловых связей между явлениями, и это в известной мере сближает ее с фило-

[1] Тертуллиан, Избранные сочинения, М.1994, с. 307.

[2] Творение св. Иоанна Дамаскина. Точное изложение православной веры. М. — Ростов-на-Дону, 1992, с. 151.

[3] Бл. Августин, Творения, т.1. СПб., 1998, с. 381.

[4] Там же, т.2, с. 380.

софией, поскольку последняя стремится понять именно смысловую структуру сущего, создавая — особенно в античности и в средние века — картину иерархически устроенного космоса. К слову сказать, эту цель ставила перед собой и античная наука — аристотелианская физика и даже греческая математика, как это показали исследования XX в.

И тем не менее из сказанного отнюдь не вытекает, что мы можем забыть о существенных различиях между христианством и наукой. Наука изучает то, что постижимо с помощью разума и опыта. Религия апеллирует к тому, что превосходит разум и не может быть проверено внешним опытом, хотя может открываться во внутреннем опыте веры, которая есть «обличение вещей невидимых». Но различие между этими областями духовной жизни не означает их полярной противоположности и взаимного враждебного противостояния. Правда, хорошо известно, что в определенные переломные эпохи истории, когда традиционные ценности и верования ставятся под сомнение, возникают такого рода противостояния (сошлемся на известный пример отношения Галилея с католической церковью). Однако гораздо менее известны исторические ситуации, когда религиозное сознание влияет на формирование тех самых предпосылок научной теории, которые в рамках теории не доказываются, а принимаются в качестве самоочевидных. История науки свидетельствует о том, что подлинное влияние христианства на развитие естествознания шло на гораздо более глубоком уровне, чем тот, к которому обычно апеллирует «научный атеизм».

Приведу пример, касающийся генезиса новоевропейской науки. Дело в том, что в период формирования экспериментально-математического естествознания (XVI — XVII вв.) произошел пересмотр важнейших оснований античной и средневековой физики и даже математики, было переосмыслено само понятие природы, как оно сложилось в античности и — в главном — сохранялось в средние века. Укажу наиболее важные из принципов, изменение которых привело в ходе научной революции к пересмотру оснований науки о природе.

1. Античная и средневековая физика исходила из разделения всего сущего на естественное (природное) и искусственное (созданное человеком). В античной философии и науке природа мыслилась через противопоставление ее неприродному, искусственному, тому, что носило название «техне» и было продуктом человеческих рук. Поэтому греки строго различали науку, с одной стороны, и механические искусства — с другой. Наука физика, согласно древним, рассматривает сущность вещей, их свойства и движения, как они существуют сами по себе. Механика же — это искусство, создающее инструменты для таких действий, которые не могут быть произведены природой. Механика — не часть физики, а искусство построения машин: она представляет собой не познание того, что есть в природе, а изготовление того, чего в природе нет.

2. Водораздел лежал также между небесным и земным, надлунным и подлунным мирами: надлунный был воплощением вечного порядка и неизменных движений, в подлунном царили непостоянство и изменчивость.

3. Не менее жестко различались между собой две области знания — математика и физика. Предметом математики были идеальные конструкции (идеальные объекты) и она находила себе применение прежде всего в астрономии, имевшей дело с наиболее приближенным к идеальному небесным миром.

Начиная со второй половины XVI в. происходит пересмотр этих принципов. Снимаются жесткие разделения между естественным и искусственным, с одной стороны, небесным и земным мирами — с другой; снимается и непереходимый водораздел между математикой и физикой. Чем же были вызваны такие радикальные перемены в научном мышлении? Какие факторы — внутринаучные, философские, религиозные обусловили столь глубокую перестройку базисных предпосылок науки? Если мы примем во внимание тот мировоззренческий, а точнее — религиозный контекст, в котором происходит формирование новоевропейского естествознания, то приходится скорее удивляться тому, что переосмысление понятий «естественное» и «искусственное» не произошло значительно раньше. В самом деле, для христианского сознания «естественного» в аристотелевском смысле (т.е. того, «что имеет в самом себе начало движения и покоя»), строго говоря, не существует: поскольку природа есть творение Бога, то «начало ее движения и покоя» — не в ней самой, а в Творце. Поэтому хотя средневековье принимало античное разделение естественного и искусственного, но различие между ними видели не там, где его усматривал античный мир: для схоластики естественное — это то, что создано бесконечным Творцом, а техническое — то, что создано человеком, творцом конечным. И не удивительно, что при таком воззрении природа предстает как machina mundi — машина мира, построенная бесконечным Творцом.

Не у кого иного, как у одного из творцов классической механики Декарта читаем: «Между машинами, сделанными руками мастеров, и различными телами, созданными одной природой, я нашел только ту разницу, что действия механизмов зависят исключительно от устройства различных трубок, пружин и иного рода инструментов, которые, находясь... в соответствии с изготовившими их руками, всегда настолько велики, что их фигура и движения легко могут быть видимы, тогда как, напротив, трубки и пружины, вызывающие действия природных вещей, обычно бывают столь малы, что ускользают от наших чувств. И ведь несомненно, что в механике нет правил, которые не принадлежали бы физике (частью или видом которой механика является); поэтому *все искусственные предметы вместе с тем предметы естественные*. Так, например, часам не менее естественно показывать время с помощью тех или иных колесиков ..., чем дереву... приносить известные плоды»[5]. Не случайно сравнение природы с часами мы так часто встречаем у ученых и философов XVI в. Различные часы могут показывать одинаковое время, даже если в конструкции их колес не будет никакого сходства. Важен эффект. Поэтому, говорит Декарт, нет нужды и при познании природы доискиваться, как устроены «колеса» ее «часов». Прежде наука стремилась понять природу в ее, так сказать, внутреннем устройстве, но, согласно Декарту, это невозможно, да и не нужно. Достаточно, чтобы вещи сконструированного нами мира вели себя так, как ведут себя вещи в мире реальном. В этом — принцип эксперимента. Декарт здесь сформулировал положение, которое легло в основу новоевропейского естествознания как его ставшая впоследствии само собой разумеющейся предпосылка: отождествление естественного и искусственно сконструированного, природы и ма-

[5] Р.Декарт. Избранные произведения, М., 1950, с. 539-540. — Курсив мой — П. Г.

шины. А подлинным источником этой предпосылки оказался христианский догмат о творении мира Богом. И, как видим, не случайно новая наука и научно-техническая цивилизация родились в христианской Европе, а не в Индии, Китае или других странах с весьма высоким уровнем культуры.

Именно такое воздействие религиозного сознания на научное творчество имеет несоизмеримо большее значение для развития науки, чем влияние личной религиозности того или иного ученого, — тема, которой так много места уделил в своей статье В. Гинзбург.

Остановимся и на другом моменте: на снятии противопоставления небесного и земного миров, определявшего специфику античного естествознания и не допускавшего применения в нем математики. Тут тоже не обошлось без существенного влияния христианства. Как ни покажется это неожиданным, но христианский догмат о Боговоплощении сыграл здесь важную роль, разрушив самые основы античного представления о полной несовместимости божественного и человеческого, небесного и земного. Ведь согласно этому догмату, Иисус Христос, Сын Божий, есть в то же время сын человеческий. Тем самым Небо как бы спущено на землю, или, что то же самое, земля поднята на Небо. Не случайно именно догмат о богочеловеческой природе Христа встретил наибольшее сопротивление греческих языческих ученых, сразу усмотревших в нем опасность разрушения самих оснований античной науки. И в самом деле, перенесение Земли на аристотелево Небо, законы движения которого могут быть познаны с помощью математики, в отличие от движений земных, уже содержало в себе возможность как коперниканской революции XVI в., так и снятие принципиальной границы между астрономией и физикой, что составляло предпосылку экспериментально-математического естествознания. Коперник начал то, что затем продолжили Кеплер, Галилей, Декарт, Ньютон и другие, устраняя остатки античного конечного космоса с его системой абсолютных мест, разделением надлунного и подлунного миров, естественного и насильственного движений, снимая онтологический барьер между естественным и искусственным и соответственно между физикой и механикой, а также между математикой как наукой об идеализованном (сконструированном) объекте и физикой как наукой о реальной природе.

У читателя может возникнуть вопрос: если христианство так сильно повлияло на изменение старой — античной — картины мира, то почему же экспериментально-математическое естествознание не возникло раньше — ни в V, ни в XII, ни даже в XIV веках? — Дело в том, что и для христианских теологов бесконечный Творец и творец конечный — человек — несоизмеримы по своим возможностям. Правда, в Библии человек поставлен очень высоко; как образ Божий он призван владычествовать над всем сущим на земле. Сегодня среди критиков индустриально-технической цивилизации распространена точка зрения, согласно которой именно иудео-христианское отношение к природе как объекту господства со стороны человека лежит в основе этой хищнической цивилизации и породившей ее новой науки.

Однако не забудем, что, согласно библейскому повествованию, человек после грехопадения утратил ту первоначальную чистоту, которая была источником как его силы, так и сочувственной близости ко всей живой твари на земле,

благодаря чему он мог «возделывать и хранить» природу, а не господствовать над ней как своекорыстный насильник. И в эпоху эллинизма, и в средние века сознание собственной греховности было у христиан очень острым, а потому на первом плане была задача спасения души, а не покорения природы. Нужны были серьезные сдвиги в мировоззрении, чтобы ослабить, а то и вовсе угасить чувство греховности человека, а тем самым снять пропасть между ним и божественным Творцом. Эти сдвиги и произошли в XV-XVI вв. под влиянием возрожденческого неоплатонизма и связанного с ним герметизма. Герметизм — эзотерическое магико-оккультное учение, восходящее к полумифической фигуре египетского жреца и мага Гермеса Трисмегиста. Герметизм располагал обширной астрологической, алхимической и магической литературой, получившей широкое распространение в эпоху Возрождения. Оккультные учения отличает от христианства убежденность в божественной, нетварной сущности человека и вера в то, что существуют магические средства очищения, возвращающие человека к состоянию невинности, каким обладал Адам до грехопадения. Очистившийся человек становится Вторым Богом и может самостоятельно управлять силами природы. Парацельс, Г.К. Агриппа, Джон Ди, Джордано Бруно, Флудд и др. создали образ Человека-Бога, способного не только до конца познать природу, но и магической силой воздействовать на нее, преобразовывать в своих практических целях.

В XVII в. наступила реакция против эзотерики и герметизма. Тут сказался дух Реформации и Контрреформации, возродивших христианское неприятие оккультизма и магии, астрологии и алхимии. Так, английский химик Роберт Бойль противопоставляет последователям Парацельса принципы научной химии; друг Декарта, известный ученый и католический монах Марен Мерсенн противополагает оккультизму картезианскую механику, критикуя воззрения Бруно, Флудда и Кампанеллы как антихристианские и антинаучные. Даже Фрэнсис Бэкон, именно магико-герметическим учениям обязанный своим убеждением в том, что человек — властитель природы и ее преобразователь, — даже он стремится отмежеваться от этих учений и отделить «научную магию» от «ненаучной».

Тем не менее приходится признать, что у истоков новоевропейского естествознания стоит не только христианство, но и герметизм. Печать своего двойственного происхождения оно несет на себе и по сей день. Новая наука в такой же мере унаследовала от античной науки и христианства любовь к истине и стремление с помощью разума постигнуть законы и структуру мироздания как прекрасного творения Божия, в какой и выросшую из магико-оккультных корней жажду овладеть природой, силой вырвав у нее ее тайны, преобразовать, пересоздать ее, даже если это грозит уничтожением всего живого на планете. В том числе и самого человека. Противоположность этих тенденций в современной науке настоятельно требует сегодня своего осмысления, особенно перед лицом тех опасностей, которые несут с собой некоторые открытия не только физики и химии, но и генетики. В идее клонирования человека сквозит характерное именно для магии упоение своей властью над природой. Человек хочет встать на место Бога и творить самого себя.

Нельзя не упомянуть здесь и еще одной опасности — опасности фантастических построений от имени науки — а то и прямого шарлатанства, — ко-

торые рождаются от убеждения в ее всесилии и всезнании, от утраты трезвости и добросовестности и в равной мере вредят как науке, так и нравственному сознанию человека.

Думается, что противоядием от всех этих разрушительных тенденций может послужить союз науки и христианства. Этот союз вполне естественен: он предполагает трезвость в оценке возможностей нашего разума, характерную как для христианского богословия, которое никогда не отождествляет человеческий разум с божественным, так и для выдающихся ученых. Вспомним Ньютона, который с подлинно христианским смирением оценил свои научные достижения, сказав, что он чувствует себя ребенком, играющим на берегу моря и радующимся, если ему удается находить то гладкую гальку, то красивую ракушку, тогда как перед ним лежит неизведанным великий океан истины. Вот это и есть трезвое сознание возможностей человеческого познания, которое нашло свое выражение в апофатической теологии и которого порой так недостает некоторым ученым.

ФИЛОСОФСКАЯ, ИСТОРИОСОФСКАЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

в русской периодике третьего-четвертого квартала 2001 г.

Обращаясь к материалам, посвященным ***ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ, СТАТУСУ ФИЛОСОФИИ, ЕЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ С ДРУГИМИ ОБЛАСТЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И СОВРЕМЕННЫМ ЕЕ ШКОЛАМ И НАПАВЛЕНИЯМ,*** отметим прежде всего довольно большое количество статей, посвященных обсуждению ***проблем постмодернизма.*** Вообще можно сказать, что дискуссии о постмодернизме стали для мыслящей публики сегодня столь же обыденными, как и разговоры о погоде. Журналы охотно предоставляют место для рассуждений на эту тему. Выделим наиболее интересные.

Д. Дубровский в статье **«Постмодернистская мода»** («Вопросы философии», № 8) рассматривает названное явление как чрезвычайно многоплановое образование, проросшее во все слои современной культуры. Это своего рода «коммуникативная поза», выражающая идеологию, психологию, менталитет и стиль поведения широких кругов так называемой интеллектуальной элиты. Тематическая широта публикаций, метафоричность дискурсов, значительная компилятивность мысли, ультрадиалектические формулировки, изыски стиля, множество неологизмов — все это создает серьезные трудности в определении идейных и концептуальных новаций постмодернистов. Зато ясно выражены основные интенции: сокрушительная критика традиционных ценностей, рационализма, гуманизма, историзма.

Дубровский считает постмодернизм знамением начавшейся информационной эпохи, которая, в свою очередь, характеризуется небывалой экспансией журналистики во все сферы культурной жизни. Эту напасть автор статьи называет «журнализмом». Последний как особая форма мышления претендует на отображение и истолкование любых явлений действительности, любых событий, любых сфер политики, экономики, науки, искусства, обыденной жизни и т.д. Сильная политическая и экономическая зависимость, острая конкуренция, постоянный цейтнот и ограниченная компетентность обуславливают неизбежную фрагментарность, ситуативность и поверхностность отображения. Действительность приобретает «клипоидный» характер; она дробится на произвольные куски, образуя фантастический конгломерат — «творческий монтаж» реальности.

Основной порок теорий и теоретиков постмодернизма (Ж.-Ф.Лиотар и Р.Рорти), по мнению автора статьи, состоит в попытках элиминировать гносеологию и онтологию, т.е. избавиться от фундаментальных проблем познания и бытия. В результате структура философского знания сплющивается до двух измерений — прагматического и аксиологического. Следствием этого становятся игровая экстравагантность и темнота «дискурсов» (умственных операций), множественность и относительная правомерность конечных выводов и непомер-

ный прагматизм установок. Противовесом же постмодернистской моде может выступить только научный способ мышления, «старые» принципы рационализма, требующие соблюдения логики, экспериментального подтверждения или опровержения, практического воплощения предсказанных возможностей.

Д. Деннет в статье **«Постмодернизм и истина. Почему нам важно понимать это правильно»** («Вопросы философии», № 8) обращается к критике англоязычного постмодерниста Р.Рорти. Свое понимание позиции, адекватной настоящему философу, Деннет определяет так: «мы должны нести ответственность за наши слова, осознавая, что эти слова, если в них поверят, могут иметь глубокие последствия — как хорошие, так и вредные». В связи с этим автора статьи печалит, что ряд наиболее продвинутых мыслителей-гуманитариев заявляют о тщетности посягательств на истинность знания по причине относительности последнего. Они аргументированно демонстрируют тщету собственных попыток отыскать истину, и наивно обобщают свой опыт в том духе , что путь к истине не ведом и никому другому. Разумеется в определении истины есть логические трудности, но ни один здравомыслящий философ не будет отрицать «существования организованного энциклопедического собрания огромного количества согласованных научных фактов». И хотя Р.Рорти снисходительно именует такой взгляд на истину «вегетарианским», Деннет видит тут мощный фундамент, а именно «базисный инстинкт» — делай все правильно и не допускай ошибки. Человек относится к виду существ, открывших сомнение, и нас постоянно гложет зуд поиска лекарства от сомнений, т.е. поиска истины. На этом стоит наука. Ее методы не застрахованы от глупости, но, по мнению Деннета, они предпочтительнее всех других.

Ностальгия по поиску истины и благородное намерение защитить «старомодную» философию вызывают потребность в обращении к ***испытанным рационалистам***. В № 9 «Вопросов философии» опубликована написанная в 1880-е годы **«Основная мысль моей философии» В. Дильтея**. До недавних пор Дильтей, положивший начало «философии жизни», в России не переводился. Эта статья — опыт историзации трансцендентальной философии, со времен схоластов считающейся медитацией о предметах, которые выходят за пределы чувственного опыта и эмпирического познания. Автора вдохновляло убеждение, что до него в основу философствования еще ни разу не был положен целостный, полный и неискаженный опыт, следовательно полная и целостная действительность.

Философия, понятая подобным образом, является, по Дильтею, наукой действительного.

Опубликован и перевод сравнительно новой (написанной в 1998 г.) статьи **Т. Нагеля «Мыслимость невозможного и проблема духа и тела»** («Вопросы философии», № 8). Автор — один из основоположников почтенного направления западной философии, именуемого «научный материализм» (не путать с диалектическим), — решает извечную психофизическую проблему ***отношения души и тела*** у человека. Никакие доказательства непосредственной связи между физическим и ментальным, полагает Нагель, невозможны. Твердо установлена только их экстенсиональная корреляция (распространенное взаимообусловленное соотношение). Понятие как часть научной теории сознания становится посредником между ментальным и физическим и из него вытекает актуальная необхо-

димость их связи друг с другом. История науки полна такими теоретическими понятиями. Они позволяют ученым заменить констатацию фактов («сырые корреляции») внятными объяснениями их взаимосвязи (редукциями).

Две последние статьи, быть может, демонстрируют излишнюю смелость и широту притязаний рационализма, отождествляющего философию и науку без различия ***предмета и способа познания***. Это вызывает критику не только у исповедников постмодернизма. Так, на семинаре, посвященном памяти М. Туровского, **В. Межуев** заявил, что философу совершенно неважно, отчего произошел человек. Пускай это решают ученые — психологи, физиологи, биологи. Следует четко разделять философское и научное знание. И философские вопросы недопустимо решать научно. Например, нельзя научно обосновать свободу. По Межуеву, вся современная культура идет под знаком критики этого мира, трагедия же XX века состоит в том, что мир теряет идеальное. Философы этот факт открыли, и научно он не объясним. Какая наука скажет, откуда берется идеальное? Научно это недоказуемо. И то, что наука может объяснить все на свете — самая страшная антиутопия. Необходимо ограничить права науки и перестать считать философию ее служанкой (как в средние века она была служанкой теологии). У философии совершенно особая роль*. Какова она, обсуждать не стали — семинар был на другую тему.

Менее эмоционально и более конкретно особенности философского знания рассматривает **Ю. Огородников** в статье **«Роль философии в университетском образовании»** («Вестник Московского городского педагогического университета», № 1). Автор напоминает, что философия помогает включить разрозненные научные и жизненные явления в целостную картину мира, дает понимание основных принципов (начал) человеческого бытия; сущности человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех ее проявлениях. Она стремится рациональными средствами создать обобщенную картину мира и места в нем человека. Философию нельзя заменить наукой; более того, без философии наука беспомощна. Как аргумент автор приводит суждение А.Пуанкаре: «Наука строится из фактов, как дом из кирпичей; но простое собрание фактов так же мало является наукой, как груда камней домом».

Свою апологию Огородников заключает утверждением, что философия — это фундамент нравственности, ибо обосновывая абсолютные этические принципы, она открывает путь для всестороннего развития индивидуальности.

Как известно, опытное и теоретическое знание составляют ***сферу науки и философии***, религиозное — ***богословия. Попыток объединить эти три области и создать нечто единое*** было много, но заметного успехов не достиг никто.

* Затронутая выше тема суверенитета философии и ее особой роли дает нам повод еще раз объяснить, какой смысл вкладываем в ***понятие «Гнозис»*** мы сами, редакция «Континента», назвавшая так эту рубрику журнала. В своем толковании этого названия мы исходим из непосредственного значения слова «гнозис» и потому и посвящаем этот раздел журнала как общим проблемам знания, принципам и способам обретения его, так и тем или иным содержательным опытам изучения и осмысления какой-то отдельной значимой проблемы, факта, процесса, явления.

Мешало и различие уровней понимания реальности, и, главное, различие языков выражения. И тем не менее подобные попытки предпринимаются вновь и вновь. Так дьякон **Георгий Завершенский** в статье **«Экзистенциальные аспекты богословия»** («Церковь и время», № 3) пробует изъяснить некоторые важные аспекты бытия в терминах философии существования. Экзистенциальный образ Бога является через познание себя и всего мира. Экзистенция Божества — это Его бытие, предшествующее всякому рассуждению или помышлению о Нем и потому не зависящее от наших представлений о Нем. Это есть Его присутствие, самость и личность. Познание же себя и окружающей действительности актуально и реально настолько, насколько бытие человека открыто экзистенции Божества и соучаствует в ней собственной экзистенцией. Опираясь на опыт патристики и классиков экзистенциализма, автор пытается дать приемлемую, по его разумению, модель «персоналистской онтологии».

Содержание понятия ***гнозиса как истинного богопознания*** предполагает и тайное (эзотерическое) знание. Мистический трактат иранского философа XII века **Сухраварди** имеет отношение к гнозизу именно в этом его аспекте (**«Шихат ад — Дин Сухраварди (Шейх Озарения) Свист Симурга»** — «Восток», № 5). Переводчик и комментатор трактата **Я. Эшотс** относит его к разряду «руководств для начинающих», к своего рода инициатическим рассказам эзотерической традиции ислама. Главная тема — внутреннее самоочищение адепта и обретение «озарения» души вследствие ее соприкосновения с высшим бытием. В первой части трактата определяется место «науки о познании Бога» среди других наук и описываются явления, наблюдаемые на начальных этапах духовного самоочищения. В качестве образца совершенного мистика фигурирует пророк Мухаммед. Во второй части Сухраварди описывает мистический опыт избранных — состояние «гибели» (фана — исчезновения в Боге) и классифицирует пять этапов восхождения по этому пути. Здесь же Сухраварди толкует хадис Пророка «Бог не избирает не ведающего другом <Своим>», т.е. обретший знания и постигший истинные сущности Бытия в большей мере — более совершенен. Эта часть трактата заканчивается описанием сущности мистической любви. Смысл заключительной части в том, что пока человек остается человеком, он не может должным образом познать Бога. Внешние и внутренние чувства — не что иное как путы, ограничивающие его действия и преграждающие путь к Истине. Поэтому сокровенная цель мистика — переплыть море чувственно воспринимаемого внешнего мира и добраться до внутреннего «Синая души», преодолеть материальную оболочку вещей и постигнуть их сущность.

К проблемам постижения Высшей Истины, но уже в параметрах собственно философского гнозиса, обращена и статья **В.Сетькова «Рационалистичесий символизм как новейшая гносеология XXI века»** («Ученые записки Нижнетагильского государственного педагогического института. Общественные науки», вып.1). Под ***символизмом*** автор изначально понимает то, что в себе и через себя, сознательно или интуитивно проявляет Высшее Начало; что передает в тексте, слове, знаке, связь Я и Сверх-Я, Я и Разума, Я и Мира. Путем виртуозного подбора цитат автор показывает, как представляли себе познание Высшего Начала корифеи мировой философии от Аристотеля до Лосева. Сейчас, на рубеже веков и тысячелетий, познание Высшего отлилось в форме рационального объяснения

всего явленного нам мира как символа. Это есть некий диалектический синтез знания и незнания, проявленный в чувственно наглядной форме.

Другим направлениям ***поисков современной философской мысли*** посвящены статьи С.Ольховской и А.Макарова.

Обращаясь к теории познания, **С. Ольховская («Современная мифология: антропологический перекресток»** — Ученые записки Нижнетагильского государственного педагогического института. Общественные науки, вып.1) утверждает, что современная гносеология и ее самое благовоспитанное чадо — наука, находясь в «тоске по целостности», пришли к созданию ***синергетики*** или теории самоорганизации — то есть единой науки о едином мире. Так или иначе, синергетика дает возможность говорить о способах объединения в одном исследовательском фокусе обоих миров — мира науки и жизненного мира человека, мира его экзистенции. Пока неограниченная всеядность синергетики выдает в ней все признаки мифа, который однако противостоит деструктивным способам познания (постмодернизм?), вселяя надежду на позитивность нашего познания и наделяет его ощутимыми образами и внятными схемами.

В статье **«Традиция против истории в философии современного европейского традиционализма. Диалог со временем»** («Альманах интеллектуальной истории», вып. 6) **А. Макаров** обращается к мыслителям консервативно-фундаменталистской ориентации — так называемым ***интегральным традиционалистам*** первой половины XX века. Это — Р.Генон, Ю.Эвола, М.Элиаде и некоторые другие. Эти критики историзма обосновывали необходимость радикального разрыва с западноевропейским, рационалистическим гуманизмом и пытались реставрировать подлинное традиционное видение истории. Рационализм и историзм секуляризовали (обмирщили) западную культуру. Классический иудеохристианский вариант гуманизма низвел все к чисто человеческим пропорциям. По словам Генона, это была попытка «отвернуться от Неба под предлогом покорения Земли». Позиция гуманизма повлекла за собой отрицание всего духовного, имеющего нечеловеческое происхождение. Категории духа были подменены понятиями разума, сознания, ментальности, психики. Философия изолировала разум человека от чистого трансцендентного и сверхиндивидуального интеллекта. Ангелическое в человеке убито, зато безосновательно обожествлено инфрачеловеческое (низменное). Человеческий интеллект оскудел, истинно интеллектуальная эзотерическая элита утрачена. «Новый гуманизм» проповедуется традиционалистами, как основа «несовременной методологии».

Традиционалисты пытаются очистить интеллект от логоцентрической установки, возвратиться к истокам бытия через деконструкцию и современного мышления, и современной социокультурной системы Запада. Этот подвиг нельзя совершить усилиями индивидуального мышления — необходимо получение тайного знания принципов универсальной Традиции. Дается это только через «духовное влияние», исходящее из «инициатических центров» древнего происхождения. Последнее автор воспринимает как рецепцию средневековых мистерий, т.е. негативно, но антимодернистским и антигуманистским концепциям традиционалистов прочит успех на рынке интеллектуалов-нигилистов.

Отметим, наконец, и статью **Н. Букреевой «Мышление и язык в философии искусства Мартина Хайдеггера»** («Ученые записки Нижнетагильского государ-

ственного педагогического института. Общественные науки». — Нижний Тагил, вып.1), где прослеживаются выявленные Хайдеггером ***связи мышления и искусства с бытием.*** Независимо от социальных преломлений, подлинным бытием Хайдеггер считает поэтизирование, а поэзию — наиболее «чистым «и подлинным видом искусства. Поэтизировать значит не придумывать что-то новое, не бывшее, а возвращать нечто к подлинному бытию, раскрывать истину, смысл. Мышление означает подлинное действие и выявляется языком. Сущность языка составляет сказ. Сказаться значит явиться, именоваться значит быть. Искусство, язык и бытие у Хайдеггера непрерывно связаны в сущности, одно проявляется через другое. Хайдеггер называет сущность искусства поэтической, имея в виду, что искусство дает истине возможность раскрыться. Искусство — язык события. Художественное произведение в полной мере отражает динамику бытия и раскрывает истину сущего, непосредственно, экономным языком искусства, т.е. универсальным языком, понятным каждому.

Русской философии и ее значению в рамках общих проблем гнозиса посвящена статья **«Русская философия: вердикт, реальность или/и миф»** («Логос», № 4). Это материалы круглого стола философов, не чуждых феноменологии.

Пытаясь организовать целенаправленное движение мысли собеседников, **М.Рыклин** формулирует проблему очень существенную для русской философии: отношение русского мышления к индивидуальной субъективности. Русская философия до определенного момента достаточно агрессивно заявляла, что индивидуация является препятствием к братству.

Е.Барабанов по этому поводу констатирует некий парадокс: описание соборности и коллективизма было на редкость индивидуализировано, сегодня же в тусовку, т.е. в некое коллективное тело, сбивает людей пафос индивидуализации.

М.Ямпольскому не нравится, что всякий философ русского происхождения, по общему признанию иностранных коллег, маргинализован и соотнесен с областью провинциального, локального российского явления.

Э.Свидерский замечает, что для многих западных философов проблема русской философии состоит в том, что в течение XX столетия она не ушла от стереотипов и парадигм философии века XIX.

На взгляд **В.Подороги**, философия не бывает ни русской, ни западной. Складывается какая-то идеология, связанная с центрацией некоторых западных представлений, когда они выступают в виде нормы. На Западе постоянно третируют русских философов, то допуская их до этого звания, то не допуская. В свое время, иронизирует Подорога, Гуссерль, Шестов и Шпет были коллегами; теперь же оказалось, что между ними нет ничего общего: один представляет немецкую философию, а двое других — какую-то русскую.

Э. Ван дер Звеерде тоже полагает, что нет национальной философии — ни русской, ни немецкой, ни английской, ни французской, но в смысле определенной среды существует Западная философия. В рамках этой среды интеллектуальная продукция производится и русскими философами.

Снова вступивший в разговор **М.Ямпольский** напоминает, что национальная традиция в философии восходит к XIX в., когда такая традиция носила институциональный характер. Нация — это институт, его обслуживает фикция

национальной философии. Настоящая же философия в принципе не обладает институционализирующей функцией. Наоборот, она исполняет дестабилизирующую функцию. Потому, что философия это прежде всего — критика, попытка развенчать любую систему догм.

Н.Плотников тоже полагает, что проблемы, по поводу которой ведется дискуссия, не существует. Существует культурная привычка, стереотип восприятия русского человека на Западе, но специфической русской философии не существует. Есть определенный тип самоописания философии и культуры. Русскость исчезнет сама собой, если русский философ на каждом этапе развития не будет подчеркивать эту русскость как особый способ самоописания.

Гость из Германии **Р.Грюбель** сказал, что большинство услышанных им на собеседовании высказываний напоминают элегический романс. Печальный взгляд из прошлого на современный мир, где привычные дискурсы ушли в былое и давно не работают.

А. Хаардт высказался в том смысле, что дискуссия не коснулась самого главного: связи мышления с языком. Необходимо ставить вопрос о потенциале русского языка, на котором выражаются философские мысли. Эта реплика перекликается с идеей Н.Автономовой о создании русского концептуального языка, о чем чуть ниже. В ходе же круглого стола эта тема продолжения не получила, разве что **И.Смирнов** заметил, что стиль русской философии — это самое лучшее в ней. Соловьев, Бахтин, Леонтьев, Розанов — замечательные стилисты и, может быть, особенности русской философии следует искать именно в этой сфере.

Окончательного вердикта, вопреки обещанному в заголовке статьи, вынесено не было.

Итак, обратимся и к упомянутой идее Н.Автономовой, изложенной ею в статье **«Философия и филология (о российских дискуссиях 90-х годов)»** («Логос», № 4). Размышляя над материалами круглого стола «Нового литературного обозрения» пятилетней давности, автор приходит к мысли, что главная проблема философии, филологии и вообще всего гуманитарного знания сегодня — это «концептуальный дефицит», который сказывается в особенной бедности «концептуального языка». И к философии, возросшей на российской почве, это относится в первую очередь, что объясняется семидесятилетним ее отрывом и от собственной, и от современной западной философской традиции. Именно поэтому сейчас, полагает Автономова, актуальной задачей для российских философов становится экстренная переработка огромного числа текстов западной гуманитарной мысли XX столетия. И философия одна с этим не справится. Концептуальные языки всегда создавались и обогащались за счет переводов. Но этот вопрос предполагает не только переложение с языка на язык, но и переход с одной культуры на другую. Необходимо, следовательно, построить концептуальный русский язык. И тут уже философии может помочь филология, профессионально призванная быть службой связи в культуре.

Практической направленностью, связанной с нынешним положением в российской гуманитарной науке, отличается и статья **Н.Брагинской «Профессия — русский, или Entdekung des Geistes* постсоветского интеллектуала»**,

---

* Открытие ума

помещенная под рубрикой «Постсоветский гуманитарий между Россией и Западом» («Новое литературное обозрение», № 50). Автор ищет пути выхода из ситуации, сложившейся в современном научном мире, где русский ученый ценится как просвещенный туземец, как феномен национальной культуры, а не мировой науки. Н.Брагинская составила проект «Общество, открытое в обе стороны, или русская гуманитарная наука по-английски в Интернете». Суть этого проекта — в создании и адекватном, по нормам цивилизованных стран оплаченном (800-1500 у.е. — и это непременное условие успеха предприятия!) переводе на английский язык корпуса текстов русской гуманитарной науки и в открытии специального сайта в мировой сети. В пилотном проекте предусмотрена организационная структура, бюджет и спонсоры...

А вот **Т. Венедиктова («Между языком и дискурсом: кризис коммуникации»** — «Новое литературное обозрение», № 50) полагает, что простого перевода русских идей на общедоступный английский явно недостаточно и самим ученым следует освоить ***современный научный язык*** («дискурс»). Условно автор статьи определяет дискурс как строй научной речи, характеризуемый специфическим описанием, обсуждением и структурированием материала, опосредованный иноязычным употреблением. Дискурс — искусственный рабочий метаязык. Его освоение — элементарное требование современной профессиональной грамотности. Он обеспечивает эффективное участие в общем разговоре и (что немаловажно) успешное продвижение на академическом рынке. Неумение ученого «переводить» с языка на дискурс и наоборот трактуется Венедиктовой как кризис коммуникации.

Обратимся к статьям, трактующим проблемы ***ИСТОРИОСОФИИ.*** И начнем со статьи **О.Русаковой «Предмет философии и методологии истории»** («Философия и общество», № 3), где прослежено, ***в какие концептуальные модели оформлялась философия истории в процессе своего становления в особую философскую дисциплину***. Условно их можно свести — в зависимости от проблематики — к трем основным типам. Во-первых, — *метафизическая* модель, включающая учение об исторической реальности и историческом процессе, проблемы логики исторического развития; исторические законы, исторический прогресс и регресс, свободу и необходимость, смысл истории. Во-вторых, — *эпистемологическая*, которая охватывает проблемы исторического знания и познания, логическую форму исторической мысли, историческое понимание и объяснение, методологию интерпретации исторических источников, субъект и объект исторического исследования, историческую истину, научное моделирование событий, ситуаций и процессов, соотношение эмпирических и теоретических уровней в историческом исследовании, типологию исторических фактов и теорий. И, в-третьих, *антропологическая* модель — то есть проблемы человеческого бытия и сознания, культурный и ментальный мир человека, феномены, обозначаемые понятиями «картина мира», «культурно-исторический тип», «ценностные ориентации», «история повседневности», «самоидентификация», «микрокосм — макрокосм», «культурная антропология», «тотальность».

Но **Г. Зверева,** будто откликаясь на уверенную академическую трактовку философии истории, описывает феномен ***«новой интеллектуальной истории»***,

имея ввиду плеяду французских постмодернистов (**«Понятие новизны в «новой интеллектуальной истории». Диалог со временем»** — «Альманах интеллектуальной истории», вып. 5.). Они адаптировали подходы современной феноменологии, аналитической философии, философской герменевтики, психоанализа, семиологии и литературной критики к историческому познанию и подвергли ревизии такие базовые категории академической историографии, как: историческая реальность, исторический источник, историческое исследование, объяснение, понимание, интерпретация.

В процессе оформления «новой интеллектуальной истории» произошло самоопределение так называемой новой философии истории — философии исторического нарратива, противопоставившей себя традиционной (эпистемологической) философии истории. Различия между ними заключаются в понимании самого предмета исторического познания. Работы «новых философов истории» представляют собой не реконструкцию (воссоздание) или интерпретацию (объяснение) исторической реальности, а ее репрезентацию. Философия истории становится разновидностью философии языка. В рамках «новой интеллектуальной истории» сложилось иное отношение к ремеслу историка, что вызвало резкую критику членов академического сообщества. Последние осуждали коллег за выход из допустимого теоретико-методологического многообразия. М.Фуко, пытаясь примирить эпистемологов и нарративистов, назвал изменения в устоявшихся академических представлениях об истории «переворотами» и «поворотами», т.е. сменой ракурса, взгляда, допускающей одновременно сохранение прежних позиций.

О том, что в 60-80-х годах XX века в результате послевоенного ***кризиса историографического мышления***, резко изменился взгляд на предмет и метод исторического исследования, пишет и **А. Олейников** в статье **«Временной опыт и повествовательный сюжет в феноменологической и в «новой философии» истории»** («Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории», вып. 6). Акцент был перенесен на изучение текстовой природы историографического дискурса, элементарной формой которого был признан исторический нарратив. Представления об истории как о метафизической сущности, как о закономерном процессе стали анахронизмом. На историю стали смотреть как на произвольно проектируемое прошлое. Относясь к историческому тексту как к повествованию (нарративу), исследователи стали применять и соответствующие приемы. Исторический текст стал носителем экзистенциального временного опыта и потребовал феноменологической проработки отношения времени и повествования.

Наконец, **С.Экшут** в исследовании **«Пространство интеллектуальной истории. Диалог со временем»** («Альманах интеллектуальной истории», вып. 5) тоже пытается рассмотреть ***предмет интеллектуальной истории***. Он отождествляет ее с историей гуманитарного знания. Это — «история человеческого интеллекта в его непрерывном стремлении постичь место и роль личности в обществе, культуре и историческом процессе». Интеллектуальная история есть не только непрерывный процесс творческой деятельности, но и совокупность ее результатов, локализованных в пространстве и времени. Единство пространства и времени, осмысленное в системе философских категорий, предстает перед исследователем как хронотоп — исходный пункт и простейшая клеточка рассмотрения

любой проблемы в пределах названной дисциплины. Все существующие типы исторического повествования можно свести к двум. В одних творческая деятельность рассматривается как нечто самодостаточное, оправданное самим фактом своего существования; в других — как завершение и воплощение замысла.

В отличие от адептов новой «интеллектуальной истории», **Ф.Петров** занят более традиционной историософской проблематикой. А именно — ее ***эсхатологическим*** прежде всего аспектом (**«Сущность и смысл учений о грядущей гибели мира»** — «Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории», вып. 6). Анализ многочисленных эсхатологических мифов и версий философской эсхатологии явно его не удовлетворяет, и он пытается сформулировать свое понимание сущности и онтологического смысла эсхатологии. Главный вопрос эсхатологии — вопрос о смысле существования мира, поскольку в конце времен сводятся воедино все линии мировой истории. В эсхатологическом предчувствии автор находит переплетение двух сущностных экзистенциальных чувств человека — надежды и страха. Преодоление абсурда бытия возможно только через смерть истории, посредством разрушения ее законов ради утверждения смысла каждой человеческой судьбы. В этом, по убеждению автора, и заключается положительный смысл эсхатологии.

Немалое место в философской и историософской периодике обозреваемого периода занимают и проблемы ***КУЛЬТУРОЛОГИИ,*** хотя **Н.Плотников**, автор статьи **«Советская философия: институт и функция»** («Логос», № 4), считает, например, что в 60-е годы произошла «депрофессионализация философии», одним из проявлений чего стало эпидемическое распространение дисциплины под названием «культурология», которая, по убеждению автора, представляет собой невразумительную смесь фрагментов социологических, филологических, этнологических теорий, разбавленных историософскими концепциями Шпенглера и Тойнби.

Чтобы аргументированно защитить культурологию от этой хулы, мне придется довольно подробно изложить статью **В. Кашубы «Дилемма этнологии XX века: «культура» — ключевое слово или лозунг?»** («Ab imperio», Казань, № 3). Автор полагает, что лейтмотивом, ключевым понятием, новой гражданской религией XX века была «культура». Столетие стремилось презентовать и интерпретировать себя через «культуру» и как «культуру». Во всяком случае едва ли существовала такая сфера жизни, такая общественная группа, такая социальная точка зрения, такой институт, которые не определяли бы себя в рамках культурной картины мира как одну из многочисленных «культур»: культура досуга, молодежная культура, культура бизнеса, альтернативная культура, городская культура и т.п.

В начале века (благодаря Й.Г.Гердеру) культура представлялась как идея извечная и универсальная, как «протонаучная» интерпретационная модель общества и мира, одновременно воплощающая в себе еще и модель социальной практики. Позднее, в 1940-е годы культуралистская модель фашизма делила мир, сводя государства и общества к их исходным культурам. Наложение этно-расистской матрицы позволяло полностью перекроить политическую карту мира. Рассовая принадлежность определяла генетическую и культурную ценность человека. Как реакция на фашизм выступала теория Б.Малиновского: каждой

культуре свойственна своя полнота и самодостаточность, и она удовлетворяет весь комплекс базовых, целевых и интегрирующих потребностей общества.

Следующий этап — 1970-е годы. Франкфуртская школа и ее критическая теория описывали культуру в качестве предмета, поддающегося идеологической инструментовке и изготавливаемого как товар. Историки обнаружили, что культурные нормы, считавшиеся вечными, непрерывно менялись. Менялись представления о естественной и человеческой природе, о самой культуре и цивилизации. Современный индивидуум представлялся как «культурный результат» исторического изменения социальных и личностных структур. Расширилось понятие культуры. Оно стало подразумевать весь образ жизни. Появились понятия «народная культура», «массовая культура», «культура рабочих» и т.д. «Культурные исследования» занимались изучением группового характера социальных процессов. Таким образом анализ общества осуществлялся как анализ культуры. Культура стала самой жизнью. Это уже результат не внутринаучной рефлексии, но общественного движения (феминистского ли, антивоенного или экологического). Культура стала важнейшим средством самоопределения и социального освоения общественного пространства.

Далее, на этапе 1980-1990-х годов, в дискуссиях о понятии «культура» главную роль начинают играть язык и текст. Выявление «текстуальной парадигмы» порождает герменевтический принцип интерпретации культуры. Она являет себя как «когнитивно схваченная и организованная в символические порядки повседневность», т.е. сразу и ментальная конструкция, и практическая реализация. Теперь в социальном отношении она не мыслится как единое целое (одной культуры больше не существует); она отрывается от своего пространственного местоположения (ее нельзя обозначить на карте); во временном отношении из устойчивого и длительного феномена она превращается в краткосрочный феномен с высокой способностью к переменам. А главное, культура больше не выражает суть общества. Это ощущается как кризис и угроза.

Обзор трансформаций, произошедших со смыслом понятия «культура» в XX веке, вынуждает автора прийти к выводу, что культура (как исторический феномен) никогда на самом деле не воплощала лишь прекрасное и истинное. Амбивалентность была ее сущностной характеристикой: культура всегда означала одновременно свободу и несвободу, консенсус и разногласия, знание и инстинкт, свое и чужое. Противоречивая эта двойственность, однако, не предполагает случайности или произвольности, она свидетельствует о разнице перспектив, об асинхронности и относительности. Она заставляет задумываться, обмениваться мнениями, вести переговоры. И эти сложности достижения взаимопонимания и есть «культура как она есть» и «культура как понятие».

Дополню суждения о культуре и культурологии наблюдениями авторов статьи **«Молодые культурологи на подступах к современности» Л. Гудкова** и **Б. Дубина** («Новое литературное обозрение», № 50). Анализу подвергнуты публикации начинающих — выпускников Института европейских культур. Однако общие рассуждения касаются и старшего поколения гуманитариев. По мнению авторов, еще в советскую пору понятие культуры в России стало своего рода «щучьим словом», спасительным паролем для «своих»; затем — модным и престижным предметом занятий в условиях инерции идеологического давле-

ния. С одной стороны, в это понятие вкладывалось все, что (по неумению или принуждению) не удавалось назвать иначе; с другой стороны, культура понималась как жестко организованная система. Впрочем, строгого определения понятия «культура» не существовало. Гудков и Дубин объясняют это отсутствием философии в Советской России, невозможностью рационализовать и систематически эксплицировать ценности в формах «философии культуры». Дурную службу оказала непривычка к собственным мыслям и вообще к теоретической работе, надежда получить все готовым с Запада. Сегодня последствия этого проявляются в однообразии и инерционности исследовательской работы, в уходе от собственного поиска, в расчете на готовое знание, в конформистском модничанье и лукавстве мысли, в «постмодернистском стебе».

Молодые культурологи сегодня не удовлетворены имеющимися в их распоряжении языками описания и анализа и чаще всего прибегают к заимствованным концепциям микроистории, массовой культуры, повседневности, мифа (фольклора), телесности, желания (соблазна), гендера (женской культуры) и т.д. Однако ключевые понятия этих концепций сами еще нуждаются в теоретической доработке и спецификации, Но главная методологическая ошибка молодежи, по мнению авторов, в том, что подобные концепции не отличают переживания культурного человека-участника от инструментов научной рефлексии над артефактами культуры.

Что касается старшего поколения, то его представители явно торопятся при жизни возвести себя в ранг «классиков», увы, не замечая, что механизм авторитетов уже не действует и культурологические понятия метров сохраняют значения только для них самих.

К методологическим проблемам современной историософии и культурологии имеет отношения и статья **А. Ястребицкой «Лев Платонович Карсавин: творчество историка и историографический процесс»** («Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории», вып.6). Автор хочет изменить упрощенный стереотип восприятия Карсавина как историософа, «эволюционировавшего» от эмпирии исторических этюдов до метафизической картины монистического мира. Автор считает Карсавина историком культуры par exellence. Культура — это ключевое понятие в карсавинской концепции исторического процесса и его познания: «Культура — история целиком». Исходным для познания истории культуры может быть любой ее фрагмент, но Карсавина интересует сама ее метафизическая суть. Историк, по его убеждению, должен искать нити, связующие культуру с идеей человечества, с Абсолютной истиной и Абсолютным благом. Здесь речь идет не о божественном промысле или абсолютно недосягаемом знании, но об имманентно присущем каждой исторической индивидуальности осмыслении себя в отношении к абсолюту. Идентификация такого рода структурирует коллективное и индивидуальное сознание, образ жизни и формы поведения. Движитель истории Карсавин усматривает в самой человеческой психике, в индивидуальном сознании и мышлении, направляющих человеческие практики. Психическое в социальном целом, непрерывность исторического развития человечества как самораскрытие, человек как ключ ко всем наукам — такова главная идея творчества Карсавина, внятно звучащая сегодня в хоре разноименных антропологий (исторической, культурной, философской и т.п.).

Отметим, наконец, и статью **А.Пигалева «Разрыв в интеллектуальной истории как смена модели всеобщности (христианство на фоне истории философии). Диалог со временем».** («Альманах интеллектуальной истории», вып. 5), где тоже делается попытка подобрать историософские и культурологические методологические «ключи» к человеческой истории. Автор предполагает существование особых образований, которые согласовывают жизнедеятельность человеческого рода как единства разнообразия. Называет он их «машинами всеобщности» — они поддерживают культурную идентификацию. Философия, с его точки зрения, — одна из таких «машин», ибо автор склонен рассматривать историю культуры как следствие исторических метаморфоз философского дискурса. Европейская культура до сих пор ищет свои метафизические основания. Но только благодаря христианству, считает автор, метафизика приобрела новые качества и теперь алчет целостности в новых моделях всеобщности и социокультурного единства.

Довольно широко и разнообразно в обозреваемый период представлена ***СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ*** — прежде всего, естественно, в ее обращении к современности. Катастрофы XX века не могли не отразиться в мысли социальных философов Запада.

Эти рефлексии рассматривает **И. Кравченко** в статье **«Общественный кризис XX века и его отражение в ряде западных концепций»** («Вопросы философии», № 8). Главная их посылка: ***современная цивилизация*** находится ***в состоянии глубокого исторического кризиса.*** Основные катастрофы XX века — две мировые войны, взлет и падение тоталитаризма, кризис империализма и капитализма. Прозорливый марксизм, увы, не заметил резервы и возможности этих систем эволюционировать, приспосабливаясь к новым условиям. Позднейшие западные исследователи (не буду вслед за автором перечислять длинный ряд знаменитых имен) обнаружили, что общество динамично, а история — процесс закономерной смены эпох, «стадий роста». Выход из кризиса представлялся этим авторитетам как целенаправленный и управляемый процесс. Появилось огромное количество научных институтов и организаций, занявшихся производством антикризисного знания. Стала осуществляться массовая, но добровольная творческая мобилизация общественной мысли. Среди достижений ее — идея осовременивания, модернизации человека. Это было откликом на общую теорию модернизации. Разработанная первоначально для развивающихся стран как временный способ ускорить преодоление отставания, теория эта провозгласила обновление универсальной формой развития любых стран на всех этапах их истории. Главным антикризисным аргументом и основной практической задачей теории развития стало формирование общества нового динамического типа, способного активно совершенствоваться, гибко и дисциплинированно изменяться, адаптируясь к новым требованиям и условиям существования. Концепции индустриального и постиндустриального общества были преобразованы в проекты «Нового общества», «постсовременного», «великого», «активного», «кооперативного», «организационного», «информационного» и даже «телепатического». Все они ориентированы на процветание и благоденствие, что кажется естественным для любого рационального проекта легитимной институциализированной власти.

М. Мунтян в статье **«Постиндустриально-информационное общество как концепция новой глобальной цивилизации»** («Безопасность Евразии», №2), как бы продолжая предыдущего автора, рассматривает ***концепцию устойчивого развития*** и ***концепцию постиндустриализма***, которые, по его мнению, наиболее продуктивны и наиболее достоверно отражают научные, технологические, социальные и морально-этические реалии современного мира. Автор помнит глубокомысленное предупреждение К.Ясперса, что де «...история имеет глубокий смысл, но он не доступен человеческому сознанию», однако в терминах указанных эвристически продвинутых теорий пытается объяснить и описать современную цивилизацию, называя ее постиндустриально-информационной. Описывает по полной схеме: человек, семья, народонаселение, технологический уклад, экономический комплекс, социально-политические институты и структуры, духовная сфера. Из описания следует, что постиндустриализм (как в некотором роде историческая формация в ряду ...феодализм — капитализм — империализм...) самопроявляется в нескольких фундаментальных процессах: 1) возникает новый постиндустриальный тип производства, в котором человек занимает позицию «носителя всеобщих производительных сил»; 2) экономика товара и денег становится экономикой человеческих способностей, т.е. человек становится средоточием всех проблем; 3) постиндустриальная хозяйственная деятельность превращается в экономику «дорогого человека», эффективного труженика; 4) увеличивается контроль общества над социальной и природной средой. Венчается все это Всеобщей гармонической глобализацией: исторический плюрализм стилей и образов жизни трансформируется в некую органическую разнообразность, являя специфическое единство разноплеменного человечества.

Программу новой ***политической стратегии***, соответствующей новому веку, формулирует **В.Манус («Принципы политической экологии и устойчивое развитие в XXI веке»** — «Экология — XXI век», т.1, № 1). Автор провозглашает политическую экологию новым политическим и религиозным мировоззрением и основанием политической философии. Принципы политической экологии должны определять поведение общества, т.е. природа диктует политику людей. С точки зрения автора, доктрина устойчивого развития, предполагающая непрерывный рост благосостояния человечества в глобальных масштабах, увы — иллюзия, напоминающая утопии об идеальном обществе и земном рае. Например, только один прогноз неустойчивости климата ставит под сомнение всякое устойчивое развитие и будущее благополучие, а кроме этого грядет опустынивание земель, демографический рост, потеря лесов и дикой природы. Только политическая экология — естественнонаучная теория политики — может найти наиболее оптимальный вектор развития.

Автор снисходителен к читателям и не обязывает нас принимать все им написанное один к одному. Из его чисто умозрительного пассажа он сам делает такой практический вывод: следует научиться остерегаться великой иллюзии бесконечных возможностей и возыметь умный страх и серьезную ответственность.

В контексте глобализации возникает и ряд серьезных ***геополитических проблем***. **В.Белокриницкий**, автор статьи **«Восток на рубеже веков — некоторые итоги**

и перспективы развития» («Восток», № 5) обращает внимание читателей на развивающиеся страны Востока, т.е. государства Азии и Северной Африки. За прошедший век, по западным критериям, они достигли успеха в политическом, экономическом, социальном и культурном развитии. Однако значение Востока как единого геополитического региона снизилось. Этому способствовали внутреннее размежевание экономически преуспевающих стран, богатых нефтью, и растущего числа суверенных, но бедных государств. Распад СССР «высвободил» новую группу азиатских государств и ускорил наметившиеся ранее геополитические изменения. Кроме того увеличилась роль региональных центров силы: к Китаю, первому из самостоятельных азиатских «геоигроков», добавились Индия, Иран, Ирак и Саудовская Аравия. В исламском мире наметились контуры метагосударственного радикального движения, напоминающего революционно-коммунистический интернационал. Наконец, перестает быть актуальной сама цивилизационная оппозиция Запад — Восток, так как возникает оппозиция Север — Юг, ориентированная на уровень экономического и социального развития государств.

Заметные успехи Востока в политической сфере, т.е. обретение государственного суверенитета и демократизация власти, не дали соответствующего экономического эффекта. К концу столетия в странах Азии и Северной Африки значительная часть населения живет за чертой бедности.

Процесс современной глобализации ставит, далее, перед философской мыслью и ряд ***морально-этических проблем***. Политика требует моральных обоснований.

Б.Капустин в статье **«Различия и связь между политической и частной моралью»** («Вопросы философии», № 9) рассматривает основные способы связи морали и политики, испытанные в истории мировой политической мысли. 1. Мораль и политика отождествляются — для отдельного человека благом является то же, что для государства. 2. Мораль и политика не имеют ничего общего и существуют в разных несоприкасающихся плоскостях человеческого бытия. 3. Мораль и политика различны, но могут быть соединены таким образом, что первая (мораль в форме права) выступает ограничительным условием последней (политики). 4. Мораль согласуется с политикой только на уровне целей, тогда как на уровне средств они различны до противоположности. 5. Связь морали и политики опосредована тем, что автор называет политической моралью и где разрешается неустранимое противоречие между политикой как коллективно организованной, конфликтной властной деятельностью множества субъектов и частной моралью как совокупностью абсолютных и универсальных ориентаций индивидуального сознания. Политическая мораль показывает, при каких условиях политика, оставаясь самой собой, может быть моральной, а также каким образом частная мораль входит в жизнь политики. Политическая мораль, полагает автор, является единственным теоретически обоснованным способом связи политики и морали. Демонстрируется это на примере готовности индивида отдать жизнь во благо государства. Мораль может дать нормативное основание готовности умирать. Но это основание находится в сфере ценностей коллективной, а не индивидуальной жизни. Свободное признание этих ценностей должно быть правом индивида, обеспеченным

самим коллективом. Такое обоснование и такая связь индивидуального морального суждения и общепризнанных моральных ценностей коллективной жизни и есть то, что дает политическая мораль.

В сфере тематики политической морали созрела и статья **С. Аверинцева «Преодоление тоталитаризма как проблема: попытка ориентации»** («Новый мир», № 9). Один из главных уроков, которые автор извлекает из анализа тоталитарных безумств, состоит в том, что безумством оказывается всякая система рассуждений, когда она становится некритической по отношению к себе, т.е., по Аверинцеву, необходим трезвый взгляд — и прежде всего на самое себя.

Тоталитаризм рассматривается в его германской и советской версиях. Для нацистского дискурса характерно всех противников по самой своей природе считать недочеловеками, для советского — противники все, кто не хочет стать «другом Советского Союза». Тоталитаризм стремится всех граждан втянуть в ответственность за каждое действо, в некое якобы спонтанное участие в виде имитированных выборов, демонстраций с требованием расправ и т.п.

Однако «преодоление» должно реально оценивать текущие политические ситуации и избегать мифологических экстраполяций. Такую, например, как суд над коммунистическим тоталитаризмом наподобие Нюрнбергского. Чтобы осуществить это, нужно полностью забыть об эмпирической реальности Нюрнбергского процесса и видеть только некую отвлеченную моралистско-юридическую парадигму. Реальные предпосылки Нюрнбергского процесса были подготовлены всемирной моральной рефлексией. Суд над коммунизмом грозил вспышкой необузданного террора. К счастью, произошел компромисс: мы освободились от тоталитарной идеологии, но в виде уплаты за мирное и бескровное освобождение, прежнее начальство осталось на своем месте (нечто похожее на программу Солженицына в «Письме вождям Советского Союза»). Итак, прежний порядок не был побежден ни внешней силой, ни восстанием снизу, он был демонтирован представителями самой партийной элиты и «pacta sunt servanda» — договоры должны быть соблюдены.

Вообще программа «преодоления тоталитаризма», когда она становится программой перевоспитания масс, сейчас же обретает опасную близость с тем самым тоталитаризмом, который собирается преодолеть. Появляется соблазн создания «нового человека», реставрируются приемы «монументальной пропаганды», возникает склонность «петь хором». Современный либерализм, взявший на себя задачу перевоспитания народов, наподобие любой другой идеологии нисходит до лозунга, до примитивного жеста, навязывая их как единственную возможность социальной акции. Это не столько защита личного выбора, сколько отмена смысла такого выбора. Это — идеологически мотивированное навязывание определенного образа жизни всему миру без разбора и при том в качестве квазисакрального символа ценностей демократической цивилизации. Естественно возникшая реакция демоса на такую демократию заставляет его прислушиваться к самым одиозным глашатаям антилиберализма.

Но даже такому тоталитарному явлению, как национализм, находится объяснение, хоть и не оправдание. В №3 «Ab imperio» (Казань) опубликован перевод фрагментов из книги известного историка и теоретика национализма **Х. Кона**. По его мнению, национализм предполагает существование — в реально-

сти или в идеале — правительства, обладающего юрисдикцией над определенной территорией. Механизм возникновения национализма основан на древнейших и примитивнейших человеческих чувствах — любви к месту, где родился или провел детские годы, к своему языку, к родным обычаям. Эти чувства не формируют национализм, но с ним соотносятся. Они — естественные элементы национализма. Сам же национализм — не естественный феномен, не продукт «вечных» и натуральных законов, а результат роста социальных и интеллектуальных факторов на определенном этапе истории (конец XVIII века).

Говоря точнее, национализм — это способ мышления, творение сознания группой, называемой *национальность* (автор предпочитает этот термин термину «нация»). Национальности — продукты живых сил истории, они находятся в постоянном изменении как явление сравнительно недавнего происхождения, и им невозможно дать четкого определения. Нельзя рассматривать национальность как абсолют, как объективную априорную данность. Теории, рассматривающие кровь, расу или «народный дух» как основу национальности — ошибочны. Автор полагает, что в современной истории национальность формирует не зов крови, а власть идеи. Национализм есть идея, по которой национальное государство — идеальная форма политической организации, а национальность — источник культурной энергии, экономического процветания и объект абсолютной лояльности (высшей степени преданности граждан).

В ряду статей этой проблематики уместно упомянуть и статью **Ю.Пивоварова «Карл Шмидт — антропологический очерк»** («Россия и современный мир», № 4), где автор набросал что-то вроде эскиза личности этого парадоксального гения, которого он считает одной из центральных фигур XX века. «Коронный юрист» Третьего Рейха, политидеолог тоталитарного государства, воинствующий антисемит, острый критик либеральной западной цивилизации, основоположник рационального научного знания о мире следующего века, истовый этот католик, служивший идеологом безбожного режима, отстаивал кредо, которое русскому читателю напомнит, может быть, некоторые максимы Константина Леонтьева: «мир без войны — это мир без политики, мир без политики — это мир без враждебности, мир без враждебности — это мир без человеческого бытия». Политику он считал автономной сферой, утверждая, что политические категории абсолютно самодостаточны и независимы от экономики, этики и эстетики. Политический враг необязательно плох с моральной точки зрения или безобразен с эстетической, совсем необязательно он соперник в хозяйственной сфере. Все дело в том, что он — «другой», «чужой». Скажи мне, кто твой враг и я скажу, кто ты. «Distinguo ergo sum» (различаю, следовательно существую), — писал Шмидт. Идентифицировать врага — важнейший и единственный способ самоидентификации. В политической сфере Шмидт признавал только два императива: войну и физическое убийство. Будучи политическим экзистенциалистом, он всякую политическую ситуацию трактовал как «пограничную», как «ситуацию опасности». В такой ситуации властное государство всегда превосходит правовое. Принять правильное решение и быстро выполнить его, не считаясь ни с чем, — именно здесь, по Шмидту, проявляется истинная природа государственной власти. Она вне правовых норм, легальности, законности. Вся она — в принятии решения.

Социальное знание этого политического экзистенциалиста, злого гения, органично проникнуто самопознанием. Ироническим откровением звучат слова самого К.Шмидта из здесь же опубликованного «Глоссария»: «... Я нахожусь в стадии перехода от существования к сущности. Я разосуществляю (деэкзистенциализирую) себя и свое существо. Разве это не похвально. Разве это не заслуживает Нобелевсеой премии высшей пробы»...

В рамках идеологии новой глобальной цивилизации зреют и ***многочисленные практические идеи***, отраженные в глобальных же документах различных обществ, действующих под эгидой ЮНЕСКО. Эти *документы* претендуют на статус «руководств к действию»: в начавшемся столетии ими пытаются заполнить морально-этический вакуум современной цивилизации. Вот как звучат их названия: «Глобальная гражданская этика» (принят в 1995 г.), «Универсальная Декларация человеческой ответственности» (1997), «Альянс за единый мир» (1998), «Декларация Культуры мира» (1999) и т.п. Венчает этот ряд Хартия Земли — Декларация прав природы (2000), которая интегрировала важнейшие идеи последней четверти XX века. О работе (прошлой, настоящей и будущей), связанной с Хартией, повествует **Р. Клогстон («Распространение Декларации Земли: цели и мероприятия следующего этапа»** — «Безопасность Евразии», № 2). Реализация идей и принципов Декларации будет охватывать различные сферы деятельности: деловые круги и гражданское общество (воспитание социальной и экологической ответственности); религию и духовность (межрелигиозный диалог об общепринятых ценностях, введение ценностей Декларации в учения духовных и религиозных групп); жизнь коренных народов и молодежи (охрана окружающей Среды). Программы действия Декларации охватывают и деятельность средств массовой информации, деятельность правительств стран мира (распространение Декларации как системы ценностей и основы социального планирования на правовом уровне); международную деятельность в сфере многостороннего сотрудничества за культуру мира (использование Декларации в качестве инструмента для предотвращения насилия и войн, создания обществ руководствующихся принципами толерантности, солидарности и сотрудничества). Приоритетная сфера Декларации — образование.

В России первой официально одобрила и взялась практически реализовывать Декларацию Земли республика Татарстан в апреле 2001 г. Текст Хартии и материалы научной конференции посвященной, ей опубликованы в том же номере «Безопасности Евразии».

Вообще интерес к составлению тех или иных проектов практического воздействия на сознание современного общества с целью его наставления на путь истинный не слабеет в среде современных философов, историков, социологов. Так, в работе **«Расчеты с прошлым: судить нельзя помиловать»** («Интеллектуальный форум», № 7) **Т.Эш** например, подробно рассматривает один из аспектов ***практического значения исторической науки***. Автора интересует, как народы должны расставаться с позорными моментами своего прошлого. Мы наблюдали попытку С. Аверинцева «преодолеть» советский тоталитаризм: ученый предлагал трезвую самооценку и реальный анализ текущих политический событий. Т.Эш указывает путь исторического просвещения. «Свидетель-

ствование истины» представляет, по его мнению, самый желательный и самый реальный способ окончательного преодоления последствий мрачного прошлого.

Историки лучше других подготовлены к тому, чтобы вершить суд над прошлым. Истина — важное слово, которым в Европе на протяжении XX века часто злоупотребляли. Изучая последствия диктатур, убеждаешься, как трудно бывает установить историческую истину. Бездумное использование документов может разрушить человеческие жизни. Только осторожное обращение с этими материалами и критические навыки, которыми обладают историки, могут принести пользу и достичь должного уровня аналитической корректности. Интерпретация документальных сведений, по справедливому мнению автора, требует трезвого взгляда со стороны. Но для объективной оценки этого оказывается мало, и автор предлагает доброжелательно относиться ко всем персонажам, вовлеченным в исследуемую ситуацию, в том числе к гонителям и палачам.

Не осталась в этом контексте без внимания и ***проблема человека***. Так, именно поворотом к проблемам человеческого самоопределения в современном мире более всего обращает на себя внимание своего рода экзистенциалистский логико-экономический трактат **А. Минченко «Концепция абсолютного блага»** («Свободная мысль — XXI», № 12). Путем логических операций автор приводит смысл экономической деятельности к абсолютному благу, которое в свою очередь именует виртуальной реальностью. Абсолютное экономическое благо представляет собой такое состояние общества, когда может быть удовлетворена любая из осознанных потребностей человека, а это, по мнению автора, уж точно относится к сфере виртуального. Однако, в виртуальной реальности вместе с исчезновением пределов желаний исчезает и личность желателя, потому что он не знает, с чем и как себя идентифицировать. Абсолютное благо размывает границы человеческого бытия и приводит в состояние экзистенциального ужаса. Смерть как предел этого ужаса становится благом и высшей ценностью. Но обрести смерть, не потеряв личность, невозможно. Ужас неизбывен, и это адова мука, которая и делает мираж абсолютного блага таким для человека разрушительным.

Автор снисходителен к читателям и не обязывает нас принимать все им написанное один к одному. Из его чисто умозрительного пассажа он сам делает только тот практический вывод, что нужно научиться остерегаться великой иллюзии бесконечных возможностей и возыметь умный страх и серьезную ответственность.

С последним наверняка согласится и **В.Фурс,** который ***задачу интеллектуалов*** тоже видит в том, чтобы понимать происходящее в мире и объяснять это другим. Сегодня новые непривычные реалии не пробивают бреши в смысловой непрерывности мира. Социологическая теория не успевает ассимилировать новые явления, а изменения социальной жизни делают старые теоретические модели негодными. Необходимость породила новые стратегии теоретического поиска. Среди прочих существует и немодернистская — в исполнении Э. Гидденса, которую автор и представляет в статье **«Критическая теория позднего модерна» Энтони Гидденса»** («Социологический журнал», №1). В основу образа модерна в данном случае положена идея высокого динамизма

социальной жизни. Модерный мир воистину является миром «с отказавшими тормозами». «Разделение времени и пространства» предполагает измерение «пустого» времени (его эмблема механические часы) и «опустошение пространства». К тому же возникает еще один фактор модерного динамизма — «отрыв» социальных отношений от локальных контекстов. Пример этому — функционирование денег: Кредит, например, упраздняет их временную актуальность, а банковские трансакции — пространственную.

Динамизм определяет модерный тип социальной жизни как «общество риска». Феномен риска подрывает онтологическую безопасность, характерную для традиционных форм социальной жизни. Ее компенсируют социальные отношения, сформированные на основе «активного доверия». Последнее следует завоевывать. Активное доверие является мощным источником социальной солидарности и определяет характер интимной жизни. Дружба, супружество, сексуальное поведение основываются на «чистых отношениях», не зависящих от внешних (социальных, экономических) обстоятельств. Условия модерна изменяют структуру личностной идентичности. Самость становится рефлексивным проектом, творением собственного ума. Даже тело все в меньшей степени остается природной данностью, подчиняясь контролю биологической репродукции, генной инженерии и разнообразных медицинских вмешательств.

Переориентация социологии на внутренние проблемы индивида влечет и «трансфигурацию» политических проблем. Происходит политизация повседневности. В мире, где мы живем, нас окружает много «других», но в нем нет «чужих», потому, что глобальные риски порождают общие интересы и универсальные ценности. Этика абсолютной ценности человеческой жизни и всеобщего права на счастье сочетается с обязанностью хранить среду человеческого обитания и содействовать космополитической солидарности. Такова концепция Гидденса, которую он сам называет утопическим реализмом, считая реалистическую утопию единственно возможной позицией для критической теории современности.

А вот антропологические рефлексии социолога **И.Кона — «Человеческие сексуальности на рубеже XXI века»** («Вопросы философии», № 8). Автор делится размышлениями о современных тенденциях общемирового развития сексуальности.

Важнейшая тенденция — сексуально-эротическое поведение окончательно эмансипируется от целей, связанных с продолжением рода. Благодаря сексофармакологии, возрастные рамки сексуальной активности расширяются, люди могут испытывать сексуальные радости чаще и дольше (в возрастном смысле), чем это было раньше.

Глубокие сдвиги в гендерных стереотипах поведения означают не феминизацию мужчин и маскулинизацию женщин, а ослабление поляризации половых различий в сфере социальной стратификации (распределение профессий).

Наблюдается резкое уменьшение поведенческих и мотивационных различий между мужчинами и женщинами в возрасте сексуального дебюта, числе сексуальных партнеров, проявлении инициативы, массовое распространение ранее «запретных» сексуальных позиций (женщина сверху, кунилингус), что повышает сексуальное удовольствие обоих партнеров, но наносит символический удар по фаллоцентризму и гегемонии маскулинности. Однако при всем выравнивании

мужских и женских сексуальных сценариев мужская сексуальность остается более экстенсивной (количественной), предметной, не связанной с эмоциональной близостью, переживаемой не как отношение, а как завоевание.

Вопреки предсказаниям радикалов, моногамный брак и юридически неоформленные, но постоянные партнерские отношения (сожительства) отнюдь не отмирают. Мало того, «детские» и семейные ценности явно находятся на подъеме. Современные партнерства и браки тяготеют к тому, чтобы стать «чистыми», самоценными отношениями, основанными на взаимной любви и психологической интимности, независимо от способа их социального (религиозного, юридического, имущественного) оформления. Типичная форма сексуального партнерства у современных молодых людей — так называемая серийная моногамия (один партнер, но не на всю жизнь, а на длительный отрезок времени).

Важные сдвиги происходят в сфере сексуальной морали. Моральное регулирование и оценка не исчезают, но становятся более гибкими и реалистичными (число и тип сексуальных партнеров, конкретные сексуальные техники постепенно становятся делом исключительно личного усмотрения).

Заметный элемент современной сексуальной культуры — легализация в общественном сознании и даже в праве гомосексуальности. Наблюдается заметный рост терпимости (особенно среди молодых и образованных людей), а также увеличение числа мужчин и особенно женщин, которые признают, что испытывали сексуально-эротические влечения к лицам собственного пола (чаще в юности).

Существенный сдвиг в сексуальных установках характеризует и нормализация отношения к аутоэротизму и мастурбации. Исключительно важной формой сексуального удовлетворения становится виртуальный секс.

Отличие России от Запада заключатся не столько в направлении развития сексуальности, сколько в его хронологии и общественной рефлексивности. Все то же самое, но позже лет на двадцать, настолько же поздно это становится и темой общественного обсуждения.

И, наконец, завершим этот раздел нашего обзора публикацией **С. Хоружего,** которого заботят совсем иные уже проблемы современного человека, чем И.Кона. Правда, автор, на наш взгляд, слишком сурово испытывает гносеологические способности и духовные возможности читателей, ибо для того, чтобы вникнуть в написанное им и усвоить его, требуются достаточно серьезные усилия, а между тем в результате мы получаем не так уж много нового. В нескольких номерах журнала «Искусство кино» (№№ 7 – 11) автор проводит *практикум по альтернативной антропологии* **«Альтернатива как она есть»**. *Альтернативой* автор называет то, что с древности именовалось *спасением*. Установка: *альтернативная стратегия* по отношению ко всему обычному порядку существования человека. Существование, направленное к тому, чтобы перемениться. Альтернатива требует расширения реальности и *динамической насыщенности энергиями*. Духовная практика — наиболее приемлемая и последовательная эталонная реализация альтернативной антропологической стратегии. Предпосылка альтернативы — *присутствие энергии Внеположного Истока*. То есть войти в общение с нею — войти в Богообщение.

Между тем, сожалеет автор, попытки адаптировать духовные практики в современных условиях низводят видение Альтернативы до психотехнического

тренинга. В таких ублюдочных гибридных стратегиях исчезает энергия Внеположного Истока, заменяясь суррогатом виртуальных практик.

Главная цель практикума — очерк цельного взгляда на человека в свете присущей ему неискоренимой тяги к Альтернативе (спасению). Опыт эмпирического существования рождает у человека беспокойное чувство несовпадения себя — некоего «настоящего», «подлинного» себя, с тем субъектом, что действует в эмпирии и вязнет в ней.

Расширение *диапазона изменчивости* сужает сферу *неизменного*, т.е. того, что в пространстве *Субстанционального человека* содержалось неколебимым абсолютом (общечеловеческие ценности, Благо, Истина, Красота). Все это потеряло очертания привычной определенности. Появилась некая энергийная бессущностная общечеловечность, которая неизбежно обрекает на свободу. Свобода эта с трудом мыслима и чрезвычайно дискомфортна. Пластическое пространство, в котором она обретается, имеет «антропологические границы». Доходя до них, энергийный человек изменяется до самоутраты и в то же время остается самим собой.

Будем надеяться, подобная версия антропологии, даже и в изложении С.Хоружего, все-таки кому-то из современных людей и поможет понять смысл и цель духовного самосовершенствования — то есть того самого «умного делания», которое издревле практикуется в различных традициях.

Обзор подготовил Александр Денискин.

Ольга СЕДАКОВА

«НЕУДАВШАЯСЯ ЕПИФАНИЯ»: ДВА ХРИСТИАНСКИХ РОМАНА — «ИДИОТ» И «ДОКТОР ЖИВАГО»

Большой писатель оставляет после себя мир несколько иным, чем он был до его прихода, и похоже, что речь идет о чем-то более серьезном, чем «влияние», и что такие изменения необратимы. Мы живем в мире «после Достоевского», и вынуть это измерение из происходящего уже невозможно: мы «последостоевские» люди. Тем более это относится к словесности и, вероятно, с особой силой к словесности на русском языке. Я с некоторым сомнением говорю: вероятно, потому что вся мировая литература явственно ощущает себя в последостоевском времени, и в течение двадцатого века урок Достоевского, по известным причинам, был куда интенсивнее воспринят не на родине Достоевского, а за ее границами; как известно, нормативная литература соцреализма должна была строить себя в принципиальном отсутствии Достоевского.

Не нужно уточнять, что принадлежать последостоевской эпохе вовсе не значит быть в плену Достоевского: это значит только состоять с ним в отношениях, и в том числе — в отношениях спора. Не нужно уточнять и того, что спор не обязательно означает опровержение, но может иметь в виду восполнение или, словами «Охранной грамоты» Пастернака, желание сделать то же, «но шибче и горячей». Именно в таких отношениях, на мой взгляд, состоят два эпохальных христианских романа: «Доктор Живаго» и «Идиот». Внешнее сюжетное сходство их очевидно: явление «неотмирного», «блаженного» героя — Юрия Живаго, князя Мышкина в подчеркнуто, по-газетному современной реальности; его вовлеченность в странный роман с двумя женщинами, «чистой» — Тоня, Аглая, и «роковой», «падшей» — Лариса Федоровна, Настасья Филипповна; по отношению ко второй герой пытается исполнить роль спасителя (у Пастернака — два прообраза: Магдалина и Христос, царская дочь и св. Георгий) и в конце концов губит ее и гибнет сам; фигура соблазнителя-покровителя — Комаровский, Тоцкий; тема благородства, аристократизма в князе Мышкине, «рыцаре бедном»: ср. один из ранних вариантов названия пастернаковского романа — «Нормы нового благородства» и предварявшие роман «Записки Патрикия Живульта», имя которого переводится как «рыцарь жизни»[1], и многое другое.

[1] Комментарии В.М.Борисова и Е.Б.Пастернака. — *Пастернак Борис.* Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. М.: Худ. лит., 1990.

Ольга СЕДАКОВА — родилась в 1949 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Кандидат филологических наук. Автор многих книг: поэтических сборников, собрания сочинений в 2-х тт. и тома избранного «Путешествие волхвов».

Эти сходства настолько явны, что кажется маловероятным, чтобы они не входили в замысел Пастернака[2]. Но нас интересует не само по себе сопоставление сюжетных схем (с модификациями, которые тоже интересно проследить), а общий замысел двух романов, который можно — очень приблизительно — назвать так: явление подлинного христианства (иначе: «святой души», «Божьего человека», человека, похожего на Христа) в современном обществе — епифания. Сами названия двух романов уже ясно говорят, о каком образе святости пойдет речь: «Идиот» — «Доктор Живаго». Болезнь, убожество, глупость (компоненты значения «идиот»; мы оставляем в стороне этимологию) — и здоровье, и больше, чем здоровье: целительство и разум, даже ученость[3].

Конечно, уже современность Достоевского и современность Пастернака, на фоне которых происходят две эти епифании, — разные вещи, и это не мало значит[4]. Но самое глубокие расхождения и сближения касаются общих представлений о мире, о грехе, о смерти, о жизни, о человеке — то есть всего того, что можно назвать личным богословием Достоевского и Пастернака[5].

Некоторые черты антропологии Достоевского

Начну с самого общего очерка того, как выглядит человек у Достоевского. Если представить себе личность как своего рода ландшафт, то на фоне «естественного» или «реалистического» психологического пейзажа новой литературы, и западноевропейской, и русской, «достоевский» пейзаж выглядел фантастическим (если теперь он так не выглядит, то этим мы обязаны не только истории, но и самому Достоевскому). Достоевский занят вертикальным срезом человека, а не горизонталью. Я имею в виду бедность его человеческой горизонтали — то есть разнообразия сословных, исторических, психологических, в общем-то и возрастных типов — в сравнении не только с Львом Толстым, но даже с Пушкиным (если у Достоевского и есть «типы» такого рода, то они совсем условны, похожи на амплуа: «амплуа чудачки-аристократки», «француза», «поляка», «страшного мужика», «мальчика», «старика» и т.п.). Достоевского интересует некоторый «человек вообще» — при том, что этот «человек вообще», конечно, совершенно характерен: это герой своего времени, «новый человек», русский разночинец второй половины XIX века, человек неблагополучной, если не катастрофической судьбы, невротического склада и холерическо-

---

[2] Однако никакими аргументами в пользу сознательной работы Пастернака с сюжетом Достоевского в ходе создания «Доктора Живаго» мы, по свидетельству Е.Б.Пастернака, не располагаем.

[3] См. *Седакова О.* Гетевское начало в романе Б.Пастернака «Доктор Живаго» (в частности, о гетевской реминисценции названия: Доктор Фауст — Доктор Живаго): Пастернаковские чтения, Москва, 1999.

[4] Томас Мертон этими условиями объяснял многое: в эпоху господствующей Церкви, писал он, христианство принимает сложный и болезненный, достоевский образ; в эпоху гонений оно возвращается к пастернаковской простоте апостольских времен (*Murton T.* Boris Pasternak.— Disputed Questions, 1958).

[5] Мы оставляем в стороне генеалогию этих богословий, их связи с современной им и традиционной христианской мыслью.

го или, реже, меланхолического темперамента. Возраст его — подростковый — в старом употреблении, то есть приблизительно до 30 лет. Он не занят на службе, да и вообще не имеет определенных занятий (временное секретарство — типичный для него труд). Другие разновидности homo sapiens — скажем, барин, отец семейства, сановник и сангвиник Стива Облонский — в мире Достоевского как бы не совсем люди, они не дошли до своей «последней правды».

На таком материале Достоевский и ставит свой вопрос о человеке. Этот человек, беспочвенный, деклассированный, оторванный от корней, «чужой», «посторонний», остался героем времени в XX веке. Боюсь, его времени еще не видно конца.

Итак, психический мир как ландшафт, со своей наземной частью, низом и верхом. Средняя часть, разумная, социальная, соотнесенная с ближайшими обстоятельствами, привычная глазу, просто говоря, *видимая* — словами Достоевского, «евклидова». Верх и низ, небеса и подземелье человека подчиняются другой геометрии. Прежде всего — они *невидимы*. Само их раскрытие — чрезвычайная вещь, взрыв, откровение, скандал (поскольку их невидимость — условие социальной жизни по умолчанию). Таким раскрытием и занят Достоевский. То, что происходит с человеческим миром в постоянно создаваемых им чрезвычайных обстоятельствах, можно описать знаменитой фразой Гоголя: «Вдруг стало видно...», но не «далеко вокруг», а глубоко вниз и далеко вверх.

Новация Достоевского, которая прежде всего привлекает общее внимание, — это, конечно, «путь вниз», в скрытое, поскольку стыдное, pudenda. Откровение этого подполья, этого психологического ада происходит в характерном «достоевском» жесте заголения — или в ответ на провокацию.

Своеобразие авторской оптики, непривычность очертания вещей в мире художника часто — и не так наивно, как кажется, — связывают с применением какого-то особого прибора, или приема построения ракурса, или разработанной стратегии взгляда на мир. Пруст объяснял сущность своей оптики, прибегая к метафоре телескопа: он рассматривает ближайшие вещи как с Луны в телескоп. *Camera obscura* Набокова — больше, чем название одного из его сочинений: здесь, вероятно, нам предъявлена общая стратегия его творческого зрения. Как в таком случае описать оптическую технику Достоевского? Достоевский выключает некий свет и смотрит, что будет без него, в темноте. Или, словами Вас. Розанова, что будет, «когда ушло начальство». Или — когда почва ушла из-под ног.

Вопрос о видимом — это, по существу, вопрос о возможном. Возможно ли (видано ли?), чтобы человек потащил другого за нос в дворянском клубе? Этот жест Ставрогина в «Бесах» в каком-то смысле сокрушает вселенную. Вселенную, в которой культурно невозможное (и потому «невиданное») почитается физически невозможным. Выходкой Ставрогина Достоевский показывает, что *всё* физически возможное и в самом деле возможно и осуществимо. Совсем недавно, 11 сентября, мы пережили подобное крушение иллюзии невозможного — культурно невозможного.

Какой же свет выключен — или какое начальство удалилось? Какая почва ушла из-под ног? Это вопрос. «Укорененность»? «Достоинство»? «Порядок вещей»? (Жизнь в виду Лиссабонского землетрясения как некая норма, которую предлагает Достоевский, обсуждая безмятежную лирику Фета). Или «честь»,

как полагал Мандельштам, писавший о невозможности «достоевских» скандалов в мире Пушкина?

Но может быть, «надежда»? Ведь именно надежда часто лежит в основе того, что называется ханжеством: надежда на добродетель, если не личную, то добродетель «вообще», ради чего и стоит «делать вид» и «притворяться лучше, чем ты есть». Заголение «Бобка» происходит в азарте отчаяния. Да, мне кажется, что более всего речь идет о надежде. В эпоху Достоевского, возможно, некое фундаментальное крушение надежды, отчаяние и отчаянное бесстыдство были в значительной мере авторским экспериментом и могли показаться алармистским преувеличением. Но скоро в России свет и в самом деле выключили, начальство и в самом деле исчезло, а «беспочвенность» достигла той меры, какой и Достоевский не воображал. С позиции героев «Доктора Живаго» эпоха Достоевского уже принадлежит тому ушедшему, докатастрофическому миру, где «любить было легче, чем ненавидеть».

Мы стали свидетелями того, как это разрушение почвы происходит в разных частях мира — и чем выше градус глобализации, тем шире. Достоевский первым вывел на сцену публичной мысли этого нового человека, безродного человека на голой земле, и даже не на земле, а на разверзающейся хляби. Как идеолог, он надеялся на возвращение к «почве», как художник — показал, что это невероятно. Именно на месте «почвы», то есть семейных, сословных, культурно-религиозных, национальных устоев, делающих человека раньше, чем он сам возьмется делать себя, и разверзается это психологическое подполье. Декультурация — вот что такое жест Ставрогина. С декультурацией, с социальной недовоплощенностью, непризнанностью, изгойством связана непомерная страсть к другому, невероятная заинтересованность в чужом мнении о себе, отличающая героев Достоевского и сочувственно проанализированная Бахтиным.

С именем Достоевского обыкновенно прежде всего и ассоциируется это раскрытие ландшафта психики вниз, в подполье, в психологический ад («достоевщина»): ср. такие характеристики его мира в исследованиях XX века, как «феноменология зла», «сошествие во ад» и т.п. Другими, не христианскими словами, эта «нижняя» глубина называется хтоническим хаосом. «Под ними хаос шевелится». Из этого хаоса и вырываются протуберанцы невероятного, необъяснимого для благодушного гуманизма насилия, низости, «дерзости» и проч., «оскорбительная низость преступления» (Ин. Анненский). В форме выходки Ставрогина, нечаевщины, грядущего бунта... Он, хаос, обнаруживается и внутри отдельного героя (садизм, эгоизм, сладострастие в ребенке) и складывается в типично достоевские фигуры шутов, подлецов, бесстыдников и т.п. — жертв мира, униженных и оскорбленных. Предметы традиционной филантропической жалости и опеки, у Достоевского они обнаруживают свою другую, угрожающую возможность: желание расквитаться, космический цинизм, который ничем не дорожит и ничему не доверяет. Такое о «бедных людях» в благополучном мире было мало известно (ср. пастырский опыт Дитриха Бонхеффера[6]).

[6] Со знаменательным заключением: «Чем удаленнее от всех социальных структур живет человек, тем легче формируется у него такая позиция (недоверие как доминанта поведения»). *Бонхёффер Д.* Сопротивление и покорность. М.: Прогресс, 1994.

Их не то чтобы непривычно много в сюжетах Достоевского; они водятся стаями, *словно листья в ноябре*, в суете хронических интриг и лихорадочных сплетен и редко поднимаются с фонового, второго плана на первый, образуя персонажа первого ранга (попытка Ставрогина, вылепляемого, едва ли против его воли, персонажами второго ряда как собственную «большую» реализацию). Но существеннее другое: перемена их художественного статуса. Они более не «отрицательные» герои, они обладают интроспекцией, у них есть оправдание, есть «своя правда». Они знают себя: то есть они не побоялись посмотреть прямо на собственные свойства — и в этом смысле они неуязвимы («да, низок-с»). Достоевский продолжает пушкинский опыт со Скупым Рыцарем и Сальери. Низким героям предоставлено слово, свое слово — а в словесности этого достаточно для оправдания. Последний антиморалистский вывод из этого откровения низа таков: плохие не окончательно плохи, и хорошие вовсе не хороши, в каждом из них есть «семя тли», уголок хаоса. Достоевский настаивает на хаотической бесформенности человека, упрощение которой — жалкая ложь.

— Кто бы на его месте поступил иначе? (т.е. не сподличал бы) — спрашивает племянник Лебедева.

— Как кто? — воскликнул князь Щ.

Голос Достоевского в этом показательном диалоге явно не совпадает с голосом человека старой чести, посторонним в его сюжете, но с голосом антропологического цинизма он также не совпадает. Достоевскому принадлежат обе реплики.

Эту проницательность к фундаментальной греховности более всего и связывают с именем Достоевского. И она находится у него в сложной связи со страданием, буквально затопляющим его мир — и вовсе не однозначным (ср. признание черта Ивана Карамазова о том, что страдание человеческое затмило ему величие мироздания, — или же слова самого Ивана, ставящего под вопрос культ страдания: «Будто чин есть такой — страдалец»). Страдание и злая мысль или насилие связаны, как змея и тот, кого она жалит, в «Аду» Данте: они превращаются друг в друга. Страдание у Достоевского — это прежде всего провокация, как в «Книге Иова». Для героев первого ряда, как Иван Карамазов, Раскольников, — это провокация чужого, общего страдания; для мелких героев — их собственное. В общем-то, это архифабула повествований Достоевского, в том числе и сюжета «Идиота», где Мышкин подвергается провокации страдания Настасьи Филипповны. Мы можем догадаться, что невозможность безгрешности в мире связана у Достоевского с невозможностью общего счастья: его взыскующий герой требует общего счастья не только в будущем — оно должно перекрыть и каждое страдание прошлого и причиненное им внутреннее зло (вопрос Ивана Карамазова, может ли мать убитого ребенка полюбить его убийцу). Достоевский думает о рае (или о Царстве Божием) всерьез: не как о компенсации «этой жизни», о *втором* по отношению к ней, но как о *первом*, как о единственной возможности нравственной жизни на земле.

И здесь мы переходим к другому расширению ландшафта человека по вертикали, не менее характерному для Достоевского: вверх, в область рая, или Царства Божия, или святости. В привычном поле классической литературы это тоже фантастический пейзаж. После Данте, начиная уже с Петрарки, мы более

не встретим святого в качестве действующего лица литературного произведения и святости как некоторого реального измерения, некоторого дальнего камертона, по которому сверяется все прочее, некоторой реальной *потребности* человека (у Петрарки это уже долг). «Ад» Данте, как известно, начинается в «Раю». Можно сказать то же и о Достоевском. «Пороки», которые обыкновенно изображает новая литература, уже не имеют непосредственной райской генеалогии. Они, собственно, и не грехи, поскольку грех в строгом смысле совершается перед лицом неба, в раю, как первый раз.

Вероятно, следует уточнить: я имею в виду не «хорошего человека», «доброго человека» (такого рода героев в новом искусстве немало), а именно святого, то есть человека, каким-то образом свободного от законов «мира», «мира сего» в том смысле, как он понимается в новозаветных текстах — и потому безумного в глазах мира. Как и в случае с «подпольем», святость, желание «иметь сердца горé», sursum corda, у Достоевского присутствует практически в каждом действующем лице. Святым (иначе: чудесным) у него заняты все, не исключая Свидригайлова, Смердякова, Карамазова-отца; всем им жизненно важно выяснить, возможно ли такое на земле.

Святость представляет собой у Достоевского такой же скандал, как глубинный грех. Здесь происходит разрыв континуума: земная, мирская доброта у него не переходит в святость, между ними бездна. Святое, Божие понимается как «Совершенно Иное». В этом спор Достоевского с либеральным христианством, с европейским филантропическим гуманизмом, благодушие которого изображается им как некое злостное недомыслие, глупость сердца. А как это соотносится с благочестием, условно говоря, леонтьевского склада, с которым Достоевский безусловно разделяет интуицию глубинной греховности мира и огромной силы внутреннего зла? Аскетический уставный строй, который ревностно охраняет благочестие такого рода, — строй, в котором возможны и многочисленны чудеса, но образ святыни, памяти о святости несомненно преобладает над ожиданием ее нового и обновляющего мир явления, где самые формы ее как бы заранее известны и поле явления ограничено (монашеской средой, священными предметами и т.п.). У Достоевского же святое является в своей простоте и непредвиденности (в определенном смысле, нечудесности, не защищенности чудом — ср. эпизод с мощами Зосимы) — и оказывается скандалом (в его этимологическом смысле соблазна), прежде всего — для хранителей предания (скандал Великого Инквизитора)[7]. Да и для «добрых людей»: «Зачем же такие преувеличения? Есть же мера». Но меры нет, и это являет святость.

Два несостоявшихся счастливых конца

Можно задаться вопросом, почему же, собственно, святость и святой исчезли из искусства нового времени? Быть может, это ограничения реализма, самого письма? Быть может, святость может изобразить исключительно иератическое искусство, символизм иконы, а не набросок с натуры? Однако простодушные новеллы «Цветочков» св. Франциска, в которых реалистическая быто-

[7] Тот же скандальный, взрывающий благочестивую данность образ святости мы встретим у позднего Льва Толстого: в «Отце Сергии», в «Фальшивом купоне»...

вая деталировка только усиливает очарование и убедительность образа «нового человека», «беднячка Христова», опровергают такое предположение.

Скорее уж святому нечего делать в *сюжете* новой словесности: он вышел из того мира, в который вписан сюжет: из мира, где главный интерес составляют судьба и характер. Ни первое, ни второе уже не существенно для святого. Он не подвластен судьбе: а в новом искусстве, как в греческой трагедии, то, чему мы сопереживаем, есть в конце концов роман человека с судьбой. И традиционное, едва ли не единственное выражение судьбы в новой словесности — любовная страсть.

И Достоевский, и Пастернак не отказались от выполнения условий классического европейского романа, и это в определенном смысле обрекает их на неудачу. «Совершенно хороший человек» оказывается вовлечен в силовое поле судьбы. Его святость (и это можно сказать об обоих протагонистах) — в его разоруженности. У него нет *своей* воли (отмеченное Тоней полное безволие Юрия Живаго, фантастическая пассивность Мышкина, которым на глазах читателя каждый пытается манипулировать), своего интереса. Это относится и к его отношениям с героинями, которые никак нельзя описать в духе «плотского искушения». Его увлекает сострадание. Но в конце концов он не только не спасает, но губит свою Магдалину и гибнет сам (князь Мышкин) — или не губит, но, как в обобщающем эту сюжетную линию «Доктора Живаго» стихотворении «Сказка», сражает ее губителя — и после этого вместе с ней впадает в сон, которому не видно конца.

В обмороке конный,
Дева в столбняке.

Но дело не только в отсутствии хэппи-энда, который был бы в обоих случаях грубейшим нарушением художественной правды. Вся эта любовная линия вольно или невольно развенчивает героя как победителя мира. Здесь, в стихиях мира, он неуместен. Он не гений любовного романа, которым можно любоваться, как средневековым Тристаном. Он не чистая жертва в таком поединке с миром. В этом жанровом пространстве его кротость оказывается малодушием. Что, как скажут здравомыслящие люди, и требовалось доказать: человек не от мира сего не должен участвовать в делах мира. Его участие оставит за собой только груду развалин и множество разбитых судеб.

Но эпилог «Идиота» — возвращение Мышкина в ничтожество безумия, пустынная Европа, где только и можно «поплакать над этим несчастным», как говорит генеральша Епанчина, — оставляет нас с другим чувством: все происшедшее в романе не было неудачей или крушением, а было действительно чудом явления Человека, в каком-то смысле искупающим жизнь всех, с кем он оказался связан.

Объяснить это странное просветление, быть может, поможет финал «Доктора Живаго»: вслед за невнятным концом жизни героя мы присутствуем при его посмертной победе, его, можно сказать, «втором пришествии» в виде тетради его писаний в руках друзей. «Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в

нем находятся»[8]. Не тривиальная мысль об искуплении жизни художника его сочинениями нас в данном случае интересует, но тема введения в будущее, в «счастливое, умиленное спокойствие за всю землю», в «неслышную музыку счастья» (там же).

Так и участники жизни Князя Мышкина, не оставившего по себе никаких писаний, кроме образцов древних почерков, обязаны ему переживанием того, что «эта свобода души пришла»: переживанием бессмертия.

Некоторые черты антропологии Пастернака

В письмах Б. Пастернака последних лет мы постоянно встречаемся с мыслью о «готовом будущем», об уже наступившем, невиданном счастье, настолько новом, что «прежнее прошло», и объем всего отошедшего, умершего, уже не реального еще трудно обозреть. Это переживание неслыханной простоты, новизны и небывалости:

Вселенной небывалость
И жизни новизна,

— связано и с его работой над романом, и прежде всего — с его христианской жизнью. К тому, что «прошло», во многом относится и мир Достоевского, во всяком случае, те его болезненные, темные и неразрешимые области, которые по большей части продолжала словесность, и русская, и европейская. Подполье, психологический ад, «неправедные изгибы» души не то чтобы отменены: их раскрытие больше не относится к задаче современного, по-настоящему современного художника, по Пастернаку. Катастрофы века сделали провидческие метафоры прошлого наглядной обыденностью; в образах такого рода уже нет будущего и, тем самым, нет искусства.

Мы только вкратце и крайне обобщенно коснемся здесь поэтической антропологии Пастернака[9]. В ней основания той удивительной уверенности в том, что грех, смерть, ад — «последние вещи» в традиционной аскетической мысли — преодолимы и по существу преодолены, что, называя наш мир «падшим», мы не говорим о нем последнего слова — уверенность, которая так поражает во всем, что пишет Пастернак (и что многие его современники осуждали как совершенно несвоевременное благодушие).

Человек у Пастернака — прежде всего художник, и в этом своем качестве он брат вселенной («сестра моя жизнь») и потомок «высших сил земли и неба» («и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба, которым он поклонялся, как своим великим предшественникам»[10]). Эта тема — творчества, поэзии как фундаментальной глубины человека, и не «профессионала», а человека вообще — совер-

[8] *Пастернак Б.* Там же.

[9] См. об этом подробнее: *Седакова О.* «Вакансия поэта»: к поэтологии Б.Пастернака. — Сб. «Быть знаменитым некрасиво...». Пастернаковские чтения, вып.1. М.: «Наследие», 1992.

[10] *Пастернак Б.* Там же.

шенно чужда Достоевскому. Существо творчества и артистического вдохновения, как об этом в стихах и в прозе многократно и в разных словах говорит Пастернак, — это память об Эдеме, память особого рода: не ностальгическое воспоминание о навеки утраченном золотом веке, но память о рае как вечно действующей силе, как «памяти будущей жизни сладкая чаша», словами первого русского писателя, митрополита Иллариона Киевского. Творчество, «сестра жизни» и «подобие Божие в человеке», по Пастернаку, обладает силой очищения и возрождения, поскольку сама жизнь — уже воскресение из небытия («Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили»[11]). Жизнь, вечная жизнь, бессмертие у Пастернака — имя одной реальности. Поругание, совершенное над жизнью («жизнь — поруганная сказка», из письма Б. Пастернака), не непоправимо и по существу не проникает в ее глубину; она отходит от низости и грязи легко, как от слез, как это случается с Магдалиной в стихах Живаго, как это происходит с героиней романа Ларой.

В образе Лары — новой Настасьи Филипповны — сопротивление Пастернака Достоевскому особенно очевидно. Болезнь мира не смертельна, это не «болезнь к смерти», он «спит, а не умер» («И как от обморока ожил»). Святость является как врач, как великий диагност — герой романа. Говоря совсем обобщенно, в святости у Пастернака нет ничего чрезвычайного (постоянные мотивы обычности, обыденности великого), святость (или гениальность, что для Пастернака одно) в природе вещей, в природе жизни, пока она жизнь. Человек не изгнан из рая, поскольку он не изгнан из жизни.

Да, мы можем увидеть во всем этом эхо романтической Германии. Это ее «слезы от счастья» благоговения перед «святой жизнью», Heilige Leben Гёльдерлина, «сказкой жизни» (Новалис). Но как кошмарные образы-предчувствия предшественников эпоха Пастернака сделала простой явью, так и это лирическое предчувствие о чудесной природе посюстороннего, о жизни как святости, жизни как таинстве благодарения получило в созданиях Пастернака какое-то другое, практическое осуществление. Слова о том, что мы живем в послепастернаковское время, для многих не покажутся убедительными в той же мере, как подобное утверждение о последостоевском мире. По всей видимости, в искусстве ничего не изменилось, разве что оно все охотнее говорит о собственном конце. Будущее, внесенное Пастернаком в настоящее, до сих пор еще ждет внимания и доверия к себе.

[11] *Пастернак Б.* Там же.

Евгений ЕРМОЛИН

УЗЫ СОВЕСТИ И ЗОВ СВОБОДЫ

Над страницами прозы Юрия Давыдова

Чем глубже погружаешься в бродячий хаос последнего, предсмертного давыдовского романа «Бестселлер», тем неуютнее становится на душе. Какой-то свистящий ветерок начинает пробирать без всякой видимой причины. А ведь, казалось бы, писатель шутит шутки. Юмором просквожено повествование. Обо всем подряд говорится как бы вскользь, с насмешкой. И сам писатель иногда себя корит: заболтался, де, — и, теряя гарантированный навык, ощущает нарастающий творческий неуют — «Пишу, ей-богу, как кочевник, — не проникая в сокровенное. Проникновение даровано другим».

Шутит-то он шутит. Но что-то тут не так. Какие-то не такие эти шутки. Скверные. И мрачные. С привкусом абсурда.

«А тов. Джугашвили-Сталина мне, право, жаль. Накожный зуд, который привязался с детства, свербел и егозил по коже, и это называлось псориазом; с ума сойдешь».

Впервые Давыдов написал роман прежде всего о себе самом. Без экивоков. По строгому, жестокому счету судьбы.

Автобиография на фоне русской истории, *итоговая книга*. И потому она потребовала, кажется, от писателя неимоверных сил. Гибели всерьез. Самое больное, самое тревожное, самое томительное и губительное встало из потемок памяти.

Суммарное впечатление от последней книги Давыдова — это впечатление провала в неисповедимую бездну, где мрак и холод. В романе смешиваются и перекрещиваются разные времена, перекликаются, как сторожа на башнях. Но середина XX века — это кульминация бессмысленной и беспощадной человеческой оголтелости, безжалостной траты людей.

«Вот, говорят, уже написан Вертер. Но саги об этапах нет. Отметим первонаперво ужаснейшую давку. Она попрала все законы физики; небесную механику тем паче. И этот трупный запах».

...И этот трупный запах.

Трудно даже назвать как-нибудь то, о чем пишет Давыдов, опираясь на личный опыт, на свидетельства современников гибели России в советском

Евгений ЕРМОЛИН — родился в 1959 г. в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Доктор искусствоведения, профессор Ярославского педуниверситета. Автор ряда литературно-критических и культорологических статей, нескольких книг по культуре и истории Ярославля. Постоянный автор «Континента». Живет в Ярославле.

застенке. Как определить то, что здесь, в этой стране, произошло? У человека нет таких слов. Есть только приблизительные подобья.

Врасплох здесь может обрушиться на тебя такая, например, историйка. В жгучий мороз зеков положили на вечную мерзлоту, выложив из живых тел огромную букву «Т». Чтобы, значит, летчик Водопьянов видел, куда садиться. Зеки уснули, смерзлись. И на эту небывалую посадочную полосу Водопьянов посадил свою тяжелую машину. «Она летает выше всех, она летает дальше всех, а нынче пробежит по этой «Т» из мертвых, мерзлых зеков. Лежат вражины и не шевелятся (...) Ревет мотор, она бежит по зекам. Ура, Герой Советского Союза»...

Тяжелая память. Но оставить свой роман ненаписанным Давыдов не смог. И тогда он попытался как-нибудь справиться с приливом воспоминаний, попытался заговорить словами мрак и хаос жизни, надвигавшейся на него из потемок памяти, обезопасить жуть XX века разрушением линейности повествования и нарочитой интонацией иронического скольжения по поверхности вещей и явлений, — уже с названия начиная (кто ж поверит, что оно всерьез дано этому опусу!). Он цеплялся за культурные контексты, чтобы не провалиться в ту бездну, которая является его главным, как оказалось, экзистенциальным переживанием и самым важным опытом существования. Возможно, это только защитная реакция, чтобы не сойти с ума от воспоминаний.

Есть в романе извлеченный из бренной памяти эпизод о тобольских старушках свинцовых советских лет. Старушки у пристани, когда арестантов ведут к барже, поют «Со святыми упокой...». «Еще живыми отпевают, потому что как же их не отпеть, если там и отпеть-то некому». И снова как бы шутка: «Они меня и теперь примиряют с разумной действительностью»...

Оторопело соображаешь: так ведь и он, Давыдов, — отпетый. Лишь случайно выживший, выбравшийся из смертной бездны, из смрадной ямы. И вот он вспомнил об этом — и при этом пронзительном замогильном свете увидел то и тех, о чем и о ком писал когда-то, все те книги. И окончательно соотнес частное с всеобщим, случай с евангельским архетипом. И тогда оказалось, что его главная тема — Распятие. А другая — Христос и Иуда...

А потом он умер.

В главных своих вещах Давыдов видел *историю как проблему, как повод для размышлений*. Тут он шел по стопам Алданова, отчасти Мережковского. С такой творческой установкой кумирами читательских масс не становятся. Известность Давыдова всегда имела несколько элитарный оттенок. И у меня, например, постоянно возникало ощущение, что он недооценен, недопризнан. И добро бы только в советское время, когда официальное признание часто выглядело как позорное клеймо! Но не получил писатель по своим заслугам и в 90-е годы.

Только что я перечитал «Глухую пору листопада», роман, с которого когда-то в 78-м году началось мое заочное знакомство с Давыдовым. У книги, написанной в самом конце 60-х годов, в те времена имелась репутация. Она была отнесена к той тогдашней исторической прозе, которая решала вполне актуальные задачи текущего дня.

Уже пастернаковская строчка в названии романа служила звоночком для советского закала внутренних эмигрантов (вероятно, и для цензоров тоже).

Сказать проще, роман считался едва ли не антисоветским. Так оно в каком-то смысле и было. Причем автор свободно обходился без эзопова языка — сама история предоставляла возможность искать и находить знаменательные параллели. Третье отделение хорошо рифмовалось с КГБ. Жандармские вербовка и провокация — с чекистскими. Народовольцы 1880-х — с диссидентами брежневского безвременья (эта рифма была, пожалуй, качеством похуже, но тоже вполне годилась). В другом ракурсе верх брали немного иные акценты (вполне, кстати, пророческие). Бездарность и ничтожность власти в России; ее обреченность. И — проблематичность революционного дела, легкость вырождения революции в грабеж, кровопролитие и тиранию. Роман против властей — но вовсе не за их низвержение. Роман-парадокс, роман-предостережение...

Он не устарел. Дело в том, что в давних перипетиях Давыдов искал и находил либо нечто извечное, либо что-то высшее — *константы социальной жизни, типы и вершины человеческого опыта, мышления и поведения.* Такой константой оказывается, например, у него стальная скрижаль русской истории — жестоковыйное полицейское государство, где власть принадлежит бюрократии и спецслужбам, имеющим целью «превращение материи мыслящей в немыслящую» ради «тишины и благолепия». (Впрочем, Давыдов полагал, что и эта цель недостижима.) Меняются моды и стиль, идейные декорации, но остается своекорыстное, душегубительное государство, абсолютизировавшее само себя. Это государство у писателя — злой и хищный враг.

Крепко, даже слишком крепко (как почти всякий русский человек в XX веке) был привязан наш автор к своей теме: *ошибкам человека и государства*, опыту революций и утопий... Тема эта колесом проехала по его судьбе. Отчуждение — извечное положение мыслящего и совестливого человека в России Давыдова. Он ну никак не может найти общего языка с режимом, с властями. Не потому, что не способен, а потому, что ему претит. Душа не терпит компромисса.

Зачем Давыдов-прозаик отправился в прошлое? Ответ на этот вопрос может быть таким. Он прошлым поверял настоящее, размышляя о том, какова *вершина человеческой реализации* в России. Давыдов нашел свой образец человеческого самоосуществления в среде русской интеллигенции второй половины XIX века. Идеальный тип русского человека у него — критически мыслящий романтик-бунтарь, протестант, «выдающаяся в нравственном отношении личность».

Сказать по совести, мне трудно на это возразить что-то, чего бы писатель не знал сам. Кажется, в состав великой души героя у Давыдова слегка было примешено романтического огня (студенты против филистеров!). Но гораздо отчетливее здесь явлена коренная связь этих, для той поры новых людей с традицией христианского подвижничества (то, о чем писал когда-то Бердяев). В «Глухой поре...» одна старая княжна-богомолка говорит Лопатину: «Все вы, все ваши для меня — земля святая». Герой Давыдова — человек осевого выбора, высокого взыскания. Тот, кому претит подневольное прозябание, отсутствие права «свободно располагать собою и не стесняясь высказывать свой образ мыслей». Тот, кто выбирает себя сам. Это личность высокого полета, яркого идейного горения, духовной жажды, с острым и требовательным чувством справедливости и личной чести, с умением устоять на самом погибельном ветру. Вера Фигнер, Герман Лопатин и их поколение.

Свобода, достоинство, стойкость. Именно то, чего хронически недоставало русскому человеку во второй половине XX века.

Подспудные параллели, невыигрышные для XX века, для советской эпохи, снова и снова попадаются в давыдовских романах и повестях о веке предыдущем.

Подчас даже поражает общий довольно высокий уровень благородства в тогдашнем обществе, портретируемом Давыдовым, — не в пример плебейскому XX веку. Удивительные разговоры ведут там и офицеры, и даже жандармы. Удивительные мысли приходят в голову даже к директору департамента полиции Плеве, человеку временами у Давыдова ничтожному, но не глупому.

Не видно по прозе Давыдова, чтобы кто-то в ту эпоху слишком уж мучительно страдал от социальных тягот. Писатель не будет ничего приукрашивать, но не собирается и сгущать краски. Есть богатые и есть победнее. Бывает и голод. Но это, скажем прямо, прозаика Давыдова не так уж сильно волнует. Волнует другое: мало свободы. Власть зажимает всех. Это воспринимается как бич. Но ведь что с чем сравнивать. По меркам будущего века, свободы было даже возмутительно, соблазнительно много.

Профессор-антик Карелин делится сомнениями с довольно наивным поэтом-борцом Якубовичем. Предостерегает от крови и насилия, из коих не может родиться свобода. Скорей родится диктатура. «Нетерпимость... Ваша нетерпимость ужаснее старинной, религиозной. И ваша победа — упаси от нее Бог! — вызовет неслыханные гонения инакомыслящих. — Профессор смотрел мимо Якубовича. И не Якубовичу сказал он со спокойствием уже не эллинским, но обреченным: — Того не ведают, что кровь зовет кровь, как бездна бездну...». Взамен Карелин предлагает проект народной монархии, с которым потом некоторые будут носиться весь следующий век. Якубович что-то лепечет в ответ, но вовсе не по делу. А профессор как в воду глядел, и разговор этот давний подробно запротоколирован Давыдовым, конечно, неспроста.

Остается только удивляться тому, насколько рельефно удалось Давыдову еще в те небезопасные времена представить аргументацию не только в пользу революции, но и против нее, против тайных обществ, спаянных жесткой дисциплиной (таковым была не только организация Нечаева, но и партия большевиков; вообще за Нечаевым незримо, но постоянно стоит у писателя Ленин; в «Бестселлере», где писатель позволил говорить обо всем открытым текстом, об этом тоже сказано прямо: «Он товарища своего убил, кровью товарища повязал других. А главное-то, заквасочку передал, умение выскакивать из глупейших рамок честности, элементарной, как говорится, а говорить-то надо бы: единственной»).

Встречая у писателя прогнозы вроде карелинского, вспоминаешь египетские «апокалиптические» книги, которые в будущем времени говорят о настоящих, уже пришедших бедах. Позиция Давыдова примерно такая же. И едва ли можно обмануться, сталкиваясь с суждениями старого учителя из Орла о всевластии тайной полиции, режиме тотального террора под любыми идеями, страхе и трепете общества, его готовности раболепствовать. Здесь явно дается характеристика советской эпохи.

До поры до времени у Давыдова не было претензий на историософское обобщение. Писателя интересовали опыты достойной жизни, и он вел их поиск в истории. Но в итоге усвоения тяжелых уроков судьбы история предстала

писателю врагом. И, кажется, прежде всего русская история. Здесь Давыдов — закоренелый пессимист. Из романа в роман впечатления подобного рода накапливаются и образуют критическую массу.

Вот суждение одного персонажа: «Все мы каторжные, равно в остроге и вне острога, с кандалами и без кандалов. Поколениям илотов создать ли Царство Свободы? Откуда произрасти ему?» Иными словами, рабы не способны улучшить мир. Вот другой герой рассуждает: «Решительно не могу вспомнить, кто, но умная, видать, бестия, англичанин какой-то: вы, мол, русские, умеете умирать, но не умеете жить. Горько? А поневоле ведь соглашаешься...» — и дальше, про то, что только в бою, только перед лицом смерти солдат осознает себя личностью... А так понимает ситуацию разочарованный в сотрудничестве с Петром Столыпиным Лев Тихомиров, чьи фаталистического оттенка размышления подробно развернуты писателем: «Если бы был гениальный человек, то Россия бы воспрянула. Но его нет. И это отсутствие не доказывает ли, что России конец, что русская Россия идет в трубу. Живое дело всегда находит своего Моисея. Ах, какая неисправимо дурацкая страна!»

В «Бестселлере» русская жизнь, русская история — изначально страшны и безнадежны. В таких координатах стойкость становится стоицизмом, чем-то похожим на безнадежное мужество героев Камю, на терпеливость персонажей Беккета. Это уже не черта характера, это — трагический (трагикомический) выбор русского человека на рандеву с его судьбой. Стоять вопреки — в то время как полицейские *органы* легко перетекают из прошлого в будущее, меняя название и обогащаясь палаческим опытом. (И лишь случайные попутчики этих мутаций ужасаются: «...работа ловли и расправы создает из нас касту точь-в-точь жандармскую; постепенно и мимовольно мы превращаемся в нерассуждающих механических исполнителей-мясников». Чекисту Артузову, заинтересовавшему Давыдова глухо звякнувшей рифмой с правдоискателями Лопатиным и Бурцевым, писатель доверит подобные мысли: «мы превратились в охранку, мы служим е м у, а не партии рабочего класса...»)

«Бестселлер» — апогей давыдовской свободы. Освобождается писатель там даже от навязчивой антитезы «власть — человек». Другое его занимает все сильнее. Приковывает взгляд непостижимость, индетерминированность человека, способного на великие подвиги — и на великие злодеяния. Давыдов начинает мыслить универсалиями, архетипами. В «Бестселлере» получилось так, что окончательно потеряли важность и значимость статусы и прописки. Революционер ли, или охранитель — так ли важно? Осталась лишь осанка личности, лишь мера ее достоинства.

Так появляется бывший шеф жандармов генерал Джунковский, который представлен как человек чести. И это главное. Но он не находит общего языка с другим героем романа, разоблачителем Азефа Бурцевым. Давыдов фиксирует это несовпадение как парадокс, с которым приходится просто считаться. Из таких вот парадоксов и состоит наша жизнь. Таков закон блуждающей по буеракам русской жизни. Свой своего не познаша...

Показательно, конечно, и то, что до самого конца нет в прозе Давыдова достойных людей в среде большевиков. Русские *социал-демократы* — не его

предмет. Это означает лишь одно: до поры до времени строгий разговор о большевиках был невозможен, а хвалить их писатель не видел резона. Бледной тенью проходит по страницам его романов Плеханов, получая, как правило, не весьма лицеприятные оценки. Далее — молчание. Есть Азеф и Бурцев — нет Малиновского и, скажем, Бухарина.

О нем, *Бухарчике*, — только пара слов в «Бестселлере». Как он идет по Сретенке в кожаном пальто и со всеми здоровается. В «Бестселлере» и Сталин мелькает — он изображен неприятным грязнулей, закомплексованным уродом и, натурально, мерзавцем. Достойным наследником Дегаева и Азефа. «Alter ego Иуды из Кариота». А Ленин тут же предъявлен не столько сам по себе, сколько как Не-Ленин: самозванец, присвоивший фамилию пошехонского дворянина.

Неожиданно острый интерес Давыдова к демонам провокации и предательства, к иудиному греху, к двойной игре определен постоянством, с каким возникают предпосылки подобного рода на нашем суглинке. Неизбежность этой коллизии сопрягается с однозначностью авторского отношения к ней. Нет у Давыдова попыток оправдать тех, кто вступает с властью в сговор ради осуществления каких-либо планов (хотя бы и кажущихся полезными). Выведенные им провокаторы Дегаев и Азеф (в чью компанию Давыдов старательно прописал и Сталина) — его антагонисты. Полюс отталкивания.

Едва ли это так только потому, что Давыдов не может их понять ввиду ограниченности своего искривленного симпатиями к народникам мировоззрения, как однажды предположил питерский критик М.Золотоносов. В какой-то момент действительно могло показаться, что Давыдов со своими симпатиями к революционерам поотстал от культурной моды, чуть ли не безнадежно устарел. Но более трезвый взгляд заставляет разделить у Давыдова его личные симпатии к *рыцарям без страха и упрека* — и идеологические реликты, коими эти рыцари подчас вдохновлялись. Давыдов или выносит последние за скобки — или даже подсмеивается над ними. Но людей чести уважает.

Вот и Лев Тихомиров у писателя, разочаровавшись в революции, не разочаровался в своих былых соратниках: «Я их и теперь люблю. Не по делам, а за честность убеждений и самопожертвование». Примерно так скажет однажды даже инспектор секретной полиции Судейкин. Для Давыдова и дела, конечно, важны. Но еще важнее соответствие средств цели.

Если мировоззрение Давыдова и было искривлено, то в сторону довольно жесткой, ригористической морали, ставшей предметом его личного выбора. В мире нюансов и полутонов простая мораль Давыдова выглядит слишком грубой. Нам бы чего поизысканней... Но пирожные, как известно, приедаются, а черный хлеб — нет. Да, Давыдов — солдат, созданный строгой эпохой. Человек походов и битв. И этому, мне кажется, устареть не дано.

В фундаменте его морали — заповеди блюсти себя (хранить достоинство, верность и честь, единство слова и дела) и быть готовым к жертве за други своя... Здесь — почва для признания революционных идеалистов-утопистов (Давыдов иногда не прочь соотнести их с Христом при более чем отчетливом сознании наивности их проектов) и для неприятия идеи сговора, сотрудничества ответственно мыслящей личности со спецслужбами. Давыдов упорно демонстрирует, как такой комплот разлагает самого человека и губит других. Но за этим у пи-

сателя стоит и другая мысль. Он показывает, как срастаются революционный фанатизм и корысть спецслужб. Как они подпитывают друг друга и заводят общество в тупик. Конспирация и провокация взаимообратимы. Чувство социального, национального, культурно-исторического тупика — маячит на горизонте уже в «Глухой поре...». Оно будет обнажено *до неприличия* в «Бестселлере».

В этом контексте особую важность имеет линия, не выделенная в отдельную книгу. История Льва Тихомирова в «Глухой поре...». Признаюсь, что именно ею сильнее всего тронул меня Давыдов в старые времена — и об этом крепко помнится мне и сегодня.

Тихомиров интересен уже тем, что сложен. Это один из немногих героев писателя, кто пребывает в движении не только внешнем. Живой, не окаменевший, не засохший. Духовным беспокойством, готовностью к самопреодолению, к метанойе, он сродни героям «Войны и мира»; многие другие персонажи писателя ближе к героям Тургенева времен «Накануне», «Нови» и «Дыма».

Кризисное, драматическое *рождение личности из недр самодовольной социальности* разного толка, *личная свобода в мире идейных фетишей-обманок* — не самые мелкие темы Давыдова. Темы прозы, темы жизни. (Именно в их контексте нужно бы увидеть и другого, очень близкого Давыдову героя, Германа Лопатина.)

Давыдов не всегда был чуток к религиозной мистике. Но в рассказе о Тихомирове он превзошел себя. Какие это замечательные страницы — о пресыщенности героя пустой революционной говорильней и отходе от былых соратников, закосневших в догматизме; о болезни ребенка, об ожидании его смерти (и даже поторапливании ее), о смятении сердца и обетах почти напрочь забытому Богу; о чудесном исцелении сына; о припоминании своей когдатошней воцерковленности и мало-помалу овладевающем им покаянном настроении; о новом открытии огромного, сокровенно освящаемого свыше мира — за чертой бумажной схоластики и ложно мотивированной героики!.. «Еще колеблясь, еще скользяще, но уже являлись эти мысли-догадки, эти догадки-мысли: о стенающей русской душе, которой суждены вечные поиски и вечные заблуждения, горечь и пессимизм, а может, и новые надежды. Те новые надежды, которые потребуют отречения и покаяния. (...) Тихомирову трудны и грустны были размышления о путях собственного мышления. (Или того, что он, как многие, принимал за собственное.) Лукавый бродил среди тех, кто звал себя землевольцами, народовольцами, нигилистами, анархистами, социалистами. Лукавый заманивал в пустыню. В пустыне возникают миражи. Самые зыбкие из них — социальные... А реальность — вот она, возьми и взгляни: вязы, ближняя каштановая роща, сельские дороги среди полей...»

Давыдов приводил обширные цитаты из тихомировских писем, документируя перелом героя. Кратко зафиксировав кредо революционеров, он устами и пером героя развенчал многое из того, чему поклонялись и самые отважные и мужественные его персонажи. «В моем понимании освободительное движение есть возмущение против жизни, во имя абсолютного идеала. Это алкание ненасытимое, алканье потерявших Бога. Потерявшие Бога — бесноватые. Успокоиться им нельзя. Они скорее истребят все «зло», т.е. весь свет, чем уступят...» Цитаты, настолько красноречивые, что задаешься вопросом: на чьей же

стороне был при всем при этом сам писатель? Не бессмысленно же он входил в такие разительные подробности? Прямых ответов нет. Но, наверное, на эти вопросы должна ответить логика повествования.

Замечательно то, как у Давыдова этот внутренний процесс пересекается со счетами и расчетами революционеров и жандармов, как личный поиск адаптируется в русле властных или диссидентских интересов. Ищут, как получше использовать Тихомирова. Вот дьявольская диалектика всепоглощающей социальности! Примитивный закон, работающий, как ледоруб: *кому выгодно?* Но Тихомиров и после случившейся с ним духовной метаморфозы (метанойи) совесть не разменял, с жандармами сотрудничать не стал и никого из своих прежних знакомцев им не выдал. Отчего еще и сохранил уважение автора.

А вот Лопатин — да-да, Лопатин — в какой-то момент начинает казаться безответственным авантюристом, завлекающим в сети смерти чистых сердцем дурачков, и ротозеем, исправно ведущим списки участников подпольной сети, доставшиеся жандармам... Писатель вкладывает ему в голову такие мысли: «Он прошел по России как поветрие, повсюду навлекая гибель, везде оставляя роковую метку. Скольких обрек он кандалам, бубновому тузу? Скольких осиротил и обездолил? Он не судьбу свою проклинал, а себя. Он хотел умереть, должен был умереть». Эти слова дорогого стоят и как-то проясняют позицию автора, который не так уж часто впрямую проблематизирует вопрос о жертвах террора.

Очень важные страницы посвящены Тихомирову и в романе «Соломенная сторожка», вышедшем отдельным изданием спустя лет 12 — 15 после «Глухой поры...». Особенно впечатляет кульминация рассказа о нем: эпизоды паломничеств героя в Оптину пустынь к Леонтьеву и в Троице-Сергиеву лавру, общения со Столыпиным. На излете советской эпохи Давыдов представил читателям русского патриота-пессимиста, озабоченного судьбой родины и благом народа — но обнаруживающего, что в обществе нет никаких средств, чтобы избежать самого худшего, что и государственная власть ему и нам — плохой союзник. Герой Давыдова, встав вроде бы на службу государству, не питает никаких иллюзий относительно перспектив имперской России, опытом проб и ошибок осознает ее обреченность. Отсюда непреодолимая и извечная двусмысленность его миссии, его вполне безнадежного дела.

«Годы спустя думал: «Измерена Россия, и взвешена, и получила суд»».

Есть все-таки в судьбе Тихомирова, как ее показал Давыдов, нечто ироническое. Но это — русская судьба. И эта ирония — она еще отзовется у Давыдова, отзовется гораздо более явно в его «Бестселлере», где адресатом окажется и сам автор...

Хорошо, когда книга прочитана вовремя. Некогда рассказ Давыдова о религиозном обращении вчерашнего революционера-диссидента подкрепил меня при переходе от «франкфуртской» критики советского режима к гораздо более всеобъемлющему религиозно-экзистенциальному самоопределению. Вот за что я Давыдову благодарен по сию пору. Причем это, разумеется, было такое созвучие, которое в принципе исключало моделирование жизни по аналогии с тем, как строил ее Тихомиров (эпоха иная, страна иная, народ иной, человек другой). Не аналогии и параллели становились предметом мыслительной спекуляции, — совпал вектор духовного кризиса, вектор личностного про-

буждения. Это и есть самое важное. Давыдов всегда на стороне творческой личности, на стороне живой совести.

За полвека творческой деятельности написано было Давыдовым немало. Книги о мореплавателях, путешественниках. «Южный крест», «Капитаны ищут путь», «Иди полным ветром», «Вижу берег», «Фердинанд Врангель», «Головнин», «Нахимов», «Сенявин»... Книги о русском культурном авангарде, искателях и бунтарях. Книги о жизни в России, разворачивающиеся в объемно-масштабное, многогеройное повествование, где вывернуты на обозрение вороха фактов, а персонажи и проблемы могут кочевать из книги в книгу (это логично сочетается с невыразительностью названий, которые за малым исключением имеют отдельные вещи Давыдова). «Март», «Судьба Усольцева», «Этот миндальный запах», «Глухая пора листопада», «Вечера в Колмове», «Завещаю вам, братья...», «На скаковом поле, около бойни...», «Соломенная сторожка» («Две связки писем»), «Зоровавель», «Заговор сионистов»... Дают о себе знать и самодовлеющий интерес профессионального историка (отсюда впечатление, что в прозе Давыдова нет вымышленных персонажей, все исторические; но отсюда нередко — и повествовательные длинноты), и пафос честного, прямоходящего моралиста, и беллетристический навык, и вкус к детективу историко-революционного профиля (занятно наблюдать, как срастаются в «Глухой поре...» два персонажа — революционер Дегаев и провокатор Яблонский, давыдовские доктор Джекил и мистер Хайд — в одно лицо).

В «Глухой поре...» и в других своих лучших вещах Давыдов стремился к созданию *романа идей и позиций, романа-диспута, романа-полилога.* Страшно угнетает автора и его героев существование наедине с собой, без общения с миром, без отклика из мира. То, что самым роковым образом реализуется в судьбе многих из них в момент заключения в одиночную камеру Петропавловки или Шлиссельбурга — момент, иной раз длящийся десятилетия. То, от чего страдает помудревший Тихомиров, чьи новые, консервативные идеи не находят отклика в обществе: «Ему иной раз даже казалось, что все свои силы год за годом изводит он на поддержание власти какого-то египетского фараона Нехао и фараоновой администрации, да вдруг и обнаруживает, что никакого Нехао, никакой администрации вот уже тыщу лет нет как нет. Комизм, думал в такие минуты Тихомиров, ну, может, и высокий, а комизм, и сам ты — веселенький, юмористический тип».

Снова и снова самые разные персонажи Давыдова сходятся на очной ставке, чтобы прояснить наиважнейшие, роковые вопросы. И такие встречи заставляют их актуализировать свои ценности, свои аксиомы и подвергнуть их испытанию. Человек яснее и полнее понимает себя, а подчас и радикально меняет свою жизнь. Кульминационные эпизоды в романах Давыдова — это очные или, иногда, заочные поединки, в которых сходятся антагонисты. У него и в ГУЛАГе спорят, чтоб доспорить (как и в прозе Евгения Федорова или Льва Разгона).

...Дегаев и Лопатин. Спор о возможности сговора борца против режима — и полиции.

...Лопатин и Нечаев. Спор о революционной морали.

Сшибки мнений, споры в романах Давыдова обычно зацикливаются вокруг социальных и моральных вопросов. Дальше в сферу духа автор идет редко. Но и

так круг вопросов, развернутых в процессе обсуждения, весьма немал и свидетельствует о широком кругозоре автора и о том, что он выходит, в сущности, на главные проблемы русской общественной жизни. Какие-то темы споров сохранили свою актуальность. Какие-то имеют историческое значение («народ», «революция»...). Какие-то, наверное, актуальность еще приобретут. Не все такие споры развернуты последовательно и многосторонне. Скажем, в целом разочаровывает очно-заочный поединок Лопатина с Тихомировым. Возникает впечатление, что Лопатину нечего возразить оппоненту. Самое существенное его замечание делается в довольно легкомысленной манере, характерной для некоторых наших либертинов 80-х-начала 90-х годов: «Силен в нем был русский шовинизм, а русский шовинист в конце концов непременно грохнется на колени перед русским самодержавием». Выходит, что любовь к русской христианской традиции, по Лопатину, неизбежно затягивает его оппонента в болото политической реакции. Скажем кратко: сие не есть доказанный факт. (Может быть, эта бедность суждений мотивирована *исторически*. Но, кажется, писатель просто не сумел собрать аргументов, чтобы построить полемику с опорой на традиции диатрибы. Не цензурные же обстоятельства в данном случае являются причиной!)

Автор поначалу как будто бы сохранял нейтралитет. Особенно при обсуждении не самых тривиальных социально-политических тем. Хотя нередко (стоит только в дискуссии коснуться нравственного вопроса) и давал понять, на чьей он стороне. Обычно он до предела сближался с одним из героев (с кем конкретно — зависело от предмета повествования). Но со временем, от романа к роману, присутствие Давыдова в его прозе становится все более явным. Писатель себе всё более интересен.

Сначала он ограничивался только вводными замечаниями, которые производили впечатление отмазки для цензора. А к концу, в «Бестселлере», вокруг автора все и крутятся. Он сам теперь — главный персонаж его истории, а прочие исторические деятели и незаметные герои жизни вступают с ним в отношения, продиктованные личным пристрастием автора. Это книга Давыдова о себе самом, исповедь свободного интеллектуала. В свете этого, последнего романа персонажи прежних книг могут быть поняты как отдельные фазы авторской мысли, как отдельные стороны авторского Я, как образные реализации архетипов, всплывающих из недр души художника. Тот же Герман Лопатин — бунтарь-моралист, стойкий рыцарь революции, готовый убивать «сатрапов» и жертвовать собой (другими — тож), едва ли не безупречный герой, почти альтер эго автора. Но именно — «почти». Сам Давыдов сложнее и богаче мыслями, тоньше и, пожалуй, опытнее. Он понимает, что в какой-то момент Лопатин оказался заложником революционной идеи, которой не смог изменить по прямизне своего характера или по недозрелости, подростковости, что ли.

Писатель позволяет отозваться в себе и сановнику империи, и тайному реформатору из жандармского ведомства, и либеральному профессору, и религиозному мыслителю — с их суждениями о жизни, с их позицией... Он читал «Катехизис революционера», но читал и «Вехи». Он учился понимать, что готовность того же Лопатина судить весь мир — не самая неуязвимая позиция. Он и в русском демоне Нечаеве находил не только мерзкую повадку аморального авантюриста, но и обаяние человека дела в кругу «извечно расейского

телячьего студня», готовность к жертве (и другими, и собой: жжет свечу с двух концов), и апокалиптическое сознание («он осудил мир на крушение и возмездие», «чем хуже, тем лучше, ибо скорее и круче выхлестнет отчаяние»). Правда, демоническая стихия души Нечаева по-настоящему Давыдовым, мне кажется, не открыта. Кое в чем убедительнее портрет мистически одержимого Сергея Нечаева, созданный Дж.Кутзее в романе «Осень в Петербурге» (я писал о нем в «Дружбе народов», см.: «Свист тьмы».— № 11, 2001).

Постепенно Давыдов преодолевал те ограничения, которые вменяла ему беллетристическая традиция. Его путь — путь художника от условностей к свободе, от чуть ли не нарочитого объективизма к господству авторской личностности, от самоограничения к почти безрамочному артистизму. Это дало противоречивые результаты. С одной стороны, в своем последнем романе Давыдов пришел к почти полному распаду формы. С другой — он дышал все более легко, все более глубоко. Исторический романист становился просто свободным мыслителем в прозе и со-героем.

Размышляя о своих героях, писатель немного завидует им. Их готовности к активному действию, к подвигу на арене жизни. Они состоялись именно как исторические деятели. У них богатая перипетиями, даже авантюрная биография. ...Давыдов воевал, сидел в тюрьме, вкалывал на гулаговской каторге. Но разве эта жизненная сцена может сравниться с той, которая досталась его главным героям? Они почти на равных состязались с историей, а Давыдов? Архивная крыса, подцензурный сочинитель... Эпоха дала человеку слишком мало. Но оставила ему возможность удержаться на рубеже личного присутствия. Человек Юрий Давыдов вписал себя в историю. А история-то такова, что он не может претендовать на то, чтобы с комфортом расположиться в некоем центре мира и благодушно наблюдать за происходящим. В «Бестселлере» уже ему было не до кристально чистых революционных душ. Мелькают, конечно, таковые; ну и Бог им судья. А ему бы как-то выкричать, вышептать, выплакать то, что невмоготу нести с собой в гроб.

В конце жизни он позволил себе последнюю свободу. Но это не значит, что он не имел ее раньше. Во всяком случае, как художник. В его прозе подчас поверх всех борений звенит далекая струна, синеет небо, поет птица. Есть глубокое пространство совсем иной жизни. Безбрежный мир, который не сводится ни в какие прописи. Он есть — и его присутствие придает совсем иной масштаб революционно-жандармским пикировкам (не упраздняя их значимости для самих протагонистов).

Лопатин с Дегаевым однажды встретились в петербургском ресторане, чтобы прояснить позиции. Прояснили. А дальше следует такой авторский пассаж: «Они уходили из ресторана, когда в зал, отдохнув, возвращались цыгане. Швейцар распахнул высокие парадные двери. С улицы молодо прянул сильно засвежевший ночной воздух. И докатился, как на прощанье, медленный гитарный раскат: «Ах, да погасите свечи, они плохо горят...»». Никак эти старопрежние певучие цыгане не отменяют важности случившегося делового принципиального разговора. Но и жаль становится ушедших, недослушавших, чего-то главного в жизни не понимающих. В отличие от автора, который с такой художнической хищностью пережил эту коллизию — и дал о том нам весть.

Мария РЕМИЗОВА

GRANDES DAMES ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА

Заметки о литературных премиях

А говорят еще, что ничего не меняется! Меняется, еще как. Не успело человечество перевалить в третье тысячелетие, как российский менталитет сдвинулся настолько, что организовал женскому полу аж два литературных триумфа. Один прямо буквальный — «Триумф» Татьяне Толстой и, так сказать, косвенный — «Букер», он же «Smirnoff», Людмиле Улицкой. Справедливость восторжествовала. Женщины увенчаны лаврами наравне с мужчинами. Такой мелочью, как литературные достоинства текстов, в принципе можно и пренебречь. Какое в конце-то концов это имеет значение — в сравнении с праздником всеобщего примирения и торжества гуманитарных ценностей? Ровным счетом никакого.

Блеск и нищета Татьяны Толстой

«Триумф» — в отличие от других премий (за исключением одной, может быть, Государственной) — дают не за что-то конкретное, а, так сказать, «по совокупности заслуг». Дело, конечно, хорошее, но рисковое — чтобы не нарушать логику известного афоризма про праведные труды и каменные палаты, награждение достойных часто откладывается на неопределенный срок. За долгие годы может накопиться такая «совокупность», которую, может, и не стоило бы награждать — не потому что жалко, а просто чтобы не поднимать лишнего шума вокруг грандиозных творческих фиаско.

Впрочем, сказанное не относится к случаю Татьяны Толстой — шум вокруг романа «Кысь» и до «триумфального» награждения стоял изрядный. Надо отдать должное критике — преодолев свою сервильную природу, подавляющим большинством голосов она выдала «Кыси» весьма низкую оценку: рефреном по общему тексту звучало роковое слово «провал». Хотя нашлись и некоторые энтузиасты (тоже, что характерно, дамы — Наталья Иванова и Алла Латынина, — последняя, впрочем, с известной долей критицизма), — усмотревшие в романе приметы высшего пилотажа...

Но отвлечемся пока от «Кыси». Сперва о заслугах.

За свою литературную жизнь Татьяна Толстая создала не так много — это если судить по объему. По качеству же пара десятков написанных ею рассказов даже на самых приблизительных весах, конечно, легко перетянет множе-

---

Мария РЕМИЗОВА — родилась в 1960 г. в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Литературный критик, автор многих статей о современной литературе. Публиковалась в «Независимой газете», журналах «Дружба народов», «Континент», «Новый мир» и др. Живет в Москве.

ство *масштабных* опусов некоторых ее современников (даже если последних брать в *совокупности*).

Толстая действительно (без каких бы то ни было оговорок) — великолепный стилист. Не только безупречно владеющий русским литературным (и разговорным, разумеется), но и выработавший собственный, довольно своеобразный, художественный язык — что, как ни парадоксально, является в современной литературе редкостью чрезвычайной. За одно это ее уже можно было бы поместить в музей и закидать «триумфами» по самую макушку.

Если последний (предпоследний) пункт нуждается в разъяснениях — разъясним. У художников есть прекрасный термин — школа. Будь ты хоть сто раз Кандинский-Малевич-Шагал, если нет первоначальной *школы*, если ты не научился рисовать предмет таким, каким он должен выглядеть при соблюдении тупых законов оптики, никакие написанные тобой абстракции никогда не станут настоящей живописью, на веки веков оставшись приблизительной мазней дилетанта. Художникам, конечно, проще — существуют такие места, где *школу* дают. Для человека, работающего со словом, таким мест не предусмотрено — не в смысле отсутствия учебных заведений (они-то как раз есть), — не предусмотрено, так сказать, свыше. Языку (как средству художественного выражения) нельзя научиться — но им можно владеть. Это как абсолютный слух — или он есть, или займись другим делом.

Наслаждение, сопутствующее чтению рассказов Татьяны Толстой, происходит прежде всего из безупречно воспринятой гармонии слова. Собственно, это и есть отправной пункт художественности — великое заблуждение множества современных писателей в том и состоит, что они полагают, будто проза в этом смысле чем-то отличается от стихов, и потому слагают тексты из случайно подвернувшихся и оттого безнадежно мертвых словесных конструкций. Когда читаешь Толстую, кажется, будто не было птичьего языка советской эпохи, ядом впитавшегося в кровь и плоть отечественного словаря, так что и до сих пор большая часть современной словесности кажется сочиненной пропахшими пылью чиновниками.

Несколько лет назад Татьяна Толстая дождалась даже печатных упреков от радикально настроенных литераторов — мол, *здесь и сейчас* писать так, как она, не просто нельзя, но как бы даже и неприлично. Такое письмо, мол, воспринимается как анахронизм и ничего ни о современном человеке, ни современному человеку сказать не может.

Это как посмотреть. Если современный человек до того очумел, что нормальной речи не воспринимает, то и черт с ним совсем. А вот рассказать о нем кое-что можно — и гораздо больше, чем на том воляпюке, которым изъясняются, например, сами радикальные литераторы. Но речь не о них.

А что, собственно, сообщает о современном человеке Татьяна Толстая? Основная нота ее рассказов — ностальгическая. Но отнюдь не сентиментальная. Это, кстати, тоже редкость. У Толстой очень жесткий, кажется, совершенно мужской ум, осознающий эмоциональную составляющую только в связи с продолжительной рефлексией. Искать у нее непосредственного «чувства» бессмысленно и непродуктивно. Это ни в коей мере не означает, что текст выходит отвлеченным или сухим. Это означает лишь то, что между персонажем и

автором всегда будет сохраняться дистанция огромного размера. И что нам предлагается в первую очередь анализ, эмоционально-психологический *портрет* заданной в тексте ситуации. Очевидно, что при таком методе неизбежна ирония. Еще несколько лет назад казалось, что это — очевидный плюс. Теперь все чаще возникает ощущение, что такая позиция несколько ущербна — в ней не хватает любви. Стало быть, *несправедливо*.

В современной литературе есть только один писатель, работающий в подобной нише, — что примечательно, тоже женщина. Это Людмила Петрушевская. Еще более примечательно, что ее неудачи — «Песни восточных славян» и все последующие эксперименты в подобной им стилистике — связаны прежде всего с выходами в фантастическо-мифологическое пространство, куда с несколько другой стороны явилась с «Кысью» и Татьяна Толстая. Что их туда влечет? Им наскучили нивы бесплодные? Чужды им страсти и чужды страдания? Вечно холодные, вечно свободные, убедили они себя, что там, где нет жизни, — можно найти какой-то ответ?..

Когда Татьяна Толстая находится в пространстве, сообщающемся с миром живых людей, даже в предельно отчаянной «Ночи», где слабоумный *чувственно*, на уровне почти невербализуемых ощущений постигает пропитывающий мир *ужас*, это онтологическое отчаяние выглядит убедительным аргументом даже в самом строгом приговоре. «Ночь» — безусловно лучший из ее рассказов, где Толстая, может быть, единственный раз по-настоящему вырвалась за очерченный самой себе предел саркастического восприятия, ужаснувшись хтонической черноте, подступающей к самой границе до смешного хрупкого человеческого мирка.

Когда Толстая любуется своими хранящими прошлое дачами, где когда-то давно, в незапамятные времена счастливые дети изводили любящих их до беспамятства старушек, когда она перебирает свои шкатулочки, открыточки, пуговки — надо иметь совсем уж каменное сердце, чтобы не вспомнить о собственных реликвиях и не растаять от умиления, тем более, что дорога от этих дач всегда ведет к разочарованию в настоящем, и ясно, что жизнь не задалась, — а это чувство (когда оно мимолетно и в общем-то не имеет под собой оснований) обладает известной прелестью. Тем более, что всякая утрата так или иначе намекает на смерть — а эта тема, если подойти к ней с тактом и мерой, обычно довольно выигрышна.

Даже когда Толстая показывает гораздо более глупых и ограниченных, чем она сама, людишек (на то они и персонажи, чтобы с ними не церемониться), которым никак не удается вырваться из паучьих объятий бессмысленности, хотя где-то за горизонтом маячит что-то призрачное и маняще недостижимое, — все это отлично вписывается в *одну из версий* восприятия реальности, когда человек по определению маленький, а среда (четверг, пятница) бесповоротно заела. В самом известном и, видимо, лучшем рассказе на эту тему («Сомнамбула в тумане») показан даже маленький бунт, очевидно комичный — однако, и чуть-чуть метафизический. Безобидный старичок-зоолог, на склоне лет впавший в сомнамбулизм, убегает во сне неизвестно куда, голый, нелепый — но на этот миг действительно совершенно свободный. Толстая, конечно, не верит в такую свободу, умом то есть не верит — и потому усмехается. Но иррациональ-

ная природа художника заставляет ее (помимо воли) немножко и верить (все художники — как бы сомнамбулы). И потому здесь — намечается противоречие и, как следствие его, глубина — самое то для художественной литературы.

Но когда неведомая сила выносит ее за эти пределы, когда игра заходит так далеко, что невозможно никому и ничему сопереживать, а только следить, как движутся кукольные фигурки по условному полю, поражает недоумение — ладно бы, зачем это нам, но зачем это ей?

Не сказать, чтобы роман «Кысь» был для Татьяны Толстой совершенно случайным. Достаточно вспомнить рассказ «Сюжет», где не убитый на дуэли старик Пушкин ударил палкой по голове обидевшего его мальчика Володю Ульянова, отчего в этой голове произошел полный переворот, и вместо революционного идеолога свету явился вернейший слуга царю и отечеству. История России, разумеется, пошла по-другому... Когда читаешь такие вещи, написанные талантливым человеком, становится несколько неудобно. Ну, был вообще-то такой анекдот, про детский сад врать не буду, но в младших классах имел определенный успех. Но чтобы взрослый человек, писатель, да так серьезно...

Ну вот, наконец, и «Кысь». В печати имеются сообщения, что этот роман Татьяна Толстая писала десять лет. Некоторые критики привязывали неудачу именно к долгому сроку изготовления: мол, начала Толстая при одних исторических условиях, закончила же при совершенно других, когда хвост поезда, в котором она предполагала разместиться со своей «Кысью», давно растворился в тумане. Может, оно и так, да только что же это за литература, которая теряет ценность, едва сменилась окружающая среда? Все ж-таки роман не газетная статейка, не куплеты на злобу дня. В настоящих романах — даже пропитанных самой что ни на есть конкретной, сиюминутной социальной сатирой, даже сведением мелочных счетов с «врагами» — бывает что-то, выталкивающее за рамки однодневного чтива. (Достаточно вспомнить «Божественную комедию» — даром, что она вовсе и не роман.)

В чем-то более серьезном ошиблась Толстая. Как следует подумав, можно даже понять, в чем. Социальная сатира требует позитивного закадрового пафоса. Утопист и антиутопист по большому счету имеют одинаковую задачу, только добиваются ее разными средствами. Оба *должны* иметь четко сформулированный и выясняемый через текст *идеал общественного устройства*, ради которого, условно говоря, готовы биться, не щадя живота своего. В противном случае вместо пламенного памфлета получается юмореска, годная для разовых выступлений на эстраде.

Человека, более далекого от *искренней социальной проповеди*, чем Татьяна Толстая, представить себе, кажется, невозможно. Здесь-то и зарыта собака. Замысел был хотя и соблазнителен — для такой прославленной иронистки, — но изначально порочен. И что там дальше с текстом ни делай, он был мертв еще при зачатии. И тверди-не тверди о стилистических совершенствах и языковых находках в «Кыси», она остается пустой до гулкости формой.

В «Кыси» Толстая затеяла довольно нехитрую игру «узнай меня» (ну, не совсем примитивную, конечно, все-таки она умная женщина и отличный стилист), наполнив роман массой более-менее легко дешифруемых «загадок». Текст симулирует сознание клинического идиота, воспринимающего окружающее

буквально и прямолинейно — эдакого «совка», без малейших изменений перекочевавшего в новый строй. В «Кыси» изображено общество после таинственного «Взрыва» — формально, что-то вроде ядерной войны, метафорически — вариативно: от революции до перестройки. Общество деградированное и, разумеется, тоталитарное. Утрачены все культурные навыки. Книги уже не запрещены, но считаются источником неизлечимо-смертельной болезни. Едят в основном мышей, пьют «ржавь», напившись, безобразничают.

Абсолютное большинство — мутанты, с петушиными гребнями, хвостами, рылами, жабрами (для иллюстрации см. Иеронимуса Босха). Существуют какие-то «перерожденцы», которых не считают за людей и используют как тягловую силу (см. лагерную литературу с упоминанием «вридло» — «временно исполняющий должность лошади»), но «перерожденцы» проходят по периферии текста и точной атрибутации не поддаются. Еще фигурируют «прежние» — те, что родились до «Взрыва», они не старятся и не умирают, если только не от несчастного случая. Странность заключается в том, что они — все как на подбор — интеллигенты, все с образованием, и все страдают в этом царстве невежества и хамства, собираясь кучками и вспоминая ведомые только им магазины да Пушкина. Почему пережили «Взрыв» лишь представители «образованного сословия»? Вероятно, чтобы легче было узнать: а) переживших революцию тетушек, перебирающих фотки своей молодости, сидя в антикварном кресле в какой-нибудь черной от тараканов коммуналке в районе Литейного; б) переживших перестройку научных сотрудников старшего возраста, клянущих распоясавшееся телевидение и с тоскливым отчаянием вспоминающих свой былой общественный статус. Словом, тех персонажей, которые — но только в более реалистической манере — уже были насажены на булавки в иронической коллекции Татьяны Толстой.

Рефреном по тексту идет комментарий главного героя, Бенедикта: «Такое, значит, у него (нее, их) вышло Последствие»...

Изъясняется общество на лубочном «простонародно-фольклорном» языке. Литературная общественность подмечала странность — старославянизмы здесь пишут правильно, а все, что было некогда заимствовано, вреде «интеллигенции» или «традиции» — с ошибками. Впрочем, порой закон нарушается — «*абразавание*», хотя и русское по происхождению, тоже попадает в разряд инородцев. Иногда Толстая, словно забыв, во что превращается шутка, повторенная дважды, цитирует чужие — на свою беду, из тех, что «на слуху». Например, обильно используется пресловутая «мараль» — естественно, с приобретенными вместе с новой орфографией коннотациями (см. Островский Н. А. «Женитьба Бальзаминова»). Языковая «игра» объясняется просто — Толстая зло сводит счеты с «патриотическо-почвенническими» умонастроениями современного общества, которых, видимо, сильно напугалась еще перед отъездом в Америку.

Управляет безобразим, разумеется, никто иной, как Федор Кузьмич (случайный, вероятно, тезка знаменитого юродивого, задолго до рождения Татьяны Толстой пропечатанного в русской литературе). Федор Кузьмич постепенно изобретает и передает в дар вверенному ему народу все — от молотка до саней, а также непрерывно сочиняет стихи (от «Горные вершины...» до «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»), перепиской которых заняты специально обу-

ченные грамоте «голубчики», в частности, и главный герой — Бенедикт (имя его, вероятно, значимо, но интерпретировать намек не беремся). (Тут, кстати, находится прекрасный повод поизгаляться над разными советскими литераторами: тупоумному Бенедикту, например, кажется, что Чехов — «криворукий мужик, забулдыга» — книжка-то у него потрепанная, зато Антонина Коптяева «баба чистая, себя соблюдает. Уж такая книжечка, можно сказать, нетронутая». Достается, впрочем, и модернистам — когда Бенедикт начинает наводить порядок в библиотеке, расставляя книги «тематически», то есть буквально «повторяя» излюбленный модернистами прием: «Платон, Плотин, Платонов, «Плетення жинкових жакетов», Плисецкий Герман, Плисецкая Майя, «Плиссировка и гоффрэ», «Плевна. Путеводитель», «Пляски смерти», «Плачи и запевки южных славян», «Плейбой»...» Беда лишь в том, что самой Толстой игра так понравилась, что она никак не может остановиться, и длит, и длит нелепые списки — пока не затошнит).

В общем, изображена цивилизация дикарей в узнаваемо русских декорациях.

Поначалу все кажется, что вот-вот — и смутно чаемая сверхзадача Толстой выглянет на поверхность. С точки зрения стилистики, «Кысь» написана довольно забавно (опять-таки поначалу — пока игра не приедается). Не верится, что *все это* — просто так. По инерции проглатываешь сотню страниц, но ничего не меняется. Все ловят да варят мышей, да кланяются Федору Кузьмичу, да поигрывают словами.

Тем временем Бенедикт вдруг женится на дочке Главного Санитара (местный вариант ЧК-КГБ-ФСБ), принят в семью. Он узнает, что в высших эшелонах власти едят сыры и котлеты, что книги читать отнюдь не возбраняется, и вообще понимает, что такое сладкая жизнь. Тесть назначает его «санитаром», он познает прелести власти. Разъезжает на собственном «перерожденце», врывается в дома «голубчиков» и железным крюком отнимает неведомо для какой надобности хранимые книжки — отнимает, как он теперь узнал, не для профилактики заразы, а чтоб те не попортили важных для государственных нужд артефактов. И читает теперь запоем. Но бессмысленно: ему важен лишь процесс поглощения слов — а что читать, Чехова или руководство по вязанию спицами, ему все равно. Для одного из «прежних» (приятеля покойной матушки) вырубает деревянного болвана — «Пушкина». «Прежний» все пытается восстановить «утраченное культурное пространство» (здесь, надо отдать должное, ирония Толстой выглядит весьма убедительно), все надеется пробудить в Бенедикте способность мыслить, да тщетно. Болван болваном и останется.

Потом тесть при помощи Бенедикта захватывает власть и воцаряется в местном «кремле». Бенедикт не проходит проверки на вшивость, его оттесняют другие фавориты, более склонные к насилию и корысти. В государстве устанавливается террор. В «кремле» почему-то жгут библиотеку. Под занавес зачем-то устраивают публичное сожжение двух «прежних», знакомцев Бенедикта, который вдруг отчего-то заподозрил, что он и есть Кысь — чудовище, которого никто не видел, но все боятся. Вместо того, чтобы сгореть, старики воспаряют в небеса.

Откуда-то с высот, воспаряя над текстом, на все это смотрит автор, презирающий всех и вся — главным же образом, свою ничтожную родину.

Мы уже намекали на некоторую ущербность сатирического подхода к действительности — даже в рассказах, форме малой и оттого не требующей большого эмоционального разнообразия. Роман же, как правило, предполагает хотя бы некоторую долю эмоциональной полифонии. Когда писатель предлагает один монотонный сарказм, становится несколько скучно. И добро бы Толстая хотела обличить. Но она даже этого не хочет. Ей просто все здесь осточертело — тупой скотоподобный народ, бессмысленная, цепляющаяся за иллюзорное прошлое «либеральная интеллигенция», вечные стоны об утраченной духовности, траченые молью диссиденты, все лелеющие в памяти, как однажды сказали кому-то на ухо свое решительно «Нет!», — в общем, вся *эта* дурацкая страна, где *нормальный* человек никогда не будет чувствовать себя *нормально*.

Не в том беда, что Толстая задела чьи-то тонкие национальные чувства — эка невидаль, то ли еще бывало в нашей по-российски безалаберной и *широкой* культуре. Беда в том, что Толстая забыла самое главное — чтобы что-то понять, надо это что-то любить. А любить это что-то в своем прекрасном далеке Толстая, видимо, разучилась.

Такое, значит, у нее вышло Последствие...

Казус Людмилы Улицкой

Если «Триумфом» дают «за заслуги», то уж «Букера», хоть бы и «Smirnoff», — за один-единственный роман (или, как пояснили отцы-основатели еще в позапрошлом году, за повесть, в западном, очевидно актуальном для нас, контексте мигом становящуюся романом). Людмила Улицкая была увенчана смирновско-букеровскими лаврами за роман «Казус Кукоцкого», в журнальном варианте известного под именем «Путешествие в седьмую сторону света». Улицкая — писатель не без талантов (если взять, к примеру, роман «Медея и ее дети»), однако назвать «Казус Кукоцкого» большой удачей рискнуло, кажется, одно только букеровское жюри. Не будем, впрочем, стремиться видеть одну плохую сторону — в литературной биографии Улицкой есть и «Веселые похороны», которые покойный Астафьев прямо назвал «позором», — и им «Букера» все-таки не дали. Хочется надеяться, что посовестились.

Лавроносный текст блестяще аттестован убийственно-иронической фразой Павла Басинского: «от одного названия хорошего романа Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого» сводит судорогой рот». Нам и самим бы хотелось сформулировать что-нибудь столь же лаконичное, но положение обязывает к нудному разбору.

Если в случае Татьяны Толстой мы имели дело с так называемым мужским, то есть рациональным, типом сознания, то в случае Людмилы Улицкой представляется возможность пронаблюдать сознание типично женское, то есть иррациональное и, мягко говоря, довольно слабо структурированное.

Начнем с того, что неструктурирован сам роман — он представляет собой хаос сюжетных линий и не встраивающихся ни в какие линии эпизодов, причем часть линий обрывается на полпути, а другие, на долгое время выпав из поля зрения автора, вдруг выскакивают в самом неожиданном месте, махнув перед носом опешившего читателя каким-нибудь донельзя игривым завитком на конце: ну, например, каково было бросить на произвол судьбы братьев-

близнецов, которые так упорно добивалиєь любви главной героини, что появившийся ребенок оказался буквально неизвестно от кого из двоих? После этой идиллии втроем кажется как-то не очень психологически достоверным, что они напрочь исчезают из текста, стоит легкомысленной матери упорхнуть к следующему возлюбленному, — ребенок-то, между прочим, не чей-нибудь — их, близнецовый...

Неструктурирована, если так можно выразиться, и сама сущность романа, точно автор никак не мог решить, какому жанру наконец отдаться. «Казус Кукоцкого» начинается как добротная семейная сага, затем делает резкий рывок к «мистическому» символизму, вновь возвращается к саге и отсюда уже малопомалу дрейфует в сторону типично женской псевдопсихологической беллетристики с элементами любовно-приключенческого романа отечественного образца.

Обозначить главную тему «Казуса» проще простого: *любовь* и *кровь*. Причем любовь понимается в основном крайне физиологично, но иногда — до чрезвычайности отвлеченно (это в мистических пространствах, где, честно говоря, ориентироваться весьма затруднительно, там все символы да мятущиеся тени), а кровь — по большей части в переносном значении, то есть в смысле родства.

Замечательный акушер Кукоцкий вдруг (ну, не совсем вдруг — после довольно долгого вступления, содержащего его жизненный путь буквально от колыбели) обнаруживает в себе загадочный дар видеть пациента прямо-таки изнутри, причем пораженный болезнью орган подает дополнительные опознавательные сигналы. Характерно, что функционирование этой чудесной способности напрямую связано с половым актом — соитие с женщиной таинственную восприимчивость притупляет. Кукоцкий совсем было оставил плотские утехи, но тут у него на операционном столе оказывается *прекрасная* умирающая (Елена!), в которую он тут же и влюбляется, выхаживает, вылечивает (ампутирует женские органы под корень). Потом немедленно женится и усыновляет ее малолетнюю дочку, хотя у возлюбленной есть еще как бы вполне живой муж, только временно отбывший на фронт по причине Великой Отечественной войны.

Оба испытывают по этому случаю некоторое нравственное смущение, но ничего с собой поделать не могут. На мужа, к счастью, вскоре приходит похоронка. И все у влюбленных ладно, согласие и взаимопонимание, а уж новенькую дочку наш врач любит так, что лучше всякой родной. Единственная беда — общих детей у них быть не может, и великий акушер остается лишенным возможности кровного родства с детьми. Да, и дар его тоже вдруг куда-то пропал. Зато объявился у жены — в способности видеть предметы сразу со всех сторон, что очень помогает ей при освоении профессии чертежницы. (Про жену также сообщено, что детство она провела в толстовской коммуне, и даже дано в подробностях несколько соответствующих эпизодов. Хотя зачем приплетено толстовство, не вполне ясно — разве только потому, что «половой вопрос» нашел тут довольно экзотическое решение.)

Потом с Еленой Прекрасной происходит непонятная болезнь, она впадает в какое-то сновидное состояние, где и наблюдает упоминавшиеся выше тени и символы. Тени и символы куда-то бредут среди космических пейзажей, и

фигурируют какие-то неродившиеся младенцы, аллегорически изображающие укоризну. Потом несчастная открывает, что ее муж — идейный борец за легализацию абортов, после чего навсегда прекращает с ним половой контакт, хотя они продолжают жить вместе и любить друг друга. Впрочем, очень скоро она превращается — тоже неизвестно отчего — в обездвиженного и бессловесного инвалида с подложенной в кресло пеленкой, так что не только половая, а, можно сказать, и вообще всякая жизнь становится для нее недоступной.

До паралича супруги успели удочерить еще одну девочку, Тому, дочь то ли дворничихи, то ли уборщицы, мать которой умерла от криминального аборта. Девочка оказалась мелочной и меркантильной, и хотя для нее делали все, что могли, никто ее так и не полюбил. Первая дочь, Таня, наконец, выросла, но тоже вдруг бросила университет, стала шляться ночами по улицам, беседовать с алкоголиками, поселилась в мастерской у знакомой художницы и предалась свободной эротике. Потом, обнаружив в себе признаки нового человеческого существа, вышла замуж за одного из влюбленных в нее братьев-близнецов — причем который из них отец ребенка, как мы помним, не знал решительно никто. Впрочем, она махнула ручкой обоим, едва ей встретился гениальный саксофонист. Саксофонист страшно полюбил чужого ребенка, а влюбленная мамаша вскоре умерла от новой беременности. В финале ее выросшая дочь, Женя, приезжает мыть свою парализованную бабушку — все ту же впавшую в маразм Прекрасную Елену. Надо ли упоминать, что внучка тоже беременна?..

Все это, по представлениям автора, должно обозначить разные формы любви, но обозначает лишь то, что автор понимает любовь как-то уж чересчур однобоко. Идейный же вывод по поводу «крови» и вовсе куцый — стоя над тельцем новорожденной «внучки» (все той же Женечки), акушер Кукоцкий предается мучительной медитации — что же все-таки такое есть родство, если он так любит этого неродного ему ребенка? Автор оставляет вопрос открытым — по всей вероятности, эту проблему Улицкая оставляет читателям для длительных размышлений на досуге.

Порою кажется, что Улицкая с достойной лучшего применения энергией ломится прямиком в открытую дверь, пытаясь разрешить катастрофически сложный для нее вопрос — где лежат границы любви, — для чего противопоставляет долгое супружеское воздержание родителей безудержной половой разнузданности дочери. Но и вломившись в нее, словно не понимает, чего, собственно, добивалась — затем, чтобы доказать, что песок плохая замена овсу? Но тогда почему ее Таня выходит из этой грязной пены словно умытая, не испытывая ни тени смущения ни перед кем — ни перед дочерью, которой столь произвольно выбирала отцов, ни перед теми, кого сперва вовлекла в двусмысленные отношения, а потом беззастенчиво бросила?

В отличие от Татьяны Толстой, Улицкая, кажется, горячо симпатизирует своим героиням, во всяком случае, ни единого слова осуждения в их адрес она себе не позволила. Единственно, кто осуждения удостоился, это Тома — не вписавшийся в семью неблагодарный приемыш, — видимо, оттого, что оказалась не способна любить из благодарности. Здесь концы не вполне увязываются с концами: если любовь постулируется как свободное чувство, попробуй любить из-под палки. Улицкая путает ситуацию тем, что рисует бедняжку натурой мелочной и

принципиально неблагородной — видимо, почувствовав, что картинка всеобщего любовного единения выходит уж слишком приторной, она решила разбавить сироп горькой микстурой. В финале эта неблагодарная третирует парализованную приемную мать — однако живет с ней (а поживи-ка с таким инвалидом), благородная же внучка, та, что приезжает в банный день (раз в месяц что ли), отчего-то не живет, занимаясь поисками любви где-то на стороне.

Улицкая — сознательно ли, нет ли — написала вопиюще феминистский роман, где женщина является единственным значимым началом, мужчина же — лишь пассивная *функция* при ее «естественной» реализации. Непонятно, для чего она назвала роман по имени мужского персонажа, разве только имея в виду обиходное значение слова «казус» — вот, дескать, казус какой!

Через текст прямо рвется наружу нечто вроде неоязычества, что-то дикое, архаическое, что-то из области до-культурного, до-этического состояния человечества. Улицкая, может быть, даже не вполне отдает себе отчет, каких демонов выпускает наружу. В принципе, если довести ее путаные, не до конца сформулированные посылки, выйдет антиутопия похлеще «Кыси». Не о любви пришлось бы ей тогда толковать, о вожделенном феминистском «наслаждении» (вот они, Танины эротические эскапады, вот оно как бы самопроизвольное явление на сцену *всех* детей романа, вот оно методично декларируемое по всей плоти романа отрицание физического отцовства, когда отца ребенку *назначает* сиюминутная женская прихоть). Характерно, что героини «Казуса» никогда ни о чем не задумываются (кроме случаев отвлеченного мудрствования на темы, далекие от конкретных человеческих отношений), не сожалеют о содеянном, не испытывают ответственности. Еще более характерно, что автор ни разу не останавливает внимания на этом странном свойстве их сознаний, словно раз и навсегда уверовав в двусмысленный афоризм Брюсова: «Ты женщина, и этим ты права». Отсюда недалеко и до «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — впрочем, некоторые поступки героинь показывают, что они овладели уже и этой моралью.

Когда проясняется феминистская «идеологема» романа, становится очевидна адекватность расхлябанной формы хлюпающему в ней содержанию. Феминистская наука уже обозначила признаки женского письма как принципиально неструктурируемого, стремящегося к бесконечному множеству равноценных деталей с принципиальным отказом от иерархии (то есть выяснения главного и второстепенного), в пределе, если довести мысль до логического конца, — к бессмысленному речевому потоку, то есть к онтологической немоте.

Остается надеяться, что они своего добьются.

Александр ВЯЛЬЦЕВ

РОМАН САМОСОЗНАНИЯ

> Для немецкого философа поразительно — чтобы человек мог выразить себя одновременно и в философской форме, и в форме романа, пьесы, эссе.
>
> *Мартин Хайдеггер*

На современном книжном рынке хватает разного рода романов, написанных профессиональными математиками, историками, филологами, милиционерами и пр. Но мало или совсем нет написанных профессиональными философами — во всяком случае, российскими. У нас уж если философ вступает на эту стезю — все, пиши пропало, домой возврата нет, как случилось с Белым и Пастернаком. Впрочем, с математиками и милиционерами дело обстоит так же. Литература вообще дает гораздо больше свободы: пиши что хочешь, более-менее безответственное, иногда теоретизируй в любимом ключе, иногда предавайся мечтам — вот тебе и «интеллектуальный роман».

Нижеследующее — не исследование творчества известного философа Александра Пятигорского, живущего много лет в Англии, ни, тем более, попытка его биографии. Причиной написания статьи послужила публикация в журнале «Октябрь» (№ 11, 2001) его романа «Древний Человек в Городе».

Философы бывают разные. Бывают философы, которые свои теории мыслят и выражают как художники. Причем так успешно, что люди забывают, что они философы. Таким был Достоевский, сколько бы профессиональные философы ни кривили физиономии. Таков был Толстой. Собственно, литература есть область именно философской деятельности, где некие философские истины доказываются не аналитически, но художественным путем. И бывают вполне профессиональные философы, которые считают роман полноценной площадкой философского исследования. Из наших таким был Владимир Соловьев в своих «Трех разговорах». Таков был Камю, утверждавший: хочешь понять жизнь — пиши романы. Таков был Сартр, по адресу которого, собственно, и прозвучала фраза Хайдеггера, вынесенная в эпиграф.

Что бы произошло, если бы Хайдеггер написал роман? Отчасти это можно представить по комментируемым им стихам Тракля в коротенькой лекции «Язык».

Хайдеггеровские философские «прогулки», вроде сочинения «Разговоры на проселочной дороге», — это уже квазибеллетристика. Просто потому, что произведение разбито на диалоги трех персонажей, каждый из которых личностно

Александр ВЯЛЬЦЕВ — родился в 1962 г. в Москве. Учился в Архитектурном институте. Печатался в «Знамени», «Континенте», «Октябре», «Дружбе народов», «Звезде», «Независимой газете», «Литературной газете» и других изданиях. Живет в Москве.

определен своими специфическими взглядами и хоть сколько-то, но отличается от других говорящих (хотя, с точки зрения профессиональной беллетристики, — очень мало). Более того, время от времени герои вспоминают и рассуждают о времени суток, в котором происходит их беседа, — то есть о внешних условиях, признавая даже (!) определенное их влияние на ход рассуждений.

До некоторой степени такой философский диалог — то же самое, чем занимается беллетристика: разговор глухого с самим собой, выданным за воображаемого собеседника. Первый «философский» роман Пятигорского «Философия одного переулка» (этот и другие упоминаемые романы см. в книге: А. М. Пятигорский. Избранные труды. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996) — тоже «диалог» многих персонажей, причем двенадцатилетние мальчики рассуждают между собой как профессора философии. Они уже всё знают-понимают в окружающей их обстановке (Москва, конец 30-х) и даже предвидят свое будущее. Несколько школьников разной национальности и социального положения встречаются, спорят о философии, политике, друг друге — насколько каждый из них движется *истинным* путем к окончательной мудрости; к разговорам присоединяются взрослые, и говорение и анализ всевозможных вещей становится тотальным. К монологам и диалогам героев добавляются реплики выросших персонажей романа, еще раз уточняется позиция, ловится очередная интеллектуальная блоха. Понятно, что ни о какой любви, женщинах, даже играх речи быть не может. Единственное «авантюрное» место романа — исчезновение одного из мальчиков, самого талантливого и самого многообещающего, — и появление его во Франции. Событию этому придается провиденциальный смысл, никак, однако, в романе не раскрытый. Может быть, он должен стать новым Буддой, для чего его надо было спасти из Совка, где он неизбежно бы погиб? Впрочем, и доказать его исключительность Пятигорскому, на мой взгляд, тоже не удалось. Как и у Хайдеггера, реплики молодых героев почти неотличимы друг от друга. Герои не личности, но античный хор, вещающий о положении вещей и воле богов.

Однако понимают они всё в окружающей обстановке лишь потому, что она совершенно не похожа на обстановку других людей. Она вообще ни на что не похожа. Узнать в этой «обстановке» Союз 30-х годов было бы весьма проблематично. Но, видимо, лишь создав *такую* обстановку, можно было убедить себя, что ты это время действительно пережил. И лишь поняв возможность существования такой позиции, философ этого особенного Переулка мог избежать участи тех, кто пер на рожон, всё чистосердечно и искренне не принимая — или, напротив, принимал всё, всему стремился верить, что делать в тех условиях было весьма затруднительно в связи с постоянно меняющимися правилами игры. «Вот образец поведения философа, — сообщает Пятигорский в одном интервью. — Философ не может вести себя в соответствии со своими философскими принципами, потому что мышление ориентировано всегда на метапозицию, на отстранение от всего...» «Побочная цель философии (прямых целей у нее нет) — выход из жизненной необходимости»,.— пишет он в «Переулке».

Единственный недостаток такой позиции, воспринимаемый героями романа как достоинство, *отсутствие полноты жизни*. Но у последовательного буддиста, каким является Пятигорский, и не может быть иначе. Зато никаких треволнений, минимум опасностей и незамутненная карма.

И, однако, не удовлетворяет автора путь такой отрицательной свободы (по Исааку Берлину), он хочет разукрасить эту позицию чертами некоего последовательного борения, хотя несколько мистического толка. Да и какие иные противники могли быть у мистического сталинского режима? Это еще Булгаков понял. И Пятигорский пишет новый роман, формально являющийся продолжением предыдущего.

Роман «Вспомнишь странного человека...» начинается очень удачно. Несмотря на спорадическое возвращение к философскому словоизвержению и диалектической насыщенности, он читается почти как авантюрное произведение.

Главный герой через сорок с лишним лет проводит поиски людей, довольно странно проявлявших себя в конце 10-х — начале 20-х годов. Какие-то таинственные предатели и борцы с ними (но совсем иные, чем Азеф — Бурцев у Юрия Давыдова). Предатели и борцы по ходу повествования раскрылись почти как одно и то же — *наблюдатели*. Но некая роль и «таинственность» у них и вправду была: все они еще до революции прошли через обряд посвящения в розенкрейцеры.

Роман внезапно обрывается, оставив читателя в большом недоумении. Все ли это, что хотел сказать автор, или он сам еще не вполне осознал, что он хотел сказать? Кажется, что автор умеет сложно мыслить, но не умеет сложно фантазировать. Поэтому к концу сползает в регрессию (любимое понятие автора), все поспешно и популярно объясняется, притом с помощью такой доморощенной мистики, которая убивает всю прежнюю загадочность.

Автор не останавливается на этом полууспехе и пишет (совместно с Одри Кантли и на английском языке) довольно постмодернистскую пьесу «Человек не как другие». Это — забавный психоаналитический пастиш на Софоклова «Эдипа-царя». Пятигорский и прежде с большим любопытством обращался к психоанализу и тому же Эдипу, уже оприходованному Фрейдом, но понимал его ситуацию «философски», то есть иначе, чем Фрейд. «Совершив отцеубийство, Эдип уже вступил в «поле ситуаций», — пишет Пятигорский в статье «О психоанализе в современной России». — ...Женитьба Эдипа на матери не есть следствие убийства им отца; *она* уже имелась в убийстве отца как еще не выполненный элемент готовой программы ситуации». То есть Пятигорский отменяет *судьбу*, ставя на ее место ситуацию. Направо пойдешь — уже точно коня потеряешь. Это не *судьба*, а просто следствие выбранной ситуации.

В своей пьесе Пятигорский скорее вторит Фрейду, чем спорит с ним. Богатый владелец компании и почетный гражданин некоего европейского города несколько месяцев мучается бессонницей, причину которой объясняет тем, что не может вспомнить некий год в своей жизни. Благодаря случайным событиям, в духе хичкоковского фильма «Головокружение», также густо замешенного на Фрейде, герой вспоминает, как именно в тот выпавший из памяти год совершил убийство нескольких человек. Было герою тогда восемнадцать. И одним из убитых оказывается его отец (впрочем, кто был этот человек, он узнает лишь теперь). Самое печальное, что несколько лет спустя он женится на своей матери, супруге убитого, и, естественно, рожает детей.

Герой, однако, себя никак не калечит, не произносит трагических монологов, убиваясь о судьбе еще маленьких детей, а просто перебирается из, вероят-

но, Швейцарии в Шотландию, при этом еще женясь на своей бывшей любовнице, девушке, так сказать, легкого поведения.

У Хичкока, как мы помним, герой «забыл» совсем не то убийство, в котором его обвиняли. Пятигорский тоже вроде бы склоняется к этому варианту, приводя противоречивые заявления свидетеля, видения героя на сеансе у психоаналитика, еще разные говорящие мелочи — и вдруг все снова обрывает, предоставляя читателям, как и некоторым героям, верить или не верить предлагаемой версии. В пьесе остается большое количество внутренних нестыковок и ничем не объяснимых недоговоренностей, связанных не то с забывчивостью, не то с незнанием автора, что с этим (выдуманным объектом или сюжетным ходом) делать. Может быть и так, что автор сперва *случайно* забыл, а потом *намеренно* сохранил прежде забытое.

Это странно для автора, который все время всё *вспоминает*.

Все художественные произведения Александра Пятигорского (во всяком случае, те, что я читал) так или иначе посвящены *прошлому*: герой вспоминает, герой проводит расследование, иногда настоящее детективное. Причем прошлое может быть как собственное, так и чужое, связанное с героем (и *его* прошлым) лишь по единству места или периферийно — через некоторых общих родственников (упомянутый роман «Вспомнишь странного человека...»). В этом смысле роман «Древний Человек в Городе» вписывается в ту же парадигму. Фон: расследование прошлого некоего (вымышленного) народа, точнее двух в одном, не то потерявшего свой язык, не то принявшего чужой, не то вообще уже не существующего.

Признаюсь, в загадочной истории выдуманных народов керов и ледов, разгадкой которой и занимаются герои, в их взаимоотношениях, кто у кого что позаимствовал и куда пропал, я пытался сперва искать какие-то аллюзии — на Россию и норманнов, например, или на весь Запад в целом. Но, кажется, совершенно зря. Этого в романе нет. А есть лишь язык и жизнь сознания.

Если в нем и есть аллюзии, то очень прозрачные и преднамеренные — на Набокова и особенно на Кафку. Например, таинственный бармен из отеля, где живет главный герой, исполняющий параллельно роль судебного префекта на пытках (а пытки в романе тоже есть), сенатора и члена Совета Старейшин. Он же — знаменитый городской сумасшедший.

По ходу сюжета прошлое загадочного народа, чьи (якобы) потомки живут в некоем (выдуманном же) Городе, въезд в который ограничен, а законы нелепы, архаичны и так же загадочны, — так вот, это прошлое оказывается напрямую связано с личностью главного героя, ибо он является тайным Главой Рода (высшее звание в иерархии потерянного народа), хотя никогда прежде в городе не был и свою прежнюю роль постигает через пробуждение древних сознаний, которое реализуется как бы памятью о прежних рождениях (автор, напомним, весьма увлекается восточными культами). Герой «вспоминает», что было давным-давно, во все его прежние рождения, напрямую связанные с Городом и его знаменитой Битвой, определившей будущее лицо всей местной истории. Однако не он один в Городе «вспоминает», вспоминают и другие — наследственные враги, вроде Родового Жреца, в современном обличии — приятеля и коллеги, обаятельного философствующего профессора (впрочем, в романе все философствуют: адвокаты, шоферы, бармены, профессиональные убийцы, женщины).

Для полноценной картины постмодернистского произведения не хватает лишь убийств и трупов — но и они появляются, причем в изрядном количестве. Даже любимые гуманитарии и любимые женщины марают руки в крови, спасая, естественно, главного героя, приговоренного каким-то тайным трибуналом. Одна из жертв — симпатичный профессор, он же тайный (до времени — даже для самого себя) убийца. Кровь эта, однако, очень напоминает клюквенный сок.

Полное и принципиальное отсутствие психологизма, например, непонятная замена по ходу сюжета главных героев, что совершенно не повлекло смену характера, манеры выражаться и пр. — что тоже является обязательной чертой постмодернистского творения, плюс ирония, естественно над самим собой и попытками читателя уличить в подражании, — выявляют болезнь с головой.

И все же роман Пятигорского лишь рядится в постмодернистские одежды, предполагая быть некоей интеллектуальной репликой или же, обращаясь к главной профессии автора, рефлексией о постмодернистском романе.

Задача у автора более сложная. Другой вопрос, насколько успешно он ее решает.

Главная профессия автора соблазняет нас прописать это произведение по разряду романов «философских», так же как и первый его, уж несомненно «философский» роман. Слишком много в нем построено на языке, понятиях, парадоксальной и ненужной для обыденного сознания логике. *«В тот момент, когда ВЫ на нее посмотрели, карта перестала быть тем, чем она была до того момента, и стала ДРУГИМ СОБЫТИЕМ— назовем его «вы посмотрели на карту». То есть вы оказались местом, в котором карта СНОВА СЛУЧИЛАСЬ.»* Одновременно это напоминает и беседу Дона Хуана с героем-повествователем произведений Кастанеды — как и бывает во всех подобных «просветительских» произведениях. Собственно, обыденное сознание и потребляет романы, чтобы понять и принять какую-то истину, но показанную ему под видом «жизни», как вывод из самой «жизни», а не из замысловатого умозаключения, на которые так щедр Пятигорский.

«Философичность» романа и в другом: герою (ям) создают искусственную ситуацию, подобно фигурам в шахматной задаче, — и они должны разрешить ее лучшим образом. И, как и в шахматном этюде, в романе нет проходных малозначительных фигур. От любой зависит вся ситуация. Фигур этих, впрочем, немного. Чем меньше их, тем они универсальнее. Все они главные, все говорят очень умно, одним и тем же языком и почти не различаются по лицам и даже полам. Слава Богу, носят разные фамилии. Чтобы еще больше приблизиться к образцу, они время от времени начинают общаться, как в диалогах Платона (и Хайдеггера), что графически напоминает реплики персонажей в пьесах.

Причем, как и в шахматах, ситуация может быть совершенно выдуманной, ни на доске, ни в жизни никогда не встречающейся. Для Пятигорского это не имеет значения. Никакое правдоподобие его не волнует, сходство с произведениями других писателей — тоже. Ибо он видит свою задачу в другом.

В чем? — трудно сказать. Всегда хочется понять: зачем человек это написал, какая тайная причина, желание, вылившееся в концепцию, сюжет?

Вообще-то приходится признать, что художественные произведения патентованных философов, за небольшим исключением, неинтересны и малохудожествен-

ны. Художественный разум и научный разум — две материи, болезненно сочетающиеся в одной голове. Художник познает, чувствуя, философ — анализируя. Когда же философ стремится *анализировать анализ*, как Пятигорский, то такого рода (пардон) дискурс очень мало располагает к литературным упражнениям.

Философия Пятигорского — это знакомый анализ того, *что* мы мыслим, как мы это делаем, что значат используемые нами слова, способны ли мы вообще что-то познать? Если бы нам вздумалось поднять камень, по Пятигорскому, мы должны были бы начать с того, что долго бы (страниц пятьдесят) определяли, что *значит* хотеть поднять камень, что значит *значение* хотения, а так же *кто* хочет, хочет ли как объект или как субъект хотения и так далее. Камень превратился бы в сложнейшее метафизическое явление, так что стало бы совершенно безразлично: поднимать его или нет.

Так Пятигорский и пишет. Для этого он разработал новый разряд романов: «роман самосознания». *«Герой романа самосознания только в самосознании и живет, но нас-то, включая и автора, в нем нет».*

А что есть? Например, пародия на философские доктрины, на Канта, скажем. Или желание высказать собственную, в завуалированном виде. Например, в странном Городе существует таинство Вспоминания Другого. А ничем другим, кроме в разных формах «вспоминания другого», Пятигорский как философ и не занимается (впрочем, не претендую на большую компетентность). Есть в романе и попытка вывести на сцену своих любимых героев, связанных с городом Льежем и его политехникумом в конце 40-х, раскуривающих друг другу сигареты (что-то почти эротическое, акт вопиющей дружбы), носящих, впрочем, новые имена, но говорящих совершенно те же вещи тем же языком (например, Сергей в «Древнем Человеке в Городе» и Ника в «Философии одного переулка»). Суть этих вещей, сквозная идея, которой отдают себя любимые его персонажи, знакома по прежним произведениям Пятигорского: не быть своим ни для кого (даже для самого себя), не быть в массе — любой ценой. Озабочен автор и проблемой *судьбы*, но как-то метафизически: он, например, уверен, что судьба есть не у всех. И люди без судьбы — это смазка истории, в отличие от настоящих героев, которые вообще ей не подвластны.

Человек *сознающий*, считает Пятигорский, свободен от времени и его превратностей. Он сам управляет своей судьбой. Он занимается философией и анализом для того, чтобы *быть свободным* — совершенно по завету Хайдеггера, философа, к которому Пятигорский, как мне кажется, питает особые чувства.

Свобода вещь замечательная, но за счет чего ее можно достичь? Согласно другому вдохновляющему Пятигорского источнику, буддистской философии, это, по существу, отказ от жизни через отказ от ее желаний. Вообще все художественные произведения Пятигорского с философским уклоном изрядно высокомерны, высокомерны к *жизни*. Мы, главные герои, — другие. Мы уже вне данного времени и судьбы, ибо мы — *осознавшие* (или хотим такими быть). Нас уже ничто не может поймать, обмануть, победить (включая советский режим в его самом живоглотном варианте). Мы слишком крупная рыба для этих сетей, мы, как буддистские просветленные, поняли закон кармы, преодолели самсару, добились описанного в «Абхидхаммапитаке» самосознания (*атма-четаны*) — и освободились и от судьбы и от времени. И идеал наш, естественно, — созерцание и недеяние.

В новом произведении главный герой тоже по-своему «осознавший» — с помощью мистического Древнего Человека, *наблюдателя* Творения, а так же благодаря тому, что вспоминает себя во всех временах сразу и идентичен себе тутошнему и тамошнему.

Наблюдение и недеяние (неделание), наделение себя ролью метафорического *агента* (самого себя) (как в романе «Вспомнишь странного человека...») — очень здравая жизненная позиция для 40 — 70-х годов в СССР, в которых формировался и жил Пятигорский. Определенная в немалой степени внешне и политически безопасная. Не так много в ней столь приветствуемого им *своего* и *внутреннего*. Внутреннего, которое так или иначе все же есть *жизнь*. И не являются ли самым сложным, что есть в жизни, отношения между мужчиной и женщиной (заменяемые у Пятигорского беспроблемным промискуитетом), а вовсе не кабинетные медитации и поиски «таинственной связи трансцендентальных предпосылок»?

Поэтому все любови у Пятигорского — голословные, легко испаряющиеся, а все женские образы — однотипны и скучны. Кажется, он просто не знает, что это такое, хотя, может быть, знает, что по этому поводу можно сказать.

Занятый по жизни выяснением «моментов сознания» в сознании, «работы с сознанием», мышлением мышления о мышлении, метатеорией, описывающей метасознание, наблюдаемое из метапозиции, в художественном творчестве он пренебрежительно перестал заботиться о любой реальной позиции и любом жизненном правдоподобии. Поэтому в «Древнем Человеке...» двое ученых, занимающихся археологией, застигнутые ночью в доме страшнейшим ливнем, совсем не связывают это событие с завтрашней работой на раскопе, куда они утром вроде бы отправляются. И как ни в чем не бывало один из них на раскоп этот таки уходит (второму не позволяют коварные обстоятельства) и безмятежно работает, хотя очевидно, что единственной в этом случае работой было бы откапывание и спасение того, что в раскопе осталось.

Для чего был нужен дождь? Ни для чего, кроме сообщения имени еще одной выдуманной сущности: «Это — Таргунза, лувийский бог гроз и ураганов, — со странной улыбкой сказал Вебстер, наливая себе портвейн...» Это уже не Толкиен средневековых сцен романа. Это Стругацкие. Вообще художественный язык 60-х, такой эмансипированный, псевдозападный, одновременно романтический, вычурный и трепетный — весьма присущ автору.

Впрочем, может быть, этот досадный недосмотр связан с известной теорией автора, где точка зрения наблюдателя гораздо важнее самого объекта. С точки зрения наблюдателя, дождь ни на что повлиять не мог, так как и раскопы были чем-то вроде декораций. Как и сам роман.

Для чего же они были выставлены? Чтобы поговорить о чем-то серьезном? Однако все это пестрое и балаганное содержание романа и его сюжет, долженствующие снизить накал характерной для прежних произведений Пятигорского дискурсивности, так и не уравновешивают друг друга, как пряности и мед в одной кастрюле. Мыслей у Пятигорского много, и с этим можно было бы примириться, но жаль, что мало действительно сильных и новых.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
(Первый квартал 2002 г.)

1. Художественная проза

А. «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир»

Редкий сезон обходится без произведений **О ХУДОЖНИКЕ-ЛИТЕРАТОРЕ И ОБ ИСКУССТВЕ, ЛИТЕРАТУРЕ**. И ныне на этой ниве — богатый урожай.

Житель Германии **Андрей Кучаев** в **«романе-самоучителе» «Как стать знаменитым писателем»** («Москва», № 3, след.) остроумно и цинично разгребает сор, из которого растут стихи и проза. Путь в литературу, считает рассказчик, грязен и богат подлостью, жадностью и прочими неприятными вещами. Что ни писатель, то мерзавец. Некоторые притом легко опознаваемы. Тему свою Кучаев разрабатывает подробно, как только и можно это делать, живя в благополучных краях, вдали от гадкой литературной родины. Автору, впрочем, хватает ума для сохранения дистанции между собой и рассказчиком, так что при желании можно принять говоримое за бред вымышленного ворчуна-неудачника, безнадежного ипохондрика.

Одно из важнейших литературных событий первых трех месяцев года — **роман Сергея Гандлевского «<НРЗБ>»** («Знамя», № 1). Главный герой — литератор Лев Криворотов (экое скрещение!). Две части романа посвящены молодости Криворотова, когда он подавал литературные надежды и вращался в богемном столичном кругу, жизнь его кипела юной страстью — к прекрасной девушке Ане и к литературе. Две других части переносят читателя лет на 30 вперед, к тому моменту, когда, достигнув полтинника, Лев расстается с творческими амбициями и на фоне разочарования в самом себе занимается изучением творчества и изданием сочинений своего давнего знакомого, покончившего с собой подпольного гения — поэта Виктора Чиграшова. Популярный предмет современной прозы — жизнь писателя. «Филологическая» литература. У Гандлевского эта тема развивается с неожиданной экзистенциальной остротой. Не тяготы быта, не социальные невзгоды становятся поводом для рефлексии автора и героя, но более тонкие и глубокие, более личностные проблемы художника. Кажется, самое интересное в романе — история любви, рассказанная с замечательной тонкостью и азартом и умело связанная с общим фоном уже далекой жизни в московские 70-е. Про любовь у нас нынче почти никто не пишет (разве лишь в жанре дамского романа). Тем весомее удача Гандлевского. Интрига романа — и в постепенном раскрытии того, что вначале было неизвестным или неочевидным. Из тетрадей Чиграшова Криворотов узнает, что его подругой была та самая Аня, которую Криворотов любил и сугубой благосклонности которой безуспешно домогался. Гению достается все — посредственность не получает ничего. У Гандлевского получилась умная, культурная (с выявленными в критике апелляциями к Набокову и Битову, Трифонову и... Юнгу), несколько ане-

мичная и чересчур все-таки локальная по задачам проза. В герое, в каких-то его чертах, узнали себя и своё читатели из поколения 50-летних.

Все познается в сравнении. И роман Гандлевского — безусловный шедевр на фоне малоудачного опуса молодого литератора **Дмитрия Рагозина «Дочь гипнотизера»** в том же журнале (№ 2, 3). И тут в центре — сочинитель, Хромов. Герой в сомнамбулическом темпе передвигается по некоей курортной зоне. Попутно происходят какие-то события, которые выглядят никак друг с другом не связанными. **Роман** Рагозина многословен и вял, полон томительных длиннот. Он распадается на мелочи, иные, впрочем, увидены довольно зорким взглядом. Вороха слов: «Не успел я переступить порог, а меня уже охватили сомнение, беспокойство, неуверенность, неопределенность». Огорчительно, что не столь давно хорошо заявивший о себе автор тут же поспешил к читателям с новой, столь сырой вещью.

Питерец **Валерий Попов** создал очередной опус о себе, любимом, смешном и милом, о житье-бытье собратьев-литераторов в новое коммерческое время (**«Очаровательное захолустье»**: «Новый мир», № 1). Как всегда у Попова, трудно понять, где кончается документ и начинается выдумка. Как всегда, в **повести** много литературного быта, сходок, попоек, юмора и иронии, шуток, всякой бестолковщины. Герой-рассказчик очаровательно непрактичен. Нет у него коммерческой жилки, зато он трогательно нежен к близким и умеет пошутить над собой. А вокруг него плавают умелые доильцы забугорных грантов, друзья-приятели отечественных бизнесменов-мафиози. Имена некоторых из них страшно похожи на имена реальных петербургских литераторов. Где-то повествование начинает буксовать, и понимаешь, что заслуженному писателю давно уж недостает свежих жизненных впечатлений и оригинальных мыслей.

Искусство и жизнь, *воображение и реальность*, их средостение становятся темой **лирических миниатюр** («рассказиков») поэтессы **Ольги Сульчинской** («Знамя», № 3). Это ее дебют в прозе. Самый забавный рассказ называется **«Любовь»** и начинается с признания в любви к поэту Тимуру Кибирову. Героиня-автор спит и видит, как она однажды признается Кибирову в том, что обожает его стихи. Однажды рассказчица повстречала его в редакции журнала «Знамя». Но тут-то и вышла нестыковка, потому как одно дело — вдохновенные стихи, а другое — не больно-то приветливый лысеющий господин себе на уме. Он не замечает влюбленной в него прекрасной дамы — и та, бедняжка, покидает редакцию со слезами на глазах. Хорош и рассказ Сульчинской **«Игра в метро»** — о полузнакомствах в метро, когда люди как-то замечают друг друга, героиня отдается творческим фантазиям, но не находит в себе сил (смелости, дерзости) для того, чтобы как-то закрепить момент взаимной симпатии.

«Повествование в рассказах» Алексея Варламова «Падчевары» («Новый мир», № 2) — хроника жизни писателя в северной деревне. Вялая, невыразительная проза.

«Слякоть» Людмилы Шаменковой («Наш современник», № 1) — дневник мальчика-москвича, мечтающего *стать писателем*. Время действия — 1952 — 1953 гг. Родители, блатные, смерть Сталина, первые опыты личной свободы. Автор старательно воссоздает бытовые реалии эпохи, довольно тонко имитирует подростковый сказ.

Возьмем тему шире. Тогда нужно будет сказать о *художнице собственной жизни* в контексте и советской действительности, и отношений между Россией и Европой. Лидия — героиня **рассказа Людмилы Улицкой «Цю — юрихь»** («Новый мир», № 3). Деревенская девочка занимается самостроительством: делает себя, преодолевая, отбрасывая свое прошлое. Забывает об отце, расстрелянном в НКВД. Оказавшись в Москве, берет уроки жизненной формы у Эмилии Карловны, не по-нашему воспитанной дамы. Всеми фибрами души Лидия стремится к тому, чего нет в советской стране. И ради этого тонко охмуряет на выставке в Сокольниках заезжего швейцарца Мартина... Потом этой хозяйке своей судьбы предстоит завести ресторан в Цюрихе, освоиться в новой жизни. А напоследок рассказано о том, как героиня решила отблагодарить Эмилию Карловну — и что из этого вышло. А вышел сбой, бросивший какой-то неопределенно-тревожный боковой отсвет на происходящее. Испугалась Лидия ужаса расейской жизни... Улицкая — опытный рассказчик, отличный беллетрист. Знает жизнь, умеет строить интригу и одаривать читателя сюрпризами. Не претендует на философизмы. И пишет всегда красиво, щеголевато. «Эмилия Карловна советскую власть ненавидела, но чувства свои упрятала на дно декретом отмененной души...»

Теперь о другом. Подчас в центре внимания современного писателя оказывается **АКТУАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ**.

Петербуржец **Николай Калягин в рассказе «Can't buy me love»** («Москва», № 1) поведал о двух братьях. Старший — честный недотепа. Младший — умный проныра. Один женился на деревенской, нарожал детей, чтобы получить квартиру, но тут пришли новые времена и дармовые квартиры кончились. Другой куда-то пропал, занялся крутой коммерцией, разбогател... Один от разных бед начал заглядывать в церковь. Другой связался со всякой нечистью и в конце концов был убит. Да уж, лучше быть бедным, честным и глупым, чем богатым и аморальным. В финале старший брат получает письмо без обратного адреса. Его автор, неизвестная женщина, кается: ей кажется, что младший брат занялся криминальным бизнесом ради того, чтобы украшать ее жизнь. Калягин — умелый рассказчик и ненавязчивый моралист.

Альберт Лиханов в романе «Сломанная кукла» («Наш современник», № 1, 2) рассказал о трех женщинах: матери, дочери и внучке. Фоном становятся перемены в стране, к которым автор явно питает неприязнь. Живой тон и занятные подробности сочетаются у Лиханова с могучими идеологическими акцентами. Безоговорочно осуждена фрондировавшая против соввласти московская интеллигенция (плохо им жилось, падлам, забалованным квартирами и путевками!). Потом одни ушли в бизнес, другие — на баррикады.

В **рассказе Олега Савельева «Меняла»** («Москва», № 2) выведен циничный тележурналист, политический обозреватель. Повествование от первого лица. «Я взял от жизни все, что она могла мне дать».

Текст **Владимира Личутина «Сукин сын»** («Наш современник», № 1) назван автором «психологическим очерком». На самом деле это что-то вроде **притчи** или **басни**. Пригрел автор-рассказчик брошенную собаку — а та, согласно пословице, и ноги на стол. Вот так и наши власти, рассуждает Личутин, апел-

лируя к авторитету своего приятеля, пламенного буревестника Виктора Анпилова. Не успел оглянуться — стали тиранами. Для выражения этой нехитрой мысли писателю понадобилось страшно много слов. Тоже своего рода тирания — льющейся нескончаемым потоком речи.

На символические обобщения потянуло и **Андрея Волоса**. В **рассказе «Mymoon»** («Новый мир», № 1) он изобразил хищную и злую девицу Еву и ее дебильноватого кавалера-братка Мурика. Вышли они на прогулку, заглянули в китайский ресторан, девице захотелось отведать самого дорогого кушанья. Оказалось, что готовят его из обезьяны, тут же ее и убивая на глазах клиентов. Вследствие фантастического поворота действия на месте обезьяны оказалась Ева. И ничуть нам ее, представьте, не жаль. Озверела — получай по заслугам.

Жанр **рассказов Сергея Юрского** («Знамя», № 1) можно определить как социальный анекдот. В одном старуха мучительно выбирает, за кого ей проголосовать из обширного списка претендентов. В другом эмигрант вернулся в Питер и получил порцию непритязательных радостей. В третьем рассказано о комических перипетиях из жизни фокусника.

ЧЕЧНЯ мало-помалу становится темой литературы. Молодой столичный журналист **Аркадий Бабченко в повести «Алхан-Юрт»** («Новый мир», № 2) переваривает актуальный опыт в традиции лирико-исповедальной прозы и в манере окопной правды, иногда примешивая сюда толику публицистики. Вспоминаешь «Школяра» Окуджавы, ранние повести Бакланова. Впрочем, герой Бабченко — не школяр, а наемник («контрактник»). Воюет за деньги и другого смысла в войне не видит. Она для него уже как наркотик. Привык, обжился. Подсел на войну. Но душа еще трепыхается где-то, подрагивает возле сердца. С его подачи убивают старика и девочку. Узнав об этом, герой оторопел, но ненадолго. Завтра он, наверное, уже без трепета прольет чужую кровь. Чеченская война изображена Бабченко как школа бесчеловечности. Школа убийства. Таковы наши постсоветские университеты.

В **рассказе Анатолия Крылова «Долгожданный госзаказ»** («Наш современник», № 1) главный герой — работяга Дульнев. Он работает на военном заводе, изготавливающем чудо-орудие «Град». Но завод в простое, производство остановлено. Получили, было, заводские заказ из Индии, но с ним не справились, отвыкнув работать качественно. Помогла война в Чечне. Снова возникла надобность в новом оружии. То-то радость. И тут Дульнев получает известие о гибели в Чечне сына-офицера! Причем писателю и этого мало. Он дает прозрачный намек на то, что сын-то погиб оттого, что в критической ситуации «Град», произведенный папашей, сработал как-то не так. Расстроился Дульнев, распалился, поломал станок. А это вам не шутка. Его тут же обвиняют в пособничестве чеченцам и забирают в ФСБ. Общий смысл рассказа — беды простого человека, попавшего в непонятную для него историю. Так сказать, *папаша Кураж*.

В прозе сезона вообще **СЕНТИМЕНТАЛЬНЫХ И РОМАНТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ**. Обычно культивация страсти и сантиментов легко сочетаются в них с тягой к бытовому реализму.

В **рассказе Михаила Тарковского «За пять лет до счастья»** («Наш современник», № 1) герой-сибиряк влюбляется в москвичку Таню. Краткие свидания,

долгие разлуки. Любовное томление от встречи до встречи. В финале герой обнадежен тем, что Таня, быть может, изменить свою жизнь и соединится с ним... через пять лет. Отсюда и название рассказа, написанного не без изыска.

Анна Матвеева в «повести в диалогах» «Восьмое марта» («Новый мир», № 3) изобразила героиню, которая безнадежно любит женатого мужчину, уже сильно подуставшего от ее чувства. Параллельно развиваются ее отношения с молодым японцем, который предлагает ей руку и сердце.

Ильдар Абузяров в своих **рассказах** («Знамя», № 2) изображает причудливые перипетии романических отношений. В рассказе **«Корильные песни»** эти отношения увязаны с мордовскими языческими обычаями, в рассказе **«Подстилка из соломинок»** — с прогулками по Питеру.

«Рассоха» Бориса Лапина («Москва», № 2) — бесхитростный **рассказ** о злой жене. Она соблазнила чем-то приятеля рассказчика, заставив его уйти от жены хорошей (с говорящим прозвищем Светоч), потом изменяла ему направо и налево, — и тот спился. Бойкая бабенка не прочь и самого рассказчика заманить в свои сети. Но тот морально тверд — и не поддается на сексуальные провокации. Ну а приятель, как выясняется в финале, вернулся к своей первой женушке и зажил лучше прежнего.

В **рассказах Нины Горлановой** и **Вячеслава Букура** («Новый мир», № 2) по-прежнему кипит жизнь в Перми. В жанре парадоксального анекдота. Мать осведомителя, стучавшего в оны лета на авторов, просит у них помощи. Учительница учит ненужным вещам (как то: *высоте безысходности*); бывшая ученица возжаждала чего-то этакого в своей жизни.

Кубанская казачка **Тамара Лобова** в **рассказе «Жар-птица»** («Наш современник», № 3) поведала о некоем Толяне, чудесно расписывавшем потолки и стены. Подняла парнишку, выкормила его бабка. И перед ее смертью он написал для нее на стене жар-птицу. То-то было радости старушке.

В **рассказе Светланы Ягмуровой «Золотое колечко»** («Наш современник», № 1) в военное время, пока глава семейства воюет, семейство (девочка и мать) голодает. Мать меняет главную, заветную ценность — колечко — на отруби и муку. Но добытым столь дорогой ценой приходится пожертвовать ради спасения жизни... История, рассказанная Ягмуровой, хороша непредумышленностью перипетии, яркими деталями: как будто рассказ не придуман, а выплыл у автора из памяти детства.

Нечто про колечко найдем мы и у **Евгения Носова**. В **рассказе «Сронилось колечко»** («Москва», № 1) он вспоминает о деревенском детстве, о дедушке и бабушке, родичах-соседях. Появляется в рассказе деревенская шпана, которой с некоторых пор принадлежит власть в колхозе. Близкие собираются вместе и ведут утешительные разговоры. Среди их тем — таинственное в жизни. Добрая и нежная проза о том, что было и кончилось. Воспоминание примерно в том же роде о 60-х годах в деревне — рассказ **«Два сольди»**.

Художественными целеполаганиями близок к Носову воронежец **Вячеслав Дёгтев**. В своих **рассказах** («Наш современник», № 3) он по-доброму, с лирической грустью повествует о детстве. Хуторской мальчик Колюшок, его мама, коза Машка, муравьи, кузнец Фефелов... Длинный ряд воскрешенных памятью сцен. Сентиментальная проза об утраченном времени.

А критик **Игорь Штокман** в **повести «Дворы»** («Москва, № 3) вспоминает о московском детстве и отрочестве, прошедшем близ Зубовского бульвара. Дворовая жизнь, игрища и забавы, войны и мир, парк Горького... «Спасибо вам, дворы, за то, что дали, чему научили, за все, что было здесь когда-то!»

Иные герои у **Лидии Шевяковой («Божьи люди»**: «Наш современник», № 3). В очерковой манере она рассказывает о монахах и паломниках, о тех, кто ищет Бога.

ИСТОРИЯ как предмет и повод.

«Война дворцам» Евы Датновой («Новый мир», № 2) — **цикл** из четырех коротких **рассказов**, действие которых отнесено к 1918-1921 гг. Эксцентрика жизни. В еврейском местечке в праздничный вечер сталкиваются белые с красными. Непальцы из Катманду приходят в революционный Петроград.

«Ubi patria...» Георгия Давыдова («Москва», № 2) — рассказ из жизни русской эмиграции в Париже, в 30-е годы. Русские воевали в Испании и на стороне Франко. «Ленин — сифилитик? Помилуйте, гермафродит».

В **повести** проживающего в Кишиневе **Анатолия Штырова «Страна Колыма»** («Наш современник», № 3) герой, лейтенант Сун, добирается в 1953 году из Магадана в якутское местечко Хандыгу, к жене и ребенку. Девятидневное путешествие становится школой жизни. Зеки, чекисты, вольняшки. Случаи, болтовня. Хроникальный тон без идеологического пережима.

МЕМУАРЫ И ПУБЛИКАЦИИ

Потрясающий текст опубликован в «Новом мире» (№ 1, 2). Это **дневник** рыбинского доктора **Константина Ливанова «Без Бога»** (публикация О.Тишиновой). Записи 1926-1929 гг. В убийственных подробностях показаны брожение общества в раннесоветский период, разложение семьи, гниение морали. Потеря Бога была тогда для многих свежей новинкой — и соблазнительное открытие провоцировало на вызывающие непотребства. Театр греха (смердящие подробности). Боль и плачи простых людей, неспособных вынести груз *новой жизни*. «Кажный вечер молюсь: Господи, скоро ли ты *их* сковырнешь — никакой мочи больше нет терпеть!..» Анекдотизм повседневности. В 1930 году Ливанов был арестован.

«Новый мир» (№1) завершает публикацию **глав из книги Владимира Новикова «Высоцкий»** (начало — в № 11, 12 за прошлый год). Предмет — Владимир Высоцкий в середине 70-х годов. Харизма, нервы, инстинкт свободы. Новиков пишет в сказовой манере, почти сливаясь восприятием мира со своим героем. Это довольно даже странно — четверть века спустя.

В публикации **«Неосторожный и необходимый»** «Наш современник» (№ 1) дает довольно пеструю **подборку воспоминаний** о покойном литераторе Вадиме Кожинове. Среди авторов — его двоюродный брат и одноклассник Кожинова, люди безвестные и знаменитые (**Г.Гачев, Л.Аннинский, С.Лесневский, С.Кара-Мурза**...). Все мемуаристы акцентируют крупный масштаб личности Кожинова, хотя понимают его заслуги перед историей и словесностью по-разному.

В «Нашем современнике» (№ 3) публикуются и **воспоминания** покойного писателя-литчиновника **Бориса Романова** о жене — «Мила». Познакомились

они давным-давно, когда Романов был курсантом. Как-то раз попробовал ее обнять — и получил такую резолюцию: «Лезешь, как крокодил... А может, у меня губы говном намазаны...» Тем не менее все у Бори и Милы сладилось, жили они дружно, и в очерке есть невыплаканная слеза осиротевшего рассказчика.

Критик **Михаил Лобанов** выступил с **мемуарными записками «На передовой (опыт духовной автобиографии)»** («Наш современник», № 2, 3, след.). Интересного и нового в них мало. Автор пишет сухо, никаких следов существенной жизни духа в воспоминаниях нет и в помине, одна только идеологическая сухомятка. «Русская партия» националистов-державников, «Молодая гвардия» Никонова, Глазунов и Солоухин, гений Шафаревич, компартийные чиновники, походы к ним за малой и великой нуждой, русофобы-либералы (как на вечной, вусмерть заезженной пластинке, во главе таковых — Евтушенко), русоненавистничество «Нового мира» (в том числе и современного), предатель-Солженицын и т.п. Все-таки Лобанов чуть-чуть стыдится своего шовинистического естества и находит нужным что-то бормотать о любви к другим народам (ну, не к евреям, конечно!). Показательно и другое: о врагах Лобанов пишет интереснее, чем о друзьях. Для него важнее всего свести счеты. Ну и на здоровье. А мы тем временем лишний раз убедимся в том, как малодаровиты «передовые» бойцы в мракобесной армии советских реваншистов.

О своей жизни, литературных и прочих занятиях рассказала и критик и редактор **Евгения Кацева** (**«Мой личный военный трофей»**: «Знамя», № 1, 2). Работа *культурофицером* в Германии, редактором в московских журналах. Литературный быт, поездки за границу. Издательские заботы. Прекрасный переводчик, Кацева на всю жизнь осталась и культурофицером, трудолюбивым и компетентным литагентом, лучшим другом читателя.

Художник **Гриша Брускин** терпеливо вспоминает о разных случаях из своей жизни и жизни своих знакомых (**«Настоящее продолженное»**: «Знамя», № 2). Начинается публикация подборкой **миниатюр «Я еврей. И ты еврей»**. В каждом случае сокрыт комический парадокс. Чаще всего он оказывается порождением странностей советской цивилизации.

Татьяна Чередниченко в **очерке «Онкология как модель»** («Новый мир», № 1) рассказывает о приключившихся с ней событиях и делится сопутствующими им размышлениями. Автору был поставлен смертельный диагноз. И по ходу дела она увидела, что среди врачей есть как те, кто сохранил профессиональную честь, так и давно с этой самой честью расставшиеся. Да и во всех сферах культуры рушится иерархия ценностей, слабеет цивилизационный иммунитет. В своих испытаниях Чередниченко как раз вовремя вспоминает великие слова старца Силуана: «Держи ум во аде и не отчаивайся».

ВЕЩИ В СЕБЕ

К самодостаточности *формального эксперимента* тяготеет проза начинающих авторов из Пензы — **Романа Волкова** и **Сергея Чугунова** («Знамя», № 3). Это **«Былина о богатыре Спиридон Илиевиче»** (синтез стилей, **сказ, поток сознания, репортаж**) и **«Сермяжная сказка»** (**скомороший сказ**). Публикация предварена умной **заметкой Андрея Дмитриева**, объясняющего, в чем соль этих текстов.

По сути, столь же самодостаточен **исторический роман Сергея Николаева «Княжий крест»** («Москва», № 1, 2). Это обширная фреска о княжеских распрях и братаньях времен Дмитрия Донского. Автор совсем не думает о читателе, увлеченный созданием своего громоздкого эпического полотна, стилизованного под некий усредненный стандарт исторической прозы (в духе, например, Д.Балашова).

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Б. «Дружба народов», «Октябрь»

Видимо, предчувствие весны оказало на журнальную прозу на редкость сильное воздействие. На удивление много текстов, так или иначе затрагивающих **ЭРОТИКУ**, причем в некоторых случаях именно эротика становится самодовлеющей темой, опровергая всякую возможность сформулировать ее более традиционно — как тему **ЛЮБВИ**.

Безусловным лидером гривуазного забега следует признать **Валерия Пискунова**, который в **повести «Песни Птерота»** («Дружба народов», № 1) перешел всякую меру толстожурнальных приличий, построив повествование как подробное описание бесконечных половых актов, перемежающихся претендующими на тонкую образность медитациями, а также фразами на английском языке, буквально восстающими против принятой в нем орфографии и синтаксиса, и выдержками из якобы античного текста, где собеседник Сократа с изумительной наивностью пользуется словом «метафизика». Особую пикантность тексту придает то, что свои подвиги пискуновский казанова начинает совершать уже в возрасте одиннадцати лет — сперва со школьной учительницей, затем со сверстницами и другими взрослыми женщинами, заканчивает же соитием с семилетней девочкой, будучи сам, кажется, в последнем классе школы. Первому *личному* участию в сексуальных опытах предшествует пассивное наблюдение шестилетнего рассказчика за инцестуальным актом между шестилетней девочкой и ее семилетним братом...

Однако самым поразительным, пожалуй, кажется не сам текст, а краткое предисловие к нему, сделанное главным редактором журнала **Александром Эбаноидзе**, где тот отважно признается, что «Песни Птерота» ему лично «близки». «Читателю повести, — полагает он, — предоставляется редкая возможность еще раз погрузиться в пронизанное солнцем облако юности, упоительную свежесть которого мы едва не забыли с годами». Не хочется выглядеть пуристом, но что поделаешь — упаси Господь от такого *солнца*, да этакой *свежести*, каковую (если уж был по молодости какой грех) великое благо *забыть*.

Название **романа Валерия Исхакова «Легкий привкус измены»** («Дружба народов», № 2, 3) говорит само за себя. И не обманывает. Автор предлагает нечто вроде «Своего круга» Петрушевской, только действие здесь отнесено в провинцию, куда-то в район нынешнего *культового* центра Екатеринбурга (в тексте «Свердловск»). Отношения же между персонажами оставлены прежние — все в той или иной последовательности спят друг с другом, временами рождая в этих кратковременных союзах детей, частично приписывая им совсем иное отцовство. Брак здесь — понятие скорее бытового ряда, не вносящее качествен-

ных изменений в отношение к жизни. Автор с завидной настойчивостью употребляет слово «любовь» и даже делает попытки отделить ее от понятия «влюбленности», но убедительности этим не добивается: от романа остается общее ощущение пустоты и по большому счету даже бессмысленности. Бесконечное нанизывание адюльтеров, пусть на краткое время и поглощающих чувства героев, мало что способно сообщить о природе любви. Попутно автор формулирует теорию измены и предательства — связывая последние, главным образом, с поведением любовников относительно друг друга, однако и с понятием литературы, *письма* вообще, каковое, по его мнению, является главным предательством пишущего относительно описываемого.

Аркадий Пастернак строит **рассказ «Сонька-помойка»** («Октябрь», № 3) на неожиданной развязке: рассказчик крутит любовь с разбитной девицей на фоне бесконечных пьянок и блатных разборок, в финале же открывается, что шалава была капитаном милиции и погибла «при исполнении». Рассказчик тоскует о пропавшей любви...

С этой темой перекликаются сочинения еще нескольких авторов, внесших в свои тексты и дополнительный **МИСТИКО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ** элемент.

Борис Хазанов в повести «Возвращение» («Октябрь», № 1) рисует образ эмигранта, который, не имея никакой материальной необходимости (поскольку служит в журнале), в свободное от основной работы время просит милостыню на паперти. (Невнятно проговаривается теория о том, что некоторые люди от природы наделены потребностью быть нищими). «Неодномерность» его натуры подчеркнута тремя любовными линиями: он увлекается и завязывает отношения с проституткой (тоже русской эмигранткой), одновременно сексуального контакта с ним с целью рождения ребенка добивается богатая баронесса, плюс к тому (то ли в снах, то ли в галлюцинациях) он то и дело путешествует на родину, где посещает жену (по его сведениям, в реальности уже умершую), которую любит и хочет увезти за границу, однако каждая попытка оканчивается крахом, поскольку он страшно боится слежки спецслужб. Финал, где он объявляет жене, что вернулся окончательно, допускает версию его смерти, а весь текст — возможность прочтения как ряд последовательных сновидений или, например, посмертных мытарств.

Повесть Виорэля Ломова «Музей» («Октябрь», № 2) обладает явными чертами фантасмагории. Немолодой человек, потеряв работу и квартиру, поступает разнорабочим в музей, где немедленно завязывается роман с молодой красавицей. Она сразу же поселяет его у себя и не противится званию невесты, хотя в постель не допускает. Вскоре, однако, появляется ее бывший возлюбленный — знаменитый фотограф, отношения с которым рухнули из-за того, что, увидев на выставке фотографии своего обнаженного тела, красавица ощутила, что тот не нуждается в ее душе. Внезапно фотограф исчезает, начинается следствие по делу о его убийстве. Хотя взять на себя роль убийцы готовы многие, в конце концов выходит, что его растерзало чучело музейной рыси, которое имело обыкновение оживать. Вообще все происходящее в пространстве этого музея (и повести вообще) не слишком обременено законами объективной реальности. В финале красавица тоже исчезает, а повествователь предается тоске об утраченном счастье.

Повесть Афанасия Мамедова и Исаака Милькина «Самому себе» («Октябрь», № 3) скорее **ФАНТАСТИЧНА**, однако и здесь женщины играют свою роковую роль. Герой похож на предыдущего, словно списан с того же образца, только работа погрязнее — он служит ловцом бродячих собак. У него есть жена, которую он ненавидит, поскольку та живет гораздо более благополучной жизнью — и отнюдь не с ним. Кроме того, он знакомится с женщиной и завязывает с ней отношения. Ненависть к жене трансформируется в желание убить эту, ни в чем не похожую на нее женщину. Однако внезапно он превращается в собаку, восприняв случившееся с ним как кару за убийство. Далее он ведет жизнь бездомного пса. И вдруг случайно выясняет, что может превращаться обратно в человека, стоит ему войти в собственный дом. Однажды он встречает якобы убитую целой и невредимой и понимает, что ошибся в выводах. Он опрометью кидается к дому, но тут оказывается, что за время его отсутствия дом успели снести...

К *фантастике с аллегорической нагрузкой* (впрочем, любовно-эротической также) можно отнести и **повесть Ильи Крупника «Дурной глаз»** («Дружба народов», № 2), где рассказчик приезжает с сыном отдохнуть в деревню, которая оказывается чем-то вроде пресловутой «Зоны» — люди здесь не старятся и не болеют, неодушевленные предметы движутся сами по себе, а водка теряет градус. Жители здесь впадают то в языческие камлания, то устраивают буквальную охоту на ведьм и леших. Спасшись из чудной деревни с одной такой «ведьмой», рассказчик разводится с женой и живет счастливой семьей, переманив к себе и сына.

В рассказах Елены Долгопят («Дружба народов», № 3) реальность фантастически искажается по двум параметрам — времени и пространства. В рассказе **«Наше все»** неотчетливо антропоморфные существа на экзаме́не в каком-то невероятно отдаленном будущем излагают равно бредовые версии жизни и творчества Пушкина, окружая несчастного нарочитыми анахронизмами и приписывая ему самые невероятные приключения и поступки. Смысл, вероятно, в том, что объективной истины не существует. В **«Сериале»** одинокий старик проникся состраданием к мукам экранной сироты и объявил себя ее отцом, а некто в темных очках свозил его в Мексику к богатой и знаменитой актрисе, исполняющей эту роль в сериале. В финале выясняется, что это был международный психологический эксперимент. В **«Диалогах по телефону»** отец семейства случайно попал из 70-х годов в 90-е, откуда по телефону оповещает жену и сына, как паршиво все изменилось — и люди, и обстоятельства жизни.

Оставляя за отечественной реальностью право оставаться бредовой в самой своей сути, некоторые авторы пытаются выявить в ней некий **СИМВОЛИЧЕСКИЙ СМЫСЛ**.

Так, **Владимир Кантор в рассказе «Ногти»** («Октябрь», № 2) рисует образ философа-диссидента, стоящего на страже цивилизованности против окружающей ее дикости. Дикость воплощена для него прежде всего в человеческих ногтях, выступающих субститутом звериных когтей. Выдержав лагеря, этот человек ломается уже в современное время — отчаявшись переубедить человечество, он собственноручно обрубает себе кончики пальцев. Автор заканчивает пассажем о непреодолимой никакой цивилизованностью дикости русской натуры.

Нина Горланова и Вячеслав Букур в рассказе «Афророссиянка» («Октябрь», № 3) наделяют свою героиню африканскими генами, чтобы задать ей задачку посложнее — стать провинциальной россиянкой с черной кожей. Рефреном по тексту проходит Пушкин, которого с детства поминают вокруг нее — как положительный прецедент. Девушка переживает неудачный роман с женатым мужчиной, потом с эгоцентрическим поэтом... В финале она признается в любви к России и приобретает томик ненавистного доселе Пушкина.

Некоторые авторы — с тем или иным успехом — пробуют просто описывать **ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ.**

Рассказы Александра Хургина «Бесконечная курица», «Зыбь» и **«На диване»** («Октябрь», № 1) предлагают нечто вроде ситуативных сценок: в первом рассказчик жалуется на сложные материальные обстоятельства своей жизни, во втором жэковский слесарь в некоем помрачнении выходит из квартиры и не может войти обратно, так как потерял бесценную связку ключей, в третьем чета ветхих стариков не может вспомнить, кто, когда и при каких обстоятельствах приобрел и повесил освещающую комнату люстру.

Настоящий **физиологический очерк ««Подсадка» на Белорусском»** («Дружба народов», № 2) создал **Алексей Авторкратов.** Описаны нравы и повадки кормящегося от приезжих разного жуликоватого люда.

По идее к этому же разделу следовало бы отнести и **МЕМУАРНУЮ ПРОЗУ**, однако представленные образцы, как ни странно, вписываются в него с трудом.

Вдруг возникшая после заявленного несколько лет назад **Анатолием Найманом** *окончания* его **романа «Б.Б. и др.»** («Новый мир», № 10, 1997) новая финальная часть под **тем же названием** («Октябрь», № 3) предлагает все тот же хаотический набор диалогов-рассуждений-конфликтов и т.п. между реально существовавшими и существующими ленинградско-петербургскими литераторами и вымышленным протагонистом и его биографом. Несмотря на уверенность автора, высказанную в сопровождающей публикацию **беседе** с **Ириной Барметовой**, что в том, что он создал, отражена именно *жизнь*, текст представляет собой скорее коллекцию малозначительных *мелочей*, мало что говорящих о действительной жизни. Характерной приметой текста является полноценное функционирование в нем персонажа с фамилией Найман, действия которого аттестуются рассказчиком, как правило, положительно: «Найман рассказал смешной анекдот», «Найман остроумно подметил»...

Завершены, наконец, мемуары **Николая Климонтовича «Далее везде»** («Октябрь», № 11, 2000, № 6, 2001, № 2, 2002). Описывая андеграунд советских времен, автор создает прежде всего образ *тусовки*, возможно, потому, что таково качество его личного восприятия. Написанные в разбитном духе, эти мемуары могли бы представлять некоторый фактологический интерес, если бы не бесконечные огрехи авторской памяти, которую он не считает нужным ограничивать проверкой. Так, журнал «Мулета» никогда не имел в названии двух «т», а фамилия режиссера «Рейхельгауза», который аттестован как друг-приятель и к тому же первый вывел на сцену драматические опусы автора, пишется, разумеется через «а»... Довольно странно для завзятого *переводчика* романов Дос-

тоевского в пьесы не знать, что в текстах последнего отродясь не водилось «баньки с тараканами», а была вместо того *банька с пауками*, зато *таракан от детства*, напротив того, обретался *в стакане*...

Некоторые тексты представляют собой классический **ПОТОК СОЗНАНИЯ** и потому описанию практически не поддаются.

Такова **повесть Анатолия Гаврилова «Берлинская флейта»** («Октябрь», № 3), более напоминающая верлибр, чем собственно прозу. Автор (кажется) медитирует на темы своих взаимоотношений с другом-учителем, к тому моменту уже покойным. Вспоминает то Германию, то какое-то Афанасово. Большинство предложений — назывные. Дефицит глаголов окончательно затуманивает смысл. Некоторые критики (из доброжелательных) вычитывают тут гомосексуальные мотивы — браво! Вычитать бы хоть *что-нибудь*...

Столь же герметична **повесть Георгия Балла «Дыра. Жизнь одной свадьбы»** («Дружба народов», № 1). Огромное количество персонажей, свободно сменяющих один другого в никак не связанных между собой эпизодах, порождает ощущение скверного бреда (что, может быть, как раз и входило в задачу автора). Единственное, что мешает воспринять текст как *веселый бредок* — предшествующее ему посвящение «памяти сына»...

Обзор подготовила Мария Ремизова

2. Литературная критика

«СУМЕРКИ ЛИТЕРАТУРЫ: ЗАКАТ ИЛИ РАССВЕТ» — так стоял вопрос в дискуссии, которая продолжалась в «Литературной газете» и весь этот квартал. Начата она была в конце прошлого, 2001, года статьями А.Латыниной и П.Басинского. Участвовали в дискуссии разные авторы, но общий уклон показателен для новой «ЛГ». Характерно, что самая, кажется, яркая реплика принадлежит **Владимиру Бондаренко** (статья **«Словесный лохотрон»**: № 2 — 3). Критик-идеолог обвиняет коллег в том, что знает за собой. По его мнению, критики отрезали от литературного процесса две трети писателей. Они злонамеренно не замечают живых классиков: Бородина, Личутина, Белова, Бондарева, М.Алексеева. Но это время *либерального лохотрона* подходит к концу. Катакомбная патриотическая литература доказала свою жизнеспособность. К ней ныне тянутся все молодые, здоровые силы русской литературы. (Продолжение темы тем же автором — **«Либеральный лохотрон»**: «Завтра», № 13).

Илья Кукулин запальчиво возражал Бондаренко в № 6 (**«Так разведем!»**). Его возмутило, что Бондаренко и его попытался завербовать в соратники. Да и вообще, здраво утверждал Кукулин, русская литература не делится на «либеральную» и «почвенную». В азарте он объявил, что не собирается читать опусы писателя Проханова, скандальчик вокруг последнего романа которого «Господин Гексоген» закипел этой зимой.

Алла Марченко и **Всеволод Сахаров** также сошлись на том, что на самом деле налицо кризис не литературы, а критики. Марченко в статье **«Свидетельствует вещий знак...»** (№ 6) свидетельство тому находит в том, что Букеров-

скую премию дали не талантливому Николаю Кононову, а малодаровитому Михаилу Шишкину; премию Ап. Григорьева — не гениальному Борису Рыжему, а всего лишь Вере Павловой. А Рыжий взял да и покончил с собой. Кто тому виной? («Я не утверждаю... Но и отделаться от неотступного... не умею»). Борис Рыжий, считает Марченко, — первый поэт XXI века. Сахаров в статье **«У нас была литературная критика...»** (№ 10) ругает толстые журналы. Они издаются ради кормления редакций. Нужны новые формы общения писателя с читателем, новые, незапятнанные люди, новые капитальные идеи. Далее автор пространно пишет о своих заслугах перед литературой. Хочется сказать: вот, по крайней мере один подходящий человек для литературной революции уже есть. Правда, не сильно новый.

О новых формах ведет речь и **Лев Пирогов**. В завирально-провокативной статье **«Постинтеллектуализм»** (№ 4) он утверждает, что литература существует ныне в далеко не традиционном виде — реклама, паблик рилейшнз, телевидение... Туда сместились *словотворческие инстинкты*. А литература, по Пирогову, — это «психофизическое состояние».

Дело не в критике и не в критиках, возражают Сахарову, Марченко и Бондаренко другие участники дискуссии. Есть более глобальные проблемы. Проблемы жизни, проблемы писателей. **Капитолина Кокшенева** в статье **«Элите захотелось портвеша»** (№ 11) утверждает, что виновата во всем не критика, а либеральная литература. Вопреки мнению Кукулина (см. выше), Кокшенева уверена в наличии таковой. Это литература без веры, без идеала, убивавшая любовь к значительному и серьезному, в том числе и к своей стране. В этой связи упомянуты Т.Толстая, Э.Радзинский, Вик.Ерофеев. Антитеза им — писатели-почвенники. Их много; критик приводит пространные списки с именами представителей этого здорового направления. Почвенная литература уясняет «национальный инстинкт», она выводит «русскую сущность» из православия. Меру своему чувству почвенники находили в народном чувстве веры; их творчество выражало национальное отношение к жизни.

Построение Кокшеневой приятно своей простотой. Но слишком уж противоречит той острой кризисности, которая существует не только в голове писателя, но и в жизни народа, заставляя предполагать, что «национальный инстинкт» давно уже выродился во что-то малопотребное. Сознавая это, **Валентин Курбатов** в статье **«Снова да ладом»** (№ 5) сначала ворчит на обилие премий, которые дезориентируют писателя и публику, а потом утверждает, что писатели втайне и въяве тоскуют по реализму, народности, здоровой простоте. Но ничему этому не бывать. Ибо на дворе сумерки не литературы, а самой жизни. Сама история впала в постмодернизм. Таков пессимистический вывод критика.

Николай Переяслов в статье **«Не с тем ключом»** (№ 7) уточняет диагноз: корень перемен в том, что народ-коллективист стал индивидуалистом. Исчезла общенациональная идея. Как и Курбатов, Переяслов — пессимист и фаталист. У общества теперь индивидуалистические основы, и это, по Переяслову, очень плохо. Но деваться, увы, некуда. Вот о чем, считает критик, должен думать писатель. Но думает пока мало.

Прозаик **Александр Мелихов** в статье **«Сумерки амбиций»** (№ 1) утверждает, что в наши дни великие писатели невозможны, возможны только хорошие

(это он воспроизводит мысль В.Попова). Ослабла способность жить грезами, страсть придавать им всемирно-историческое и вечное значение. Мизерность амбиций — порок современной культурной прозы. Но порок неистребимый. Во всяком случае сам Мелихов меняться не собирается.

А **Людмила Сараскина** (**«Активисты хаоса в режиме action»**: № 8) использует возможность вставить свою реплику для того, чтобы обратить внимание публики на писателя Крусанова и философа Секацкого, которые запустили машину *апокалипсиса*... Слово найдено?

К теме дискуссии примыкает и статья **Натальи Ивановой «Козьей мордой луна»** («Дружба народов», № 1), где помянута исходная статья А.Латыниной «Сумерки литературы», с серьезным упреком ее автору, который на основе десяти премиальных «букеровских» романов выносит суровый приговор литературе десятилетия, избавляя от ответственности и себя, и всех членов жюри за возможные ошибки в выборе или даже премиальной стратегии. Далее Иванова довольно язвительно характеризует основную массу номинированного издательствами на Букера последнего разлива и подробно останавливается на его финальной шестерке. И хотя почти все авторы — Чудаков, Найман, Толстая, Улицкая и Черчесов — охарактеризованы весьма и весьма положительно (исключение составляет один Сергей Носов, критику не симпатичный), следует неожиданное признание: все шесть произведений «заняты прошлым и, по сути, вненаходимы по отношению к настоящему», так что накануне судьбоносного решения члену жюри Наталье Ивановой даже было «почти все равно, кто победит». Впрочем, эмоциональный финал статьи свидетельствует об обратном: симпатии критика на стороне Алана Черчесова...

Попытку окинуть взором пространство литератур бывших советских республик (с отдельными вылазками на территорию Восточной Европы, а также Израиля и США) делает **Илья Кукулин** в объемной статье **«Прорастание отдельных слов в задымленных руинах»** («Дружба народов», № 3). Поскольку материал в подавляющем большинстве читателю совершенно незнаком, статья носит по преимуществу «номинативный» характер. Отдавая должное культуртрегерской миссии критика, нельзя не отметить досадную нехватку собственно аналитической составляющей — каковы, так сказать, общие тенденции в этом саду расходящихся тропок.

«Чему-нибудь и как-нибудь» — самое название статьи **Дмитрия Дмитриева** («Новый мир», № 2) красноречиво свидетельствует о том, как давно и прочно мы привыкли бранить программу средней школы. Тем более программу по литературе. По популярности эта тема с успехом может конкурировать с разговорами о погоде. На сей раз обсуждается вопрос животрепещущий — надо ли знакомить школьников с современной литературой. Язвительно проанализировав несколько школьных учебников, посмеявшись над парой-тройкой «золотых» сочинений, автор приходит к следующим выводам: а) современной литературой следует считать именно современную литературу; б) тем не менее отдавать пять школьных уроков под роман «Кысь» все же не стоит; в) как не стоит цитировать детям прозу Сорокина. В целом же, если 1) литература окончательно превратится в школьный предмет второго сорта, а 2) «действующие писатели будут ассоциироваться с доценками и децлами, процесс дебилизации зайдет

слишком далеко». Все же хочется робко спросить, на каком основании критик назначает именно такие условия необратимости названного процесса, и вновь вернуться к началу статьи: так ли уж много потеряет современный молодой человек, если по неосмотрительности вместо того же Сорокина или Толстой прочтет, скажем, Гомера — или чего там еще нет в школьной программе?..

Более локальный ракурс — **РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОЗЕ, ЕЕ ЖАНРАХ**. **Василий Аксенов** (**«Чудо или чудачество?»**: «Московские новости», № 11) утверждает, что *роман* находится в упадке. Читатель пресыщен прозой вымысла. С другой стороны, вкус новых читателей небезупречен. Характерен подзаголовок: «Роман: путь к помойке».

Иначе оценивает ситуацию **Леонид Ханбеков**. Его статья **«Кризис романа, или о чем мечтает литературная тусовка»** появилась в газете «Литературная Россия» (№ 11), что уже само по себе — явление знаменательное. Это издание давно уже лишено и малых литературно-критических амбиций. Но название статьи слишком много обещает. Из опуса трудно узнать что-нибудь о мечтах литтусовки. Критик весьма избирательно характеризует некоторые романы последних лет. Он радуется тому, что есть у нас классики жанра. Это Бондарев, Проскурин, Личутин, Варламов, Минутко, Мирнев, Костомаров и Трапезников. Список говорит сам за себя! Удручает же Ханбекова то, что романисты не воссоздают народное мироощущение (его суть, оказывается, — тревога, чувство беспросветности и обреченности); но говорят «о рыцарях, аристократах и интеллектуалах, имея в виду финансовых воротил, нефтяных и алюминиевых королей».

Андрей Урицкий, предлагая свой взгляд на *прозу 2001 г.* (**«Четыре романа и еще один»**: «Дружба народов», № 1), сразу же оговаривается, что хочет в данном случае «возвести субъективность и необязательность в принцип» — и признается, что в основе его заметок лежит случайный выбор. По его мнению, истекший год — «год выдоха». Он выстраивает ряд из романов Дмитрия Быкова («Оправданиe»), Александра Мелихова («Любовь к отеческим гробам), Андрея Волоса («Недвижимость») и Михаила Кононова («Голая пионерка»), по собственному признанию, «от минуса к плюсу». К Быкову у автора упреки, главным образом, эстетического характера. Мелихову «не хватает мускулистости и ритма, и проснувшаяся мысль вновь засыпает в вялой, аморфной массе бесконечного говорения». Волос прокололся на том, что рискнул писать «под Гоголя» — «установив планку на столь недостижимой, недосягаемой высоте <...> сам заставляет сравнивать себя с гением и сравнения не выдерживает». Книгу Кононова автор полагает «недюжинной», «отмеченной чертами вневременности и высоким художественным уровнем». «Скандальность» же не в материале (пионерка-разведчица борется с фашистами, параллельно обслуживая сексуальные нужды Красной армии), а в том, что книга издана с опозданием на 10 лет и не включена даже в букеровский шорт-лист. Обещанный же «еще один» — это роман Леонида Костюкова «Великая страна», вызвавший глубокое удовлетворение критика языковыми изысками и филигранной игровой фабулой (об этом романе см. не столь восхищенный отзыв в прошлом выпуске БСК).

Несколько более структурированный подход к обзору *прошлогодней прозы* в том же номере журнала предлагает **Мария Ремизова** (**«Опытное поле»**). Она

полагает, что литература модернистского толка окончательно выдохлась, и предлагает всерьез рассматривать лишь прозу «реалистов». Выстроив свой ряд, куда вошли все тот же Волос, Олег Павлов («Карагандинские девятины»), Михаил Тарковский (рассказы), Роман Сенчин («Минус»), а также неизвестный молодой автор из Екатеринбурга Николай Буба (чья повесть «Потусторонние», была напечатана в журнале «Урал», № 3), критик настаивает, что все перечисленные авторы в той или иной мере увлечены поисками «нового языка для разговора о существе жизни». Эти поиски вынужденно приводят их к области модернистских приемов — поскольку мир внутри современной личности во многом напоминает хаос и для его художественной организации и подачи требуются адекватные формы выражения. Автор полагает в этом не деградацию метода, но, напротив, его творческое развитие.

Несколько противоречивой выглядит статья **Александра Шаталова «Путешествие в страну мертвых»** («Дружба народов», № 2), где он сперва, по установившейся традиции, ругает всю *современную прозу*, потом переходит к собственно предмету обзора — произведениям, посвященным смерти и потусторонеей жизни (в поле зрения критика попали «Анна Гром и ее призрак» и «Фаустина» М.Рыбаковой, «После запятой» А.Нуне, «Роман на два голоса» О.Постниковой и «Веселые похороны» Л.Улицкой — что так или иначе логично, а также «Уткоместь» Г.Щербаковой и «Кысь» Т.Толстой — что логично не вполне), и вдруг, снова оговорившись, что современная литература ему не нравится, выносит ей благосклонную оценку... Поди пойми телезвезду.

Андрей Немзер на своем сайте (адрес см. ниже) порицает журналы «Урал», «Октябрь» и «Дружбу народов» за невзыскательность при отборе прозы для публикации (29 января). «Урал» публикует роман Андрея Матвеева «Indelito». Матвеев — типичная знаменитость екатеринбургского разлива (злые языки добавят: «и масштаба»). «Дружба народов» печатает Валерия Пискунова «Песни Птерота». По этому поводу критик вопрошает: не является ли главной опасностью для любого автора (хоть о половом созревании он пишет, хоть о коллизиях нефтяного бизнеса) слабое владение родным языком, отливающаяся необязательностью словоупотребления, смазанной метафорикой, банальными и бессмысленными антитезами, высокопарной и ложной многозначительностью? «Октябрь» же печатает преунылую антитоталитарную фантасмагорию Бориса Хазанова «Возвращение». Это письмо по готовым и предсказуемым «культурным» контурам. Это снова ложная многозначительность. Это высокомерие интеллектуала, который когда-то пытался стать писателем, а в результате цепи событий стал печатающимся автором.

Еще одна статья **Немзера** (7 февраля) посвящена вручению премии Юрия Казакова за лучший рассказ года. Критику не нравится состав жюри, он полагает, что он чреват групповщиной, а «рассказ года» отнюдь не внутреннее дело «Нового мира». В этой связи критик в основном негативно характеризует выдвинутые на премию рассказы Маканина, Николая Кононова, Шкловского, Тарковского. На этом фоне и заслуживает быть отмеченным рассказ Астафьева «Пролетный гусь». Традиционно высоко оценивает Немзер сочинения Марины Вишневецкой. Вишневецкая — из немногих настоящих рассказчиков, писателей, умеющих создавать самодостаточные, цельные и всякий раз *новые* (свободные от

самоповторов) истории (так работали Аксенов, Петрушевская, Битов; теперь, кроме Вишневецкой, Юрий Буйда, Борис Екимов, Александр Хургин).

Когда сюжет в *мейнстриме* пошел на убыль, утверждает **Ольга Славникова** в статье **«Rendez-vous в конце миллениума»** («Новый мир», № 2), полем для литературной игры стали детективы и фантастика. Почему же, задается вопросом критик, донором не может быть *любовный роман*? И выдвигает предположение: состав атмосферы лавбургера столь специфичен, что парниковую романную жизнь способна убить одна единственная молекула иронии. И вот как хорошо забытое, но поучительное чтение на свет извлекаются статья «Русский человек на rendez-vous» Чернышевского и тургеневская «Ася». Время, как выясняется, шло недаром, и сегодня любовные сюжеты стали более разнообразными, но и более *пологими* — «им уже не хватает энергии для того, чтобы держать на себе полный вес романа».

Далее Славникова предпринимает некоторую попытку каталогизировать современный любовный сюжет. Оставляя в стороне заведомое «бабство» Виктории Токаревой и Галины Щербаковой, критикесса начинает с «Недвижимости» Андрея Волоса, где обнаруживает «прочерченное отсутствие» предмета исследования. Много эротики в романе Дмитрия Липскерова «Родичи», а «Удавшийся рассказ о любви» Владимира Маканина тяготеет не к любовному, а к назидательному жанру. Повесть Романа Сенчина «Один плюс один» получает остроумный ярлык «антилавбургер» и короткое пояснение, что крайности сходятся и по сути перед нами уже знакомое явление литературы, где «правда лишена особой подсветки, превращающей и грязь и золото в искусство». Как произведения о любви Славникова удостаивает доброжелательного разбора «Мужской...» и «Женский романы» Ольги Новиковой и «Роман с языком» Владимира Новикова и замыкает круг, вновь возвращаясь к Тургеневу: «Это почти рефлекторный жест — поиск опоры в той литературной традиции, где любовный сюжет был легитимен. <...> «Тургеневские девушки» есть *идеал нормы* — что само по себе парадоксально и достижимо не в самой литературе, но в коллективном представлении о ней». Напоследок Славникова приберегает любовный роман «поколения П». Эпистолярный жанр — почти онегинский сюжет электронной переписки в романе Анастасии Гостевой «Приют просветленных»; нестыковка между личным переживанием и тем языком, которым говорит с героем его поколенческая реальность, — роман Ильи Стогоffа «Мачо не плачут»... Критик приходит к несколько неожиданному, но обнадеживающему выводу: «...модным авторам середины девяностых было легче: ломать не строить. «Поколению П «, нравится им это или нет, придется начинать какое ни на есть строительство. Им предстоит «игра на повышение». И для них любовный сюжет может стать едва ли не самым трудным квалификационным тестом».

Редакции же нашего журнала особенно приятно было найти в статье Славниковой доброжелательные отзывы на акварельный «Роман на два голоса» Ольги Постниковой («Континент», № 105) и любовную документалистику Татьяны Полетаевой «Значенье сна» («Континент», № 106).

О *природе фэнтези* рассуждает **Владимир Губайловский** (**«Обоснование счастья»**: «Новый мир», № 3). Автор начинает с утверждения, заимствованного у Алексея Цветкова: понятия добра и зла «смазались, расплылись», и в этом

релятивном мире человеку захотелось определенности — как отдыха. Цветков называет эпопею Толкиена «протезом реальной нравственности». Пытаясь дать собственный вариант ответа, почему во второй половине XX века фэнтези оказалась столь важной и нужной, Губайловский замечает между прочим, что подобным же протезом в ушедшем веке уже оказывались и Маркс, и Ницше. Не забывает Губайловский указать и на отмечавшееся П. Малковым внутреннее противоречие толкиеновской космогонии — попытку на основе христианского мировосприятия объединить языческие верования разных народов и эпох.

Литература фэнтези, замечает Губайловский, строится так же, как строятся математические модели — несколько семантических первоэлементов, простейшие правила конструирования. В волшебном мире «Властелина колец» свои законы природы. Все правила и ограничения даны изначально. «Он прост, как паззл», поскольку здесь отсутствует глубина и многослойность реалистического романа или лирического стихотворения. Сложить из фрагментов можно только одну картину — ту, которую задумал автор. «Если модель глубоко проработана и жестоко формальна, с ней можно и хочется поиграть». Так автор переходит к «Кольцу Тьмы» Ника Перумова как наиболее типичному примеру посттолкиеновской фэнтези. Опустим здесь разбор творчества Перумова и вслед за автором статьи вернемся к Толкиену. Здесь нам предстоит согласиться с критиком в том, что читать реалистическую прозу — это всегда труд, труд сочувствия; читать же фэнтези — увлекательный отдых, а также с тем, что «Властелин колец» — великая книга: и открытие и исчерпание жанра одновременно.

Соглашаясь с Лидией Гинзбург, Губайловский указывает на снижение порога релевантности в современном мире. Именно в этом, по его мнению, и кроется источник популярности фэнтези: «В XX веке человек постоянно сталкивается с вещами, которые он может представить только <...> в виде фактов языка. <...> Язык становится центром бытия, и не только как выразитель объективных истин, но и как носитель их. И язык, чтобы прояснить темные стороны своего бытия, требует моделирования...». Слово не утратило смысл, но всякий раз этот смысл нужно конструировать заново.

Андрей Урицкий рискнул взять три современных «римейка» классики («Анну Каренину» Льва Николаева, «Идиота» Федора Михайлова и «Отцов и детей» Ивана Сергеева) и проверить, может ли выйти что путное в рамках подобного проекта («**Дубль второй**»: «Дружба народов», № 3). Оказывается, может — «дело в том, кто пишет и как пишет, талантливо или нет»: первый автор просто отсканировал оригинал, сократил да чуть приспособил реалии к началу XX в., второй «подошел к делу более ответственно» — переработал текст, но не как художник, а как ремесленник, третий же позаимствовал лишь тургеневскую фабулу и создал «хороший роман для необременительного чтения, в меру антибуржуазный, веселый и грустный». Хотел того критик или нет, но и сама статья смахивает на римейк сказки про трех поросят — разумеется, с творческим подходом.

Примечательно, что совсем иначе эта ситуация выглядит под пером **Светланы Ивановой** («**Новый русский идиот**» — «Новый мир, № 2), которая старается избавить продвинутую публику от утомительной обязанности читать 429

страниц вышедшего в издательстве «Захаров» романа Федора Михайлова «Идиот». По мнению критика, попытка доказать, что «если автор умер, то все дозволено», привела к неизбежному результату: мертвым оказался не столько старый автор, сколько новый текст.

Николай Работнов в статье **«Колдун Ерофей и перекресток Савенко»** («Знамя», № 1) пишет о двух авторах-антиподах: Вик.Ерофееве и Э.Лимонове. Их лирические герои не обнажаются перед читателем, а заголяются. А в чем разница? У Ерофеева — откровенность (и то не всегда) и злость, у Лимонова — искренность и злоба. Работнов подробно сопоставляет творческие биографии, разумно, либерально и занудливо оценивая литературные достижения названных авторов.

Как всегда, подавляющее число материалов посвящено **ОТДЕЛЬНЫМ ПРОЗАИКАМ И ИХ ТВОРЧЕСКОМУ ПРОДУКТУ.**

В «Знамени» (№ 1) опубликованы две статьи о романе Андрея Волоса «Недвижимость». **Александр Касымов («Обретение крова, или Дом, который мы потеряли»)** настроен критично. В романе много банальностей. Трудно понять обстоятельность автора. Много старательности и просветительского пафоса. Есть схематизм. А **Дмитрий Дмитриев («Про нашу жизнь»)** акцентирует другое: герой роман старается остаться порядочным человеком в условиях жестокого мира. Положительный герой — обычный человек, предпочитающий поступать по совести.

Дмитрий Дмитриев в статье **«Несерьезный писатель»** («Знамя», № 3) весьма комплиментарно пишет о новой прозе Дины Рубиной. У нее «вышла уже 22-я по счету книга, а о ее творчестве по-прежнему написано немного». Вот Дмитриев и решил внести ясность. Правда, он замечает, что мир художественной прозы Рубиной причудлив, и распознать, а тем более объяснить его непросто. Обманчивая легкость письма подчас позволяла определить автора в «несерьезные писатели». Критик считает такое утверждение поклепом, хотя доказательств тому приводит немного. Основная черта стиля Рубиной — умение мгновенно сменить тональность: лирические отступления перемежаются с экспрессивными монологами (подчас приправленными ненормативной лексикой), а летящая на всех парах фабула внезапно делает передышку для философских размышлений. Остается ощущение, будто бродишь по залам музея, где перемежаются залы со строгими холстами старых мастеров и коммунальные кухни с пестрыми полотнами диссидентского соц-арта.

В «Знамени» (№ 2) **Елена Иваницкая** и **Анна Федина** излагают свой взгляд на роман Александра Мелихова «Любовь к отеческим гробам». Роман заставляет думать — и думается о нем по-разному.

Наталья Данилова в статье **«Небо родины»** («Москва», № 3) рассуждает о книге Лидии Сычевой «Предчувствие». Это, в общем-то, и не рецензия, а публицистический комментарий, который интересен, поскольку являет собой чуть ли не единственный отклик в журнале за целый квартал на произведение современной прозы. По словам Даниловой, в прозе Сычевой слышится не поминальный звон о растоптанной русской жизни, который характерен для современной литературы, а сдержанный, тревожный набат-призыв: люди, оч-

немся, одумаемся: как мы живем?! Мы все дочери, сыновья, дети родной матери-земли, которую мы должны любить и в горести, и в болезни, и в несчастье. Мы и наша неправедная жизнь виноваты в ее разорении и неустройстве. Где наше чувство гражданского долга, боли за отечество? Почему все вокруг стало чужое, отчужденное от нашей души? Или мы не братья и сестры, родные по крови люди, соотечественники, современники, а собрание случайных людей на общей одной территории, которая дана нам для мародерства? «Где наша совесть?» — главный вопрос и нерв нашей жизни. Куда делись добро, тепло, любовь к ближнему? Откуда равнодушие к чужой боли, страданиям, поминутная готовность опасливо отойти в сторону или просто перешагнуть: мое дело сторона, меня это не касается. Ни разоренная страна, ни бездомные дети, ни голодные старики, — ничто нас уже за душу не берет. Полное равнодушие. Каждый сам по себе и сам за себя. Холодно стало жить, господа-товарищи... Неужели мы, хлебосольные, всемирно отзывчивые русские люди, привычные «жить всем міром», вырождаемся как самобытная нация, твердая в своих нравственных устоях? Вторглись в путь-полет «птицы-тройки» России «товарно-денежные отношения», вульгарно понимаемые и вульгарно продавливаемые в жизнь, и следующая наша остановка — «Театр зверей имени Дурова», куда нас загоняют. А жизнь, прекрасная и удивительная, истинная, наша единственная и неповторимая, проходит мимо. ...Вот такая критика в журнале «Москва».

Леонид Шевченко в статье **«Аннушка предпочитает рафинированное»** («Знамя», № 1) в жанре импрессионистического попурри рассуждает об инфернальной прозе Наля Подольского «Книга Легиона».

Татьяна Михайлова пишет о прозе Марины Москвиной (**«Дорога, ведущая к мифу»**: «Знамя», № 1). Детская писательница начала писать для взрослых. Это те же сказки, но «подросшие». Взрослым ведь тоже хочется мечтать, что все будет хорошо, их обязательно полюбят, а в конце явится крылатый ангел в звездном венце...

В манере околореальной критики выступила **Наталья Иванова** в статье **«Почему Россия выбрала Путина: Александра Маринина в контексте современной не только литературной ситуации»** («Знамя», № 2). Она рассказала о том, с чем выступала на международной конференции «Феномен Александры Марининой как отражение современной российской ментальности» в Париже (19—20 октября 2001 г.) и какой резонанс имел ее доклад. Подход к творчеству Марининой у критика социологический. Маринина подхватила и того читателя, которого утратили «либеральные» периодические издания, и того читателя, который привык к советской «массовой» литературе. Она была юридически грамотным проводником в незнакомой реальности. Маринина утешает и воспитывает; утверждая банальности, пытается прививать добрые чувства; избавляет от ощущения обреченности и катастрофизма. А недавно Маринина вышла с новой книгой, ломающей стереотипы ее «успешных» вещей. Это двухтомник «Тот, кто знает». Маринина на пике успеха оставила жанр детектива ради семейной саги для того, чтобы иметь не ограниченное детективным сюжетом пространство для высказываний. Книга очень политкорректная. Проявления антисемитизма осуждаются прямо и недвусмысленно. Осуждается и ущемление прав, и ограничение возможностей женщины. Семейная сага, кроме сюже-

та о жизни нескольких поколений в арбатской коммунальной квартире, имеет еще два измерения: литературно-полемическое, отстаивающее роль и значение «массовой культуры» в жизни общества и противостоящее *псевдоэлитарности* т.н. серьезной литературы и *бесплодности* андеграунда, и социально-политическое. Это чрезвычайно политкорректная по отношению к *органам*, к тайной полиции, книга. Это — оправдание деятельности КГБ-ФСБ как силы, организующей позитивные сдвиги в обществе. Это полицейская проза, где ангел-хранитель человека — тайный агент, вербующий юные души.

В свойственной ему манере *не указывать*, где можно ознакомиться с анализируемыми им текстами, **Лев Аннинский** в статье-эссе «**Очередная загадка женской души**» («Дружба народов», № 3) разбирает две повести Рады Полищук. Под маской прокламируемых героинями сексуальной свободы (вплоть до инцестуальных фантазий) и принципиальной независимости от кого бы то ни было, критику видится чуть ли не онтологическая незащищенность представительниц поколения «дворников и сторожей», которое, по его представлениям, еще от внутриутробного состояния несет на себе проклятие изгойства. «Чисто литературный секрет Рады Полищук — терпкое изящество текста, сплетаемого над магмой дикой природности». И хотелось бы проверить по оригиналу — да где ж его сыщешь? (См. выше.)

Галина Ермошина в целом с большой симпатией рецензирует книгу повестей Л.Гиршовича «Замкнутые миры доктора Прайса» («**Игра в самого себя**»: «Дружба народов», № 2), лишь слегка пеняя автору на некоторую замкнутость его «миров». Между тем, краткий пересказ содержания, кажется, взывает к некоторой переориентации оценок: не каждый сможет разделить умиление Ермошиной жизнерадостным юмором Гиршовича, из ее же текста узнав, что в «мире гомосексуалистов Атлантиды» проживают «братья Кал и Кол с мужем их Поносом»...

Впрочем, на вкус да на цвет — товарищей нет. **Мария Ремизова** в статье «**Мерзкая плоть**» («Дружба народов», № 3) анализирует прозу Николая Кононова, который, по мнению автора, свою поэтику строит на совмещении физиологии (в том числе и патологической) с высоким слогом описания. Критик обвиняет Кононова в том, что у него «над текстом, за текстом, сквозь текст проступает бессмысленно ухмыляющаяся пустота» — «потому так важна оказывается физиология — все мокрое, хлюпающее и бесформенное. Несистематизируемое. Аморфное. Вещь в себе. Высказывание не может иметь смысла, потому что смысла не может быть вообще».

Небезызвестный концептуалист **Дмитрий Пригов** отозвался в «Знамени» («**Прочитал с удовольствием, чего и вам желаю**»: № 2) на опус художника-прозаика Гриши Брускина «Прошедшее время несовершенного вида» (2001). «Имя Брускина, прогремевшее в свое время на проводившемся впервые в Москве в 1989 году аукционе Сотбис, благодаря фантастическим по тем годам для России (да и не только России) ценам на его картины, есть достаточная рекомендация самому себе». Пригов признается, что он взял книгу — и зачитался. «И, не останавливаясь и даже пропустив нужный поезд в нью-йоркском метрополитене, а вследствие сего и вообще отказавшись от намеченной поездки, в ближайшем кафе дочитал всю книгу до конца. Это правда. Тут уж ниче-

го ни добавишь, ни прибавишь». Но Пригов все-таки прибавляет. Жанр маленьких текстовых кусочков, собранных в объемные гипертексты, разрабатывался чрезвычайно разнообразно и подробно разными авторами, от Розанова до Рубинштейна. У Брускина привлекает установка на достоверность. Ту самую, которая «служила базой и основой как буберовских историй и притч, так и еврейских анекдотов». Композиция аккуратной и выверенной книги точна, не вызывает ощущения избыточности, «отдельные истории сложились в самодостаточный и жизнедейственный организм».

Много отзывов вызвал роман Сергея Гандлевского «<НРЗБ>». Есть они в Интернете. Есть и в бумажной периодике. **Михаил Золотоносов** (**«Синдром Гандлевского»**: «Московские новости», № 9): это типичная проза поэта — концентрат тем и образов из собственной поэзии и закодированных специфических проблем. Критик находит в романе симптомы внутреннего кризиса, освобождения от анестезии самовлюбленности и осознания неприятных истин. Доминанта здесь — ощущение собственной посредственности и близости финала. Манифестируются сомнения в своем таланте, страх перед несочинившейся жизнью.

О новой прозе Гандлевского писал и **Андрей Немзер**. Он исправно ведет дневник литературных впечатлений в газете «Время МН». Материал для настоящего обзора взят на сайте Немзера в Интернете (http://www.ruthenia.ru/nemzer/), оттуда же и даты публикации.

По Немзеру (21 января 2002), у Криворотова, героя романа «<НРЗБ>», была счастливая молодость, когда восторг поэзии и любви мешался с соблазнами. Было тихое предательство. А дальше ничего не было. Не считать же жизнью семью, прозябание близ литературы, тусовки, изучение-толкование жизни и творчества классика андеграунда Чиграшова. И как бы ни виноватил герой своих возлюбленных, учителя, друга, получается, что нет хуже него человека. Представлены все мерзости не менее узнаваемо, чем удивительная, колдовская и многоцветная Москва, восторг от весны, влюбленности и стихов, сладкая боль неразделенного чувства. Есть в романе незаемные любовь к жизни и чувство собственного достоинства. Критик полагает: что не только герой бросает дурную тень на автора, но и автор одаривает его своей благородной осанкой и поэтическим тембром.

Дважды (28 января и 13 марта) **Немзер** обращался к прозе автора, к которому критик издавна мирволит, **Андрея Дмитриева**. Тот стал в начале текущего года главным лауреатом премии Ап. Григорьева, присуждаемой Академией Русской Современной Словесности. Отзыв Немзера позволяет понять резоны жюри, отдавшего премию за 2001 г. скромной, по оценке БС «Континента», повести «Дорога домой». История, рассказанная Дмитриевым, считает Немзер, проста и многопланова, приземленно страшна и высоко поэтична, достоверна и невероятна. Вспоминая и домысливая приключение няньки Марии, писатель ведет речь о собственном духовном становлении. Сквозь объективный эпос тихо, но уверенно пробивается лирическая исповедь. Социально-историческая конкретика конца 50-х гг. сливается с делами давно минувших дней, физиологический очерк отзывается национальным мифом. Малограмотная, но купившая на последние гроши сборничек стихов Мария видится больным двойником легендарной Арины Родионовны, ее загул и похмелье, тоска и смирение, склонность

к фантазированию и приземленность, безудержность, жуликоватость и неуклюжая приязнь к «барским дитяткам» разом убийственно реальны и мифичны. Сама о том не ведая, беспутная страстотерпица тайно воспитывает рассказчика. Сползающий в пародию официоз «праздника поэзии», пьяная гульба, надрывные исповеди ухажеров, тягостные воспоминания измочаленной подсоветским XX веком героини, злость, равнодушие и доброта тех, кто встретился Марии на «дороге обратно», — все это существует в загадочном и естественном смысловом единстве. Пушкинском — не только по «месту действия».

Выражает **Немзер** свое отношение и к другим финалистам премии (28 января): Леониду Зорину и Ольге Славниковой. Он не сомневается в «человеческой значимости и безукоризненном мастерстве» их прозы. Точнее, строже и в то же время сострадательнее о внутреннем надломе русского интеллигента второй половины XX в., о его безнадежном поединке с собой, вине, беде, потерях и сохранении «стати» никто лучше Зорина не написал. В «Бессмертном» Славниковой с визионерской четкостью воссоздается тот морок, что наколдовывается не одними только корыстными махинаторами, но обычными людьми, пытающимися обустроить «по новым правилам» свое «нормальное» существование, тем или иным способом обыграть хитрое время. Но больные, несчастные, подчас страшноватые жители уральского городка парадоксальным образом остаются людьми, а, казалось бы, всевластные призраки скукоживаются при вспышках настоящей боли, настоящей смерти, настоящей жизни. Три несхожих писателя знают, что трагедия отдельного неповторимого человека сопряжена с трагической историей нашей страны, а история эта немыслима без многомерного и свободного слова. Они художники. «Этим-то и определен благородный выбор жюри, заставивший меня (в кои-то веки) ощутить гордость и за свой профессиональный цех».

В другой раз (12 марта) **Немзер** рассуждает о Б.Акунине, сопоставляя его с В.Пикулем. Пикуль некритически работал с источниками и ляпал анахронизмы, но таков удел всякого исторического беллетриста, а Пикулев материал был обилен, разнообразен и вкусен. «И патентованных интеллектуалов Пикуль весьма занимал — хотя бы как человек, сорвавший крупный куш». У Пикуля Немзер находит как вторичность (зависимость от образчиков), так и глубинную двусмысленность. Проще говоря — цинизм. Русофилам — златоглавую с конфетками-бараночками, русофобам — заспанный и загаженный Глупов; была бы доступная занимательность да «фламандская» пышность, а за «моралью» дело не станет. Примерно так же — только умнее, изысканней, глумливее — работал первый отечественный «голливудец» и главный радетель национальной самобытности Никита Михалков. Наконец, и Акунин, судя по всему, прописан критиком в этот ряд. По поводу экранизации «Азазеля» Немзер замечает: в повестке дня стоит «культовый феномен» — с соответствующими интеллектуальными прибамбасами, русофобско-русофильскими двусмысленностями, подмигиванием и кукишами в кармане. Убедили уже «электорат»: есть на Руси великий писатель. Массовый, но элитарный. Игровой, но серьезный. Культурный, но попсовый. Нас (умных) развлекающий, их (быдло) просвещающий.

По-своему **Немзер** понимает повесть А.Бабченко «Алхан-Юрт» (12 февраля). «Я и так знаю, что виноват перед любым солдатом, который не по своей

воле оказался в аду. Я верю, что солдату Бабченко и его товарищам было голодно, холодно, страшно, мучительно. Только вера эта к его тексту касательства не имеет. Это называется «играть на теме»». Критик всерьез воспринимает прозу Олега Ермакова или Олега Павлова. «Возможно, и о Чечне такая проза появится. Возможно, ее напишет Бабченко. Но это будет не «Алхан-Юрт»».

Перейдем к обзору суждений о **ПОЭЗИИ**.

Александр Уланов в статье «Сны о чем-то большем» («Дружба народов», № 2) обозревает слой современной поэзии, которому дает определение «новая искренность». Обилие имен и цитат вроде бы должно служить на благо материала: современная поэзия мало кому известна, и профессиональная подача могла бы помочь сформировать хоть какое-то представление о ней. Увы, автор почти избавляет себя от серьезного анализа, по больше части отделываясь довольно беглыми репликами «в сторону». Если до знакомства со статьей Уланова читатель не знал о современной поэзии *ничего* и относился к ней, допустим, индифферентно, то после нее он скорее всего будет к ней недоверчиво насторожен — ему предъявлен, в буквальном смысле, *шевелящийся хаос*. Кстати, большинство цитат, которые, по мысли автора, иллюстрируют поэтические удачи, — довольно беспомощны...

Любопытный анализ «концептуальной школы» (на примере отдельно взятого феномена, раскрывшегося в книге И.Балабановой «Говорит Дмитрий Александрович Пригов» дает **Игорь Клех** в статье **«Выход Героя неглиже. Некоторые спорные вопросы «художественного поведения»»** («Дружба народов», № 3). Посты здесь распределены так: «Пригов — доктринальное и организационное обеспечение», Рубинштейн — «драматическая поэзия», Кибиров — «лирическая поэзия», Сорокин — «главный прозаик». Из интервью автор статьи постепенно вытягивает образ пораженного комплексом неполноценности главного идеолога, который вынужден прятаться под маской неуязвимого клоуна-иллюзиониста, убедившего всех и вся, что производимая им продукция и есть высшее проявление современного искусства. «И это, пожалуй, самое русское по определению в закоренелом западнике Пригове: восторг и жуть самозванничества».

Андрей Немзер пишет о сборнике Веры Павловой, прошлогоднего лауреата премии Аполлона Григорьева (24 января). Поэтесса стала фигуранткой литературного процесса в феврале 1994 г., когда после публикации ее стихов в газете «Сегодня» только ленивый не высказался о скандальном нарушении приличий или явлении большого поэта. Но поэтом Павлова стала гораздо раньше — в 1983 г. Новоизданное «Совершеннолетие» — собрание стихов, выстроивших восемнадцать лет жизни поэта. В «Совершеннолетии» впервые у Павловой динамика важнее статики. Идеальный читатель *уже* знает, что такое поэзия Павловой — теперь ему дано увидеть, как она вырастала из зернышка. Павлова свою мелодию нашла — она пишет о счастье. Зима и лето, гаммы и прописи, отрочество и юность, губы и ладони, грех и похоть, страх и трепет, тяжесть и нежность, кровь и любовь, жизнь и смерть в ее стихах существуют, обретают смысл, перестают быть «просто словами» только при свете счастья. Ускользающего, дразнящего, грозного, ненужного, мучительного, вожделенного, предреченного, проклятого, но остающегося счастьем.

Бахыт Кенжеев в статье **«Оберег против века»** («Знамя», № 3) пишет о стихах Юрия Кублановского. Известен накатанный Кублановский с мерной интонацией академических пятистопных ямбов, с «самым богатым словарем со времен Пастернака» (выражение Бродского), с вальяжными нарушениями синтаксиса, с идеологически выдержанной жизненной позицией. Его стихи вполне предсказуемы. Он испытывает грамотные и серьезные чувства, в эмиграции пишет о «распутной Европе», а вернувшись на родину, «отдал все свое внимание бедствиям нынешнего времени», за что получил вескую похвалу от Солженицына. Он может сердиться на «неродной европейский грабеж», а также по поводу того, что «сдали Косово холуи». Но есть Кублановский иной. Стихи, им написанные, должно быть, порою вызывают недоумение у самого автора. Иной раз голос срывается на крик, иной раз на сдавленный смешок, иной раз на гнев, в интеллигентном обществе даже и неприличный, и, несомненно, политически некорректный в любой обстановке. Иной раз на такое рыдание, что впору распевать эти стихи в виде романса. Бездумная поэтическая отвага — главное свойство таких стихов. Последняя его книга «Дольше календаря» замечательная, зрелая и сильная. Кенжеев предлагает порадоваться гибкому, чуть остраненному языку, вольной интонации, смущению перед Господом Богом, радости бытия. Любви к родине. Дух новой книги — спокойное достоинство. Уровень гнева (и брезгливости) не меньше, чем в старых антисоветских стихах. Но этот гнев лукав. Чувствуешь, что за всех нас заступились. В книге главенствует нечто, что Кенжеев назвал грустной мудростью. «Пугающее своей откровенностью смирение. Человек живет, набирается лет, но не стареет. Он начинает что-то понимать».

Поэзии Кирилла Медведева посвящает свою статью **«Абсолютно всерьез»** **Леонид Костюков** («Дружба народов», № 3). Она привлекла его, во-первых, тем, что это — поэзия, а во-вторых, что построена на глубоко индивидуальной интонации. Наибольший интерес вызывает абсолютно новаторский прием критика, когда для доказательства изначальной поэтичности стихов Медведева он сравнивает один из его верлибров с «нормальным» стихотворением совсем другого поэта и обнаруживает совпадение не только темы и настроения, но даже — что поразительно — почти всех деталей. Из этого следует вывод о значительности исследуемых стихов .

Валерий Шубинский анализирует посмертный сборник Виктора Кривулина «Стихи после стихов» (**«Мир больше не будет большим»**: «Знамя», № 1). Книга сознательно компоновалась как итоговая, прощальная. Либерал спорит в Кривулине с художником, с эстетом, а возможно, и с сыном офицера. Кривулин всегда в первую очередь мыслил общественными категориями. Боролся с бесчеловечием Державы. Одно из главных его переживаний — измельчание постимперского мира. Даже войны не порождают великой словесности.

Сергей Арутюнов в статье **«Отрицательный инфинитив»** («Знамя», № 2) характеризует стихи Леонида Шевченко (судя по всему, именно того Шевченко, который в предыдущем номере журнала писал о Подольском). Поэт эклектический расплачивается за приверженность стилю тем, что годами занимается не созиданием собственного образного языка, но тратится как рассказыватель современных мифов. Тем не менее, даже самую верную теорию следует

послать к черту, если поэта интересно читать. Первая книга стихотворений Шевченко под немудреным названием «Рок», опаздывая стилистически лет на 10, идеологически точно попадает в оригинальную струю последнего времени: молодежные мемуары. Приходящие в литературу авторы начинают с одного и того же: слом социальных устоев не дал человеку ничего, кроме дешевых соблазнов, «Свободная Россия» стала, как пишет Шевченко, «временем поражения, временем газет, временем грязных убийц». Не проходит время грязи, которое можно только проклясть. Что автор и делает. Окончательные точки — «годы, которые я никому не прощу». Письменный человек вначале травится реальностью до полусмерти, а потом начинает ее эстетизацию.

Два автора — **Мария Белова** (**«Родословная звука»**) и **Ольга Лебедушкина** (**«Оттуда голоса звучат»**) — в одной и той же журнальной книжке («Дружба народов», № 2) рецензируют книгу Владимира Мощенко «Вишневый переулок». Первый автор обращает внимание на проблему восприятия поэтом времени — прошлое, настоящее и смутно присутствующее будущее практически неразделимы, сливаясь в единое «субъективное» лирическое время. Второй же исследует идейное содержание, выводя его к двум основным составляющим — вере и музыке. Столь неожиданный контрапункт придает поэзии Мощенко черту уникальности: «жития мучеников и биографии джазменов — именитых и безвестных — в книге перекликаются и смыкаются, образуя кристаллическую решетку». Кроме того, Лебедушкина отмечает склонность поэта к работе с «поэтическим контекстом»: «Намеренно никого и ничего не цитируя, поэт, тем не менее, рассчитывает на акустику контекста, на то неизбежное «эхо», которым поэзия откликнется на действительность».

Евгений Ермолин отозвался о сборнике стихотворений Александра Белякова (**«Равняется нулю / Не равняется нулю»**: «Знамя», № 1). «Зачем нужна поэзия такой эпохе и такой стране? Неясно <...> Мир занят собой. И поэт ему не нужен. Непричастность — выражение непреодолимой отчужденности».

«Видения, что бродят на скрещеньях троп, протоптанных башмаками разных эпох» — так длинно и затейливо назвал **Илья Кукулин** свою рецензию на книгу Григория Кружкова «Ностальгия обелисков» («Новый мир», № 1). Автор указывает, что жанр этой книги однажды уже был опробован Самарием Великовским в работе «В скрещенье лучей». Но если у Великовского героем был один Элюар, у Кружкова таких центральных фигур две — Пушкин и Йейтс. Впрочем, скрещенье троп, протоптанных Шекспиром и Кэрроллом, Теофилем Готье и Джоном Китсом, Эдвардом Лиром и Спайком Миллиганом, Николаем Гумилевым и Осипом Мандельштамом, перекличка этих и иных поэтических голосов через эпохи и языковые барьеры, приобретают совершенно особые краски, преломляясь в мире Григория Кружкова, поразительного поэта, переводчика и эссеиста.

Анна Кузнецова в статье **«Рыба-ангел»** («Знамя», № 2) пишет о книге Светланы Кековой «Восточный калейдоскоп: Стихотворения 1980—1990-х годов» (2001). Стихи Кековой чаще всего безынтонационны. Живут одними смыслами, без голосового произнесения; одними жестами, без мимики. Тишайшие слова всплывают, как из-под воды, по одному, по два — сколько поместится в пузырек воздуха, добытого поэтом на предельной глубине сознания. Мир ее

поэзии очерчен в пространственных границах с беспощадностью циркуля. «Он уперт в свои пределы так плотно, что поэт, нечаянно выживший в безвоздушной провинциальной среде, мутирует в фантастическое существо, наделенное сверхъестественной силой». Далее Кузнецова подробно сравнивает Кекову с Анаксимандром из Милета. «Может, и впрямь что-то общее есть у Милета с Саратовом на большом цирковом колесе, которое видится образом времени Светлане Кековой?» Из всех живых существ поэт избирает сочувствием тех, чей крик боли не слышен. Это — насекомые и рыбы.

Поэзии К.Кобрина посвящает свою рецензию «**В Россию прорубай окно**» **Валерий Липневич** («Дружба народов», № 3). Судьба поэта, оказавшегося заложником раздела страны, русского поэта в новообразовавшейся стране под названием Литва, не могла не отразиться в его творчестве. Мысль банальна, но, увы, справедлива — умеренное фрондерство по личному выбору в советскую эпоху ныне превратилось в вынужденное: при всей любви к Литве, смысл его нынешней поэзии — «В Россию прорубай окно». Основной пафос (если верить приведенным цитатам) — гражданственный...

О КРИТИКЕ И КРИТИКАХ — И ФИЛОЛОГИЯ, КАК ОНА ЕСТЬ

Статья той же **Анны Кузнецовой «Роман с цейтнотом»** («Знамя», № 3) представляет собой обзор взаимоотношений литературы и критики. У нее складывается впечатление, что литература и критика — параллельные миры. И Кузнецова защищает прозу от критики, разоблачает обозревателей, порхающих по верхам и не желающим, ленящимся вникнуть в суть той прозы, о которой они сочиняют отзыв. Среди таких критиков-лентяев — А.Василевский, А.Немзер, М.Золотоносов, Д.Бавильский. Чтобы устыдить их, она подробно разбирает романы, вызвавшие брюзгливо-пренебрежительные оценки («Американский аджабсандал» Агаси Айвазяна, «Большое путешествие Малышки» Елены Поповой, «Кнут» Леонида Зорина, «Любовь к отеческим гробам» Александра Мелихова) и показывает, какие глубины смысла там таятся. Когда критик не имеет времени прочитать сложно устроенный текст, он испытывает сложное же раздражение, которое, в свою очередь, не имеет времени истолковать себе. Тогда ворчливый пересказ того поверхностного содержания, которое выхватывается при быстрочтении и без глубинных слоев выглядит глуповато, становится оценкой содержания анализируемого текста. Само слово «роман», даже если он «маленький», пугает критика-скорострела требованием серьезности отношения к делу, вызывая вот этот странный, общий для многих обозревателей позыв — пересчитать страницы.

На эту статью отозвался **Андрей Немзер** (19 марта). Он делает галантно-снисходительный комплимент Кузнецовой: наряду с профессиональными навыками та «демонстрирует большую любовь к новейшей словесности (что ныне редкость)». Прекрасно, что Кузнецова любит журналы, романы и медленное чтение. «Меня за это лет десять корят, и ничего, живу». Но по сути Немзер не согласен; обвиняемые ею «и литературу любят не меньше Кузнецовой, и читают не менее внимательно, чем наша строгая наставница». Проанализировала Кузнецова три вышеназванных романа — с чувством, с толком, с расстановкой. Только не стали после этого романы интереснее. Не надо путать

«свой взгляд» с истиной, а форму подачи материала (да, газета не журнал) — с авторской позицией.

В небольшой реплике **«К вопросу о классовом антагонизме»** (рубрика «По ходу текста» — «Новый мир, № 2) **Мария Ремизова** изумленно наблюдает, как критик Александр Агеев мордует прозаика Романа Сенчина. Не дождавшись от истязателя сколько-нибудь внятного разбора произведения-жертвы, Ремизова решает вмешаться. Рассвирепев, критикесса берется сама пересказать читателю роман «Минус» и находит там такую обезоруживающую откровенность, такую боль, «что нужно иметь уж очень специфический слух, чтобы этого не заметить». Попутно Ремизова обнаруживает несколько вполне простительных недостатков у самого собрата по перу — как то: безграмотность, бездоказательность, бесцеремонность и тому подобное. В заключение Агеев напрямую ассоциируется с чеховским Яшей, тем самым получая косвенное обвинение в литературном лакействе.

Диаметральной противоположности между художественной критикой и филологией как наукой посвящена гневная статья **Алексея Цветкова «Империя лжи»** («Октябрь», № 2). По версии автора, в начале прошлого века эти области литературоведения мирно сосуществовали, но сегодня разошлись окончательно. Обзаведясь профессиональным жаргоном, филологи утолили свою давнюю тоску по научности. «Литературовед может отныне полагать себя ровней математику по непроницаемости текста — более того, он гордо полагает математика ровней себе, то есть считает таким же жуликом». Цветков заявляет: «художественность, то есть индивидуальность, исключена из поля зрения сегодняшних филологов», а изучаемый объект, утрачивая жанровые признаки романа ли, поэмы, превращается просто в «текст». Однако при всей хлесткости, страстности и справедливости эта статья все же совершенно неудобочитаема: она так вычурна и цветиста, что кажется бесконечной.

Опубликованная журналом «Октябрь» (№3) подборка докладов, прозвучавших на Международном юбилейном симпозиуме «Достоевский в современном мире 1821 — 2001», — очередное доказательство неувядающего *бессмертия классики*. В известном смысле предпринятая журналом акция — показательнее и интереснее самого форума в Доме ученых, т.к. доклады выбраны яркие и их, по счастью, немного.

Открывается подборка вступительным словом **Игоря Волгина «Ничей современник»**. Высказанные президентом Фонда Достоевского истины настолько бесспорны, что безболезненно перенесут еще одно повторение. «Достоевский для России больше чем Достоевский ... Он в равной мере может быть близок как верующему, так и атеисту... Он существует не только как историческое явление, но и как неотменимый семантический факт. Его невозможно «вычесть» из нашего совокупного опыта, как невозможно вычесть из него Пушкина, революцию, Сталина, Отечественную войну». В этом безукоризненном ряду дифирамбов довольно забавно читать следующие вирши:

Дожди размочили дороги,
друзья упустили момент:
повесился Коля Ставрогин —
чистейшей воды декадент.

И даже не столько сами вирши — Бог с ними, с поэтами, с них спрос особый, — сколько комментарий к ним самого литературоведа: «То, на что добропорядочный ученый извел бы не одну десть писчей бумаги (дабы доказать связь ставрогинского имморализма с умонастроениями Серебряного века), поэт заверяет одной строкой». Вообще, что касается процитированных автором поэтических отрывков, здесь доклад много живее и занимательнее, нежели в сугубо теоретической части.

Предмет исследования **Игоря Золотусского «"Записки сумасшедшего" и "Записки из подполья"»**. Пафос доклада в том, что без безумцев Гоголя не было бы безумцев Достоевского, но герои последнего много опаснее, ибо принадлежат уже другому веку — времени, когда гоголевская «гордость ума» смыкается с уголовщиной. «Эпоха Достоевского — эпоха кризиса *поэтического* романтизма и перехода его в *материалистический* (или революционный) романтизм».

О том, что само изучение этого писателя есть «исторический сюжет высокого драматизма», а так же о терминах, в которых после Бахтина было принято рассуждать о Достоевском в студенческих кругах, напомнила статья **Петра Николаева «Амбивалентность художественного сознания Ф. М. Достоевского»**. По сути, статья представляет собой перечень больших и малых пророчеств, сделанных классиком иной раз напрямую, иной же раз — в силу амбивалентности или полифоничности. Приведем лишь одну весьма характерную цитату: «Допустим, что у Достоевского тут есть некоторые преувеличения, но несомненно, что его знаменитое словосочетание («всемирная отзывчивость» русского человека. — *Ред.*) выражало высшую философию мироустройства».

Раз уж речь зашла о высшей философии и истинах в последней инстанции, остается только развести руками и перейти к следующей статье — **«Достоевский и Эйн Рид» Алексея Цветкова**. Здесь, напротив, подкупают высказывания следующего порядка: «Меня всегда поражали попытки свести величие Достоевского к астрологическим трюкам». Цветков имеет в виду эти самые «пророчества», «которые теперь сбылись и поэтому больше не считаются». Защищая Достоевского, с одной стороны, от Нострадамусова ореола, а с другой — от набоковских обвинений в картонности и шаблонности, Цветков ставит классика в иной ряд, определяя его романам место где-то неподалеку от диалогов Платона: «...многие из произведений зрелого Достоевского — это философские трактаты в художественном исполнении, а еще точнее — этико-психологические трактаты». И для этих «этико-психологических трактатов» автор выводит любопытнейшую философскую родословную.

Итак, русская культура прошла школу французского Просвещения, тем самым избежав влияния Просвещения английского в лице Шефтсбери и его последователей. Далее, проявляя с первых десятилетий своей эмансипации большой интерес к нравственной проблематике, но не зная Шефтсбери, русская культура «в своем багаже могла отыскать лишь категорический императив Канта, ни к какой практике непригодный». В результате наша философия до самого начала XX века застряла в философском тупике, а задачу решения вековых проблем взяла на себя художественная литература: «писатели стали хранителями и культиваторами русской этики, которую предпочитали именовать совестью». Вот так примерно и возник феномен Достоевского, которого от Пла-

тона, тоже стоящего на перекрестке беллетристики и философии, «отличает отсутствие фигуры авторского рупора»... Неудивительно поэтому, что ошибаются и те, кто ищет у Достоевского художественности в узком смысле слова и те, кто ищет у него пророчеств — в таком же узком смысле.

Оставим на этом месте сюжет об Шефтсбери, Мэндевиле и Эйн Рэнд как антиподе Достоевского и сосредоточимся на следующей мысли Цветкова: «Все попытки приписать Достоевскому <...> функцию религиозного мыслителя разбиваются о тот простой факт, что для одержания победы над Иваном (Карамазовым. — *Ред.*) Достоевскому пришлось его убить, потому что безумие — более радикальный способ расправы с героем, чем расстрел. Самые убедительные персонажи Достоевского неизменно приходят к атеизму»...

Мы простились со статьей Цветкова именно на этом месте только потому, что простой и железной логики процитированного периода не понял уже следующий автор, **Игорь Виноградов**, чей доклад прямо так и называется **«Религиозно-духовный опыт Достоевского и современность»**. Вопреки неоспоримому доводу Цветкова, Виноградов как раз и настаивает на исключительной роли Достоевского в деле высвобождения личности «из мертвенного мира атеистического революционерства и обретения иного измерения мировидения <...> — измерения веры». И доказательства, приводимые в данном случае, лежат не в области терминов и отвлеченных построений, а — даже и сказать неловко — в области самой жизни, в духовном опыте «двух поколений русских мальчиков». Речь идет о поколении Николая Бердяева и поколении самого Игоря Виноградова, «разбуженном похоронным стриптизом советского режима над гробом Сталина». Другими словами, автор имеет дело не с бесчувственной мумией классика, давно приватизированной толпами литературоведов всех мастей и калибров, а с живым писателем, который творил книги для живого читателя и который «был послан в этот мир именно для того, чтобы ответить на жгучий духовный запрос людей, очутившихся в ситуации <...> духовного вакуума».

Последняя статья подборки — **«Достоевский и психология русского литературного Интернета»** — принадлежит перу **Дмитрия Быкова**. Но ошибкой было бы думать, что именно она больше всего отвечает теме симпозиума «Достоевский в современном мире», хотя именно Достоевский назван здесь отцом русского литературного Интернета (Рулинета) и имя его аккуратно вписано в каждый абзац. В действительности же подлинный герой статьи сам Дмитрий Быков, а его произведение — очередной плод забав этого не в меру игривого интеллекта. А классику — что! Он не мешает кому угодно говорить о чем угодно. Как сказано в другом месте рассмотренной подборки, Достоевского от этого не убудет...

Обзор подготовили Ирина Дугина, Евгений Ермолин и Мария Ремизова

Беседы в редакции

Продолжая в отделе «Искусство» нашу традиционную уже теперь рубрику «Беседы в редакции», мы предлагаем сегодня вниманию читателей два интервью о современном театре — известного театрального критика, заведующего кафедрой Истории театра России Российской академии театрального искусства, автора и ведущий телепрограммы «Читая Библию» на телеканале «Культура» профессора Бориса Любимова и одного из ведущих мастеров современного театрального искусства, создателя и художественного руководителя знаменитого театра «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева. О сегодняшней ситуации на театральной сцене, об утратах и обретениях последнего десятилетия, о перспективах развития театрального искусства в XXI веке с Борисом Любимовым беседовала Ирина Дугина, с Анатолием Васильевым — Игорь Виноградов.

Борис ЛЮБИМОВ

«БУДУЩЕЕ — В ТЕАТРЕ ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА»

— Время, в которое мы живем, словно специально создано для подведения итогов: смена тысячелетия, века и — что, наверное, гораздо существеннее,— примерно десятилетие «реформ». Во всяком случае есть ощущение, что все эти реформы вместе с эпохой, породившей их, уже позади. Что в этой связи можно сказать о театре? Как он преодолел постперестроечное десятилетие? С какими утратами и приобретениями входит в новый век?

— К сожалению, я должен сказать, что сегодня в моей жизни театр занимает гораздо меньшее место, чем десять лет назад. В отличие от прошлых лет я практически почти не знаю не только театральную Россию. Я почти не знаю театр Петербурга. Список просмотренных мною спектаклей сократился во много раз — так же, как и список написанных статей. Если раньше я посещал все премьеры, видел все значительные вводы, максимум дипломных работ, то сегодня хожу только на те спектакли, которые мне почему-либо интересны, и на те, о которых пишут мои студенты. Отчасти это объясняется моей занятостью; отчасти тем, что сегодня резонанс от театрально-критических статей более локален, чем двадцать лет назад; отчасти же тем, что театров стало гораздо больше, а значительных спектаклей гораздо меньше.

Более того, я зачастую не в курсе того, что пишут мои коллеги. И не я один; время наложило отпечаток и на взаимоотношения критика с критиком. Раньше все смотрели одно и то же, читали одни и те же издания, пусть заочно — но прекрасно знали друг друга. Сегодня же в мире театральной журналистики печатная полемика стала бесполезна, как выстрел в вату. Иногда студенты спрашивают: почему вы не отвечаете на такую-то статью? По разным, конечно,

причинам. Но вот, допустим, захотелось бы. А где? На страницах той газеты, где было высказано мнение, с которым я собираюсь спорить? Ну, во-первых, я не уверен, что мне это позволят... В другой газете? Раньше это имело смысл. А сейчас что же я буду, скажем, в «Московской правде» спорить с «Комсомольской правдой»?! Читатель-то об этом не узна́ет: мой читатель узна́ет о той статье, которую он в глаза не видел, а тот, кто прочел моего оппонента, никогда не увидит моего ответа.

— *А как же театральные журналы?*

— Да, во все времена мы знали: гамбургский счет — в журналах. В газете ты можешь быть задорен, резок, оперативен, но можешь себе позволить и некоторую поверхностность — высказать свое мнение и только. В журнале же всегда велся серьезный обоснованный профессиональный разговор.

— *И что же? Ведь выходят и «Театр», и «Современная драматургия»...*

— И не только они. Но, к сожалению, прежней роли театральные журналы уже не играют. Живут они трудно, выходят спорадически и уже не в состоянии давать своевременную, объективную и достаточно полную информацию о театральном процессе. Видите ли, в журнале есть смысл, только когда он приходит регулярно. В противном случае это, как нерегулярно принимаемое лекарство, — оно не лечит. И, не находя себе применения в театральных изданиях, театроведы сегодня все чаще пишут для литературных журналов. В этом смысле мне кажется симптоматичным, что «Новый мир» открывает у себя страничку театрального дневника (или кинодневника), что библиографические обзоры по сценическому искусству собирается публиковать «Континент».

— *Но литературные журналы никогда не смогут уделять театру столько же внимания, сколько специальные издания. Между тем людей, пишущих на эту тему, прибавилось. Театральных критиков готовят теперь не только в прежних ГИТИС'е и ЛГИТМИК'е...*

— К сожалению, если говорить о том, что публикуется в периодической печати, театральная критика последнего десятилетия функционирует только как театральная журналистика и в мире «акул пера» среди всего прочего — от криминальных новостей до секса и пиара — занимает, что совершенно естественно, эдак тридцать шестое — тридцать седьмое место. Поэтому, как мне кажется, люди, печатающие сегодня театральные рецензии, испытывают страшный комплекс неполноценности. Они постоянно должны доказывать, что их предмет — это тоже важно, что театр — это существенно. А то не дай Бог какой-нибудь редактор скажет: «дорогой мой, да нужен ли в моем издании вообще отдел искусства, если то, про что ты пишешь, так неинтересно?». И, примеряясь к тому, как пишут соседи, театральные рецензенты из кожи вон лезут, чтобы что-то более или менее приличное раздуть до масштаба гениальности, а более или менее бездарное унизить до позора. При таком положении дел естественно совершенно исчезает интонация раздумья, интонация сдержанная, интеллигентная. Ведь значение предмету своих занятий приходится придавать за счет так сказать искусственно создаваемой истерии суждения —

либо восторженно расстилающейся перед предметом, либо уничтожающей — причем чуть ли не с той же степенью злобы, с какой это делалось в 30-е годы.

Но это только одна сторона медали, ибо люди, перестающие быть театральными критиками и так и не становящиеся журналистами, оказываются в двойственном положении. Это своим редакторам они доказывают принципиальную нужность *сценического искусства*. Внутри же театра им приходится доказывать *свою собственную* принципиальную нужность. Увы, за те сорок лет, что я имею отношение к театру, мне не приходилось видеть, чтобы в театре относились к критике с таким неуважением и пренебрежением, как сегодня.

— Что же произошло? Ведь в театре всегда уважали пишущих людей Даже в другом городе артисты, приходившие на встречу с московским критиком, прекрасно знали его — по статьям.

— Совершенно верно, люди могли не любить критиков, а все-таки уважали и считались с их мнением. Потому что настоящая критика — это анализ, осмысление, суждение... Конечно, всегда — что во времена Белинского и Аполлона Григорьева, что в сравнительно недавние времена — на критику обижались. Но раньше актер читал в рецензии о том внутреннем, глубинном, что он делает на сцене. Сегодня же, рассказывая о спектакле, критик, как я уже говорил, решает собственные проблемы и, если не бранится или славословит, то зачастую просто перечисляет фамилии исполнителей — и всё.

Тут есть еще одно существенное обстоятельство — профессионализм... Если сегодня критик путает одного художника с другим (могу понять: это опечатка), пишет о режиссере как о худруке, в то время как этот режиссер худруком не был (понимаю: не знал журналист, не проверил, руки не дошли), если, наконец, спектакли, поставленные в самые застойные времена, называет перестроечными, я понимаю, что имею дело с полнейшим непрофессионализмом. Здесь нет ни знания, ни терпения проверить свое незнание, ни умения исторически мыслить — хотя бы в пределах пятилетия. А ведь это — обязанность театрального критика. Не газетчика (газетчик для того и создан, чтобы быстро откликнуться, подать спектакль как презентацию — и при этом, может быть, даже соврать), а именно театрального критика. В былые времена театральный критик себе такого не позволял. Теперь, увы, позволяет. А в результате к критике никто не относится всерьез.

— Но если рецензент и в театре, и в редакции должен доказывать, что он занят важным делом, почему театральной критикой вообще кто-то еще занимается? Ведь человек, владеющий пером, легко может писать и в другой области. Кстати, тому масса примеров. Тот же Андрей Караулов — выпускник театроведческого факультета.

— Не забывайте и о престижной стороне дела. О неистребимом стремлении управлять процессом, быть пусть маленьким, но своего рода олигархом.

— Управлять процессом — в каком смысле?

— А попытка раздачи «всем сестрам по серьгам»?! А иллюзия того, что благодаря тебе кто-то останется в истории или вот-вот получит премию?! А фес-

тивали — эта «зона отдыха» театральной журналистики?! Тут реализуется извечный комплекс детей лейтенанта Шмидта. Комплекс, существовавший всегда. Так, критик 60-х годов, командированный от ВТО в провинцию, воображал себя сеющим разумное, доброе вечное и, за 15 рублей командировочных рассказывая изумленным артистам местного драматического театра, как он встретился на улице с Ефремовым или Дорониной, чувствовал себя примерно так же, как Хлестаков, вдохновенно вещающий, что он с Пушкиным на дружеской ноге.

Сегодня же к этому сладкому чувству добавились еще и другие обстоятельства. Гастролей нет. Денег в сущности тоже. И чтобы хоть как-то оправдаться в глазах спонсора, периферийный театр должен предать себе некоторый статус. Значимость любого театра на уровне города спонсорам «не вкрутишь», они ее и сами знают. А вот если твой театр выезжает на какой-нибудь там кустовой, региональный фестиваль или — того чище — в Москву, пред, так сказать, столичные очи, тут уже можно и денег побольше взять и цену себе набить повыше. А каким образом? Естественно, за счет господ экспертов — то есть театральных критиков. И вот если ты съездил в качестве эксперта и вывез в Москву... (И если ты к тому же и член жюри) — вот тут ты все свои комплексы можешь отыграть. Ведь достаточно чтобы спектакли какого-нибудь театра попали на фестиваль и рассматривались наряду с работами Фоменко или Гинкаса — и театр уже на коне. И главный режиссер уже может своему начальству — губернатору, мэру, спонсору — сказать: во, братцы, ну не получил я первое место, но все равно мое творчество, которое вам не очень нравится, видели лучшие люди России...

Правда, сегодня не так уж редко поддерживается критикой (во всяком случае определенной ее частью — как раз той, что имеет непосредственное отношение к фестивалям и премиям) то, что рассчитано, в сущности, на зал в 50 — 100 человек, на спектакль, сыгранный в течение десяти раз. Это узкое клановое искусство, понятное пяти-шести единомышленникам, которые говорят и пишут на одной и той же смеси ернического с интеллектуальным. И, увы, то, что продвигают «продвинутые» критики, через два-три года становится абсолютно «задвинутым».

— Но ведь театроведы — это не только рецензенты, историки и аналитики. Одной из самых престижных всегда считалась роль заведующего литературной частью театра

— Когда-то, когда Немировича-Данченко спрашивали, кто вы прежде всего — театр актера или режиссера, он отвечал: «Прежде всего мы театр автора». И действительно, проблема текста, драматургии, выбора пьесы — это проблема культуры, самой идеи стационарного театра. Для нас слово «стационарный» прочно ассоциируется с советским государственным театром, а ведь дело это совсем не советское — капиталистическое. Идея МХТ возникла на самом пике российского капитализма. Вспомним, что с Художественным театром накрепко связано имя Морозова, что Станиславский был прекрасный финансист и МХТ отличали стабильность и финансовое процветание. В показательном для экономики России 1913 году жалование Качалова равнялось доходам губернатора, а гонорары Немировича-Данченко — доходам премьер-министра. К чему я это говорю? А именно к тому, что существование стационарного театра — и это прекрасно

видно из переписки Станиславского и Немировича-Данченко — экономически оправдано только тогда, когда есть выбор пьесы. То есть когда присутствует и забота о зрителе (куда его вести, что ему дать), и обязательно — об актере (занять, не обойти, дать роль «на вырост»). Подбор репертуара, распределение ролей — это всегда, как план генерального сражения: куда пойдет этот взвод, эта рота, этот полк, эта часть.

Но к сожалению, завлиты, подбирающие репертуар, театру больше не нужны. Сегодня в зале сидит поколение людей, для абсолютного большинства которых литература — это в лучшем случае Акунин. Такие зрители от театра ждут той же степени откровенности, какую привыкли получать в телесериалах, играх «За стеклом» и бесконечных ток-шоу. Сегодня человек за билет платит очень большие деньги. Так что театру нужен не завлит, а пиаровец, умеющий зазвать в зал скандально известного депутата, «засвеченного» нового русского, попзвезду. И зритель справедливо готов платить увесистую сумму, потому что, с одной стороны, он получает информацию, идущую со сцены, а с другой — может рассказать у себя в конторе, что на такой-то премьере встретил Жириновского или как была одета Пугачева и была она с Киркоровым или без.

— Но зритель зрителю рознь. Так же как читатель: несмотря на все преимущества интернета, кто-то же продолжает покупать художественные издания.

— Мне кажется, что зритель, который сидит сегодня в зале, в чем-то такой же, каким был, вероятно, в начале 20-х годов, а в какой-то степени такой же, каким он был в конце 50-х — начале 60-х, когда в жизнь театра стало включаться новое поколение интеллигенции. Вот только упомянутые Вами «художественные издания» — редкий сегодня товар. Скорее в культуре мы имеем дело с медленным вырождением, иссушением и обмельчанием, — тем, что определяется расхожей кличкой «постмодернизм». Для театра, как правило, это игра с прошлым, игра с культурой — иногда беззлобная, иногда очень агрессивная, имеющая целью «опустить», принизить собственную да и мировую культуру...

— Вы могли бы назвать два-три таких спектакля?

— Я могу вернуться домой, взять программки и перечислить их.

— То есть так не помните?

— Нет, конечно. А позвольте спросить: Вы читаете массовую литературу? И если да, — запоминаете названия или авторов?..

Так вот уровень культуры определенной аудитории порождает режиссеров, прочитавших, как милиционер из анекдота, вторую в жизни книгу и поняв-ших, как с помощью этой второй книги посмеяться над первой. Вот так возникает целый вал спектаклей, весь смысл которых «в новом прочтении». С чего начинает сегодняшний режиссер? Как бы придумать то, чего никто еще не придумал? И начинает придумывать — допустим, что Раневская из «Вишневого сада» живет с почтовым чиновником, а Яша голубой. Или возникают спектакли-шарады — как правило, трехкопеечное упражнение на тему, которую режиссер даже не придумал, а вычитал из той же единственной книги.

Увы, как педагог, регулярно принимающий экзамен по эстетике на режиссерских факультетах разных вузов, могу засвидетельствовать: мы, мы сами, готовим сегодня «террористов от искусства». Разумеется, таковы далеко не все выпускники наших театральных вузов, но сегодня можно доучиться до последнего курса, не имея представления о том, кто такие Достоевский или Станиславский, а из всей сокровищницы мирового шекспировского театра зная только Гамлета в исполнении Высоцкого. И мне страшно подумать, что за «игры с культурой» начнутся, когда поколение режиссеров, не умеющих назвать ни одного романа Достоевского, встретится с актерами-постмодернистами...

И еще одна черта, очень характерная для нового поколения режиссеров. Молодые режиссеры становятся создателями, так сказать, одного спектакля одной схемы, одной отмычки, которой пытаются открыть все. Смотришь первый спектакль такого режиссера, думаешь: да, еще несовершенно, да, грубовато, да нахально... Но талантливо, свежо! И все прощаешь разбойнику ради его таланта. Вот получил Шамиров премию «Дебют» за спектакль «Дон Жуан» в Театре Российской Армии. Там было все: и открытие названия, и игра с большой сценой и зрительным залом, и работа с актерами, и неожиданное решение. А дальше? Да ничего. Ничего другого за шесть лет. Каждый спектакль все хуже и хуже. А человеку уже под сорок!

И вот кто-то из молодых увлекается «постимодернизмом», кто-то создает своего рода театральные ребусы, над разгадкой которых зритель должен ломать голову, кто-то приравнивает актера к лучу света, элементу декорации или предмету бутафории. А толку, как вы понимаете, немного.

— Вы могли бы привести примеры?

— Понимаю, какое негодование я вызову у достаточно большого количества моих коллег (хотя если собрать всех коллег вместе, они вряд ли набьют один партер), но я назову одного режиссера — зато безусловно одареннейшего — Някрошюса. Назову как самое важное и самое значительное, но абсолютно чуждое мне явление. Его спектакль может быть прекрасно сыгран в Вильнюсе 10 — 15 раз, и избранная публика придет обязательно. Но попробуйте сыграть «Макбет» Някрошюса в Москве в течение сезона, и я думаю, что на второй сезон зал будет пустым. Я специально называю именно это имя, чтобы не размениваться на перечисление маленьких подражателей, не обладающих его талантом. Когда я разгадываю ребусы Някрошюса, мне это может быть интересно в течение тридцати-сорока минут. Когда я разгадываю ребус режиссеров поменьше, у меня это отнимает пять-десять минут после начала спектакля, а когда же дело доходит до режиссеров еще ниже классом — я просто откладываю в сторону их кроссворды.

— Но в это трудное десятилетие театр все же уцелел — и сохранило его общество, то есть тот же зритель. Зритель ведь идет в театр. Стало быть, театр ему интересен.

— Да, театр уцелел, а по сравнению с 1992 годом даже и приумножился. Да, тяга к театру у публики есть. Полные залы я видел не только в столицах, но и на периферии. Только это далеко еще не свидетельствует о благополучии ситуации. Не забудем: человек нуждается в том, чтобы просто вырваться из

дома, оторваться от «ящика», пойти куда-то, где тебя ждут прилично одетые люди и сносный буфет. Пока таким местом остается театр. Однако не исключено, что в скором времени, когда мировым стандартам будут соответствовать не один-два, а большинство кинозалов, эту потребность всецело сможет удовлетворять кинематограф.

Общество же безумно расслоилось. Как, впрочем, и театр. Возникло огромное количество новых трупп. Если взять только Москву, появилось множество театров в «спальных» районах. И своего рода московский провинциал — человек, живущий на окраине и не имеющий возможности (я даже не говорю о финансовой) посещать центральные театры, но в театре нуждающийся — фактически оказывается в положении, когда театр с соседней улицы становится монополистом. С другой стороны, и театр, имеющий публику только определенного района (потому что не поедет житель центра, а тем более житель другого «спального» района на край света смотреть никому неизвестных актеров в спектаклях никому неизвестных режиссеров). Это один тип театра — территориальный. Существуют, так сказать, театры «по направлениям» — скажем, театр «Глас», куда ходят верующие. Есть театры академические (в сущности, в сознании молодой критики практически все государственные театры, созданные до 1991 года, стали академическими — и Ленком, и Таганка, и «Современник»)...

И у каждой группы театров — свой зритель. И я хочу обязательно подчеркнуть, что при всех критических замечаниях, которые я сделал и еще сделаю в нашей беседе, потрясают не те неудачи, просчеты, которые были в течение этих десяти лет и наверняка еще будут. Потрясает то, что *театр существует*, держится, то что в последние годы и в Москве, и в провинции он *пользуется популярностью и почитанием новой складывающейся служащей интеллигенции*. Это очень важно. И мне кажется, что театр, который во все времена является в известной степени одним из катализаторов общественного мнения, мог бы преподать урок всем нашим социологам, которые удивляются, почему побеждает та или другая партия. Попробуйте зайти в зрительный зал и посмотреть, что происходит между залом и рампой; очень многое станет понятно: зритель голосует, грубо говоря, совсем не за то, за что голосует театральный социолог, театральный критик.

— И за что же голосует зритель? За «раскрученные» имена, за антрепризу?

— Антреприза — это, на мой взгляд, забота социологов и налоговой инспекции. И все же вы правы, зерно ее взращено на зрительском интересе к актеру. Ведь до сих пор люди, как правило, идут в театр, чтобы увидеть определенного актера — Ульянова, Табакова, Джигарханяна, Караченцова или Калягина. В этой связи мне вспоминается одно из писем Чехова. Когда В.Ф.Комиссаржевская уходила с казенной сцены в частный театр, Чехов написал слова, которые, как мне кажется, актуальны сегодня, как никогда: хороший актер, как хороший моряк, одинаково хорошо служит как на казенном флоте, так и на частном.

Вот сейчас только что я пришел с похорон Виталия Соломина. В 70 — 80-е годы он не был лауреатом Государственной премии, не был отмечен премиями ни одного считающегося сейчас престижным театрального фестиваля. Тем не менее двери Малого театра открыты с десяти часов утра, но и сейчас — в половине первого — поток людей туда идет, как когда-то к Мавзолею. Причем

это только Москва, утро буднего дня... А представьте себе, если бы могла приехать периферия! И мне кажется, что звание Народный артист России, с которым Виталий Мефодиевич ушел из жизни, приобретает подлинный, лингвистический смысл. Оказалось, что это действительно Народный Артист, то есть артист, которого любит народ, любит зритель. И тогда, когда память потеряет многих из тех, кто получал в эти годы призы за спектакли, которые посмотрели 50–60 человек элитарных (или считающих себя элитарными) критиков, память о Виталии Соломине все еще будет сохраняться.

Сегодня общественное мнение проголосовало за то, что Виталий Соломин народный артист. Кстати говоря, он одногодок еще двоих безвременно ушедших — своего однокурсника Олега Даля и Андрея Миронова, который параллельно с ними учился в Щукинском училище. Они все того страшного 1941 года рождения. И надо заметить, что именно те актеры, кому сейчас от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти, — во всяком случае в Москве — поддерживают внимание зрителей. Дай Бог всем им здоровья, но уйдут они — и неизвестно что станет с театром в следующем десятилетии. Может быть, он будет великим. Но — повторю еще раз — сегодня Театр с большой буквы держится не на режиссерских ухищрениях (это он держится с точки зрения тех, кто раздает призы на фестивалях, и пишет статьи). А у зрителей — из вечера в вечер заполняющих тысячные залы — именно эти актеры: Александр Лазарев и Андрей Мягков, Виктор Павлов и Александр Калягин, Янковский и Караченцов, Тараторкин и Киндинов, Филиппов и Косталевский, Михайлов, Баринов, Бочкарев... Чуть более старшие актеры — Юрий Соломин, Табаков, Кваша и Гафт... Вот на них держится интерес и внимание зрителей. Это они собирают зал. Все спорно, конечно. Но вот это, по-моему, неоспоримо.

— Неоспоримо. Но ведь это только часть правды. Зритель любит и знает и актеров младшего поколения.

— В основном, актеров, воспитанных еще, что называется, при советской власти. Ведь даже Дмитрий Певцов (о котором с удовольствием скажу, что это одаренный и гораздо более глубокий артист, чем это можно было себе представить по сериалам) — выпускник 1985 года. Это тоже еще наследие проклятого тоталитарного прошлого. А где же великое капиталистическое настоящее? Говорю это совсем не для того, чтобы восславить тоталитаризм и обвинить во всех бедах капитализм. Но такова пока реальность. Сегодняшние «звезды» выпестованы еще советской школой. Тот же Олег Меньшиков, та же Ольга Дроздова. Да и первое поколение актеров Фоменко — люди, выпускавшиеся году в 92-93-м. Но я сильно сомневаюсь, останется ли зритель верен театру и впредь, пойдет ли на актера, которого видит в сериалах или в рекламе.

— А разве сейчас не подрастает смена? Не возникает новых «звезд» — в театре или хотя бы на телеэкране?

— На мой взгляд, растет замечательно интересное поколение современных актеров. Ребята без комплексов — абсолютно свободные и размятые. Но пока что совершенно полые, получившие лишь то, что дали в училище, плюс собственное дарование. «Заполнить» же актера могут режиссеры. А вот их-то за-

частую нет. Большинство актеров 90-х годов фактически предоставлены сами себе. В одних театрах потому что художественные руководители иногда по именам не знают собственных молодых артистов (и тут надо удивляться не тому, как мало уже могут старики, а тому, что на девятом десятке жизни они вообще что-то могут и даже ставят вполне приличные спектакли). В других — потому что художественных руководителей, за которыми пошел бы актер, просто нет. То есть поймите меня правильно. Речь не о том, что на сегодня режиссура отсутствует совсем и некуда податься любому молодому актеру в любом театре. Это далеко не так. Просто театров стало очень много. И в каждом сидит один — два — три режиссера, работают как минимум двадцать актеров, которые по большей части предоставлены самим себе. А я говорил уже, что стационарный театр имеет смысл когда, с одной стороны, ведет за собой зрителя, а с другой — актера. Увы, сегодня зачастую не происходит ни того, ни другого. Я говорил уже, что проблемой репертуара в театре никто не занят.

И поэтому зачастую молодым актерам остается либо реклама, либо сериалы. Счастье еще, если удается попасть в фильм какого-нибудь крупного режиссера. А сколько крупных действующих режиссеров мы можем сходу насчитать? Пять — десять человек. И фильмы они снимают раз в пять лет — не чаще. Те, кто входит во вторую десятку (пусть даже и одаренные кинорежиссеры), поставлены в такие условия производства, когда уже не до работы с актером. Так что основная проблема — отсутствие режиссуры.

— *А как же Захаров, Волчек, Фоменко?..*

— Да, это поколение работает. И работает хорошо. Честь и слава таким художественным руководителям, как Марк Захаров, Яновская, Морозов или Додин. На наших глазах как художественный руководитель сложился Константин Райкин, вырос Сергей Женовач...

В отличие от зрителей сегодняшняя критика за редким исключением не жалует режиссеров в возрасте от шестидесяти до семидесяти лет. Я же хочу их отметить особо. Все это вроде бы художники разного типа, но сближает их все-таки одно — *внимание к живому актеру* и *живой жизни на сцене*. Они могут ее по-разному понимать, но это всегда живая жизнь.

Самое значительное событие прошлого сезона — трилогия Фоменко «Одна счастливая деревня» — «Семейное счастье» — «Война и мир». На сегодня, как мне кажется, это некая вершина фоменковского театра. И здесь Фоменко ищет живую жизнь, и его небольшой зрительный зал благодарно откликается на искусство Тарамаева, Тюниной, сестер Кутеповых или Полины Агуреевой — вот это новые замечательные явления актерской Москвы второй половины 90-х. Можно, конечно, сказать: про русскую деревню когда-то умели ставить и Товстоногов — «Три мешка сорной пшеницы», и тот же Любимов — «Деревянные кони», и Додин... Да, но это ушло из театра 90-х годов, а Фоменко вернул. И старшее поколение благодарно откликается в том числе и на возрождение воспоминаний о лучших минутах своей театральной жизни в прошлом, а молодое поколение вообще не видело и не знает, что так можно играть живого человека.

Театральная критика совершенно развернулась боком, если не спиной к «Современнику», но справедливости ради отметим, что театр продержался с

полным зрительными залами все эти десять-пятнадцать лет. И думать, что туда приходят только «новые русские», это неправда. Этот театр живет не только прошлым, не только актерской славой Кваши, Гафта, Покровской или Нееловой. Но едва ли не каждый год подбирается молодежь. А в женском составе труппы достаточно назвать Ольгу Дроздову и Чулпан Хаматову — это одна из самых сильных трупп в Москве.

Марк Захаров ювелирно собрал труппу актеров разного поколения, разных школ. И каждый год штучно выбирает, добавляет одного актера за другим. Но это совсем другой театр, чем у Фоменко — Фоменко гораздо меньше прибегает к внешним эффектам, к шуму, к эксцентрике, монтажу аттракционов, хотя отнюдь всего этого не чурается, но для Захарова важно привлечь зал, удержать его внимание, даже если в какой-то момент это оглушает, ошарашивает зрителя, — довести его до логического конца, до овации в финале. Конечно, все это любят. Но для Захарова еще очевидно важен эффектный удар, эффектно ошеломить, оглоушить самим выбором репертуара, подчас названием, мистификацией — взять тот же «Город миллионеров» — не авторское название «Филумена Мартурано», которое не привлечет зрителей... Ведь если у вас пьеса называется «Город миллионеров», сразу хочется купить билет.

Считать, что у этих театров все позади, было бы крайне неверно. Гинкас работает совершенно в иной манере. Захаров скептически относится к такому типу театра, называя его театром в помещении лифта. Я человек более грубый, чем Захаров, поэтому называю это «совмещенным санузлом». Но и в совмещенном санузле можно дать свой тип психологического театра. И это тоже будет живая жизнь, стремление пробиться к психологии живого человека, внимания к психологии актера, без чего, как мне представляется, театр будущего века держаться просто не будет.

Но перечисленные режиссеры — зрелые люди. Как пик актерской формы — между тридцатью пятью и сорока пятью годами, а дальше уже пора переходить от Гамлета к Клавдию или Полонию, от Чацкого к Репетилову или Фамусову, так и в режиссуре: должна происходить некая смена. И когда я думаю о следующем поколении, то, в сущности говоря, не могу ответить, что дальше. Возьмите энциклопедический театральный словарь, вышедший в 2001 году: из режиссеров, которым нет еще сорока, там названы только двое — Шамиров и Невежина.

— Но разве в данном случае молодость — желательное качество? Казалось бы, режиссер — это профессия зрелых, умудренных опытом людей.

— А вы посмотрите, как обстояло с этим делом даже не сто лет назад, когда начинался Художественный театр, а в совсем недавнем прошлом. К сорока годам Ефремов был одним из первых режиссеров страны — студийный период «Современника» уже кончился. Сорокалетний Эфрос уже был главным режиссером; Захаров в сорок лет возглавил Ленком; Волчек под сорок — «Современник»; Морозову и Фокину не было сорока, когда один стал главным режиссером театра Пушкина, а другой Ермоловского. К сорока годам Стуруа поставил два своих лучших спектакля — «Кавказский меловой круг» и «Ричард III»; Васильев достиг своей вершины, поставил «Взрослую дочь молодого челове-

ка»; у Гинкаса в сорок — «Пять углов» и «Вагончик». У Додина — спектакли по Федору Абрамову, сорокалетний Женовач уже расставался с театром на Малой Бронной... Когда сравниваешь с тем, что умеют нынешние сорокалетние, становится грустно.

И, на мой взгляд, если мы в Москве входим в новый век с двумя режиссерами моложе сорока лет, это катастрофа. Пройдет пять — десять лет, оголятся вершины, и зритель, который сейчас прихлынул в театр, убежит мгновенно. То есть просто пулей вылетит, и театр будет таким же пустым, как, скажем, сорок лет назад, когда я брал во МХАТ билет за 40 копеек и сидел в четвертом ряду.

— Когда-то в начале 80-х вы написали печально знаменитую статью о театральном промежутке. Неужели она не потеряла актуальности и по сей день?!

— Да, я писал тогда о том, что, пользуясь выражением Мюссе, «все то, что было, уже прошло, а то, что будет, еще не наступило». Кто же мог предположить, что «промежуток» затянется на два десятилетия?!

— Не находите ли Вы, что по ряду примет сегодняшняя театральная ситуация перекликается с ситуацией начала XX столетия?

— Не совсем так. Сейчас фактически уместны аналогии не с 1902, а примерно с 1896 годом. В самом деле, на периферии властвуют театральные антрепренеры — нынешние директора театров, прекрасно знающие, как отмыть деньги, как купить критика, чтобы тот вывез спектакль на столичный фестиваль, как под это получить спонсорские деньги и так далее. Руководителями театров все чаще становятся или директор, или, и вовсе как во времена Щепкина, — первый артист. Посмотрите, кто руководит сегодня театрами: Ульянов, Соломин, Табаков. Театр под руководством Джигарханяна, театр под руководством Калягина... Боже упаси, не говорю, что это плохо. Но о чем это свидетельствует? Только о том, что молодая режиссура в массе своей не может составить конкуренции маститому актеру.

Что же до параллелей с началом XX века, кое в чем, конечно, они напрашиваются. Только вспомним, что было в нашем театре в 1902 году. В Малом работают еще Федотова, Ермолова, Южин и Ленский; в Александринском — Варламов, Савина, Давыдов; в Художественном идет «Царь Федор Иоаннович», уже поставлен почти весь Чехов, уже репетируется «На дне»... Из МХТ уже уходит молодой Мейерхольд, который вот-вот возьмется за свои режиссерские опыты ...

Ничего подобного, как мне представляется, сегодня не существует.

— А Женовач, а Фокин? Или масштабы дарования настолько различны?

— Дело не только в этом. К сожалению, в сегодняшней театральной культуре не обнаруживается ни классической традиции, сопоставимой с тем, что происходило в Малом и Александринском, ни левизны того искусства, применительно к которому принято употреблять термин «реализм» (увы, это слово звучит сегодня в обществе примерно так же, как «капитализм» на заседании КПРФ), ни авангарда Мейерхольда или Вахтангова и так далее. К тому же не забудем: выходец из МХТ Мейерхольд прошел и через Александринский театр.

Где он, сегодняшний режиссер, который, подобно Мейерхольду, владеет и языком восточного театра, и языком авангарда, но при этом сведущ в европейской классической традиции и способен создать «Дон Жуан» и «Маскарад»?!

— Можно назвать Анатолия Васильева.

— Конечно, есть такой замечательный режиссер, настоящий театральный «полиглот». Но это именно то блестящее исключение, которое только подтверждает правило. Место Васильева в истории театра уже незыблемо. Но напомню, что опять-таки «Дон Жуан» и «Маскарад» Мейерхольд ставил в возрасте между 36 и 40 годами. Сегодняшний возраст Васильева — а хотим мы этого или не хотим, значит и его энергия — скорее позволяют вспоминать Мейерхольда 30-х годов. Как бы это выразиться поточнее, — Васильев есть и в то же время не очень-то и есть. Да и кто из простой публики за последние лет пять видел его спектакли? Ведь они и рассчитаны на малое число зрителей, и играются крайне нерегулярно...

Если все же вернуться к Вашему вопросу и вспомнить начало XX века — века, который называется «серебряным» и который, конечно, был самым настоящим «золотым веком» русской культуры — включая и поэзию, и музыку, и балет, и философию и так далее и так далее... Мы сейчас оказываемся в том положении, когда как бы докатываются последние волны. Высочайший вал поднят теми, чьи пять портретов я дважды в неделю вижу при входе в ГИТИС. Это Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Вахтангов и Таиров. И дальнейшее движение, развитие того, что мы называем театром XX века, являет собой не подъем в гору, а сразу вершину, а потом волнами опускается вплоть до нашего времени, которое живет еще теми истоками — идеями, рожденными гениальными художниками этой пятерки.

После поколения, пришедшего в режиссуру в 20-е годы (Попов, Завадский, Симонов, Охлопков), следует вспомнить поколение XX съезда (Товстоногов, Ефремов, Эфрос, Любимов, Плучек, Гончаров, Равенских). Их наследниками и преемниками стали Захаров, Волчек, Хейфец, Фоменко. Последняя волна приподнялась на рубеже 70 — 80-х, условной датой ее старта может считаться март 1978 года — «Васса Железнова» Анатолия Васильева. Тогда в режиссуру пришло последнее на сегодня яркое и самостоятельное поколение художников...

— А с тех пор имеет место «театральный промежуток»?

— Ну, справедливости ради надо сказать, что именно в этом сезоне все-таки кое-что произошло. Сергей Арцибашев возглавил театр Маяковского, Роман Козак — Пушкинский, Андрей Житинкин — театр на Малой Бронной. Но это фактически первое движение за десять лет.

— Простите, Вы назвали фамилию Житинкин. Если можно, напомните, пожалуйста, кто это — очередной режиссер театра на Малой Бронной?

— Показательно уже одно то, что Вы не знаете, кто такой Житинкин. На мой взгляд, это очень существенная черта времени. Тридцать пять лет назад человек мог не видеть спектаклей, предположим, Дунаева. Но прекрасно знал, что это главный режиссер театра, где очередным режиссером работает Эфрос.

Сейчас же зачастую театральные события не являются событиями не только в глазах людей, занятых в других сферах человеческой деятельности, подчас они проходят незамеченными даже в театральной среде. Ну, пришел такой-то главный режиссер, живы будем — поглядим. Это перестает быть событием. Люди зачастую не ходят друг к другу в театр, не знают и не интересуются тем, что происходит за квартал от их гримерки.

— И все же, на мой взгляд, обнадеживает даже простой перечень названных Вами имен. Люди продолжают работать. Стало быть, сохраняются традиции, школа. И новое поколение, когда мы наконец его дождемся, придет не на пустое место.

— Вероятно, у читателя и в самом деле может создаться впечатление, что я пристрастен и просто не замечаю тех, кому нет еще сорока. Это не совсем верно — или совсем неверно. Я как раз именно с этим поколением связываю будущее. Просто до самого недавнего времени очень трудно было бы назвать имена тех, чьи спектакли были бы вполне сопоставимы с работами нынешних маститых. Но вот черта первых лет нового тысячелетия — и Григорий Заславский в №5 «Нового мира» за этот год выделил (чтоб не повторять его мысли, я отсылаю читателя к этой публикации) эту черту — появление имен режиссеров, дебютировавших в сущности почти в одно время, а иногда даже просто сидевших на одном курсе, так сказать, на одной студенческой скамье РАТИ, и вышедших сегодня на авансцену театрального процесса. Карбаускис, Сенин, Пленкин ...

Именно эти режиссеры определят будущее? Возможно. Или они прокладывают путь для других режиссеров, идущих вслед за ними. И такое может быть. Но сам факт, что в первые годы нового века появилось не одно-два имени, а сразу несколько человек работают на профессиональной московской сцене — это если и не внушает безудержный оптимизм, то по крайней мере не позволяет быть унылым брюзгой и пессимистом. И еще одно обстоятельство, на которое хочу обратить внимание читателя: поиски режиссеров Заславский рассматривает неотрывно от работы актеров. Критик не просто рассматривает режиссерские экзерсисы и разгадывает театральные ребусы. Он понимает, что режиссерские идеи проходят через артистов. Вот это чрезвычайно существенно. Потому что, как я уже говорил, я абсолютно убежден в том, что любые эксперименты могут и должны быть, а столбовая линия все равно пойдет через то место, где слово *писателя* произносимо и играемо *актером* и обусловлено *режиссерской идеей*. Если это прорастет в XXI веке, то можно предположить, что волна зрительского внимания к театру не спадет, а может быть даже и усилится.

— Следовательно, мы возвращаемся к традиции великих мастеров русской сцены и вновь говорим о театре живого человека?

— Разумеется. Сохраняющиеся до сих пор в репертуаре спектакли многолетней давности — это театр живого человека. Театр Товстоногова — и «Холстомер», и «Мещане», и «Три мешка сорной пшеницы» — театр живого человека. «Современник» — от «Вечно живых» до «Эшелона» — театр живого человека. «Деревянные кони» в совсем другом театре, на Таганке, — это тоже театр живого человека. Там, где зритель следит за человеческими судьбами, а не разгадывает ребус, — театр живого человека.

Сколько протянут скороспелки 2001-2002 года, как долго они проживут?.. Жизнь все так или иначе отбирает и расставляет по полочкам. Расставит и театральную ситуацию, как она сложилась на первый квартал 2002 года.

Я — даже, может быть, вопреки многому из сказанного — все-таки не теряю оптимизма. В России надо жить долго. Вообще в истории надо жить долго. Через пять-десять лет придет новое поколение, вот тогда и встретимся. Мне кажется, что время идет серьезное, ответственное, что оно обязательно принесет новое и серьезное искусство — и в литературе, и в живописи, и в кинематографе, и в музыке и в театре тоже. Время просто потребует настоящего искусства. А корни этого искусства на месте, и постмодернистским побегам их не заглушить.

Это же десятилетие, как мне кажется, мы во многом потратили на слепые метания. Мне представляется, что по отношению к нынешнему российскому театру можно сказать то же, что и о российской жизни последнего десятилетия. Да, порой слепые ведут слепых. Да, порой вожди, теоретики и практики театра выводят народ из рабства кружным путем и с гораздо большими потерями, нежели это могло бы быть. Но и с гораздо большими достижениями, чем это могло бы быть. Низший уровень театра сегодня ужасен, высший же уровень чрезвычайно достоин — как и уровень сегодняшней жизни.

Сейчас уже совершенно понятно, что никакие рецепты — антреприза, новая драматургия, постмодерн и так далее — не являются абсолютно спасительными. Будущее театра, как мне кажется, — в многообразии, в разнообразии путей — будь то традиционных, будь то новаторских, в знаковом театре, в театре «жизни человеческого духа», как говорил Станиславский.

Может быть, смысл этого десятилетия и заключался в осознании очень простых, но очень внятных и спасительных истин. И как мне представляется, не только в театре.

Анатолий ВАСИЛЬЕВ

«Я ЕЩЕ ИМЕЮ СИЛЫ И ЭНТУЗИАЗМ, ЧТОБЫ ОСВАИВАТЬ КОНТИНЕНТЫ НЕПОЗНАННОЙ КУЛЬТУРЫ...»

Случилось так, что давно уже обещанная читателям «Континента» беседа с руководителем театра «Школа драматического искусства», выдающимся театральным режиссером нашего времени Анатолием Васильевым состоялась в дни, когда вокруг нового здания, построенного на Сретенке для его театра мэрией Москвы, началась какая-то странная интрига, отнявшая — и до сих пор отнимающая — и у самого Васильева, и у его коллектива немало душевных сил, времени и нервов. Естественно, что именно с этой темы и началась наша беседа. Дабы читателю было понятно, о чем в связи со странной этой историей мы говорили, изложу сначала вкратце ее суть — то, как я ее вижу.

Новое здание на Сретенке, которое мэрия решила подарить знаменитому коллективу, ютившемуся долгие годы в переделанном из бытовых апартаментов и плохо приспособленном для театральной работы помещении (с крохотным залом на несколько десятков зрителей), с самого начала возводилось по особому проекту, разработанному самим Анатолием Васильевым и главным художником театра, архитектором Игорем Поповым. Своеобразие проекта было в том, что авторы всецело ориентировали его на те специфические формы и методы творческой работы, которые характерны для театра именно того необычного, уникального и отнюдь не собственно-репертуарного профиля, каким является театр-*школа* Анатолия Васильева. И то, что мэрия пошла на это, одобрив именно такой проект, в осуществление которого, кстати сказать, и его авторы, и весь коллектив театра вложили массу энергии, творческой фантазии, подлинного энтузиазма и надежд, было с ее стороны шагом, безусловно, и мудрым, и благородным.

Тем удивительнее то, что произошло потом.

Первая очередь строительства здания была, как это часто у нас случается, спешно завершена летом прошлого года специально к началу III Всемирной театральной Олимпиады, для показа программ которой были начерно приспособлены некоторые залы строящегося, но еще недостроенного театра. И понятно, что после завершения Олимпиады строительство здания, переезжать в которое со всем театральным скарбом и начинать полноценную творческую работу было еще совершенно невозможно, должно было быть продолжено. И оно и было, естественно, продолжено — началась вторая его очередь, а театр оставался пока в старом помещении на Поварской.

Опять же как это постоянно у нас бывает, строители, которым срок окончательной сдачи объекта был определен декабрем 2001 года, очень хотели доложить о выполнении задания и упросили Анатолия Васильева подписать акт о приемке строительных работ, которые полностью не были еще, однако, завершены, — подписать под гарантийное письмо, обещающее ликвидацию всех недоделок и окончательную доводку здания до «кондиции» в начале 2002 г. Васильев 30 ноября акт подписал, строители продолжили работу, которая длилась еще несколько месяцев, и только в

самом конце февраля был подписан, наконец, окончательный акт о приемке строительных доработок, хотя и после этого — даже в апреле и мае — пришлось еще заниматься и доводкой акустических систем, и окончательной отделкой полов, и т.п. работами. И все же театр стал энергично перебираться в новое здание, уже в феврале — марте там начались репетиции капитально обновляемого на новой сцене зала «Манеж» спектакля «Моцарт и Сальери»; затем, после недолгих гастролей в Венгрии, где театр открыл этим уже обновленным в репетиционных залах нового помещения спектаклем «Моцарт и Сальери» здание «Национального театра» в Будапеште, начались с 6 апреля репетиции возобновляемого на новой сцене «Плача Иеремии» и продолжилась подготовка к открытию театра на Сретенке премьерой «Моцарта и Сальери», запланированной на начало июня...

Словом, началась, наконец, новая жизнь театра в новом здании, чего так долго все ждали и чему так радовались...

И вдруг — словно гром с ясного неба — на коллектив обрушилось известие, что в мэрии Москвы 8 апреля прошло совещание, на котором обсуждался вопрос об «эффективности использования сценических площадок в городе» и что на нем было принято решение, зафиксированное в соответствующем протоколе «для служебного пользования», копию которого позднее театру удалось (окольными путями!) получить. Решение гласило: «Особенно неблагополучное положение отмечено по театру «Школа драматического искусства» (художественный руководитель А.А.Васильев). Театральная деятельность в новом здании на ул. Сретенка после окончании 3-ей Всемирной Олимпиады практически прекратилась. Премьерные постановки не осуществляются. Художественный руководитель постоянно работает за границей. Швецовой Л.И. рассмотреть вопрос и представить предложение о передаче указанной театрально-сценической площадки творческому коллективу под руководством П.Фоменко»...

Затем по каналу ТВЦ показали фрагмент из заседания Правительства Москвы, где выступал сам Ю.М.Лужков, весьма раздраженно высказавшийся о том, что выстроенный для театра Васильева «потрясающий комплекс» до сих пор «простаивает» — «темный, окна не светятся», а «мы строили не для того, чтобы там экономить электричество». Другими словами, всей стране было специально и, главное, наглядно продемонстрировано, как неблагодарные бездельники из «Школы драматического искусства» истощили, так сказать, терпение даже такого щедрого покровителя муз, как знаменитый московский мэр. Не случайно, разумеется, тут же и «Вечерняя Москва» вкупе с «Московской правдой» разразились гневными статьями, неосмотрительно выдававшими, однако, источники своего происхождения тем, что были слишком переполнены, как тут же не преминул подметить дерзкий «Московский комсомолец», чисто «совковым пафосом: Васильев разъезжает по Европам, здание пустует, а ведь у нас так много достойных бездомных коллективов... Художнику не припомнили разве только то, что и учился он на советские деньги. Так в советские времена обычно начинали травлю»...

В довершение же всего стало известно, что проворное чиновничество из мэрии уже успело-таки даже и послать Петру Наумовичу Фоменко, замечательный коллектив которого тоже работает до сих пор в помещении, очень мало для того подходящем, любезное предложение принять ключи от нового здания на Сретенке. Фоменко, будучи не просто человеком порядочным, но и художником той высшей породы, применительно к которым только и справедлива максима, утверждающая, что

гений и злодейство — вещи несовместные, тут же, естественно, отказался. И — не без тонкой язвительности: в его вполне официальном и вежливом ответе легко читается, что здание было построено специально для театра Васильева, а потому хорошо бы понять, что его, не говоря уж о том, что просто неприлично, и вообще предлагать театрам традиционного типа, которым нужны залы с традиционной же сценой, просто нелепо...

Короче, поссорить двух выдающихся мастеров, которые при всем несходстве своих художнических принципов и устремлений всегда были в тех добрых творческих отношениях, которые единственно и адекватны их уровню, не удалось. Однако все это в своей совокупности не могло, естественно, не ввергнуть театр не просто в тревогу и недоумение, но, я бы сказал, в настоящее потрясение. Понятно, что Васильев тут же написал письмо Ю.М.Лужкову, где постарался объяснить, что сведения, из которых тот исходил, говоря, что театр с лета «простаивает», что окна его «темные» и т.п., неверны; что мэр был явно введен в заблуждение, ибо театр в новом помещении получил возможность работать только в марте; что за истекшие три месяца уже много сделано и подготовлены премьеры двух возобновленных спектаклей — и т.д. Написал письмо мэру и Игорь Попов, а на собрании коллектива театра, в тревоге собравшегося 26 апреля, было принято обращение к Ю.М. Лужкову, в котором 129 подписавших его с горечью и со справедливой обидой спрашивали своего покровителя: «За что? За нашу мировую славу, увенчанную всеми международными и российскими театральными премиями и наградами и в конце концов принятием нашего театра в союз 20-ти лучших театров Европы? Или за то, что российское правительство вручило нам Государственную премию за создание уникального театра? Или таким образом было решено отметить 60-летний юбилей Анатолия Васильева, пришедшийся именно на 2002-ой год?.. Управление культуры уже выгоняло Васильева из театра им. Станиславского, а затем с Таганки. В третий раз пережить невозможно!»

Переполошились и друзья театра — из-за границы в мэрию посыпались письма от крупнейших театральных деятелей Европы, взволнованных появившимися в прессе сообщениями, съехались в Москву из России и стран СНГ ученики Анатолия Васильева, решившие создать «Театральное товарищество «Сретенка»; «Ночной полет» Андрея Максимова на канале «Культура» пригласил Васильева для беседы и тот смог, наконец, хотя бы избранным зрителям этого не столь уж широко транслируемого ТВ-канала рассказать о своем отношении к происходящему...

Все это, в конце концов, возымело-таки, похоже, свое действие, что показывает, что даже в наше время беспредельного чиновного всевластия и произвола, когда в обращении с общественным мнением, свободой слова и тому подобными парадными институтами нашей славной демократии все чаще торжествует знаменитое «А Васька слушает да ест», — все-таки даже и в наше время общество может чего-то добиться, если приложит к тому нужные усилия. Хотя никакого официального ответа на письма А.Васильева, И.Попова и коллектива театра не последовало и с мэром увидеться никому не удалось, а от Художественного руководителя театра вполне опять-таки по-советски затребовали «план работы» на весь следующий год, однако «Московский комсомолец» (24 мая) и «Время МН» (27 мая) напечатали интервью с начальником отдела театров Комитета по культуре Москвы Анатолием Александровым и с председателем этого Комитета Сергеем Худяковым. И из этих интервью — при всей понятной уклончивости ответов, вызванной слишком очевидной неловкос-

тью ситуации, в которой запуталась явная, хотя в своей практической нацеленности и не очень понятная непосвященным в тайны чиновничьих коридоров нормальным людям интрига, — все-таки более или менее стало ясно, что ходу ее дан, очевидно, какой-то отбой и свирепых мер, по крайней мере в ближайшее время, видимо, не последует. Александров посетовал на «резонанс в театральных кругах», вызванный всего лишь «полушутливым заявлением мера», заметив при этом многозначительно, что «мэр ведь не может знать все». И заверил: «Уверяю вас, никто у него театр отбирать не собирается». Подтвердил это, в общем, и Худяков. Так что ситуация как будто бы несколько успокоилась.

Но, как говорится, «осадок остался». Да что — осадок! И недоумения, и тревога, и законные опасения, что может последовать и какой-то второй акт этой странной эпопеи...

Вот та атмосфера, в которой — после того, как я был ознакомлен со всеми относящимися к теме документами и материалами, ксерокопии которых, подтверждающие все изложенные выше факты, имеются, понятно, в распоряжении редакции, и началась наша *беседа* —

беседа главного редактора журнала «Континент» Игоря Виноградова с художественным руководителем театра «Школа драматического искусства» Анатолием Васильевым.

— Анатолий Александрович! Я внимательно прочитал все материалы, которые получил от театра, чтобы «войти», что называется, в курс ситуации. И мне очень горько, что нашу беседу, о которой мы давно договорились и которую мне всю хотелось отдать вопросам собственно эстетическим, творческим, приходится начинать со столь далекой от всего этого, но, увы, слишком горячей темы. Однако ведь, кажется, температура ее все-таки сильно уже понизилась, и Вы, надеюсь, хотя бы немного, но отошли уже от всей этой стрессовой мороки?..

— Да как сказать... Все-таки у меня вовсе нет уверенности, что здание не отберут. Я эту возможность ощущаю, как говорится, кожей — просто по самому характеру интриги. Смотрите — ведь что более всего поражает в этой истории? Даже не факт самого решения, записанного в пресловутом протоколе, а факт его секретности. Дальше: не показательно ли, что меня самого никогда ни о чем вызвавшем столь радикальное решение, не спрашивали и никогда ни в каких инстанциях, с нового года начиная и даже вообще с ноября, я не бывал?.. Последнее совещание у Швецовой состоялось — ну, я не помню точно, но не позже октября месяца. И оно было целиком посвящено строительным проблемам — ни о чем другом там не говорилось. Как раз речь шла об окончании строительства по второму этапу — вы видели этот документ... .

Конечно, все тайное все равно когда-то становится явным. И вот в какой-то момент доходит факт существования этого секретного Протокола и до меня — меня начинают предупреждать, что он есть. И что, скажите, мне в этой ситуации оставалось делать? Знаете, я ведь никогда не иду против власти. Я всегда живу по закону — «Кесарю кесарево». А тут я сказал: нет, не могу, я поступлю в этом случае свирепо. Ведь столько в это здание вложено, столько с ним связано надежд! Пусть это будет единственный раз, когда я поступлю не так, как велит Господь, требующий, чтобы ты подставил и левую щеку, когда тебя ударили по

правой... Это был такой ночной разговор у меня с одним моим другом. Но потом я все-таки сказал: нет, не могу — не восстану и буду вести себя смиренно. Не могу просто этого сделать. Что-то во мне всегда было противоположное этим повстанческим порывам, — может быть, потому, что таков уж характер, а может — потому что я человек своего исторического времени. Я ведь не шестидесятник. Я пришел позже. И «Взрослая дочь молодого человека» была сделана на идеях соглашения с жизнью, хотя, конечно, это был и своего рода протест — протест художественный, а может быть даже и политический. Вообще «Взрослая дочь» была очень решительным для меня, для моей жизни поступком — наверное, именно потому, что я просто вышел после шестидесятников. Но все же герой мой, вспомните, переживая непростую семейную историю, приходил к необходимости оставаться жить на территории своей семьи, территории своего дома, своего отечества, где он был так уродливо воспитан...

Поэтому после того, как мне стало известно о пресловутом Протоколе, я просто решаю встретится с начальником управления культуры Сергеем Ильичом Худяковым. Но вот опять удивительная история: мне это никак не удается — по разным причинам у него на это не находится времени... Не сумев добиться встречи, мне приходится срочно уехать на Ассамблею Союза театров Европы, поскольку я член этой Ассамблеи. И вот когда я нахожусь в Риме на этой Ассамблее — тревожный звонок: Анатолий, представитель главка требует от тебя сдать творческий план и расписание твоей работы до конца сезона и на год вперед... Такого я вообще не припомню со времен какого-то глухого застоя, с брежневских времен!.. Я просто взбесился. И сказал: «делать этого не буду — так и передайте». Но когда я приезжаю, заместитель Худякова, старый мой, так сказать, «однополчанин» еще по ГИТИСу, начинает меня уговаривать: «Успокойся, это обычный ход. Просто из аппарата Швецовой, из мэрии, сделан запрос — интересуются твоей работой»... Ну что ж, — если интересуются, то какой бы у меня ни был противный характер, возражать не буду. Хорошо я это сделаю...

Дальше: я доживаю, наконец, до второго совещания у мэра, фрагмент из которого был показан по третьему каналу телевидения, и через. какое-то время мы с Худяковым, наконец, встречаемся. И что я узнаю на этой встрече?.. Впечатление опять такое, что главк уже просто переселился из нынешнего времени во времена прошлые! Управление культуры, оказывается, уже посылало Петру Наумовичу Фоменко документ о том, чтобы он принял здание!.. Знаете, я никогда не жил в политике, да и романами Агаты Кристи как-то не интересовался. Я занимался художественной профессией, и все остальное меня как-то меньше интересовало. И вот этот факт меня просто сразил! Что ты так болезненно к этому относишься, спрашивали меня потом, ведь Фоменко же отказался? А как еще мне к этому относиться? Как будто вся проблема в том, отказался или не отказался Фоменко, и как будто он мог не отказаться! Ужасто в том, что ведь даже в сталинские времена руководители не решались на такие поступки!.. Они брали бутылку водки, звонили по телефону или из телефона-автомата, встречались где-нибудь — на даче, например, и говорили — знаешь, я твой друг, я все очень хорошо понимаю, все-все, но вот я должен это сделать... А тут же даже и не подумали о нравственном моменте, даже в голову

это никому не пришло! Как можно было Петру Наумовичу Фоменко официально высылать такой документ?!. Но — высылали! Конечно, он прислал точно такой же официальный ответ — я потом прочитал его, да и Вы видели этот замечательный текст. Мы, де, благодарим вас за заботу о нашем театре, но, к сожалению, никак не можем согласится на ваше предложение, так как мы традиционный театр, мы хотели бы работать на традиционной сцене, а сцена указанного здания, построенного для театра Васильева, нам не подходит...

— *Но, может быть, авторы этого послания рассчитывали на то, чтобы ко всему прочему еще и поссорить Вас с Петром Наумовичем Фоменко?*

— Не исключаю. Даже уверен. И, кстати, сразу же и написал ему об этом. Хотите, прочитаю Вам это письмо?

— *Конечно, если Вы считаете, что я могу с ним ознакомиться.*

— А почему нет? Я не вижу, чего здесь от кого-либо скрывать. Я даже могу разрешить Вам опубликовать его, если Вы найдете это нужным. Вот оно:

«Петр Наумович, дорогой!

Это правда, что Протоколом Правительства Москвы от 8 апреля нас хотят поссорить. Я читал этот протокол, где написано черным по белому: *(далее идет текст, приведенный выше — И.В.)*

Я всегда относился к Вам с настоящей дружбой, хотя в последние годы мы на разных территориях строили наши театры, но во имя прошлой гордости и славы Художественного театра — в этом тайном порыве мы совместны.

Примите мои искренние сожаления о случившемся, не знаю, кем спровоцировано такое предложение. Мой дом всегда открыт для Вас, в чем Вы могли убедиться прошлым летом. Вам первому предложил я практическую дружбу и не отказываюсь от предложения.

С преданностью, *Ваш Анатолий Васильев.*
28.04.02»

Но продолжу свой рассказ. Так вот, — сижу, разговариваю с Худяковым. Он настаивает на том самом «плане», который затребовали у меня, когда я был в Риме, я даю ему этот план, и он внимательно его читает — я никогда не видел, чтобы он так внимательно читал. Сергей Ильич — человек в управлении новый, я мало его знаю. Но он очень симпатичный, милый, и мы с ним поддерживаем вполне дружеские как будто бы отношения. Но только последствия у этой дружбы какие-то странные. Вот он внимательно, очень долго читает это план и говорит: вот здесь, в этом зале, вы играете, здесь тоже играете, а вот здесь свободно, и вот это-то место мы и займем...

Как это?! Я, конечно, опять взбесился — и со страшной силой. Такого еще не было! Ведь если, скажем, это дом Товстоногова, то он его домом и является. Или дом Любимова — как «занять» в нем какое-то «место»?! Это просто какая-то совсем другая, чем раньше, позиция Комитета культуры по отношению к нашему театру, к нашему уставу театра-лаборатории. Повторяю, я жутко взбесился, но из всего этого мне стало понятно: если не отнять, то хотя бы разде-

лить... С кем хотят делить — не знаю, но то, что попытки такого рода могут еще воспоследовать, вовсе не исключаю.

Впрочем, состояние мое сейчас довольно спокойное, я готов ко всему, потому что я прожил свою жизнь в России и хорошо знаю, что такое жить в России. Знаю, что совершать подвиги здесь никому не возбраняется, но ждать, что их кто-то кроме твоих зрителей оценит, — наивно...

— Знаете, Анатолий Александрович, я всю эту историю до конца, конечно, не понимаю, потому что полностью разобраться в подобного рода кампаниях можно только тогда, когда знаешь, в каких именно конкретных практических целях, то есть в чьих конкретных интересах, они затеваются. А знать это в данном случае может только тот, кто посвящен в тайны московского мадрида, то есть никак не мы с вами. Но она, эта история, меня нисколько тем не менее не удивляет, потому что общий практический «подтекст» ее совершенно очевиден: по Вашему проекту, усилиями не только московских строителей, но и всего коллектива театра возведено превосходное, уникальное здание — и вот оно стоит, наконец, новенькое, готовое, и им не попользоваться, отдать целиком какому-то Васильеву, пусть он хоть трижды гений и лауреат всех Европ?!. Нет, Анатолий Александрович, это не в новых традициях нашего нового чиновничества, так что готовым нужно быть действительно ко всему. Единственное, что меня во всем этом сюжете действительно удивляет, так это разве лишь то, что после Вашего письма Юрию Михайловичу Лужкову

— Не «письма», а писем. Я написал ему два письма — одно, с самого начала истории, как бы служебное, излагающее действительные состояние дел, фактическую сторону ситуации, и второе, уже как бы сугубо личное...

— Вот как? Я об этом не знал.

— Я могу и это письмо дать Вам, если хотите. И тоже могу разрешить даже и опубликовать его — у меня нет никаких причин и этот текст от кого-либо скрывать...

— Я думаю, что читателям «Континента» ознакомиться с ним будет не менее интересно, чем мне.

«Мэру Москвы Ю.М.Лужкову

Высокоуважаемый Юрий Михайлович!

Сегодня я был в Сергиевом Посаде, два скульптора демонстрировали мне свою работу: Ангела Трубящего, что будет установлен на шатре Глобуса.

А в начале недели в Хотьково, что недалеко от Посада, я принимал иконостас для нашей домовой церкви во имя Сретения Господня.

Работы эти чудесные и уже летом воздвигнутся на здании нового театра, чтобы украсить Сретенку и нашу Москву.

Я мог бы рассказать Вам про службу мою, что начинаю в утро, а кончаю после полуночи, что живу без семьи, хоть и есть она у меня, что семья моя — давно театр, вот уже тридцать с лишним лет.

Что Вашими заботами и покровительством построил я здание, в котором вынянчил каждый квадратный метр площади и окончил только в феврале.

Что в феврале-марте месяцах срепетировал премьеру, которой блестяще открылась только что выстроенная (как и наша) национальная сцена Венгрии в Будапеште.

Что этой премьерой с участием хора, музыкантов и драматических актеров (всех семьдесят человек) откроется в начале июня сцена «Манежа», и в городе оживет не похожий ни на кого драматический театр.

Что подобен театр великим сценическим сооружениям времен Возрождения, и это в нашей нынешней Москве.

Что об этом Вы должны были бы быть осведомлены, как хозяин города и покровитель культуры, осведомлены помощниками Вашими, которые никогда мною не интересуются и не ходят в театр, а почему — не знаю! и не видели ни одного моего нового спектакля. Что им давно не место, хотя они место занимают, да боюсь Вас обидеть такими высказываниями.

Что я о многом мог бы рассказать, и мне пред Вами оправдаться не трудно, что будь я на Вашем месте, я бы такого упрямого и замкнутого юбиляра (мне 4-го мая 60 лет!) давно бы наказал!

Простите меня!

Что получаю я от города всего 8000 рублей с хвостиком, а треть моего театра — больше меня, но мне достаточно, я ведь и за рубежом работаю, хотя не так часто, как ходят слухи. Как человек русской школы, я работаю только на национальных сценах Европы.

Что я художественный директор театра, режиссер-постановщик, что я архитектор этого дома на Сретенке, о чем могут рассказать строители.

И о многом другом я мог бы Вам рассказать.

Что я восхищен Вашим подвигом градостроителя во славу Москвы, разрушенной во времена прошедшие.

Что дом театра «Школа драматического искусства» — Ваш дом, и я прошу Вас определять и назначать важные культурные встречи людей театра и города с Вами, на территории нашего дома, Ангелом увенчанного.

Что во мне можно найти настоящего и верного слугу Вашего.

Что со мною надо только встретиться! Но встретиться с Вами я не могу, недоступен мэр Юрий Михайлович Лужков для режиссера Анатолия Васильева.

И о многом другом.

Например, что моя вторая профессия — моряк, что я задумал спектакль в память моряков, погибших на «Курске»: вот будет настоящая и открытая для москвичей театральная работа нашего театра на нашей новой сцене!

И о многом другом.

С преданностью, *Ваш Анатолий Васильев.*

На Лазареву субботу

г. Москва, театр «Школа драматического искусства»

Мэру Москвы Ю.М.Лужкову»

— Да, письмо, я бы сказал, пронзительное Просто, знаете, тяжело читать, горло сжимает и от этих интонаций, и от общей горечи — очень уж все это напоминает какую-то извечную классику на тему «Художник и власть». Прямо сюжет из времен Мольера и Людовика XIV Так неужели и после этого письма, после письма И.Попова и Обращения коллектива театра, где тоже была высказана просьба о личной встрече, Ю.М.Лужков Вас тем не менее не пригласил и не принял? На него это вроде бы не похоже

— Да нет, — как раз пригласил. Когда наш Игорь Попов, который с архитектурной стороны был соавтором проекта памятника Булату Окуджаве на Арбате, во время открытия этого памятника 9 мая лично вручил свое письмо Юрию Михайловичу, тот сказал, что он уже получил письмо и от меня, и от театра и чтобы мы зашли к нему — он готов встретиться с нами. Но что значит — «зайти»? К мэру Москвы не зайдешь же просто так, с улицы — понятно, что встречу должен был обеспечить аппарат мэра, который был полностью в курсе дела. Но — так и не обеспечил до сих пор...

— Вы знаете, я все-таки думаю, что письмо — я имею в виду это, последнее, личное письмо — каким-то образом на стол к Ю.М. просто не попало. Или если и попало, то опять-таки какими-то внешними способами было отсечено от последствий в виде личной Вашей встречи с ним, которая после такого письма непременно должна была, казалось бы, произойти

— Мог быть, конечно, и такой поворот. Тем более, что на первом моем письме была, как мне известно, резолюция «Пригласить», а через какое-то время после встречи И.Попова с Ю.Лужковым на Арбате состоялась некая официальная служебная переписка между двумя отвечавшими за прохождение бумаг чиновниками московского аппарата, из которых один информировал другого, что 23 мая «итоги рассмотрения обращений по вопросу деятельности театра «Школа драматического искусства» были доложены Л.И.Швецовой лично Ю.М.Лужкову» и что было «принято решение, что проведение личного приема у Мэра Москвы в настоящее время нецелесообразно», а ответить авторам поручено Комитету по культуре. Так что вполне возможно, что и письмо мое было просто «доложено»...

— Ну что ж — пусть хоть так дойдет, через «Континент» Правда, я далеко, конечно, не уверен, что мэр наш журнал читает (а специально ему Ваше интервью вряд ли покажут), хотя о существовании его не только знает, но в свое время, как и вам со строительством нового здания, кардинально помог с «жилплощадью» и нам. И не в пример бывшему великому демократу г-ну Полторанину, который в ответ на просьбу «Континента», только что перебравшегося из Парижа в Москву и не имевшего своего помещения, помочь ему с московской «пропиской», заявил, что это возможно лишь при условии, что Владимир Максимов перестанет писать о Ельцине то, что он пишет За эту оказанную нам мэром Москвы без всяких идеологических условий помощь, благодаря которой мы получили нормальные условия нашего существования в Москве, мы ему, естественно, от души признательны — тем более, что характер ее позволяет надеяться, что и в любых других ситуациях взаимоотношений мэра с культурными организаци-

ями Москвы справедливость все-таки восторжествует. В том числе и в вашем случае — как бы ни мешали какие-то чиновники. Нам ведь тоже мешали — и еще как

Но оставим, наконец, эту тему — все равно мы с Вами сегодня ничего здесь пока поделать не можем, остается только ждать. А читатели «Континента» достаточно полное представление обо всей этой крайне поучительной истории уже, надеюсь, получили. Расскажите поэтому лучше, как вы начали осваивать новое здание, что в нем предполагаете делать, с какими планами связан ваш в него переезд

— Ну, начнем с того, что здание это действительно построено очень необычно, для стереотипного взгляда просто странно. Здесь драматические спектакли нельзя ставить и смотреть параллельно, можно играть только на одной сцене. Потому что все здание — как единая храмовая постройка, акустически оно совершенно прозрачно. И как только начинают, скажем, петь в зале «Манеж», параллельная работа в том же «Глобусе», сделанном по типу шекспировского театра, уже просто невозможна. К этим двум главным сценам примыкает еще большой зал специально для репетиций, который тоже может быть сценой, потому что театры-лаборатории, каким является наш театр, должны всегда показывать свои репетиции, а в нем они как раз и могут быть представлены. Так что получается, что у нас две сцены и один большой зал, который тоже можно использовать как сцену, и все это приспособлено именно для работы театра-лаборатории, театра-школы, пробующего разные постановочные возможности и нуждающегося поэтому в разных, приспособленных к этим возможностям, сценических площадках. А я ведь хочу еще открыть и высшую школу драматического искусства. Так сказать, в разряде академии. Я мечтаю это сделать, давно мечтал, я знаю, как построить программу обучения в такой школе с четырьмя факультетами, и переезд в новое здание связан, конечно, и с этими планами. Мы до сих пор шли очень последовательно в их осуществлении, и Управление культуры уже должно было учредить этот новый собственно-театральный ВУЗ. Но, как и всякая другая последовательность нашей работы, и эта последовательность тоже была прекращена событиями апреля. Будем надеяться, что теперь все-таки продолжится. В старом здании на Поварской будут собственно учебные помещения нового вуза, театр же полностью перейдет на Сретенку. Хотя это всегда будет, конечно, смешано, — это будет все-таки единый театральный город.

И еще — знаете, я ведь хочу и вообще назвать этот свой новый театральный город ***Школьным театром***, поскольку стремлюсь к продолжению того театра, который был заложен в России еще в XVII веке — до его превращения в дворянский, придворный. Ведь театр в XVII веке открыт был при школах, при семинариях, при высших религиозных учреждениях, где игрались первые литургические драмы. Через них шло обучение и просвещение. Для меня этот поворот к Школьному театру, восстанавливающему эту традицию, — конечно, очень серьезный поворот. Но он для меня абсолютно органичен, потому что я, обученный театральной технике на сцене традиционного психологического реализма, много раз уже в своей жизни вплотную подходил к иному, ***театрическому*** реализму. И потому в последние 10 лет я и задумал возвраще-

ние в театр XVII-XVIII веков. Я хочу возродить русскую мистериальную драму и вернуться действительно к совсем другим произведениям, когда-то ставившимся на отечественной сцене. Но ныне просто не имеющим уже традиции своей постановки.. Правильной традиции — той, которая требуется, например, при постановке «Бориса Годунова» и к которой впервые приблизился только великолепный спектакль Юрия Петровича Любимова. Я нахожу эту постановку одной из самых сильных его работ, не получившей продолжения на нашей сцене. Но она пришлась на самый трагический период в жизни Таганки, на время тяжелых драматических событий в жизни Любимова и Эфроса. Может, поэтому она и не оставила такого серьезного следа, как «Гамлет», и здесь еще много есть над чем работать. Да и вообще вся русская стихотворная драма не имеет еще прочной традиции постановки, особенно русская драма метафизического толка. И это то, чем я сейчас больше всего занят и к чему обращен и наш театр.

Хотите, я расскажу, как вообще, в принципе, устроен наш театр? Вам это интересно? Так вот, — наш театр всегда состоял из различных ансамблей — или групп, назовем их так. Например, драматических ансамблей всегда было два-три — или даже четыре. Потому что курс, который я вел в ГИТИСе, я никогда не готовил ***вообще*** — для какой-то внешней по отношению ко мне жизни. Я всегда готовил его для внутренней жизни своего театра, и из этого курса всегда собирался ансамбль, который уже где-то с четвертого года обучения становился ансамблем театра. Так что все последние годы у нас всегда складывалась такая жизнь, что существовал какой-то ансамбль актеров, который проработал около десятка лет и они уже являлись как бы основателями театра, а кроме него было еще несколько ансамблей и групп, состоящих из студентов или из недавних студентов. В моем театре почти никогда не работают посторонние актеры, только мои ученики.

Но это еще не все. Есть в театре и другие группы. Так, всегда был ансамбль танцовщиков, давно уже существует группа хора, даже две группы хора, какое-то время существовала группа музыкантов. А сейчас мы создали еще и группу солистов-вокалистов, так что на сегодняшний день театр представляет собой как бы некую драгоценную коллекцию нескольких уникальных художественных организмов, которые, тем не менее, все живут одним эстетическим кредо. Это не разноголосье, а именно многоголосье, и это всегда одна единая философия театра, которая, кстати сказать, тоже отражена — и изначально была заложена проектом — в самой архитектуре здания. Вы обратили внимание, что Манеж и Глобус имеют форму культовых построек? Манеж — это базилика, а Глобус — это осьмерик с шатром. Правда, все это еще не закончено. Я не знаю, показывали ли Вам одно место, где как бы над вратами, над въездом во двор театра, будет построена надвратная церковь? Там уже и крест воздвигнут, на краеугольном камне, который мы заложили еще в прошлом году, и этот краеугольный камень был освящен монахами с Афона. Храм этот, как Вы читали уже в моем письме Ю.М.Лужкову, будет построен во имя Сретенья Господня, а шатер — по нашей идее это сделано будет — увенчан трубящим ангелом из Апокалипсиса... Так что этому зданию предстоит еще закончиться. То есть приобрести те формы, которые оно должно иметь...

— Да, это действительно уникальный, совершенно не похожий ни на что привычное театральный комплекс. Но ведь и Ваш театр — театр-лаборатория, театр-школа — тоже необычный, Я даже могу понять ужас какого-нибудь типового чиновника — как же так, такое здание, столько денег вбухано, а театр, оказывается, не репертуарный, помещения «простаивают», коммерчески не окупаются!.. Но ведь Москва — это все-таки Москва, и, кажется, она может позволить своему бюджету иметь хотя бы один такой необычный театр — театр, не приносящий коммерческой прибыли, но способный стать визитной карточкой столицы, настоящим центром театрального обучения, творчества, обмена опытом — и центром притяжения, постоянного творческого интереса со стороны всей театральной Европы

— Вы правы, конечно. Но знаете, для того чтобы поддерживать такой статус театра, нужны силы. И немалые. И порой, — да что там, очень даже нередко — я прихожу просто в отчаяние. Ведь наш театр — это действительно госбюджетная организация, мы числимся на бюджете города Москвы. И все эти годы, начиная со времен перестройки, я никогда не работал на внебюджетные средства, у меня их просто никогда не было. Театру никогда не помогали меценаты, и мы никогда не имели дела ни с какими спонсорами. Поймите, я говорю это вовсе не для того, чтобы поплакаться. Более того, я даже считаю, что это совершенно нормально, что так и должно быть, и еще скажу об этом. Но нынешняя жизнь, увы, такова, что люди высокой квалификации в бюджетных организациях, как правило, не работают, они уходят из них. И если говорить об искусстве, то в бюджетном искусстве сейчас остаются только рыцари, подвижники, люди подвига. Я бы и мечтал собрать на территории своего театра именно таких людей подвига, которые согласились бы существовать на госбюджетные средства и сказали: «Мы готовы это делать, Анатолий, вместе с тобой». Да, такие люди есть, но их мало, и в этом смысле я и испытываю порою чувство одиночества. Может быть, я не умею их собрать, может быть, я просто не вышел на поле, не сложил вот так вот руки и не крикнул в полный голос: «Ау!.. Где вы, люди подвига, приходите ко мне! Я еще имею силы и энтузиазм, чтобы осваивать континенты непознанной культуры! Сойдитесь ко мне, займите места не только художественные, артистические, но и деловые, помогите мне вашими дарованиями, вашим инженерным талантом, вашим административным талантом, вашей любовью. Но знайте, что это будет ваш подвиг, потому что у нас госбюджетный театр»...

Да, я всегда оставался в госбюджетном театре, потому что я никогда не хотел соединять свое творчество с прибылью. Я это делал специально и делаю специально до сих пор. Но я думаю, что не случайно одна из звезд нашего русского театра уже сейчас возникает тем не менее именно в этом доме. Почему возникает — это секрет нашего театра, наше ноу хау, но во многом и потому именно, что я не соединяю творчество с прибылью.

А на Ваш вопрос, может ли позволить себе наша Москва, одна из культурных столиц мира, бюджетный театр-лабораторию, я отвечу так: конечно может. Если только почувствует, увидит, что под крышей этого дома собраны выдающиеся таланты. Ну, например, члены академии независимых искусств, в которой и я состою. Все они — тоже невидимые участники этого театра. И это

действительно выдающиеся умы России. Можно собрать и других людей — действительно, как я сказал, людей подвига. И мы это пытаемся делать.

Но я вижу: таланты уходят с той территории, на которой нет прибыли. И это я считаю несчастьем нашим. И именно с этим несчастьем связываю, в частности, то, что наш современный российский театр так сильно изменился. Вы ведь помните, чем был хорош театр даже самых застойных времен? Тем, что там люди не зарабатывали, они выходили на сцену не для заработка. Их заработком были признание публики, аплодисменты. Это было невидимое жертвоприношение свободе, демократии, нравственности, душевности — и даже предчувствуемой, но еще по настоящему не сознаваемой духовности. Это было именно так. Да, актеры зарабатывали деньги, но не в театре. Они зарабатывали в кинематографе, на телевидении, на радио, в театр же они ходили не для этого.

И вот все изменилось. Мы вошли в ужаснейшие, пошлые времена, теперь театром стали зарабатывать. Театром! И с этого начинается конец театра и русской драматической школы. Для меня это совершенно ясно. Это — гибель...

— *Может быть, это все-таки преувеличение?*

— Ну, знаете, может быть в чем-то и преувеличение. Тем более, что, как известно, все художники во все эпохи время от времени непременно говорят о гибели своего искусства. Но все-таки я очень хорошо представляю себе, что такое золотая жила золотого века русского художественного театра. Это я не по книгам представляю, а по конкретному живому общению с моими учителями и по своей собственной практике. И как практикующий человек я могу твердо засвидетельствовать, что эта жила выбрана. По разным причинам. Служение театру — это ведь всегда служение либо жертвенное, либо выгодное, другого не дано. И знаете, — все-таки настоящая драматическая сцена отличается от других сцен исполнительского искусства своей обязательной нищетой. Всякий нищий драматический артист — возвышенный артист, всякий сытый артист — артист не возвышенный. **Нельзя зарабатывать *ролями,* в которые вкладываешь душу!**..

Но, оказывается, ***просто*** ролями можно зарабатывать. И для этого актер и уходит в театр, который на современном нашем наречии называется коммерческим, а на самом деле это просто принципиально другой театр. Конечно, он коммерческий, поскольку ролями зарабатывают и спектакли приносят прибыль, но в плане философском, эстетическом, методологическом — он весь другой, ***весь*** другой... Вот я взрослым уже мужчиной тридцати с небольшим лет пришел в Художественный театр, со мной рядом были мастера, старики 70-и лет и больше — корифеи, основатели Художественного театра. Яншин, Кнебель, Андровская, Станицин... — блистательное созвездие стариков Художественного театра. Так вот — эти старики просто бежали телевидения и заработка, бежали всякой коммерческой славы. Да, конечно, они жили еще со сталинских времен краше других. Но я видел и в их разговорах между собою слышал, как боялись они даже частых выступлений — это всегда была тщательнейшая подготовка и к репетициям, и к вечерним представлениям, это всегда была замкнутая жизнь, достаточно одинокая. Не случайно они отказывались переходить на новую сцену, на Тверской бульвар... Я знаю и сегодня таких же

художников, знаю их и за границей.— людей с таким же святым отношением к сцене, с подвижностью ума, с легкостью сердца, с невероятной тактичностью взаимоотношений с режиссером и с полным отсутствием вот этого нашего фирменного русского хамства, нашей фанаберии, нашего барства. Но у нас таких актеров сегодня — по пальцам перечесть. А театр в целом, наш *всеобщий*, если можно так выразиться, театр... Все-таки наш всеобщий театр — это театр производственный. А это — художественная смерть театра, какими бы выдумками он ни прельщал публику и каким бы успешливо-публичным ни был. Ведь все, в конце концов, испытывают большое чувство восторга по поводу какого-нибудь очередного *очень художественного* спектакля. И не знают, не понимают, что на самом деле собраться вокруг какого-нибудь всем известного покойника, к которому все привыкли, гораздо радостней, чем вокруг чего-то живого. Я это замечаю. Вот в чем настоящая проблема. Может быть, это очень резко и пессимистично и в конце концов даже и неправильно, но замечаю я именно этот процесс. И вижу, что публичный, производственный театр наш сегодняшний — усреднен, успокоен и не художествен. Достоинство отечественной, русской сцены в том-то и заключалось, что, начиная со МХАТа, была изгнана производственность сцены. Как-то давным-давно, еще в первый раз оказавшись в Европе, я вдруг очень просто понял знаменитую формулу Станиславского «Театр начинается с вешалки». Я раньше это понимал, как и другие — как метафору. А никакой метафоры здесь нет. Просто тот, кто входит в пальто, должен подойти к вешалке и раздеться. Снять пальто, переодеть обувь и только тогда уже войти в театр. Потому что театр — это храм искусства. Вернее — он должен быть прежде всего таким храмом, а не «культурной» забегаловкой. Я еще наблюдал этот ритуал до сих пор сохранившимся на одной провинциальной венгерской сцене — провинциальные люди входили в театр, подходили к вешалке, снимали свое верхнее пальто, переобувались и входили в театр. Но в Европе этого давно уже не существует, там традиция другая. Всяк в уличной форме идет меж кресел, как Онегин меж рядами когда-то, бросает шляпу под кресло и потом смотрит спектакль. Вообще это безобразие. Вообще это, честно говоря, ужаснейшее безобразие. Но это только потому, что из современного театра изгнан, деревянной метлой публичности выметен приоритет художественности, действительного поиска художественной истины. Здесь принципиально другая жизнь, другая затея, другая игра, и я всегда поражался в Европе этой жестко налаженной системе театрального производства, которая перекочевала теперь и к нам...

— И все-таки— разве в нашем сегодняшнем театре все так уж плохо? Разве нет у нас и блистательных режиссерских работ, и настоящих актерских удач? Тот же театр Петра Фоменко, постановки Сергея Женовача, Сергея Арцыбашева Кстати,— что Вам в сегодняшнем русском театре— не «всеобщем», не коммерческом, а действительно творческом— все-таки ближе остального, с кем из Ваших собратьев по профессии Вы чувствуете творческое сродство?

— На этот вопрос лучше ответить искренне и честно. Я плохо знаю современный российский театр. Плохо для того, чтобы ответить действительно ответственно. Если я дам какие-то положительные ответы, то будет это, пожалуй,

больше ради жанра интервью, чем по существу того, что я думаю. Если же отрицательные, то это слишком ответственно, чтобы решаться на такое, не зная досконально фактов. Но все-таки, конечно, хорошо было бы как-то подойти к этой теме хотя бы с какой-то общей стороны. Вопрос-то ведь задан. Да, я плохо знаю современный русский театр — многое лишь понаслышке, немножко по подглядке, кое-что по догадкам и по личным встречам, еще меньше по некоторым спектаклям, которые я вижу на сцене, потому что смотрю я чрезвычайно редко. Происходящее на сегодняшней сцене я больше и скорее всего через какой-то невидимый оптический фокус времени поглощаю и потому и не имею права говорить: я знаю хорошо. Потому что хотя я что-то и знаю, но знаю иначе...

И все же хотя и иначе, но я знаю, что никакой театр не движется сегодня в правильном направлении. Во всяком случае, в том направлении, которое мне представляется правильным. Вот это я знаю точно. Есть театры, которые очень хорошо продолжают двигаться в прежнем направлении. Как бы восстанавливая свежесть, возвращая этому прежнему направлению, то есть театру психологического реализма, живую театральную жизнь, эстетическую симпатичность. Более всего самых настоящих успехов здесь достиг Петр Наумович. Это ясно. Но и другие театры как-то в этом же направлении работают. Но я не знаю ни одного театра, который я мог бы определить как театр будущего — театр, который я вижу все-таки не как театр **психологического** реализма, а как, я бы сказал, театр реализма **метафизического**...

— Наверное, я понимаю, о чем Вы говорите. Я видел у Вас еще на Поварской «Моцарта и Сальери» и скажу без малейшего желания как-то польстить Вам, что спектакль меня просто потряс. Не боюсь сказать это так прямо, потому что совсем не все другие спектакли, которые я у Вас видел, мне нравились, и далеко не все я в них принимал. Но этот, повторяю, просто потряс. И потряс прежде всего своей общей, стержневой, совершенно необычной, удивительной, но в то же время поразительно точной, в сущности — даже и вообще, пожалуй, единственно верной художественной идеей — найденной и воплощенной в спектакле глубинной художественной Истиной пушкинского текста. Впервые в жизни я увидел — и понял! — эту «маленькую» пушкинскую трагедию поистине как трагедию вселенскую, как некую грандиозную мистерию, которую разыгрывают между собою Красота, Зло, Предательство, Добро, Зависть и Святость — и, разыгрывают даже не в каком-то человеческом мире (хотя все происходит между живыми людьми, живыми и яркими характерами — Сальери и Моцартом), а словно в некоем грандиозном бытийно-мистериальном пространстве какого-то метафизического космоса Смерть Моцарта здесь — это, вот именно, просто какая-то космическая, вселенская катастрофа,— так это поставлено. И поразительный, одетый к тому же в завораживающую пластику движения, воплощенный и в красках райских одеяний, и в свете «Реквием» Мартынова, который исполняет здесь ваш великолепный музыкальный ансамбль,— это просто как голос потрясенного свершившейся катастрофой неба, как пение ангелов, скорбящих о нашей грешной земле и принимающих к себе душу Гения Да, это действительно метафизический реализм. Это очень сильно

— Спасибо, я тоже считаю этот спектакль сильной работой. Она, кстати, произвела сейчас настоящую театральную революцию в Будапеште. Потому что то, о чем вы говорили, действительно оказывает сильнейшее воздействие на зал, мощнейшее...

Да, это мой путь, и, наверное, нет ничего удивительного и предосудительного в том, что я считаю его правильным. Потому что я здесь, как и всякий художник, подобен Лютеру: «Я здесь стою и не могу иначе». Это мой путь — и это мой путь именно потому, что я жизнь свою, художественную свою жизнь, с самого начала связал с русской культурой. Я это сделал не по фанатизму, а , наверное, просто по какой-то доверчивости. И я говорю сейчас уж тем более не как какой-то националист — я говорю скорее как любовник. Я просто влюбился в русскую культуру и стал ей как рыцарь служить. Она стала моей прекрасной дамой. Я влюбился в эту культуру, потому что она нисколько не похожа на жизнь, хотя совершенно подобна как будто бы жизни. Она не иллюстрирует реальность, хотя рассказывает про эту реальность. Я влюбился в нее потому, что вся она — наше волшебное небытие, вся наша русская культура...

Но в ней как бы две реки — мощнейших. Одна залила пока другую — река демократического направления русской культуры, реалистического ее направления — та, что, в конце концов, и заполнила театр искусством психологического реализма. Другая река была бурная, она жила через водопады, гении этой реки рождались и тут же нещадно гибли — это река метафизической культуры, и это — главная моя река. Я назову здесь имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Блока, Цветаевой, Мандельштама — эта река была пережата плотинами, революциями, казнями, ГУЛагами, но это великая река, это основная река русской ментальности. Мы пережили увлечение как социализмом, так и реализмом, и расправились с ним раньше всей Европы. И в пример ей. Европа посчитала нас, правда, в очередной раз меньшим братом, который ну просто взял и расправился со своей социальной бедой, с которой приличные нации и дела-то иметь не захотели. Но это неправда. Мы не с социальной бедой расправились. Мы расправились с нашим грехом. Мы согрешили Господу и перед нашим сознанием, за что очень круто расплачиваемся. И именно в недрах русского сознания, я думаю, и готовится поэтому новое возрождение культуры. Опять-таки я говорю как человек влюбленный в русскую культуру, а не как националист — это надо подчеркнуть, потому что я совсем не националист. Я бы, наверное, даже получил какую-нибудь первую премию за нелюбовь к русскому народу. Это — для Лужкова. Но я зато я честен в этом вопросе. Я его так не люблю, этот народ, что всю жизнь для него тружусь. И он ведь разный, этот народ. Есть два гения, отразившие русского человека в полной мере: один — Горький, другой — Достоевский. Все остальные между ними. Никто не знал русское зло больше, чем Горький, — в его, народа, материальной жизни. И никто не знал русскую святость больше, чем Достоевский, — в его духовной высоте.

Так вот, — в своей театральной жизни я много лет отдал искусству психологического реализма, и я думаю, что я хорошо знаю и практику, и теорию этого искусства, я прошел в нем большой путь. И я прошел этот путь, для того чтобы от этой основы вернуться на полстолетия назад — к тем временам, когда

зарождалась русская метафизическая реальность. Это мне сделать было легко, потому что я шел к этому практикой. И я убежден, что возвращение к этой волшебной реке — это спасение для нашей культуры. И я убежден также, что и для всего европейского мира метафизический реализм — это единственная спасительная реальность.

— А как реально можно себе это представить — по отношению к текстам тех, например, авторов, которые Вы назвали? И какие конкретные планы есть у Вас в этом пространстве русской культуры?

— Я сейчас скажу. Вот, например, вы упомянули Сергея Женовача, имея, наверное, ввиду его спектакль по «Идиоту». Так вот, — по моему, текст Достоевского открыт был там совсем не тем ключом. Это неправильное употребление текста романа.. Достоевский ведь это не Лев Николаевич Толстой. И вся проблема в том, что́ вы хотите на сцене представить — воплощенный дух или воплощенное тело. Это принципиальный вопрос. С текстами Достоевского можно, конечно, обращаться и как с текстами психологического толка, и как с текстами философскими — с ними можно обращаться как с пространством трагедии и как с пространством драмы. Но это не просто две разных техники — это две разных идеологии, две разных философии театра, литературы, искусства, — да чего угодно. Я знаю это очень хорошо. Когда-то в свое время, закончив репетицию спектакля с великолепнейшим текстом «Дядюшкина сна» на сцене будапештского художественного театра, я записал в своем дневнике, что вот если бы меня спросили, о чем я вообще мечтаю вот в этот нынешний момент, я бы ответил так: я мечтаю до конца своей жизни репетировать тексты только Федора Михайловича Достоевского, мне кроме этого ничего больше не нужно. И если бы меня спросили, а что нужно делать драматургам, я бы сказал — пусть они за основу и в качестве своего учебника возьмут драматические диалоги Федора Михайловича Достоевского и начнут на этой почве выращивать свои собственные тексты. Не надо больше заниматься текстами Чехова. Это пройденная жизнь, пройденный этап, плюсквамперфект, ушедшее время. И точно так же я скажу — не надо больше заниматься текстами Льва Николаевича Толстого. Это прошедшая жизнь. Конечно, это хорошее поле для театральных размышлений, умнейший текст, кто же будет отрицать гений этого великого человека. Но речь ведь идет — для меня, по крайней мере, — о дороге, о том камне, который стоит перед витязем, ищущим дорогу, но на котором нет никакой надписи. И витязь должен выбрать дорогу сам. Вот в чем дело.

— Но ведь какой бы метафизической слой вы ни вытягивали из романных текстов того же Достоевского, он, этот слой, всегда неотделим в его романах от живого человека, от героя, от его души. Так что без точной передачи психологии, то есть без своего рода психологического реализма, все равно ведь не обойтись

— Да, почти невозможно. Несомненно. И не только в Достоевском от этого уйти невозможно. В этом вообще особенность русской культуры, русского сознания. Наш Господь Иисус Христос — Он тоже ведь Существо живое, а не нечто такое, что подлежит лишь логическим операциям богословского сознания. Это не какая-то абстракция, всего лишь как бы переведенная в некоторое

человеческое присутствие — это Единое и Неразложимое Живое Существо. Вот и в русской ментальности метафизическая реальность — это всегда ***живое*** существо. И потому-то всякий метафизический текст в русской литературе и наполнен жизнью, потому-то его и тяжело, неимоверно тяжело всегда репетировать. Короче говоря, Пушкин — это не Мольер. Но еще, правда, меньше он — Шекспир. Он обманул человечество, сказав, что он подражает Шекспиру, а на самом деле для него самым великим, как бы даже неподражаемым авторитетом был Мольер. Хотя то, что он взял от него, он наполнил такой метафизической глубиной, о которой Мольер просто не подозревал. Из всех драм, написанных Пушкиным, самые гениальные драмы — это маленькие трагедии. А «Борис Годунов» — это просто такое ...ну, я бы сказал даже и так — просто какое-то упорное школярство. Да, я назвал эту вещь в качестве примера пушкинского текста, правильной традиции постановки которого все еще не существует даже после прекрасного Любимовского спектакля, но я не сказал, что хочу это поставить. Мне достаточно маленьких трагедий до конца моей жизни... А если учесть, что и Достоевский мною еще мало тронут, то и тем более. Хотя, вообще говоря, я если не все, то очень многие тесты его уже репетировал. «Бесы», «Идиот», «Дядюшкин сон», даже, Вы удивитесь, «Чужая жена и муж под кроватью» — вещь, показывающая фантастическое его умение складывать диалог для театра. Я ведь почитаю Достоевского не только за его метафизическую глубину и не за саму по себе его, как бы это сказать, «религиозность», что ли. И уж вовсе не за какой-то его «фрейдизм», которого вообще у него нет. Это вымысел интеллигентных умов, которые хотели приклеить нашего гения к их любимому Фрейду. Я почитаю его и просто как великого мастера драматургического диалога...

Я очень хочу поставить тексты Марины Цветаевой, и мы даже начали уже репетировать. Она мощнейший драматург, фантастически силы драматург — с очень коротким, быстрым, лаконичным письмом, подобно Пушкину. Я очень люблю переводы классических текстов русскими поэтами. Я с удовольствием репетирую брюсовский перевод «Амфитриона», я хорошо знаю бунинский перевод Байрона, великолепный перевод. Вообще в переводах русские поэты достигали порою такого совершенства и самостоятельности, что впору писать — «Байрон-Бунин». И это было бы правильно, как, предположим, и «Гете-Фет». Великолепно просто. Я мечтаю и о текстах Блока. Но начал я этот путь от Гоголя, от его «Игроков». Впервые тот стиль, в котором я сейчас работаю, я открыл для себя именно на репетициях «Игроков», когда я еще был студентом — это был, кажется, всего лишь третий курс...

— Ну, а западные авторы — кого здесь Вы намерены подвергнуть своей художнической вивисекции «метафизическим реализмом»?

— Что ж, у меня и здесь, конечно, есть целый великий список... Жалко, что мы не показали «Государство» Платона, хотя практически текст был готов для спектакля. Но мы отложили из-за «Моцарта и Сальери», и теперь даже не знаю, выйдет этот текст или нет. Это просто для меня трагедия. Вот в этом году, весной, мы должны были выпустить и «Илиаду» Гомера. Спектакль практически тоже был готов. Но меня преследуют несчастья. Я же говорю — если уж выби-

раешь бурную реку с водопадами и порогами, готовься и к крушениям... И вот катастрофа — убит Владимир Лавров, исполнитель роли Сальери. Не говоря уж о том, что это и вообще страшная для всех нас трагедия, это тяжелейшая беда и для спектакля. Все, он был остановлен, потому что заменить любого актера в моем спектакле — это вовсе не так просто. Тем более — Володю Лаврова. Это же нужно очень долго ждать, когда на твою дорогу выйдет тот путешественник, которого назовешь спутником. А спутника — назовешь потом другом, а в друге — обретешь соратника по искусству... Это очень долгий путь, слишком долгий путь в том искусстве, которому я служу. Путь в иллюзорном искусстве производственного театра куда короче и проще. А потом и из другого спектакля погиб исполнитель — из «Илиады», исполнитель роли Ахилла и мастера. Тоже в Подмосковье погиб, разбился об машину. Я бы сказал даже так — не разбился, а был убит машиной. Да, вот так будет правильнее — именно убит...

Конечно, к «Государству» надо возвращаться. Очень мне хочется, как бы это выразиться, — ну, как бы спаять два времени. Античность и христианство. Это ведь как мать и дитя — хотя, может быть, я говорю вещи сомнительные, даже опасные. Но я чувствую именно так — они всегда были с нами, в нашем русском сознании, античность с христианством, и восстановить это единство — значит вернуть русскому сознанию какую-то утраченную им жизнь. Вот в этом мой поиск. Я решился на него может быть именно потому, что я нахожусь на территории культуры, искусства. Я ведь понимаю, что было бы слишком дерзко для меня, занимаясь театром как светской культурой, находится на территории религии. Но ведь и как христианин я тоже не могу полностью уйти от язычества, хотя я человек вовсе не языческих времен... Поэтому я и вглядываюсь в античность, которая воплощена для меня в нескольких великих текстах. И Платон является школой, на которой я воспитываю актерское мастерство. У меня из Платона готовы как спектакли и «Государство», и «Пир». Можно их показывать.

И что ж — надеюсь, сыграем-таки.

Вот войдем в это здание и сыграем...

Художник В. Лаврентьева
Компьютерная верстка С. Опариной

ЛР № 066469
Подписано в печать 24.06.2002. Формат 60x84/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 30,00. Усл. печ. л. 27,9. Тираж 3500 экз.
Заказ № 6468

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Спрашивайте красно-бело-синий каталог «Роспечати».
Наши подписные индексы

73218

и

71682

(годовая подписка)

Каталожная цена подписки на «Континент», самый «толстый» журнал России, намного ниже, чем на любой другой «толстый» журнал. В 2002 году она составит всего

140 руб. – годовая подписка;
70 руб. – первое полугодие.

В помещении редакции «Континента» (ул. Мясницкая, 22, 3-й этаж, офис 114) ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 14.00 до 16.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также
отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

"AD MARGINEM" – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7; тел. 951.93.60
"БИБЛИО-ГЛОБУС" – Мясницкая ул., 6; тел. 921.63.40
"ГИЛЕЯ-ГАЛАРТ" – Черняховского ул., 4а; тел. 151.89.01
"ГРАФОМАН" – 1-й Крутицкий пер., 3; тел. 276.31.18
"КНИГА" – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.27.97
ЛАВКА ЛИТ.ИНСТИТУТА – Тверская ул., 25; тел.202.86.06
"ЛЕТНИЙ САД" – Б.Никитская ул., 46; тел. 203.77.83
"МИР ПЕЧАТИ" – 2-я Тверская-Ямская ул., 54; тел. 978.60.22
"ПИРОГИ" – Пятницкая ул., 29/8; тел. 927.55.22
"ПРОЕКТ ОГИ" – Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 951.75.96
"У КЕНТАВРА" книжная лавка РГГУ – Чаянова ул., 15; тел. 250.65.46
ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА – Столешников пер., 2; тел. 229.52.62

В Санкт-Петербурге
Магазины "ЛЕТНИЙ САД":

Большой Проспект ПС, 82
Невский проспект, 3
ВО, Менделеевская линия, 5
Фонтанка, 15

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW

литературно-художественный журнал русского Зарубежья.

Первый год издания — 1942
Выходит 4 раза в год.
Издается в Нью-Йорке.
Главный редактор — В. Крейд.
Издатель — Корпорация «Нового Журнала»

Старейшему в Зарубежье **«НОВОМУ ЖУРНАЛУ»** шестьдесят лет. Нашими авторами были И. Бунин, Г. Иванов, Г. Адамович, А. Ремизов, В. Набоков, А. Керенский, С. Лосский, Б. Зайцев, С. Франк, А. Солженицын, Н. Берберова; на страницах журнала были опубликованы работы Л. Шестова, М. Замятина, З. Гиппиус, Н. Бердяева, В. Ходасевича, А. Белого, П. Флоренского, М. Цветаевой и др. Смысл существования «Нового Журнала» — свободное русское творчество, свободная мысль. Десятилетиями «Новый Журнал» формировал литературный процесс зарубежья, публикуя лучшее, что было создано в русском рассеянии. Сегодня в «Новом Журнале» печатаются эмигранты всех «волн» из разных стран мира и многие российские авторы. Наши читатели живут на пяти континентах в 32 странах.

Основные разделы журнала: Проза, Поэтическая тетрадь, Воспоминания и Документы, История, Литература, Культура, Библиография.

Вы можете подписаться на **«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»**

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ **«НОВОГО ЖУРНАЛА»**:

The New Review
611 Broadway, #842, New York, NY 10012
Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
E-mail: newreview@home.com

Условия подписки на 2002 (4 номера):

для университетов и организаций в США — $ 64.00;

индивидуальная подписка — $40.00
(пересылка по США — $ 8.00, за границу — $ 16.00);

цена отдельного номера —$ 12.50
(пересылка по США — $ 2.00, за границу — $ 5.00)

Плата от подписчиков в России принимается в международных чеках или банковским переводом на счет **«Нового Журнала»:**

The New Review, account no. 058-02465-4
HSBC Bank, 743 Amsterdam Ave., New York, New York 10025, USA

*Редакция располагает номерами **«Нового Журнала»** прошлых лет издания*

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

www.lgz.ru

Лучшая Газета

для мыслящих людей





"ЛГ" представляет широкий спектр российской и мировой литературы, дает слово писателям всех направлений, регулярно публикует стихи и прозу (новая тематическая вкладка "Читальный зал"), вступает в диалог с читателями, рассказывает о новых книгах и издательских проектах ("Книжный развал").



"ЛГ" следит за современным состоянием родного языка, отстаивает его право звучать по-русски, учитывая традиции и неизбежность обновления; знакомит с самыми неожиданными гипотезами и новейшими открытиями в разных областях науки ("Научная среда").



"ЛГ" уделяет особое внимание проблемам преподавания в средней и высшей школе, предоставляя слово ученым и педагогам, обсуждает проекты реформы образования и новых учебников XXI века.



"ЛГ" изучает историю и современность, проводит журналистские расследования, прогнозирует главные направления развития общества.



"ЛГ" анализирует политическую ситуацию в стране и мире, заботится о судьбе соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье, оказывает консультационную помощь читателям в разрешении юридических проблем.



"ЛГ" сохраняет лучшие традиции легендарной 16-й полосы: в "Клубе "12 стульев" читателя ждут встречи с известными и любимыми юмористами страны.

Отдел распространения тел.: 208-98-55 / факс: 208-97-00. lgzraspr@mail.ru

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ» РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Новые стихи

Елены Благининой
Виталия Дмитриева
Владимира Лапина
Аркадия Пахомова
Игоря Петрова
Ольги Седаковой

Новые романы, повести и рассказы

Сергея Бабаяна
Нины Горлановой
Алексея Домбровского
Юрия Екишева
Алексея Иванникова
Юлия Кима
Юрия Малецкого
Евгения Попова
Вячеслава Пьецуха
Марии Ремизовой
Феликса Светова
Евгения Федорова

В разделах
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ, РЕЛИГИЯ, ГНОЗИС

- Статьи и очерки **Сергея Аверинцева, Игоря Виноградова, Николая Злобина, Андрея Зубова, Наума Коржавина, Марка Пераха, Ларисы Пияшевой, Ольги Седаковой, Владимира Торчилина**

В разделах
ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО

- Статьи и очерки **Павла Басинского, Игоря Виноградова, Евгения Ермолина, Михаила Копелиовича, Наума Коржавина, Марии Ремизовой**
- Беседы о современном искусстве с **Сергеем Арцыбашевым, Аллой Демидовой, Валерием Евдокимовым, Сергеем Желовачем, Эрнстом Неизвестным, Кареном Шахназаровым, Сергеем Юрским, Генриеттой Яновской**



«КОНТИНЕНТ» № 112, 480 стр. , подписные индексы 73218 и 71682 (годовая подписка)